UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 01056402 9

ZAMOTIN, Ivan Ivanovich

И. И. ЗАМОТИНЪ
Профессоръ Имп. Варш. Университета

ROMANTIZM

# РОМАНТИЗМЪ ДВАДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ XIX СТОЛ. ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

dvadtsatykh godov XIX stol.
v russkoĭ literaturĕ
99

Томъ II

[t.2]

ВТОРОЕ ПРОСМОТРѢННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ

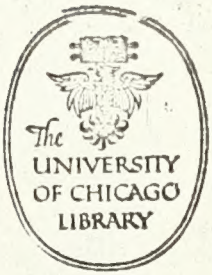
ИЗДАНІЕ
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Гостин. Дв., 18 и Невскій, 13
МОСКВА
Кузн. М., 12 и Тверская, 22
1913

PG
3015
.5
R6Z3
1911a
t.2

LIBRARY
APR 13 1967
UNIVERSITY OF TORONTO

PG 3053
.R6Z21
V.2

ПЕЧАТЬ Ѵ ТИПОГРАФІИ
Т-ва М·О·ВОЛЬФЪ
С·ПЕТЕРБУРГЪ · Бол·ФОНТ·16 ЛИНІЯ СУБ·ДОМЪ
1913



# РОМАНТИЧЕСКІЙ ИДЕАЛИЗМЪ ВЪ РУССКОМЪ ОБЩЕСТВѢ И ЛИТЕРАТУРѢ 20—30-хъ ГОДОВЪ XIX СТОЛѢТІЯ.

В о второмъ томѣ своихъ наблюденій надъ интересующей меня эпохой исторіи русской литературы я дѣлаю попытку отвѣтить на вопросъ о сущности западно-европейскаго романтизма и объ отраженіи его основныхъ мотивовъ въ русскомъ обществѣ и литературѣ начала XIX столѣтія. Пересмотръ мнѣній западно-европейскихъ изслѣдователей романтизма привелъ меня къ установленію основныхъ мотивовъ въ идеалистическомъ міровоззрѣніи романтиковъ, а изученіе русскихъ журналовъ, отдѣльныхъ литературныхъ произведеній и нѣкоторыхъ рукописныхъ матеріаловъ, относящихся къ данной эпохѣ, позволило мнѣ установить нѣкоторые факты отраженія и у насъ основныхъ мотивовъ романтики въ соотвѣтствующей русской варіаціи. Наблюдая надъ данной эпохой, я между прочимъ, невольно обратилъ вниманіе на нѣкоторыхъ русскихъ писателей 20—30-хъ годовъ XIX стол., которые, вообще близко соприкасаясь съ поэзіей романтизма, въ нѣкоторой степени особенно замѣтно откликнулись на отдѣльные его мотивы. Писатели эти—А. А. Бестужевъ (Марлинскій), М. Н. Загоскинъ, кн. В. Ѳ. Одоевскій. По самому характеру своей задачи и по объему своей книги я не могъ дать полнаго обзора ихъ жизни и дѣятельности, но думаю, что посвященные имъ очерки все-таки разъяснятъ до извѣстной степени характеръ ихъ творчества и ихъ отношенія къ эпохѣ. Наблюденія мои, конечно, ни въ коемъ случаѣ не исчерпываютъ вопроса о русскомъ романтизмѣ начала XIX столѣтія, но они

имѣютъ цѣлью опредѣлить его въ моментъ 20—30-хъ годо[въ], на которые падаетъ въ нашей общественной и литературной жизни особенное увлеченіе романтическимъ идеализмомъ.

Первымъ изданіемъ настоящіе очерки напечатаны были в[ъ] 1907 г. въ LXXXVII части „Записокъ историко-филологическаго факультета Императорскаго С.-Петербургскаго Университета". Второе ихъ изданіе объясняется съ одной стороны спросомъ на данную книгу, распроданную въ первомъ своемъ изданіи уже годъ тому назадъ, а съ другой стороны и тѣмъ обстоятельствомъ, что она служитъ необходимымъ развитіемъ и дополненіемъ I тома моего сочиненія о романтизмѣ, недавно вышедшаго вторымъ изданіемъ. Помимо нѣкоторыхъ незначительныхъ измѣненій въ текстѣ, второе изданіе отличается отъ перваго дополненіями въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ, вызванными какъ рецензіями на книгу въ ея первомъ изданіи, такъ и новыми сочиненіями, посвященными вопросу о романтизмѣ.

Варшава.
Мартъ, 1912.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

## Романтическій идеализмъ въ западно-европейской литературѣ к. XVIII и н. XIX стол. Основные мотивы романтическаго идеализма: индивидуумъ, нація и универсумъ въ идеалистическомъ міровоззрѣніи романтиковъ.

1. Сложный характеръ западно-европейскаго романтизма к. XVIII и н. XIX стол., какъ явленія духовной культуры. Разнообразіе его опредѣленій; различіе между опредѣленіями ему современными и позднѣйшими. Границы этого духовнаго момента въ исторіи Европы. Нѣмецкій романтизмъ к. XVIII и н. XIX стол.; опредѣленіе его границъ у старѣйшихъ его изслѣдователей—J. Eichendorf. Jul. Schmidt. H. Hettner—и у позднѣйшихъ—G. Gervinus, R. Haym, W. Scherer, Joh. Scherr, W. Wackernagel, R. Meyer, H. Gschwind и др. Границы французскаго романтизма; мнѣнія Th. Gauthier, V. Hugo, D. Nisard, Ch. Asselineau, Alfr. Michiels, F. Brunetière, D. Sauvageot, E. Faguet, E. Biré, Albert Le Roy, G. Brandes и др. Эпоха романтизма въ англійской литературѣ: опредѣленіе границъ ея у Th. Shaw, G. Craik, H. Morley, H. Taine, H. Hettner, G. Brandes. Эпоха романтизма въ сѣверныхъ (датской, шведской и норвежской) и южныхъ (итальянской и испанской) литературахъ. Романтизмъ въ славянскихъ литературахъ.

Въ концѣ XVIII-го и въ началѣ XIX-го стол. въ западно-европейской литературной и общественной жизни наблюдается широкое и сложное духовное броженіе, которое носитъ обыкновенно названіе романтизма. При бѣгломъ обзорѣ фактовъ этого явленія наблюдатель поражается разнообразной картиной взглядовъ, вкусовъ, стремленій и настроеній, которые подъ именемъ романтизма охватили почти всю Европу на границѣ двухъ послѣднихъ истекшихъ столѣтій. Обойдя всѣ націи и страны Европы, романтизмъ увлекъ въ область своего вліянія не только поэзію, но и всѣ другія искусства, и даже отчасти науку и общественную жизнь. Въ романтизмѣ поэтому открывается взору наблюдателя цѣлое міросозерцаніе. Романтики какъ-бы вновь строили всю философію жизни. Дѣйствительно, представители его старались выработать свои особые взгляды

почти во всѣхъ областяхъ— религіи, политикѣ, соціальной жизни, наукѣ... Въ религіи они выдвинули на первое мѣсто элементъ чувства и тѣмъ стремились охранить ее отъ погруженія въ сухой раціонализмъ. Въ область соціологіи романтики внесли уваженіе къ личности, къ индивидуальному развитію, особенно въ сферѣ семейныхъ отношеній. Въ наукѣ они создали историческое изученіе языка, миѳологіи, права и укрѣпили любовь къ народной поэтической старинѣ. Наконецъ, въ искусствѣ, и въ особенности въ поэзіи, они произвели настоящій переворотъ. Подъ смѣлымъ напоромъ новыхъ литературныхъ вѣяній потерялъ свое обаяніе знаменитый кодексъ Буало; возникъ культъ высокаго, свободнаго искусства. Поэтомъ стали называть не ученаго и остроумнаго стихослагателя, но вдохновеннаго художника; поэтъ—это такое своеобразное и самобытное дарованіе, которое стоитъ внѣ всякихъ узкихъ правилъ и въ себѣ самомъ носитъ законы творчества; философія геніальности, построенная Фридрихомъ Шлегелемъ на ученіи Фихте, ставила въ данномъ отношеніи творческую фантазію поэта-художника даже выше всего дѣйствительнаго міра. И вотъ поэзія получаетъ значеніе чистаго искусства, свободнаго отъ узкихъ цѣлей и заранѣе выработанныхъ условій: его цѣль въ самомъ себѣ, его девизъ по Канту—Zweckmässigkeit ohne Zweck. Форма поэзіи признается свободной; отсюда разнообразіе поэтическихъ пріемовъ, видовъ, размѣровъ, созвучій. То же происходитъ и въ содержаніи поэтическихъ произведеній. Исходя изъ принципа „природа и правда“, поэты-романтики отказываются отъ однообразной и сухой „классической“ абстрактности и придаютъ своему творчеству характеръ конкретный, безконечно и разнообразно оживляя его введеніемъ „мѣстнаго колорита“... Такимъ образомъ подъ вліяніемъ романтизма происходитъ перемѣна и въ общественномъ настроеніи, и въ научныхъ взглядахъ, и въ художественныхъ вкусахъ,—картина широкая и разнообразная; наблюдатель романтизма невольно теряется въ той перспективѣ, которая развертывается передъ нимъ при изученіи этого духовнаго момента западно-европейской исторіи.

И въ самомъ дѣлѣ, какъ всякое сложное явленіе духовной культуры, романтизмъ к. XVIII и н. XIX стол. съ трудомъ поддается ясному опредѣленію; тѣмъ не менѣе онъ опредѣлимъ, по крайней мѣрѣ въ своихъ основныхъ чертахъ. Въ свое время для современниковъ это явленіе казалось трудно уловимымъ: оно захватывало ихъ какъ настроеніе, какъ психологическій моментъ и управляло ими какъ инстинктъ, какъ непроизвольное движеніе ихъ духовной организаціи. Такъ напр., французскіе критики и поэты времени романтизма опредѣляли его весьма разнообразно. Для однихъ онъ былъ—свободой въ проявленіи таланта, для другихъ — оригинальностью въ творчествѣ, для третьихъ—спиритуализмомъ въ литературѣ, четвертые называли его протестантствомъ въ искусствѣ и т. д. [1]). Такъ же разнообразно понимаютъ романтизмъ и современные ему нѣмецкіе критики: для Руге романтизмъ является оппозиціей противъ эпохи просвѣщенія, для Эйхендорфа романтическая школа есть просто тоска по „утраченной родинѣ“, т.-е. по католической церкви и ея идеаламъ, для Альтвассера романтизмъ равнозначущъ стремленію фантазіи изъ міра пошлой дѣйствительности въ міръ неограниченнаго пространства [2]); для Г. Гейне „романтическая школа въ Германіи не что иное, какъ пробужденіе средневѣковой поэзіи“ [3]) и т. д. Но для позднѣйшихъ наблюдателей, начиная приблизительно съ половины XIX стол., это явленіе, разсматриваемое уже не вблизи, а въ исторической перспективѣ, сдѣлалось болѣе яснымъ и получило опредѣленное культурное значеніе. Теперь всѣ сужденія о романтизмѣ к. XVIII и н. XIX стол. (или новоромантизмѣ, какъ его иногда называютъ въ отличіе отъ средневѣковой романтики) сходятся во всякомъ случаѣ на томъ положеніи, что подъ романтизмомъ

[1]) Г. Брандесъ. „Литература XIX в. въ ея главныхъ теченіяхъ, Французская литература, романтическая школа“. Спб. 1895, стр. 49—50.

[2]) І. Шерръ. „Всеобщая исторія литературы“, перев. подъ ред. П. П. Вейнберга. М. 1898, т. II, стр. 289—290.

[3]) Г. Гейне. „Собр. сочин.“. Изд. 2-е подъ ред. П. Вейнберга. Спб. 1904, т. II. Романтич. школа, стр. 264.

XVIII—XIX стол. надо разумѣть извѣстную общественно-литературную эпоху, отмѣченную опредѣленно выраженнымъ міросозерцаніемъ.

Гдѣ условныя границы этой эпохи? Начало ея слѣдуетъ отнести, по крайней мѣрѣ, къ концу XVIII стол. Старѣйшіе изслѣдователи нѣмецкой романтики, каковы напр. Эйхендорфъ и Юл. Шмидтъ, ищутъ ея корней еще въ эпохѣ реформаціи. Эйхендорфъ видитъ уже въ реформаціи проявленіе того субъективизма, который характеризуетъ собою эпоху Sturm-und-Drang'a и романтизма или новоромантизма (die neuere romantische Poesie); ближайшими предшественниками романтизма въ Германіи онъ считаетъ Лессинга, Гамана, Гердера, Якоби, Лафатера, Штиллинга, Ленца, Клингера, Николаи, Фосса..., Гете, Шиллера; романтиками онъ называетъ Новалиса, Вакенродера, бр. Шлегелей, Ад. Мюллера, Стеффенса, Герреса, Арнима, Тика, Вернера, Брентано, Шенкендорфа, Фуке, Уланда, Кернера, Клейста, Платена, Гоффмана, Иммермана, Рюккерта, Шамиссо [1]). Юл. Шмидтъ въ вѣкѣ реформаціи видитъ вообще первый фазисъ нѣмецкой романтики, а второй ея фазисъ—новоромантическій—онъ усматриваетъ въ вѣкѣ революціи и послѣдующихъ за ней десятилѣтіяхъ [2]); при этомъ заключительнымъ моментомъ (der Zeitpunkt) изслѣдованія романтики для него является 1806 годъ, когда „продуктивность романтики была окончательно исчерпана", а ея теоретическія воззрѣнія потерялись въ практическихъ интересахъ; для этого изслѣдователя романтизмъ в. XVIII и н. XIX стол. представленъ во-первыхъ эпохою Sturm-und-Drang'a

---

[1] J. Eichendorf. „Ueber die ethische und religiöse Bedeutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland, Leipzig", 1847. Тенденція ставить въ связь романтиковъ не только съ Гете, но и съ Лессингомъ, наблюдается и въ новѣйшихъ изслѣдованіяхъ нѣм. лит.; ср. напр. W. Dilthey. Das Erlebnis und die Dichtung Lessing—Goethe—Novalis—Hölderlin. Leipzig. 1905.

[2]) Jul. Schmidt. „Geschichte der Romantik in dem Zeitalter der Reformation und der Revolution, Studien zur Philosophie der Geschichte", Leipzig, 1850.

съ ея предшественниками, въ родѣ Гердера въ поэзіи, Канта и Фихте въ философіи, и во-вторыхъ собственно романтическою школою (Шлегели, Новалисъ, Тикъ, Вакенродеръ, Гёльдерлинъ, Вернеръ и др.). Г. Геттнеръ, написавшій свою книгу о романтической школѣ почти одновременно съ двумя только что названными изслѣдователями литературы, стоитъ вообще на той же точкѣ зрѣнія: онъ различаетъ время Sturm-und-Drang'a и романтизма, но находитъ между ними тѣсную духовную связь въ ихъ идеалистическомъ міровоззрѣніи, которое онъ при своемъ отрицательномъ отношеніи къ романтикамъ, называетъ, однако, ложнымъ идеализмомъ („ein falscher Idealismus") [1]). Болѣе поздній изслѣдователь нѣмецкой романтики, Р. Гаймъ [2]) видитъ возникновеніе собственно романтической школы (=новоромантизма) въ ранней поэтической дѣятельности Тика и Вакенродера и въ критическихъ работахъ братьевъ Шлегелей; цвѣтущее время романтизма, по его мнѣнію, обозначается поэтическимъ творчествомъ Гёльдерлина и Новалиса и философскимъ творчествомъ Шеллинга; наконецъ, „кризисъ романтизма разрѣшился съ выступленіемъ на сцену Гегеля". Представители общей исторіи нѣмецкой литературы, напр. Гервинусъ, Шереръ, Шерръ, сосредоточиваютъ романтику около того же центра, но нѣсколько только видоизмѣняютъ ея границы. Такъ В. Шереръ „расширяетъ значеніе романтики", включая въ эту эпоху и время „геніевъ" и дѣятельность Генриха Гейне [3]), а І. Шерръ, наоборотъ, ограничиваетъ значеніе романтизма, отдѣляя его отъ Гете и Шиллера, и находитъ, что „величіе романтической школы", скоро впавшей въ „обскурантизмъ", продолжалось не особенно

---

[1]) H. Hettner. „Die romantische Schule in ihrem inneren Zusammenhange mit Goethe und Schiller, Braunschweig, 1850.

[2]) Р. Гаймъ. „Романтическая школа", пер. В. Невѣдомскаго. Москва. 1891. (R. Haym. Die romantische Schule, ein Beitrag z. Geschichte des deutschen Geistes, 1870). Ср. также J. Rouge, „Frédéric Schlegel et la genèse du romantisme allemand", Paris, 1904.

[3]) В. Шереръ. „Исторія нѣмецкой литературы", перев. подъ ред. А. Н. Пыпина. Спб. 1893. ч. II: примѣч., стр. 361 и сл.

долго [1]): у Гервинуса то литературное направленіе, которое онъ называетъ „romantische Dichtung", представлено тоже извѣстной, довольно рѣзко ограниченной, группой поэтовъ, каковы напр. Новалисъ, Тикъ, Гёльдерлинъ, Фуке, Уландъ, Клейстъ, Гоффманъ, Рюккертъ [2]). Нѣкоторые, по преимуществу новѣйшіе, изслѣдователи (напр. Вакернагель, Р. Мейеръ и др.), соглашаясь въ установленіи хронологическихъ границъ романтизма съ своими предшественниками, пытаются точнѣе опредѣлить различные моменты въ развитіи романтики и дѣлятъ ея представителей или на двѣ, или даже на три группы: старшую—Шлегели, Тикъ, Новалисъ, Шлейермахеръ—, среднюю—Захарія Вернеръ, Адамъ Мюллеръ—и младшую—Іосифъ Гёрресъ, Теодоръ Амадей Гоффманъ, Генрихъ фонъ Клейстъ [3]); если же вся эпоха романтизма подраздѣляется историкомъ литературы только на два періода, то получаются такія двѣ группы романтиковъ: старшая — Шлегели, Новалисъ, Тикъ—и младшая—Брентано, Гёрресъ, Арнимъ, Беттина, Клейстъ, Зах. Вернеръ и др. [4]), или же говорятъ „первая романтическая школа" и „вторая романтическая школа", а

---

[1]) I. Шерръ. „Всеобщая исторія литературы", т. II, стр. 288 и сл. Подобныя границы нѣмецкаго романтизма приняты и въ „Исторіи нѣмецкой литературы" Ср. Фогта и Макс. Коха (Спб. 1899); здѣсь „періодъ бурныхъ стремленій" выдѣленъ въ особую группу, а романтическая школа (Шлегели, Брентано, Тикъ, Гельдерлинъ, Вакенродеръ, Новалисъ, Ж. П. Рихтеръ, Керперъ, Клейстъ, Гриммы, Фуке и др.) вставлена въ границы: „цвѣтущій періодъ литературы въ Веймарѣ"—„молодая Германія". Т. Циглеръ (Th. Ziegler. Die geistigen und socialen Strömungen des neunzehnten Jahrhunderts, Berlin, 1899) сосредоточиваетъ романтическую школу около 1800 г., когда романтики были для современниковъ „das Modernste", а корни романтизма видитъ въ творчествѣ Руссо, Гердера, Гамана и др.

[2]) G. Gervinus. Geschichte der deutschen Dichtung, Leipzig, 1874.

[3]) Rich. Meyer. Die deutsche Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts, Berlin, 1900, стр. 12, 22.

[4]) W. Wackernagel. Geschichte der deutschen Litteratur, Basel 1885, т. II, стр. 549, 567. Ср. также Ricarda Huch, Ausbreitung und Verfall der Romantik, Leipzig, 1902, стр. 6 и слѣд. и Marie Joachimi, Die Weltanschauung der Romantik, Jena und Leipzig, 1905, стр. VI и слѣд.

время „бури и натиска“ ставятъ особнякомъ, какъ совокупность явленій предромантическихъ [1]).

Границы французскаго романтизма к. XVIII и н. XIX стол. нѣсколько рѣзче очерчены историками французской литературы. Уже Теофиль Готье, современникъ романтизма и одинъ изъ борцовъ въ рядахъ его дружины, опредѣлилъ его границы. По его мнѣнію, „дѣдомъ романтизма“ („l'aïeul du romantisme en France“) слѣдуетъ считать Шатобріана, а отцомъ и пророкомъ—В. Гюго, который въ своемъ „предисловіи къ Кромвелю“ далъ послѣдователямъ романтики какъ-бы „скрижали“ новаго литературнаго исповѣданія [2]); при этомъ расцвѣтъ романтизма во Франціи падаетъ, по наблюденію того же современника, на 20-е и отчасти на 30-е годы столѣтія. Самъ В. Гюго въ знаменитой боевой программѣ романтизма, какою по справедливости можетъ быть названо его „предисловіе къ Кромвелю“, склоненъ видѣть въ своей именно эпохѣ торжество романтизма, отдаленное начало котораго, какъ поэзіи новоевропейской (l'art moderne) въ отличіе отъ античной (l'art an-

[1]) Hermann Gschwind. Die ethischen Neuerungen der Früh-Romantik. Bern, 1903. Эти предромантическія явленія, составляющія какъ бы непосредственное введеніе въ эпоху романтизма, обыкновенно указываются изслѣдователями въ концѣ XVIII столѣтія или во всякомъ случаѣ не ранѣе половины его. Въ этомъ отношеніи интересно мнѣніе L. Friedlaender'a, высказанное имъ по поводу романтич. міровоззрѣнія въ соч. „Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine“. Говоря объ античномъ и романтическомъ отношеніи къ природѣ (6-е изд., 1889 г., II ч., стр. 213: Die Entwicklung des Gefühls für das Romantische in der Natur im Gegensatz zum antiken Naturgefühl) онъ отмѣчаетъ, какъ несомнѣнный фактъ, что такъ называемое „чувство романтическаго въ природѣ“ получаетъ внѣшнюю извѣстность (въ поэзіи напр. или вообще въ искусствѣ?) не раньше какъ въ половинѣ XVIII ст.: „...ist diese gegenwärtige Richtung des Naturgefühls auch dem Mittelalter und dem grössten Theil der neuern Zeit entweder ganz fremd gewesen, oder hat sich wenigstens bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur in vereinzelten Aeusserungen kund gegeben; keinesfalls ist ihre allgemeine Verbreitung viel über ein Jahrhundert alt“.

[2]) Théophile Gauthier. Histoire du romantisme, Paris, 1901, стр. 5: „La préface de „Cromwell“ rayonnait à nos yeux comme les Tables de la Loi sur le Sinaï“...

tique), онъ относитъ къ среднимъ вѣкамъ европейской исторіи [1]) Современникъ В. Гюго Désiré Nisard, относящійся вообще довольно сурово къ молодой романтической школѣ и не желающій въ ней видѣть органа „новаго“ искусства и новаго міросозерцанія, находитъ всетаки нужнымъ выдѣлить извѣстную группу поэтовъ, которыхъ въ концѣ 20-хъ годовъ называли романтиками; такими онъ считаетъ В. Гюго, Альфреда де-Виньи, Мюссе, Ламартина, Сентъ-Бёва [2]). Ch. Asselineau начинаетъ вести библіографію французскаго романтизма съ начала 20-хъ годовъ; онъ даетъ перечень романтическихъ произведеній В. Гюго съ 1822 г., Ал. Дюма—съ 1825 г., Пр. Мериме—съ 1825, Альфр. де-Виньи—съ 1822 и т. д.; такъ наз. „Annales romantiques“ (первый томъ подъ названіемъ „Tablettes romantiques“) издавались также съ 1823 года [3]). Изслѣдователи исторіи франц. литературы, ближайшіе къ эпохѣ 20—30-хъ годовъ, также группируютъ явленія романтизма около В. Гюго и его послѣдователей: такъ напр. Alfred Michiels [4]) относитъ расцвѣтъ „новой литературной школы“, т.-е. романтизма въ литературѣ (la nouvelle école littéraire), къ концу 20-хъ и къ 30-мъ годамъ; въ концѣ 30-хъ годовъ, по его мнѣнію, эта школа во Франціи была еще въ полной силѣ [5]). Позднѣйшіе историки франц. литературы (напр. F. Brunetière, David Sauvageot) относятъ время расцвѣта французской романтики къ тѣмъ же десятилѣтіямъ [6]), но иногда нѣкоторые изъ нихъ раздвигаютъ нѣсколько границы романтизма, относя начало

---

[1]) V. Hugo. Cromwell, ed. I. Hetzel, préface, стр. 9.

[2]) Désiré Nisard, Essais sur l'école romantique, P. 1891.

[3]) Ch. Asselineau. Bibliographie romantique, P. 1872.

[4]) Alfred Michiels. Histoire des idées littéraires en France au XIX-e siècle et de leurs origines dans les siècles antérieurs, 4-me éd., Paris, 1863.

[5]) Тамъ же, т. II, стр. 501: „En 1837 l'école nouvelle était victorieuse sur touts les points“...

[6]) F. Brunetière. L'évolution de la poésie lyrique en France au dix-neuvième siècle, P. 1894.

David Sauvageot. Le réalisme et le naturalisme dans la littérature et dans l'art, P. 1889.

этой литературной эпохи къ первому десятилѣтію XIX вѣка. Такъ для E. Faguet литература романтизма, или, какъ онъ выражается, „литература субъективнаго вдохновенія, воображенія и чувства“ („une littérature d'inspiration toute subjective, pour ainsi parler, une littérature d'imagination et de sentiment“), достигаетъ своего развитія въ періодъ 1800—1840 гг. и группируется около центральныхъ именъ Шатобріана, Ламартина, Виньи, В. Гюго, Мюссе и нѣк. др. поэтовъ [1]). Подобнымъ же образомъ Albert le Roy [2]), ограничивая расцвѣтъ новоромантизма періодомъ отъ появленія „la préface de Cromwell“ до представленія трагедіи В. Гюго „Les Burgraves“, склоненъ видѣть зачатки романтизма уже въ реставраціи Шекспира и въ „трансформаціи“ философіи Ж. Ж. Руссо—въ явленіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ концѣ XVIII и началѣ XIX столѣт. [3]). Точно также и по мнѣнію Г. Брандеса корни романтической школы во Франціи надо искать въ „литературѣ эмигрантовъ“, т.-е. въ поэтическихъ твореніяхъ Шатобріана, Нодье, Констана, г-жи Сталь и др. [4]). У историковъ фран-

---

[1]) E. Faguet. Dix-neuvième siècle. Etudes littéraires, 22 me éd., Paris, 1900. Впрочемъ, Pierre Lasserre, ученикъ E. Faguet, еще болѣе раздвигаетъ границы французскаго романтизма, помѣщая его характерныя проявленія („ses manifestations caractéristiques“) въ предѣлахъ отъ 1750-го до 1850-го или даже 1860-го годовъ (Pierre Lasserre. „Le Romantisme Français“, P. 1907, стр. 535).

[2]) Albert Le Roy. L'Aube du Théâtre Romantique, 2-me éd., Paris 1904.

[3]) Тамъ же, стр. 1: „Au gré des uns (le romantisme) est un renouveau de Shakespeare; pour les autres, une transformation de la philosophie sentimentale et individualiste de Jean-Jacques Rousseau“. Ср. также М. П. Розановъ, Ж. Ж. Руссо и литературное движеніе конца XVIII и начала XIX в., т. I, М. 1910, гл. VIII, „На перепутьѣ“: Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ и Андре Шенье, какъ „посредники и промежуточныя звенья между Руссо и ранними романтиками начала XIX вѣка“. На непосредственной и тѣсной связи между Руссо и романтизмомъ настаиваетъ Pierre Lasserre, „Le Romantisme Français“, P. 1907, Chap. II, Rousseau est le romantisme, стр. 14 и слѣд.

[4]) Г. Брандесъ. Литература XIX вѣка въ ея главныхъ теченіяхъ. Французская литература: литература эмигрантовъ. Ср. А. Шаховъ. Очерки

цузской литературы есть также тенденція различить и во франц. романтизмѣ нѣкоторыя фазы развитія. Такъ напр. для E. Biré творчество В. Гюго („Cromwell“) открываетъ собой уже третью фазу въ исторіи франц. романтизма („la troisième phase du romantisme“); первую и вторую фазу составляетъ поэзія Ламартина („Les méditations“) и Шатобріана („Le Génie du Christianisme“) [1]). Точно также у Лансона и Пти-де-Жюльвилля находимъ попытки различить три момента въ развитіи франц. романтизма: зарожденіе романтизма—Руссо, Шатобріанъ, Сталь и т. д., расцвѣтъ романтизма — Гюго, Нодье, де-Виньи, Мюссе, Готье и др., вырожденіе романтизма и переходъ къ натурализму въ періодъ приблизительно 1840—1860 гг. [2]).

Историки англійской литературы нерѣдко называютъ романтическимъ золотой вѣкъ англійской литературы, вѣкъ Шекспира и Мильтона, въ противоположность смѣнившему его классицизму эпохи просвѣщенія. Такую точку зрѣнія мы находимъ напр. у Th. Warton'a, который, разсуждая о романтизмѣ, говоритъ только о средневѣковой романтикѣ и литературныхъ явленіяхъ, на ней развившихся [3]); на той же точкѣ зрѣнія стоитъ и G. Craik, который подъ романтической школой разумѣетъ „Мильтона и старѣйшихъ англійскихъ поэтовъ“ въ противоположность Драйдену и другимъ представителямъ классицизма [4]); подобнымъ же образомъ и Th. Shaw полагаетъ,

---

литературнаго движенія въ первую половину XIX стол., Спб. 1898; у А. Шахова точка зрѣнія та же, что и у Г. Брандеса.

[1]) Edmond Biré. V. Hugo avant 1830, P. 1883, стр. 513.

[2]) Гюставъ Лансонъ. Исторія франц. литературы, М. 1898, ч. VI. Пти-де-Жюльвилль. Иллюстр. исторія новѣйш. франц. литер. (1800—1900 г.), М. 1899—1900, т. I, гл. IV.

[3]) Th. Warton. The History of English poetry, vol. I, Dissert I: of the origin of romantik fiction in Europe.

[4]) George Craik. A Compendious history of english literature and of the english language from the Norman Conquest, London, 1861. Говоря о Драйденѣ и классической школѣ, онъ такъ опредѣляетъ ея отличіе отъ предшествующей ей романтич. школы (т. II, стр. 103): „It is a school very distinguishable from that to which Milton and the greatest of our elder

что великій литературный поворотъ эпохи просвѣщенія состоялъ именно въ томъ, что „романтическій типъ“ смѣнился въ литературѣ „холоднымъ и чисто искусственнымъ духомъ классицизма [1]). Впрочемъ тотъ же изслѣдователь названіе „романтическій“ примѣняетъ и къ возродившейся національной англійской поэзіи конца XVIII и начала XIX стол.; онъ говоритъ о разсвѣтѣ романтизма (the dawn of romantik poetry), называя имена Томсона, Грея, В. Купера, Макферсона, Чаттертона, Р. Бернса, и къ собственно романтической, или по его толкованію новоромантической, школѣ относитъ В.-Скотта, Т. Мура, Байрона, Шелли, Вордсворта, Китса, Соути, Кольриджа и Кэмпбелли [2]). Этихъ же поэтовъ и G. Craik [3]) группируетъ въ одну школу, процвѣтаніе которой относитъ къ началу XIX стол., хотя и не называетъ романтической. У H. Morley та же группа англійскихъ поэтовъ поставлена въ ближайшую духовную связь съ нѣмецкимъ Sturm-und-Drang'омъ и романтизмомъ [4]). По мнѣнію Тэна [5]), романтизмъ въ англійской литературѣ формируется окончательно въ послѣднемъ десятилѣтіи XVIII вѣка, а въ началѣ XIX вѣка эту „секту диссидентовъ въ поэзіи“—такъ называли романтиковъ въ „Эдинбургскомъ Обозрѣніи“ (окт. 1802 г.)—составляютъ Соути, Кольриджъ, Чарльзъ Лэмбъ, Вордсвортъ, Вальтеръ-

poets belong, deriving its spirit and character, as it does, chiefly from the ancient Roman classic poetry, whereas the other is mainly the offspring of the middle ages, of Gothic manners and feelings and the Romance of Provençal literature. The one therefore may be called, with sufficient propriety, the classic, the other the romantic school of poetry“.

[1]) Th. Shaw. A History of english literature, London, 1864, стр. 374 и 399: „The great revolution in popular taste and sentiment which substituted what is called the romantic type in literature for the cold and clear-cut artificial spirit of that classicism which“... „The great revolution in taste, substituting romantic for classical sentiment and subjects“...

[2]) Тамъ же.

[3]) G. Craik. A Compendious history... стр. 433.

[4]) H. Morley. English writers, London, 1864, стр. 105—108.

[5]) И. Тэнъ. Развитіе политической и гражданской свободы въ Англіи въ связи съ развитіемъ литературы (Histoire de la littérature anglaise, ч. II, Спб. 1871, стр. 423 и сл.

Скоттъ, Шелли, Байронъ и др.; въ то же время Тэнъ считаетъ предшественникомъ англійскаго романтизма Р. Бернса, творчество котораго относится ко второй половинѣ XVIII стол. Другіе историки отодвигаютъ начало англійскаго романтизма еще дальше, именно къ срединѣ XVIII столѣтія: Геттнеръ напр. видитъ „паденіе классицизма“ и вмѣстѣ съ тѣмъ зарожденіе „самобытности“ — въ литературной дѣятельности Лоута, Перси, Юнга, Гогарта и др., а начало новой поэзіи, принявшей вскорѣ романтическій характеръ, — въ творчествѣ Ричардсона, Стерна, Лилло, Томсона, В. Коупера и др. [1]). Г. Брандесъ, выдѣляя вышеупомянутыхъ поэтовъ—Вордсворта, Кольриджа, Соути, В.-Скотта, Шелли, Байрона—въ особую группу, не придаетъ ей имени романтизма, и опредѣляетъ ее словами „натурализмъ въ Англіи“; однако какъ „озерную школу“, такъ и послѣдующихъ представителей натурализма и индивидуализма въ англійской поэзіи онъ считаетъ параллельнымъ явленіемъ съ общеевропейскимъ романтизмомъ начала XIX вѣка, а словомъ „натурализмъ“ желаетъ только отмѣтить спеціальное отличіе англійскаго романтизма отъ романтизма нѣмецкаго и французскаго [2]).

Новѣйшая скандинавская литература (послѣ 1800 г.) также открывается эпохой новоромантизма. Въ Даніи романтическую школу составляютъ Эленшлегеръ, Ингеманнъ, Гаухъ, Бредаль—поэты первой четверти XIX стол.; въ Швеціи „неоромантика“ обнаружилась нѣсколько позже, именно послѣ революціи 1809 г., въ группѣ писателей „фосфористовъ“, т.-е. сплотившихся около журнала „Phosphoros“, каковы напр.

---

[1]) Г. Геттнеръ. Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка, Спб. 1863, т. I, Англ. литер. (1660—1770), стр. 374 и сл.

[2]) Г. Брандесъ. Главныя теченія литературы XIX столѣтія, Англійская литература, М. 1893. Сближеніе Байрона, Шелли и др. англ. поэтовъ съ Ламартиномъ, Гюго или съ Тикомъ, Новалисомъ и т. д. обычно въ новѣйшей исторіи литературы; ср. напр. очеркъ Camillo von Klenze, The Treatment of Nature in the Works of Nicolaus Lenau, An Essay in Interpretation (Изд. Универс. въ Чикаго, 1906 г.), гдѣ австр. поэтъ Ленау помѣщенъ въ одну романтич. семью: Байронъ, Шелли, Ламартинъ, Гюго, Тикъ, Новалисъ.

Гаммершёльдъ, Аттербомъ, Дальгренъ и др., и получила дальнѣйшее развитіе въ т. н. „готской школѣ“, центромъ которой являются Лейеръ, Тегнеръ, Лингъ и Авцеліусъ, въ Норвегіи романтизмъ отразился еще позже, уже послѣ 1814 года, когда тамъ, вмѣстѣ съ отдѣленіемъ отъ Даніи, явилось стремленіе создать и свою независимую литературу; имена Вельгавена, Мунха и нѣкоторыхъ др. поэтовъ свидѣтельствуютъ о томъ, что нѣмецкій романтизмъ не остался и въ Норвегіи въ эту пору безъ вліянія [1]).

Въ итальянской литературѣ романтизмъ совпалъ съ революціоннымъ движеніемъ и стремленіемъ къ національному возрожденію [2]); такимъ образомъ романтическіе мотивы въ итальянскомъ поэтическомъ творчествѣ зазвучали въ концѣ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ. Леопарди въ своихъ „Пѣсняхъ“ (Canti), относящихся къ 1831 г., далъ образцы новой итальянской лирики; Манцони, центральный поэтъ итальянскаго романтизма, далъ образцы новой трагедіи и историческаго романа въ духѣ Вальтеръ-Скотта; Пеллико, извѣстный своей трагедіей „Francesca da Rimini“, Белли, авторъ замѣчательныхъ сонетовъ данной эпохи, Беркэ, творецъ романсовъ, и др. дополняютъ галлерею итальянскихъ романтиковъ 20—40-хъ годовъ; многіе изъ нихъ мало самостоятельны и слѣдуютъ общеевропейскимъ корифеямъ романтизма—Скотту, Байрону, Гюго, Мюссе, иногда Гете, но это еще тѣснѣе связываетъ ихъ съ общеевропейской романтической эпохой, падающей на первыя десятилѣтія XIX в. [3]). Въ Испаніи романтизмъ также является нѣсколько запоздавшимъ: реакція противъ псевдоклассицизма начинается здѣсь уже послѣ того, какъ въ Германіи и во Франціи расцвѣла пышная романтическая школа; тѣмъ не менѣе вторая чет-

---

[1]) Фр. Горнъ. Исторія скандинавской литературы, М. 1894, отд. II, гл. 6 и 7; отд. III, гл. 6. Струя романтизма начала XIX стол. продолжаетъ замѣтно течь и въ современной скандинавской литературѣ,—ср. М. Герцфельдъ. Скандинавская литература и ея современныя тенденціи, Спб. 1899.

[2]) H. Dietz. Italie—Espagne, стр. 177 и сл.

[3]) І. Шерръ. Всеобщ. истор. литер., I, 417—424.

верть столѣтія и здѣсь была торжествомъ романтическаго направленія въ поэзіи. Обновленіе поэзіи въ національно-патріотическомъ направленіи началось въ Испаніи, какъ и во Франціи, въ средѣ испанскихъ эмигрантовъ, жившихъ при Фердинандѣ VII въ Англіи и Франціи, и это наблюдается уже около 20-хъ годовъ [1]). Литературная революція въ Испаніи совпала съ политической революціей и съ тѣмъ подъемомъ національнаго духа, который является характерной чертой для романтизма всѣхъ странъ; вдохновительницей Испаніи какъ въ литературномъ, такъ и въ политическомъ переворотѣ была главнымъ образомъ Франція [2]). Во всякомъ случаѣ испанская литература выставила и собственныхъ представителей романтизма. Бретонъ де-лосъ-Герреросъ въ своихъ драмахъ и лирикѣ уже отражаетъ новое настроеніе поэзіи, Патриціо де-ля-Эскосура пишетъ пѣсни міровой скорби и историческіе романы, Хозе Зорриллья, увѣнчанный въ Гранадѣ въ 1889 г., даетъ образцы романтическаго творчества во всѣхъ родахъ поэзіи; ихъ дополняютъ Хозе де-Кастро, Франциско де-Бургосъ, Франциско Пачеко и др., поэтическая дѣятельность которыхъ относится главнымъ образомъ къ 30-мъ и 40-мъ годамъ столѣтія [3]).

Славянскія литературы откликнулись на мотивы романтизма очень скоро, скорѣе даже, чѣмъ нѣкоторыя литературы европейскаго запада. Въ польской литературѣ вѣянія западноевропейскаго романтизма наблюдаются уже за нѣсколько лѣтъ до 20-хъ годовъ, а въ концѣ 20-хъ и особенно въ 30-хъ годахъ расцвѣтаетъ пышная поэзія романтизма, группирующаяся главнымъ образомъ около именъ Мицкевича, Словацкаго и Красинскаго [4]). Точно также и въ русской литературѣ отраженіе

[1]) Тикноръ. Ист. исп. литер., М. 1891, стр. 327—8.

[2]) Dietz. Italie—Espagne, Histoire littéraire, P. 1900, стр. 481 и сл.

[3]) І. Шерръ. Всеобщ. истор. литер., I, 497—500.

[4]) Обзоръ польской романтической поэзіи — въ трудахъ Хмѣлевскаго, Тарновскаго, Матушевскаго, Спасовича и др.; новѣйшія изслѣдованія польскаго романтизма—Barewicz, W., Fryderyk Schiller i. t. z. romantyka polska przed Mickiewiczem, Lwów, 1905. G Sarrazin, Les grands poètes romantiques de la Pologne, P. 1906.

западноевропейской романтики наблюдается въ видѣ предромантическихъ вѣяній еще до 20-хъ годовъ, а въ 20—30 годахъ русская поэзія находится уже подъ сильнымъ вліяніемъ романтизма. Позднѣе на два-три десятилѣтія отразился романтизмъ въ чешской литературѣ, гдѣ мотивы Байрона и В. Гюго, мистицизма и разочарованности появились уже въ 50-хъ годахъ и образовали ту литературную школу, которая представляетъ собою третью эпоху въ такъ называемомъ чешскомъ возрожденіи (В. Галекъ, А. Гейдукъ, Янъ Неруда) [1]). Въ литературѣ адріатическаго славянства романтизмъ обнаружился во время того литературно-общественнаго движенія 30—40-хъ годовъ, которое извѣстно подъ названіемъ иллиризма; въ иллиризмѣ замѣтно вліяніе нѣм. Sturm und Drang'a и итальянскаго національнаго возрожденія начала XIX столѣтія, сопровождавшагося также расцвѣтомъ романтической поэзіи [2]).

---

9. Сущность романтическаго міросозерцанія: романтическій идеализмъ—его общій характеръ и основные мотивы. Романтическій индивидуализмъ. Связь его съ общимъ ходомъ историческаго развитія Европы; индивидуалистическій взглядъ новой философіи на исторію. Новая Европа и индивидуализмъ. Культъ личности у гуманистовъ; Петрарка и его „искаше человѣка". Связь гуманизма и просвѣтительной философіи XVIII стол.; индивидуализмъ Руссо. Развитіе индивидуализма въ концѣ XVIII и началѣ XIX стол.; научное выраженіе его въ философскихъ системахъ (Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель). Индивидуализмъ у романтиковъ конца XVIII и начала XIX стол. Взглядъ на романтическій индивидуализмъ у историковъ нѣм. литературы—положительный (Ю. Шмидтъ, Эйхендорфъ и др.) и отрицательный (Геттнеръ, Циглеръ и др.); признаніе романтическаго индивидуализма въ исторіи франц. и англ. литературъ. Связь романтическаго индивидуализма съ философскими ученіями Канта, Фихте, Шеллинга; его общій характеръ: вниманіе къ индивидуальности вообще, культъ сильной индивидуальности и неограниченной личной свободы по преимуществу; преобладающее вліяніе Фихте на романтическій индивидуализмъ. Культъ индивидуальности въ романтической поэзіи конца XVIII и начала XIX стол.: поэтическіе образы для выраженія идеи индивидуализма и ихъ общій харак-

---

[1]) А. Н. Пыпинъ и В. Д. Спасовичъ. Истор. слав. литер., Спб. 1881 г. II, стр. 919, 972—975.

[2]) П. А. Кулаковскій. Иллиризмъ, Варшава, 1894, стр. 398: Мнѣніе Гильфердинга о характерѣ возрожденія юго-западнаго славянства.

теръ; „высшая натура“ Uebermensch, l'homme supérieur), какъ наиболѣе яркое воплощеніе страстнаго индивидуализма эпохи. Галлерея „высшихъ натуръ“ въ нѣм., франц. и англ. романтической поэзіи.

Условныя границы эпохи романтизма опредѣляются такимъ образомъ концомъ XVIII-го и первыми 3—4 десятилѣтіями XIX вѣка. Въ предѣлахъ этихъ нѣсколькихъ десятилѣтій въ искусствѣ и отчасти въ наукѣ развилось то удивительное міровоззрѣніе, которое вызвало столько споровъ въ критикѣ, столько толковъ и пересудовъ въ обществѣ. Романтизмъ и до сихъ поръ, какъ уже было замѣчено, плохо поддается опредѣленію. Причиной этого является съ одной стороны многообразіе его варіацій въ разныхъ литературахъ и критикахъ, съ другой отсутствіе опредѣленныхъ и ясныхъ теорій у самихъ романтиковъ. Этимъ реформаторамъ въ области искусствъ, наукъ и даже общественной жизни не хватало, по выраженію A. Michiels, способности обобщенія: они не съумѣли опредѣлить ясно свою школу и отчетливо вычертить свою программу; не отдавая яснаго отчета въ своемъ ученіи, они въ то же время не съумѣли поставить его въ связь съ духовнымъ наслѣдіемъ предшествующихъ эпохъ, къ которымъ они, какъ пылкіе новаторы, относились вполнѣ отрицательно, уподобляясь „цвѣтку, который отрекается отъ стебля и почвы, дающихъ ему жизнь“ [1]). Это наблюденіе A. Michiels надъ французской романтикой можно примѣнить вообще къ западно-европейскому романтизму. Но то, что было лишь настроеніемъ для современниковъ, для послѣ-

[1]) Alfred Michiels. Histoire des idées littéraires, II, стр. 170 „Ayant eu le cerveau comprimé dès leur enfance, les hommes de 1820, hommes de talent, qui achevèrent la réforme des lettres, manquèrent presque totalement d'esprit généralisateur. Chose incroyable et cependant très—réelle! tourmentés par leurs adversaires, mis chaque jour en demeure d'expliquer leurs intentions, ils n'ont jamais su définir leur école, dresser un programme et dire ce qu'ils voulaient!.. Méconnaissant tout à fait leurs pères, les novateurs se croyaient les premiers de leur race. Non—seulement donc ils ne pouvaient formuler une doctrine, mais ils ne comprenaient pas les systèmes fragmentaires publiés avant eux. La fleur reniait la tige et le sol où elle avait puisé l'être. On aurait du mal à trouver un second exemple d'une pareille indigence théorique“.

дующихъ наблюдателей является объектомъ изученія и становится болѣе понятнымъ и рельефнымъ. И, въ самомъ дѣлѣ, романтизмъ, несмотря на многообразіе своихъ варіацій и на слабость своей теоретической стороны, всетаки опредѣлимъ. Онъ опредѣлимъ именно со стороны своей сущности и тѣхъ главныхъ своихъ мотивовъ, которые обошли всю Европу, всѣ европейскія литературы и выразили собою общее духовное состояніе эпохи.

Романтизмъ въ своей сущности есть ясно выраженное идеалистическое міровоззрѣніе; это одинъ изъ тѣхъ сильныхъ идеалистическихъ порывовъ къ безконечному, которыми въ разныя эпохи жизни человѣчества смѣнялись развивавшіеся до крайности матеріализмъ, скептицизмъ, холодная разсудочность или, наконецъ, то духовное безразличіе, которое не дѣлаетъ никакихъ усилій, чтобы подняться выше конечныхъ вещей окружающаго его міра. При этомъ идеализмъ романтизма приходится понимать въ метафизическомъ смыслѣ, какъ вѣру въ духовныя начала жизни и даже признаніе необходимости подчинить матерію или природу духу; въ романтической этикѣ и эстетикѣ этотъ идеализмъ получаетъ дальнѣйшее своеобразное развитіе. Жизнь, какъ принято думать, есть развитіе; а всякое развитіе, будемъ ли понимать его механически или телеологически, предполагаетъ рядъ перемѣнъ, разложеніе однихъ началъ и зарожденіе другихъ. Духовная жизнь человѣчества есть тоже развитіе, и этотъ духовный прогрессъ, въ который люди привыкли вѣрить еще со временъ до-христіанской древности, подверженъ тому же самому закону перемѣнъ или переходовъ, той же смѣнѣ разложенія и возрастанія, пониженія и повышенія. Эта безконечная линія перемѣнъ въ человѣческомъ развитіи отличается, однако, довольно рѣзко выраженною періодичностью: перемѣны или, такъ сказать, колебанія линіи совершаются всегда въ сторону одной изъ тѣхъ двухъ стихій человѣческой природы, которыя, взятыя въ отдѣльности или вмѣстѣ, обыкновенно кладутся въ основу различныхъ философскихъ системъ, т.-е. или въ сторону матеріи, или въ сторону духа. Матерія и духъ, конечное и безконечное, реальное

и идеальное — это, можно сказать — употребляя выраженіе А. Шлегеля—, только „два полюса одной магнетической линіи" жизни; отклоняясь въ сторону матеріи, жизнь уходитъ дальше отъ порывовъ духа и, наоборотъ, отклоняясь въ сторону духа, жизнь замѣтно поднимается надъ уровнемъ всего матеріальнаго. Нѣкоторыя эпохи въ развитіи человѣчества отмѣчены, такимъ образомъ, сильными порывами человѣческаго духа отъ конечнаго, реальнаго, къ безконечному, идеальному, и такія эпохи не безъ основанія могутъ быть названы вообще идеалистическими или эпохами идеализма. Такимъ характеромъ отличается и эпоха романтизма. Но, конечно, идеализмъ въ разныя эпохи носитъ различный характеръ, и идеализмъ романтизма имѣетъ также свои отличительныя черты, свойственныя его времени.

Романтическій идеализмъ отличается по преимуществу метафизическимъ характеромъ; онъ признаетъ духовное бытіе, какъ духовное основаніе міра, и подчиняетъ матерію духу. Выразителями такого идеалистическаго міровоззрѣнія въ данную эпоху являются главнымъ образомъ Фихте, Шеллингъ и Гегель; около нихъ группируются и идеалисты-романтики. При всей своей сложности и кажущейся туманности романтическое міровоззрѣніе, какъ всякій идеализмъ, имѣетъ свои основные пункты, по которымъ его удобнѣе всего разсматривать. Внѣ тѣхъ крайностей, которыя представляетъ по преимуществу нѣмецкая романтика въ области идей и формъ, романтическій идеализмъ, прислушиваясь къ современнымъ ему идеалистическимъ философскимъ системамъ, останавливалъ свое вниманіе, главнымъ образомъ, на трехъ пунктахъ: эти пункты—индивидуумъ, нація и универсумъ. Для романтиковъ, выражаясь языкомъ Вл. Соловьева, все исторически-цѣнное представлялось имѣющимъ тройной характеръ: 1) личный, 2) національный и 3) универсальный; прогрессъ создается отдѣльными индивидуумами или отдѣльными націями, а конечная цѣль творческой работы индивидуума или индивидуальной націи — единая и общая: это благо всего человѣчества, универсальное счастье. Поэтому нужно особое уваженіе къ индивидууму, нужно особое

вниманіе ко всякой націи, потому что человѣческіе индивидуумы и націи, въ предѣлахъ и обстановкѣ которыхъ каждый человѣкъ дѣйствуетъ, творятъ прогрессъ, имѣющій общечеловѣческое, универсальное значеніе; это универсальное благо человѣчества также составляетъ предметъ особыхъ заботъ въ романтизмѣ. Такимъ образомъ три основныхъ мотива составляютъ схему романтическаго идеализма: индивидуализмъ, національнзмъ и универсализмъ, понимаемый въ смыслѣ идеи всечеловѣческаго блага [1]).

[1]) По поводу возраженій, сдѣланныхъ относительно этой, на первый взглядъ широкой и неопредѣленной, схемы романтическаго идеализма (Н. К. Козминъ, „Новое опредѣленіе романтизма“, Журн. Мин. Нар. Пр., 1908, май, стр. 223—229; проф. А. П. Кадлубовскій, отзывъ о диссертаціи „И. И. Замотинъ, Романтическій идеализмъ...“, Зап. Имп. Харьк. Унив., 1909, кн. 3, стр. 9 и слѣд.; проф. С. В. Соловьевъ, отзывъ о той же книгѣ, Изв. отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, 1910, т. XV, кн. 4, стр. 302 и слѣд.; гр. Ф. де Ла-Барть, „Разысканія въ области романтической поэтики и стиля“, т. I, Кіевъ, 1908, стр. 437, 438, 441, 442 и 443), я позволю себѣ повторить то, что печатно было высказано мною въ замѣткѣ „Отвѣтъ на критику „новаго опредѣленія романтизма“ (Журн. Мин. Нар. Просв. 1908, авг., стр. 442—446).

Схема романтизма, мною предложенная, сводится вовсе не къ идеализму вообще и не къ тремъ его мотивамъ—индивидуализму, національнзму и универсализму—, вообще понимаемымъ, но именно къ романтическому идеализму и къ его романтическимъ проявленіямъ. Романтическій индивидуализмъ (der subjective Idealismus, die revolutionaire Emanzipation der Subjectivität, l'individualisme, l'emancipation de moi и т. д.) я разсматриваю въ его конкретныхъ образахъ, свойственныхъ именно романтизму (Uebermensch, l'homme supérieur); романтическій національнзмъ я вижу въ поэтизаціи національной старины, въ обращеніи къ народному творчеству, въ культѣ самобытнаго національнаго развитія; романтическій универсализмъ—въ „романтизированіи міра“, въ „связи поэзіи съ жизнью“, въ „переходѣ дѣйствительной жизни въ поэзію“, въ торжествѣ безконечнаго идеала въ конечномъ мірѣ, въ думахъ объ „общихъ проблемахъ бытія“ и т. д. Схема эта находитъ себѣ поддержку у многихъ критиковъ и ученыхъ, занимавшихся вопросомъ о романтизмѣ (J. Eichendorf, Jul. Schmidt, H. Hettner, G. Gervinus, R. Haym, H. Gschwind, Marie Joachimi; Th. Gauthier, D. Nisard, Ch. Asselineau, Alfr. Michiels, F. Brunetière, D. Sauvageot, H. Taine, H. Morley и др.).

Выдѣляя въ ихъ взглядахъ на романтизмъ тѣ элементы, которые представляютъ собою предметъ общаго почти ихъ соглашенія, при нѣкоторыхъ

Первымъ основнымъ мотивомъ романтизма большинство его историковъ съ полнымъ основаніемъ считаютъ индивидуализмъ, доходящій уже въ романтизмѣ до высокаго культа личности. Новая европейская философія склонна вообще къ индивидуалистическому взгляду на историческое развитіе человѣчества. Исторія представляется индивидуалисту-философу какъ постепенный духовный ростъ самосознающей человѣческой личности. Фихте въ „System der Sittenlehre nach d. Principien der Wissenschaftslehre“ (1798 г.), рисуя процессъ нравственнаго развитія въ человѣчествѣ, говоритъ, что человѣкъ искони страстно ищетъ свободы, хотя сначала понимаетъ ее какъ „беззаконное и неограниченное господство надъ міромъ“. Въ этомъ смыслѣ почти вся исторія является иллюстраціей подобнаго стремленія къ свободѣ. „Физическое и духовное рабство, завоевательныя религіозныя войны и вообще тѣ преступленія, которыми издревле пятналъ себя человѣчество — какъ

---

только оттѣнкахъ и варіаціяхъ, и поэтому образуютъ устойчивый матеріалъ для сужденія о романтизмѣ, можно придти только къ такой именно схемѣ.

Дѣйствительно, одинъ изъ только что названныхъ почтенныхъ критиковъ моей книги, графъ Ф. де Ла-Барть, авторъ очень интереснаго и цѣннаго изслѣдованія, посвященнаго французскому романтизму, находя мое опредѣленіе „романтизмъ-идеализмъ“ не приложимымъ къ французской романтикѣ, самъ, однако, въ своихъ конечныхъ выводахъ находитъ возможнымъ въ сложномъ міросозерцаніи французскаго романтизма между другими его элементами видѣть также идеализмъ и индивидуализмъ въ синтезѣ съ реализмомъ и соціализмомъ; въ литературномъ отношеніи французскій романтизмъ онъ склоненъ считать „стремленіемъ къ художественному универсализму“ (Op. cit., стр. 354; также А. М. Евлаховъ, „Что же такое романтизмъ?“—по поводу книги гр. Ф. де Ла-Барта,—Журн. Мин. Нар. Пр. 1909, авг., стр. 392 и слѣд. и С. В. Соловьевъ, „Новое изслѣдованіе по исторіи французскаго романтизма“,—по поводу той же книги,—Харьковъ, 1911, стр. 16 и слѣд.). Такимъ образомъ своимъ опредѣленіемъ французскаго романтизма гр де Ла-Бартъ не отвергаетъ вообще предложенной мною—въ согласіи съ другими изслѣдователями романтизма—схемы (опредѣленіе „романтизмъ—идеализмъ“ онъ даже считаетъ совершенно справедливымъ по отношенію напр. къ Германіи,—op. cit. стр. 438), но лишь не принимаетъ ее по отношенію къ французской романтикѣ, которая представляется ему явленіемъ болѣе сложнымъ, имѣющимъ къ тому же свои особыя, мѣстныя отличія.

объяснить все это? Ради чего притѣснители брали на себя столько труда и опасностей? Неужели они надѣялись такимъ образомъ увеличить лишь количество своихъ физическихъ удовольствій? Конечно, нѣтъ! „Что я хочу, то должно быть! Что я сказалъ, должно исполнить!"—вотъ что было всегда единственнымъ принципомъ всѣхъ такихъ людей и народовъ" [1]). Но на дальнѣйшихъ ступеняхъ развитія начинается въ человѣчествѣ безконечное приближеніе къ абсолютной свободѣ, которая проявляется въ дѣятельности по внутреннему индивидуальному убѣжденію, въ свободномъ исполненіи того индивидуальнаго призванія и назначенія, которое въ міровомъ порядкѣ предоставлено каждому отдѣльному человѣку. Впослѣдствіи одинъ изъ младо-гегеліанцевъ, именно Фейербахъ, опредѣлилъ съ точки зрѣнія индивидуализма сущность историческаго процесса въ человѣческомъ обществѣ слѣдующимъ образомъ: „Исторія человѣчества состоитъ исключительно въ постепенномъ расширеніи свободы индивидуума, расширеніи границъ, которыя въ предыдущія времена принимали за границы, установленныя для всего человѣчества, а потому абсолютныя, переступать которыя невозможно. Но всякій разъ будущее доказывало, что предѣлы, считавшіеся установленными для всего человѣчества, служили лишь ограниченіемъ правъ индивидуума" [2]). Это опредѣленіе въ особенности приложимо къ новой исторіи Европы.

Индивидуализмъ характеризуетъ вообще новую исторію, въ особенности начиная съ XVI столѣтія. Съ тѣхъ поръ, какъ стали слабѣть средневѣковые устои и авторитеты, поглощавшіе человѣческую личность, все болѣе выдвигались на первый планъ интересы и запросы личности. Уже великіе гуманисты Италіи воспитали высокое уваженіе къ индивидуальной жизни человѣка. Великаго Петрарку болѣе всего занимали явленія его внутренней жизни, на которыхъ онъ изучалъ вообще при-

---

[1]) Н. Ланге. Исторія нравственныхъ идей XIX в., Спб. 1888, стр. 100

[2]) Лео Бергъ. Сверхчеловѣкъ въ современной литературѣ, пер. А. Горбуновой, М. 1905, стр. 10.

роду человѣческаго духа. Однажды, разсказываетъ онъ [1]), стоя на вершинѣ Мон-Ванту и любуясь видомъ снѣжныхъ Альпъ и „возлюбленныхъ полей Италіи“, онъ невольно вынулъ изъ кармана любимую свою книжку „Исповѣдь блаженнаго Августина“ и, открывши ее, сразу же напалъ на слѣдующее мѣсто: „Люди идутъ созерцать вершины горъ, они идутъ дивиться громадамъ морскихъ волнъ, простору океана и вращенію небесныхъ свѣтилъ, но благодаря этому они забываютъ о самихъ себѣ“. „Прочтя эти слова“, говоритъ Петрарка, „я испугался, закрылъ книгу и разгнѣвался на самого себя, на это созерцаніе земного, тѣмъ болѣе, что я давно уже имѣлъ случай поучиться даже у языческихъ философовъ тому, что только человѣческій духъ единственно великъ и достоинъ удивленія, и я молча покинулъ вершину и отъ внѣшняго міра обратился къ своему внутреннему“. Такъ сосредоточился Петрарка на самопознаніи; отсюда же начинается его „исканіе человѣка“, которое проходитъ чрезъ всѣ его философскіе трактаты [2]). Онъ искалъ человѣка всюду—въ свободѣ и рабствѣ, въ счастьи и несчастьи, на папскомъ престолѣ, въ тихой семьѣ, въ домашнемъ хозяйствѣ. Быть человѣкомъ и видѣть въ другомъ человѣка для гуманиста — высшее состояніе и высшая цѣль. „Я вѣрю“, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ трактатовъ (De vita solitaria), „что благородный духъ человѣка ни на чемъ не успокоится, кромѣ какъ на Богѣ, цѣли нашего существованія, кромѣ какъ на себѣ самомъ и на своихъ внутреннихъ стремленіяхъ (arcanae curae suae), кромѣ какъ на другой душѣ, близкой ему въ силу большого сходства, ибо хотя удовольствіе намазано самымъ липкимъ клеемъ..., однако оно не можетъ слишкомъ долго привязывать къ землѣ его могучія крылья“. Отсюда—самопознаніе есть высшее изъ человѣческихъ

---

[1]) Въ письмѣ отъ 26 окт. 1335 г. къ монаху Діониджи, изъ мѣстечка Санъ-Сепольхро. (Ср. Фойгтъ. Возрожденіе классической древности, перев. И. П. Рассадина, М. 1884, стр. 124 и сл.).

[2]) Ср. М. Кореллинъ. Ранній итальянскій гуманизмъ и его исторіографія, вып. I, глава I.

знаній. „Хотя бы ты и зналъ все тайное“, говоритъ Петрарка въ трактатѣ „De vera sapientia“, „ширину земли, глубину моря, высоту неба, но если ты себя не знаешь, то ты будешь похожъ на человѣка, воздвигающаго зданіе безъ фундамента: не постройку ты дѣлаешь, а разрушеніе“. Самъ Петрарка глубоко вдумывался въ человѣческую природу; при чемъ особенное вниманіе удѣлилъ человѣческому духу: похвальба физической силой есть, по выраженію Петрарки, „похвальба вола“ (taurina gloria, въ трактатѣ „De remediis utriusque fortunae“), а сознаніе величія духа есть признакъ истиннаго благородства души. Поэтому истинно-благородный человѣкъ создается не знатнымъ происхожденіемъ, но самовоспитаніемъ и личнымъ трудомъ: „Verus nobilis non nascitur, sed fit“, говоритъ онъ (въ трактатѣ „De remediis...“), и эта фраза открываетъ собою исторію европейскаго индивидуализма и демократизма [1]). Вслѣдъ за Петраркой тотъ же принципъ индивидуализма талантливо разъясняютъ и другіе гуманисты въ различныхъ родахъ науки и литературы.

Между эпохою возрожденія и просвѣтительной философіи лежатъ три вѣка, но идейное родство обѣихъ эпохъ тѣмъ не менѣе не подлежитъ никакому сомнѣнію. Ученіе Николая Кузанскаго и Бруно о человѣкѣ - микрокосмѣ, метафизическій индивидуализмъ Лейбница, эмпиризмъ Локка, скептицизмъ Вольтера, проповѣдь „естественнаго состоянія“ Руссо—все находится въ непосредственномъ родствѣ съ идеями гуманизма и въ концѣ концовъ приводитъ къ одной задачѣ — индивидуальному развитію человѣка. Но индивидуализмъ, являющійся главнымъ двигателемъ въ духовномъ развитіи новой Европы, въ разныя эпохи носитъ на себѣ извѣстную окраску. Въ

---

[1]) Конечно, нельзя не согласиться съ мнѣніемъ проф. С. В. Соловьева (Изв. отд. р. яз. и сл. Имп. Ак. Н., 1910, т. XV, кн. 4, стр. 303 и слѣд.), что индивидуалистическія и демократическія идеи не чужды были публицистикѣ и литературѣ средневѣковья (бл. Августинъ, Ѳома Аквинатъ, Манегольдъ, Жанъ де Мёнъ и др.); тѣмъ не менѣе эпоху возрожденія приходится признать такимъ моментомъ ихъ расцвѣта, послѣ котораго онѣ развивались и крѣпли непрерывно.

XVIII вѣкѣ главнымъ борцомъ за свободное индивидуальное развитіе личности является, конечно, Вольтеръ, царившій надъ умами современниковъ; но уже въ началѣ XIX столѣтія Вольтеръ уступаетъ свое первенствующее мѣсто Руссо, который въ теченіе по крайней мѣрѣ, полустолѣтія продолжаетъ обаятельно дѣйствовать на умы молодежи, особенно въ литературныхъ сферахъ. Индивидуализмъ Руссо зиждется на ученіи о естественномъ состояніи человѣка и въ этомъ отношеніи онъ имѣетъ много общаго съ исканіемъ человѣка у Петрарки. Руссо всегда начинаетъ свои разсужденія о человѣческой природѣ съ твердаго убѣжденія въ исконной непорочности и красотѣ человѣческаго духа, не тронутаго цивилизаціей. Человѣкъ родился добрымъ, говоритъ онъ въ „Разсужденіи о неравенствѣ среди людей“ („Discours sur l'inégalité parmi les hommes“); — онъ сдѣлался дурнымъ, когда вошелъ въ составъ общества [1]). Какъ же поправить эту ошибку? Нужно возвратиться назадъ, къ прежнему природному состоянію, разсуждаетъ Руссо. Человѣчество должно было, по мнѣнію Руссо, оставаться въ природномъ состояніи... Нужно вновь его найти и къ нему вновь вернуться. Насъ отдѣляютъ отъ него вѣка... Сотремъ исторію, говоритъ онъ, это краткое заблужденіе, это тяжелое видѣніе ночи, пережитой человѣчествомъ [2]). Это приглашеніе вернуться къ природному состоянію болѣе всего Руссо относитъ къ молодому поколѣнію, которое еще можетъ воспитать свои индивидуальныя наклонности вдали отъ тлетворнаго вліянія цивилизованнаго общества. Въ своемъ „Эмилѣ“ пытается онъ показать, какъ слѣдуетъ воспитывать молодого человѣка, „чтобы не испортить“, какъ выражается онъ, „человѣка природы, приноравливая его къ обществу“. Въ этомъ произведеніи Руссо даетъ образецъ такого воспитанія, которое направляетъ ребенка къ естественной простотѣ и непорочности. Главными нервами природы человѣка Руссо считаетъ естественное настроеніе и чувство и неразрывную съ нимъ добро-

[1]) Ср. E. Faguet. Dixhuitième siècle: Jean-Jaques Rousseau, Paris, 20-me ed., p. 334.

[2]) Тамъ же, стр. 335.

дѣтель, которая, по его мнѣнію, свойственна душѣ человѣка именно въ его естественномъ состояніи; поэтому истинныя, независимыя отъ общественныхъ условій проявленія сердца и души онъ разсматриваетъ какъ самый возвышенный, благородный актъ въ человѣческомъ развитіи. „Новая Элоиза“, дѣйствительно, является апоѳеозомъ нѣжнаго чувства; типы нѣжнаго сердца и прекрасной души, вычерченные авторомъ въ этомъ произведеніи, производили на читателей глубокое впечатлѣніе силой чувства, чистотой нравственныхъ убѣжденій и любовью къ простотѣ и природѣ. Возвратившись къ естественному своему состоянію, люди могутъ, по мысли Руссо, составить и настоящее свободное общество, въ которомъ „каждый, соединяясь со всѣми, повинуется только самому себѣ и остается такъ же свободенъ, какъ и прежде“. Чтобы образовать такое общество, нужно вернуться опять-таки къ первичной, природной свободѣ (la liberté primitive), когда индивидуальность не чувствовала себя связанной условными цѣпями цивилизаціи. „Человѣкъ рожденъ свободнымъ и вездѣ находится въ цѣпяхъ“, такими словами Руссо начинаетъ „Общественный договоръ“. Таковъ конечный идеалъ Руссо: близость къ природѣ, культъ личности и естественнаго движенія ея сердца и души, общественное равенство и братство. Тутъ много родственнаго съ гуманизмомъ: ту же любовь къ природѣ, то же самосозерцаніе и уваженіе ко всякой другой индивидуальности независимо отъ ея общественнаго положенія, то же предпочтеніе нравственности разуму—найдемъ и у Петрарки.

Однако индивидуализмъ Руссо отличается отъ индивидуализма гуманистовъ и Вольтера двумя довольно рѣзкими чертами: мысли Руссо о личности человѣка всюду проникнуты, во-первыхъ, демократизмомъ [1]), во-вторыхъ, идеализмомъ, потому что вращаются не столько въ области разума и строгой логики, сколько въ области чувства, воображенія, фантазіи. Индивидуализмъ Вольтера былъ, правда, тоже демократиченъ,

[1]) Въ этомъ отношеніи „Общественный договоръ“ можно смѣло поставить въ одну группу даже и съ „Новой Элоизой“, гдѣ по мысли автора аристократка Юлія любитъ плебея Сенъ-Пре.

но въ то же время онъ былъ и раціональнымъ, а не идеалистическимъ. Въ концѣ XVIII и особенно въ началѣ XIX стол., когда началась реакція противъ исключительнаго господства разума, индивидуализмъ пошелъ рука объ руку съ метафизическимъ идеализмомъ. Неудовлетворенность выводами разума и вѣка просвѣщенія открываетъ широкій просторъ чувству и воображенію и вызываетъ стремленіе въ область идеальныхъ видѣній и субъективныхъ настроеній и порывовъ; тогда-то и начинается это „недовольство настоящимъ, туманное желаніе высшей красоты, идеальнаго счастья“ [1]), которое такъ характеризуетъ переходъ отъ вѣка разума къ XIX-му столѣтію. Съ этихъ поръ усиливаются тѣ порывы за предѣлы окружающаго насъ міра, которые охватываютъ и философію, и науку, и искусство. Такимъ образомъ индивидуализмъ конца XVIII и начала XIX стол. получаетъ идеалистическій характеръ. Въ этомъ движеніи Руссо, защитникъ чувства и настроенія и врагъ сухого разсудка, былъ однимъ изъ исходныхъ пунктовъ: онъ оказывалъ вліяніе на Гердера и Гете, Канта и Фихте въ Германіи, на Байрона въ Англіи, на Шатобріана, Сталь, Жоржъ-Зандъ во Франціи. И почти полвѣка, именно во всю первую половину XIX столѣтія, продолжаетъ онъ царить надъ умами мыслящаго и чувствующаго европейскаго общества, пока около 50-хъ годовъ опять не выступили на видное мѣсто принципы Вольтера. Почерпая у Руссо любовь къ первобытной простотѣ въ области сердца и души и уваженіе къ индивидуальности каждаго человѣка и каждаго народа, послѣдователи его, сообразно съ этимъ, обратились и къ подходящимъ литературнымъ источникамъ и образцамъ; такими образцами были напр. величественныя творенія Гомера—о народно-поэтической, первобытной Греціи, „Оссіановскія“ искусственныя пѣсни—о простомъ, безъискусственномъ чувствѣ и героизмѣ древнихъ кельтовъ, драмы Шекспира—объ истинныхъ, естественныхъ движеніяхъ человѣческой души. Вотъ гдѣ начало того момента въ жизни европейскаго общества и литературы конца XVIII и на-

[1]) Тэнъ. Развитіе полит. и гражд. свободы въ Англіи..., стр. 397.

чала XIX стол., который именуется романтизмомъ. Романтизмъ это та часть обширной программы гуманизма, которая была разработана только на границѣ XVIII и XIX столѣтій, т.-е. черезъ четыре съ половиною вѣка послѣ того, какъ Петрарка громко провозгласилъ принципъ индивидуализма.

Въ эпоху романтизма конца XVIII и начала XIX стол. индивидуализмъ, въ силу цѣлаго ряда историческихъ условій и главнымъ образомъ благодаря росту демократическаго духа и чувства политической свободы, получаетъ особенно широкое распространеніе среди общественныхъ группъ и нерѣдко находитъ рѣзкое выраженіе въ лицѣ отдѣльныхъ дѣятелей исторіи. „Конецъ XVIII и начало XIX вѣка, говоритъ нашъ изслѣдователь эпохи романтизма [1]),—время, когда принципъ индивидуализма достигъ высшей своей силы. Являются и такія личности, какъ солдатъ Наполеонъ и философъ Фихте: одинъ—пытающійся завладѣть всѣмъ міромъ, другой—взирающій на весь міръ, какъ на созданіе своего мышленія, своего я". Воспитанный вѣками и возмужавшій на границѣ XVIII и XIX стол., европейскій индивидуализмъ получаетъ въ эту пору въ философскихъ системахъ еще болѣе прочное научное выраженіе, чѣмъ раньше въ трактатахъ Петрарки и Руссо. Выразителями являются главнымъ образомъ Кантъ, Фихте, Шеллингъ и ихъ послѣдователи. Если Кантъ „уже близокъ былъ къ вѣрѣ, что „я" есть нѣчто абсолютное, нѣчто существующее само по себѣ", то для Фихте „я" является уже именно „чѣмъ-то абсолютнымъ, существующимъ независимо отъ всего остального" [2]). Его ученіе дѣлаетъ человѣческое „я" неограниченнымъ творцомъ и властелиномъ всей вселенной. „По идеѣ Фихте", говоритъ нашъ истолкователь фихтіанизма, „наше „я" производитъ изъ себя все, какъ паукъ извлекаетъ изъ себя нити паутины, и это все есть то же самое „я", потому что его только существованіе намъ извѣстно. Такимъ образомъ, по мнѣнію Фихте, природа есть произведеніе нашего духа, и вещи существуютъ

[1]) А. Шаховъ. Гете и его время, Спб. 1897, стр. 44.
[2]) Лео Бергъ. Сверхчеловѣкъ, стр. 2.

только потому, что мы о нихъ мыслимъ“ [1]). Въ ученіи Фихте человѣческая индивидуальность съ демонической гордостью заявляетъ о своемъ всемогуществѣ. „Нѣтъ ничего—разсуждаетъ Фихте—кромѣ личнаго „я“, и это „я“—все, и все, что существуетъ—„я“. Вселенная есть не что иное, какъ мячъ, который наше „я“ подбрасываетъ одной рукой, чтобы поймать его другой: „я“ признается органомъ или воплощеніемъ человѣческаго бога. Каждый становится богомъ, поскольку онъ осмѣливается стать имъ“ [2]) По ученію Шеллинга, каждое индивидуальное бытіе есть опредѣленное выраженіе абсолюта; отсюда высокое, почти божественное значеніе человѣческой личности, какъ отраженія мірового духа: „по Шеллингу, богъ страстно ждетъ своего освобожденія въ человѣкѣ, въ человѣческомъ духѣ, человѣческомъ сознаніи“ [3]). Къ той же мысли о новомъ божествѣ, воплощенномъ въ человѣческой индивидуальности, приходитъ и Гегель [4]). Одинъ изъ „лѣвыхъ“ послѣдователей Гегеля, Фейербахъ, идетъ еще дальше въ обожествленіи человѣческой индивидуальности: онъ „считаетъ основной мыслью, отмѣтившей неизбѣжный поворотъ міровой исторіи, открытое исповѣданіе ученія homo hominі deus est“, признаніе, что „человѣкъ не можетъ себѣ представить, придумать, понять, вѣрить, желать, любить и признать никакого другого существа за абсолютное, за божественное, кромѣ человѣческаго“ [5]). Такимъ образомъ вмѣстѣ съ историкомъ новѣйшаго индивидуализма приходится признать, что культъ личности въ новѣйшее время является „поворотнымъ пунктомъ исторіи“ [4]) и что, слѣдовательно, „всѣ усилія новѣйшей культуры направлены на человѣчество, т.-е. въ концѣ концовъ на индивидуума: вездѣ, гдѣ только ниспровергается какая-нибудь догма, взамѣнъ ея возводится человѣкъ“ [5]).

Въ исторіи этого безконечно развивающагося индивидуума

---

[1]) Іос. Михневичъ. Опытъ простого изложенія системы Шеллинга. Одесса, 1850.

[2]) Лео Бергъ, стр. 2.

[3]) Тамъ же, стр. 6.

[4]) Тамъ же, стр. 5.

[5]) Тамъ же, стр. 16.

романтизмъ конца XVIII и начала XIX стол. является однимъ изъ важныхъ моментовъ. Уже старѣйшіе его изслѣдователи отмѣтили эту основную черту романтизма. Ю. Шмидтъ и Эйхендорфъ, разсматривающіе романтизмъ главнымъ образомъ съ его положительной стороны, ставили нѣмецкую романтику въ духовную связь съ вѣкомъ реформаціи и въ той же отдаленной эпохѣ искали корней для романтическаго индивидуализма. Оттуда, по мнѣнію Ю. Шмидта, ведетъ свое начало тотъ „субъективный идеализмъ“ („der subjective Idealismus“), который характеризуетъ философію Канта и Фихте, поэзію „бури и натиска“ и нѣмецкую романтическую школу, а по выраженію Эйхендорфа, ученіе Фихте объ абсолютномъ „я“ является лишь завершеніемъ научныхъ выводовъ эпохи реформаціи [1]). Реформація, полагаетъ Эйхендорфъ, возвела въ принципъ освобожденіе личности („die revolutionaire Emanzipation der Subjectivität“) и поставила индивидуумъ выше догмы; это основное направленіе сообщилось затѣмъ и всей новѣйшей нѣмецкой поэзіи; особенно же оно выразилось рѣзко въ концѣ XVIII стол., когда смѣлая и гордая молодежь „бури и натиска“ („eine übermüthige Prometheusjugend“) возстала противъ всего условнаго, стѣсняющаго индивидуальное развитіе, и въ искусствѣ, и въ жизни вообще. Тогда то и открылась „борьба на жизнь и на смерть“ противъ всѣхъ историческихъ формъ въ церкви, государствѣ, обществѣ, наукѣ и искусствѣ [2]). Точку зрѣнія Ю. Шмидта и Эйхендорфа раздѣляютъ большинство новѣйшихъ историковъ нѣмецкой литературы, которые также видятъ сущность нѣмецкой романтики въ индивидуализмѣ, считая его однимъ изъ факторовъ духовнаго развитія Европы; проявленіе этого индивидуализма, доходящее до культа лич-

[1]) Eichendorf, стр. 260—270: „Fichte's Anfang in seinem System des absoluten Ichs (1794) bildet nur die Spitze aller wissenschaftlichen Consequenzen der Reformation“.

[2]) Eichendorf, стр. 3: „Und so erhob sich denn, um dieses souveraine Subject von jeglichem Hemmniss zu befreien, sofort ein Kampf auf Tod und Leben gegen alle historischen Formen in Kirche, Staat, Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst“.

ности, они наблюдаютъ уже въ періодѣ „бури и натиска“. Такъ напр., „въ романѣ Гете („Страданія молодого Вертера“) особенно ярко выступаютъ“, читаемъ въ одной изъ современныхъ исторій нѣмецкой литературы, „всѣ характерныя черты эпохи „геніевъ“: стремленіе освободиться отъ всего условнаго, отъ всего узкомѣщанскаго, которое вытекало въ концѣ концовъ изъ призыва Руссо вернуться къ природѣ; признаніе самодержавія чувства и безграничныхъ правъ индивидуальности“ [1]). Въ другомъ лагерѣ и слѣдователей нѣмецкаго романтизма, гдѣ къ этому явленію замѣчается отрицательное отношеніе, какъ къ „ложной идеалистикѣ“ или „произвольному индивидуализму“, одинаково признается индивидуализмъ однимъ изъ основныхъ мотивовъ романтическаго идеализма. По выраженію Геттнера, сущность романтической школы это ложная идеалистика и чуждый реальной жизни субъективизмъ; субъективизмъ—это тайна новоромантической поэзіи; въ ней индивидуумъ ставитъ себя выше окружающаго міра и стремится сдѣлать его предметомъ своего произвола [2]). Поэтическое выраженіе этого субъективизма или индивидуализма Геттнеръ видитъ уже въ періодѣ „бури и натиска“, когда открылась борьба противъ прозы жизни и страстное стремленіе къ поэзіи и свободѣ, борьба идеализма противъ реализма, или, точнѣе, борьба „субъективизма противъ разумнаго объективнаго міропорядка“ [3]). Для историка куль-

[1]) Фр. Фогтъ и Макс. Кохъ. Исторія нѣмецкой литературы, стр. 564.

[2]) Hettner, стр. 32 и 38: „Das Wesen der romantischen Schule war ja durch und durch falsche Idealistik und realitätsloser Subjectivismus gewesen“... „Das Geheimniss der neuen romantischen Poesie ist der Subjectivismus. Nur der Einzelne, das Subject, hat Recht. Die ihm gegenüberstehende Welt, das Object, ist ihm schlechthin unterthan und sein willfähriges Spielwerk“.

[3]) Hettner, стр. 36: „Was ist der Inhalt jener Zeit? Was ihr ungestümes Stürmen und Drängen?... Es ist ein Kampf der Natur gegen die herzschnürende Prosa, ein Angstruf des gepressten Herzens nach Poesie und Freiheit...“ Ueberall „ein unbedingtes Streben, alle Grenzen zu durchbrechen, überall „unmuthiger Uebermuth“... Der Kampf des Idealismus gegen den Realismus, oder genauer des Subjectivismus gegen die vernünftige objective Weltordnung ist der Kampf und die Noth der ganzen Zeit“.

туры, который задается вопросомъ: кто двигаетъ духовное развитіе человѣчества—grosse Individuen oder breite Schichten? Genie oder Milieu?—и, желая видѣть въ исторіи по меньшей мѣрѣ равновѣсіе этихъ двухъ факторовъ, ни въ какомъ случаѣ не допускаетъ преобладанія перваго изъ нихъ,—для такого историка романтическій индивидуализмъ представляется также явленіемъ отрицательнымъ: онъ разсматривается какъ культурный факторъ, нарушающій гармоническое развитіе человѣчества, какъ узурпаторъ, захвативший себѣ ту историческую роль, которая принадлежитъ ему только совмѣстно съ другимъ факторомъ, каковымъ, въ противоположность мощному индивидууму, является общественная масса. Таковъ, напр., взглядъ Т. Циглера [1]). Въ основѣ романтизма онъ видитъ ничѣмъ не связанное, свободное „я“ [2]); это аристократическое „я“ ставитъ себя выше всѣхъ условностей жизни [3]). Отрицательной стороной романтическаго индивидуализма Циглеръ считаетъ именно присвоенное себѣ геніальной личностью право освобождаться отъ всѣхъ принятыхъ формъ обыденной жизни и свободно предаваться личному счастью [4]). Задолго до появленія труда Циглера мы, впрочемъ, встрѣчаемъ уже подобное же отношеніе къ романтическому индивидуализму—у нѣкоторыхъ изъ болѣе раннихъ историковъ культуры XIX столѣтія. Такъ, напр., по выраженію Г. Гонеггера, романтическій индивидуализмъ есть „произвольный индивидуализмъ“, который, безъ всякаго основанія и права „желаетъ быть чѣмъ-то необыкно-

---

[1]) Th. Ziegler. Die geist. und social. Strömungen des neunz. Jahrh.

[2]) Тамъ же, стр. 44: „Schöpferisch ist in Wahrheit nur das geniale, das künstlerische, das an nichts gebundene und sich selber an nichts bindende Ich“.

[3]) Тамъ же, стр. 45: „(Die Romantiker) befreiten dieses vornehme, aristokratische, hochgebildete Ich von den Schranken der Sitte und Sittlichkeit im Leben“.

[4]) Тамъ же, стр. 50: (Отрицательное въ романтизмѣ это—) „das Recht und die Macht des genialen Einzelnen, der sich nicht binden liesst durch Gesetz, Sitte und Konvention der gewöhnlichen Philistermoral und sich ausleben wollte in schrankenloser Freiheit des eigenen Fühlens und Geniessens“.

веннымъ"; это—„дерзко заносчивый духъ, который, чванясь самимъ собою, желалъ бы выдать себя за геройское мужественное сознаніе"; это—„самонаблюденіе, самовосхищеніе, самообожаніе, возведеніе ничтожнаго въ важное" [1])... При такомъ отрицательномъ отношеніи къ романтизму и Гонеггеръ, и Циглеръ, однако, считаютъ, вмѣстѣ съ другими изслѣдователями, сущностью его именно индивидуализмъ, доходящій до культа личности.

Историки французской литературы склонны также считать индивидуализмъ сущностью романтическаго направленія. Уже современные французскому романтизму критики видѣли въ немъ художественное выраженіе свободы личности: самъ В. Гюго сопоставлялъ литературную революцію своего времени съ великой революціей 1789 года, усматривая въ той и другой революціи единый принципъ свободы [2]). У новѣйшихъ обозрѣвателей эпохи франц. романтизма очень часто наблюдается сопоставленіе понятій романтизмъ и индивидуализмъ. Такъ F. Brunetière находитъ тѣсную связь между терминами лиризмъ, индивидуализмъ и романтизмъ (solidarité des trois termes—de lyrisme, individualisme et romantisme) и сущностью романтизма считаетъ именно „l'émancipation de moi"; при этомъ причины, способствовавшія развитію индивидуализма въ франц. жизни и поэзіи нач. XIX стол., онъ видитъ въ французской революціи, во вліяніи иностранныхъ, въ особенности же сѣверныхъ, литературъ и во вліяніи нѣмецкой философіи [3]). Такую же связь между „тремя терминами" признаетъ и Г. Лансонъ. Въ романтизмѣ онъ видитъ „господство лиризма". „Но что такое лиризмъ? Лиризмъ, это—прежде всего проявленіе нашей индивидуальности; но въ чемъ мы легко и постоянно оказываемся индивидуальными? Не въ нашихъ идеяхъ безъ сомнѣнія; гораздо чаще—въ явленіяхъ нашей чувстви-

---

[1]) Г. Гонеггеръ. Исторія культуры девятнадцатаго вѣка, Спб. 1869, т. I, стр. 215—216.

[2]) A. Michiels. Histoire des idées littéraires..., II, стр. 183—4.

[3]) Ferd. Brunetière. L'évolution de la poesie lyrique..., I, стр. 141 и сл.

тельности. Эти явленія бываютъ двоякаго рода: чувства любви и надежды, ненависти и отчаянія, восторженности и меланхоліи—съ одной стороны и ощущенія—съ другой" [1]). Что такое индивидуализмъ?—задаетъ вопросъ другой историкъ франц. литературы по поводу романт. школы во Франціи. И отвѣчаетъ, что, примѣнительно къ поэтическому творчеству, это—освобожденіе творческой мысли отъ всякихъ условныхъ правилъ, это проявленіе въ творчествѣ личнаго вкуса и личной иниціативы, это „протестантизмъ въ литературѣ", какъ выразился одинъ изъ франц. критиковъ времени романтизма [2]). Поэтому иногда романтическая поэзія называется поэзіей субъективнаго вдохновенія (une littérature d'inspiration toute subjective) [3]), и въ этомъ отношеніи субъективная романтическая поэзія, выражающая индивидуальное я (l'expression du moi), противополагается античной поэзіи, гдѣ личное чувство и настроеніе еще не прорывались такъ смѣло сквозь сдерживавшія его отовсюду преграды государственнаго и общественнаго порядка [4]). Даже отрицательное отношеніе къ романтизму, которое мы наблюдаемъ у нѣкоторыхъ новѣйшихъ изслѣдователей этой эпохи въ исторіи французской литературы, не исключаетъ признанія за нимъ, въ видѣ характернаго признака, крайняго субъективизма, доходящаго иногда, какъ думаютъ изслѣдователи этого рода, до болѣзненнаго самообмана, почти до галлюцинаціи [5]). Индивидуализмъ англійской романтики

[1]) Г. Лансонъ. Исторія франц. лит., т. II, стр. 371—2.

[2]) Л. Пти-де-Жюльвиль. Илл. ист. франц. лит., стр. 179—180.

[3]) E. Faguet. Dix-neuvième siècle, стр. VII.

[4]) Alb. Le Roy. L'aube du théâtre romantique, стр. 6: „De vrai, le romantisme c'est surtout l'expansion du moi. L'individu, qui dans la littérature classique est comprimé aussi étroitement que dans les institutions du vieux régime féodal et monarchique, renverse les barrières et s'échappe à travers champs. Chez les romantiques, l'écrivain, au lieu de s'abriter derrière son oeuvre, se met en évidence et livre au public le tréfonds de son coeur et de sa pensée. Au genre impersonnel se substitue le débordement de la personnalité, qui s'abandonne et se complaît à des effusions lyriques".

[5]) Ср. Pierre Lasserre, „Le Romantisme Français", P. 1907, стр. 185 и слѣд., 535 и слѣд. Характеристику отрицательныхъ явленій и возлѣй-

нач. XIX стол. настойчиво подчеркивается новѣйшими историками литературы. Для И. Тэна Байронъ является въ своей поэзіи (напр. въ „Манфредѣ“) нѣвцомъ личности, непобѣдимаго я [1]). Г. Брандесъ видитъ въ Байронѣ проявленіе той же страстной индивидуальности [2]). У болѣе раннихъ историковъ англ. литературы точка зрѣнія та же. Такъ, по мнѣнію Г. Морлея, лучшіе англійскіе умы въ эпоху романтизма чувствовали живую симпатію къ каждому, кто боролся за свободу личности и мысли; поэтому освободительный характеръ германской литературы періода Sturm-und-Drang'a и романтизма, особенно поэзіи Гете и Шиллера, замѣтно вліялъ на англійское творчество [3]). Впрочемъ иноземное вліяніе на англ. романтику не исключаетъ возможности самостоятельнаго развитія въ ней индивидуализма и даже ея вліянія на романтику континента: не только французскіе энциклопедисты, но и французскіе романтики питались, какъ это нерѣдко указываетъся [4]), англійскими идеями, и англійскій индивидуализмъ способствовалъ развитію индивидуализма во франц. литературѣ.

Конечно, романтики конца XVIII и начала XIX стол., хотя и захваченные этимъ общимъ культомъ индивидуальности, свойственнымъ эпохѣ, далеко не всегда возвышались въ своемъ служеніи идеѣ индивидуализма до той или другой строго научной системы, въ родѣ указанныхъ выше; нерѣдко они даже плохо понимали современную имъ философію или, понимая, не раздѣляли ея крайнихъ выводовъ. Но во всякомъ

---

ствій романтики см. также L. Maigron, „Le Romantisme et les Mœurs“, Paris. 1910.

[1]) Тэнъ. Исторія англійской литературы, ч. II, кн. IV. Новый вѣкъ: Лордъ Байронъ.

[2]) Г. Брандесъ. Главн. теч. лит. XIX ст., Англ. лит., гл. 16—18.

[3]) Henry Morley. English writers, London. 1864, стр. 105—6: „The best English minds were in direct sympathy with all who would break the narrow bounds set to the liberty of person or of thought. The spirit of German literature now, therefore, attracted many to its study, and it became a concurrent influence in the literature of England“.

[4]) Жюссеранъ. Исторія англійскаго народа въ его литературѣ. Спб. 1898, стр. 3.

случаѣ философскія ученія Канта, Фихте, Шеллинга и нѣк. др., сами порожденныя современной эпохой, замѣтно вліяли на своихъ современниковъ, особенно же на представителей романтизма. И дѣйствительно, для романтиковъ, выражаясь словами Новалиса, человѣческое я представлялось величайшей тайной, вѣчной загадкой, и всемірную исторію они разсматривали, какъ постепенное разрѣшеніе этой безконечной проблемы [1]). Для нихъ индивидуализмъ имѣлъ по преимуществу характеръ метафизическій, т.-е. они каждому индивидууму, какъ отраженію абсолютнаго, склонны были приписывать независимое реальное существованіе, и въ этомъ отношеніи они приближались не только къ своимъ современникамъ, въ родѣ Фихте, но и къ предшественникамъ, въ родѣ Лейбница. Изъ современныхъ же имъ философскихъ ученій романтики усваивали главнымъ образомъ то преклоненіе передъ сильно выраженной индивидуальностью, то любованіе своимъ я, то порываніе къ неограниченной личной свободѣ, нерѣдко даже къ необуздданному произволу, которыхъ не было еще ни въ трактатахъ Петрарки, ни въ философскихъ утопіяхъ Руссо, несмотря на все ихъ уваженіе къ человѣческому индивидууму. Особенно въ этомъ отношеніи дѣйствовало на романтиковъ ученіе Фихте. „Фихте—говоритъ Г. Брандесъ— возбуждалъ энтузіазмъ среди молодого поколѣнія. Подъ абсолютнымъ я понимали (какъ понималъ и самъ Фихте, хотя и въ другомъ смыслѣ) не идею божества, а мыслящее человѣческое существо, при чемъ стремленіе къ свободѣ, охватившее это я, его самовластіе и самопоклоненіе, благодаря которымъ оно съ произволомъ неограниченнаго властелина ставило весь внѣшній міръ ни во что по сравненію съ собой, проявились съ особенной силой у кучки забавно самовольныхъ, ироническихъ

[1]) Literaturblatt. 1846, № 72. S, 285–287: Novalis Shriften, крит. статья. Приводится одинъ изъ афоризмовъ Новалиса, помѣщенныхъ въ 3-й части его сочин., изд. 1846 года: „Das wu derbarste, das ewige Phänomen ist das e gene Dseyn. Das grösste Geheimniss ist der Mensch sich selbst. Die Auflösung dieser unendlichen Aufgabe in der That ist die Weltgeschichte".

и фантастическихъ молодыхъ геніевъ“ [1]). Такимъ образомъ, если уваженіе къ человѣческой индивидуальности досталось романтикамъ какъ наслѣдство отъ гуманистовъ, если оно разъяснено и упрочено въ ихъ сознаніи благодаря вдохновенной проповѣди Руссо, то подъ вліяніемъ современной имъ философіи, особенно ученія Фихте, это уваженіе къ индивидууму видоизмѣнилось въ воззрѣніяхъ романтиковъ въ культъ личности вообще и въ обожаніе въ частности сильной, оригинальной индивидуальности, которая ищетъ разрушить отживающую современность и силою своего геніальнаго я создать новый строй жизни. Отсюда въ романтизмѣ цѣлый рядъ поэтическихъ образовъ, олицетворяющихъ мощную, геніальную человѣческую личность, отсюда тѣ герои-титаны, которыми такъ увлекались люди эпохи романтизма. „Новый человѣкъ“, т.-е. человѣкъ XIX стол., выноситъ, по выраженію Тэна, на своихъ плечахъ изъ старой, предшествующей ему эпохи „всю тяжесть установившагося общества и принятыхъ догматовъ“, но выноситъ съ тѣмъ лишь, чтобы „ихъ преобразовать или разрушить“ [2]). Вотъ почему гордые и страстные выразители индивидуализма начала XIX стол., эти представители „бури и натиска“ въ разныхъ странахъ Европы, привносятъ въ свою дѣятельность презрѣніе къ старѣющимъ формамъ жизни, пламенныя мечтанія о лучшей дѣйствительности, преобразованной по высокому идеалу [3]. Но, чтобы разрушать старое и строить новое, нужны своеобразныя и недюжинныя духовныя силы, нужна страстная, кипучая натура, къ тому же первобытная, не испорченная цивилизаціей; на это послѣднее качество индивидуума съ особенной настойчивостью указывалъ, какъ мы уже видѣли, предшественникъ романтизма, Руссо, какъ на источникъ общественнаго возрожденія. Отсюда понятно, по-

[1]) Г. Брандесъ. Нѣм. лит., II.

[2]) Тэнъ. Англ. лит., 398.

[3]) Въ этомъ отношеніи романтики близко подходятъ къ Ибсену, индивидуализмъ котораго заключается въ признаніи необходимости свободнаго проявленія всѣхъ сторонъ человѣческаго я въ цѣляхъ освобожденія личности отъ гнета общественныхъ условностей.

чему герои романтизма—страстны, геніальны, непосредственно оригинальны и даже иногда первобытны по своей природѣ.

Культъ такого рода высшихъ по натурѣ индивидуальностей проходитъ яркою полосою по всѣмъ произведеніямъ европейскаго романтизма конца XVIII и начала XIX стол. Живые образцы этихъ „высшихъ натуръ“ на нѣмецкой почвѣ мы встрѣчаемъ уже въ представителяхъ Sturm-und-Drang'a, въ такъ называемыхъ „дикихъ геніяхъ“, которые если не были на самомъ дѣлѣ Uebermensch'ами, то по крайней мѣрѣ страстно хотѣли ими быть. Выразителями думъ и взглядовъ „дикихъ геніевъ“ являются Гете и Шиллеръ, которые были душою „бури и натиска“. Гете уже въ лицѣ Гёца („Гёцъ фонъ Берлихингенъ“) и затѣмъ въ лицѣ Вертера, Фауста, отчасти Вильгельма Мейстера (Lehrjahre) даетъ типъ высшей индивидуальности. Шиллеръ рисуетъ образецъ подобнаго романтическаго Uebermensch'a, напр., въ лицѣ Карла Моора, Донъ Карлоса, Вильгельма Телля. Замѣчательно, что въ „Гёцѣ“ мы встрѣчаемся въ лицѣ Адельгейды и съ мощной женской индивидуальностью, характеру которой поэтъ сообщилъ „бурю и натискъ своей собственной духовной сущности“ [1]). Подобныя олицетворенія сильнаго и своевольнаго я мы встрѣтимъ въ болѣе или менѣе художественной обработкѣ и у другихъ нѣмецкихъ поэтовъ эпохи: Тика, Новалиса, Вакенродера, Гоффмана и особенно Карла Иммермана. Этотъ послѣдній рисуетъ настоящаго сверхчеловѣка въ лицѣ своего героя Мерлина и склоненъ только сильнымъ индивидуальностямъ приписывать созданіе будущаго человѣческаго счастья. „Я пришелъ къ заключенію,—пишетъ онъ въ своихъ путевыхъ запискахъ,—что каждый толчокъ, полученный человѣчествомъ, всегда исходитъ отъ какого-нибудь индивидуума и что еще не было случая, чтобы цѣлая фракція въ сто тысячъ посредственностей создала что-либо новое. Все великое само снисходитъ въ толпу, она же не можетъ подняться до него. Масса существуетъ, чтобы облекать идею

---

[1]) H. Gschwind. Die ethischen Neuerungen der Früh-Romantik, стр. 7.

въ плоть или поклоняться ей, или ограничить произволъ“ [1]). Во французской романтической литературѣ портретная галлерея типовъ l'homme supérieur и la femme supérieure еще богаче, чѣмъ въ нѣмецкой. Такъ уже г-жа Сталь даетъ въ своихъ романахъ „Дельфина“ и „Коринна“ типы женскихъ высшихъ натуръ, которыя по своимъ нападкамъ на старѣющій общественный укладъ и по своему влеченію ко всему сильному, индивидуально-своеобразному стоятъ въ непосредственной близости къ Руссо; при этомъ г-жа Сталь требуетъ отъ общества вниманія къ высшимъ натурамъ и признанія ихъ реформаторской дѣятельности [2]). Шатобріанъ, любовавшійся больше всего собой какъ „высшей натурой“ [3]), воплощаетъ своего homme supérieur въ Рене, Сенанкурѣ—въ Оберманѣ, Бенжаменъ Констанъ—въ Адольфѣ, В. Гюго—въ Эрнани и т. д., и всюду мы видимъ культъ высшей натуры, хотя и различно представляемой [4]). Въ англійской литературѣ образцы сильныхъ индивидуальностей даны тоже многими поэтами; но особенно они ярко выражены въ титаническихъ образахъ поэзіи Шелли и Байрона. „Байронъ—по выраженію французскаго историка литературы—очаровалъ и изумилъ романтиковъ больше, чѣмъ Оссіанъ, чѣмъ Библія, чѣмъ Шекспиръ, Шатобріанъ“. Типъ

---

[1]) Лео Бергъ, стр. 89.

[2]) René Canat. Du sentiment de la solitude morale chez les romantiques et les parnassiens, Paris, 1904 p. 47: Le type de l'Homme Supérieur—ou plus exactement de la Femme Supérieure (mais cela revient au même). est très vigoureusement dessiné dans ces romans. Par ses jugements, très dédaigneux sur la société, par son culte pour toute espèce de supériorité et de distinction, M-me de Staël se fait l'écho des idées de Rousseau qui lui paraissait le plus grand homme de la fin du XVIII-e siècle, après M. Necker cependant. Elle est très voisine d'Obermann son contemporain. Et pourtant son idéal de l'homme supérieur est tout diff. rent. Obermann veut que la distinction s'efface: elle demande, au contraire, que la supériorité se révèle“...

[3]) E. Faguet. Dix-neuvième siècle, p. 20.

[4]) René Canat, p. 42: „Pour Obermann c'est le Rêveur, pour Hugo le Songeur, pour Vigny le Poète, pour Stendhal l'Homme différent, pour Dumas-fils l'Homme fort, pour Renan le Dilettante, pour Flaubert et les Goncourt l'Artiste“.

байроновскаго сверхчеловѣка вызвалъ удивленіе всей эпохи и былъ принятъ за идеалъ и образецъ: это именно типъ „героя, который не удаляется отъ общества, но живетъ въ немъ какъ существо мистическое, сатанинское, какъ величественная, обвѣянная меланхоліей тѣнь, носящая въ себѣ рану, въ тайну которой никто не можетъ проникнуть“ [1]). Байроновскіе типы сильныхъ индивидуальностей, какъ и такіе же типы Гете и Шиллера, обошли всѣ европейскія литературы. Вообще, типъ высшей натуры подъ различными именами получаетъ широкое распространеніе въ началѣ XIX стол. и въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи продолжаетъ жить на протяженіи всего вѣка.

---

3. Романтическій національнзмъ. Индивидуальная личность и индивидуальная національность въ воззрѣніяхъ романтизма; культъ національности въ романтизмѣ; особое вниманіе къ „высшимъ“ національностямъ. Связь романтическаго національнзма съ философскими ученіями эпохи; взгляды Шеллинга и Гегеля на права и задачи національности; культъ „высшей“ національности у Фихте и В. Шлегеля. Культъ національности въ нѣмецкой поэзіи, мысли Гердера о равноправіи всѣхъ націй въ дѣлѣ духовнаго развитія; вліяніе политическаго національнзма Гердера на поэтовъ-романтиковъ; поэтическій культъ національности у представителей нѣмецкаго романтизма. Два взгляда на романтическій національнзмъ у историковъ нѣм. литературы Hettner, Gervinus, Ziegler, Schultheiss. Національнзмъ у французскихъ романтиковъ; поэтизація національной старины у В. Гюго, Ш. Нодье, А. де-Виньи, Витэ и др. поэтовъ; художественная оцѣнка индивидуальныхъ особенностей европейскихъ націй въ произвед. г-жи Сталь „О Германіи“ и „Коринна“. Признаніе романтическаго національнзма историками франц. литературы. Романтическій національнзмъ въ англійской поэзіи к. XVIII и н. XIX стол. Чаттертонъ, Перси, Макферсонъ, Бернсъ—представители поэтическаго культа національности. Вальтеръ Скоттъ какъ поэтизаторъ старины. H. Morley, G. Craik и G. Brandes о національнзмѣ англійской романтики. Манцони и Тегнеръ какъ выразители романтическаго національнзма.

Развитіе самосознающей личности въ новоевропейской исторіи сопровождалось и постепеннымъ ростомъ національнаго самосознанія. Сознавая себя, человѣческая личность стремится опредѣлить свое отношеніе къ другимъ людямъ—къ ближайшей средѣ, къ націи, къ человѣчеству. Самоопредѣленіе національное есть такимъ образомъ одна изъ формъ въ развитіи

[1]) R. Canat, p. 49.

человѣческаго самосознанія, и въ этомъ смыслѣ національнизмъ въ жизни Европы сталъ развиваться за много вѣковъ до эпохи романтизма. Но романтики все-таки несомнѣнно способствовали росту національнаго самосознанія и при этомъ придали ему своеобразное направленіе, внеся въ его развитіе присущій романтизму субъективизмъ. Отъ признанія правъ отдѣльнаго индивидуума ими былъ сдѣланъ переходъ къ признанію правъ каждой національности на самостоятельное физическое и духовное существованіе: каждая нація есть такой же индивидуумъ въ кругу другихъ націй, какъ и каждая отдѣльная личность въ кругу другихъ личностей, и если необходимо признавать индивидуальныя права и особенности личностей, то въ такой же мѣрѣ нужно признать и индивидуальныя особенности той или другой націи. Такимъ образомъ все національное въ романтизмѣ получило характеръ чего-то индивидуальнаго, отмѣченнаго тѣмъ своеобразнымъ субъективизмомъ, который долженъ быть присущъ всякой отдѣльно взятой націи. Подобный индивидуалистическій взглядъ на „національное я“ въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи неизбѣжно долженъ былъ получить еще болѣе романтическій характеръ: романтики, возводя въ культъ вниманіе къ индивидуальности, унаслѣдованное ими еще отъ эпохи гуманизма, должны были придти и къ культу индивидуальной національности. Такъ именно и случилось. Дѣйствительно, культъ національнаго настоящаго и національнаго прошлаго во всѣхъ его проявленіяхъ составляетъ второй основной мотивъ романтизма конца XVIII и начала XIX стол. Но подобно тому какъ вниманіе къ человѣческому индивидууму осложнилось въ романтизмѣ особеннымъ вниманіемъ къ сильно выраженной индивидуальности, къ натурѣ недюжинной, геніальной, иногда почти сверхчеловѣческой, — такъ и вниманіе къ отдѣльной національности сопровождалось у романтиковъ культомъ сильныхъ или, такъ сказать, „высшихъ“ національностей, отмѣченныхъ особыми духовными чертами и какъ бы призванныхъ по преимуществу совершать дѣло исторіи.

Философія времени романтизма въ своихъ системахъ форму-

лировала этотъ культъ національности, свойственный эпохѣ. Шеллингъ въ „Системѣ трансцендентальнаго идеализма", вышедшей въ 1800 г., въ противовѣсъ французской космополитической философіи XVIII вѣка выразилъ мысль, что космополитическое состояніе есть идеальная цѣль исторіи [1]), но эта далекая цѣль можетъ быть достигнута черезъ посредство дѣятельности отдѣльныхъ индивидуумовъ и отдѣльныхъ народовъ: человѣческіе индивидуумы и цѣлые народы служатъ цѣли, предписанной міровымъ духомъ, и являются такимъ образомъ творцами и сотрудниками всемірно-исторической драмы. Отсюда понятно признаніе правъ каждой отдѣльной національности и вниманіе къ ней. Такимъ образомъ философія эпохи романтизма въ вопросѣ о національности и національной исторіи представляла собою реакцію къ „просвѣщенію XVIII вѣка", которое признавало только общія всѣмъ людямъ естественныя права человѣка и упускало изъ виду, что человѣкъ всегда принадлежитъ къ извѣстной національности, отличающейся отъ другихъ особыми, только ей свойственными, такъ сказать національно-индивидуальными чертами. Въ 20-хъ годахъ XIX столѣтія ученіе о національности и національномъ или народномъ духѣ было развито и системой Гегеля, но уже въ иномъ родѣ. Гегель разсуждаетъ такъ: „Исторія есть становленіе разумнаго государства; движущая сила этого развитія есть міровой духъ; его орудія—народный духъ и великіе люди. Отдѣльный народъ есть выраженіе только одного опредѣленнаго момента всеобщаго духа; какъ скоро онъ исполнилъ свое порученіе, онъ становится безправнымъ и уступаетъ господство другому, который теперь одинъ только обладаетъ правоспособностью" [2])... Здѣсь, помимо убѣжденія, что каждый народъ является своеобразнымъ духовнымъ цѣлымъ, ясно выражена еще и вѣра въ особую миссію нѣкоторыхъ отдѣльныхъ народовъ, являющихся въ тотъ или другой моментъ исторіи носителями мірового духа. Подобная философія наводила поэтовъ-романти-

---

[1]) Фалькенбергъ. Ист. нов. филос., Спб. 1894, стр. 400.

[2]) Фалькенбергъ, 489.

ковъ на мысль о культѣ отдѣльныхъ, отмѣченныхъ печатью мірового духа, національностей, подобно тому какъ философія Канта и Фихте и основанное на нихъ ученіе Фр. Шлегеля о геніальности приводили къ культу генія, т.-е. сильной въ духовномъ отношеніи индивидуальности. Впрочемъ еще Фихте практически примѣнилъ мысль о культѣ сильной духомъ національности къ своему нѣмецкому народу. „Между всѣми народами,— говоритъ онъ въ „Рѣчахъ къ нѣмецкому народу",—вы—тѣ, въ которыхъ яснѣе всего виденъ зародышъ человѣческаго усовершенствованія". Онъ полагаетъ, что „духовное возрожденіе человѣчества можетъ выйти только изъ нѣмецкаго народа, потому что это единственный древній и коренной народъ новаго времени — единственный, который сохранилъ свой живой языкъ (французскій—мертвъ) и возвысился до истинно творческой поэзіи и свободной науки. Различіе между нѣмцами и иностранцами заключается въ томъ, вѣрятъ ли въ основныя начала въ человѣкѣ, въ свободу, безконечное улучшеніе и вѣчный прогрессъ нашего рода, или не вѣрятъ во все это" [1]). Точно также и В. Шлегель выражаетъ въ своихъ берлинскихъ лекціяхъ мысль, что именно нѣмцамъ принадлежитъ въ будущемъ великая роль въ исторіи Европы, что именно нѣмцы могутъ „соединить въ одно цѣлое всѣ преимущества самыхъ разнообразныхъ національностей, вдуматься въ нихъ, прочувствовать ихъ и такимъ образомъ создать космополитическое средоточіе для человѣческаго ума". „Мы должны,— прибавляетъ онъ,—считать себя счастливыми тѣмъ, что принадлежимъ къ нѣмецкой націи, или тѣмъ, что принимаемъ участіе въ развитіи нѣмецкаго образованія, потому что только благодаря этому мы можемъ, въ противоположность съ односторонним пристрастіемъ другихъ націй, свободно обозрѣвать прошлое и возлагать свѣтлыя надежды на будущее" [2]). Иллюстраціей такого же культа націи можетъ служить и мессіа-

---

[1]) Фалькенбергъ, стр. 387.

[2]) Гаймъ, Ром. школа, стр. 687—8.

низмъ въ польской романтической поэзіи [1]), а также и общеевропейскій филэллинизмъ, который хотя и развивался подъ вліяніемъ многообразныхъ причинъ, однако носилъ на себѣ черты романтическаго національнаго.

Въ обычной литературной практикѣ романтизма, конечно, не было никакихъ строго формулированныхъ ученій о національности вообще и преобладающей національности въ частности, но зато было постоянное любованіе своимъ народнымъ прошлымъ, а иногда и настоящимъ, постоянная поэтизація родной старины и вмѣстѣ съ тѣмъ стремленіе использовать и всякую чужую старину, какъ поэтическій матеріалъ. Въ нѣмецкой литературѣ Гердеръ едва ли не первый освободился отъ исключительнаго обаянія французской цивилизаціи и литературы и громко заговорилъ о равноправіи всѣхъ народовъ въ дѣлѣ духовнаго развитія вообще и поэтическаго творчества въ частности. Гердеръ умѣлъ находить духовную красоту у всѣхъ народовъ, во всѣхъ народныхъ эпосахъ, на всѣхъ народныхъ языкахъ. Онъ полагалъ, что каждый народъ можетъ сдѣлать свой вкладъ въ общую духовную сокровищницу человѣчества, и поэтому всякое народное творчество должно заслуживать съ нашей стороны величайшаго вниманія и уваженія. Самъ Гердеръ изучалъ и подвергалъ литературной обработкѣ не только европейскую народную поэзію, но и поэзію внѣевропейскихъ странъ. Онъ выяснилъ значеніе Гомера, указалъ своимъ современникамъ на Оссіана и Шекспира, онъ ознакомилъ нѣмцевъ съ средневѣковой романской поэзіей и съ красотами восточнаго поэтическаго творчества. По его мнѣнію, всѣ эти народно-поэтическія сокровища представляютъ собою, каждое въ отдѣльности, извѣстную долю гуманности, которая есть божественное начало въ человѣческой природѣ, и нужно, слѣдовательно, использовать эти сокровища, чтобы соединенными силами отдѣльныхъ націй вести человѣчество къ дальнѣйшему безконечному совершенствованію. Каждая нація дѣлаетъ свою

[1]) G. Sarrazin, Les grands poètes romantiques de la Pologne, стр. 105 и слѣд.

особую духовную работу, но цѣль у всѣхъ націй одна—общечеловѣческое развитіе и совершенство. „Гердеръ смотрѣлъ на все человѣчество какъ на одну великую арфу въ рукахъ великаго художника, каждый народъ казался ему особенно звучащей струной этой исполинской арфы, и онъ понималъ универсальную гармонію ея различныхъ звуковъ“ [1]). Гердеръ воспиталъ въ нѣмецкой литературѣ любовь къ національной поэзіи. Современники и преемники Гердера—Фоссъ, Бюргеръ, Гете, Шиллеръ, Уландъ, Рюккертъ и др. — широко использовали народно-поэтическое творчество, и понятія народность, народная старина, народный духъ сдѣлались въ началѣ XIX стол. любимыми идеями и дорогими словами, обвѣянными нѣжной прелестью поэзіи и таинственнымъ обаяніемъ идеала. Въ этой національной сокровищницѣ идеалисты начала XIX в думали черпать силы для дальнѣйшаго развитія народовъ и всего человѣчества. Иллюстраціей подобнаго обращенія къ народно-поэтическому творчеству является вся нѣмецкая поэзія и филологія эпохи „бури и натиска“ и романтизма: историческія драмы Гете и Шиллера, романсы и баллады Уланда и Зейдлица, историческіе романы Фуке, сказки Тика, сборники пѣсенъ Ах. ф.-Арнима и Брентано, изслѣдованія бр. Гриммъ и др.—говорятъ въ этомъ отношеніи сами за себя.

Этотъ романтическій націонализмъ, доходящій обыкновенно до обожанія своей національности въ ея настоящемъ и особенно въ прошломъ, давно отмѣченъ въ исторіи европейской литературы, какъ одинъ изъ характерныхъ признаковъ романтизма. Но и въ этомъ пунктѣ у изслѣдователей наблюдаются двѣ точки зрѣнія, какъ и по вопросу о романтическомъ индивидуализмѣ: для однихъ обращеніе романтиковъ къ народности, въ особенности къ народной старинѣ, представляется чѣмъ-то отрицательнымъ, реакціоннымъ, какимъ-то нарушеніемъ послѣдовательнаго духовнаго роста Европы, какой-то измѣной прогрессу; другіе, наоборотъ, романтическій націонализмъ разсматриваютъ какъ извѣстный фазисъ въ

[1]) I. Шерръ, II, 260, цит. Г. Гейне.

развитіи личнаго и національнаго самосознанія. Первая точка зрѣнія наблюдается лишь у нѣкоторыхъ изслѣдователей романтизма, но при этомъ на всемъ протяженіи исторіи его изученія. Такъ изъ болѣе раннихъ историковъ нѣмецкой литературы уже Геттнеръ считаетъ романтиковъ реакціонерами по доктринѣ и образованію, потому что они желаютъ стараго, сознательно считая его законченнѣе, пріятнѣе и поэтичнѣе всего новаго, еще не вполнѣ сложившагося и окрѣпшаго. Точно такъ же Гервинусъ видитъ грубое заблужденіе романтиковъ въ томъ, что они строятъ новую жизнь по старому образцу и ищутъ идеалъ жизни только въ старинѣ, гдѣ будто бы самая жизнь была поэтична („das Leben selbst einen poetischen Strich hatte“ [1]). Для историка европейской общественности, въ родѣ Т. Циглера, настроеннаго нѣсколько отрицательно къ романтическому индивидуализму, обращеніе романтиковъ къ народной старинѣ представляется такимъ же вреднымъ явленіемъ въ общемъ ходѣ развитія нѣмецкаго духа, какъ и субъективный произволъ романтиковъ въ вопросахъ творчества и житейскихъ отношеній [2]). Другая точка зрѣнія на романтическій національнзмъ имѣетъ въ исторіи нѣмецкой литературы больше послѣдователей и гораздо лучше обоснована, потому что въ пользу ея говорятъ несомнѣнныя заслуги романтиковъ въ дѣлѣ изученія народнаго творчества въ различныхъ его проявленіяхъ. Въ послѣднее время, когда вопросъ о міровоззрѣніи романтиковъ замѣтно входитъ опять въ кругъ литературныхъ интересовъ, отношеніе романтизма къ идеѣ національности получаетъ дальнѣйшее разъясненіе въ смыслѣ положительнаго вліянія романтики на „углубленіе національнаго чувства“. Такова, напр., не большая, но содержательная статья Fr. G. Schultheiss, помѣщенная въ одной изъ

[1]) Gervinus Gesch. der deutsch. Dicht., 5 Band: Romantische Dichtung.

[2]) Th. Ziegler, Die geist. und social. Strömungen, стр 47: „Zuchtlosigkeit im Denken und im Leben war somit die erste Gefahr, mit der die Romantik das deutsche Geistesleben bedrohte; ein verhängnissvoller Zug nach rückwärts war die zweite“.

книгъ журнала „Archiv für Kulturgeschichte“ за 1907 годъ. По мнѣнію этого изслѣдователя, романтизмъ имѣетъ большое значеніе въ исторіи развитія національнаго чувства. Романтизмъ на первыхъ же порахъ способствовалъ тщательному изученію родной старины, которое еще болѣе усиливалось въ началѣ XIX стол. благодаря притязанію Наполеона на господство въ Европѣ: обострившееся подъ гнетомъ иноземнаго ига національное чувство нѣмцевъ заставляло ихъ искать въ родной старинѣ неоспоримыхъ правъ на національную самобытность [1]). На этой почвѣ и выросли сборники въ родѣ пѣсенъ „Des Knaben Wunderhorn“ или сказокъ бр. Гриммъ и многочисленные ученые труды по нѣмецкой филологіи; на этой же почвѣ явилось обращеніе къ средневѣковому искусству, къ средневѣковой поэзіи, наконецъ къ старонѣмецкому быту, старонѣмецкимъ костюмамъ—мужскимъ и женскимъ (ср. Ernst Moritz Arndt, „Ueber Sitte, Mode und Kleidertracht“ и Amalie Imhof, „An Teutschlands Frauen von einer ihrer Schwestern“) [2]). Но это не было только бѣгство отъ безотраднаго настоящаго къ свѣтлому прошлому, бѣгство трусливое и реакціонное; нѣтъ, это было стремленіе изъ здороваго источника народности почерпнуть силы для дальнѣйшаго индивидуальнаго развитія націи. Желая освѣжить національную жизнь, романтики, по выраженію Гёрреса, копали въ нѣдрахъ исторической жизни своего народа глубокій колодецъ въ надеждѣ наткнуться на живительный родникъ, изъ котораго можно было бы черпать

---

[1]) Archiv für Kulturgeschichte, Herausgeg. von prof. dr. Georg Steinhausen. Berlin, 1907, V Band, 1 Heft: Der Einfluss der Romantik auf die Vertiefung des Nationalgefühls, von Fr. Guntram Schultheiss, стр. 58 (Цит. изъ Уланда: „Was es sei um das Gefühl des Vaterländischen, ist schmerzlich und tröstend zugleich in jener Zeit empfunden worden, als die ausgleichende Weltherrschaft alles Nationale zu ersticken drohte. Damals suchten wir in den tiefsten Fasern unseres Daseins die Gewährschaft eines eigentümlichen Lebens und Bestandes“—so hat später Ludwig Uhland das Verhältnis bezeichnet“.

[2]) Тамъ же, стр. 59, 60, 68, 69, 71, 74, 78.

духъ жизни (der Lebensgeist) [1]). Подъ вліяніемъ этого проникновенія въ духъ націи, въ ея исконныя основы, самое понятіе о генеалогіи народовъ пріобрѣло въ эпоху романтизма особый характеръ: космополитизмъ вѣка просвѣщенія смѣнился ученіемъ о расовыхъ и національныхъ особенностяхъ и убѣжденіе въ однородности народовъ—вѣрой въ ихъ индивидуальныя силы и въ индивидуальныя роли въ дѣлѣ человѣческаго прогресса [2]).

Французская романтическая школа также дала цѣлый рядъ попытокъ поэтизаціи національной старины. Такъ Рейнуаръ (Raynouard) и Рокфоръ (Roquefort) воскресили дивныя созданія провансальской и древнефранцузской поэзіи, забытыя въ эпоху ложноклассицизма; Шарль Нодье обновилъ въ своихъ

[1]) Тамъ же, стр. 59—60: „Den nationalen Gewinn, den man von der Renaissance des deutschen Mittelalters erwartete, hat wohl am schönsten Görres bezeichnet in der Vorrede zu seinen „Teutschen Volksbüchern" von 1807. Eine Traumvision führt ihn zu den Helden, die um Barbarossa im Schoss des Berges sitzen, Reinold und Siegfried, Karl dem Grossen und Oktavianus, Lionell und Florenz, Heinrich dem Löwen und Herzog Ernst Wolfdietrich und Hagen. „Was suchst du bei den Toten, Fremdling?" fragt ihn Barbarossa.—„Ich suche das Leben, man muss tief die Brunnen in die Dürre graben, bis man auf die Quellen stösst". — „Das Leben ist nichts mehr bei uns, wir haben es als Erbe euch zurückgelassen, ihr habt übel damit hausgehalten".—Dann lass aus euren Taten von neuem den Lebensgeist in mich ziehen".—„Von unseren Taten sind die Schatten nur uns hinabgefolgt, willst du mit ihnen sprechen, lies in diesen Büchern".

[2]) Тамъ же, стр. 79: „Und endlich darf man auch den Stammbaum der modernen Rassentheorien wohl zurückverfolgen auf die Romantik des beginnenden 19. Jahrhunderts, auf Jahn Arndt, Fichte u. a.—Der Begriff der Menschheit hat für uns einen anderen Inhalt gewonnen, als den ihm das Jahrhundert der Aufklärung gab Es gilt uns nicht mehr als das Ziel, Weltbürger zu werden und darüber das eigene Volkstum preiszugeben. Wir lächeln über Verse wie den bekannten:

Christ, Jude, Heid' und Hottentott
Sie beten all zu einem Gott,

und wir glauben nicht mehr an das Vorurteil von der Gleichwertigkeit aller Völker, nicht an die Entwicklung der Kultur zu unterschiedsloser Gleichförmigkeit".

балладахъ и новеллахъ старыхъ французскихъ поэтовъ, Беранже ввелъ въ искусственное творчество мотивы и образы народной лирики, В. Гюго художественно воспроизвелъ въ своемъ романѣ средневѣковую жизнь, Альфредъ де-Виньи и Витэ далѝ также рядъ картинъ изъ національнаго прошлаго и т. д. Но помимо этихъ попытокъ поэтизаціи національнаго прошлаго французская романтика дала замѣчательный примѣръ глубокой оцѣнки и національнаго настоящаго въ книгѣ г-жи Сталь „О Германіи“. Книга эта—продуктъ свойственнаго именно романтикамъ вниманія къ каждой націи, какъ индивидуальному цѣлому, вниманія, доходившаго иногда до культа національныхъ особенностей той или другой страны. Въ этой книгѣ, хорошо извѣстной въ русской литературѣ начала XIX стол., авторъ открываетъ французскимъ читателямъ невѣдомый имъ доселѣ міръ нѣмецкой философіи и литературы, нѣмецкой общественной и частной жизни, какъ бы желая сказать, что помимо французовъ, претендовавшихъ до тѣхъ поръ на преобладающую роль въ духовномъ развитіи Европы, есть и другіе народы, полные духовнаго обаянія и своеобразной красоты, какъ все индивидуальное и самобытное. Въ другой своей книгѣ „Коринна“, которую критика называетъ „поэмой на тему о національныхъ предразсудкахъ“ [1]), г-жа Сталь мастерски опредѣляетъ индивидуальныя особенности преобладающихъ европейскихъ націй и указываетъ на то, что прогрессъ человѣчества заключается не въ безконечныхъ счетахъ и пререканіяхъ различныхъ націй, не въ ихъ стремленіи къ физическому преобладанію другъ надъ другомъ, а во взаимномъ вниманіи къ національнымъ особенностямъ: съ одной стороны—въ терпимости къ національнымъ слабостямъ и причудамъ, съ другой—въ признаніи національныхъ преимуществъ. Каждая нація учится у другой, и всѣ вмѣстѣ идутъ по пути духовнаго совершенствованія. „Разсудительная нація, какова Англія, культивируетъ дѣловую и практическую жизнь; чувствительная нація, какова нѣмецкая, занимается

[1]) Г. Брандесъ, Франц. литер., 141.

музыкой; остроумное племя, каково французское, разговариваетъ, т.-е. получаетъ импульсы изъ бесѣды и общенія съ другими; богатая воображеніемъ нація, каковы итальянцы, импровизируетъ, т.-е. вполнѣ естественно возвышаетъ обыкновенныя чувства до поэзіи" [1],—словомъ, всѣ націи имѣютъ свои духовныя сокровища, а совокупность и взаимодѣйствіе этихъ сокровищъ обезпечиваютъ человѣчеству гармоническое развитіе. На національнизмъ французскихъ романтиковъ существуютъ также два взгляда, какъ и на національнизмъ нѣмецкой романтической поэзіи. По одному взгляду обращеніе французскихъ поэтовъ къ національному прошлому можно считать лишь случайнымъ проявленіемъ общаго характера романтическаго творчества. Такъ для Витэ, опредѣлявшаго романтизмъ какъ протестантство въ литературѣ и искусствѣ, или даже для В. Гюго, понимавшаго романтизмъ какъ либерализмъ въ литературѣ, сюжеты изъ національной жизни и исторіи были прежде всего хорошимъ средствомъ освѣжить область творчества и примѣнить пресловутый „мѣстный колоритъ" [2]; въ этомъ отношеніи въ глазахъ романтика каждая отдаленная или чужая нація и культура пріобрѣтали, выражаясь словами Г. Брандеса, характеръ „пейзажа, разсматриваемаго сквозь цвѣтное стекло" [3]. Иногда и новѣйшіе изслѣдователи французской литературы смотрятъ съ той же точки зрѣнія на романтическій національнизмъ; напр., D. Sauvageot, для котораго „le romantisme est un éclectisme", видитъ въ художественномъ воспроизведеніи національной старины лишь одинъ изъ пріемовъ романтическаго эклектизма [4]. По другому взгляду обращеніе романтической поэзіи къ національнымъ сюжетамъ и формамъ является выраженіемъ особаго вниманія романтиковъ ко всему національному, составляющему духовный обликъ всякой индивидуальной націи; этотъ взглядъ имѣетъ го-

[1]) Брандесъ, тамъ же, стр. 154.

[2]) Брандесъ. Французская литература, Романтическая школа, стр. 49.

[3]) Г. Брандесъ, тамъ же, стр. 25.

[4]) David Sauvageot. Le Réalisme et le Naturalisme dans la littérature et dans l'art, стр. 167 и сл.

раздо больше послѣдователей какъ среди старѣйшихъ, такъ и среди современныхъ изслѣдователей французской литературы [1]).

Въ англійской литературѣ эпохи романтизма поэтизація національности ярче всего представлена романами Вальтеръ-Скотта. Но и до Вальтеръ-Скотта были поэты, поэтизировавшіе народную старину. Томасъ Чаттертонъ—представитель гордаго и страстнаго индивидуализма, это „чудное дитя", эта „не знающая покоя душа, погибшая въ своей гордости" (такъ выразился о немъ Вордсвортъ)—писалъ баллады старинным языкомъ и выдавалъ ихъ за произведеніе староанглійскаго поэта Роули [2]). Поэмы Оссіана Макферсона и сборникъ балладъ Томаса Перси принадлежатъ также къ проявленіямъ начинавшагося культа національности и ея творчества. Шотландецъ Робертъ Бернсъ, давшій удивительные образцы народной пѣсни, способствовалъ укрѣпленію культа народной поэзіи въ Англіи и вызвалъ рядъ подражаній въ народническомъ направленіи. Бернсъ подготовилъ поэзію Вальтеръ-Скотта, этого величайшаго поэтизатора старины, создавшаго всемірный культъ поэзіи исторіи, поэзіи прошлаго. Этотъ обаятельный поэтъ старины имѣлъ даръ всякій старѣющій предметъ въ окружавшей его родной природѣ и каждый памятникъ своей родной исторіи разсматривать съ ихъ поэтической стороны; для него каждый старый камень, каждое многовѣковое дерево представлялись обвѣянными поэзіей историческаго воспоминанія: на фонѣ старыхъ камней и деревьевъ, фермъ и замковъ, озеръ и скалъ его воображеніе воскрешало героевъ родной старины съ ихъ индивидуальными характерами, съ первобытно-свѣжей и непосредственной природой; онъ ихъ окружалъ поэтическимъ ореоломъ, воплощая въ ихъ лицѣ лучшія духовныя свойства своей націи. Можетъ быть,

[1]) Ср., напр., L. Maigron. Le roman historique à l'époque romantique, P. 1898, стр. V: „Prosateurs et poètes français allaient délaisser l'histoire ancienne pour ne s'inspirer plus que de l'histoire nationale (le roman historique): en facilitait la connaissance et travaillait à la remettre en honneur".

[2]) I. Шерръ, II, 71.

въ этомъ именно смыслѣ Г. Морлей называетъ Вальтеръ-Скотта самымъ здоровымъ изъ всѣхъ англійскихъ писателей, такъ какъ В.-Скоттъ именно съ необыкновенной свѣжестью и цѣлостностью сумѣлъ художественно воспроизвести индивидуальность своего народа [1]). Но и помимо В.-Скотта англійская романтика отличается вполнѣ національнымъ характеромъ и даже особымъ вниманіемъ къ своей народности. Исторія англійской литературы склонна даже самый терминъ „романтическій“ сближать съ словомъ національный. Когда историки англійской литературы называютъ Шекспира и Мильтона романтическими писателями въ противоположность смѣнившимъ ихъ ложноклассикамъ XVIII стол., то они понимаютъ романтическую поэзію, какъ національную, основанную на старо-англійскихъ преданіяхъ [2]); эти національныя традиціи художественно реставрируетъ и новая романтическая школа въ Англіи въ лицѣ Вордсворта, Кольриджа, Томаса Мура, В.-Скотта и др. [3]).

Изъ другихъ европейскихъ романтиковъ два имени должны быть упомянуты при обозрѣніи представителей поэтическаго культа національности—итальянскій поэтъ Манцони и шведскій—Тегнеръ: оба они переводились въ 20-хъ годахъ XIX стол. и на русскій языкъ; первый впрочемъ, поэтизируя свою родную старину, былъ только подражателемъ Вальтеръ-Скотта (ср. ром. Манцони „Promessi Sposi“); второй проявилъ самобытный талантъ въ обработкѣ въ видѣ цикла романовъ народно-поэтической саги (Frithjofs Saga).

---

[1]) H. Morley. English writers, стр. 108: Never perhaps was there a wholesomer English writer than Sir Walter Scott...

[2]) G. Craik. A Compendious history of english literature..., стр. 103.

[3]) Г. Брандесъ. Англ. литер.. стр. 5.

4. Движеніе романтическаго идеала отъ индивидуума и націи къ человѣчеству. Романтическій универсализмъ какъ основной мотивъ романтическаго идеализма; связь его съ выводами философіи Фихте, Шеллинга и Гегеля. Сущность романтическаго универсализма и его связь съ индивидуализмомъ и національнымомъ; романтическій универсализмъ какъ путь соглашенія космополитизма и національнаго, индивидуализма и соціализма. Отношеніе изслѣдователей къ романтическому универсализму—отрицательное (Gervinus, Hettner, Ziegler и др.) и положительное Eichendorf, Meyer, Brunetière и др.). Пониманіе романтическаго универсализма въ нѣмецкой романтической поэзіи (Гете, Шиллеръ, Фр. Шлегель, Новалисъ, Гоффманъ); конкретное выраженіе его въ лицѣ героевъ западно-европейской романтической поэзіи: міровоззрѣніе Вертера, Карла Моора, Донъ-Карлоса, Эрнани, Чайльдъ-Гарольда и др. Связь романтическаго идеализма съ міровой скорбью. Крайности романтическаго міровоззрѣнія. Общій характеръ отраженія основныхъ мотивовъ романтическаго идеализма въ русскомъ обществѣ и литературѣ начала XIX стол.

Идеалъ романтизма не остановился однако на индивидуумѣ и націи: онъ слишкомъ былъ для этого широкъ и порывистъ въ своемъ желаніи охватить весь міръ; къ тому же романтическій идеализмъ, точно такъ же, какъ и всякій другой, стремился создать стройную систему міровоззрѣнія, въ которой бы абсолютное духовное начало и основныя идеи, его выражающія, объединяли все существующее и осмысляли матеріальную жизнь какою-либо духовною, нематеріальною цѣлью бытія. И романтики, проповѣдуя культъ индивидуума и индивидуальной націи, дѣйствительно ставили себѣ вопросъ: къ чему ведетъ это вниманіе къ человѣческому индивидууму, къ чему ведетъ это преклоненіе предъ національнымъ духомъ?—и отвѣтъ у всѣхъ былъ приблизительно одинъ и тотъ же: индивидуализмъ и націонализмъ есть только переходъ къ общечеловѣческому идеальному состоянію жизни,—они являются только средствами для будущаго счастья всего человѣчества. Культъ индивидуальной личности привелъ романтиковъ къ культу индивидуальной народности, а то и другое вмѣстѣ приводило къ культу того будущаго идеальнаго человѣчества, которое соединенными усиліями индивидуумовъ-людей и индивидуумовъ-народовъ создастъ на землѣ универсальное царство истины, добра и красоты. Отъ поэтизаціи личности сдѣланъ былъ такимъ образомъ переходъ къ поэтизаціи народности, а отсюда еще одинъ шагъ впередъ—и пылкая фантазія идеалиста-ро-

мантика поэтизировала уже то человѣчество будущаго, которое доставитъ въ реальномъ, конечномъ мірѣ торжество безконечному идеалу. Таковъ третій основной мотивъ романтическаго идеализма. Онъ имѣетъ въ виду все человѣчество и весь окружающій его міръ и, слѣдовательно, съ полнымъ основаніемъ можетъ быть названъ романтическимъ универсализмомъ. Но хотя романтики въ своихъ мечтахъ о грядущемъ торжествѣ идеала обнимали съ своей точки зрѣнія все мірозданіе, однако на широкомъ горизонтѣ универсума привлекала ихъ вниманіе по преимуществу человѣческая жизнь въ ея многообразныхъ проявленіяхъ; поэтому выводы романтическаго универсализма касались не столько всей природы универсума, сколько будущей идеальной жизни всего человѣчества. Такимъ образомъ подъ романтическимъ универсализмомъ нужно понимать утопическія думы романтиковъ о всемъ человѣчествѣ, внѣ опредѣленныхъ странъ и націй, и о тѣхъ новыхъ условіяхъ жизни, которыя должны обезпечить торжество идеала въ человѣческомъ обществѣ. Философскія системы эпохи романтизма имѣли несомнѣнно въ виду этотъ выводъ. Въ этомъ отношеніи уже Кантъ намѣтилъ путь для романтической утопіи: своимъ ученіемъ онъ до извѣстной степени наталкивалъ своихъ послѣдователей на мысль о будущемъ совершенномъ обществѣ, гдѣ осуществлены будутъ всѣ права человѣка. Фихте своей проповѣдью индивидуализма заставлялъ своихъ послѣдователей мечтать о новомъ строѣ человѣческой жизни, гдѣ личность найдетъ небывалый просторъ для своего субъективнаго развитія; съ другой стороны, преклоняясь передъ сильной индивидуальностью цѣлаго народа (въ данномъ случаѣ нѣмецкаго), онъ разсматривалъ и ее лишь какъ средство къ духовному возрожденію всего человѣчества. Шеллингъ полагалъ, что цѣль исторіи, цѣль индивидуальнаго и національнаго развитія, есть „космополитическое состояніе, основанное на правѣ“; это состояніе по Шеллингу наступитъ тогда, когда Богъ проявитъ себя какъ Провидѣніе, когда можно будетъ сказать, что Онъ уже есть, когда закончится процессъ примиренія міра, враждебнаго Богу, съ Богомъ—словомъ, универсальное счастье, въ

противоположность счастью индивидуальному и національному, какъ только средствамъ къ общечеловѣческому счастью, наступитъ тогда, когда наступитъ торжество духа и идеальное сольется съ реальнымъ въ полномъ тожествѣ. Точно также и по Гегелю отдѣльные народы, какъ выразители извѣстнаго момента мірового духа, служатъ не своимъ собственнымъ интересамъ, какъ это имъ кажется, но высшей цѣли исторіи, т.-е. полному осуществленію добра въ человѣческомъ родѣ.

На этой философской основѣ романтики развивали свое міровоззрѣніе, вполнѣ послѣдовательно переходя отъ первыхъ двухъ положеній къ третьему: они исходили изъ индивидуализма, т.-е. ученія о самосознающемъ человѣческомъ я; затѣмъ перешли къ націонализму, какъ одной изъ формъ человѣческаго самосознанія, и, наконецъ, остановили свое вниманіе на универсализмѣ, какъ высшемъ выраженіи и конечной цѣли безконечно развивающагося индивидуальнаго сознанія. Человѣкъ—по воззрѣнію романтиковъ—на первыхъ порахъ сознаетъ себя какъ индивидуумъ безотносительно къ окружающей средѣ, затѣмъ самоопредѣляется въ отношеніи своей націи и, наконецъ, начинаетъ сознавать свои отношенія ко всему человѣчеству: самоопредѣленіе или самосознаніе личное переходитъ въ самоопредѣленіе національное, а самоопредѣленіе національное постепенно развивается въ универсальное сознаніе, и чувство любви ко всему національному вырастаетъ до предѣловъ космополитическаго настроенія; при этомъ, переходя отъ индивидуума и націи къ универсализму, романтики тѣмъ самымъ вступали въ область общечеловѣческихъ соціальныхъ отношеній, и оттого ихъ поэтическія произведенія переходили иногда въ соціалистическія утопіи. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ своего міросозерцанія романтики, можно сказать, сдѣлали попытку рѣшить великую задачу жизни, именно согласить націонализмъ и космополитизмъ, индивидуализмъ и соціализмъ,—понятія трудно примиримыя какъ въ теоріи, такъ тѣмъ болѣе на практикѣ. И надо отдать честь идеалистамъ-Романтикамъ: эта задача ими была рѣшена если не въ жизни, то по крайней мѣрѣ въ научномъ и художественномъ твор-

чествѣ. Дѣйствительно, романтики признали индивидуальныя права каждой національности, но при этомъ считали возможнымъ духовное сліяніе всѣхъ націй въ одну универсальную семью, въ которой преслѣдуются общечеловѣческіе интересы и въ то же время уважаются частныя права отдѣльныхъ націй, какъ членовъ универсальнаго цѣлаго. Такимъ образомъ космополитизмъ романтиковъ — это не есть космополитизмъ эпохи просвѣщенія XVIII в., который, считая все человѣчество однороднымъ, строилъ универсальное счастье на отрицаніи всякихъ національныхъ особенностей и на признаніи лишь естественныхъ правъ человѣка и гражданина, независимо отъ національности: наоборотъ, романтическій космополитизмъ строитъ человѣческое счастье именно на признаніи особенностей и правъ отдѣльныхъ націй и полагаетъ, что человѣчество тогда будетъ счастливо, когда всѣ націи, каждая своими индивидуальными силами и средствами, будутъ осуществлять универсальный идеалъ истины, добра и красоты. Отсюда ясно, что романтикъ не потому космополитъ, что онъ не имѣетъ или не признаетъ ни своего, ни другого какого-либо отечества, но потому именно, что онъ въ высшей степени признаетъ и уважаетъ какъ свое, такъ и всякое другое отечество, какъ свой, такъ и всякій другой народъ [1].

Подобнымъ же образомъ примирялись въ романтизмѣ индивидуализмъ и соціализмъ. Романтическій универсализмъ въ

[1] Ср. Oscar Ewald. Die Probleme der Romantik als Grundfragen der Gegenwart, Berlin, 1905, стр. 4: „Die Romantik war national, und sie war darum nicht weniger kosmopolitisch. Sie nannte die Welt ihr eigen und war gleichwohl aus deutschem Geiste geboren. Sie war national. Wer wird dies bezweifeln, der, um von Arndt, Schenkendorf und anderen ganz zu schweigen, einen Novalis, Fouqué, Tieck, Schlegel, vor allem aber Goethe selber kennt? Und ihr Kosmopolitismus, der nichts war als die Konsequenz eines alle Grenzen von Raum und Zeit übersteigenden Strebens, das Universum zu umschliessen, entsprang nicht etwa einem Mangel, sondern einem Ueberschuss an nationalem Geiste. Darin liegt ein bedeutsamer Fingerzeig für unser zwischen einem borniertem Nationalismus und einem oft schwindelhaft verwegenen Kosmopolitismus umhergeworfenes Zeitalter. Man ist nicht Weltbürger schon darum, weil man heimatlos ist".

своемъ стремленіи преобразовать соціальный строй жизни былъ очень далекъ отъ тѣхъ утопій соціализма, которыя, игнорируя человѣческую индивидуальность съ ея безконечными оттѣнками и особенностями, хотятъ совершенно подчинить личность коллективному цѣлому, т.-е. массѣ общества, хотя бы это пришлось сдѣлать цѣной полнаго обезличенія индивидуальныхъ потребностей и цѣлей. Наоборотъ, романтики убѣждены въ томъ, что исторія заключается именно въ постепенномъ ростѣ индивидуума, что человѣкъ, освобождаясь отъ цѣлаго ряда стѣсненій, выработанныхъ предыдущими эпохами, хочетъ свободно реализировать свои индивидуальныя богатства тѣла и духа и съ негодованіемъ отказывается отъ всякихъ формъ жизни, при которыхъ его личность подводится подъ одну массовую мѣрку; но для того, чтобы личное развитіе совершалось безпрепятственно, общество, т.-е. та среда, въ которой совершается всякое личное развитіе, должно быть построено на началахъ вниманія къ человѣку и его счастью,— въ такомъ обществѣ всѣ будутъ уважать одного, если этотъ одинъ будетъ выше другихъ по своимъ индивидуальнымъ силамъ, и одинъ будетъ уважать всѣхъ, сообразно ихъ человѣческому достоинству, хотя бы всѣ были индивидуально слабѣе его. Такимъ образомъ какъ романтическій космополитизмъ, признавая всѣ права индивидуальныхъ націй на самобытное развитіе, объединяетъ ихъ во имя прогресса въ одну семью, связанную узами духовнаго родства и взаимнаго уваженія, такъ и романтическій соціализмъ, признавая права каждаго индивидуума на свободную личную жизнь, имѣетъ въ виду соединить всѣхъ людей въ универсальное общество, связанное общимъ стремленіемъ къ идеалу истины, добра и красоты. При этомъ понятной становится и роль выдающихся по своимъ силамъ индивидуумовъ: какъ наиболѣе сильныя духомъ націи призваны по преимуществу къ осуществленію въ исторіи духовнаго идеала, такъ и высшія индивидуальности должны ускорить приближеніе идеала общественной жизни на землѣ, доставляя своимъ болѣе слабымъ собратьямъ по человѣчеству извѣстный quantum счастья. Равенства слѣд. нѣтъ ни въ цѣ-

лыхъ націяхъ, ни въ отдѣльныхъ людяхъ, а есть только безконечное приближеніе къ этому идеальному равенству, ускоряемое усиліями высшихъ по духовной природѣ народовъ или выдающихся по своимъ дарованіямъ индивидуумовъ.

Таковъ романтическій универсализмъ, понимаемый въ смыслѣ утопіи универсальнаго счастья, въ смыслѣ мечтаній и размышленій романтиковъ о новыхъ общечеловѣческихъ отношеніяхъ, гарантирующихъ каждому человѣку принадлежащее ему право на свободное и прогрессивное развитіе. Къ этимъ романтическимъ мечтаніямъ, обаятельнымъ по своей нравственной красотѣ, однако далеко не всѣ изслѣдователи романтизма относятся положительно. Тѣ изъ нихъ, для которыхъ романтизмъ представляется ложной идеалистикой, находятъ и въ этомъ пунктѣ романтическаго міровоззрѣнія рядъ крупныхъ заблужденій. Правда, они признаютъ основой романтическаго универсализма общеизвѣстное положеніе романтики, именно связь поэзіи съ жизнью („der Bund der Dichtung mit der Wirklichkeit und dem Leben“ [1]), но дальнѣйшее развитіе этого положенія, какъ и всѣ выводы романтизма, эти изслѣдователи понимаютъ исключительно какъ иллюстрацію ложной романтической идеалистики. Такъ уже Геттнеръ, считая лозунгомъ романтическаго міровоззрѣнія („die romantische Weltanschauung“) главнымъ образомъ фантазію или даже фантазію фантазіи („Phantasie der Phantasie“ [2]), находитъ, что эта фантастика въ міропониманіи привела романтиковъ къ тому аристократизму, который заставлялъ ихъ относиться съ презрѣніемъ ко всему, что стояло ниже ихъ возвышенныхъ эстетическихъ потребностей и цѣлей; отсюда, по мнѣнію Геттнера, являлось пренебрежительное отношеніе аристократовъ-романтиковъ къ

[1]) Gervinus. Gesch. der deut. Liter., Romant. Dicht.

[2]) Hettner, Die romant. Schule, Die romant. Weltanschauung, стр. 70: „Phantasie und immer und überall Phantasie, das ist das Losungswort der Romantiker. Die Phantasie ist das Organ und Element des Denkens und ebenso sein ausschliesslicher Gegenstand. Es existirt überhaupt Nichts als Phantasie. Alles, was ist, ist für und durch sie. Die Romantik ist, wie man es oft ausgedrückt hat, Phantasie der Phantasie“.

простому народу и ко всему обыденному, не подходящему подъ понятіе геніальности [1]); отсюда же и ихъ пресловутая иронія, это свободное паренье и безусловное господство человѣческаго я надъ міромъ и даже свободная игра съ нимъ, какъ съ матеріаломъ для творческой фантазіи художника [2]). Гервинусъ, хотя и не упрекаетъ романтиковъ въ подобномъ аристократическомъ отношеніи къ человѣческимъ массамъ, полагаетъ однако, что романтическій универсализмъ въ своемъ стремленіи отожествить жизнь и поэзію, реальное и идеальное, впалъ въ другую крупную ошибку, именно отъ неприглядной современности, не отвѣчавшей идеалу—„der Bund der Dichtung mit der Wirklichkeit"—обращалъ всѣ свои симпатіи къ старинѣ, гдѣ сама жизнь, казалось, была поэтичнѣе и ближе къ идеалу („das Leben selbst einen poetischen Strich hatte"), и даже пытался новую жизнь перестроить по старому образцу, совсѣмъ забывая, что старое уже умерло и не можетъ быть снова вызвано къ жизни [3]). Подобный же упрекъ дѣлаетъ романтикамъ Th. Ziegler; по его мнѣнію, романтика въ цѣляхъ обновленія жизни стремилась лишь къ тому, чтобы въ современную ей дѣйствительность ввести снова средневѣковой строй со всѣми его учрежденіями,—и это онъ считаетъ самой крупной измѣной романтиковъ общечеловѣческимъ интересамъ [4]).

---

[1]) Hettner, тамъ же, стр. 71: „Daher ihre (der Romantik) souveräne Verachtung des Volkes, dessen rohe Wirklichkeit den ideellen Ansprüchen und Bedürfnissen der ästhetisch gebildeten Phantasie widerspricht. Daher ihr aristokratische Exclusivität, die nur zwischen Platten und Genialen zu unterscheiden weiss".

[2]) Hettner... Die Phantastik und die Ironie, стр. 65: „Die Ironie ist, wie sie auch Solger, der Aesthetiker der romantischen Schule, überall bezeichnet, ihrem Begriffe nach nichts anderes als das nothwendige Gegenstück der künstlerischen Begeisterung, das Schweben des Künstlers über seinem Stoffe, sein freies Spiel mit ihm; oder wie es Tieck einmal ausdrückt, „jene letzte Vollendung eines Kunstwerks, jener Aethergeist, der befriedigt und unbefangen über dem Ganzen schwebt".

[3]) Gervinus, тамъ же.

[4]) Th. Ziegler. Die geistigen und socialen Strömungen... стр. 49: „Das Schlimmste aber war, dass sie (die Romantik), bemüht die Poesie

Это „вредное стремленіе (романтиковъ) къ умственной средневѣковщинѣ“, это ихъ „восторженное отношеніе къ феодализму и іерархіи“ [1]) ставятся нерѣдко въ связь съ политической реакціей, къ которой однако примыкали лишь нѣкоторые романтики, и поэтому романтизмъ съ его „средневѣковыми формами и туманными образами“ иногда противополагается либерализму [2]). Иногда романтическій универсализмъ понимается изслѣдователями, какъ сплошное заблужденіе, какъ „темное, далеко уходящее стремленіе, алканіе неясныхъ идеаловъ“, какъ „романтизированіе міра“, т.-е. „возведеніе ничтожнаго въ важное, обращеніе обыкновеннаго въ необыкновенное, извѣстнаго въ неизвѣстное, низкаго въ возвышенное, конечнаго въ вѣчное“ и т. д. [3]).

Въ другомъ лагерѣ изслѣдователей романтизма универсализмъ романтиковъ разсматривается съ положительной стороны, какъ ученіе о человѣческомъ прогрессѣ, имѣющее, при нѣкоторыхъ крайностяхъ (напр., восторженной поэтизаціи старины), серьезное значеніе въ исторіи духовнаго развитія Европы. Такъ, Эйхендорфъ полагаетъ, что романтика воспроизводила поэтически то именно воззрѣніе на условія и формы общечеловѣческаго прогресса, которое научно развито было въ философскихъ системахъ данной эпохи [4]). А это философское пониманіе судебъ человѣчества въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ ведетъ свое начало, по мнѣнію Эйхен-

ins Leben einzuführen, nun auch die poetische, farbenreiche Welt des Mittelalters in unsere Wirklichkeit und Gegenwart zurückführen, sie mit allen ihren Institutionen für uns wieder lebendig machen wollte“.

[1]) А. Штернъ. Всеобщая исторія литературы, Спб. 1885, стр. 432—3.

[2]) А. Торсое. Исторія нашего столѣтія, пер. съ дат., Кіевъ, 1898, стр. 27.

[3]) Гонеггеръ. Ист. культ. девятн. в., т. I, стр. 215—6. Въ этомъ отношеніи характернымъ является отрицательное отношеніе къ утопизму французской романтики въ книгѣ P. Lasserre, „Le Romantisme Français“ P. 1907, стр. 324 и слѣд., 535 и слѣд.

[4]) Eichendorf, стр. 270—1: „Man sieht..., wie nahe verwandt diese Philosophie der Romantik war, indem sie eigentlich eben nur das wissenschaftlich begründete, was gleichzeitig die Romantik an den einzelnen Erscheinungen des Lebens poetisch nachzuweisen strebte“.

дорфа, отъ временъ реформаціи и изложено особенно настойчиво философами Фихте и Шеллингомъ. Послѣдній изъ единаго абсолютнаго начала выводитъ все существующее, и это „одно“ есть, по его убѣжденію, тожество природы и духа, реальнаго и идеальнаго; сообразно этому основному положенію, наука и религія, исторія и государство — все является по Шеллингу лишь выраженіемъ единаго абсолютнаго начала; это абсолютное, т.-е. тожество реальнаго и идеальнаго, непосредственно изображается въ искусствѣ, которое можетъ безконечное представить въ конечныхъ образахъ [1]). Исходя изъ указаннаго положенія Шеллинга, романтики смотрѣли на всю человѣческую исторію какъ на постепенное откровеніе божественнаго начала и каждое реальное явленіе въ области человѣческихъ отношеній старались осмыслить высокимъ идеальнымъ содержаніемъ. Такимъ образомъ Эйхендорфъ и историки литературы, стоящіе на его точкѣ зрѣнія, понимаютъ романтическій универсализмъ, какъ „идеализированіе“ всего существующаго, т.-е. стремленіе всякому реальному явленію усвоить идеальный смыслъ и тѣмъ самымъ внести во всѣ житейскія отношенія извѣстный quantum идеала или поэзіи. „Характерной чертой періода бурныхъ стремленій такъ же, какъ и зарождающагося романтизма, служило стремленіе къ непосредственному воздѣйствію поэзіи на жизнь“ [2]). Такъ говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей о романтическомъ универсализмѣ, какъ о сближеніи жизни и поэзіи; при этомъ сближеніе жизни съ поэзіей здѣсь означаетъ то же, что приближеніе жизни къ идеалу, потому что по воззрѣніямъ роман-

[1]) Тамъ же, стр. 270: „... das Ideale und Reale als Eines begründete (Schelling) im Absoluten, aus dem das Ich und die reale Welt hervorging, und das also die Identität von Natur und Geist, oder Gott selber ist. Dieser Totalanschauung des Lebens gemäss sind Wissenschaft und Religion Emanationen jenes Absoluten, die Weltgeschichte nur die Selbstentwickelung und Offenbarung desselben, der Staat sein organischer Körper, die Schönheit aber die endliche Darstellung des Unendlichen vermittelst der Kunst, welche mithin eine unmittelbare Offenbarung Gottes im menschlichen Geiste ist“.

[2]) Фогтъ и Кохъ. Исторія нѣм. лит., стр. 563.

тиковъ, какъ уже указано, искусство, въ частности поэзія, есть выраженіе безконечнаго или идеальнаго въ конечномъ или реальномъ образѣ. Другой изслѣдователь усматриваетъ это „идеализированіе“ жизни не только въ Sturm-und-Drang'ѣ и въ ранней романтикѣ, но вообще въ романтической поэзіи на всемъ протяженіи ея развитія: романтическая поэзія, по его мнѣнію, ставила себѣ задачей осуществить въ человѣческой жизни тотъ „божественный моментъ, въ которомъ человѣкъ поднимается надъ ограниченной сферой повседневной жизни“ [1]) и, слѣдовательно, прозрѣваетъ ея идеальное назначеніе. Понимаемый въ такомъ смыслѣ романтизмъ, или точнѣе романтическій универсализмъ, долженъ быть признанъ, по выраженію историка французской литературы, явленіемъ не только литературнымъ, но и соціальнымъ [2]), потому что онъ, задаваясь цѣлью переустроить общечеловѣческія отношенія, представлялъ собою попытку создать не только литературную, но и соціалистическую теорію [3]). „Самымъ лихорадочнымъ желаніемъ романтизма—говоритъ другой историкъ французской литературы—было узнать: откуда приходитъ человѣкъ на землю, куда идетъ онъ, въ чемъ состоитъ смыслъ жизни, смерти? Эти великіе предметы мысли, мечты, бурныхъ размышленій гнетутъ поэта страхомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, привлекаютъ его“... [4]) Въ творчествѣ романтиковъ, — по мнѣнію Г. Лансона, — „насъ захватываетъ такой лиризмъ, въ которомъ непрерывно сквозитъ всеобщее: такой лиризмъ будетъ искать въ основѣ индивидуальныхъ печалей и стремленій общихъ проблемъ бытія; онъ будетъ замѣчать ихъ въ многообразныхъ формахъ природы; онъ будетъ ставить и преслѣдовать ихъ

---

[1]) R. Meyer. Die deutsch. Lit. des neunzehn. Jahrhund., стр. 11.

[2]) F. Brunetière. L'évolution de la poésie lyrique en France au dix-neuvième siècle, т. I, стр. 141 и сл.

[3]) Иногда соціальная утопія романтиковъ получаетъ въ исторіи литературы опредѣленное названіе; такъ, напр., соціальный идеалъ польскихъ романтиковъ—Мицкевича, Словацкаго и Красинскаго—M. Zdziechowski называетъ „христіанскимъ прометеизмомъ“ (G. Sarrazin, Les grands poètes romant. de la Pologne, стр. 119—120).

[4]) Л. Итн-де-Жюльвилль. Илл. ист. нов. фр. лит., стр. 190.

повсюду. Что такое люди? Что ожидаетъ ихъ? Въ каждомъ отдѣльномъ чувствѣ, какъ, напримѣръ, въ любви, поэтъ видитъ общія условія нашего эфемернаго и ограниченнаго существованія. Что такое то я, которое скрывается въ глубинѣ непрерывнаго теченія нашей феноменальной жизни? Что такое смерть, прерывающая это теченіе? Есть ли это конецъ, остановка или переходъ? Что будетъ за нею? Наконецъ, гдѣ причина моего я и той вселенной, которую я отражаю въ себѣ?" [1]) Романтическая поэзія бралась за рѣшеніе всѣхъ этихъ вопросовъ и думала тѣмъ самымъ осчастливить все человѣчество. Отсюда понятно, почему въ романтикѣ поэту приписывается такое высокое значеніе, какъ оракулу высшей мудрости, какъ провозвѣстнику грядущей лучшей жизни. „(Поэтъ) приноситъ людямъ откровеніе. Онъ приходитъ издалека,—съ неба, какъ Мильтонъ или Клопштокъ, изъ ада, какъ Дантъ, изъ прошлаго, какъ Макферсонъ; онъ мечтаетъ о лучшемъ и болѣе счастливомъ человѣчествѣ. Это—vates, надъ которымъ столько смѣялись изъ-за его пророческаго треножника и апокалиптическихъ предсказаній, но образъ котораго все же полонъ внутренней красоты, если только „поэты владѣютъ, какъ говоритъ Балланшъ, тою истиною, которая открывается, если смотрѣть на міръ съ высоты и созерцать всю совокупность предметовъ". Этотъ поэтъ 1820 года—будущій революціонеръ, самъ не сознающій пока этого... Онъ прочелъ „Общественный договоръ" и „Разбойниковъ". Его наивно разрушительный оптимизмъ заставляетъ его охотно вѣрить въ то, что общество живетъ на основаніи дурного договора, который достаточно уничтожить, чтобы сдѣлать общество счастливымъ: нужно только принудить людей помѣняться ролями, поставить обвиняемыхъ на мѣсто судей, бѣдныхъ на мѣсто богатыхъ, кроткихъ на мѣсто могущественныхъ!"... [2]).

---

[1]) Г. Лансонъ. Ист. франц. литер., т. II, стр. 371—2.

[2]) Л. Пти-де-Жюльвиль, стр. 192. Впрочемъ, какъ прекрасно замѣчаетъ проф. С. В. Соловьевъ (Изв. отд. р. яз. и слов. Имп. ак. наукъ. 1910, т. XV, кн. 4, стр. 314—5), „образъ поэта—vates" знакомъ былъ западно-европейской поэзіи съ XVI стол. и романтики, любовно остановив

Эти мечты объ универсальномъ человѣческомъ счастьѣ, доходящія до культа будущаго совершеннаго человѣчества, болѣе всего присущи нѣмецкимъ романтикамъ, склоннымъ вообще къ философскимъ обобщеніямъ. „Нѣмецкая романтическая школа хотѣла постичь, провозгласить и установить единеніе поэзіи и жизни, она хотѣла—къ чему правда по-своему стремились и чего достигли уже Гете и Шиллеръ — превратить идеальное въ реальное, она хотѣла пропитать міръ дѣйствительности духомъ поэзіи, этимъ освободить общество отъ всякаго филистерскаго ограничиванія и ограниченности и поднять его въ сферу воспитанія и образованія, гдѣ жизнь и искусство должны были встрѣтиться и слиться въ высшемъ единствѣ религіи“ [1]). Вотъ въ чемъ заключалась для нѣмецкихъ романтиковъ поэтизація человѣческой жизни. Это стремленіе создать для человѣчества новую поэтическую жизнь выражено нѣмецкими романтиками конкретно въ цѣломъ рядѣ произведеній. Такъ, напр., Фр. Шлегель въ своей „Люциндѣ“ поставилъ цѣлью возвѣстить единство и гармонію жизни..., изобразить переходъ дѣйствительной жизни въ поэзію, въ искусство, въ свободную, по выраженію Шиллера, „игру“ силъ, въ мечтательное существованіе, которое проходитъ въ постоянномъ удовлетвореніи желаній, при которомъ человѣкъ не задается никакими цѣлями, а будучи посвященъ во всѣ таинства природы, понимаетъ и „жалобу соловья, и улыбку новорожденнаго младенца, и все, что говорятъ намъ своимъ таинственнымъ языкомъ цвѣты и звѣзды“ [2]). Подобную поэтизацію человѣческой жизни мы встрѣтимъ и у Новалиса, который сходится съ Шеллингомъ [3]) въ пониманіи вселенной и, разсматривая природу, какъ постепенное откровеніе духа, страстно ждетъ торжества безконечнаго идеала въ конечномъ мірѣ. Въ

---

шіеся на этомъ образѣ, имѣли въ данномъ случаѣ предшественниковъ въ литературѣ XVI—XVIII стол.

[1]) I. Шерръ, II, 289.

[2]) Брандесъ. Нѣм. лит., 21.

[3]) E. Spenlé. Novalis, Essai sur l'idealisme romantique en Allemagne, Paris, 1904, стр. 239—240.

своемъ романѣ „Генрихъ фонъ-Офтердингенъ“ Новалисъ именно и хотѣлъ показать, „какъ возникаетъ истинный вѣчный міръ, какъ возстановляется то царство любви и поэзіи, въ которомъ великая міровая душа повсюду движется и безконечно цвѣтетъ“ [1]). Близко къ Новалису стоитъ и утопическое міровоззрѣніе А. Гоффмана [2]). Впрочемъ, такія же мечтанія о сліяніи поэзіи и жизни, какъ о будущемъ золотомъ вѣкѣ человѣчества, можно найти и у другихъ нѣмецкихъ поэтовъ времени романтизма. Но не въ этихъ туманныхъ, хотя и красивыхъ, тирадахъ раскрыта романтическая поэтизація будущей человѣческой жизни,—тотъ, можно сказать, романтическій соціализмъ, который отъ индивидуума и націи увлекъ поэтовъ-романтиковъ въ область универсальныхъ человѣческихъ отношеній: онъ гораздо яснѣе и конкретнѣе выраженъ устами наиболѣе популярныхъ героевъ романтизма, въ родѣ Вертера, Карла Моора, Донъ-Карлоса, Эрнани, Чайльдъ-Гарольда и др., тѣхъ сильныхъ индивидуальностей, которыя по волѣ властителей думъ этой эпохи выступили съ протестомъ противъ отживающихъ формъ жизни и съ проповѣдью новой человѣческой общественности, полной свободы, истины, красоты. Культъ будущаго человѣчества, универсальнаго будущаго счастья мы находимъ въ рѣчахъ этихъ романтическихъ персонажей. Что же они го-

---

[1]) Брандесъ. Нѣм. лит., 82. Ср. одинъ изъ афоризмовъ Новалиса: „Es ist höchst begreiflich, warum am Ende Alles Pœsie wird—wird nicht die Welt am Ende Gemüth?—Pœsie ist das absolut Reelle. Dies ist der Kern meiner Philosophie. Je pœtischer, je wahrer“. (Liter-Blatt, 1846, № 72, s. 285—287).

[2]) Ср. G. Ellinger. E. T. A. Hoffmann, Sein Leben und seine Werke, Hamburg und Leipzig, 1894, стр. 37: „Novalis meint, es liege nur an der Schwäche unserer Organe, dass wir uns nicht in einer Feenwelt erblickten, und er weist der Pœsie die Aufgabe zu, diesen Widerspruch auszugleichen, denn „alle Märchen sind nur Träume von jener heimatlichen Welt, die überall und nirgend ist“. Von hier aus ist es nur noch ein Schritt zu der von Hoffmann später ausgesprochenen Forderung, dass der Dichter die Gestalten des Geisterreiches, die ihm im Inneren aufgegangen, auch in das wirkliche Leben zu übertragen und somit das Wunderbare, das ihm seine Phantasie vorgezaubert, in die Aussenwelt zu projicieren habe“.

ворятъ? Каковы ихъ воззрѣнія на жизнь? Эти герои романтическаго индивидуализма, нарисованные кистью Шиллера и Гете, Шатобріана и Гюго, Жоржъ-Зандъ и Бальзака, Шелли и Байрона, говорятъ о новой религіи, о новой наукѣ, о новомъ искусствѣ, о новой семьѣ, о новомъ человѣческомъ обществѣ, которыя должны смѣнить старѣющую европейскую цивилизацію.

„Вертеръ“ Гете и „Разбойники“ Шиллера, эти центральныя произведенія Sturm-und-Drang'a, уже отмѣчены печатью романтическаго универсализма. Въ нихъ, въ художественной формѣ, соединились лучшіе завѣты гуманизма и самые задушевные порывы Руссо къ свободѣ личности, къ чистотѣ чувства, къ единенію съ природой, къ оздоровленію и обновленію затхлой общественной атмосферы на началахъ идеализма. Передъ нами—Вертеръ, этотъ типичный представитель романтическаго очарованія и разочарованія. Вертеръ кончаетъ жизнь самоубійствомъ, но не изъ-за любви только къ Шарлоттѣ, а благодаря тому разладу между идеаломъ романтика и суровой дѣйствительностью, который охватываетъ все его существо. Въ чемъ же его идеалъ? Онъ, какъ и Руссо, чувствуетъ присутствіе Всемогущаго, но вѣра въ Бога сливается у него съ любовью къ природѣ, которую онъ разсматриваетъ пантеистически; когда онъ созерцаетъ таинственный мракъ лѣса, слышитъ журчаніе ручья, видитъ вокругъ себя цѣлый міръ твореній, тогда онъ чувствуетъ дыханіе любви Всемогущаго, и его собственная душа представляется ему зеркаломъ безконечнаго божества. Вотъ романтическая религія Вертера, религія чувства, настроенія, поэтическаго, вдохновеннаго сліянія съ природой и божествомъ; эта религія питаетъ его чувствительную романтическую душу, но она же заставляетъ его отрицательно относиться къ господствующему церковному догматизму, который не даетъ мѣста субъективному чувству. Второй двигатель жизни—наука. Что хочетъ отъ нея Вертеръ? Онъ много проводилъ времени за книгами, но изъ нихъ вынесъ убѣжденіе, что „всякая дѣйствительность направлена къ удовлетворенію потребностей, которыя сами по себѣ не имѣютъ иной цѣли, какъ продленіе нашего существованія“. Въ наукѣ Вер-

теръ ищетъ рѣшенія больныхъ вопросовъ о смыслѣ жизни, о назначеніи человѣка и убѣждается, что и въ жизни, и въ наукѣ „взрослые люди, подобно дѣтямъ, толкаются на землѣ и не знаютъ, откуда они и куда идутъ, что и взрослые точно также не имѣютъ истинной цѣли и точно также бѣгаютъ за бисквитами и пирожками...“ Если человѣка не удовлетворяютъ ни существующія религіозныя формы, ни научная работа, то надо обратиться къ практической дѣятельности. Вертеръ пробуетъ и это сдѣлать; онъ поступаетъ на службу. Но служебный формализмъ и чиновничья рутина отталкиваютъ его на первыхъ же порахъ: онъ ищетъ и въ службѣ проявленія индивидуальности и осуществленія своего гуманнаго идеала — служенія человѣку, но не находитъ. Остается еще личная жизнь, личное счастье, но и тутъ онъ терпитъ неудачу. Онъ любитъ Лотту, въ ней находитъ онъ идеалъ той простоты и той естественности чувства, которыя Руссо поставилъ въ основу человѣческаго счастья; но Лотта—сначала невѣста, а потомъ жена другого мужчины, а по уставамъ общества самая искренняя и глубокая любовь, не освященная закономъ, должна считаться грѣховной,—и Вертеръ терпитъ послѣднее и самое страшное пораженіе... Вотъ какова фигура типичнаго романтика, поставленнаго лицомъ къ лицу съ дѣйствительной жизнью. Въ религіи онъ ищетъ свѣтлаго чувства и поэтическаго настроенія, — но его стараются подчинить обряду и догмату; отъ науки хочетъ онъ рѣшенія жгучихъ вопросовъ о цѣли нашей жизни и нашемъ назначеніи,—но получаетъ только отвѣтъ на чисто пищевые запросы; отъ дѣятельности практической хочетъ служенія идеѣ — и встрѣчаетъ одинъ эгоизмъ и формализмъ; наконецъ, личное счастье думаетъ построить на правдѣ чувства, на духовномъ родствѣ — и сталкивается съ неумолимыми законами общества, которые какъ будто для того и созданы, чтобы дѣлать людей несчастными. Разладъ съ жизнью приводитъ Вертера къ тому отчаянію, которое весьма близко къ пресловутой романтической „міровой скорби“... Таковы мечты идеалиста-романтика времени Sturm-und-Drang'а о переустройствѣ всѣхъ жизненныхъ отношеній.

Другое изъ вышеназванныхъ произведеній времени „бури и натиска“, именно „Разбойники“ Шиллера, бросало особенно смѣлый вызовъ общественной жизни съ ея подавляющими личную свободу условіями. Герой пьесы, Карлъ Мооръ, уходитъ изъ ненавистнаго ему общества въ лѣсъ, какъ Рене Шатобріана убѣгаетъ въ лѣса Америки, Чайльдъ-Гарольдъ Байрона въ свое пилигримство по живописному югу Европы, какъ Алеко Пушкина уходитъ въ цыганскій таборъ. Карлъ Мооръ становится разбойникомъ. Ему ненавистенъ жалкій „чернильный вѣкъ“, и онъ невольно обращается мыслью къ героямъ древности, передъ которыми современные люди кажутся пигмеями и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи. По его выраженію, современные люди ползаютъ „какъ крысы по пальцѣ Геркулеса“; они дерзко судятъ о тѣхъ величинахъ древности, съ которыми не могутъ идти въ сравненіе: „Французскій аббатикъ проповѣдуетъ, что Александръ былъ трусливъ, какъ заяцъ; чахоточный профессоръ, который при каждомъ словѣ подноситъ флаконичикъ съ нашатырнымъ спиртомъ къ носу, читаетъ лекцію о силѣ. Люди, падающіе въ обморокъ отъ всякихъ пустяковъ, критикуютъ тактику Аннибала; вислоухіе ребята ловятъ фразы изъ битвы при Каннахъ и злятся на побѣды Сципіона, потому что должны излагать ихъ учителю“. Отсюда выводъ: удѣлъ современныхъ поколѣній — слабость, бездѣятельность, рутина. „Право, этотъ гнусный вѣкъ...—говоритъ К. Мооръ—ни къ чему не способенъ болѣе, какъ только пережевывать подвиги прежнихъ временъ и героевъ древности шпиговать комментаріями или фаршировать ими трагедіи...“ „(Эти люди) искажаютъ свою здоровую природу нелѣпой рутиной, не могутъ собраться съ духомъ осушить стаканъ, потому что имъ придется при этомъ пить за здоровье; жмутъ руку лакею, чтобъ онъ замолвилъ словечко его сіятельству, и нападаютъ на бѣдняка, котораго не боятся; обожаютъ за обѣдъ и готовы отравить другъ друга за послѣднюю тряпку, перекупленную у нихъ на аукціонѣ; проклинаютъ саддукея за то, что тотъ рѣдко ходитъ въ церковь, а сами разсчитываютъ свои жидовскіе барыши у самаго алтаря; ста-

новятся на колѣни, чтобъ только выказать складки своего платья; не сводятъ глазъ съ проповѣдника, чтобъ только высмотрѣть, какъ причесанъ на немъ парикъ; падаютъ въ обморокъ при видѣ зарѣзаннаго гуся и рукоплещутъ, когда ихъ сопернкъ уходитъ банкротомъ съ биржи...“ Что же дѣлать противъ рутины? Нуженъ протестъ противъ обветшалыхъ законовъ общественной жизни, нужна свобода личности, нужно величіе энергіи, чтобы съ пути злобы, лжи и рутины отклонить человѣческое общество на путь правды, добра и красоты.

Въ другихъ трагедіяхъ Шиллера мы встрѣтимъ тѣ же гуманитарные идеалы жизни, построенные на признаніи правъ личности, ея благородныхъ духовныхъ порывовъ, ея искренности, ея внутренней правды. Вотъ, напр., передъ нами рядъ обаятельныхъ образовъ изъ трагедіи „Донъ Карлосъ“. Это—своеобразныя, полныя нравственной красоты индивидуальныя натуры, это типы нѣжнаго сердца и прекрасной души въ духѣ Руссо и его послѣдователей-романтиковъ. Донъ-Карлосъ такъ же, какъ и Карлъ Мооръ, страстно протестуетъ противъ окружающей его лжи и безчеловѣчности. Онъ обличаетъ лицемѣріе придворнаго монаха Доминго и смѣло говоритъ о жестокости герцога Альбы; онъ рѣшается сказать подобнымъ людямъ, гордымъ сподвижникамъ всесильнаго короля Филиппа, что они ошибаются, считая себя слугами Бога, такъ какъ все ихъ благочестіе и вся ихъ общественная и государственная дѣятельность противны божескимъ законамъ.

Богъ на небѣ судилъ, я—на землѣ...

говоритъ Альба;

Богъ или дьяволъ—все равно. Вы были
Его рукою правой... (д. II, явл. 5).

саркастически отвѣчаетъ ему Донъ-Карлосъ. Онъ, какъ настоящій ученикъ гуманистовъ и Руссо, думаетъ возродить къ гуманной дѣятельности своего отца Филиппа, думаетъ тронуть его „голосомъ природы“, т.-е. своей сыновней любовью, и рѣшается сказать ему во имя того же голоса природы, что всякій

государственный постъ, даже постъ намѣстника Фландріи, требуетъ прежде всего „человѣка“, которымъ „никогда не былъ“ герцогъ Альба. Этотъ смѣлый энтузіастъ рѣшается возстать и противъ самого всесильнаго Филиппа съ его дикимъ самоуправствомъ; надъ трупомъ своего друга, убитаго по приказу Филиппа, онъ въ присутствіи самого короля восклицаетъ:

Сюда, сюда взгляните. Никогда
Такого преступленья, какъ сегодня,
Ещё не совершалось. Иль нѣтъ Бога?
Иль могутъ сильные въ его созданьяхъ
Самоуправствовать такъ дерзко? Развѣ—
Я спрашиваю—нѣту Бога? (д. V, явл. 4).

Донъ-Карлосъ страдаетъ двойной мукой Гамлета и Вертера; онъ не только безпощадно анализируетъ окружающую пошлость, но онъ еще и мечтаетъ о лучшей дѣйствительности и скорбитъ міровой скорбью о томъ, что идеалъ такъ недосягаемъ для жизни. Собственная неудавшаяся жизнь представляется ему „чудной загадкой небесъ“, и онъ напрасно вникаетъ въ эту загадку съ болѣзненнымъ упорствомъ мечтателя-романтика, желающаго гармоническаго счастья для себя и для всѣхъ окружающихъ. Около молодого принца читатель видитъ въ трагедіи еще двѣ обаятельныя человѣческія фигуры, написанныя авторомъ самыми нѣжными красками. Это маркизъ Поза и королева Елизавета. Первый — „посланникъ человѣчества“, какъ онъ самъ себя характеризуетъ (д. I, явл. 2), ходатай по дѣламъ обездоленныхъ людей всѣхъ націй, возрастовъ и состояній, провозвѣстникъ будущаго человѣческаго общества, построеннаго по новому идеалу; „вся жизнь его была—любовь“, говоритъ о маркизѣ Донъ-Карлосъ (д. V, явл. 4), ощутившій въ своемъ другѣ родственную себѣ душу, которая „создана, чтобы его понять“, которую „природа чудно повторила“ въ его собственной душѣ, „равно настроивши на утрѣ дней двухъ душъ невидимыя струны“ (д. I, явл. 2). Вторая — благоухавшій цвѣтокъ нѣжнаго женскаго сердца и кристально чистой женской души; этотъ цвѣтокъ гибнетъ безъ солнца въ „мертвомъ Мадридѣ“, но онъ до послѣдней минуты не теряетъ

чувства солнца, не отказывается отъ надежды дождаться теплоты и свѣта и все время тянется всѣми лепестками къ лучамъ правды и человѣколюбія, которымъ такъ трудно пробиться въ царство Филиппа: королева—самое очаровательное олицетвореніе женскаго протеста, протеста сердца противъ жестокости и неправды, противъ боя быковъ и ауто-да-фе, придворнаго и семейнаго формализма, интригъ и человѣконенавистничества... Въ трагедіи „Вильгельмъ Телль“ — тѣ же мотивы. Героизмъ Телля отмѣченъ тѣмъ же девизомъ „in tyrannos“, которымъ Шиллеръ украсилъ свое юношеское произведеніе „Разбойники“; а рѣчи Штауффахера, хотя и болѣе спокойны, чѣмъ рѣчи Донъ-Карлоса или маркиза Позы, направлены однако на защиту все той же личной и національной свободы, которая одна только можетъ обезпечить индивидуальное и общественное счастье:

Нѣтъ, есть граница и тирановъ силѣ!
Коль угнетенный права не находитъ,
Коль для него несносно стало бремя,
Тогда онъ смѣло къ небу обратись:
Тамъ всѣ свои права отыщетъ онъ,
Тамъ всѣ они, какъ вѣчныя свѣтила,
Ненарушимы, тверды, неизмѣнны!..
Когда ничто помочь ему не можетъ,
Тогда ему остался острый мечъ.
Свое добро должны мы защищать;
Мы возстаемъ за милую отчизну,
Мы возстаемъ за женъ и за дѣтей... (д. II, сц. 2).

Въ подобныхъ рѣчахъ читатель слышалъ горячій протестъ сильной и смѣлой личности противъ гнета и порабощенія.

И слабому дала природа жало,

говоритъ Телль (д. IV, сц. 3) и, чувствуя себя самого сильнымъ, онъ тѣмъ смѣлѣе жалитъ своего врага, чтобъ „оградить невинность“ отъ тирана, чтобъ отомстить „священныя права природы“ (д. V, сц. 2)... Приведенными примѣрами изъ Гете и Шиллера еще не исчерпывается универсализмъ нѣмецкой романтики: его иллюстрируютъ и многія другія произведенія

какъ этихъ двухъ гигантовъ нѣмецкой поэзіи эпохи Sturm-und-Drang'а, такъ и нѣкоторыхъ собственно романтическихъ нѣмецкихъ поэтовъ, хорошо извѣстныхъ въ свое время европейскимъ и въ частности русскимъ читателямъ.

Во французской литературѣ параллель къ этимъ сильнымъ индивидуальностямъ Гете и Шиллера, мечтающимъ о новомъ идеалѣ общественной жизни, составляютъ герои Шатобріана и Гюго. Рене Шатобріана представляетъ собою, по выраженію окружающихъ его, тотъ esprit romanesque, который не находитъ себѣ иногда мѣста, томится жизнью, презираетъ людей. Его мятежныя скитанія по свѣту открываются бурей, которая разражается у береговъ Франціи въ ту ночь, когда онъ покидаетъ Европу. Съ тѣхъ поръ „онъ мятежный ищетъ бури“ и не находитъ покоя. Типъ Рене сложился подъ вліяніемъ Вертера: въ томъ и другомъ олицетворены томленія „генія новаго времени“ [1]), ищущаго новыхъ жизненныхъ путей; но въ Вертерѣ больше вѣры въ лучшее будущее, чѣмъ въ Рене: одинъ изъ нихъ живетъ до великаго европейскаго переворота, именуемаго французской революціей, когда многіе еще ждали выполненія своего неяснаго идеала, другой—послѣ, когда самые порывистые умы почувствовали себя неудовлетворенными. Вотъ поэтому-то Рене не только чувствуетъ необходимость начать новую жизнь, дѣлать новое дѣло, но и глубоко томится, не удовлетворяясь окружающей обстановкой. „Муки Рене,—говоритъ изслѣдователь французскаго романтизма [1]),—не что иное, какъ предродовыя потуги генія въ душѣ современной личности. Рене—это моментъ, въ которомъ избранная натура, подобно древне-еврейскимъ пророкамъ, впервые слышитъ призывающій ее голосъ и съ ужасомъ отступаетъ, въ отчаяніи изгибается, ищетъ выхода, чтобы бѣжать, и, подобно пророкамъ, отвѣчаетъ: „Господь, избери не меня, а другого—моего брата; я слишкомъ ничтоженъ, я — человѣкъ, не умѣющій складно говорить“. Избранникъ колеблется и надѣется, что другой послѣдуетъ зову, оглядывается, но никто не встаетъ,

[1]) Г. Брандесъ, Литер. XIX в., Франц. литература эмигрантовъ, 33—37

а голосъ продолжаетъ говорить, обращаясь къ нему...“ Но вотъ колебанія кончаются, и избранникъ смѣло берется за тяжелый трудъ. „Онъ слѣдуетъ тогда зову и видитъ, что прошло время мечтаній и сомнѣній, и что наступило время дѣйствовать. Позади него остались долгіе часы колебанія въ своихъ силахъ, . онъ сразу преобразовался въ другого человѣка. Онъ выходитъ изъ кризиса не какъ Вертеръ — путемъ самоубійства, но полный рѣшимости и съ повышеннымъ самосознаніемъ“... Гюго выступилъ съ протестомъ противъ обветшалаго общества уже въ „Hernani“. Въ свое произведеніе онъ вложилъ мысли о чувствѣ любви, свободѣ, благородствѣ, власти,—тѣ мысли, которыя такъ смѣло и свѣжо были истолкованы и нѣмецкими романтиками. Эрнани, какъ и Карлъ Мооръ,—благородный и великодушный изгнанникъ-бандитъ, цѣлой головой стоящій выше окружающаго его легальнаго общества. Самъ Донъ-Карлосъ сознается, что у этого „разбойничьяго майора“ видъ коронованной особы. Любовь знатной донны Соль къ бѣдному бандиту—такой же вызовъ обществу, какъ и самая личность Эрнани; она любитъ его со всей скудной обстановкой его скитальчества и готова покинуть цивилизованное общество, чтобы дѣлить судьбу съ разбойникомъ, внѣ законовъ общественной и государственной жизни. Устами донны Соль авторъ высказываетъ излюбленную мысль гуманистовъ, Руссо и романтиковъ объ истинномъ благородствѣ, о необходимости соотвѣтствія общественныхъ привилегій съ душевными качествами лица. Вслѣдъ за Гюго тѣ же мотивы усваиваются и его послѣдователями. Мы видимъ дальше, что въ школѣ французскихъ романтиковъ воспитываются такіе писатели, какъ Жоржъ-Зандъ и Бальзакъ, которые прямо или косвенно служатъ общественнымъ задачамъ. Романы Жоржъ-Зандъ сначала посвящались защитѣ личнаго чувства и выясненію нравственнаго превосходства женщины надъ мужчиной; затѣмъ отъ вопроса о закабаленіи женщины въ бракѣ писательница перешла къ не менѣе больному вопросу объ угнетеніи низшихъ слоевъ общества (ср. ея романы 30—40-хъ годовъ, которые посвящены преимуществу психологіи простого

человѣка и положенію городского рабочаго населенія, таковы напр. „Horace“ и „Le Compagnon du Tour de France“). Послѣдній вопросъ она рѣшала, правда, какъ-то мистически, однако въ духѣ романтическаго идеализма, т.-е. на началѣ тожества идеальнаго и реальнаго, при условіи котораго религія, поэзія и жизнь составляютъ одно цѣлое; будущее человѣчества Жоржъ-Зандъ представляетъ именно въ формѣ романтической утопіи. Бальзакъ, рисующій съ рѣдкой для своего времени наблюдательностью современное ему общество, не преслѣдуетъ, правда, опредѣленныхъ общественныхъ задачъ, но зато онъ бросаетъ вызовъ распущенности современнаго ему общества какъ въ религіозномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи; поэтому въ его романахъ не только наблюдается осужденіе общественнаго зла, но и чувствуется исканіе высшаго религіознаго и нравственнаго начала и новыхъ, идеальныхъ формъ для жизни человѣчества.

Въ англійской поэзіи эпохи романтизма наблюдаются тѣ же порывы къ новому идеалу универсальнаго счастья. Поэтъ конца XVIII стол. Робертъ Бернсъ болѣзненно чутко сознаетъ свое я и рвется къ широкой свободѣ и простору, какъ бы созерцая передъ собой будущую совершенную жизнь человѣчества. „Самый злѣйшій врагъ мой—я самъ,—говоритъ онъ.—Я завидую только двумъ существамъ въ мірѣ: дикой лошади, рыскающей въ лѣсахъ Азіи, и устрицѣ на какомъ-нибудь пустынномъ берегу Европы; у одной не бываетъ желаній, которыхъ она не могла бы удовлетворить, у другой вовсе нѣтъ ни желаній, ни боязни“. Въ этихъ словахъ чувствуется необыкновенная индивидуальная страстность, которая рвется къ простору и свободѣ и, не достигая ихъ, впадаетъ въ мрачное отчаяніе. И, дѣйствительно, этотъ пѣвецъ природы и воли возмущается противъ всякихъ общественныхъ и семейныхъ стѣсненій, полныхъ нерѣдко лицемѣрія и ханжества, чѣмъ въ данную эпоху особенно отличалась обыденная жизнь англійскаго cant'a; вотъ почему Бернсъ жалуется и на общественные, и на административные и даже на церковные порядки. Такъ, сѣтуя объ участи своего брата-бѣдняка, онъ говоритъ: „Человѣкъ, кто бы

онъ ни былъ, все-таки человѣкъ, и мужикъ стоитъ любого дворянина. Есть люди благородные по натурѣ, и это—единое истинное благородство; одежда—дѣло портного, титулы—дѣло канцелярское, а единственнымъ неоспоримымъ дипломомъ на честь можетъ назваться тотъ, который получается прямо изъ рукъ всемогущаго Бога" [1]). И въ этихъ словахъ чувствуется съ одной стороны Руссо, съ другой Петрарка съ его знаменитой фразой: Verus nobilis non nascitur, sed fit. Вслѣдъ за Берисомъ то же вниманіе къ человѣку въ его настоящемъ и въ его будущемъ мы найдемъ и у другихъ англійскихъ романтиковъ. Такъ, напр., Вордсвортъ также подмѣчаетъ въ сѣренькой жизни окружающихъ его людей самыя нѣжныя движенія распускающагося цвѣтка чувства и мысли. Тема его произведеній—дѣти, крестьяне, служанки, обыкновенные люди, старые и молодые, ничѣмъ не отмѣченные, но достойные замѣчанія по своимъ общечеловѣческимъ страданіямъ и радостямъ. Натуралистъ и созерцатель—Вордсвортъ, какъ и всѣ романтики, въ то же время философъ-идеалистъ: во всемъ реальномъ онъ ищетъ того идеальнаго зерна, которое должно осмыслить все міросозданіе. „Читая поэму Вордсворта,—говоритъ Тэнъ,—я невольно рисую передъ собой портъ-роялькую долину: уединенный уголокъ, стоячія воды, сумрачные лѣса, развалины, надгробные камни, а надъ всѣмъ этимъ—мысль объ отвѣтственности человѣка и о непостижимомъ „тамъ", куда, волей-неволей, мы должны будемъ когда-нибудь придти". Вордсворта, дѣйствительно, тревожатъ, какъ и Вертера, эти вѣчноюныя темы о жизни и смерти, о будущности человѣка за гробомъ, о границахъ нашего ума и о связи конечнаго съ безконечнымъ. Особеннаго напряженія достигаетъ романтическій универсализмъ въ поэзіи Шелли и Байрона. Въ лицѣ своихъ титаническихъ героевъ эти поэты страдальчески любятъ человѣчество и ратуютъ за его счастье. У Шелли, по его собственнымъ словамъ, „было страстное желаніе переустроить міръ"; Байронъ подготовилъ почву къ этому, разбивши своей сатирой

[1]) Тэнъ, Англ. литер., II, кн. IV, гл. 1.

устарѣвшіе общественные устои. Онъ смѣло выступилъ противъ общественнаго лицемѣрія, еще болѣе страстно, чѣмъ Вертеръ, Карлъ Мооръ или Эрнани:

Лишь мнѣнье свѣта—богъ. И въ этой мглѣ
Мѣшаемъ ложь мы съ истиной стыдливой,
И мысль свою, съ смущеньемъ на челѣ,
Мы душимъ, мракъ боясь разсѣять на землѣ.
(Ч.-Гарольдъ, п. IV, стр. 93, перев. С. Ильина).

Такъ бичуетъ Чайльдъ-Гарольдъ современную ему общественную рутину. Скорбь этихъ поэтовъ о человѣческихъ бѣдствіяхъ и ихъ заботы о лучшемъ для человѣчества вѣкѣ, о свободномъ развитіи человѣческаго я — наполняютъ ихъ лирику и эпосъ, который впрочемъ тоже остается у нихъ всегда субъективно-лирическимъ. Идеалъ общественной и государственной жизни, набросанный ими, далеко опередилъ дѣйствительныя событія европейской исторіи; но главная часть этого идеала несомнѣнно прочно приросла къ европейской почвѣ: это та свобода человѣческой мысли, изъ которой родится всякій прогрессъ, и которой въ „Чайльдъ-Гарольдѣ“ посвящаются слѣдующія строки:

Все-жъ будемъ размышлять мы смѣло.
Безчестно отступать отъ правъ:
Мысль—наше право, наше дѣло,
И я храню ея уставъ.
Хоть съ дня рожденья мысль въ насъ гнали,
Водили къ пыткамъ и на казнь,
Терзали, жгли и оскорбляли,
Хотя завистливо боязнь
Ее во мракѣ содержала,
Чтобъ съ свѣтомъ не жилъ человѣкъ,
Но все-жъ порою видѣлъ вѣкъ,
Что мысль лучомъ своимъ сіяла
И мы узнали, наконецъ,
Что прозрѣваетъ и слѣпецъ.
(П. IV, стр. 127, пер. Д. Минаева).

Во всякомъ случаѣ оба поэта вѣрятъ въ возможность универсальнаго счастья; эта вѣра въ будущее свободное и свѣтлое человѣчество звучитъ разнообразными аккордами въ ихъ поэзіи.

...свѣтлѣй твои взоры, чѣмъ молніи блескъ,
Но землѣ ты проходишь быстрѣй, чѣмъ гроза.
Заглушаешь ты моря неистовый плескъ,
Предъ тобою вулканъ закрываетъ глаза;
Солнца ликъ предъ тобой потускнѣлъ и поблекъ,
Какъ болотный ночной огонекъ.
Какъ зиждительный ливень могучей весны,
На незримыхъ крылахъ ты надъ міромъ летишь,
Отъ народа къ народу, въ страну изъ страны,
Отъ толпы городской въ деревенскую тишь,
И горитъ за тобой, тѣни рабства гоня,
Нѣжный лучъ восходящаго дня.
(Стих. „Свобода", перев. К. Бальмонта).

Такъ поетъ о свободѣ Шелли. Подобныя пѣсни найдемъ и у Байрона. Байроновская поэзія, по мѣткому сравненію его изслѣдователя [1]), была бурнымъ, но въ то же время благотворнымъ потокомъ: онъ, правда, все разрушалъ на своемъ пути, сѣялъ отчаяніе и слезы, но въ то же время онъ уносилъ съ собою и все обветшалое, негодное, гнилое и въ своей бѣлой пѣнѣ и алмазныхъ брызгахъ таилъ свѣтлую радугу, которая была какъ бы знаменіемъ будущаго счастья Европы и человѣчества. Этотъ потокъ Байронъ самъ описалъ въ своей поэмѣ („Чайльдъ-Гарольдъ", IV. 72. пер. С. Ильина):

Потокъ несется въ пѣнѣ съ дикихъ горъ,
Какъ вѣчность, все съ пути сметая, словно соръ.
Все въ немъ полно ужасной красотою...
А въ вышинѣ, надъ вихремъ бурныхъ водъ,
Блистая красокъ гаммою живою,
Въ лучахъ восхода радуга встаетъ,—
Такъ въ смертный часъ привѣтъ надежда шлетъ.
Пучина водъ утесы сотрясаетъ,
А радуга лучи спокойно льетъ,—
И кротостью любовь напоминаетъ,
Когда безмолвно та безумье созерцаетъ.

Старая Европа разрушалась въ потокѣ новыхъ ученій и новыхъ формъ жизни, и надъ безуміемъ одряхлѣвшаго обществен-

[1]) Г. Брандесъ, Анг. литер., 383.

наго и политическаго быта кротко сіяла радуга свободы и правды, спокойно празднуя свою близкую свѣтлую побѣду.

---

Индивидуумъ, нація, универсумъ — таковы главные пункты и мотивы, по которымъ развивалось идеалистическое міросозерцаніе романтиковъ. Его задача—освободить благородный человѣческій духъ отъ оковъ ложно направленной цивилизаціи, призвать его на служеніе идеалу истины, добра и красоты, дать просторъ духовному развитію каждой индивидуальной націи и собрать въ одно цѣлое всѣ духовныя богатства отдѣльныхъ народовъ, — и тогда соединенными силами создавать универсальное счастье всего человѣчества на почвѣ тожества идеальнаго и реальнаго. Дѣйствительность не отвѣчала этимъ высокимъ порывамъ романтизма: индивидуумъ въ началѣ XIX стол. еще чувствовалъ себя пригнетеннымъ и въ политическомъ, и въ общественномъ, и въ семейномъ отношеніяхъ; націи, правда, освобождались и возрождались, но нерѣдко суровая реакція возвращала ихъ въ прежнее полурабское состояніе, а мечты объ утопической новой жизни человѣчества разбивались о старые, довольно еще прочные устои политическіе, общественные, церковные, семейные... Лучшими умами овладѣвала меланхолія, переходившая нерѣдко въ отчаяніе, въ гнетущую міровую скорбь. Но эта скорбь однако не составляетъ существа романтическаго міровоззрѣнія; она родилась въ романтизмѣ не отъ безвѣрія въ идеалъ, а отъ слишкомъ слѣпой въ него вѣры; скорбь велика, потому что идеалъ великъ и потому что отъ земли очень далеко до неба; но небо для романтиковъ все-таки существуетъ какъ фактъ, и они чувствуютъ себя на твердой дорогѣ къ опредѣленной цѣли. Поэтому скорбь романтиковъ не есть основной мотивъ романтизма, но только фонъ, на которомъ развиваются ихъ идеальныя стремленія. Одинъ изъ величайшихъ скорбниковъ эпохи, Байронъ, нерѣдко рисуется какъ пессимистъ, не вѣрующій въ прогрессъ человѣчества. Но такое пониманіе поэзіи Байрона страдаетъ односторонностью. Скорбь Байрона есть вмѣстѣ съ тѣмъ и

страстное влеченіе къ идеалу, въ который поэтъ твердо вѣритъ вмѣстѣ со всѣмъ лучшимъ человѣчествомъ, „Байроново я,—говоритъ Г. Брандесъ [1]),—есть обще-человѣческое; его заботы и надежды суть заботы и надежды всего человѣчества. Послѣ того, какъ это „я“ сосредоточилось съ самою мужественною силою въ самомъ себѣ и погрузилось въ свою одинокую печаль, его скорбь расширилась въ печаль о всѣхъ бѣдствіяхъ человѣчества, грубая эгоистическая оболочка разорвалась, и глубокое влеченіе къ свободѣ вырвалось наружу, для того чтобы охватить и возвысить весь современный поэту міръ“. Поэтому если скорбь Байрона и пріобрѣла повидимому „антигуманный, противообщественный характеръ“ — какъ прекрасно выразился нашъ изслѣдователь міровой скорби,—то во всякомъ случаѣ его „гуманное сердце идеалиста переродилось въ антигуманное“ лишь „на время“ [2]), и самый фактъ преобладанія скорбныхъ нотъ въ поэзіи конца XVIII и начала XIX вѣка объясняется, по мнѣнію другого нашего изслѣдователя, именно вниманіемъ ея къ общечеловѣческимъ нуждамъ, — „тѣмъ, что поэзія (этой эпохи) не вращается только въ средѣ личныхъ ощущеній поэта, но принимаетъ общественный характеръ“ [3]).

Эти основные мотивы, объясняющіе сущность романтизма, однако не исчерпываютъ всѣхъ деталей своеобразнаго романтическаго міровоззрѣнія. На общей канвѣ этихъ главныхъ положеній романтики развивали свои взгляды на различныя стороны человѣческой жизни и дѣятельности; поэтому романтическая поэзія даетъ возможность судить объ отношеніи романтиковъ къ религіи, природѣ, искусству, наукѣ, и даже можно съ полнымъ основаніемъ говорить о романтической эстетикѣ, этикѣ, психологіи, романтической соціологіи и т. д. Но при такомъ широкомъ горизонтѣ своего міропониманія романтики нерѣдко впадали въ крайности, вступая на путь необузданной фантазіи и безграничной идеалистики: въ своемъ увлеченіи

[1]) Г. Брандесъ, Англ. литер., 317.

[2]) Н. Котляревскій. Міровая скорбь въ концѣ прошлаго и въ началѣ нашего вѣка, Спб. 1898, стр. 358 и XVIII.

[3]) Н. И. Стороженко. Поэзія міровой скорби. Одесса, 1895, стр. 19.

несбыточными идеалами они ставили чистое искусство выше всей окружающей ихъ дѣйствительности, религію обращали въ мечтательное созерцаніе, любовь—въ безконечное томленіе, реальную жизнь—въ сладкую грезу, отъ современности дѣлали иногда реакціонный поворотъ къ старинѣ и, любя человѣчество, смотрѣли однако въ минуту скорби и отчаянія надменно, а иногда и презрительно на все, что не могло подняться до высоты ихъ этическихъ и эстетическихъ воззрѣній. Эти крайности, рѣзко обличенныя и въ болѣе ранней (напр., Геттнеръ) и въ позднѣйшей критикѣ (напр., Брандесъ), не умаляютъ однако значенія основныхъ стремленій и завѣтовъ романтики: они остаются всегда въ силѣ, потому что нѣм. Sturm-und-Drang и старшая романтика, а также значительная часть франц. и англ. романтической поэзіи чужды крайнихъ выводовъ романтизма. Это въ особенности важно имѣть въ виду по отношенію къ русской поэзіи начала XIX столѣтія: русскіе читатели этой эпохи знакомились по преимуществу съ такими представителями Sturm-und-Drang'а и романтизма, какъ Гете и Шиллеръ въ Германіи, Гюго во Франціи, Вальтеръ-Скоттъ и Байронъ въ Англіи, а у этихъ поэтовъ мы не найдемъ романтическихъ крайностей.

Мы переходимъ теперь къ русскому обществу и русской литературѣ начала XIX стол. Основные мотивы романтическаго идеализма, группировавшіеся около индивидуализма и національнаго и приводившіе романтиковъ къ культу будущаго универсальнаго человѣческаго счастья, — эти мотивы отразились и въ русской общественной и литературной жизни начала вѣка. Отраженіе однако было сравнительно слабое, потому что русское общество въ широкихъ кругахъ не было еще подготовлено къ воспріятію романтическихъ идеаловъ, а интеллигентное меньшинство, которое понимало и усваивало эти идеалы, не всегда умѣло и даже, въ силу различныхъ условій нашей жизни въ эту эпоху, не всегда могло ихъ проводить въ сознаніе окружающаго общества. Однако и культъ личности, и культъ національности, и поэтизація универсальной человѣческой жизни находятъ мѣсто и у насъ. Первый

мотивъ сводится къ созданію цѣлаго ряда меланхолическихъ героевъ, протестующихъ противъ обыденщины и ищущихъ обновленія жизни,—героевъ, представляющихъ большею частью слабыя копіи съ западно-европейскихъ образцовъ, но тѣмъ не менѣе своеобразныхъ и обаятельныхъ для читателя. Второй мотивъ выражается у насъ въ поэтизаціи народной старины, иногда очень наивной поэтизаціи, сопровождающейся не менѣе наивнымъ патріотизмомъ, однако восторженной, идеалистически чистой, полной вѣры въ свой народъ и его будущее. Наконецъ, третій мотивъ выразился у насъ не столько въ мечтахъ о будущемъ счастьѣ всего человѣчества, сколько въ стремленіи внести какъ въ личную, такъ и въ общественную жизнь идеалы западно-европейскаго романтизма.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### Романтическій идеализмъ въ русскомъ обществѣ и литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. Источники романтическаго идеализма и его общій характеръ въ русской общественной и литературной жизни нач. XIX стол.; отраженіе его основныхъ мотивовъ: романтическій индивидуализмъ, національнзмъ и универсализмъ на русской почвѣ.

1. Начало романтическаго идеализма въ русскомъ обществѣ и литературѣ и его источники. Характеръ литературныхъ вкусовъ въ началѣ XIX стол.: псевдоклассицизмъ и сентиментализмъ. Знакомство съ нѣмецкой романтической поэзіей; первоначальное къ ней отношеніе; столкновеніе ея съ французскимъ классицизмомъ; споры о писателяхъ-нѣмцахъ и писателяхъ-французахъ; первыя впечатлѣнія литературныхъ опытовъ Жуковскаго въ духѣ нѣмецкаго романтизма. Расширеніе знакомства съ западно-европейской романтикой: границы распространенія романтической литературы среди русской читающей публики до и послѣ 20-хъ годовъ XIX стол. Журналы 20-хъ годовъ—какъ источникъ знакомства съ романтической поэзіей и критикой: „Моск. Вѣстникъ“ и „Моск. Телеграфъ“ и ихъ переводная литература. Театръ какъ проводникъ романтизма въ русское общество; Шекспиръ и Шиллеръ на русской сценѣ. Новый типъ читателя съ преобладающимъ вкусомъ къ романтической поэзіи; характеръ чтенія школьнаго и частнаго въ 20—30-хъ годахъ. Литературные кружки и салоны въ духѣ Sturm-und-Drang'a и романтизма. Оппозиція противъ романтическаго идеализма со стороны стараго литературнаго и общественнаго режима: частныя возраженія и неблагопріятные отзывы о Гете, Шиллерѣ, Байронѣ и др. поэтахъ эпохи; официальное гоненіе на философію и поэзію романтизма.

Тотъ общественно-литературный моментъ въ жизни Европы, который характеризуется развитіемъ романтическаго идеализма, начинается у насъ съ постепеннаго знакомства съ западно-европейской романтической поэзіей к. XVIII и н. XIX стол. Знакомство переходитъ сначала въ робкое, несмѣлое вниманіе къ новымъ поэтическимъ идеаламъ и формамъ, а затѣмъ и въ восторженное увлеченіе... Картина этого знакомства, этого зарожденія въ русскомъ обществѣ к. XIX стол. новаго литературнаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и общественнаго идеала въ духѣ

романтическаго идеализма развертывается передъ взоромъ наблюдателя постепенно и въ 20—30-хъ годахъ становится особенно наглядной.

Въ началѣ XIX столѣтія русская читающая публика довольствовалась еще, впрочемъ, литературой псевдоклассицизма и постепенно его смѣнявшаго сентиментализма; при этомъ книги большею частію были переводныя, такъ какъ среди широкой публики знаніе иностранныхъ языковъ мало было распространено. „...Тогда еще мало знали иностранные языки", читаемъ въ запискахъ М. Дмитріева [1]). „Въ столицахъ не было еще библіотекъ для чтенія книгъ за нѣкоторую плату; не было еще огромныхъ журналовъ, въ которыхъ нынѣ печатаются цѣлые романы, и потому переводы большихъ и многотомныхъ книгъ имѣли много читателей. По деревнямъ, кто любилъ чтеніе и кто только могъ, заводился небольшой, но полной библіотекой. Были нѣкоторыя книги, которыя какъ будто почитались необходимыми для этихъ библіотекъ и находились въ каждой. Онѣ перечитывались по нѣскольку разъ, всею семьею. Выборъ былъ недуренъ и довольно основателенъ. Напримѣръ, въ каждой деревенской библіотекѣ непремѣнно уже находились „Телемакъ", „Жильблазъ", „Донъ-Кишотъ", „Робинзонъ-Крузъ", „Древняя Вивліоѳика" Новикова; „Дѣянія Петра Великаго" (Голикова), и съ дополненіями; „Исторія о странствіяхъ вообще" Лагарпа... Ломоносовъ, Сумароковъ, Херасковъ непремѣнно были у тѣхъ, которые любили стихотворство. Послѣ уже начали прибавляться къ этимъ книгамъ и сочиненія г-на Вольтера (3 тома, 1802), и романы и повѣсти его же, и „Новая Элоиза". Въ началѣ нынѣшняго столѣтія вошли у насъ въ большую моду романы Августа Лафонтена [2]), г-жи Жанлисъ

---

[1]) Мих. Дмитріевъ. Мелочи изъ запаса моей памяти. М. 1857, стр. 25—27.

[2]) Въ 1804 году о романахъ Лафонтена одинъ русскій читатель говоритъ, какъ о новинкѣ (Русск. Арх. 1898, кн. I. Изъ писемъ Я. И. Булгакова изъ Москвы въ Неаполь къ старшему сыну его Александру Яковлевичу, письмо отъ 8 авг. 1804 г.): „Появился въ нѣмецкой землѣ новый авторъ Auguste la Fo taine. Онъ пишетъ моральные романы совсѣмъ въ

и Коцебу [1]). Но никто не пользовался такою славою, какъ г-жа Радклифъ! Ужасное и чувствительное—вотъ были, наконецъ, два рода чтенія наиболѣе по вкусу публики. Чтеніе этого рода замѣнило, наконецъ, прежніе книги. Впрочемъ Вальтеръ Скоттъ, въ своемъ жизнеописаніи г-жи Радклифъ, воздаетъ ея романамъ большую похвалу, особенно же ея искусству возбуждать въ сильной степени воображеніе читателей. Всѣ эти книги, т.-е. романы и нѣмецкіе и англійскіе, переводились уже большею частію съ французскаго: почти одинъ этотъ иностранный языкъ былъ у насъ извѣстенъ; даже знаніе нѣмецкаго — было большая рѣдкость, почти до двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія. Когда я былъ въ университетѣ (1813—1817), почти никто не зналъ по-нѣмецки". Идиллическія картины деревенскихъ литературныхъ чтеній въ эту пору складывались почти исключительно изъ сентиментальныхъ романовъ и повѣстей; главное мѣсто среди нихъ принадлежало г-жѣ Радклифъ и г-жѣ Жанлисъ. „Я помню", продолжаетъ М. Дмитріевъ, „и деревенскія чтенія романовъ. Вся семья по вечерамъ садилась въ кружокъ; кто-нибудь читалъ, другіе слушали; особенно дамы и дѣвицы.—Какой ужасъ распространяла славная г-жа Радклифъ!.. Какое участіе принимали въ чувствительныхъ героиняхъ г-жи Жанлисъ! — „Страданія Ортенберговой фамиліи" и „Мальчикъ у ручья" Коцебу—рѣшительно извлекали слезы! Дѣло въ томъ, что при этомъ чтеніи, въ эти минуты, вся семья жила сердцемъ, или воображеніемъ, и переносилась въ другой міръ, который на эти минуты казался дѣйствительнымъ; а главное—чувствовалось живѣе, чѣмъ въ своей однообразной жизни". Даже менѣе усердные любители чтенія не

---

новомъ вкусѣ. Ихъ уже переведено на французскій языкъ около 40 томовъ, и я ихъ имѣю. Читалъ дорогою; попалось мнѣ мѣсто оригинальное, да они и всѣ таковы. На одной страницѣ онъ умѣлъ сказать всю мораль, которая разбросана въ тысячѣ книгахъ".

[1]) Коцебу въ эту пору былъ излюбленнымъ авторомъ и на сценѣ; его пьесы преобладали какъ въ центрѣ Россіи, такъ и на окраинахъ, напр., въ далекой Сибири (ср. Русск. Стар. 1905, т. 123, іюль: И. Т. Калашниковъ, Записки Иркутскаго жителя).

обходились безъ романовъ г-жи Радклифъ. „...Она читала весьма мало: въ рукахъ у нея видали только романы г-жи Радклифъ“, такъ характеризуетъ одинъ авторъ мемуаровъ среднюю читательницу начала вѣка [1]). На ряду съ этими писательницами пользовался популярностью у русскихъ читателей и романистъ Шписсъ. Другая любительница чтенія разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что въ библіотекѣ своего дяди она нашла именно этихъ авторовъ — Радклифъ, Шписса и Жанлисъ; первыми двумя она восхищалась, но повѣстей г-жи Жанлисъ она не любила [2]). Для дѣтскаго чтенія въ началѣ вѣка также, повидимому, пользовались отчасти сентиментальной, отчасти еще ложноклассической литературой, которая обслуживала взрослыхъ читателей. „Собственно дѣтскихъ книгъ въ двадцатыхъ годахъ не имѣлось не только на русскомъ, но даже и на французскомъ языкѣ: Paul et Virginie, Gumal et Lina, скучнѣйшій Berquin, Les veillées du Château скоро были исчерпаны. Волшебныхъ сказокъ намъ не давали читать; матушка считала ихъ вредной пищей для ума. „Павелъ и Виргинія“ Бернардена, собственно говоря, нельзя назвать дѣтской книгой, но изъ всѣхъ прочихъ она намъ болѣе нравилась. Русскихъ же книгъ для дѣтей въ то время вовсе не было. Поневолѣ просиживала я, лѣтъ десяти, по цѣлымъ часамъ гдѣ-нибудь въ углу, глотая отъ доски до доски трагедіи Расина, Корнеля, Вольтера и тѣ изъ комедій Мольера, которыя мнѣ дозволяли читать. Но и тутъ встрѣчались выраженія вовсе не дѣтскія и даже далеко не приличныя. За истолкованіемъ непонятыхъ мною словъ я приходила къ матушкѣ и, вѣроятно, очень затрудняла ее своими вопросами“. Такъ характеризуетъ современница ограниченный кругъ своего дѣтскаго чтенія [3]).

---

[1]) Русск. Арх. 1893, кн. I: Елизавета Петровна Глѣбова-Стрѣшнева (1751—1837). По воспоминаніямъ внучки ея Натальи Петровны Бревернъ.

[2]) Русск. Арх. 1899, кн. III: Воспоминанія Прасковьи Николаевны Татлиной.

[3]) Истор. Вѣст. 1898, кн. 12, стр. 953: Воспоминанія Екатерины Ивановны Раевской.

Нѣмецкая романтическая поэзія, болѣе ранняя и въ Европѣ, проникаетъ въ русское общество и литературу раньше французской и англійской. Первое знакомство съ новыми литературными явленіями эпохи нѣм. Sturm-und-Drang'а и романтизма относится тоже къ первому десятилѣтію вѣка, но сначала оно касалось, конечно, не широкаго круга читателей, а только отдѣльныхъ лицъ. Разсказывая объ этомъ, Ф. Ф. Вигель упоминаетъ, напр., о Жуковскомъ и объ его другѣ Александрѣ Тургеневѣ, какъ о первыхъ почитателяхъ нѣм. романтики въ русскомъ обществѣ. „Германія прославилась тогда — говоритъ онъ — „знаменитѣйшими писателями, Шиллеромъ, Гёте, Виландомъ, которые далеко за собой оставили предшественниковъ своихъ и въ литературной вѣрѣ должны были произвести переворотъ. Ими воспламенялся нашъ Жуковскій. Я помню, какъ, возвратившись изъ Геттингенскаго университета, другъ его, Александръ Тургеневъ, сынъ и братъ извѣстныхъ и самъ довольно извѣстный, посѣтилъ мое скромное жилище. У меня на сосновыхъ выкрашенныхъ полочкахъ стояло нѣсколько французскихъ классиковъ дешеваго стереотипнаго изданія, которыхъ тогдашнія скудныя средства мои дозволяли мнѣ покупать. Съ презрительною улыбкою воскликнулъ онъ: „Что это такое? А! Расинъ и Буало, Вольтеръ и Лагарпъ, ха-ха-ха!“ У него же шкапы наполнялись фоліантами въ пожелтѣвшихъ пергаментныхъ переплетахъ, въ которые никогда онъ не заглядывалъ, но которые показывали нѣмецкую его ученость“ [1]). На первыхъ порахъ новые литературные вкусы казались настолько странными, что вызывали даже насмѣшку со стороны приверженцевъ французской литературы. „Въ хорошемъ обществѣ“, разсказываетъ Ф. Ф. Вигель, „кто бы осмѣлился быть защитникомъ нѣмецкой литературы, нѣмецкаго театра? Сами молодые

[1]) Русск. Арх. 1893, кн. II: Ф. Ф. Вигель, Москва и Петербургъ. (Письмо къ пріятелю въ Симбирскъ). О литературныхъ вкусахъ А. И. Тургенева см. также „Архивъ братьевъ Тургеневыхъ. Вып. 2-й: Письма и дневникъ Александра Ивановича Тургенева, Геттингенскаго періода (1802—1804 гг.) и письма его къ А. С. Кайсарову и братьямъ въ Геттингенъ 1805—1811 гг.“. Съ введеніемъ и примѣчаніями В. М. Истрина, Спб. 1911.

нѣмцы, въ немъ отлично принятые, Палены, Бенкендорфы, Шёнинги, если не образомъ мыслей, то манерами, были еще болѣе французы, чѣмъ мы. Нѣкоторые изъ нихъ со смѣхомъ разсказывали сами, какъ въ иныхъ піесахъ герой, котораго видѣли юношей въ первомъ дѣйствіи, въ послѣднемъ является старикомъ, какъ первое происходитъ въ Греціи, а послѣднее въ Индіи; тридцать или сорокъ дѣйствующихъ лицъ были также предметомъ общихъ насмѣшекъ. Названія играемыхъ трагедій или драмъ: „Минна фонъ-Барнгельмъ“, „Гётцъ фонъ-Берлихингенъ“, „Докторъ Фаустъ“—оказались уродливы, чудовищны. И что это за Мефистофель? И какъ можно чорта пустить на сцену? Это то же, что пьянаго сапожника представить въ гостиную знатной модницы. Все это казалось неприличіемъ, отвратительною неблагопристойностью. Я помню разъ въ театрѣ стараго графа Строганова, который такъ и катался, читая Damen, Senatoren und Banditen на концѣ афишки, возвѣщающей первое представленіе Абелино“ [1]).

Даже когда политика Наполеона, а вслѣдъ за тѣмъ и его походъ на Россію вызвали недоброжелательство къ французамъ, французская литература продолжала еще сохранять свой престижъ въ глазахъ русской свѣтской публики. Особенно это было замѣтно, по наблюденію автора тѣхъ же записокъ, въ отношеніи театра. „Несмотря на общее недоброжелательство къ Наполеоновой Франціи, лучшая публика продолжала французскій театръ предпочитать всѣмъ прочимъ. Три четверти петербургской публики изъ однѣхъ афишекъ только знали, что даютъ въ нѣмецкомъ театрѣ; а что на немъ не давали? Число драматическихъ писателей въ послѣднее двадцатипятилѣтіе въ Германіи чрезвычайно расплодилось, и каждый изъ нихъ былъ отмѣнно плодовитъ. Сей огромный репертуаръ безпрестанно умножался еще переводами итальянскихъ и французскихъ оперъ и англійскихъ трагедій. Источникъ такого богатства былъ у насъ подъ носомъ, и никто не думалъ черпать изъ него; никто не спѣшилъ ознакомиться съ геніальными твореніями Лес-

[1]) Русск. Арх. 1892, кн. II: Ф. Ф. Вигель, Записки, т. III.

синга, Шиллера и Гёте. Таковъ былъ вѣкъ. Мы, вслѣдъ за французами, почитали Аристотелево правило о трехъ единствахъ на сценѣ нашею драматическою вѣрою, тогда какъ, въ творческой гордости своей, нѣмцы совершенно пренебрегали имъ. Французы, наши наставники, пріучили насъ видѣть въ нѣмцахъ одно смѣшное" [1]). Когда же, спустя уже почти два десятилѣтія, стали появляться на русской сценѣ „романтическія" пьесы, къ которымъ тогда относили и мелодрамы Дюканжа, сторонники классицизма продолжали бить тревогу, предчувствуя побѣду романтическаго театра надъ классическимъ. Первое впечатлѣніе отъ мелодрамы Дюканжа на сценѣ сохранилось, между прочимъ, въ „Запискахъ" П. А. Каратыгина. „Въ 1827 г.", разсказываетъ онъ, „появилась на петербургской сценѣ извѣстная мелодрама Дюканжа: „Тридцать лѣтъ, или жизнь игрока" и произвела необыкновенный фуроръ; ее давали почти ежедневно. Въ этотъ періодъ времени романтизмъ началъ серьезно угрожать классицизму. Хотя и прежде нашъ репертуаръ имѣлъ много мелодрамъ съ бенгаликой и трескучими эффектами, но онѣ не были опасны классическимъ трагедіямъ, и гордая Мельпомена съ презрѣніемъ смотрѣла на свою соперницу и не имѣла причины бояться за свою традиціонную самостоятельность. Но съ появленіемъ „Жизни игрока" повѣяло какою-то заманчивой новизной, и вкусъ публики къ классицизму съ того времени началъ замѣтно ослабѣвать. Я помню, какъ начало этого сценическаго раскола возмутило нашихъ истыхъ поборниковъ классицизма: Гнѣдича, Катенина, Лобанова и другихъ, какъ они соболѣзновали о жалкомъ упадкѣ современнаго вкуса; даже дѣдушка Крыловъ, который, конечно, былъ поэтомъ реальной школы, (но) и этотъ съ презрѣніемъ отзывался объ этой возмутительной, по его словамъ, мелодрамѣ. На другой день послѣ перваго сего представленія онъ говорилъ моему брату: „Помилуйте, что это за безобразная пьеса! Теперь остается авторамъ выводить на сцену однихъ каторжниковъ или галерныхъ преступниковъ" [2]).

[1]) Русск. Арх. 1892, кн. II: Ф. Ф. Вигель, Записки, т. III.

[2]) П. А. Каратыгинъ, Записки, Спб. 1880.

Частые споры о писателяхъ-французахъ и писателяхъ-нѣмцахъ, относящіеся къ началу столѣтія, также свидѣтельствуютъ о томъ, что перенесеніе литературныхъ вкусовъ съ французскаго классицизма на нѣмецкую романтическую поэзію происходило съ большими препятствіями со стороны приверженцевъ старины. Баронъ М. А. Корфъ такъ разсказываетъ о своемъ литературномъ спорѣ съ А. С. Норовымъ. „Изучивъ поэтовъ русскихъ и французскихъ, онъ (т.-е. А. С. Норовъ) также не чуждъ нѣмецкой словесности и знаетъ также языкъ и творенія римскихъ классиковъ. И однако же онъ предпочитаетъ, подобно многимъ, французскій театръ высокимъ драматическимъ созданіямъ Шиллера, Гёте, Лессинга, Грильпарцера и др. Скучная Гофолія, резонёръ Танкредъ, тяжелый Сидъ, по его мнѣнію, безконечно выше Маріи Стюартъ, Іоанны д'Аркъ, Эмиліи Галотти, Гётца Берлихингена... „Нѣтъ", сказалъ я ему: „все, что вы приводите, несомнѣнно прекрасно, какъ поэзія, но дѣйствуетъ болѣе на умъ, тогда какъ мои милые нѣмцы достигаютъ прямо до сердца". Въ результатѣ спора оказалось, что противникъ нѣмцевъ читалъ ихъ не въ подлинникѣ, а въ переводѣ, что, конечно, случалось съ большинствомъ русскихъ читателей того времени, такъ какъ нѣмецкій языкъ, по свидѣтельству современниковъ (ср. М. Дмитріевъ, „Мелочи"...), былъ тогда менѣе извѣстенъ, чѣмъ французскій. „Онъ, наконецъ, признался", продолжаетъ М. А. Корфъ, „что знакомъ съ послѣдней (т.-е. нѣмецкой литературой) только по переводамъ. „А, сказалъ я тогда, если вы имѣете понятіе о трилогіи Валленштейна лишь по презрѣнной передѣлкѣ ея въ одну пьесу г-на Жуи, или о „Коварствѣ и любви" по русскому переводу, то не можете имѣть высокаго мнѣнія о красотахъ нѣмецкой сцены. Это все равно, что судить о Телемакѣ по переводу Тредьяковскаго" [1]). Когда, наконецъ, съ Жуковскимъ появились и на русскомъ языкѣ первые литературные опыты въ духѣ нѣмецкаго романтизма, читающая публика встрѣтила ихъ, по свидѣтельству современника, сначала недовѣрчиво, и

[1]) Русск. Арх., 1895, кн. III: Изъ дневника барона М. А. Корфа.

лишь благодаря поэтическому таланту Жуковскаго, привыкли къ новымъ художественнымъ мотивамъ и формамъ. „Въ Бѣлевскомъ уединеніи своемъ“, разсказываетъ Ф. Ф. Вигель [1]), „гдѣ проводилъ онъ половину года, Жуковскій пристрастился къ нѣмецкой литературѣ и сталъ насъ подчивать потомъ ея произведеніями, которыя по формѣ и содержанію своему не совсѣмъ приходились намъ по вкусу. Упитанные литературою древнихъ и французскою, ея покорною подражательницей (я говорю только о просвѣщенныхъ людяхъ), мы въ выборахъ его увидѣли нѣчто чудовищное. Мертвецы, привидѣнія, чертовщина, убійства, освѣщаемыя луною, да это все принадлежитъ къ сказкамъ, да развѣ англійскимъ романамъ; вмѣсто Геро, съ нѣжнымъ трепетомъ ожидающей утопающаго Леандра, представитъ намъ бѣшеностраспую Ленору со скачущимъ трупомъ любовника! Надобенъ былъ его чудный даръ, чтобы заставить насъ не только безъ отвращенія читать его баллады, но, наконецъ, даже полюбить ихъ. Не знаю, испортилъ ли онъ нашъ вкусъ; но крайней мѣрѣ создалъ намъ новыя ощущенія, новыя наслажденія. Вотъ и начало у насъ романтизма“ [2]).

---

[1]) Русск. Арх., 1892, кн. II; Записки, т. III.

[2]) Какъ самъ Жуковскій въ эту эпоху (около 1805—6 г.) относился къ нѣмецкой литературѣ и съ какимъ личнымъ настроеніемъ переносилъ нѣмецкую литературу на русскую почву, свидѣтельствуетъ отчасти его переписка съ И. И. Тургеневымъ. Въ письмѣ изъ Бѣлева отъ 8 января 1806 г. онъ пишетъ ему между прочимъ: „А propos. Пожалуйста, прочти Виландова Агатона. Святая книга! Я начинаю больше уважать нѣмецкихъ авторовъ. Ради Бога, пришли мнѣ что-нибудь хорошее въ нѣмецкой философіи: она больше возбуждаетъ энтузіазмъ. Этому причина, конечно, то, что большая часть нѣмецкихъ философовъ живутъ въ совершенномъ уединеніи, слѣдовательно, больше угадываютъ людей, видятъ ихъ издали и больше примѣняютъ къ себѣ. Французскіе всѣ играютъ роль въ большомъ свѣтѣ, всѣ подчинены хорошему тону, менѣе глубокомысленны и меньше имѣютъ живости въ чувствахъ, которыя обыкновенно притупляются свѣтскою жизнію. Одинъ Руссо можетъ быть исключеніемъ, но Руссо жилъ всегда въ уединеніи. Итакъ, пришли мнѣ какого-нибудь нѣмца—энтузіаста. Мнѣ теперь нуженъ такой помощникъ, нужна философія, которая бы оживила, пробудила мою душу. Если есть Schiller's kleine prosaische Schriften, присылай“ (Русск. Арх. 1895, кн. I).

Но, конечно, знакомство съ романтической литературой совершалось не исключительно черезъ Жуковскаго Правда, въ первыя два десятилѣтія XIX вѣка среди излюбленныхъ русскою публикою книгъ, помимо произведеній французскаго классицизма, видное мѣсто занимала главнымъ образомъ сентиментальная литература, однако, среди нея прокладывали уже себѣ дорогу Гёте, Шиллеръ, Шекспиръ, Байронъ. Въ „Опытѣ россійской библіографіи“ (до 1813 г.) В. Сопикова преобладающее количество нумеровъ падаетъ на авторовъ: Мармонтель, Ж. Ж. Руссо, Флоріанъ, Радклифъ, Шписсъ, Юнгъ, Геллертъ; но есть уже нѣсколько книгъ Шекспира (8 NN), Шиллера (5 NN), Шатобріана (4 NN). Въ „Росписи россійскимъ книгамъ для чтенія изъ библіотеки В. Плавильщикова“ (1820—1 гг.), помимо только что указанныхъ авторовъ, наибольшимъ количествомъ названій представлены Жанлисъ (53 NN) и Коцебу (112 NN), но упоминаются уже Гете, г-жа Сталь, Вальтеръ Скоттъ [1]). Въ „Росписи россійскимъ книгамъ для чтенія изъ библіотеки Александра Смирдина“ (1828 г.) преобладаютъ большею частію тѣ же авторы, но уже встрѣчаются и Гете (2 NN), и Байронъ (5 NN), и Тикъ (1 NN), и рѣзко бросаются въ глаза 9 NN соч. Сталь—Гольштейнъ и 23 NN Вальтеръ-Скотта. Изъ произведеній, прямо или косвенно входящихъ въ область романтизма к. XVIII и н. XIX стол., въ періодъ до 20-хъ годовъ у насъ извѣстны были въ переводахъ слѣдующія, если судить по одному изъ вышеуказанныхъ каталоговъ, напр., по „Росписи“ Плавильщикова: изъ Ж. Ж. Руссо

[1]) Типической библіотекой начала XIX стол., въ которой ложноклассическая литература смѣняется исподволь сентиментальной и романтической, можетъ быть, напр., названа библіотека села Тригорскаго, описанная въ отч. Б. Л. Модзалевскаго: „Поѣздка въ село Тригорское въ 1902 году“, Спб. 1903. Ср. также Б. Модзалевскій, „Библіотека А. С. Пушкина. Библіографическое описаніе“. („Пушкинъ и его современники. Матеріалы и изслѣдованія“. Вып. IX—X. Спб. 1910). Въ этомъ отношеніи очень характернымъ для сентиментально-романтическихъ вкусовъ русскаго читателя начала XIX стол. является также кругъ чтенія М. А. Протасовой (Мойеръ), см. П. Н. Сакулинъ, „М. А. Протасова-Мойеръ по ея письмамъ. (Изв. отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, 1907 г., т. XII, кн. 1, стр. 1—39).

помимо „Эмиля“ и „Новой Элоизы“—рядъ философскихъ разсужденій и избранныхъ мыслей (ср. напр. „Избранныя мысли Ж. Ж. Руссо“, съ фр. И. Мартыновъ, Спб. 1801; „Ж. Ж. Руссо, о различныхъ матеріяхъ“, съ фр. П. Андреевъ, Спб. 1801; „Разсужденіе о началѣ и основаніи неравенства между людьми Ж. Ж. Руссо“, пер. П. Потемкинъ, М. 1782; „Разсужденіе, удостоенное награжденія отъ Академіи Дижонской въ 1750 году, на вопросъ..., что возстановленіе наукъ и художествъ способствовало ли къ исправленію нравовъ“, пер. П. Потемкинъ, 1787; „Исповѣданіе Ж. Ж. Руссо“, пер. Д. Болтинъ, М. 1797 и т. д.), изъ Гете—„Вертеръ“ (напр. „Страсти молодого Вертера“, Гетте, съ нѣм. О. Галченковъ, Спб. 1781; то же, другой переводъ, „съ присовокупленіемъ писемъ Шарлотты къ Каролинѣ“, съ фр. И. Виноградовъ, Спб. 1798 г. и др. изд.), изъ Шиллера—„Разбойники“ (напр., М. 1809), „Коварство и любовь“ (М. 1806), „Заговоръ Фіэско въ Генуѣ“ (М. 1803), „Исторія тридцатилѣтней войны“ (Спб. 1815) и др., изъ Шатобріана—„Атала или любовь двухъ дикихъ въ пустынѣ“ (М. 1802), „Рене или дѣйствіе страстей“ (Спб. 1806), „Мученики или торжество христіанства“ (М. 1816), изъ Сталь-Гольштейнъ—„Дельфина“ (М. 1804), „Коринна или Италія“ (М. 1809), изъ Вальтеръ-Скотта—„Бѣглецъ“ (съ фр. М. 1821), изъ Байрона—„Выборъ изъ сочиненій лорда Бейрона“ (съ фр. М. Каченовскій, М. 1821). Таковы были размѣры знакомства русскихъ читателей съ западно-европейскимъ романтизмомъ до 20-хъ годовъ. Но въ двадцатыхъ—тридцатыхъ годахъ столѣтія русское общество начинаетъ ускоренно знакомиться съ корифеями западно-европейской романтики. Интересъ къ нимъ возникъ благодаря крупнымъ періодическимъ изданіямъ 20-хъ годовъ XIX столѣтія. Впрочемъ, еще до появленія ихъ у нѣкоторыхъ представителей русскаго просвѣщенія начала XIX вѣка являлась, конечно, мысль объ ознакомленіи русской публики съ новой западно-европейской литературой... Такъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ къ В. А. Жуковскому кн. П. А. Вяземскій выразилъ желаніе издать рядъ сборниковъ европейской литературы для

русскихъ читателей. „Писалъ ли я тебѣ, что затѣваю выдать классическую книгу французской прозы, разумѣется, въ переводѣ, съ извѣстіями объ авторахъ? Ты составилъ бы такую изъ нѣмецкой, Дашковъ изъ итальянской, Блудовъ изъ англійской прозы... Выборъ сдѣлать строгій, поучительный. Скажи мнѣ, что думаешь объ этомъ? Вотъ еще прекрасное дѣло: періодическое изданіе критическое объ иностранныхъ книгахъ, выходящихъ въ свѣтъ; критики брать изъ журналовъ Эдинбургскаго, Revue Encyclopédique, нѣмецкихъ. Тутъ также труда немного, а польза большая. Разливать будемъ по Россіи свѣтъ европейскій; намъ изъ-за своего домашняго жить нельзя. Этотъ журналъ могъ быть бы предметомъ общества переводчиковъ, для перевода хорошихъ здоровыхъ книгъ, для содержанія неимущихъ писателей, для завладѣнія отрасли книжной торговли, которая теперь въ рукахъ безграмотныхъ лавочниковъ. Уменьшеніе появленія пустыхъ переводовъ обратило бы на чтеніе людей хорошихъ, нуждающихся въ чтеніи. А этихъ людей найдешь у насъ. Они читаютъ дурное за неимѣніемъ хорошаго“ [1]). Осуществленіе подобнаго намѣренія принадлежитъ, однако, лишь издателямъ журналовъ 20-хъ годовъ, кн.

[1]) Русск. Арх. 1900 г., кн. I. Изъ писемъ кн. Вяземскаго къ Жуковскому, письмо отъ 9 янв. 1823 г., изъ Остафьева. Хотя иниціатива въ обновленіи литературныхъ вкусовъ русскихъ читателей нач. XIX ст. была большею частію частная, однако нельзя сказать, что офиціальные руководители русской науки и литературы въ эту пору не были совершенно затронуты новыми литературными вѣяніями. Просматривая, напр., „Записки засѣданій Имп. Росс. Акад.“ за 1820 годъ, мы видимъ, что въ засѣданіи 28 февр. читаются „пѣсни, переведенныя съ богемскаго изъ книги „Rukopis Kralodworsky“, 15 мая дѣлается докладъ о книгѣ кн. Цертелева „Взглядъ на русскія сказки и пѣсни“, подъ 26 іюня дѣлается сообщеніе о выписанной и полученной изъ-за границы книгѣ „Deutsche Grammatik von Iacob Grimm, Göttingen, 1819“ и т. д.; такимъ образомъ въ офиціальномъ ученомъ обществѣ въ 20-хъ годахъ несомнѣнно начинался интересъ къ національному творчеству, который въ нач. XIX стол. исходилъ преимущественно изъ области романтическаго міросозерцанія. Но преобладающее вниманіе Росс. Академіи сосредоточено въ эту пору все-таки на ложноклассическихъ мотивахъ и формахъ и иногда на изученіи и комментированіи античной литературы въ ея чистомъ видѣ.

В. О. Одоевскому, М. П. Погодину, Н. А. Полевому и другимъ.

Журналы конца 20-хъ годовъ сильно подвинули впередъ дѣло ознакомленія читающей публики съ новыми литературными направленіями на Западѣ. Уже болѣе ранніе журналы въ родѣ „Соревнователя просвѣщенія и благотворенія“ или „Благонамѣреннаго“ помѣщали переводы образцовъ романтической поэзіи. Но главная заслуга въ этомъ отношеніи принадлежитъ несомнѣнно такимъ крупнымъ журналамъ, какъ „Московскій Вѣстникъ“, „Московскій Телеграфъ“, „Телескопъ“, „Сынъ Отечества“. Остановимся на первыхъ двухъ, какъ наиболѣе характерныхъ: одинъ изъ нихъ тяготѣлъ къ нѣмецкой романтикѣ, другой къ французской. На страницахъ „Московскаго Вѣстника“ мы встрѣчаемся съ главными представителями нѣмецкаго романтизма. Если Пушкинъ былъ душою возникавшаго журнала, то Гёте былъ для него однимъ изъ главныхъ литературныхъ авторитетовъ. Изъ Гёте здѣсь напечатано было, между прочимъ, нѣсколько отрывковъ „Фауста“ и романа „Вильгельмъ Мейстеръ“; кромѣ того, самъ редакторъ М. П. Погодинъ сдѣлалъ для своего журнала переводъ трагедіи Гёте „Гетцъ фонъ-Берлихингенъ“, къ которому Шевыревъ присоединилъ свой теоретическій комментарій. Въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ помѣщено было также и нѣсколько мелкихъ стихотвореній Гёте, по всей вѣроятности мало извѣстныхъ тогдашнимъ русскимъ читателямъ, но въ то же время удачно подобранныхъ въ цѣляхъ иллюстраціи новаго взгляда на поэзію и ея жреца—поэта. Изъ Шиллера помѣщались по преимуществу переводы драматическихъ произведеній, таковы, напр.: „Отрывокъ изъ Шиллерова сочиненія „Валленштейновъ лагерь“, „Отрывокъ изъ Шиллеровой трагедіи „Марія Стюартъ“, два отрывка изъ трагедіи „Смерть Валленштейна“ и другіе. Изъ другихъ нѣмецкихъ романтиковъ въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ находимъ переводы изъ Ж.-П. Рихтера, Гоффмана, Тика. Изъ теоретиковъ романтизма сочувствіемъ „Московскаго Вѣстника“ пользовались оба Шлегели, особенно Августъ Шлегель, о которомъ Шевыревъ высказался между прочимъ такъ: „...У насъ

Шлегель отчасти сдѣлалъ то же, что Лессингъ въ Германіи, т.-е. освободилъ насъ отъ владычества галловъ" [1]). Вотъ тѣ нѣмецкіе источники, откуда журналъ черпалъ свое направленіе. Изъ представителей другихъ литературъ данной эпохи на страницахъ „Московскаго Вѣстника" встрѣчаемся два раза съ Шатобріаномъ, раза два-три съ Вальтеръ-Скоттомъ и Байрономъ; помѣщено еще по одному отрывку изъ Шекспира, Манцони, Тегнера.

Н. А. Полевой, зорко слѣдя за литературнымъ движеніемъ въ Европѣ, въ особенности же за развитіемъ романтизма, въ противоположность „Московскому Вѣстнику", основавшемуся на нѣмецкихъ литературныхъ авторитетахъ, отдавалъ видимое предпочтеніе литературамъ англійской и французской; особенно замѣтно предпочтеніе французской литературѣ во вторую половину литературной жизни „Московскаго Телеграфа", т.-е. въ то именно время, когда во Франціи расцвѣтаетъ блестящая романтическая школа съ В. Гюго во главѣ, затмившая вскорѣ своихъ учителей, нѣмецкихъ романтиковъ. Поэтому-то на страницахъ „Московскаго Телеграфа" мы встрѣчаемъ сравнительно мало произведеній нѣмецкой литературы; издатель помѣщалъ изрѣдка переводы изъ Гёте и изъ Шиллера; кромѣ того, на страницахъ журнала помѣщено нѣсколько повѣстей Цшокке, рядъ разсказовъ Гоффмана, который, видимо, пользовался сочувствіемъ „Московскаго Телеграфа", по одной повѣсти изъ Тика, Фанъ-деръ-Фельде и Блюменгагена. По сравненію съ этимъ довольно скуднымъ матеріаломъ, заимствованнымъ изъ нѣмецкой литературы въ теченіе всего существованія журнала, переводы изъ англійской и французской литературъ оказываются гораздо разнообразнѣе и многочисленнѣе. Мы встрѣчаемъ здѣсь переводы изъ Вальтеръ-Скотта, Байрона, Юнга, Моргана и Купера; переводы изъ Шекспира (Гамлетъ, Макбетъ и Лиръ) М. Вронченко и А. Ротчева разсѣяны въ „Московскомъ Телеграфѣ" во многихъ мѣстахъ. Переводы съ французскаго были еще разнообразнѣе. „Московскій Телеграфъ"

[1]) Теорія поэзіи, изд. 2-е, стр. 211.

пріютилъ на своихъ страницахъ чуть ли не всѣхъ представителей юнаго французскаго романтизма: тутъ есть Нодье и Альфредъ де-Виньи, Андрэ Шенье и Мериме, Бенжаменъ Констанъ и глава школы В. Гюго, и его старшій предшественникъ Шатобріанъ; встрѣчаются кромѣ того еще переводы изъ Бальзака и Евгенія Сю. Свою литературную критику, посвященную въ значительной степени той же французской романтической школѣ, „Московскій Телеграфъ“ основалъ также главнымъ образомъ на научныхъ статьяхъ, переведенныхъ съ французскаго.

На ряду съ журналами сильнымъ проводникомъ романтизма въ русское общество были театры, которые въ 20-хъ годахъ стали оживлять свой репертуаръ пьесами Шиллера и Шекспира и другихъ авторовъ, не исповѣдовавшихъ ученія ложноклассицизма. Съ 1821 г. мы встрѣчаемъ въ лѣтописяхъ русскаго театра [1]) драматическія передѣлки изъ романовъ Вальтеръ-Скотта, принадлежащія перу кн. Шаховского, напр., „романтическая комедія“, „Ивангое или возвращеніе Ричарда Львинаго Сердца“ (пост. 21 янв. 1821 г.), „Таинственный карло или долина чернаго камня“ — „романт. комедія, въ англійскомъ родѣ“ (пост. 23 окт. 1822 г.), „Морской разбойникъ или волшебство не волшебство“ (пост. въ 1823 г.) и др.; въ 1821 г. поставлено было между прочимъ „большое волшебно-романтическое представленіе „Буря“ изъ соч. Шекспира“ [2]), въ 1822 году—„Дѣва Орлеанская“, историко-романтическая трагедія Шиллера; позднѣе появляются у насъ на сценѣ и другія драматическія произведенія Шиллера. Новыя романтическія пьесы смотрѣлись съ живымъ интересомъ. Такъ по поводу перваго представленія въ Петербургѣ трагедіи Шиллера „Донъ Карлосъ“ читаемъ слѣдующую журнальную за-

---

[1]) П. Араповъ. Лѣтопись русскаго театра, Спб. 1861.

[2]) Впрочемъ, французскія передѣлки трагедій Шекспира появляются у насъ въ печати и даже на сценѣ гораздо уже раньше—въ концѣ XVIII и въ самомъ началѣ XIX стол. (Ср. Тимофеевъ, Вліяніе Шекспира на русскую драму; точныя заглавія переводовъ и передѣлокъ изъ Шекспира—у Сопикова, Опытъ, №№ 3.440, 11.898, 11.919, 11.984).

мѣтку [1]): „Къ числу любопытнѣйшихъ явленій въ нашемъ литературномъ мірѣ принадлежитъ представленіе Шиллерова „Донъ-Карлоса“ на С.-Петербургскомъ театрѣ сего февраля 4 и 8-го. Доныпѣ изъ трагедій сего германскаго исполина извѣстны были у насъ только два произведенія бурнаго періода его молодости: „Разбойники“ и „Коварство и любовь“. И сіи пьесы нравились нашей публикѣ силою характеровъ, разительностью положеній и хорошею игрою гг. актеровъ. Представленіе „Донъ-Карлоса“ превзошло наши ожиданія. Трагедія сія переведена молодымъ поэтомъ, П. Г. Ободовскимъ, съ сохраненіемъ размѣра подлинника, т.-е. пятистопными ямбическими стихами... Публика наша, какъ уже выше сказано, приняла сію трагедію съ великимъ участіемъ. Во второмъ представленіи всѣ мѣста были заняты. Толпы стояли въ ходахъ между креслами и ложами. Вниманіе зрителей было напряженное и безпрерывное; одобреніе единогласное. Лучшія мѣста были всѣ схвачены и сопровождены громкими рукоплесканіями.. Что изъ этого слѣдуетъ?“... Отвѣчая на свой собственный вопросъ, авторъ рецензіи представляетъ себѣ будущее русской драмы и русскаго театра, именно какъ подражаніе Шиллеру и другимъ великимъ творцамъ самобытной европейской драмы: „Шиллеръ, Гёте, Шекспиръ, Кальдеронъ представляютъ обильную жатву нашимъ хорошимъ переводчикамъ, обѣщаютъ одушевить нашихъ возрастающихъ поэтовъ новымъ божественнымъ огнемъ. И въ этомъ представленіи, видя какъ тысячи зрителей окомъ, слухомъ и душою ловили чувства и мысли, мастерски выраженныя Шиллеромъ, я думалъ: можетъ быть, теперь здѣсь, посреди насъ, молодой любимецъ музъ, питая духъ картиною изящнаго и высокаго, ощущаетъ въ глубинѣ души своей таинственный призывъ небесной поэзіи и въ волненіяхъ думъ, восторженныхъ новымъ зрѣлищемъ, готовитъ намъ русскаго Шиллера!“ Въ концѣ 20-хъ годовъ появились на русской сценѣ пьесы французскихъ

[1]) Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ 1829 г., т. I стр. 359—362: С.-Петербургскій театръ, О представленіи Шиллерова „Донъ-Карлоса“

романтиковъ, а нѣсколько позже, а именно въ началѣ 30-хъ годовъ, начали чаще ставить Шекспира, и уже не въ передѣлкахъ Дюсиса, а въ чистомъ видѣ. П. А. Каратыгинъ въ своихъ „Запискахъ“ упоминаетъ о мелодрамѣ Дюканжа „Тридцать лѣтъ или жизнь игрока“, какъ о первой романтической пьесѣ, подорвавшей вкусъ къ классицизму. Эта пьеса поставлена была на петербургской сценѣ въ 1827 году, а „черезъ нѣсколько времени послѣ этого“, говоритъ онъ, „начали у насъ появляться переводныя драмы Виктора Гюго, Дюма и другихъ. Плодовитый кн. Шаховской, потерпѣвшій неудачи въ классическихъ трагедіяхъ, принялся также за романтическій родъ сочиненій и началъ перекраивать драмы изъ романовъ Вальтеръ-Скотта. Шекспиръ въ буквальномъ переводѣ появился на нашей сценѣ нѣсколько позже, а до тѣхъ поръ его пьесы переводились съ французскаго; такъ, напримѣръ, „Гамлета“ перековеркалъ Висковатовъ; „Лира“, или, какъ его тогда называли, „Леара“, перевелъ Гнѣдичъ; „Отелло“ переиначилъ Дюсисъ и т. д. Всѣ эти пьесы были безобразно урѣзаны и втиснуты въ классическую форму, которая требовала на сценѣ неизмѣнныхъ трехъ единствъ. Съ геніальнымъ Шекспиромъ обращались тогда безъ церемоніи, и чопорные французскіе переводчики воображали, что изящный вкусъ публики и сценическія условія требовали непремѣнно ихъ услужливой редакціи“ [1]). Проходитъ еще два—три года, и интересъ къ романтикамъ и чистому, не искаженному передѣлкою, Шекспиру беретъ верхъ надъ французскимъ классицизмомъ. „Въ 1837 г. съ возрастающимъ интересомъ драматическихъ произведеній геніальнаго А. С. Пушкина и театральныхъ представленій Н. В. Кукольника и Н. А. Полевого исчезаетъ со сцены псевдоклассицизмъ, и современное романтическое направленіе уничтожаетъ окончательно тягучее чтеніе нараспѣвъ и такъ называемую драматическую ноту александрійскаго стиха“. Такъ разсказываетъ о побѣдѣ романтизма въ области драмы одинъ изъ представителей русскаго театра средины 30-хъ го-

[1]) П. А. Каратыгинъ, Записки...

довъ [1]). „Съ этого періода времени, продолжаетъ онъ, Шекспиръ возрастаетъ на нашей сценѣ... „Гамлетъ", „Отелло" и, въ особенности, „Король Лиръ" дѣлаются любимыми представленіями. Современный романтизмъ пополняется мелодраматичными переводными пьесами и, по примѣру французскаго театра, вводится обстановка (mise en scène) въ средѣ русскихъ актеровъ. Даже и мы на школьномъ театрѣ, мы старались ставить небольшія комедіи, уже заботясь объ искусственной натурѣ въ ансамблѣ, и вели сценаріумъ, подражая иностраннымъ артистамъ". „Наше поколѣніе", многозначительно говоритъ другой представитель 30-хъ годовъ, „начало свое художественное воспитаніе въ хорошее время. Съ театральныхъ подмостковъ мы слышали творенія Шекспира, Шиллера" [2])...

Эти два источника литературныхъ вкусовъ—журналы и театръ—къ концу 20-хъ и началу 30-хъ годовъ успѣли уже выработать новый типъ русскаго читателя съ преобладающимъ вкусомъ къ романтической поэзіи. Романтизмъ проникалъ не только въ частныя, семейныя, но и въ школьныя литературныя чтенія. Лицеистъ періода 1832—1838 гг. А. И. Яхонтовъ [3]) такъ характеризуетъ литературные вкусы въ Царскосельскомъ лицеѣ: „Намъ выдавали книги изъ казенной лицейской библіотеки, преимущественно историческія; но нельзя умолчать, что библіотека эта пополнялась очень недостаточно, и выборъ чтенія былъ въ ней не великъ. Помимо нея, по части беллетристики, мы доставали почти все, что было въ то время выдающагося въ русской литературѣ. Меня особенно занимало чтеніе въ подлинникѣ молодыхъ нѣмецкихъ поэтовъ: Кернера, Уланда, Маттисона, Рюккерта, не говоря уже о Шиллерѣ и Гёте". Интересъ къ романтизму среди учащихся былъ тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что преподаваніе словесности

---

[1]) Русск. Стар., 1888, т. 58: Воспоминанія Леонида Львовича Леонидова за полсотни лѣтъ назадъ, 1835—1843 г.

[2]) Русск. Стар., 1896, т. II, стр. 54: А. Стаховичъ; Клочки воспоминаній.

[3]) Русск. Стар., 1888, т. 60: Воспоминанія Царскосельскаго Лицеиста, 1832—1838 гг. (А. И. Яхонтовъ).

въ лицеѣ оставалось пока еще на прежнемъ уровнѣ и при старомъ, такъ сказать, литературномъ режимѣ. „Профессоръ русской словесности, Петръ Егоровичъ Георгіевскій... могъ понимать только Ломоносова, Хераскова, Сумарокова, Державина; далѣе онъ не шелъ. Пушкинъ былъ въ его глазахъ шалуномъ—романтикомъ, о Гоголѣ онъ не имѣлъ никакого понятія, хотя первыя повѣсти творца „Мертвыхъ душъ" появились уже въ печати". Точно также обстояло дѣло и съ французской словесностью. „M-r Gillé былъ старикъ немного сгорбленный, съ тонкими чертами лица, въ родѣ Вольтера, строгій классикъ, изъ эмигрантовъ, говорившій безукоризненно академическимъ языкомъ, игнорировавшій В. Гюго и вообще всѣхъ писателей романтической школы. Нельзя сказать, чтобы онъ сумѣлъ внушить намъ любовь къ псевдоклассической французской литературѣ. Мы, помимо его, усердно знакомились съ новѣйшими французскими писателями, какъ-то: Бальзакомъ, Е. Сю, Альфредомъ де-Виньи, В. Гюго и проч." Нѣмецкая словесность зато стояла выше, потому что и Гёте, и Шиллеръ въ 30-хъ годахъ всюду, даже за предѣлами своего отечества, были уже давно признанными великими историческими фактами. „Профессоръ нѣмецкой литературы Олива", продолжаетъ А. И. Яхонтовъ, „никогда не изгладится изъ благодарной моей памяти. Это былъ тоже старикъ, но юный сердцемъ энтузіастъ — идеалистъ съ горячей душой и недюжиннымъ умомъ. Своимъ пламеннымъ, воодушевленнымъ словомъ онъ приводилъ насъ въ поэтическое настроеніе. Благодаря ему, я ближе познакомился съ Шиллеромъ, Гёте и Лессингомъ и по его совѣту началъ свой переводъ „Эмиліи Галотти" Лессинга" [1]). Всматриваясь въ литературный міръ частнаго, не-

[1]) Интересъ къ великимъ поэтамъ эпохи романтизма продолжаетъ жить въ лицейской средѣ, даже спустя два-три десятилѣтія послѣ описываемаго времени. Объ этомъ свидѣтельствуетъ лицеистъ 40-хъ годовъ: „Нерѣдко бывали и диспуты о прочитанномъ, и одну изъ любимыхъ темъ и бесѣдъ такого рода я помню: то было сравненіе характеровъ „Чайльдъ-Гарольда" Байрона съ „Вертеромъ" Гете, „Печоринымъ" Лермонтова и „Евгеніемъ Онѣгинымъ" Пушкина: читали въ нашемъ курсѣ на русскомъ и трехъ ино-

зависимаго отъ офиціальной обстановки, читателя, мы тѣмъ болѣе замѣтимъ усвоеніе вкуса къ романтизму. Вотъ, напр., передъ нами такой именно читатель, А. В. Никитенко въ молодые годы, въ концѣ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ. Его занимали Шеллингъ, Руссо, Байронъ, Шекспиръ, Гюго и другіе властители думъ эпохи. „Читалъ Байрона", пишетъ онъ въ дневникѣ подъ 20 декабря 1826 года [1]). „Его поэзія подобна Эоловой арфѣ, на которой играетъ буря: нѣтъ гармоніи, но слышны такіе аккорды, которые васъ потрясаютъ, какъ стоны умирающаго друга или любовницы. Наполеонъ, Байронъ и Шеллингъ представители нашего вѣка. Они скажутъ будущимъ поколѣніямъ его тайну и покажутъ имъ, какъ въ наше время духъ человѣческій хотѣлъ торжествовать надъ рокомъ и изнемогалъ въ непосильной борьбѣ съ нимъ". Тамъ же подъ 18 февраля 1829 г.: „Я прочиталъ Шекспирова „Гамлета" въ очень хорошемъ переводѣ Вронченки, который, сказать мимоходомъ, не будучи поэтомъ самостоятельнымъ, какъ переводчикъ, одушевленъ жаромъ и силою истиннаго поэта. Шекспиръ поразилъ меня глубиною и величіемъ своего генія. Онъ, такъ сказать, сжимаетъ въ своихъ могучихъ объятіяхъ природу и исторгаетъ у ней такія тайны, которыя, говоря его словами, „и не снились нашимъ мудрецамъ". Какъ глубоко проникъ онъ въ сердце человѣческое! Какъ хорошо знаетъ онъ философію жизни, т.-е. философію страстей и бѣдствій человѣческихъ! Могучій и великій духомъ, какъ просто и спокойно созидаетъ онъ эти образы, изъ коихъ каждый съ своимъ характеромъ, съ своими страстями и мыслями можетъ назваться представителемъ человѣчества". Подъ 25 февраля 1831 г.: „На дняхъ я съ удовольствіемъ прочиталъ романъ

---

странныхъ языкахъ, но на англійскомъ лишь немногіе, хотя всякій изъ насъ и долженъ былъ въ послѣднемъ курсѣ писать сочиненія по-англійски" (Русск. Стар., 1884, т. 42: Записки барона Н. А. Корфа, 1848—1854 гг., стр. 133). Объ отголоскахъ романтизма начала XIX стол. въ сороковыхъ годахъ см. также Русск. Арх., 1887, т. I: Воспоминанія Костенецкаго, стр. 104—5.

[1]) Русск. Стар., 1889, т. 61, 62: Изъ дневника А. В. Никитенко.

знаменитаго Бенжамена Констана: „Адольфъ“. Въ немъ разобраны сплетенія человѣческаго сердца и изображенъ человѣкъ нынѣшняго вѣка, съ его эгоистическими чувствами, припрaвленными гордостью и слабостью, высокими душевными порывами и ничтожными поступками. Байронъ сказалъ въ „Донъ Жуанѣ“: для мужчины любовь есть эпизодъ, для женщины—исторія. Въ „Адольфѣ“ эта идея развита со всѣми ея тончайшими оттѣнками“. Подъ 6 марта 1831 г.: „Читалъ „Послѣдній день приговореннаго къ смерти“ Гюго. Этого сочиненія нельзя читать безъ содроганія, особенно главу, гдѣ несчастный прощается съ малюткой дочерью. Справедливо ли упрекаютъ нынѣшнихъ романистовъ за то, что они выбираютъ сюжеты столь мрачные? Мнѣ кажется—нѣтъ, принявъ въ соображеніе воодушевляющую ихъ идею. Эти писатели заслуживаютъ, напротивъ, благодарности. Въ самыхъ мрачныхъ глубинахъ сердца человѣческаго, среди тяжкаго напряженія страстей, они отыскиваютъ искры нравственной красоты и спасаютъ отъ отчаянія душу человѣческую, которая безъ сего ужаснулась бы самой себя, при видѣ нѣкоторыхъ пороковъ и злодѣяній. Это-то и есть поэтическая сторона произведеній, въ которыхъ играютъ роль убійцы и всякаго рода злодѣи и преступники“. Подобное же увлеченіе западно-европейской романтической поэзіей можно наблюдать, напр., въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Ив. Панаева, гдѣ шагъ за шагомъ отмѣчается знакомство читателя съ Гюго, Купером, Вальтеръ-Скоттомъ и др. новыми въ ту пору писателями и восторженное къ нимъ отношеніе [1]).

Литературные вкусы А. В. Никитенко или Ив. Панаева можно считать до извѣстной степени типическими для интеллигентнаго читателя данной эпохи. Число такихъ читателей тогда было, конечно, еще очень небольшое,—въ исторіи рус-

[1]) Современникъ, 1861, т. 85: Ив. Панаевъ, Литературныя воспоминанія, стр. 128, 148—9. Подобнымъ же читателемъ—поклонникомъ романтизма является и авторъ „Старой записной книжки, начатой въ 1813 году въ Москвѣ“: П. Бартеневъ, Девятнадцатый вѣкъ, М. 1872, кн. II, стр. 228, 231, 237—8.

скаго просвѣщенія они извѣстны почти всѣ поименно; тѣмъ не менѣе при всей своей малочисленности они совершили большой переворотъ въ литературныхъ вкусахъ и вскорѣ же увлекли въ лагерь поклонниковъ романтической поэзіи большинство русской читающей публики. Подтвержденіемъ этому служатъ записки другихъ современныхъ лицъ съ помѣтками объ излюбленныхъ авторахъ. Перелистывая мемуары данной эпохи, мы встрѣчаемъ удивительныя картины симпатій русской читающей публики къ западно-европейской романтической поэзіи. Мы читаемъ тутъ о томъ, что у русскихъ баръ стѣны украшаются эстампами „Вертеръ и Шарлотта“ [1]), что деревенская барышня ходитъ мечтать въ лѣсъ съ сочиненіями Ламартина [2]), что молодыя графини Чернышовы вѣшаютъ у себя надъ постелью вмѣсто образа портретъ лорда Байрона [3]) и что двое читающихъ друзей плачутъ надъ драмою В. Гюго „Hernani“ [4]); мы узнаемъ изъ этихъ мемуаровъ и о томъ, что гр. М. Д. Бутурлинъ выражаетъ свое настроеніе стихами романтическаго поэта Мура [5]), что В. К. Кюхельбекеръ во всякомъ русскомъ и чужеземномъ преданіи видитъ матеріалъ для баллады въ духѣ Шиллера или „для исторической картины въ родѣ Гётева Гёца фонъ-Берлихингенъ“ [6]) и что русская университетская молодежь, сочувствовавшая В. Гюго и его школѣ, устраиваетъ враждебную демонстрацію заѣзжему французскому журналисту, подозрѣвая въ немъ консерватора-противника либеральной романтической поэзіи [8]). Литература романтизма становилась въ это время настолько насущною потребностью, что даже въ изгнаніи и заключеніи, среди тяжкихъ условій жизни, не забывали про Шеллинга, Ламартина, Байрона, Вальтеръ-

---

[1]) Русск. Стар., 1903, т. II, стр. 558: Изъ воспоминаній Г. И. Мѣшкова.

[2]) Русск. Арх. 1893, кн. I: Елизавета Петровна Глѣбова-Стрѣшнева (1751—1837), по воспоминаніямъ внучки ея Нат. Петр. Бреверн.

[3]) Русск. Арх. 1897, кн. II: Записки гр. М. Д. Бутурлина.

[4]) Русск. Стар., 1876, кн. II: Воспоминанія Т. П. Пассекъ.

[5]) Русск. Стар., 1883, т. 39: Дневникъ В. К. Кюхельбекера, 1833, стр. 106 и 121.

Скотта: по письмамъ и дневникамъ нѣкоторыхъ декабристовъ и другихъ лицъ мы видимъ, какъ близки всегда были мысли интеллигентнаго человѣка къ представителямъ новой европейской поэзіи [1]). А. Н. Вульфъ разсказываетъ въ своемъ дневникѣ, какъ, живя на далекой западной окраинѣ, онъ постепенно проникалъ въ духовную природу Байрона, и отъ этого разсказа вѣетъ неподдѣльнымъ энтузіазмомъ русскаго идеалиста, увлеченнаго мотивами западно-европейской романтики. „При такомъ образѣ жизни (пишетъ онъ во время пребыванія въ г. Холмѣ) [2]), скучномъ и безцвѣтномъ, какъ мой съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь въ Холмѣ, мерзкомъ городишкѣ, гдѣ даже недостатокъ чрезвычайный въ квартирахъ для насъ, были для меня Мура „Переписка и записки о Байронѣ“ драгоцѣнностью. Всегда почиталъ я и любилъ преимущественно этого пѣвца, какъ величайшаго генія, но съ тѣхъ поръ, какъ Муръ раскрылъ передо мною съ величайшимъ искусствомъ жизнеписателя, которое при первомъ взглядѣ же бросается въ глаза, всю жизнь его и показалъ характеръ его со всѣхъ сторонъ, во всѣхъ положеніяхъ его жизни и въ постепенномъ измѣненіи онаго, то сдѣлался я даже пристрастнымъ обожателемъ его слабостей въ такой же мѣрѣ, какъ любишь недостатки своей любовницы. Я, кажется, теперь совершенно понялъ этотъ великій духъ и узналъ всю прелесть, какъ наружную, тѣлесную, такъ и нравственную его. Кажется, будто бы я вмѣстѣ съ нимъ жилъ,—такъ живо я себѣ представляю его образъ жизни, его привычки, странности. Даже умственное бытіе его, то, что мучило и услаждало духъ его творческій, какъ поэта и какъ простого человѣка, стремящагося къ истинному и идеальному, постигъ я, и, какъ обыкновенно это случается,

---

[1]) Ср. напр.: Русск. Арх. 1900, I: Письмо къ сестрѣ изъ Бобруйска Вас. Серг. Норова; Русск. Стар. 1884, т. 41: Дневникъ В. К. Кюхельбекера, 1831—1845; Русск. Стар., 1881, т. 30: Записки А. П. Бѣляева, стр. 516: (Въ Петропавловской крѣпости) „мы прочли многіе романы Вальтеръ-Скотта и Купера по-французски“.

[2]) Русск. Стар. 1899, т. I, стр. 515: А. Н. Вульфъ и его дневники, замѣтка 20 февр. 1838 г.

свѣряя (его идеи) съ своими идеями, находилъ часто сходными, вѣроятно потому, что прежде, быть можетъ, почерпнувъ ихъ отъ него же, присвоивъ себѣ, считалъ за собственныя. Всю турецкую войну возилъ я его творенія съ собою, — теперь же они будутъ со мною неразлучны! Наполеонъ и Байронъ заключаютъ въ себѣ все великое, что я знаю". Употребляя только что приведенныя характерныя выраженія А. Н. Вульфа, можно сказать, что многіе изъ среды русской интеллигенціи „свѣряли свои идеи" съ идеями великихъ умовъ эпохи романтизма, а нѣкоторые даже и „присваивали" новый идеалъ, конкретно выраженный въ романтической поэзіи, и уже близки были къ тому, чтобы „считать его своимъ собственнымъ".

Послѣдователи новыхъ литературныхъ вкусовъ мало-по-малу собираются въ кружки. Наиболѣе раннимъ изъ такихъ кружковъ нужно считать т. н. „Дружеское литературное общество", уставъ котораго относится къ 1801 г.; это общество составляли, между прочимъ, молодые люди, которые, по свидѣтельству Ал. Ив. Тургенева, „получали почти все, что въ изящной словесности выходило въ Германіи. ., пересаживали, какъ умѣли, на русскую почву цвѣты поэзіи Виланда, Шиллера, Гете" [1]... Спустя два десятилѣтія, литературные кружки становятся болѣе обычнымъ явленіемъ. На первыхъ порахъ организація этихъ кружковъ не лишена была той доли крайности и причудливости, которая присуща всякому новому, молодому, порывистому движенію. Повидимому, образованіе этихъ кружковъ среди русской молодежи не обошлось даже и безъ подражанія нѣмецкимъ „дикимъ геніямъ" конца XVIII стол. По крайней мѣрѣ И. И. Надеждинъ въ „Вѣстникѣ Европы" [2]) рисуетъ собраніе русскихъ quasi-геніевъ чертами нѣмецкихъ романтическихъ кружковъ эпохи Sturm-und-Drang'a и Kraftgenialität'a, пародируя на русской почвѣ геттингенскихъ бардовъ и страсбургскихъ геніевъ. Ихъ нестройный лагерь, этотъ „ли-

[1]) В. И. Рѣзановъ. Изъ разысканій о сочиненіяхъ В. А. Жуковскаго, XI (Журн. Мин. Нар. Просв. 1906, апрѣль, стр. 239 и сл.: подр. о литер. интересахъ „Друж. общества").

[2]) Вѣстн. Евр., 1829, № 1.

тературный балаганъ", представляется Надеждину „сонмищемъ нигилистовъ", какъ онъ выражается въ статьѣ, носящей то же заглавіе. Членамъ этого сонмища Надеждинъ даетъ карикатурную характеристику, полную недоброй ироніи. Это все не простые люди, но „сильные, могучіе Полканы--богатыри, обутые въ семимильные сапоги всевѣдущаго невѣжества; съ гордымъ презрѣніемъ къ тѣснымъ предѣламъ душной вещественной атмосферы, они поднимаются, отъ земли отдѣляются, выше облака ходячаго, ниже лѣса стоячаго"; это все—говоритъ онъ—молодыя силы, которыя увлеклись „всеобщимъ вихремъ мнимофилософическаго науконенавидѣнія"; это „истинные сыны природы, не поврежденные школьной пылью ученія"; души ихъ „носятъ на себѣ печать самобытности"; каждый изъ нихъ—„геній автодидактическій". Такими же приблизительно чертами описываетъ и Вигель одинъ изъ кружковъ, сплотившійся около кн. В. Ѳ. Одоевскаго послѣ переѣзда его изъ Москвы въ Петербургъ. „По пятамъ мрачнаго юноши" (т.-е. кн. Одоевскаго), разсказываетъ онъ, „изъ Москвы потянулась цѣлая вереница людей, пресмыкавшихся въ неизвѣстности. Примѣръ его ничтожества и успѣховъ возбудилъ ихъ надежды. По большей части то были какіе-то незаконнорожденные, непомнящіе родства, грамотеи-бродяги, всѣ почти изъ низкаго состоянія" [1])... Но тотъ же Вигель упоминаетъ и о настоящихъ ученыхъ собраніяхъ, гдѣ шли толки о Шеллингѣ и Гегелѣ, гдѣ иногда было скучно и темно для непосвященныхъ въ „высшую философію", но гдѣ „слова одного необыкновенно ученаго человѣка часто блистали, какъ молнія" [1]). Отбрасывая карикатуру и крайность, надо признать за этими собраніями большое общественное и литературное значеніе. Изъ этихъ кружковъ вышли видные представители новой литературы и общественности. Такъ напр. Веневитиновы (Д. В. и А. В.), В. П. Титовъ, И. С. Мальцовъ, Н. А. Мельгуновъ, С. А. Соболевскій—представлявшіе цвѣтъ тогдашней московской молодежи—жили тѣснымъ дружескимъ кружкомъ, къ которому

[1]) Русск. Арх. 1893, кн. III: Ф. Ф. Вигель, Москва и Петербургъ.

вскорѣ примкнули даровитые питомцы Московскаго университета: Н. М. Рожалинъ, М. А. Максимовичъ и М. П. Погодинъ [1]). Есть свидѣтельства, что дѣятельность художественно-литературныхъ салоновъ въ Москвѣ въ двадцатыхъ годахъ была очень замѣтна. „Въ концѣ двадцатыхъ годовъ и долго послѣ этого времени образованіе распространялось преимущественно путемъ оживленныхъ преній, чтеній и писемъ. Большую услугу въ этомъ отношеніи оказывали пріемныя гостиныя во многихъ московскихъ домахъ. Кромѣ вечеровъ Елагиныхъ—въ гостиной у которыхъ, „въ республикѣ привольной, у Красныхъ у воротъ“ (какъ говорилъ Языковъ), собирались члены мыслящаго московскаго общества и заѣзжіе въ Москву таланты—пріобрѣли себѣ извѣстность вечера княгини Волконской съ ихъ художественнымъ музыкально-литературнымъ направленіемъ“ [2]). Интересъ къ романтизму продолжаетъ жить въ слѣдующемъ десятилѣтіи въ различныхъ кружкахъ и собраніяхъ. Въ „Воспоминаніяхъ Т. П. Пассекъ“ [3]) описывается одно изъ товарищескихъ собраній молодежи 30-хъ годовъ, когда увлеченіе романтической поэзіей смѣнялось уже, впрочемъ, культомъ гегеліанства и сенъ-симонизма. Тутъ есть и почитатели Шиллера (баронъ Н. Х. Кетчеръ), и защитники „германскихъ идей“ (Н. Сазоновъ), и юноша съ длинными волосами и прелестнымъ лицомъ à la Schiller и прихрамывающій à la Byron (Н. М. Сатинъ), и чувствительный юный страдалецъ „съ прекрасными задумчивыми глазами и съ нѣсколько театральными манерами à la Мочаловъ“ (В. В. Пассекъ). Собраніе шумное, многорѣчивое, съ виномъ и тостами. „Въ нижнемъ этажѣ большого дома на Никитской сильно бушевала молодежь. Оргія была въ полномъ разгарѣ, во всемъ блескѣ. Вино, какъ паяльная трубка, раздувало въ длинную струю пламени воображеніе. Идеи, анекдоты, лирическіе восторги, карикатуры крутились, вертѣлись“... Но „несмотря

[1]) Русск. Арх. 1894, кн. II: Ив. Вас. Кирѣевскій, очеркъ его жизни и литературной дѣятельности.

[2]) Тамъ же.

[3]) Русск. Стар., 1876 г., т. XIV и сл.

на шумныя оргіи", замѣчаетъ авторъ „Воспоминаній", „гражданская экзальтація, развитые научные и художественные интересы спасали молодыхъ людей этого кружка отъ грязныхъ увлеченій и возбуждали къ полезной дѣятельности"... Имъ „хотѣлось достичь истины, все отнести къ одному знаменателю и вывести изъ него profession de foi"... „Этотъ длинный праздникъ", добавляетъ авторъ, „эта особая блеснувшая волна жизни не могутъ исчезнуть въ толпѣ дней, ночей, недѣль, мѣсяцевъ, лѣтъ, которые, какъ дюжинныя волны, бѣгутъ, шумятъ, имѣютъ смыслъ въ совокупности, но не врѣзываются въ память". Дѣйствительно, въ этихъ кружкахъ, въ ихъ собраніяхъ и праздникахъ своеобразно выразилась побѣда новаго идеала надъ старымъ, и новый идеалъ мало-по-малу давалъ себя чувствовать какъ въ литературѣ, такъ и въ обществѣ.

Повидимому, среди сторонниковъ стараго литературнаго и общественнаго режима довольно рано замѣчено было проникновеніе въ русское просвѣщеніе западно-европейскаго романтическаго идеализма. Консервативное общество чувствовало, что среди молодежи вмѣстѣ съ новыми литературными вкусами складывается и новый общественный идеалъ, и довольно рано забило тревогу. Съ нѣмецкимъ Sturm und Drang'омъ въ умахъ русскихъ консерваторовъ соединялось представленіе не только о новыхъ литературныхъ порядкахъ, но и о новыхъ общественныхъ вкусахъ и взглядахъ. Ф. Ф. Вигель, говоря о знаменитомъ „Горе отъ ума" Грибоѣдова, ставитъ фамусовское общество въ связь съ старой Германіей, а кружокъ Чацкихъ съ молодой Германіей, съ ея порывами къ новому и отрицаніемъ старины. „(Москва) заимствовала", говоритъ онъ [1]), „у старой Германіи чинопочитаніе, титломанію, уваженіе къ лѣтамъ, до нѣкоторой степени любовь къ порядку: оттого толковала она о своихъ тузахъ, о камергерскихъ ключахъ. Новая молодая Германія принялась все это истреблять. Изъ-за Эльбы, изъ-за Одера, привычнымъ путемъ, въ слѣдъ за нѣмецкимъ добромъ, потекло сюда нѣмецкое зло. Удивляться ли послѣ

[1]) Русск. Арх. 1893 г., кн. II: Ф. Ф. Вигель, Москва и Петербургъ (Письмо къ пріятелю въ Симбирскъ).

того успѣху комедіи Грибоѣдова, помогавшей разрушенію былого". Этотъ новый общественный и литературный идеалъ казался опаснымъ и вреднымъ и въ частномъ быту, и въ офиціальныхъ сферахъ. Въ дневникѣ А. М. Грибовскаго подъ 5 апр. 1829 г. разсказано, какъ Грибовскій-отецъ споритъ съ Грибовскимъ-сыномъ по поводу взглядовъ „нѣмца Шиллера" на отношеніе дѣтей къ родителямъ [1]). „Нѣмецкій писатель Шиллеръ", говоритъ авторъ дневника, „сочинилъ трагедію Донъ-Карлоса, сына Филиппа, короля Гишпанскаго, и вложилъ въ уста сына въ разговорѣ съ отцомъ рѣчи, по-моему странныя, а по Николаеву мнѣнію справедливыя". Грибовскому-отцу кажется соблазнительнымъ, что „Донъ-Карлосъ, будучи 23 лѣтъ, просилъ отца съ неумѣренною настойчивостью дать ему верховное начальство надъ возмутившимися Брабантскими провинціями и надъ войсками, туда посланными... и съ большою нескромностью выставлялъ свои права сына и наслѣдника". Грибовскій-сынъ, возражая отцу въ томъ смыслѣ, что и Филиппъ въ свое время вынудилъ своего отца Карла V отречься отъ престола, тѣмъ самымъ „защищалъ нелѣпыя рѣчи сына съ отцомъ, выдуманныя нѣмцемъ Шиллеромъ во вредъ нравственности". Заключеніе спора особенно знаменательно: „Старый Катонъ", говоритъ Грибовскій-сынъ, „одному своему пріятелю, совѣтовавшему шаловливыхъ его дѣтей высѣчь, отвѣчалъ: Какъ я могу поднять руку на то, что для меня всего въ природѣ священнѣе?"—„Напротивъ того", возражаетъ Грибовскій-отецъ, „премудрый Сирахъ учитъ: если любишь своего сына, то не жалѣй надъ нимъ жезла твоего". Охранители стараго соединяли въ одно цѣлое—подъ девизомъ: „во вредъ нравственности"—все новое въ области литературы, что только шло съ романтическаго запада, не отдѣляя Шиллера отъ Лафонтена, Гете отъ Байрона, философію отъ поэзіи. Старый гр. Г. Г. Кушелевъ († 1833 г.) въ письмѣ къ крестнику своему гр. Д. Н. Шереметеву убѣждаетъ его оградиться „божественнымъ нравоученіемъ" противъ всякихъ новыхъ „фило-

[1]) Русск. Арх. 1899 г., кн. I: Дневники А. М. Грибовскаго.

софическихъ умствованіи“ [1]): „...Убѣдительно прошу васъ, любезный графъ Дмитрій Николаевичъ, для истиннаго и вѣчнаго вашего блага, читайте чаще Евангеліе и посланія святыхъ апостоловъ, гдѣ найдете божественное нравоученіе, кое превосходитъ чистотою всякое философическое умствованіе, то есть древнихъ философовъ. Нынѣ же называющіе себя философы не суть философы, но развратники и безбожники, которые не токмо отступили отъ истины, но и другихъ стараются отвлещи отъ истинной вѣры во Христа Спасителя. Они доказали революціею французскою, какъ бѣдственно ихъ ученіе и какъ пагубны ихъ развратныя правила. Прошу васъ, остерегайтесь сего яда; помните, что вашъ родитель былъ истинный христіанинъ и каждый разъ, по своей дружбѣ ко мнѣ, убѣдительно просилъ меня напоминать вамъ, чтобы вы не совратились съ пути истиннаго христіанства и удалялись отъ развратной новой, обольстительной, пагубной философіи“. Письмо относится къ 1820 году, когда, среди русскаго общества начиналось знакомство съ Кантомъ, Фихте, Шеллингомъ, которые въ представленіи почтеннаго охранителя завѣтовъ старины сливались въ одну группу съ философами, подготовившими французскую революцію. Даже романъ Гете „Вертеръ“, который у насъ тогда понимали почти исключительно со стороны его чувствительнаго содержанія, признавался иногда вреднымъ для молодежи и сравнивался въ этомъ смыслѣ съ нѣмецкими романами Лафонтена. Такъ, одинъ „петербургскій чиновникъ“ начала XIX столѣтія называлъ романъ Авг. Лафонтена „Природа и Любовь“ „сквер..о-чувствительнымъ“, объясняя этотъ эпитетъ слѣдующимъ образомъ: „Я рѣшительно называю этотъ романъ скернымъ, потому что онъ, какъ нѣкогда „Страданія Вертера“, своими приторными странностями могъ сбивать съ толку молодежь описаніемъ различныхъ и всегда нелѣпыхъ движеній сердца и небывалыхъ приключеній съ вѣрными лю-

[1]) Русск. Арх. 1898, кн. II: Письмо гр. Г. Г. Кушелева къ его крестнику гр. Д. Н. Шереметеву, отъ 3 февр. 1820 г., Спб.

бовниками“ [1]). Точно также и „Вильгельмъ Мейстеръ“ Гете встрѣчалъ иногда среди русскихъ читателей неблагопріятные отзывы; такъ, напр., его разсматривали иногда, какъ проповѣдь эгоизма, который будто бы одинаково присущъ въ сильной степени какъ самому Гете, такъ и его герою Вильгельму [2]).

Русскій байронизмъ также встрѣчалъ со стороны охранителей литературной и общественной старины рѣзкое порицаніе. Такъ, напр., „Письмо Д. П. Рунича къ издателямъ „Русскаго Инвалида“ отъ 23 апр. 1820 г. [3]) проникнуто даже негодованіемъ на то, что этотъ журналъ рѣшился опозорить свое доброе имя, помѣстивъ на своихъ страницахъ переводную статью „объ англійскомъ безбожникѣ-стихотворцѣ“. „Читая всегда (говоритъ Руничъ) съ сердечнымъ удовольствіемъ издаваемые вами, милостивые государи, листы, и по цѣли и содержанію истинно-полезные и любопытные, не могу удержаться, чтобъ не изложить въ письмѣ семъ чувствъ, возбужденныхъ во мнѣ статьею объ англійскомъ стихотворцѣ лордѣ Бейронѣ, переведенною изъ парижскаго журнала „Conservateur“ и помѣщенною въ 92 № почтеннаго и заслуженнаго „Русскаго Инвалида“... Русскій добродушный, правдивый Инвалидъ—не французскій журналъ Des Dames et des Modes, не англійская Morning-Chronicle и не нѣмецкая Немезисъ. Вѣра и отечество, храбрость и великодушіе—вотъ предметы, достойные русскаго воина! Что къ нимъ относится, то только ему и мило и любезно, ибо ему извѣстно по наслѣдству отъ прадѣдовъ и дѣдовъ, что благосостояніе его родины на сихъ

[1]) Русск. Арх. 1896 г., кн. I: Записки Петербургскаго чиновника стараго времени (Петра Ивановича Голубева). Такое желчное отношеніе нашихъ консерваторовъ къ роману Гете объясняется вѣроятно тѣмъ, что „Вертеръ“ былъ очень распространенъ у насъ уже въ концѣ XVIII стол. и вызывалъ цѣлый рядъ крайнихъ подражаній какъ въ литературѣ, такъ, повидимому, и въ жизни. Ср. В. В. Сиповскій, Вліяніе „Вертера“ на русскій романъ XVIII вѣка (Ж. Мин. Нар. Пр. 1906, янв.).

[2]) Русск. Арх. 1870, стр. 1333—1342: Изъ записокъ В. С. Печерина (1830—1833); дѣло идетъ о „Wilhelm Meisters Lehrjahre“.

[3]) Русск. Стар. 1896, т. IV, стр. 185: Д. П. Руничъ и поэтъ Байронъ.

только, выдержавшихъ всѣ обуреванія житейскаго моря, твердыняхъ и основано. Что ему нужды до ядовитыхъ, заразительныхъ мечтаній французскихъ, англійскихъ и германскихъ поэтовъ, филологовъ и философовъ!.. Листы ваши всегда отличались извѣстіями о вѣрѣ русскихъ, объ ихъ подвигахъ человѣколюбія, объ ихъ мужествѣ, преданности къ престолу и военныхъ и гражданскихъ доблестяхъ. Итакъ, могутъ ли съ толико назидательными для возрастающихъ сыновъ благословенной Россіи примѣрами и образцами стать наравнѣ критическія сужденія французскаго журналиста-философа объ англійскомъ безбожникѣ стихотворцѣ, имѣющемъ, по мнѣнію самого французскаго критика, мрачную и свирѣпую душу и изуродованный самолюбіемъ разумъ, воспламененные и освѣщенные адскимъ огнемъ!.. „Инвалида“ вашего читаютъ многія тысячи всякаго возраста и состоянія людей. Изъ статьи о Бейронѣ всякій узнаетъ мнѣніе сего стихотворца, узнаетъ, какими онъ одушевлялся понятіями. Увидитъ—и это очень важно—,что въ ученомъ свѣтѣ онъ почитается и славнымъ, и геніемъ, и поэтомъ, несмотря на то, что геній его уподобляется блеску зловреднаго метеора; что талантъ его обольщаетъ душу, не успокаивая и не убѣждая ее, и что въ твореніяхъ его находятся одни только блуждающіе огни, мерцающіе надъ глубокою пропастью. Кто заразится бреднями Бейрона, — такой погибъ на вѣки; подобныя впечатлѣнія, особенно въ юныхъ сердцахъ, съ трудомъ изглаживаются... Стихотворческій духъ его показываетъ, говорятъ, истиннаго поэта — высокое достоинство, не спорно, но стихотворенія его исполнены смертоноснаго яда, такой философіи, которую изрыгаетъ одинъ только адъ. Итакъ, прославлять поэзію лорда Бейрона есть то же, что выхвалять и превозносить убійственное орудіе, изощренное на погибель человѣчества“. И довольно долго, повидимому, держится въ нѣкоторой части русскаго общества убѣжденіе, что байронизмъ есть синонимъ злобы и человѣконенавистничества, и русскіе почитатели Байрона еще и въ 30-хъ годахъ встрѣчаютъ иногда, если не негодованіе, то, по крайней мѣрѣ, снисходительное сожалѣніе. Въ 1836 г. друзья пишутъ В. Г. Тепля-

кову [1]): „Я отдаю должную справедливость прекрасному вашему дарованію и превосходству познаній; но краснорѣчіе не въ силахъ перемѣнить образъ моихъ мыслей; вы не можете меня заставить ненавидѣть и презирать человѣчество, когда среди нашего разговора вы будете предметомъ моихъ мыслей и первымъ исключеніемъ всеобщей вражды, которую вы питаете въ сердцѣ вашемъ, какъ похвальное, усладительное чувство"... Въ виду этого ему, человѣконенавистнику въ духѣ Байрона, желаютъ „примириться съ самимъ собою, изгладить слѣды прошлаго и возвратить это доброе расположеніе, столь необходимое человѣку, чтобы жить и умереть въ довольствѣ. Это стоитъ всей поэзіи лорда Байрона"...

Еще осторожнѣе относились къ новымъ литературнымъ вѣяніямъ цензура и администрація въ лицѣ наиболѣе крайнихъ защитниковъ старины. Для цензуры даже баллады Жуковскаго, представлявшія тогда собой литературное новшество, казались чѣмъ-то чудовищнымъ: и гаданія, и монахи, и панихиды—все это въ стихахъ считалось предметами, разсчитанными на соблазнъ чужой души. Такъ, прочитавши балладу Жуковскаго, цензоръ Снегиревъ писалъ кн. Шаликову: „Балладу Жуковскаго прочиталъ съ удовольствіемъ, а подписалъ съ сомнѣніемъ въ душѣ. Не введите меня въ искушеніе, почтенный князь! Объ ней я слышалъ что-то неблагопріятное; кажется С.-П. цензура ея не пропустила. Сомнительнымъ мнѣ кажется: суевѣрное гаданіе, но оно общее всѣмъ народамъ и всѣмъ извѣстное; свиданіе, но оно мечтательное и наказанное; монахи и панихиды, но объ нихъ говорится почтительно. Еще повторяю покорнѣйшую просьбу: берегите меня, князь, вы и себя сбережете, или, лучше сказать, доставите удовольствіе назваться и быть покорнѣйшимъ слугою" [2]). Въ „Дневникѣ" А. В. Никитенко подъ 25 февр. 1831 г. находимъ слѣдующую

---

[1]) Русск. Стар. 1896, т. 86, стр. 196: Изъ бумагъ Виктора Григорьевича Теплякова и т. 87, стр. 412: Графиня Р. С. Эдлингъ и Н. Ѳ. Нарышкина—В. Г. Теплякову. (О В. Г. Тепляковѣ, см. Р. Ст. 1896, мартъ).

[2]) Русск. Арх. 1900 г., т. I: Изъ писемъ князя Вяземскаго къ Жуковскому. Приложеніе къ нимъ—Письма Снегирева къ кн. Шаликову.

замѣтку объ отношеніи цензуры къ роману Бенжамена Констана „Адольфъ“: „Адольфа перевелъ кн. Вяземскій; цензура затруднялась пропустить этотъ романъ, потому что онъ—сочиненіе Бенжамена Констана! Сколько труда стоило мнѣ доказать предсѣдателю цензурнаго комитета, человѣку, впрочемъ, образованному, что одно имя автора еще не есть статья, оскорбляющая правительство или грозящая Россіи революціей“ [1]). Тамъ же, нѣсколько позже, подъ 9 апр. 1834 г., приводится мнѣніе министра народнаго просвѣщенія о романѣ В. Гюго „Соборъ Парижской Богоматери“: „Былъ сегодня у министра. Докладывалъ ему о нѣкоторыхъ романахъ, переведенныхъ съ французскаго. „Церковь Божьей Матери“ Виктора Гюго онъ приказалъ не пропускать. Однако, отзывался съ великой похвалой объ этомъ произведеніи. Министръ полагаетъ, что намъ еще рано читать такія книги“... Трагедія В. Гюго „Эрнани“ не была допущена на сцену: „Вильгельма Телля“ сначала допустили, потомъ сняли со сцены. „Ротчевъ перевелъ“, разсказываетъ Р. М. Зотовъ [2]), „знаменитую піесу Виктора Гюго „Гернани“, и я, конечно, употребилъ все стараніе, чтобы она могла идти, но ее запретила цензура, и Ротчевъ перевелъ „Вильгельма Телля“ Шиллера. Тутъ еще меньше было надежды, но піеса прошла и была дана. Надо только прибавить, что ее тотчасъ же потомъ запретили, послѣ перваго представленія, и что министръ двора, князь Волконскій, сдѣлалъ выговоръ за переводы подобныхъ піесъ“. Тотъ же авторъ разсказываетъ, что и „Мессинская невѣста“ Шиллера сначала встрѣтила оппозицію въ цензурномъ театральномъ комитетѣ и лишь послѣ нѣкоторой борьбы двухъ комитетскихъ партій прошла на сцену [3]). Точно также Шиллерова „Іоанна“ запрещена была для театра въ Царскомъ Селѣ изъ опасенія „соблазна явленій Богоматери“ [4]). Отношеніе цензуры къ Шекс-

[1]) Русск. Стар. 1879 г., т. 62: Изъ дневн. А. В. Никитенко.

[2]) Истор. Вѣстн. 1896, т. III, стр. 309: Записки Р. М. Зотова.

[3]) Тамъ же, стр. 427.

[4]) Русск. Арх. 1897, т. II: Письма Карамзина къ кн. Вяземскому (изъ истор. сборн. „Старина и новизна“), письмо отъ 28 мая 1822 г., Царск. Село.

пиру тоже отличалось странною и не всегда обоснованною разборчивостью. „...Въ приговорахъ театральной цензуры“,— говоритъ П. С. Ѳедоровъ, характеризуя отношеніе „цензуры III-го отдѣленія“ къ театральнымъ пьесамъ послѣ 1826 года,— „трудно отыскать послѣдовательность: она ея знать не хочетъ. Вотъ двѣ пьесы. Въ одной (Макбетъ) феодальный баронъ убиваетъ своего короля, садится на его престолъ, и съ этой минуты жизнь его — пытка, которая кончается страшною смертію. Сильный урокъ для честолюбцевъ! Въ другой (Гамлетъ) родной братъ убиваетъ своего короля, садится на его престолъ, женится на его вдовѣ, покушается на жизнь племянника; жизнь его—безпрерывный пиръ; конецъ—смерть совершенно случайная. Урока нѣтъ! Что жъ бы должно было запретить, въ видахъ нравственности и уваженія къ власти, какъ понимаетъ ихъ цензура? Разумѣется, Гамлета? Нѣтъ. Цензура пропускаетъ на сцену Гамлета и запрещаетъ Макбета!“ [1]).

Охрана литературной и общественной старины коснулась и преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Дѣятельность Рунича и Магницкаго въ Петербургскомъ и Харьковскомъ университетахъ [2]) нашла себѣ подражателей и въ другихъ мѣстахъ, напр., въ Нѣжинской гимназіи. „Въ 1827 году старшій профессоръ политическихъ наукъ (этого учебнаго заведенія), М. В. Билевичъ, завидуя успѣху младшаго профессора римскаго права, Н. Г. Бѣлоусова, подалъ на него въ конференцію гимназіи рапортъ. Въ немъ онъ заявилъ, что „примѣтилъ въ нѣкоторыхъ ученикахъ нѣкоторыя основанія вольнодумства, происходившія отъ заблужденія на основаніяхъ права естественнаго, которое читается не по системѣ де-Мартини, а на основаніи философіи Канта и Шада“... Тамъ же „Зиглеръ былъ изобличенъ въ томъ, что, переводя статью Канта „о высокомъ и прекрасномъ“, говорилъ пренебрежительно о рус-

[1]) Русск. Арх. 1896, т. I: Къ исторіи театральной цензуры, записка Павла Степановича Ѳедорова, 1859 года.

[2]) Ср. М. И. Сухомлиновъ, Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе имп. Александра I, Спб., 1866, первыя главы.

скомъ обычаѣ носить тѣльные кресты и часто вдавался въ разсужденія о предметахъ политическихъ“ [1]). Подобнымъ же образомъ проф. Моск. унив. И. И. Давыдовъ за свое сочиненіе по логикѣ былъ „обличенъ, какъ клевретъ Шеллинга, въ атеизмѣ и иллюминатизмѣ“ [2]). Нѣмецкіе философы и поэты начала XIX стол. въ глазахъ русскихъ консерваторовъ являлись не носителями истиннаго прогресса, но вредными „бумагомарателями“, которые сѣютъ среди германскаго, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и среди русскаго юношества „духъ буевѣрія“: „сіи гнусные наставники“, по мнѣнію официальныхъ охранителей русской нравственности въ данную эпоху, „арлекинствами средняго вѣка и тевтоническимъ якобинизмомъ привлекаютъ развращенное воображеніе безнузданностію (sic) вѣка зараженныхъ студентовъ, коихъ число послѣдними политическими событіями нарочито увеличилось, и превращаютъ ихъ въ германскіе санкюлоты“ [3]). Даже во всеподданнѣйшей запискѣ попечителя Харьковскаго университета Перовскаго чувствуется, при всей ея кажущейся объективности и сдержанности, явное нерасположеніе къ новой философіи, одухотворявшей романтизмъ, въ частности къ Канту и Фихте. „По мнѣнію моему“, говоритъ онъ въ своей запискѣ, „цѣль учебныхъ заведеній въ Россіи, относительно просвѣщенія народнаго, главнѣйше должна состоять въ распространеніи познаній, на положительныхъ и точныхъ наукахъ основанныхъ. Мы имѣемъ нужду въ медикахъ, химикахъ, технологахъ; но весьма сомнительно, чтобы появленіе въ отечествѣ нашемъ Кантовъ и Фихте принесло какую-либо оному пользу. Отвлеченныя науки, какъ, напр., метафизика и другія, принадлежатъ, такъ сказать, къ роскоши ума человѣческаго; а роскошь сія, не ограниченная предѣлами умѣренности и не приспособленная къ нуждамъ народа еще

[1]) Русск. Арх. 1897, т. III: Юрій Никитичъ Бартеневъ, 1833—1844 гг., письма къ нему разныхъ лицъ.

[2]) Русск. Арх. 1889, т. III: И. И. Давыдовъ къ Прокоповичу-Антонскому, письмо отъ 19 февр. 1825 г., Спб.

[3]) Русск. Стар. 1881, т. 32: Толки и настроеніе умовъ въ Россіи, по донесеніямъ высшей полиціи, 1818—1819 гг., стр. 673.

юнаго, не можетъ не быть вредна для онаго... Я не говорю, что надлежитъ запретить преподаваніе наукъ отвлеченныхъ и уничтожить каѳедры оныхъ, при университетѣ учрежденныя; но полагаю, что необходимо нужно бы было заключить преподаваніе сіе въ предѣлы, самимъ правительствомъ назначенные и рѣзкими чертами отдѣленные отъ всякаго самовольнаго лжемудрствованія" [1]). Подобное подозрительное отношеніе къ новымъ литературнымъ явленіямъ иногда порождало цѣлое административное дѣло, которое заканчивалось уже въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Въ одномъ рапортѣ на имя великаго князя Константина Павловича читаемъ [2]): „Небезъизвѣстно Вашему Императорскому Высочеству, какое сильное впечатлѣніе и вредное вліяніе имѣла на умы молодыхъ людей Шиллерова трагедія „Разбойники". Во многихъ мѣстахъ, а именно въ городахъ, гдѣ находятся университеты, правительства нашлись вынужденными запретить представленіе сей трагедіи". Авторъ рапорта имѣлъ въ виду доказать при этомъ и вредное вліяніе произведенія Мицкевича „Конрадъ Валенродъ",—но возникшая по поводу этого донесенія переписка была прекращена Высочайшею резолюціею: „оставить сіе дѣло безъ дальнѣйшихъ послѣдствій". Однако, и самъ императоръ Николай I, повидимому, относился съ нѣкоторымъ предубѣжденіемъ къ новымъ нѣмецкимъ писателямъ. Въ Запискахъ А. О. Смирновой приводится между прочимъ суровый отзывъ императора о Шиллерѣ и Гете, какъ писателяхъ, до извѣстной степени отрицательно повліявшихъ на умы молодежи [3]).

Такъ роптали и недоумѣвали охранители старыхъ общественныхъ и литературныхъ вкусовъ. Между тѣмъ новые вкусы и идеалы все болѣе и болѣе крѣпли и начинали уже опредѣляться въ своихъ основныхъ мотивахъ. Среди молодыхъ рус-

---

[1]) Русск. Старина, 1901, т. II, стр. 364: О народномъ просвѣщеніи въ Россіи (Всеподданнѣйшая записка попечителя Харьковскаго университета Перовскаго, отъ 20 апр. 1826 г.).

[2]) Русск. Стар. 1903, ноябрь: Н. И. Гречъ, Ѳ. В. Булгаринъ и А. Мицкевичъ (Матеріалы для ихъ біографій).

[3]) Русск Арх. 1895, т. III: Изъ записокъ А. О. Смирновой

скихъ энтузіастовъ, собиравшихся въ кружки или иногда думавшихъ одинокую думу молодого Вертера о Богѣ, о мірѣ, о человѣкѣ — среди этой молодежи возникало неудержимое стремленіе въ сверхчувственную область, которую Н. И. Надеждинъ въ насмѣшку, но правдиво называлъ „горняя страна вѣчныхъ идеаловъ“. Въ эту эпоху подъема идеализма, которая въ русской жизни падаетъ главнымъ образомъ на 20-е и 30-е годы прошлаго столѣтія,—въ эту эпоху человѣческій духъ порывается вернуться туда, въ свою предполагаемую отчизну, далекую и свѣтлую отчизну, откуда—такъ ему кажется—онъ когда-то ушелъ на маленькую темную планету, теряющуюся въ міровомъ пространствѣ. Но отчизна далеко; разстояніе до нея опредѣляется еще невѣдомымъ измѣреніемъ; пути къ ней неизвѣстны... И вотъ, въ младенческой простотѣ человѣкъ-идеалистъ смотритъ прямо вверхъ, по „вертикальной линіи къ небесамъ“, какъ прекрасно выразился Н. К. Михайловскій, смотритъ, какъ одинъ изъ героевъ Ибсена, „на верхушки горъ, на звѣзды, навстрѣчу великой тишинѣ“... И что же онъ находитъ? Отчизны онъ не видитъ, но онъ ее чувствуетъ: онъ слышитъ оттуда какіе-то дивные звуки, которые въ его душѣ вырастаютъ въ чудныя желанія и порывы; онъ видитъ тамъ волны какого-то мягкаго свѣта, которыя въ душѣ его становятся свѣтлыми, руководящими идеями. У кого сильно духовное зрѣніе, тотъ „въ небесахъ видитъ Бога“; у кого развитъ духовный слухъ, тому чудится „горній полетъ ангеловъ“; а у кого нѣтъ этого дара, тотъ, по крайней мѣрѣ, силится что-то уловить: онъ, какъ слѣпой въ драмѣ Метерлинка, „чувствуетъ свѣтъ луны на рукахъ“ или „слышитъ звѣзды“. Это восторженное идеалистическое созерцаніе небесной отчизны, правда, полно мистическаго экстаза и болѣзненнаго напряженія, но оно тѣмъ не менѣе глубоко поучительно. Въ одномъ журналѣ начала прошлаго вѣка помѣщено стихотвореніе Вильгельма (Кюхельбекера), небогатое въ художественномъ отношеніи, но замѣчательное по основному настроенію. Оно озаглавлено „Отчизна“. Это именно та отчизна идеала, о которой идетъ рѣчь. Авторъ стремился туда „въ утренній часъ своего бытія“, онъ

„не снималъ тогда съ природы покрова“, плѣнялся „волшебной силой задумчиваго мѣсяца“ и невольно „исчезалъ въ океанѣ неизмѣримыхъ небесъ“. Его наполняла „сладкая тоска“, мечта уносила его въ даль.

Тайна самъ для себя, безпечный младенецъ,—я слезы,
(Ихъ я причины не зналъ) слезы священныя лилъ;
Въ полночь нѣмую на мирномъ одрѣ предчувствовалъ вѣчность:
При колыханьи лѣсовъ сладостнымъ хладомъ объятъ,
Рано я слушать любилъ унылую жалобу бури;
Шорохъ падущихъ листовъ трепетъ во мнѣ разливалъ;
Слышу, казалося, въ воздухѣ голосъ знакомый: безмолвенъ.
Слухъ устремляю я въ даль,—всюду молчанье, но даль
Въ тайной бесѣдѣ со мной. О, сонмы свѣтилъ неисчетныхъ!
Къ вамъ улеталъ я душой, къ вамъ я и нынѣ лечу:
Или надъ вами отчизна моя? надъ вами съ родною
Чистой душой съединенъ, къ Богу любви вознесусь?.. [1])

Стихотвореніе это относится къ 1817 году. Когда читаешь эти безчисленныя элегіи идеалистовъ двадцатыхъ годовъ, невольно хочется упрекнуть ихъ въ излишнихъ и безполезныхъ излія-ніяхъ... Но надо подождать съ упрекомъ, надо удержать ироническую улыбку... Идеалисты 20—30-хъ годовъ недаромъ смотрѣли вверхъ: кое-что они замѣтили тамъ сами, а кое-что имъ указали иноземные поэты-мечтатели, которые дольше и проницательнѣе ихъ наблюдали надзвѣздное небо. Что же они услышали и усмотрѣли? Они услышали новые звуки, обновившіе міръ искусства и въ особенности поэзію, и уловили новые лучи свѣта, освѣтившіе новый идеалъ жизни личной и общественной. Цѣлый рядъ свѣтлыхъ мотивовъ въ области искусства, религіи, науки и даже соціальной жизни—вотъ безсмертное наслѣдство эпохи идеализма прошлаго столѣтія.

---

[1]) Сынъ Отечества, 1817, т. 42. стр. 161. Элегія по основному мотиву напоминаетъ извѣстное стихотвореніе Гейне „Fragen“, которое въ „Книгѣ пѣсенъ“ помѣщено подъ группою „Die Nordsee“.

2. Отраженіе основныхъ мотивовъ романтическаго идеализма въ русской общественной и литературной жизни 20—30-хъ годовъ XIX стол. Индивидуалистическіе порывы въ русской лирикѣ; объекты индивидуальныхъ мечтаній; индивидуальное очарованіе и разочарованіе. Связь русскаго романтическаго индивидуализма съ западно-европейскимъ; признаки этой связи; отношеніе къ нему современниковъ. Выводы романтическаго индивидуализма на русской почвѣ: два культа личности. Культъ личной свободы; характеръ его выраженія въ русской поэзіи и русскомъ обществѣ данной эпохи. Культъ личнаго художественнаго творчества; связь его съ міровоззрѣніемъ западно-европейскаго романтизма; его выраженіе въ современной ему русской поэзіи; усвоеніе этого культа журналами 20-хъ годовъ и распространеніе его въ русскомъ обществѣ той же эпохи. Романтическій національнымъ въ русскомъ обществѣ и литературѣ. Характеръ русскаго національнаго самосознанія во второй половинѣ XVIII-го и въ началѣ XIX-го стол.; отраженіе его въ литературѣ того же времени. Подъемъ русскаго національнаго самосознанія въ эпоху войнъ съ Наполеономъ; показатели этого подъема: журналы—„Русскій Вѣстникъ“ и „Сынъ Отечества“—и театральныя представленія. Роль западно-европейскаго романтизма въ исторіи усиленія русскаго національнаго въ началѣ XIX стол.; вліяніе западно-европейскихъ романтиковъ на развитіе культа національности въ русскомъ обществѣ и литературѣ (Гердеръ, г-жа Сталь, Шеллингъ); поэтизація народной старины „по примѣру нѣмцевъ“. Филэллинизмъ въ русской литературѣ 20-хъ годовъ и его связь съ романтическимъ національнымъ. Романтическій универсализмъ въ русскомъ обществѣ и литературѣ. Внѣшнее отраженіе западно-европейскаго романтизма на складѣ русской жизни. Внутреннее его отраженіе; вліяніе западно-европейской романтики на выработку у насъ универсальнаго идеала жизни въ духѣ романтизма. Признаніе новаго духовнаго момента въ русской жизни 20—30-хъ годовъ; отношеніе къ нему современныхъ консерваторовъ и прогрессистовъ. Отдѣльные выразители романтическаго идеализма въ русской литературѣ данной эпохи.

Западно-европейскій романтическій идеализмъ проникалъ въ русское общество и литературу всѣми своими основными мотивами; но его индивидуалистическіе порывы на первыхъ же порахъ отразились у насъ особенно замѣтно. Въ самомъ дѣлѣ, вглядимся пристальнѣе въ мечты нашихъ молодыхъ энтузіастовъ начала XIX стол. Что ихъ роднитъ съ небесной отчизной и чего они такъ ищутъ на землѣ?

Среди безпечныхъ дѣтскихъ лѣтъ
Я долго жилъ въ уединеньѣ;
Отцовскій домъ былъ весь мой свѣтъ
И книги—все увеселенье!
Тогда я спутницей избралъ
Тебя, фантазія златая,
И міръ подлунный забывалъ,
Міры волшебны пролетая.

Кристальны строилъ я дворцы
И разрушалъ очарованья;
Съ злодѣевъ я срывалъ вѣнцы
И добрыхъ облегчалъ страданья.

Такъ рисуетъ одинъ мечтатель свои завѣтныя стремленія; жить, по его понятію, — значитъ создавать и разрушать, творить добро и губить зло [1]). Для другого вся сила жизни въ дружбѣ и любви:

Ты заходилъ, небесный посѣтитель!
Ты заносилъ чарующіе сны
Изъ горнія блаженныя страны
Въ пустынную души моей обитель!..
Не для того-ль сюда она приходитъ?
Любовь есть цѣль земного бытія!
И жизнь пія и жизнію поя,
Душа здѣсь небесный здѣсь находитъ!
О, дивный гость! Ты предо мною вскрылъ
Святыхъ надеждъ предѣлъ недостижимый;
Въ ея очахъ мнилъ зрѣть я свѣтъ незримый!
Зачѣмъ же ты такъ мало погостилъ? [2]).

Или въ другомъ стихотвореніи:

Въ немного времени я много испыталъ:
Блаженства райскаго обвороженъ мечтами,
Я друга обрѣсти возможнымъ почиталъ...
Я сердце въ даръ принесъ обманчивой любви... [3])

Для третьяго весь смыслъ жизни скрытъ въ стремленіи къ славѣ. Изъ многихъ стихотвореній, посвященныхъ воспѣванію славы, одно, весьма характерное, читается такъ:

Палящій огнь сокрытъ въ груди моей,
Я напоенъ губительной отравой,
Во мнѣ бушуетъ вихрь страстей—
И кто смиритъ его?—Одна десница славы!

---

[1]) Благонамѣренный, 1819, т. VII: стих. „Мечтатель“, В. К—въ.

[2]) Галатея, 1829 г., т. 6, № 27: стихотвореніе „Призракъ“, Подл.—нъ.

[3]) Отечественныя Записки, 1822, т. 10: Послѣднее стихотвореніе А. Ѳ. Раевскаго.

Небесная! скажи, узнаю-ль я
Безсмертія святыя наслажденья?
Предъ взорами вѣковъ, при кликахъ удивленья,
Усыновишь ли ты меня?
Всѣ блага—прочь! съ тобой лишь въ жизни радость!
Мой путь—къ одной мѣтѣ!
Блюди-жъ меня, блюди! да не погибнетъ младость
Въ пыли мірской, въ безплодной суетѣ! [1])

Четвертый, наконецъ, ищетъ, кромѣ вѣчной любви, еще и абсолютной истины и для этого погружается мечтами въ незримый, таинственный міръ:

Мечты, о даръ, несчастнымъ драгоцѣнный!
Мечты, въ бѣдахъ единственный оплотъ!
Питомецъ вашъ, на горесть обреченный,
И въ васъ уже утѣхи не найдетъ!
Терпѣніемъ и вѣрой окрыленный,
Въ другой онъ міръ направитъ свой полетъ,
Гдѣ истина свои законы пишетъ
И сонмъ духовъ одной любовью дышитъ [2]).

И любовь, и дружба, и слава, и истина—однако, манятъ къ себѣ мечтателя лишь, какъ блага личныя, удовлетворяющія жадный порывъ личности къ духовному идеалу. Вездѣ въ этихъ элегіяхъ мы видимъ порывистое, страстное „я“, которое хочетъ развернуться въ ширину и подняться въ высь, охватить объятіями всѣ горизонты и достать дерзкой рукой до звѣзднаго неба или по крайней мѣрѣ повѣрить свои мечты блѣдному мѣсяцу, „прекрасному сыну небесъ“, этому „таинственному шару“, катящему „чудесный міръ“ надъ сонною землею [3]).

[1]) Атеней, 1830, № 15: стих. „Желаніе славы“, Н. Станкевичъ.

[2]) Благонамѣренный, 1829, т. VI: стих. „Къ мечтамъ“, В. К—въ.

[3]) Благонамѣренный, 1819, т. VIII: стих. „Мѣсячное сіяніе“, А—ръ Н—въ. Для того, чтобы замѣтить это страстное порываніе индивидуума къ надземному идеалу, которое характеризуетъ русскую журнальную поэзію въ исходѣ первой четверти XIX в., нѣтъ вовсе необходимости дѣлать какой-либо отборъ въ массѣ элегій и романсовъ, написанныхъ по большей части заурядными стихотворцами-любителями: всѣ эти стихотворенія очень близки по своимъ мотивамъ, и только что приведенные стихотворные примѣры взяты тоже почти подрядъ со страницъ журналовъ, безъ особаго вы-

Если это „я“ приближается къ своимъ личнымъ благамъ, оно ликуетъ и заставляетъ ликовать всю природу, дѣлая ее, объективную и спокойную, причастной своему субъективному настроенію; если же „я“ теряетъ надежду на достиженіе своихъ личныхъ стремленій, оно унываетъ и заставляетъ унывать равнодушную ко всякому личному горю природу.

О, давняя пора, когда я лишь расцвѣлъ
Для сладости всѣхъ чувствъ и восхищенья,
Когда я въ первый разъ мгновенно закипѣлъ
Отъ пламени святого наслажденья,
Объемля взоромъ міръ, простертый предо мной,
Внимая издали, восторга полный,
Какъ разливался шумящею рѣкой
И все влекли благихъ порывовъ волны!.. [1])

Такъ рисуетъ мечтатель пору личныхъ надеждъ и личной вѣры, личнаго очарованія. Наступаетъ сомнѣніе, безочарованіе, отчаяніе—картина вдругъ мѣняется, и природа, и окружающая жизнь начинаютъ страдать личнымъ страданіемъ человѣка:

Сокрылись призраки моихъ счастливыхъ лѣтъ;
Послѣдній другъ—надежда улетѣла...
И жизнь безъ радостей, осенній будто цвѣтъ
Съ погибшею красою, помертвѣла [2]).

И свое духовное увяданіе человѣческое „я“ простираетъ тогда на всю природу:

Вотще! не для меня долины и лѣса
Одушевились красотою

---

бора. Вотъ еще нѣсколько иллюстрацій того же мотива: Атеней, 1830, № 1, „Земная цѣпь“, Тришунный—желаніе парить подъ облаками, жажда высоты, скука земной жизни; Галатея, 1829, ч. 9, № 46, „Ночь“, С. Ш.—бѣгство отъ „безсмысленнаго шума“ дня въ „пророческую тишину“ ночи, смѣлыя думы, порывы духа вдали отъ „праздныхъ умовъ“, отъ „вѣтренныхъ людей“; Атеней, 1830, № 2, „Мечты“—порывы духа къ красотамъ природы, обращеніе къ лунѣ, „свѣтлу думъ“; тамъ же, № 1, „Зима“—думы о „сладости въ жизни“, о возможности „радостныхъ дней“ и т. п.

[1]) Соревнователь просвѣщенія и благотворенія, 1819, т. VIII: стих. „Старость“, Плетневъ.

[2]) Въ томъ же стих—ніи.

И свѣтлой радостью сіяютъ небеса!
Я вяну—вянетъ все со мною! [1]).

Это постоянное обращеніе къ своему „я“ служитъ обычнымъ сюжетомъ безчисленныхъ элегій и романсовъ, наполняющихъ страницы русскихъ періодическихъ изданій 20-хъ и отчасти 30-хъ годовъ. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ тѣмъ романтическимъ индивидуализмомъ, который черезъ посредство западно-европейской литературы прошелъ полосой и по нашей молодой, еще наивной поэзіи начала XIX-го столѣтія. П. И. Надеждинъ, какъ было упомянуто выше, замѣтилъ это индивидуализированіе нашихъ молодыхъ „геніевъ“ и вышучивалъ ихъ, рисуя въ насмѣшку ихъ портреты чертами представителей нѣмецкаго Kraftgenialität'-а эпохи Sturm und Drang'а. Онъ отмѣчаетъ ихъ „гордое презрѣніе“ къ обыденной жизни, ихъ бѣгство въ природу, притязаніе на самобытность и тяготѣніе къ байронизму [2]). Дѣйствительно, поклоненіе русскихъ мечтателей своему „я“, ихъ исканіе сверхчеловѣка было прежде всего навѣяно западно-европейскими образцами и затѣмъ уже отразило въ себѣ извѣстное настроеніе интеллигентной русской молодежи. Вотъ почему всякое проявленіе замѣтной личности въ русской литературѣ въ данную

---

[1]) Труды любит. русск. слов., 1820, т. X: стих. „Весна“, Баратынскій Еще примѣры того же мотива: Атеней, 1830; № 10, „Сонеты“, В. А—въ—утрачены желанья, погибъ надежды лучъ, жизнь проходитъ медлительно, грусть души утолитъ одна могила; Галатея, 1830, ч. XI, № 1, „Безсонница“, Ѳ. Тютчевъ—призрачность жизни, безсиліе отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ поколѣній въ борьбѣ съ „неотразимымъ рокомъ“; Благонамѣренный, 1818, ч. I, „Осень“, Вильгельмъ—осень въ природѣ, осень въ душѣ, одиночество, духовное умираніе; Дамскій Журналъ, 1831, ч. 34, № 15, „Предбудущее“, Волковъ—неизвѣстность будущаго, обманчивость мечтаній, жизнь—заботы и мученье, счастье—только въ мечтѣ; Сынъ Отечества, 1816, ч. 33, стр. 217, „Мысли призывающаго смерть“, А. Прожика—безвѣстность, измѣна счастья, ненависть къ жизни, призываніе смерти, стремленіе въ „лучшій міръ“; тамъ же, ч. 40, стр. 229, „Элегія“, Глѣбовъ — разлука, разбитое сердце, тоска разочарованія среди бурной природы.

[2]) Вѣстникъ Европы, 1829, № 1: Н. И. Надеждинъ, Сонмище нигилистовъ (Сцена изъ литературнаго балагана).

эпоху сейчасъ же запечатлѣвалось современниками при помощи какого-нибудь сравненія съ той или другой западно-европейской литературной величиною времени романтизма. Такъ, въ „сонмищѣ нигилистовъ“ Пушкина величаютъ „сѣвернымъ Байрономъ“ [1]), а въ частныхъ письмахъ называютъ „célèbre Pouchkine—русскій Байронъ“ [1]); С. Н. Глинку кн. Вяземскій именуетъ „Шатобріаномъ Московскаго ополченія“ [2]), а В. К. Кюхельбекеръ скромно находитъ общее у себя съ Вальтеръ-Скоттомъ и Гете [3]); одинъ мечтаетъ à la Lamartine [4]), другой пишетъ à la Lamenais [5]) и т. д. Русскіе мечтатели-индивидуалисты начала XIX столѣтія потому и приравнивали себя къ западнымъ своимъ образцамъ, что заразились отъ нихъ тою неизбѣжною болѣзнью, которую раньше или позже, но, во всякомъ случаѣ, обязательно нужно было перенести и русскому молодому обществу. Эта болѣзнь—есть „нравственный недугъ“ личности, составляющій „потребность нашего (въ противоположность „прежнему“) общества“; такъ опредѣляетъ болѣзнь своего времени кн. П. А. Вяземскій, говоря о романѣ Бенжамена Констана „Адольфъ“ [6]). Этотъ „нравственный недугъ“ личности, слагавшійся изъ разрыва съ старымъ и страстныхъ порывовъ къ новому идеалу, воспитывалъ въ русской жизни

---

[1]) Русск. Арх. 1903, окт.: Письма К. Я. Булгакова къ его брату, отъ 26 и 29 марта 1829 г.

[2]) Русск. Арх. 1900 г., т. I: Изъ писемъ князя Вяземскаго къ Жуковскому; письмо отъ 3 сент. 1830 г., Остафьево.

[3]) Русск. Стар. 1875 г., т. XII: Дневникъ В. К. Кюхельбекера, 1831—1835 гг. Въ запискѣ отъ 9 авг. 1832 г. читаемъ: „...Въ извѣстіи о Скоттѣ передъ его поэмами упоминается, что въ дѣтствѣ онъ былъ охотникъ разсказывать своимъ товарищамъ сказки, которыя самъ выдумывалъ. Это у него общее съ Гете и (осмѣлюсь ли послѣ такихъ людей называть себя?) со мною“.

[4]) Русск. Арх. 1900 г., т. I: Письма Вас. Серг. Норова (декабриста, изъ Бобруйска, отъ 3-го декабря 1830 г.); рѣчь идетъ объ одномъ изъ его братьевъ, который „мечтаетъ“ съ Ламартиномъ на берегахъ Хопра.

[5]) Приписка А. И. Тургенева къ вышеприв. (прим. 2) письму кн. Вяземскаго; рѣчь идетъ о Сергѣѣ Алексѣевичѣ Викулинѣ.

[6]) Дамскій Журналъ, 1831 г., т. XXVI, № 45: Извѣстія, „Адольфъ“, романъ Бенжамена Констана, переведенный кн. П. А. Вяземскимъ.

и литературѣ цѣлую семью Онѣгиныхъ и Печориныхъ, которые были русской варіаціей западно-европейскихъ скорбниковъ. Впослѣдствіи В. А. Жуковскій, произнося строгій судъ надъ этой семьей русскихъ скитальцевъ 20-хъ—30-хъ годовъ, очень рѣзко подчеркнулъ ихъ связь съ европейскими ихъ сородичами. Благословляя гр. В. А. Сологуба „на русскій романъ", онъ говоритъ ему: „Но только избавьте насъ отъ противныхъ „Героевъ нашего времени", отъ „Онѣгиныхъ" и прочихъ многихъ, имъ подобныхъ, которые теперь въ литературѣ замѣнили Шписовыхъ рыцарей, Лафонтеновыхъ сентиментальныхъ пасторовъ, студентовъ и гезелей, привидѣній покойницы Радклифъ, которые всѣ суть не иное что, какъ бѣсы, вылетѣвшіе изъ грязной лужи нашего времени, начавшіеся въ утробѣ Вертера и расплодившіеся отъ Донъ-Жуана и прочихъ героевъ Байрона" [1]). Однако, не всѣ относились такъ строго къ духовнымъ мукамъ Вертера и мечтателямъ его семьи. Поэтъ „сердечнаго воображенія" и прирожденный сентименгальный писатель, В. А. Жуковскій, судитъ объ этой семьѣ русскихъ представителей романтическаго идеализма и индивидуализма очень односторонне, съ своей точки зрѣнія [2]).

---

[1]) Русск. Арх., 1896 г., т. I: Изъ бумагъ В. А. Жуковскаго, письмо В. А. Ж—го къ гр. В. А. Сологубу, 1845 г.

[2]) Кстати сказать, то напускное разочарованіе и ложное величіе, отъ котораго такъ открещивается В. А. Жуковскій, было замѣчено въ литературѣ русской еще до появленія „Евгенія Онѣгина" Пушкина, но и тогда его, конечно, умѣли отличать отъ серьезныхъ движеній индивидуальнаго духа. Въ 1817 году въ Сынѣ Отечества (ч. 38, стр. 17—23) находимъ въ статьѣ „Наставленіе сыну, вступающему въ свѣтъ" такое вышучиваніе фальшиваго разочарованія: „Вездѣ являйся, но на минуту. Во всѣ собранія вози съ собою разсѣянніе, скуку; въ театрѣ зѣвай, не слушай ничего... Въ бесѣдахъ давай сильно чувствовать, что ты разсѣянъ и занятъ мыслями высшаго понятія, а между тѣмъ можешь думать о мыльныхъ пузыряхъ... Съ порядочными женщинами отнюдь не вступай въ разговоры—что съ ними связываться? Вообще дай разумѣть, что женщинъ не любишь, презираешь,—молодыхъ дѣвушекъ—скажи хотя одной хорошенькую грубость—то будешь прелестенъ.. Ежели заговорятъ о книгѣ, которой ты не читалъ или про которую не слыхалъ, то все равно, то улыбнись, скажи, что ты ее знаешь и тотчасъ перемѣни разговоръ"... (подп. NN).

Другіе думали иначе. Между прочимъ, даже, напр., И. М. Снегиревъ, консервативно относившійся къ новымъ литературнымъ вѣяніямъ, глубже понималъ современные ему порывы индивидуальнаго духа. Въ его дневникѣ читаемъ по этому поводу слѣдующую замѣтку: „...Вечеромъ былъ у меня А. Закревскій, прочелъ со мною свой романъ „Идеалистъ“, въ коемъ много есть хорошаго въ неровныхъ позывахъ духа, видны умъ тонкій и проницательный, сила души и глубокая чувствительность сердца, прикрытая въ немъ юморомъ. Онъ обѣщаетъ въ себѣ автора оригинальнаго, если не будетъ раболѣпствовать иностраннымъ писателямъ и если станетъ работать надъ собою и заниматься изученіемъ ума и сердца въ книгахъ, въ себѣ и въ другихъ. Его слогъ есть живое выраженіе его духа, тяготимаго плотью и разсѣваемаго свѣтомъ. Надобно собираться съ собою“ [1]).

Такимъ образомъ „неровные, но хорошіе въ то же время позывы духа“ — неотъемлемый признакъ идеализма 20-хъ—30-хъ годовъ. Въ чемъ же, однако, объединяются эти позывы духа и къ какимъ конечнымъ цѣлямъ они приходятъ? Индивидуальный духъ идеалиста данной эпохи, по мѣткому выраженію И. М. Снегирева, „тяготимъ плотію и разсѣваемъ свѣтомъ“; а чтобы не поддаться плоти и злобѣ жизни, „надобно собираться съ собою“. И русскіе представители романтическаго индивидуализма, дѣйствительно, „собираются съ собою“ и изъ неровныхъ порывовъ духа выдѣляютъ два опредѣленныхъ стремленія: одно изъ нихъ—культъ личнаго творчества, личной духовной силы, другое—культъ личной свободы для себя и для другихъ. Оба культа имѣли мѣсто въ русскомъ обществѣ и литературѣ 20-хъ—30-хъ годовъ. Но культъ свободы не могъ получить полнаго конкретнаго выраженія въ русской поэзіи начала XIX стол.: для этого не было подходящихъ условій въ русской жизни, и самые, повидимому, умѣренные гимны свободѣ, выходившіе изъ-подъ пера поэтовъ

[1]) Русск. Арх., 1902, т. III: Дневникъ Ив. Мих. Снегирева, замѣтка подъ 26 янв. 1834 г.

данной эпохи, всегда могли вызвать извѣстное противодѣйствіе... Во всякомъ случаѣ, этотъ культъ у насъ былъ: мы узнаемъ объ этомъ и прямо изъ нѣкоторыхъ поэтическихъ произведеній [1]) и намеками изъ мемуаровъ и писемъ современниковъ. Такъ, напр., когда мы читаемъ о томъ, что современникъ декабристовъ смотритъ на нихъ, какъ на „первыхъ добровольныхъ мучениковъ русской гражданской свободы“ и по этому случаю пишетъ „англійскую оду“ [2]) (можетъ быть, въ духѣ Байрона, Шелли или Т. Мура?), то мы невольно дѣлаемъ предположеніе, что культъ русской свободы, порожденный, допустимъ, исключительно нашими, мѣстными причинами, отливался, однако, въ западно-европейскую форму. Точно также, когда кн. П. А. Вяземскій упрекаетъ Жуковскаго и А. И. Тургенева въ томъ, что они „слишкомъ придворны“, что они ничего не дѣлаютъ для своей родины, то и въ этихъ упрекахъ слышится призывъ къ защитѣ индивидуальной свободы и индивидуальнаго счастья, на которыхъ зиждется благополучіе общественное. „...Вы всѣ или слишкомъ придворны“, пишетъ кн. Вяземскій своимъ друзьямъ, „или слишкомъ безпечны. Одно и есть средство облагородить минуту своего счастія, какъ употребить ее на доброе дѣло. Что за выгода для республики словесности, что вы, избранные ея, въ милости у двора, когда вы ничего для родины вашей не дѣлаете, а, напротивъ, отрицательнымъ согласіемъ скрѣпляете узы рабства вашихъ соплеменниковъ? Вы мало думаете объ исторіи, а грифель ея и на васъ поднятъ. Нынѣшняя эпоха—эпоха уничиженія словесности нашей; но и вамъ она не въ честь. Грустно и больно смотрѣть на васъ. Какъ ни говори, а вы упали съ высоты; не ползаете, конечно, но мало этого. Васъ точно держатъ при дворѣ, какъ двухъ аманатовъ; но, къ сожалѣнію, никто изъ васъ не просится въ Регулы. Ты не сердись на

---

[1]) Ср. рядъ поэтическихъ произведеній (Пушкина, Гнѣдича, Раевскаго) на тему преданія о Вадимѣ Новгородскомъ: И. И. Замотинъ. Предавіе о Вадимѣ Новгородскомъ въ русской литературѣ. Воронежъ, 1901.

[2]) Русск. Арх. 1897, кн. II: Записки гр. М. Д. Бутурлина.

меня и не толкуй превратно моихъ строгихъ обвиненій" [1])... Но если старшее поколѣніе относилось довольно сдержанно къ индивидуалистическимъ порывамъ, захватывавшимъ русское общество и литературу начала XIX стол., то молодежь, наоборотъ, отдавалась имъ нерѣдко всей душой; а такъ какъ молодымъ людямъ казалось, что эти порывы совершенно непримѣнимы въ ихъ отечествѣ, то они впадали часто въ тоску и разочарованіе, носившія болѣе или менѣе искренній и серьезный характеръ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія наблюденіе надъ молодежью начала XIX стол. барона В. И. Штенгеля, изложенное имъ въ письмѣ къ имп. Николаю Павловичу. Сначала онъ касается Царскосельскаго лицея; онъ находитъ, что выпуски лицея дали за эту пору (къ 20-мъ годамъ) рядъ талантливыхъ людей, „но свободомысліе, внушенное (имъ) въ высочайшей степени, поставило ихъ въ совершенную противоположность со всѣмъ тѣмъ, что они должны были встрѣтить въ отечествѣ при вступленіи въ свѣтъ". Подобное явленіе наблюдалось, по свидѣтельству бар. Штенгеля, и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. „Тотъ же самый духъ разлитъ на всѣхъ, кои образовались въ университетахъ, въ университетскихъ и частныхъ пансіонахъ, въ училищѣ іезуитовъ и во всѣхъ другихъ заведеніяхъ, кромѣ корпусовъ. Отличительныя свойства вновь образованныхъ людей съ нѣкоторымъ исключеніемъ суть: непризнаваніе ничего святымъ, нетерпѣніе подчиненности, неуваженіе къ лѣтамъ, желаніе независимости, скорое стремленіе къ наслажденіямъ жизни, скучаніе всѣмъ и безпечность ко всему настоящему. Имъ кажется, что для ума ихъ въ Россіи тѣсно, и нѣтъ ничего достойнаго ихъ дѣятельности, потому многіе, чтобъ быть чѣмъ-нибудь, ищутъ только, чтобы считаться при комъ-нибудь. Должно ли послѣ сего удивляться, что предпріимчивость нѣкоторыхъ опытныхъ людей захотѣла воспользоваться такимъ

[1]) Русск. Арх. 1900, кн. I: Изъ писемъ кн. Вяземскаго Жуковскому, письмо отъ 9 янв. 1823, Остафьево.

ра положеніемъ умовъ и обстоятельствъ и основать тайное общество, подобное прусскимъ и германскимъ“ [1])?

Другой культъ индивидуальности—культъ индивидуальнаго художественнаго творчества, культъ своеобразнаго артистическаго дарованія — получилъ большое распространеніе въ русскомъ обществѣ и литературѣ 20—30-хъ годовъ, такъ какъ по самому своему характеру не встрѣтилъ того противодѣйствія, которое могли вызвать другія, болѣе бурныя проявленія романтическаго индивидуализма. Міровоззрѣніе романтизма, какъ выше уже было замѣчено, усвоило себѣ философію геніальности, по которой генію, какъ высшей индивидуальной натурѣ, приписывалась, между прочимъ, способность усматривать идеальный смыслъ всего существующаго, подмѣчать гармоническую связь между двумя противорѣчивыми началами, природой и духомъ, конечнымъ и безконечнымъ, реальнымъ и идеальнымъ. По мнѣнію, напр., Шеллинга, обѣ стихіи бытія объединяются въ томъ высокомъ третьемъ, которое мы называемъ искусствомъ. „Искусство открываетъ философу первоначальную связь природы и исторіи, жизни и дѣятельности, дѣйствительнаго и идеальнаго“ [2]). Отсюда становится ясной и высокая задача искусства — представлять въ конечныхъ, чувственныхъ образахъ тожество идеальнаго и реальнаго, ихъ таинственную гармонію. „Дѣло искусства“,—говоритъ нашъ критикъ данной эпохи [3]),—„подслушивать таинственные отголоски сей вѣчной гармоніи и представлять ихъ внятными для нашего слуха въ согласныхъ риѳмическихъ аккордахъ. Это должно составлять первоначальную и существенную тему всякой поэзіи“... При такомъ пониманіи задачи искусства, оно становится выше всякаго знанія, выше всякой философіи, потому что и философія пользуется искусствомъ для проникно-

[1]) Русск. Арх. 1895, кн. I: О внутреннемъ состояніи Россіи при вступленіи императора Николая Павловича,—письмо барона В. П. Штейгеля къ имп. Николаю Павловичу, отъ 11 генваря 1826 г.

[2]) І. Михневичъ. Опытъ простого изложенія системы Шеллинга.

[3]) Вѣстн. Европы, 1828, № 21: Н. И. Надеждинъ, Литературныя явленія за будущій годъ.

венія въ высокую тайну бытія, раскрывающуюся только въ искусствѣ. Но кому доступно это высокое искусство, которое одно открываетъ завѣсу міровой тайны? Оно доступно только избранному индивидуальному дарованію, только въ лицѣ его человѣчество получаетъ высокія откровенія искусства.

Дома, одна, убирается въ шелкъ и золото дѣва:
Зеркала нѣтъ передъ ней; чувствомъ находитъ нарядъ.
Выйдетъ на свѣтъ, какъ дѣва простая; одинъ ее знаетъ:
Только въ очахъ у него свѣтитъ ея красота.

Такъ читается маленькое стихотвореніе Гете, напечатанное, между прочимъ, въ „Моск. Вѣстникѣ“ 1828 г. [1]), проводившемъ въ сознаніе русскаго общества идею свободнаго индивидуальнаго творчества. Этотъ „одинъ“—особа священная, избранникъ Божій, вождь человѣчества, жрецъ-хранитель святого огня. Избранники искусства, провозвѣстники вѣчной красоты и гармоніи, художники, являются не только выразителями лучшихъ порывовъ общества, но и своего рода связующимъ звеномъ между землей и небомъ, міромъ реальнаго и идеальнаго. Эта мысль прекрасно развита въ стихотвореніи Шиллера „Художники“, тоже помѣщенномъ въ свое время въ „Московскомъ Вѣстникѣ“:

Блаженны вы, которыхъ посвятила
Она въ жрецы,—къ служенью избрала!
Не въ вашу ль грудь она сойти благоволила?
Устами вашими могучая рекла!
Хранители ея огня святого,
Служители небесныхъ алтарей!
Предъ вами свѣтлая нисходитъ безъ покрова,
И вашъ согласный ликъ поетъ навстрѣчу ей.
Вы, обреченные на тлѣнье,
Ликуйте о своемъ великомъ назначеньѣ:
Незримыхъ ангеловъ въ возвышенную сѣнь
Отъ человѣчества вы первая ступень [2]).

[1]) Моск. Вѣстн. 1828. ч. VIII: четверостишіе изъ „Weissagungen des Bakis“.

[2]) Отрывокъ стихотворенія приводится въ статьѣ Шевырева „Разговоръ о возможности найти единый законъ для изящнаго“ (Моск. Вѣстн. 1827. ч. I, № 1)

Въ нашей литературѣ начала XIX стол. уже Жуковскій довольно настойчиво выразилъ эту мысль о божественной силѣ и важности высокаго индивидуальнаго творчества; въ его воззрѣніяхъ, конечно, много личнаго сентиментализма тѣмъ не менѣе „сердечное воображеніе“ Жуковскаго въ данномъ случаѣ близко подходитъ къ воззрѣніямъ романтиковъ.

Геній чистой красоты—
Онъ лишь въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ
И приноситъ откровенья
Благотворныя сердцамъ:
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Намъ туда сквозь покрывало
Онъ даетъ взглянуть порой... [1]).

Такъ характеризуется у Жуковскаго индивидуальный геній и его творчество: онъ открываетъ человѣчеству тайну жизни, связь идеи съ конечнымъ образомъ, божественной красоты съ обыденною жизнью. Въ другомъ стихотвореніи [2]) поэтъ обращается къ генію съ слѣдующими словами:

Поэзіи священнымъ вдохновеньемъ
Не ты ль съ душой носился въ высоту,
Предъ ней горѣлъ божественнымъ видѣньемъ,
Разоблачалъ ей жизни красоту?

Въ 1826—7 году находимъ художественное выраженіе той же идеи у поэта Д. В. Веневитинова, безвременно погибшаго въ 1827 г. и оплаканнаго друзьями.

Тебѣ знакомъ ли сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья?
Узналъ ли въ межъ земныхъ сыновъ
Ты рѣчь его, его движенья?
Не вспыльчивъ окъ, и строгій умъ
Не блещетъ въ шумномъ разговорѣ,
Но ясный лучъ высокихъ думъ
Невольно свѣтитъ въ ясномъ взорѣ...

[1]) Соч. Жуковскаго, изд. 1869, т. II, стр. 247—8. Лалла Рукъ.
[2]) Тамъ же, стр. 45: Къ мимо пролетѣвшему знакомому генію.

Его мечты, его желанья,
Его боязни, ожиданья—
Все тайна въ немъ, все въ немъ молчитъ:
Въ душѣ заботливо хранитъ
Онъ неразгаданныя чувства... [1])

Самъ Д. В. Веневитиновъ по своей духовной структурѣ былъ типичной высшей натурой въ духѣ романтизма. Въ лицѣ его передъ глазами современниковъ вставало какъ бы реальное воплощеніе индивидуальной творческой силы. При выходѣ второй части его сочиненій И. И. Надеждинъ охарактеризовалъ его именно романтическими чертами [2]). „Незабвенный юноша—говоритъ онъ—былъ созданъ поэтомъ, и душа его, рано угадавшая свое призваніе, высказала себя мелодическими прелюдіями, которымъ судьба, ко непосвѣдимымъ своимъ совѣтамъ, не дала разрѣшиться въ полную гармонію... Веневитиновъ обѣщалъ въ себѣ то блаженное соединеніе свѣта и теплоты, ту гармонію красоты и истины, которая одна составляетъ печать истинной поэзіи". Еще болѣе восторженный отзывъ о томъ же юномъ поэтѣ мы встрѣчаемъ на страницахъ другого журнала. Здѣсь онъ прямо рисуется воображенію читателя пророкомъ, провозвѣстникомъ міровой гармоніи, неземнымъ пришельцемъ, т.-е. ему усваиваются всѣ черты высшей индивидуальности. „...Веневитиновъ (говоря его любимымъ выраженіемъ) какимъ-то свѣтлымъ „пророчествомъ души" заранѣе постигалъ недоступныя тайны жизни, несмотря на недостатокъ опыта. Всякій стихъ его есть плодъ созрѣлаго, самобытнаго чувства; всякое чувство его есть цвѣтъ души богатой и сильной... Любимый поэтъ его, которому приносилъ онъ дани пѣсенъ и уваженія, былъ Гёте. Вѣроятно, со временемъ онъ успѣлъ бы перенести на нашъ сѣверъ цвѣтъ германской поэзіи—Фауста, судя по прекраснымъ отрывкамъ изъ онаго... Такъ, какъ гармонія міра, всюду скрытая, теряется въ безконечно-пестромъ разнообразіи предметовъ видимыхъ, безпорядочно разбросанныхъ по міру своевольною рукою чело-

[1]) Д. В. Веневитиновъ. Сочиненія, М. 1829, ч. I, стр. 41.
[2]) Телескопъ. 1831. ч. II.

вѣка,—такъ поэты и художники, сіи отголоски гармоніи предвѣчной, сіи звуки неба, сіи избранные пророки, теряются въ нарядной толпѣ людей обыкновенныхъ. Веневитиновъ и въ жизни былъ поэтомъ: его счастливая наружность, его тихая и важная задумчивость, его стройныя движенія, вдохновенная рѣчь, свѣтская, непритворная любезность, столько знакомыя всѣмъ, вблизи его видѣвшимъ, ручались въ томъ, что онъ и жизнь свою образуетъ, какъ произведеніе изящное. Мгновенная звѣзда пролетѣла по небу: она исчезла, но долго, долго на небосклонѣ запечатлѣно будетъ ея лучезарное сіяніе, и сей неизгладимый слѣдъ звѣзды говоритъ намъ, что она была не земного, а небеснаго происхожденія" [1]). Въ томъ же журналѣ, нѣсколько позже, было помѣщено посвященное Д. В. Веневитинову стихотвореніе И. Оболовскаго, гдѣ покойный поэтъ представленъ былъ все въ тѣхъ же таинственныхъ и нѣжныхъ контурахъ романтизма [2]):

Отри слезу, мой другъ, и съ небомъ примиренъ!
Земный премъ писалъ съ молихъ рамень;
Къ лучамъ нетлѣ ныя дешницы
На крыльяхъ свѣтлыхъ голубицы,
Въ полетѣ цѣпи сокруша,
Паритъ безсмертная душа!..
Не плачь о немъ, о другъ, навѣкъ осиротѣлый!
Завиденъ юноши прекраснаго удѣлъ!
Отъ бренныя земли, какъ лебедь снѣгобѣлый,
Стремился въ жизни онъ въ таинственныя предѣлъ;
И пѣснью звучною кончину предвѣщал,
На сѣтующій міръ возрѣлъ съ улыбкой онъ,
И жертва чистая къ лучамъ роднаго края,
Какъ лебедь, улетѣлъ твой кротвій Агатонъ.

Новое пониманіе искусства и его задачъ мало-по-малу проникаетъ въ сознаніе русской художественной литературы и общества. Въ журналахъ второго десятилѣтія уже встрѣчаемъ нерѣдко апоѳеозы индивидуальнаго поэтическаго творчества.

[1]) Галатея, 1829, ч. 2, № 7: Критика и библіографія. Соч. Д. В. Веневитинова, ч. I.

[2]) Тамъ же, ч. 4, № 18: На кончину Веневитинова.

Вотъ одно характерное стихотвореніе 20-го года, посвященное изображенію поэта, „снимающаго съ естества таинственный покровъ“; заглавіе его—„О качествахъ поэта“ [1]).

...Ты знаешь самъ, что нужно для поэта,
Въ чемъ истинный талантъ поэта состоитъ.
Ему потребенъ умъ, вкусъ тонкій, знанье свѣта,
И духъ, который все изъ ничего творитъ;
Который за собой невольно увлекаетъ,
Который чувства въ насъ родитъ и умерщвляетъ ..
Который сущностью мечты одушевляетъ,
Снимаетъ съ естества таинственный покровъ;
Событіемъ временъ по волѣ управляетъ,
Колеблетъ безъ труда незыблемость міровъ...
Который безъ препонъ несется въ безконечность
И буд тъ древнія уснувшія времена:
Умѣетъ измѣрять непостижиму вѣчность;
Предъ кѣмъ тьма темъ годовъ минута лишь одна.

Подобное прославленіе высшей индивидуальности, которая силою своего „я“ умѣетъ художественно воспроизвести и постичь все существующее, особенно часто встрѣчается въ журналахъ конца 20-хъ годовъ. Такъ, напр., на страницахъ „Московскаго Вѣстника“ мы находимъ цѣлый рядъ поэтическихъ произведеній, посвященныхъ идеямъ свободы и величія индивидуальнаго художественнаго творчества. Помимо вышеупомянутаго стихотворенія Хвостова „Поэтъ“ („Тебѣ знакомъ ли сынъ боговъ“), здѣсь помѣщены (за 1827 и 1828 годы) и извѣстныя стихотворенія Пушкина „Поэтъ“ („Пока не требуетъ поэта“) и „Пророкъ“ („Духовной жаждою томимъ“); наконецъ, вскорѣ же (въ 1-й ч. 1829 г.) напечатана и „Чернь“ Пушкина („Поэтъ на лирѣ вдохновенной“). Помимо того встрѣчается нѣсколько пьесъ и другихъ авторовъ на ту же тему; таковы, напр., стихотворенія А. Хомякова „Вдохновеніе“ (ч. VII, 1828 г.) и Ѳ. Алексѣева „Сила вдохновенія“ (ч. I, 1830 г.) и др. Величественные образы Пушкинскаго и Лермонтовскаго поэта, являющагося то въ видѣ вдохновеннаго жреца Аполлона, то въ видѣ древняго

[1]) Благонамѣренный, 1820, ч. 11, стр. 402—3: стих. Ѳ. Рындовскаго (Казань).

пророка, призваннаго „глаголомъ жечь сердца людей", — эти образы достаточно извѣстны; они надолго утвердили въ нашей литературѣ чисто романтическое представленіе о поэтѣ-избранникѣ и его священной миссіи. Какъ ни своеобразны эти вдохновенные образы поэта-пророка или поэта-отшельника, нужно все-таки имѣть въ виду, что ихъ прототипы были созданы западноевропейской романтикой [1]). Высокое представленіе о божественной идейности истиннаго искусства и о свободной вдохновенной творческой силѣ его представителей вслѣдъ за Пушкинымъ воспринимается и Гоголемъ и такимъ образомъ входитъ, какъ необходимый элементъ, въ условіе реально-художественнаго творчества [2]).

Эти литературные толки объ индивидуальномъ художественномъ творчествѣ и о высшей индивидуальной природѣ поэта-художника получали распространеніе въ болѣе широкихъ кругахъ интеллигентной читающей публики. Культъ поэта и поэзіи, какъ свободнаго и высокаго искусства, принималъ въ образованномъ обществѣ, особенно среди молодежи, характеръ моды, и всякій такъ или иначе стремился пріобщить себя къ лику избранниковъ Аполлона. Одинъ изъ современниковъ разсказываетъ объ этомъ явленіи такъ: „Литература вообще и поэзія въ особенности составляли предметъ общественныхъ разговоровъ (въ 20-хъ годахъ). Въ кругу молодыхъ дамъ и дѣвицъ молодые люди читали, на память или изъ принесенной тетрадки или альманаха, новое какое-нибудь стихотвореніе. Строфы Пушкина витали постоянно на устахъ молодыхъ людей и дѣвицъ, стихотворенія всѣхъ поэтовъ старыхъ и новыхъ переписывались и списывались всѣми, и кипы тетрадей, наполненныхъ стихотвореніями, составляли существенную при-

[1]) Параллели къ стих. Пушкина у Шлегеля и Тика см. П. П. Замотинъ, Романтизмъ двадцатыхъ годовъ XIX стол. въ русск. литер., Варшава, 1903, (=изд. 2-е, Спб. 1911), ч. I, стр. 141—3, прим.

[2]) О романтическихъ воззрѣніяхъ Гоголя на индивидуальное творчество см. проф. М. Г. Халанскій, Н. В. Гоголь какъ романтикъ и поэтъ русской дѣйствительности, Харьковъ, 1903, и П. П. Замотинъ, Три романтическихъ мотива въ произведеніяхъ Гоголя, Варшава, 1902.

надлежность каждаго кабинета и каждаго щегольскаго будуара свѣтской дамы (разумѣется, умѣвшей читать по-русски), и скромной спальни деревенской барышни Татьяны. Написать какое-нибудь стихотвореніе, м ленькую элегію или микроскопическое посланіе, или акростихъ, чтобъ имѣть право называться поэтомъ хотя въ своемъ муравейникѣ, было исходной точкой стремленій всей просвѣщенной молодежи. Писать прозой никто не чувствовалъ призванія, всякій хотѣлъ писать стихи" [1]). При этомъ пишущая молодежь, согласно духу времени, старалась непремѣнно вообразить себя геніями и по праву независимой высшей натуры пренебрегала всякими правилами пінтики, завѣщанными теоріей ложноклассицизма. Этимъ объясняется, почему ученый критикъ и поэтъ П. И. Надежинъ такъ ѣдко иронизируетъ надъ русскими „автодидактическими геніями" 20-хъ годовъ [2]); этимъ же объясняется, почему, напр., П. О. Кошанскій, рекомендуя въ своей „Общей риторикѣ" будущимъ стихотворцамъ основательное изученіе правилъ сочинительства и предвидя горячія возраженія со стороны „геніевъ", нашелъ нужнымъ заранѣе возразить: „Скажутъ: генію правилъ не нужно. Не спорю... Но сочтите геніевъ... И притомъ не забудьте, что и кедръ сначала растетъ наравнѣ съ травою и грѣется тѣмъ же солнышкомъ и питается тою же росою" [3]).

Такъ подъ вліяніемъ вѣяній западноевропейскаго романтизма глубже сознавала себя личность въ русской жизни первыхъ десятилѣтій XIX столѣтія. Но отъ сознанія личнаго естественнымъ вполнѣ является движеніе въ сторону сознанія національнаго: сознавая себя, человѣкъ стремится сознать и свое національное мѣсто, такъ сказать самоопредѣлиться въ этнографическомъ отношеніи. Уваженіе къ индивидуальности лица совершенно послѣдовательно вызываетъ уваженіе и къ индивидуальности народа, что мы дѣйствительно и находимъ

[1]) Русск. Стар. 1877. т. XX: Тимоѳей Николаевичъ Грановскій. Воспоминанія В. В. Селиванова, 20-е годы, стр. 212.

[2]) Вѣсти. Евр. 1829. № 1: Совмѣще нигилистовъ.

[3]) А. І. Малеинъ, Николай Ѳедоровичъ Кошанскій, Спб. 1901, стр. 27.

въ романтической философіи и поэзіи. Въ томъ и другомъ случаѣ уваженіе переходитъ иногда въ культъ: поэтизируется личный геній, поэтизируется и геній народный, обаятельно дѣйствующій на умы въ силу какихъ-либо условій. Какъ индивидуализмъ лица и зникъ раньше романтизма данной эпохи и въ немъ получилъ лишь свое дальнѣйшее развитіе и выраженіе, такъ и индивидуализмъ національности не обязанъ своимъ бытіемъ романтизму, но обязанъ ему своимъ расцвѣтомъ.

Въ русской жизни проявленіе національнаго самосознанія наблюдается въ разныя эпохи ея исторіи [1]), но одинъ изъ моментовъ его замѣтнаго усиленія слѣдуетъ отнести, между прочимъ, ко второй половинѣ XVIII столѣтія. Съ этого именно времени русскіе люди, получившіе предварительно, путемъ ближайшаго знакомства съ Западомъ, возможность сравнивать себя съ болѣе развитыми европейскими народами, начинаютъ болѣе сознательно относиться къ потребностямъ своей національной жизни. Въ первой половинѣ XVIII вѣка носителемъ этого стремленія было правительство (въ лицѣ Петра I), стоявшее въ культурномъ отношеніи гораздо выше массы, а со второй половины того же столѣтія къ правительству присоединяется новая, до тѣхъ поръ мало у насъ замѣтная сила— общество. „Могущественное возбужденіе реформы",—говоритъ нашъ историкъ литературы [2]),—„принимало національный характеръ, какъ патріотическая гордость, искавшая возвышенія отечества и приходившая къ мысли о достоинствѣ народа, о необходимости его просвѣщенія и благосостоянія. Таковъ былъ источникъ лирическихъ восторговъ и практическихъ заботъ и совѣтовъ Ломоносова; и таковъ былъ мотивъ, возбуждавшій лучшихъ представителей нашей литературы прошлаго вѣка: въ разныхъ оттѣнкахъ и степеняхъ мы встрѣтимъ его, послѣ Ломоносова, у Державина, имп. Екатерины, у Новикова, Радищева, Капниста, у историковъ, какъ кн. Щербатовъ и Бол-

[1]) Ср. Н. Ѳ. Сумцовъ. О національномъ самосознаніи до-Монгольской Руси, Кіевъ, 1905

[2]) А. Н. Пыпинъ, Ист. р. лит., IV, стр. 106.

тинъ и т. д.". Къ тому же царствованіе имп. Екатерины II давало обильный матеріалъ какъ для патріотической гордости, съ восторгомъ встрѣчавшей громъ побѣдъ, такъ и для общественнаго самосознанія. Имп. Екатерина II создала политическое могущество Россіи; ея „Наказъ" внесъ цѣлый рядъ новыхъ стремленій и начинаній во внутреннюю политику; заботы о просвѣщеніи будили общественную мысль, „Городовое положеніе" пыталось устроить судьбу третьяго сословія, которое на Западѣ порывисто дѣлало исторію; „Жалованная грамота дворянству" невольно заставляла вдуматься и въ положеніе крѣпостныхъ крестьянъ и т. д. Подъ вліяніемъ этого патріотическаго возбужденія интеллигентное русское общество данной эпохи невольно обращалось къ тому источнику народности, который и раньше всегда былъ подъ руками, но не всегда пользовался вниманіемъ общества: „это, какъ прекрасно выразился акад. Пыпинъ, естественная любовь къ родному—къ своему народу, быту, поэтическому преданію"; народный образъ и пѣсня жили еще не только въ помѣщичьемъ быту, но и при дворѣ: ложноклассикъ Сумароковъ любитъ народныя пѣсенки, придворный пѣвецъ Державинъ „поэтизируетъ народную пляску". Къ тому же и въ эту уже эпоху нѣкоторыя явленія западноевропейской литературы должны были неизбѣжно повліять на усиленіе у насъ влеченія къ своему родному, особенно въ области народной поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, можно-ли, напр., не признавать того, что знакомство съ Шекспиромъ такъ же побуждало уважать европейское поэтическое преданіе, какъ и знакомство съ поэмами Оссіана; а то и другое, взятое вмѣстѣ, пріучало искать и у себя поэтической народной старины? Съ другой стороны, могли ли такіе умы, какъ Гердеръ, даже при поверхностномъ съ ними знакомствѣ, не воспитывать въ русскомъ читателѣ любви къ народности вообще и къ своей въ частности? Доказательство налицо: Державинъ, напр., разсуждая о красотахъ народной поэзіи, неоднократно ссылается именно на Гердера [1]). Такимъ образомъ, если чувство народ-

[1]) Сочиненія, 2-е акад. изд., т. VII, стр. 530—634: Разсужденіе о лирической поэзіи.

ности жило инстинктивно и питалось историческими и общественными условіями, то единовременно оно находило сильную поддержку въ новыхъ теченіяхъ западноевропейской науки и литературы. Начиная сознавать себя, русскіе люди естественно приходили къ необходимости ознакомиться съ своею народностью какъ въ ея настоящемъ, такъ и въ прошломъ, чтобы лучше служить ея нуждамъ. Къ тому же приводила русскихъ людей и назрѣвшая потребность разобраться въ той массѣ заимствованій съ Запада, которыя были пересажены на нашу почву, такъ какъ возникалъ вопросъ о правильномъ и разумномъ усвоеніи европейскаго просвѣщенія сообразно съ нашимъ народнымъ характеромъ и народными особенностями. Поэтому нужно было изучать народъ, повторяемъ, и въ современной его жизни, и въ его прошломъ.

Это влеченіе къ народности подтверждается литературными явленіями времени императрицы Екатерины II. Дѣйствительно, одна группа „народной“ Екатерининской литературы касается русской современности, другая—русскаго историческаго и поэтическаго прошлаго; строгаго разграниченія и здѣсь нѣтъ, потому что то и другое явленіе иногда перемѣшивается. Характерными образцами первой группы являются комедіи Фонвизина, Княжнина и самой Екатерины, сатирическіе журналы и нѣсколько особнякомъ стоящее „Путешествіе“ Радищева. Народное направленіе въ этихъ произведеніяхъ заключается въ цѣломъ рядѣ художественно нарисованныхъ русскихъ типовъ, въ осмѣяніи французоманіи, въ указаніи темныхъ сторонъ западноевропейской жизни и въ разъясненіи отличительныхъ признаковъ русскаго народнаго характера. Другая не менѣе важная группа „народной“ Екатерининской литературы обращается не къ русской современности только, но и къ русскому прошлому. Источникъ этого обращенія былъ, какъ выше сказано, столько же инстинктивный, свой, сколько и чужеземный, т.-е. тѣ новыя литературныя вѣянія, которыя сближали искусственное творчество съ народнымъ, и создавали тѣмъ самымъ національно-художественную поэзію. Какъ разъ, когда въ русскомъ обществѣ усиливается инстинктивный ин-

тересъ къ своему національному настоящему и прошедшему— въ западноевропейской мысли возникаетъ понятіе объ историческомъ изученіи, исторической критикѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ псевдоклассицизмъ уступаетъ интересу къ литературѣ народной и средневѣковой. Эти новыя теченія западноевропейской мысли заходятъ и къ намъ. Историческое изученіе возникаетъ у насъ подъ вліяніемъ работъ Шлецера (1735—1809), представителя историческаго критицизма, который своими изслѣдованіями нашихъ лѣтописныхъ матеріаловъ далъ толчокъ научной обработкѣ русской исторіи, напр., въ трудахъ Щербатова и Болтина. Изученіе народной безыскусственной поэзіи съ той же исторической точки зрѣнія (Гердеръ, 1744—1803), начавшееся на ряду съ упадкомъ псевдоклассицизма, вызвало у насъ интересъ къ народной словесности; отсюда—цѣлый рядъ сборниковъ народныхъ произведеній (Чулкова, Трутовскаго, Прача) и обращеніе къ сюжетамъ изъ народной жизни (комическія оперы Екатерины II, Княжнина и друг.), и разработка народнаго стиха (теорія стихосложенія Тредьяковскаго). И историческій критицизмъ, и историческое изученіе народныхъ произведеній еще болѣе облегчали назрѣвшую потребность русскихъ людей ознакомиться съ своимъ прошлымъ и тѣмъ самымъ поддерживали начавшееся у насъ народно-поэтическое обновленіе литературы. Въ началѣ XIX столѣтія наблюдается тотъ же постепенный ростъ національнаго самосознанія.

Порывъ къ народному настоящему и прошлому былъ присущъ обоимъ общественнымъ направленіямъ эпохи имп. Александра I—какъ „охранительному“, такъ и „творческому“. Событія 1812 и послѣдующихъ годовъ особенно укрѣпили чувство національности. Подъ вліяніемъ войны съ Наполеономъ у насъ, какъ и вообще въ Европѣ (особенно въ нѣмецкой поэзіи и наукѣ), еще болѣе развивается любовь ко всему своему, родному. Исходъ отечественной войны особенно укрѣпилъ вѣру въ свою народную силу и правду. „Давно стали сознавать у насъ“,—говоритъ акад. А. Н. Пыпинъ [1]),—„что двѣ-

[1]) А. Н. Пыпинъ, Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I. Спб., 1885, стр. 275.

надцатый годъ былъ эпохой въ исторіи нашего внутренняго развитія въ томъ отношеніи, что съ него начинается сильный поворотъ къ національному сознанію, что русская жизнь съ этого времени, оставивъ прежнюю подражательность, выходитъ на дорогу народности, что литература съ этихъ поръ принимаетъ національный характеръ, и первый поэтъ, выросшій подъ впечатлѣніемъ этого времени, былъ Пушкинъ... Но опредѣляя точнѣе факты, вѣрнѣе было бы сказать, что это оживленіе русскаго общества произведено было не однимъ взрывомъ народнаго возстанія противъ нашествія, но цѣлымъ періодомъ войнъ противъ Наполеона". Патріотическое настроеніе русскаго общества, оживившееся побѣдами надъ Наполеономъ, усиливало еще болѣе національное самосознаніе. Показателями этого общественнаго настроенія въ данную эпоху являются въ особенности текущая литература и театръ. Въ это время особеннымъ успѣхомъ пользуется „Русскій Вѣстникъ" съ его наивнымъ до крайности патріотизмомъ. Современники такъ объясняютъ его успѣхъ. „Для успѣховъ—говоритъ Ф. Ф. Вигель [1])—болѣе всего нужно умѣніе выбирать время. Когда изданіемъ сего журнала Сергѣй Николаевичъ Глинка сдѣлался извѣстенъ, москвичамъ начинало уже тошниться отъ подслащеннаго рвотнаго, приготовляемаго другими журналистами и ихъ сотрудниками, и любовь къ отечеству примѣтно возрастала съ видимо умножающимися для него опасностями. Глинка былъ истинный патріотъ, безъ исключенія превозносилъ все отечественное, безъ исключенія поносилъ все иностранное. Пусть имъ смѣются надъ такими людьми: я люблю ихъ непреклонный характеръ цѣликомъ. Въ обстоятельствахъ, въ которыхъ мы тогда находились, журналъ его, при всемъ несовершенствѣ своемъ, былъ полезенъ, даже благодѣтеленъ для провинціи". Подобнымъ же образомъ объясняетъ успѣхъ „Русскаго Вѣстника" и М. Дмитріевъ. „Глинка сдѣлался извѣстенъ изданіемъ „Русскаго Вѣстника" съ 1808 года, въ ту пору, когда послѣ первой войны съ французами и Тильзит-

[1]) Русск. Арх. 1892, кн. II: Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. III.

скаго мира Глинка возненавидѣлъ Наполеона и французовъ. Сначала цѣль его, при изданіи этого журнала, была напомнить русскимъ родную Русь, ея старину и подвиги; потомъ, мало-по-малу, онъ перешелъ къ совершенной ненависти враждебнаго намъ тогда народа, очаровавшаго насъ языкомъ, модами и вредными обычаями. Журналъ Глинки, несмотря на оппозицію приверженцевъ моды и галломанію, пришелся совершенно по времени и имѣлъ успѣхъ необыкновенный. Приверженцы европейства не взлюбили Глинку, идущаго поперекъ; но многіе обрадовались его патріотизму. Надобно вспомнить, надобно знать то время, чтобы понять всю важность появленія „Русскаго Вѣстника“. Теперь о нашей старинѣ намъ твердятъ безпрестанно; а тогда—многіе въ первый разъ услышали, изъ „Русскаго Вѣстника“, о царицѣ Натальѣ Кириловнѣ, о боярынѣ Матвѣевѣ, о Зотовѣ, воспитателѣ Петра Великаго, и въ первый разъ увидѣли ихъ портреты. Кто первый о нихъ напомнилъ, кто первый, такъ сказать, натвердилъ намъ объ этихъ людяхъ, тотъ, конечно, заслуживаетъ и самъ остаться въ памяти“ [1]).

Вслѣдъ за „Русскимъ Вѣстникомъ“ и другіе журналы выразили подъемъ общественнаго патріотизма. Такъ напр., страницы „Сына Отечества“ за годы 1812, 1813, 1814 и слѣд. полны патріотическими разсужденіями, рѣчами, одами, пѣснями.

На Руси теперь веселье;
Время грозъ уже прошло:
Съ славой нашей всѣхъ спасенье
Краснымъ солнышкомъ взошло.
И въ старинушку бывало
Отъ Руси не безъ чудесъ.
Мало насъ всегда пугало,
Кто бъ себя какъ ни вознесъ.
Мы Мамая поразили;
Палъ предъ нами бурный Шведъ;
Фридерику-ль уступили
Мы на поприщѣ побѣдъ?
И теперь какъ ополчился
Противъ насъ Наполеонъ,

[1]) М. М. Дмитріевъ, Мелочи изъ запаса моей памяти.

Удалецъ сей посрамился,
И не чуть уже гдѣ онъ.

Такъ читается одна изъ многочисленныхъ побѣдныхъ пѣсенъ, помѣщенныхъ въ „Сынѣ Отечества“ [1]). Радостное чувство народа, спасшаго свою родную страну отъ порабощенія, осложняется не менѣе радостнымъ сознаніемъ подвига, совершеннаго на общую пользу всѣхъ сосѣднихъ народовъ. Наполеонъ покушался на всѣ народы, всѣмъ готовилъ гибель,

...Но Богъ не восхотѣлъ погибели вселенной:
Отъ сѣверной страны, святой, благословенной
Послалъ на Западъ онъ великаго Царя,
И здѣсь врага ужъ нѣтъ,—онъ скрылся за моря! [2])

Сознаніе, что это спасеніе вселенной пришло именно отъ русскаго народа, поднимаетъ народный патріотизмъ до горделиваго народнаго самовозвеличенія. „Такъ, сограждане! Заря благотворнаго свѣтила является днесь на высотѣ Россіи, и златый вѣкъ Царствующаго нынѣ открывается въ полномъ своемъ блескѣ“. Такъ говоритъ въ упоеніи народной славой авторъ одного лирическаго описанія текущихъ событій [3]). Иногда это самовозвеличеніе звучитъ еще болѣе торжественно и увѣренно! „Россія! сокрушивъ силы Фараоновы...“ говоритъ одинъ духовный ораторъ [4]), „низложивъ гордыню Египта и господствуя надъ онымъ, полагая конецъ истребительнымъ и кровавымъ бранямъ, возвращая народамъ миръ и благодѣйствіе, познай, колико благъ къ тебѣ Богъ отецъ твоихъ; познай, что мы страна людей Божіихъ, страна чудесъ и славы Господа силъ“. При такомъ настроеніи общества будущее родной побѣдоносной страны представляется въ самомъ бле-

[1]) Сынъ Отеч., 1814, ч. 14: Пѣсня народная.

[2]) Сынъ Отеч., 1814, ч. 15: Къ кабинету Наполеона, стих. ген.-майора Койленскаго.

[3]) Сынъ Отеч., 1814, ч. 23: Побѣдоносный Александръ въ Парижѣ, Ф. Е.

[4]) Сынъ Отеч., 1814, ч. 14: Слово предъ начатіемъ благодарственнаго Господу Богу молебствія по случаю покоренія французской столицы побѣдоносными россійскими и союзными войсками, произнесенное преосвященнымъ Августиномъ, епископомъ Дмитровскимъ, викаріемъ Московскимъ.

стящемъ видѣ. И на этотъ счетъ журнальныя витіи говорятъ смѣло и опредѣленно. „Кто не знаетъ“, — восклицаетъ одинъ изъ нихъ [1]),—„что народы и государства старѣются и дряхлѣютъ какъ въ физическихъ, такъ и въ нравственныхъ силахъ, и что въ семъ отношеніи Россія, передъ Европою, есть государство цвѣтущее юностію? Но выздоравливать отъ дряхлости такъ же не можно, какъ и хворать отъ молодости“. И побѣдоносной странѣ предрекается не только возмужаніе, но и счастье и благоденствіе. „Слава уже вострубила торжество Россіи надъ врагами, ея великія пожертвованія для блага общаго, ея спасеніе себя и всей Европы отъ ига. Она нынѣ общій предметъ уваженія, вниманія и разсужденій всего свѣта, обязаннаго ей миромъ. Возможно ли при семъ каждому сыну ея думать и говорить о чемъ иномъ, какъ не о славѣ и благоденствіи своей матери“ [2])?

Подъемъ національнаго самосознанія сказывался и въ театральныхъ представленіяхъ за данное время. Между прочимъ, большимъ успѣхомъ пользовалась въ годы войнъ съ Наполеономъ трагедія Озерова „Дмитрій Донской“. И „ничего не могло быть „апропѣе“ (этой трагедіи), какъ говаривалъ одинъ старинный забавникъ“,—замѣчаетъ въ своихъ „Запискахъ“ Ф. Ф. Вигель, современникъ событій 1812 г. [3]). „Аристократія наполнила всѣ ложи перваго яруса съ видомъ живѣйшаго участія; при послѣднемъ словѣ послѣдняго стиха: „Великъ Россійскій Богъ“ рыданія раздались въ партерѣ, восторгъ былъ неописанный. Озеровъ былъ поднятъ до облаковъ, какъ говорятъ французы“. Другой современникъ И. А. Каратыгинъ, разсказывая объ успѣхѣ „Дмитрія Донского“, сообщаетъ курьезную подробность объ участіи въ представленіи этой трагедіи французской труппы. „Справляясь съ журналомъ моего покой-

---

[1]) Сынъ Отеч. 814, ч. 12: Замѣчанія на письмо отставного актера, ст. П. Никольскаго (Нами приведено примѣчаніе къ статьѣ, принадлежащее, повидимому, редакціи журнала).

[2]) Сынъ Отеч. 1814, ч. 15: Предопредѣленіе счастія и благоденствія Россіи

[3]) Русск. Арх. 1892, II: Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. III.

наго отца", говоритъ онъ [1]), „я отыскалъ тамъ, между прочимъ, одно курьезное представленіе: кто-то перевелъ на французскій языкъ извѣстную трагедію Озерова „Дмитрій Донской", и тогдашняя французская труппа разыгрывала ее въ Маломъ театрѣ 6-го іюня 1812 года, въ бенефисъ актера Дальмаса. Знаменитая трагическая актриса m-lle Жоржъ занимала роль Ксеніи... Надо полагать, что подобный спектакль былъ очень любопытенъ и по времени, и по исполненію. „Дмитрій Донской" была самая любимая изъ всѣхъ трагедій Озерова, написанная имъ еще въ 1807 году, во-первыхъ, по своему историческому интересу, а во-вторыхъ, по тѣмъ трескучимъ монологамъ и эффектнымъ стихамъ, которые электризовали народный патріотизмъ. Понятно, что въ тяжкую эпоху нашей народной войны она производила громадный эффектъ на русской сценѣ. Нашествіе Мамая на Русь имѣло тогда апликацію къ настоящему времени, и подъ Мамаемъ XIX-го вѣка подразумѣвали, конечно, Наполеона, а вмѣсто дикихъ татаръ—просвѣщенныхъ французовъ".

Такимъ образомъ національное самосознаніе въ русскомъ обществѣ росло своимъ естественнымъ, ровнымъ ростомъ, особенно съ конца XVIII столѣтія, и вмѣстѣ съ тѣмъ временами ускоренно крѣпло, благодаря такимъ чрезвычайнымъ событіямъ въ жизни русскаго народа, какъ побѣды Екатерининскаго времени или отечественная война 1812 года. И вотъ для этого мужающаго постепенно чувства „національнаго я", какъ и для чувства „я личнаго", западноевропейскій романтизмъ, проникавшій въ началѣ XIX стол. въ русское общество путемъ поэтическихъ произведеній, журнальныхъ статей, театральныхъ представленій, далъ рядъ мотивовъ и формъ, которые еще болѣе усилили въ русскомъ обществѣ чувство національнаго самосознанія, возведя его на степень высокой поэтической идеи. Въ данномъ отношеніи, помимо Гердера, о которомъ сказано выше, болѣе раннее вліяніе оказано было г-жей Сталь. Въ 1823 г. появилось сочиненіе Ореста Сомова „О

[1]) Русск. Стар. 1877, т. 19: Записки П. А. Каратыгина.

романтической поэзіи, опытъ въ трехъ частяхъ“ [1]). Въ своемъ „Опытѣ“ авторъ знакомитъ русскихъ читателей съ содержаніемъ извѣстной книги г-жи Сталь „О Германіи“ и при помощи ея устанавливаетъ новый взглядъ на поэзію вообще [2]), въ частности же на національное поэтическое творчество; при этомъ авторомъ дѣлается оцѣнка какъ внутренней, такъ и внѣшней національной русской природы. „Докажите мнѣ“, разсуждаетъ онъ, „что русскіе не одарены живымъ, пламеннымъ воображеніемъ; увѣрьте меня, что въ нравахъ нашихъ нѣтъ никакой отмѣны отъ другихъ народовъ; что у насъ нѣтъ, можно сказать, своихъ добродѣтелей и пороковъ, что языкъ русскій весь вылитъ въ формы чужеземныя,—и тогда я соглашусь, что у насъ нѣтъ и не будетъ своей народной поэзіи. Но какъ же мы смѣшаемъ въ общихъ свойствахъ всѣхъ народовъ эту твердость духа, презирающую всѣ опасности и самую смерть? Это безропотное повиновеніе властямъ законнымъ и нетерпѣніе ига чуждаго? Это радушное гостепріимство русскихъ, прославленное даже иноплеменниками?.. Есть кромѣ сего многія, не столь величественныя черты отличія въ нашемъ народѣ, есть многіе и недостатки; мы ихъ видимъ; и если не примѣчаемъ потому, что видимъ очень часто, то намъ стоитъ только обратить вниманіе на сходные поступки разныхъ лицъ въ разныхъ сословіяхъ, сравнить ихъ съ поступками другихъ народовъ въ тѣхъ же случаяхъ.—и тогда мы отдѣльно и ясно

---

[1]) Напечатано въ Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія, 1823 г., ч. 23 и отдѣльною брошюрою въ Спб. 1823 г.

[2]) Книга г-жи Сталь, какъ правильно отмѣчаетъ С. В. Соловьевъ („Извѣстія отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, 1910, т. XV, кн. 4, стр. 311, въ рецензіи, посвященной настоящему моему сочиненію), даетъ въ главахъ одиннадцатой (De la poésie classique et de la poésie romantique) и въ пятнадцатой (De l'art dramatique) много матеріала для выясненія сущности западно-европейскаго романтизма, какъ его тогда понимали; здѣсь же г-жа Сталь и опредѣляетъ романтизмъ, который она ставитъ въ связь съ средневѣковой европейской поэзіей и жизнеспособность котораго видитъ въ его единеніи съ исторіей и съ народной жизнью и творчествомъ. Эта часть сочиненія г-жи Сталь могла имѣть особенно важное значеніе для О. Сомова въ его разсужденіи о національизаціи русской поэзіи.

увидимъ оттѣнки нравственные, казавшіеся намъ слитно и какъ бы въ туманѣ". Переходя къ внѣшней русской природѣ, авторъ „Опыта" поражается ея разнообразными и яркими цвѣтами и переливами. „Гдѣ (природа) разнообразнѣе, какъ не въ Россіи? Нѣсколько зонъ опоясываютъ ея пространство, нѣсколько климатовъ являются въ ней, измѣняя постепенно видъ земли съ ея произведеніями. Взглянемъ на сѣверъ—и видимъ вѣчные льды, сѣверныя сіянія; незаходимый день и неразсвѣтающая ночь дѣлятъ тамъ годовыя времена. Ближе къ намъ дикія скалы Финляндіи, великолѣпныя озера, рѣки и водопады. Окинемъ взоромъ холодную Сибирь—тамъ неисчерпаемыя сокровища добываются изъ нѣдръ горныхъ: богатые рудники, груды дорогихъ каменьевъ, окаменѣлости и другія чудеса природы, подъ хладнымъ покровомъ снѣговъ таящіяся, заслужили Сибири названіе золотого дна. Обратимся на югъ—тамъ видимъ необозримыя, безлѣсныя равнины, покрытыя тучною травою и усѣянныя безчисленными стадами. Очаровательная Таврида, съ ея плѣнительными долинами и величественною горою, смотрящеюся въ двухъ моряхъ, служитъ какъ бы отдохновеніемъ для взора, утомленнаго однообразнымъ зрѣлищемъ гладкаго зеленаго ковра и бѣлыхъ стадъ. Далѣе—грозный Кавказъ возносится заоблачною стѣною и оковываетъ взоръ и воображеніе дикими своими ужасами". Эти разсужденія о своемъ, національномъ очень близки уже къ поэтизаціи національнаго духа и быта, которая была въ высшей степени свойственна романтикамъ. Сочиненіе О. Сомова написано подъ несомнѣннымъ вліяніемъ г-жи Сталь [1]), которая въ своихъ книгахъ такъ смѣло развѣнчала французскую исключительность въ поэзіи и громко заговорила о правахъ каждой національности на самобытную духовную жизнь. Другія сочиненія г-жи Сталь сдѣлались извѣстны русской публикѣ еще раньше „Опыта" О. Сомова, и нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напр., „Ко-

[1]) Объ этомъ см. И. Замотинъ, Романтизмъ 20-хъ годовъ XIX ст., изд. 2-е, стр. 90—94.

ринна", невольно должны были воспитывать уваженіе какъ къ своей, такъ и ко всякой другой національности [1]).

Почти одновременно съ проникновеніемъ въ русскую литературу идей г-жи Сталь подобное же оправданіе и выраженіе національнаго чувства нашли нѣкоторые представители русской образованности начала XIX вѣка въ философіи Шеллинга. Это были поклонники шеллингизма—Д. М. Велланскій, И. И. Давыдовъ, М. Г. Павловъ, кн. В. Ѳ. Одоевскій, М. П. Погодинъ и др. Подъ перомъ русскихъ шеллингистовъ національное самосознаніе русскаго общества отливалось въ строгій и величественный образъ. „Форма націи зависитъ отъ условій мѣстности, существо націи—отъ духа народа", говоритъ одинъ изъ нихъ, развивая общія положенія философіи исторіи въ духѣ Шеллинга. „Душа опредѣляетъ общее направленіе, мѣстность даетъ оному частное русло... Силы мои отказываются опредѣлить національность,—слово глубочайшаго значенія, слово нашего времени, которое всѣ знаютъ, всѣ чувствуютъ, но которое можно чувствовать, а не опредѣлить". Въ началѣ исторической жизни „всѣ народы имѣютъ одинъ умъ, одно знаніе: всѣ согласны въ абсолютномъ". Но этого начала мы уже не знаемъ; на памяти исторіи „всѣ народы имѣютъ уже свою жизнь, потому что всѣ имѣютъ память своей

[1]) Между 9 №№ сочиненій г-жи Сталь, помѣченными въ „Росписи" Смирдина, упоминаются „Коринна", „Дельфина", „О философіи англичанъ" и „О философіи французовъ" („изъ соч. г-жи Сталь"). Можетъ быть, именно вліяніемъ этихъ книгъ г-жи Сталь слѣдуетъ объяснить то обстоятельство, что въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ нерѣдко дѣлаются упреки французамъ за ихъ горделивое незнаніе русскихъ національныхъ особенностей. Такъ, напр., на страницахъ Сына Отечества приводятся выписки изъ одного французскаго сочиненія („Elémens d'hygiène"... par Etienne Tourtelle... Strasbourg, 1802), гдѣ русскіе названы вырождающимися татарами и надѣлены самыми непривлекательными свойствами духа; выписки приведены, какъ сказано въ примѣчаніи, для доказательства „невѣжества, легкомыслія и глупости" „славныхъ французскихъ профессоровъ" по части географіи и естественной исторіи. Подобныя же „новѣйшія показанія иностранцевъ о Россіи" извлечены на страницахъ Атенея (1830, ч. II, № 7) изъ другого французскаго сочиненія („Voyage dans les cinq parties du monde", par M. Albert—Montémont, Paris, 1828).

юности и свои условія, психологическія и мѣстныя, всѣ народы имѣютъ свой духъ, свой характеръ, и этотъ-то духъ народа я называю національностью. Итакъ, что такое національность? То неизмѣнное начало жизни, въ которомъ отражаются всѣ условія жизни, то родимое пятно народа, которымъ запечатлѣнъ его рокъ для отличія отъ другихъ, то свойство націи, которое относится къ свойствамъ другихъ націй, какъ одно понятіе къ другому; средоточіе всѣхъ силъ народа, которое въ душѣ мы назвали сознаніемъ. Да, національность есть сознаніе націи, національность есть идея націи: сюда, какъ къ точкѣ расплавленія, сводятся всѣ лучи, всѣ радіусы; отсюда, какъ изъ центра, направляются всѣ развитія центра, запечатлѣнныя однимъ характеромъ, одушевленныя одною душою, однимъ духомъ, при всемъ разнообразіи формъ, политическихъ, религіозныхъ, умственныхъ. Умъ и чувство сливаются въ волѣ; религія и философія сливаются въ понятіяхъ народа"; и „если всѣ условія жизни совокупляются въ понятіи о національности, то самое торжественное выраженіе національности есть языкъ, слово народа"; „языкъ передаетъ мысль народа человѣчеству" [1]).

Подобныя разсужденія о природѣ и духѣ націи доступны были, однако, только небольшому кругу представителей тогдашней русской науки и литературы; между тѣмъ и болѣе широкая публика нуждалась въ средствахъ выразить конкретно, въ той или другой художественной формѣ, свое мужавшее чувство національности. И вотъ это средство, доступное для общественнаго большинства, заимствовано было тоже въ западно-европейскомъ романтизмѣ. Романтики въ этомъ случаѣ широко пользовались обращеніемъ къ поэтической народной старинѣ, которое вытекало изъ ихъ культа національности съ

[1]) П. Милюковъ. Главныя теченія русской исторической мысли, М. 1898, т. I, стр. 335. Цитуемое разсужденіе принадлежитъ К. Н. Лебедеву, автору книги „Исторія. Первая часть введенія: идея, содержаніе и форма исторіи, Москва, 1834", но, по наблюденіямъ П. Милюкова, мысли „Исторіи" Лебедева во многихъ случаяхъ совпадаютъ съ „историческими афоризмами" М. П. Погодина.

ея индивидуальными внѣшними и внутренними свойствами. Къ этой старинѣ, по примѣру западно-европейской литературы, обращается съ любовью и русское общество данной эпохи. Инициатива, правда, исходитъ изъ круговъ литературныхъ. Такъ, напр., Ф. Ф. Вигель свидѣтельствуетъ, что кн. Шаховской призывалъ (русское общество) къ изученію русской народной старины, указывая на примѣръ нѣмцевъ, которые, „образумясь отъ французскаго умонаитія, углубились въ германскую старину и стряхнули съ себя иго чужеземства". „Въ этомъ изученіи онъ видѣлъ наилучшій источникъ „своетворчества", залогъ созданія театра „по духу и толку русскому" [1]). Но вскорѣ и внѣ литературныхъ круговъ „по примѣру нѣмцевъ" народно-поэтическая старина пріобрѣтаетъ широкое расположеніе публики. На первыхъ порахъ однако даже и обработка народно-поэтическихъ сюжетовъ для русской публики не обходится безъ „примѣра нѣмцевъ". Такъ, оперу „Русалка" передѣлываютъ съ нѣмецкаго образца. „Donauweibchen"..., говоритъ тотъ же современникъ, „переименовали „Русалкой" и сцену перевели на Днѣпръ, что также немало полюбилось брадатымъ зрителямъ. Когда замѣтили, что она имъ приглядѣлась, создали ей наслѣдницу, вторую часть, или „Днѣпровскую русалку"... Черезъ нѣкоторое время сочинили и третью часть, уже „Лесту, Днѣпровскую русалку" [2]). Сильная къ нимъ любовь совсѣмъ истощилась, когда показалась четвертая часть подъ именемъ просто опять „Русалка", безъ всякаго прибавленія; успѣхъ ея былъ довольно плохой". Второй опытъ обращенія къ старинѣ на театральныхъ подмосткахъ былъ уже дальше отъ нѣмецкаго примѣра и отличался большей самостоятельностью. „Между „Русалками" возсталъ „Илья Богатырь", волшебная опера, которую написать упросили Крылова. Онъ сдѣлалъ это небрежно, шутя, но такъ умно, такъ удачно, что герой его неумышленно убилъ волшебницу-нѣмку, для соблазна русскихъ обратившуюся въ ихъ соотечествен-

[1]) Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. III.

[2]) Исторію этого сюжета см. Ив. Н. Ждановъ, „Русалка" Пушкина и „Das Donauweibchen" Генслера, Спб. 1900.

пицу". Научившись у нѣмцевъ любить свою поэтическую старину, русскіе интеллигентные люди стараются подѣлиться съ своими учителями своимъ національно-поэтическимъ богатствомъ: народныя русскія пѣсни и стихотворенія русскихъ поэтовъ переводятся на нѣмецкій языкъ для нѣмецкой публики, какъ бы въ доказательство того, что и русская нація имѣетъ права на ту духовную самобытность, о которой многіе услышали лишь изъ устъ просвѣщенныхъ нѣмцевъ и французовъ [1]).

Наконецъ, надо имѣть въ виду и еще одинъ мотивъ романтизма начала XIX столѣтія, который косвеннымъ образомъ служилъ тоже средствомъ для выраженія національнаго самосознанія въ западно-европейскомъ, а по его примѣру и въ русскомъ обществѣ. Этотъ мотивъ—филэллинизмъ или, точнѣе говоря, поэтическое выраженіе филэллинизма въ литературѣ.

---

[1]) Нѣкоторые примѣры: Петръ Оттонъ фонъ-Геце (род. въ Эстляндской губ. въ 1793 г., умеръ въ Петербургѣ въ 1880 г.) „напечаталъ въ Штутгардѣ свой переводъ русскихъ народныхъ пѣсенъ, а въ Дерптѣ переводъ пѣсенъ сербскихъ и такимъ образомъ познакомилъ съ ними Гёте..." (Русск. Арх. 1902, кн. III: Изъ записокъ П. О. фонъ-Гёце). Каролина Карловна Павлова „напечатала свои нѣмецкіе переводы изъ русскихъ поэтовъ особою книжкою подъ названіемъ „Nordlicht", и эта книжка заслужила ей лестный отзывъ самого патріарха нѣмецкой поэзіи Гете..." (Русск. Арх., 1894, кн. I: К. К. Павлова). Въ 1831 г. былъ напечатанъ въ Лейпцигѣ сборникъ русскихъ народныхъ сказокъ въ переводѣ на нѣмецкій языкъ. Какъ нѣмецкая журнальная литература относилась къ подобнымъ переводамъ и насколько она признавала за русскими право на духовную самобытность и близость къ другимъ родственнымъ народамъ, видно, напр., изъ слѣдующей рецензіи по поводу послѣдняго сборника, помѣщенной въ Morgenblatt für gebildete Stände, Literaturblatt № 131, s. 1245 (Russische Volksmärchen in den Urschriften gesammelt und ins deutsche übersetzt von Anton Dietrich. Mit einem Vorwort von Jakob Grimm. Leipzig, Weldmann, 1831): „.. Allerliebste Märchen, für deren Mittheilung wir dem Übersetzer sehr dankbar sein dürfen. Zwar verrathen sie zum Theil den orientalischen, romanischen oder deutschen Ursprung, doch herrscht das slavische Element charakteristisch vor und da die Märchen die eigentliche Kosmopolitische Poesie sind, die frei von Land zu Land fliegen, so kommt es bei ihnen immer zuerst auf die Schönheit an sich an, der Ursprung und der nationelle Charakter mag sein, welcher er wolle".

Культъ національной греческой свободы, проникшій въ общественное и литературное настроеніе, былъ, съ одной стороны, актомъ національнаго самосознанія, такъ какъ сознающій себя народъ тѣмъ самымъ сочувствуетъ и національной самобытности другого народа; съ другой стороны, тотъ же культъ былъ средствомъ и для усиленія собственнаго національнаго чувства въ обществѣ, такъ какъ вводилъ въ его сознаніе идею національной свободы и самобытности. Еще задолго до активнаго вмѣшательства Россіи въ борьбу грековъ съ турками мысль объ освобожденіи Греціи пробивается въ русской журналистикѣ въ видѣ разсужденій объ ея природѣ, о характерѣ населенія, о его страданіяхъ. Въ статьѣ 1815 г. „О характерѣ и положеніи нынѣшнихъ грековъ“ читаемъ [1]): „Въ пріятной и классической книгѣ г-на Гиса (Guys), Lettres sur la Grèce, можно видѣть прекрасное сравненіе между древними и новыми греками и увѣриться, что духъ, языкъ и обычаи древнихъ грековъ существуютъ и нынѣ въ потомкахъ ихъ. Графъ Шоазель-Гуфье (Choiseul-Gouffier), бывшій потомъ посломъ при Портѣ, въ Voyage pittoresque de la Grèce, умоляетъ Великую Екатерину освободить Грецію и называетъ сей подвигъ достойнымъ столь мудрой государыни... Геній Греціи скрывается среди великолѣпныхъ ея развалинъ. Варвары, которыхъ завоеванія подобны опустошеніямъ огня, называютъ покоренный и до половины истребленный ими народъ уничижительнымъ именемъ... Но пусть раздадутся звуки военной трубы, пусть земля съ крестомъ и надписью: „Симъ побѣдиши!“ поднимется—и скованный левъ расторгнетъ узы свои, грекъ освободится, отомститъ азіатскому варвару и сравнится съ своими предками“. Мечты объ освобожденіи и о возрожденіи Греціи принимаютъ иногда форму элегіи въ прозѣ. „Чугунный скипетръ суевѣрія и деспотизма лежитъ на развалинахъ Аѳинъ и Спарты. Отечество Леонида и Аристида стонетъ подъ двойнымъ игомъ варварства и тиранства; новый грекъ проходитъ по Маратонскому полю, и не подозрѣвая, какой священный

[1]) Сынъ Отеч. 1815, ч. 20. Статья подписана: С. Д.

прахъ онъ попираетъ ногами; но не будь турковъ въ Европѣ, возвратись Греція (къ) образованію — и, кто знаетъ! можетъ быть, снова возникнутъ греки". Такъ читается одна изъ подобныхъ элегій [1]).

Когда борьба за освобожденіе приняла въ Греціи особенно напряженный характеръ и когда многіе, подобно Каподистріи, „сочетали свою судьбу съ судьбою своего великодушнаго народа" [2]), литературные отклики на греческія событія сдѣлались еще чаще. Въ этомъ отношеніи лирическое воззваніе Пушкина „Возстань, о Греція, возстань" (1823) является въ русской литературѣ 20-хъ годовъ далеко не единственнымъ въ своемъ родѣ. И другіе писали подобныя обращенія къ Греціи въ той или иной формѣ. Одинъ составлялъ проекты въ интересахъ освобожденія Греціи [3]), другой писалъ записки о Греціи [4]),

[1]) Сынъ Отеч. 1815, ч. 23: Четырнадцатое письмо въ Нижній-Новгородъ.

[2]) Русск. Арх. 1895, I. Изъ писемъ А. И. Тургенева къ брату его Николаю, 1826—1827. Приводятся записка В. А. Жуковскаго къ Каподистріи: „Вы ѣдете въ Грецію. Вы сочетаете судьбу вашу съ судьбою вашего великодушнаго народа. Какой бы ни послѣдовалъ исходъ, ваше прекрасное самопожертвованіе принадлежитъ человѣчеству, и вы уже пріумножили сокровищницу великихъ дѣлъ, которыя одни составляютъ истинное наслѣдство, получаемое нами отъ прошедшаго, и благословляющіе васъ останутся навсегда благодарны за прекрасныя ощущенія, которыя они должны были испытать, преподавая вамъ благословеніе". Тамъ же, замѣтка о Каподистріи А. И. Тургенева въ письмѣ къ брату изъ Парижа отъ 21 окт. 1827: „Пришелъ Каподистрія... Онъ отказался отъ Россіи для отечества, гдѣ найдетъ трудъ, и нищету и интриги"...

[3]) Напр., проектъ Каразина объ основаніи университета на югѣ Россіи. Въ письмѣ Филадельфа Васильевича Каразина объ его отцѣ (Русск. Арх. 1894, кн. I: Изъ бумагъ А. Г. Тройницкаго) читаемъ: „Какой университетъ былъ бы этотъ, затѣянный имъ, если бы только ему дали волю привести мысли его въ исполненіе. Какой уставъ онъ для него написалъ! Какой планъ начерталъ строенію!.. И съ этимъ соединена у него была другая, давнишняя, любимая его мысль: освобожденіе Греціи, нѣкогда родины его предковъ, изъ-подъ ига невѣрныхъ! Онъ думалъ, что въ университетъ этотъ, какъ ближайшее къ ней и лучшее училище, она будетъ присылать юныхъ сыновъ своихъ для образованія, что отсюда взойдетъ заря возрожденія ея, и такимъ образомъ благодарная Россія воздастъ ей, наконецъ, за то благодѣяніе, какое получила отъ нея за тысячу лѣтъ передъ тѣмъ".

[4]) А. И. Тургеневъ въ письмѣ къ брату Николаю отъ 19 іюня 1827 г.

третій описывалъ ея историческія судьбы [1]), четвертый въ стихотворной повѣсти изображалъ страданія грековъ подъ турецкимъ игомъ [2]), пятый восторженно привѣтствовалъ борцовъ за свободу Греціи,—таково, напр., стихотвореніе К. Рылѣева, обращенное къ А. И. Ермолову:

Наперсникъ Марса и Паллады,
Надежда согражданъ, Россіи вѣрный сынъ,
Ермоловъ! поспѣши спасать сыновъ Эллады,
Ты геній сѣверныхъ дружинъ!
Узрѣвъ тебя, любимецъ славы,
По манію твоей руки,
Съ врагами лютыми, какъ вихрь, на бой кровавый
Помчатся грозные полки.
И цѣпи сбросивши невольничьяго страха,
Какъ фениксъ молодой,
Воскреснетъ Греція изъ праха
И съ древней доблестью ударитъ за тобой!.. [3]).

На страницахъ „Галатеи“ находимъ, между прочимъ, въ 1829 году и цѣлую поэму на филэллинистическую тему. Это—„Осада

---

(Русск. Арх. 1895, кн. III: Изъ писемъ А. И. Тургенева, 1826—1827) говоритъ между прочимъ: „...Я имѣю здѣсь Сергѣевы (т.-е. брата Сергѣя) записки о Греціи... пеесса полуофиціальная и съ приложеніями... (она) можетъ быть показана графу Строганову, и черезъ него можно просить позволенія ее напечатать“.

[1]) Такова, напр., книга С. Глинки „Картины историческія и политическія новой Греціи“, М. 1829. Къ этой книгѣ было и приложеніе въ видѣ одиннадцати гравюръ—портретовъ героевъ греческаго возстанія 1820-хъ годовъ. См. Извѣстія Имп. Ак. Н., т. XX, №№ 1—5: Свѣдѣнія о рукописяхъ, печатныхъ изданіяхъ и другихъ предметахъ, поступившихъ въ рукописное отдѣленіе библіотеки Имп. Ак. Н. въ 1903 году.

[2]) П. Г. Ободовскій въ письмѣ къ гр. Каподистріи отъ 24 дек. 1828 г. (Русск. Стар. 1903, ноябрь: Платонъ Григорьевичъ Ободовскій, ст. И. А. Кубасова) говоритъ о происхожденіи своей стихотворной повѣсти „Хіосскій сирота“ (1828) такъ: „...Отъ г. Аделунга (Ѳ. П., директоръ Института восточныхъ языковъ) узналъ я плачевную исторію сего греческаго семейства; она растрогала меня, и я описалъ ее въ небольшой стихотворной повѣсти, которую осмѣливаюсь представить вамъ и соотечественникамъ моимъ, находящимся при особѣ вашей“. Дѣло идетъ о семействѣ грека Димитрія Ламброса, пострадавшемъ во время разоренія турками острова Хіоса.

[3]) Русск. Стар. 1877, т. XVIII, стр. 360.

Миссолонги" (подражаніе поэмѣ Байрона: Осада Коринѳа). Здѣсь встрѣчаются горячо прочувствованныя строки, посвященныя возставшимъ грекамъ:

Но если-бъ пролитая кровь
Съ временъ, какъ Грецiя рабою
Подъ игомъ стонетъ мусульманъ,
Была изрыгнута землею,
То вѣрно-бъ новый океанъ
Покрылъ червленными волнами
Твердыню съ гордыми скалами!
И если-бъ груда собралась
Костей пожатыхъ жертвъ войною,
То пирамида-бъ вознеслась
До облакъ бѣлою главою!
И если-бъ тѣни праотцовъ,
Возставъ отъ вѣковыхъ гробовъ,
Могли узнать свою отчизну,
То, зря борьбу сыновъ своихъ,
На смерть благословили-бъ ихъ,
Всѣмъ христiанамъ въ укоризну... [1]).

Однимъ изъ наиболѣе цѣнныхъ литературныхъ отголосковъ на темы филэллинизма былъ, несомнѣнно, трудъ Н. И. Гнѣдича „Простонародныя пѣсни нынѣшнихъ грековъ, изданныя и переведенныя въ стихахъ съ прибавленiемъ введенiя, сравненiя ихъ съ простонародными пѣснями русскими и примѣчанiй" (Спб. 1825 г.). Въ „введенiи" къ сборнику пѣсенъ, между прочимъ, сказано: „Намѣреніе сдѣлать извѣстными европейцамъ простонародныя пѣсни нынѣшнихъ грековъ не ново: доказательство, что онѣ изобилуютъ не одними красотами частными, мѣстными, но достоинствомъ поэтическимъ общимъ, чувствительнымъ и для другихъ народовъ". И дальше Н. И. Гнѣдичъ указываетъ на нѣкоторыхъ ученыхъ и писателей, интересовавшихся греческими пѣснями и собиравшихъ ихъ (Гете, Форіель, Мустоксиди и др.). Переходя къ сравненію греческихъ пѣсенъ съ русскими, онъ находитъ много сходства между тѣми и другими: такъ, греческіе „мирологи" сопоставляетъ съ русскими заплачками, у грековъ находитъ

[1]) Галатея, 1829, ч. 5, № 26.

параллели къ малорусскимъ „веснянкамъ“, тамъ и тутъ отмѣчаетъ отрицательныя сравненія и „лирическіе приступы“. Все это заставляетъ его не только допускать родство пѣсеннаго творчества у новогрековъ и славянъ, но даже и вліяніе послѣднихъ на первыхъ. „Видя это“, говоритъ онъ, „можно, кажется, подозрѣвать, что народъ, покрывшій своими названіями области грековъ, долженъ былъ имѣть на ихъ духъ, на ихъ нравы сильное вліяніе, что народъ сей безъ сомнѣнія былъ изъ племени славянскаго, и что такимъ образомъ не одинъ, можетъ быть, слѣпой рапсодъ, воспѣвшій подвиги клефтовъ, былъ славянинъ, впечатлѣвшій и духъ, и вкусъ собственный въ свои пѣсни греческія. Подозрѣнія эти могутъ обратиться и въ заключенія для тѣхъ, которые пожелаютъ читать историковъ византійскихъ и путешественниковъ по Греціи, намъ современныхъ“. Такимъ образомъ, въ трудѣ И. И. Гнѣдича ясно чувствуются два родственныхъ между собою и соотвѣтствующихъ эпохѣ мотива: съ одной стороны уваженіе къ творчеству другого, сосѣдняго славянамъ народа, съ другой—культъ собственнаго національнаго духа, вліяніе котораго онъ замѣчаетъ даже и въ другой народности [1]).

На ряду съ культомъ личнаго и національнаго „я“ про-

[1]). Что эти литературные отголоски на темы филэллинизма были у насъ не отраженіемъ только внѣшней политики, но по преимуществу проявленіемъ поэтическаго культа національнаго духа,—доказывается легко тѣмъ, что во всѣхъ европейскихъ литературахъ въ эту пору мотивъ филэллинизма получилъ общее распространеніе. Изъ родственныхъ намъ славянскихъ литературъ на темы филэллинизма замѣтно откликнулась польская литература: такъ, напр., новогреческія народныя пѣсни переводитъ и собираетъ (въ Черновцахъ, гдѣ жило много греческихъ семействъ, въ 1827 г.) Józef Dunin-Borkowski; онъ собирался издать пѣсни, которыя не вошли въ сборникъ Fauriel'a; другой переводчикъ новогреческихъ пѣсенъ—Al. Chodźky, его переводы—Pieśń (z nowo-greckiego), Modlitwa chłopca (z nowo-greckiego) przez Al. Chodźky (Dziennik Warsz., t. VIII, 1827, 77—8); passim встрѣчаются въ журналахъ начала XIX стол. переводы съ новогреческаго и другихъ авторовъ, напр., O zabawach i śpiewach nowożytnych Greków przez J. Sękowskiego (Tygodnik Wileński, 1819, t. VII, 287; t. VIII, 19). Wezwanie, Piosenka nowogrecka, G. (Slawianin, St. Jaszowskiego, 1833, 151).

пикали въ русское общество и литературу начала XIX столѣтія и мотивы романтическаго универсализма. Уже съ конца XVIII столѣтія западно-европейская философія и литература замѣтно вліяютъ на выработку идеала жизни въ русскомъ интеллигентномъ обществѣ, внося свои мотивы въ міросозерцаніе отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ общественныхъ группъ. Таково именно было вліяніе просвѣтительной философіи, побуждавшей и нѣкоторыхъ русскихъ передовыхъ людей стремиться къ переустройству жизни частной и общественной на началахъ разума. Но вскорѣ вліяніе философскаго раціонализма ослабѣваетъ, и съ начала XIX столѣтія въ созданіи новаго жизненнаго идеала значительную роль начинаетъ играть западно-европейская романтическая литература. Романтическій идеалъ не есть уже раціонализація жизни, но ея поэтизированіе, т.-е. внесеніе въ обыденную жизнь извѣстнаго quantum поэзіи. Въ усвоеніи такого идеала русскіе поклонники романтизма весьма замѣтно испытывали на себѣ его вліяніе. Слѣды этого вліянія видны въ литературныхъ произведеніяхъ, критическихъ замѣткахъ, мемуарахъ, письмахъ, относящихся къ данной эпохѣ. Правда, нерѣдко въ эту пору романтизмъ вторгается въ жизнь свѣтскаго русскаго общества, только какъ прикраса, какъ декоративное дополненіе къ обыденной жизненной драмѣ. Такъ, одна современница данной эпохи разсказываетъ, что на великосвѣтскихъ балахъ, особенно придворныхъ, „любили брать костюмы изъ поэмъ, англійскихъ и нѣмецкихъ драмъ и въ особенности изъ романовъ Вальтеръ-Скотта“ [1]). Точно также и такъ называемыя живыя картины нерѣдко составлялись на романтическія темы, какъ это видно, напр., изъ „Записокъ“ К. К. Мердера [2]). Романтическія темы

[1]) Записки А. О. Смирновой, ч. II, Спб. 1897, стр. 49, Ср. Dr. K. Wenger, Historische Romane deutscher Romantiker, Bern, 1905, стр. 39—40: Гейне въ „Письмахъ изъ Берлина“ разсказываетъ о маскарадѣ, устроенномъ въ 1822 г. на темы романовъ В.-Скотта.

[2]) Русск. Стар. 1885, т. 45, стр. 543: авторъ „Записокъ“ разсказываетъ о домашнемъ театрѣ у великихъ князей и княженъ (Александра Николаевича, Александры Николаевны, Ольги Николаевны, Маріи Нико

въ поэзіи или въ художествѣ очень часто разсматриваются въ эту пору русскими почитателями „романтическаго“ лишь какъ матеріалъ для игры воображенія и какъ источникъ пріятныхъ чувствъ. „Разсматривая здѣшній Magazino Italiano“, описываетъ свои наблюденія въ Петербургѣ русскій провинціалъ, „я думалъ, что я нахожусь въ Венеціи или Римѣ. Магазинъ статуй наполнилъ душу мою самыми романтическими чувствами. Представь себѣ статуи, изображающія собою красоту, добродѣтель, геройство, порокъ; греческіе боги подземные, небесные, морскіе, словомъ вся миѳологія; бюсты, урны, и все это въ огромныхъ комнатахъ скрыто освѣщено, и слабый свѣтъ разливается. Представь себѣ это въ воображеніи, и тебѣ представится и тайное Аугсбургское судилище, и Парнасъ, и пр., и пр.“ [1]). Однако вліяніе романтизма не ограничивалось этой декоративной стороной. Задумывались надъ новымъ укладомъ жизни личной и общественной, интеллигентные русскіе люди эпохи прислушивались къ голосамъ сначала нѣмецкихъ, потомъ французскихъ и др. романтиковъ и вносили мотивы ихъ универсальнаго міросозерцанія въ свои взгляды на человѣческую жизнь вообще и окружающую ихъ жизнь въ частности.

Духовная связь міросозерцанія В. А. Жуковскаго съ великими представителями нѣмецкой романтики уже для нѣкоторыхъ изъ его современниковъ не подлежала сомнѣнію. Въ одномъ изъ своихъ писемъ А. И. Тургеневъ приводитъ свидѣтельство самого Жуковскаго о вліяніи на него Гете и Шиллера [2]). „Въ полночь пріѣхалъ Жуковскій (изъ Веймара въ Лейпцигъ). Мы свидѣлись въ 6 часовъ утра, ибо онъ не хотѣлъ будить меня. Онъ зажился три дня въ Веймарѣ въ бесѣдѣ съ Гете, отъ котораго и я получилъ милое слово черезъ канцлера Мюллера, который писалъ ко мнѣ. Жуковскій жа-

---

ладевны); между прочимъ, поставленъ былъ рядъ картинъ на тему „перл и ангелъ“.

[1]) Русск. Стар. 1900, т. I, стр. 483: С.-Петербургъ въ 1831—1832 гг. (По письмамъ провинціала, И. В. Росковшенка).

[2]) Русск. Арх. 1895, кн. III: Изъ писемъ А. И. Тургенева, 1826—1827, письмо изъ Лейпцига отъ 8 сент. 1827 г.

лѣтъ, что меня не было съ нимъ у Гете. Онъ былъ необыкновенно любезенъ и какъ отецъ съ нимъ. Жуковскому хотѣлось, чтобы я раздѣлилъ эти минуты съ нимъ, ибо онъ говоритъ, что Гете и Шиллеръ образовали его, а съ нами вмѣстѣ росъ и мужался съ нами, Тургеневыми, и душевное и умственное образованіе получалъ съ нами... что только въ чужихъ краяхъ укрѣпилась душа его... и что здѣсь началось европейское его образованіе. Вотъ стихи Жуковскаго, оставленные имъ въ Веймарѣ у Гете:

Творецъ великихъ вдохновеній!
Я сохраню въ душѣ моей
Очарованіе мгновеній,
Столь счастливыхъ въ близи твоей!
Твое вечернее сіянье
Не о закатѣ говоритъ.
Ты юноша среди созданья!
Твой геній, какъ творилъ, творитъ.
Я въ сердцѣ уношу надежду
Еще здѣсь встрѣтиться съ тобой:
Землѣ знакомую одежду
Не скоро скинетъ геній твой.
Въ далекомъ полуночномъ свѣтѣ
Твоею Музою я жилъ.
И для меня твой геній, Гете,
Животворитель жизни былъ! [1])

Разсказывая о духовномъ тяготѣніи Жуковскаго къ Гете и Шиллеру, А. И. Тургеневъ, какъ видно изъ тона письма, желаетъ и себя съ братьями помѣстить въ качествѣ родственниковъ по духу въ ту же духовную семью. Въ эту эпоху, дѣйствительно, многіе среди образованныхъ русскихъ людей благоговѣйно старались проникнуть въ духовный міръ нѣмецкой романтической поэзіи и осмыслить свою жизнь и свое отношеніе къ универсальной человѣческой жизни ея таинственнымъ, идеалистическимъ смысломъ. Интересное свидѣтельство объ этомъ мы встрѣчаемъ въ одномъ введеніи къ переводу

[1]) Объ этомъ стих. и вообще объ отношеніи Жуковскаго къ Гете см. Ак. А. Н. Веселовскій, В. А. Жуковскій. Спб. 1904, гл. X.

произведенія Шиллера „Пѣсня о колоколѣ“ [1]). А. П. Глинка, посвящая свой переводъ нѣмецкой поэмы „памяти своего родителя“, говоритъ вмѣстѣ съ тѣмъ и о томъ, какое воспитательное значеніе имѣла для нея нѣмецкая поэзія вообще и въ частности Шиллеръ. „Подъ твоимъ руководствомъ, незабвенный родитель мой! узнала я достоинство труда, научилась жить душою и, независимо отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, услаждаться благородною бесѣдою музъ. Ты познакомилъ меня съ пѣвцами Германіи, ты указалъ мнѣ поэта-великана—Шиллера! Его чудную „Пѣснь о колоколѣ“—полную таинственности и поэзіи — осмѣлилась я переводить подъ твоимъ руководствомъ. Ты желалъ и требовалъ, чтобъ переводъ былъ самый близкій къ подлиннику. Я сохранила размѣры подлинника, старалась слѣдовать за теченіемъ мыслей; близко, даже буквально, передала нѣкоторыя мѣста; но могла ли я передать ту неподражаемую прелесть цѣлаго, то разнообразіе и великолѣпіе картинъ, изумляющихъ яркостью красокъ и непонятною отчетливостью художественной отдѣлки; тѣ неувядающія красоты, которымъ удивляется Германія въ твореніяхъ любимаго своего поэта?.. Переводъ конченъ; но гдѣ мой наставникъ, другъ и покровитель моей юности?—Уже нѣтъ тебя, родитель мой! Цѣлое семейство, все въ тебѣ утратившее, въ оцѣпенѣніи отъ горести, внимало священный звонъ колокола, возвѣщавшій безвременную разлуку съ тобою. Ударъ судьбы былъ слишкомъ неожиданъ и жестокъ; міръ внѣшній не могъ ничего предложить мнѣ въ замѣну потери. Только святая вѣра и утѣшительница поэзія находили доступъ къ душѣ осиротѣлой. Я продолжала занятіе, при тебѣ начатое! Въ другой важной эпохѣ моей жизни послышался мнѣ таинственный звонъ колокола, когда я шла къ алтарю, гдѣ, предъ лицомъ Всемогущаго, я положила жребій свой въ одну чашу съ жребіемъ избраннаго сердцемъ; гдѣ всѣ частныя отношенія двухъ существъ слились въ одно общее—въ одну нераздѣльную жизнь.

---

[1]) Дамскій Журналъ, 1832, ч. 39, стр. 58; Извѣстія, „Пѣснь о Колоколѣ“, твореніе Шиллера, перев. А. П. Глинка (Крит. замѣтка о переводѣ).

Вмѣсто вѣнца кипариснаго, кладу я на безвременную могилу твою, мой достойный родитель! сей слабый, дѣтскій трудъ.— Мы не знаемъ тайны загробной жизни; но вѣра заповѣдала упованіе и дозволяетъ намъ утѣшаться сердечнымъ убѣжденіемъ, что разлука съ милыми есть разлука мнимая; что они, невидимые по земному, окружаютъ насъ своею любовію и среди нестерпимыхъ скорбей земныхъ навѣваютъ благія мысли о радостяхъ неба. Я вѣрю и, обнимая тебя объятіями души, посвящаю слезы дочери и трудъ мой твоей памяти, для меня незабвенной!" Въ этихъ признаніяхъ любящей дочери чувствуется возвышенное идеалистическое міровоззрѣніе, навѣянное музой Шиллера, и желаніе уложить свою личную жизнь въ рамки его „Пѣсни о колоколѣ".

Изъ другихъ корифеевъ нѣмецкаго романтическаго идеализма наибольшее впечатлѣніе производилъ на русскіе умы, конечно, Шеллингъ. Имена нашихъ шеллингистовъ и степень увлеченія ихъ нѣмецкой идеалистической философіей достаточно извѣстны. Но, примѣнительно къ интересующему насъ вопросу, необходимо замѣтить, что и въ Шеллингѣ его русскіе почитатели искали того же самаго универсальнаго идеала жизни, т. е., опираясь на Шеллинга, поэтизировали человѣческую жизнь, какъ конечное выраженіе безконечныхъ, полныхъ высокой поэзіи идей. Одинъ изъ слушателей метафизики шеллингизма, А. В. Никитенко такъ передаетъ свое впечатлѣніе, вынесенное имъ изъ одной лекціи. „Слушалъ метафизическую лекцію у Галича. Говорено было о происхожденіи вещей. Конечно, и у Шеллинга въ этомъ отношеніи гипотезы, по крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ онъ изъясняетъ процессы и постепенности сотворенія. Тѣмъ не менѣе, никто изъ предшествующихъ философовъ, можетъ быть, кромѣ одного Платона, не обнялъ такъ хорошо общаго единаго начала жизни и отношеній къ ней всѣхъ конечныхъ вещей" [1]). То же лицо, говоря о другомъ послѣдователѣ новой нѣмецкой философіи, съ

[1]) Русск. Стар. 1889, т. 62; Дневникъ А. В. Никитенка, замѣтка подъ 19 февр. 1828 г.

восторгомъ отзывается о его „поэтической фантазіи“, способности изъ „горестной дѣйствительности“ переноситься „въ свѣтлую область идей“ и идеализировать будущій „лучшій порядокъ вещей“ въ Россіи. „Я не знаю человѣка съ болѣе благороднымъ сердцемъ“, говоритъ А. В. Никитенко о попечителѣ С.-Петербургскаго учебнаго округа К. М. Бороздинѣ. „Онъ въ полномъ смыслѣ слова то, что мы называемъ человѣкомъ просвѣщеннымъ. Онъ не учился систематически, но читалъ много и, что чудо между нашими дворянами и администраторами, размышлялъ еще болѣе. Онъ имѣетъ обширныя познанія въ русской исторіи, которую изучалъ, какъ патріотъ и вмѣстѣ какъ философъ. Умъ его возвышенъ. Поэтическая фантазія нерѣдко уноситъ его изъ области нашей мертвой и горестной дѣйствительности въ чистую, свѣтлую область идей, и, хотя онъ не любитъ нѣмецкой философіи, но это только на словахъ, ибо, самъ того не замѣчая, почти во всемъ слѣдуетъ ея могучему генію. Онъ ждетъ для Россіи лучшаго порядка вещей и, любя ее превыше всего, превыше самого себя, со смиреніемъ несетъ тяготы общественныя“ [1]). Въ идеализмѣ Шеллинга русскіе его поклонники 20—30-хъ годовъ ищутъ подтвержденія идеалистическимъ движеніямъ своей собственной души и восторженно радуются, если Шеллингъ оправдываетъ ихъ собственный, природный идеализмъ. „Восьмымъ письмомъ Шеллинга“, пишетъ въ своемъ дневникѣ В. К. Кюхельбекеръ, „я попеременно то восхищался, то приводимъ былъ въ недоумѣніе. Все, что онъ говоритъ о счастіи и блаженствѣ (Glück-Seligkeit und Seligkeit), превосходно: я совершенно согласенъ съ нимъ и Спинозою, что блаженство не есть награда за добродѣтель, но сама добродѣтель“ [2]). Нѣсколько позже онъ дѣлаетъ въ дневникѣ такую помѣтку по поводу чтенія Шеллинга: „Сегодня началъ я Шеллинговы „Изслѣдованія о существѣ человѣческой свободы“... Начало

[1]) Тамъ же, подъ 1 янв. 1829 г.

[2]) Русск. Стар. 1884. т. 41: Дневникъ В. К. Кюхельбекера, стр. 346, зам. подъ 1835 г.; В. К. Кюхельбекеръ, очевидно, разумѣетъ статью Шеллинга 1795 г. подъ загл. „Философскія письма о догматизмѣ и критицизмѣ“.

этого творенія удивительно: какая глубина и вмѣстѣ какая ясность!—Преклоняю колѣно предъ великимъ мыслителемъ и прошу у него прощенія, что, было, понялъ его криво!—Особенно для меня поразительно согласіе его ученія съ ученіемъ святой религіи христіанской" [1]). Точно также по письмамъ изъ Германіи нѣкоторыхъ русскихъ слушателей Шеллинга можно судить, насколько онъ способствовалъ усвоенію ими романтическаго универсализма. Читая, напр., письма П. В. Кирѣевскаго [2]) или Н. М. Рожалина [3]), невольно замѣчаешь, какъ крѣпло идеалистическое міросозерцаніе этихъ молодыхъ людей подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ бесѣдъ и лекцій Шеллинга и какъ съ помощью его философіи складывались ихъ взгляды на универсальную жизнь человѣчества. Въ рѣшеніи общихъ проблемъ—о характерѣ нашей жизни и ея назначеніи—русскіе идеалисты 20—30-хъ годовъ обращались и къ другому философу, властителю думъ эпохи. Этотъ другой былъ Фихте. Такъ, на страницахъ „Моск. Вѣстника" находимъ въ 1830 году переводъ „лекціи Фихте о назначеніи человѣка въ самомъ себѣ" [4]); здѣсь рѣшался—можно сказать, употребляя выраженіе изъ самой же лекціи—„высшій вопросъ" о томъ, „какое назначеніе человѣка вообще и какими средствами онъ можетъ вѣрнѣе его достигнуть". Этотъ отрывокъ сочиненія Фихте 1800 года „Назначеніе человѣка" тоже имѣлъ, конечно, прямое отношеніе къ темамъ романтическаго универсализма, и выборъ его совершенно былъ въ духѣ запросовъ времени.

Когда въ среду читающаго общества проникла юная фран-

---

[1]) Тамъ же, стр. 357; разум. соч. Шеллинга „Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit", 1809 г.

[2]) Моск. Вѣст. 1830, ч. I, № 1: Отрывки изъ частныхъ писемъ Шеллингѣ; Русск. Арх. 1905, т. II; Петръ Васильевичъ Кирѣевскій, его письма. О значеніи нѣм. философіи и въ особенности философіи Шеллинга для Ѳ. И. Тютчева въ 20-хъ годахъ см. Русск. Арх. 1874, № 10. Ѳ. И. Тютчевъ, статья И. С. Аксакова, стр. 53—4.

[3]) Русск. Арх. 1906, т. II: Изъ писемъ Н. М. Рожалина къ С. П. Шевыреву.

[4]) Моск. Вѣстн. 1830, ч. VI, №№ 21—24.

пузская литература съ В. Гюго во главѣ, что случилось уже въ концѣ 20-хъ и въ началѣ 30-хъ годовъ, жизненный идеалъ русскихъ цѣнителей романтизма, витавшій доселѣ въ области свѣтлыхъ идей, принялъ подъ вліяніемъ французской романтики болѣе рельефныя очертанія. Бальзакъ анатомировалъ общественную жизнь и настойчиво подсказывалъ читателю желаніе перенести идеалъ изъ метафизической области идей въ самую жизнь общества, полную болѣзненныхъ явленій. „Пробный камень нравовъ, пороковъ, преступленій нашего испорченнаго просвѣщенія, „Шагреневая кожа“ упала съ могущественнаго пера на людей, которыхъ она растаптываетъ, поноситъ, унижаетъ... Бальзакъ умѣлъ первый осмотрѣть весь кругъ часовъ, которые, минута за минутой, бьютъ для каждаго человѣка утрату обольщенія, горькую скорбь, ѣдкую рану,—наконецъ смерть! Это драма жизни—драма, въ которой каждое человѣческое лицо имѣетъ роль свою... Это мозаика добродѣтельной бѣдности и бѣдной роскоши, тихихъ вздоховъ и бѣшеныхъ криковъ, чистой любви и хитраго кокетства, невинныхъ наслажденій и жестокихъ мученій... Это цѣлый міръ въ одномъ томѣ; описанія восхитительныя, очаровательныя, потомъ ужасныя, жгучія, но всегда справедливыя... Читая сіе твореніе, чувствуешь сердечный трепетъ, живое удовольствіе, но ничего не желаешь удержать въ памяти; ибо кинжалъ въ ранѣ: дотрогиваясь до него, углубляешь еще болѣе!“ Такъ передаетъ одинъ русскій читатель впечатлѣніе, вынесенное изъ романа Бальзака „La Peau de Chagrin“ [1]). Развѣнчивая окружающій общественный укладъ, Бальзакъ тѣмъ самымъ заставляетъ читателя думать о лучшемъ общественномъ строѣ, гдѣ не будетъ тѣхъ язвъ, которыми болѣла русская дѣйствительность. Въ русскомъ обществѣ данной эпохи наиболѣе тяжкою язвою было крѣпостное право. И вотъ русскаго читателя Бальзакъ наводитъ на мысль объ устраненіи этого явленія, не находящаго себѣ оправданія въ „чистой, свѣтлой области идей“. „Въ Бальзакѣ много ума и воображенія, но и стран-

[1]) Дамскій Журналъ, 1831, ч. 36, № 40, стр. 7: Шагреневая Кожа, философическій романъ Бальзака.

ностей", говоритъ А. И. Тургеневъ; [1]) „онъ заглядываетъ въ самыя сокровенныя, едва примѣтныя для другихъ щелки человѣческаго сердца и нашей искони прокаженной натуры. Онъ физіологъ и анатомъ души: его-ли вина, что души часто безъ души? а кое-гдѣ еще и съ крѣпостными душами? (что хуже всякаго бездушія)". Чтеніе другого французскаго романтика также наводитъ русскаго читателя на новые вопросы въ области общественныхъ отношеній. „Адольфъ" Бенжамена Констана—романъ, родственный „Вертеру",—указывалъ и русскимъ читателямъ, какъ мало соотвѣтствія между личнымъ чувствомъ отдѣльнаго лица и общественнымъ укладомъ, полнымъ нерѣдко условностей и предразсудковъ. „Нравственный недугъ", которымъ болѣетъ французскій скорбникъ, понимается и въ русской литературѣ данной эпохи, какъ недугъ современный, который ведетъ не только къ отрицанію старыхъ общественныхъ условій, но и къ созданію новыхъ. „Адольфъ", говоритъ русскій переводчикъ романа въ своемъ предисловіи къ переводу, „въ прошломъ столѣтіи былъ бы просто безумецъ, которому никто бы не сочувствовалъ,—загадка, которую никакой психологъ не далъ бы себѣ труда разгадывать. Нравственный недугъ, которымъ онъ одержимъ и погибаетъ, не могъ бы укорениться въ атмосферѣ прежняго общества!.. Тогда могли развиваться острыя болѣзни сердца; нынѣ пора хроническихъ: самое выраженіе „недугъ сердца" есть потребность и находка нашего времени!.." [2]) Адольфъ, болѣющій этимъ недугомъ, является борцомъ за права личнаго чувства противъ общественнаго деспотизма, и вотъ почему тотъ же русскій переводчикъ старается перенести вниманіе русскихъ читательницъ съ разныхъ лубочныхъ героевъ прежнихъ романовъ на скорбнаго Адольфа, полнаго жизненной правды. „Женщины вообще не любятъ Адольфа, то есть характера его: и это порука въ истинѣ его изображенія. Женщинамъ весело

[1]) Русск. Старина 1881, т. XXXI: Александръ Ивановичъ Тургеневъ въ его письмахъ, письмо къ К. С. Сербиновичу отъ 2 ноября 1835 г.

[2]) Дамскій Журналъ, 1831 г., ч. XXVI, № 45: Извѣстія, Адольфъ, романъ Бенжаменъ-Констана, пер. кн. П. А. Вяземскій.

находить въ романахъ лица, которыхъ не встрѣчаютъ онѣ въ жизни. Охлажденныя, напуганныя живою природою общества, онѣ ищутъ убѣжища въ мечтательной Аркадіи романовъ: чѣмъ менѣе герой похожъ на человѣка, тѣмъ болѣе сочувствуютъ онѣ ему; однимъ словомъ, ищутъ онѣ въ романахъ не портретовъ, но идеаловъ; а... Адольфъ не идеалъ"... Между тѣмъ, продолжаетъ онъ, „пора Малекъ—Аделей и Густавовъ почти миновалась", и „въ семъ романѣ (какъ и во всякомъ романѣ „нашего времени") должно искать не одной любовной біографіи сердца; тутъ вся исторія его". Чтеніе романовъ Жоржъ-Зандъ порождало у русскихъ послѣдователей жоржъ-зандизма новыя отношенія къ вопросамъ брачной жизни, въ особенности же къ вопросу о положеніи женщины до брака и въ бракѣ. Заботливая мать второй четверти прошлаго вѣка, стремившаяся дать своей дочери современное образованіе, отмѣчаетъ, какъ фактъ, увлеченіе дочери идеями Жоржъ-Зандъ, которымъ она сама, однако, мало сочувствуетъ. Желая создать для дочери извѣстную духовную независимость, она обращается къ литературѣ, какъ къ средству. „Чѣмъ же его (образованіе) дать, какъ не чтеніемъ? Я абонируюсь въ книжномъ магазинѣ французскихъ книгъ Готье. Наташа читаетъ Жоржъ-Занда, Бальзака, Сю, Виктора Гюго и tutti quanti". И вотъ, въ результатѣ увлеченія чтеніемъ, „Жоржъ-Зандъ обольстила Наташу. Она дальше и не пошла, тогда какъ сочиненія этой писательницы вовсе и не представляютъ идеала женщины, а только одинъ изъ выходовъ изъ рабскаго, безсмысленнаго состоянія ея" [1]). Такимъ образомъ, все-таки Ж.-Зандъ даетъ нѣкоторый выходъ женщинѣ изъ рабскаго состоянія; съ этимъ соглашается даже и представительница старшаго поколѣнія эпохи. Что же касается до молодежи, то для нея произведенія Ж.-Зандъ нерѣдко были откровеніемъ въ вопросахъ личнаго чувства и семейной жизни [2]). На ряду

[1]) Русск. Арх. 1899, кн. III: Воспоминанія Прасковьи Николаевны Татлиной.

[2]) Встрѣчаются свидѣтельства и объ отрицательномъ вліяніи Жоржъ-Занда на русскую интеллигенцію въ сторону извѣстной нравственной рас-

съ нѣмецкими и французскими романтиками на выработку общаго идеалистическаго міровоззрѣнія у русскихъ послѣдователей романтизма вліяли и представители другихъ литературъ начала XIX стол. Вліяніе напр. Байрона несомнѣнно и общеизвѣстно; его русскіе поклонники и поклонницы, выражаясь ихъ собственными словами, нерѣдко „мыслили съ нимъ вмѣстѣ“ и даже жили „его умомъ и душою“.. [1])

Такъ вторгались новыя вѣянія въ идеалъ личной и общественной жизни. Вторженія эти нельзя считать только единичными явленіями, не проникавшими въ общественное сознаніе. Наоборотъ, можно думать, что около тридцатыхъ годовъ въ нѣкоторыхъ кружкахъ русской интеллигенціи эта потребность смѣны универсальнаго общественнаго уклада въ сторону идеалистическаго его направленія чувствовалась довольно осязательно даже наиболѣе консервативными наблюдателями жизни. Такъ, одинъ изъ такихъ наблюдателей въ 1830 году находитъ возможнымъ говорить именно „о началѣ новыхъ взглядовъ“, какъ характерномъ явленіи даннаго момента времени. „Объ исполинскихъ успѣхахъ нашего времени говорено многими очень много и очень часто: „Въ нашъ вѣкъ совер-

---

пущенности. Таковъ напр. разсказъ А. О. Смирновой о русскихъ жоржъ-зандисткахъ (Русск. Арх. 1895, кн. III: Изъ Записокъ А. О. Смирновой); надо однако имѣть въ виду, что ея сужденія о современницахъ отзываются, можетъ быть, односторонностью строгой моралистки: „Стали выходить романы Жоржъ-Зандъ... Русскія барыни, начитавшись госпожи Зандъ, усвоили ея взглядъ и таскаются по Европѣ съ курьерами изъ итальянцевъ безъ зазрѣнія совѣсти. Возвратившись въ Россію, онѣ опять верхомъ на приличіи, потому что Николай Павловичъ не шутитъ и пожалуй тотчасъ васъ забракуетъ. Я помню, съ какимъ трудомъ добилась развода дѣвица Дудина; вышедъ изъ Смольнаго, вышла замужъ и должна была развестись. Всѣ приняли участіе въ бѣдной дѣвушкѣ. Процессъ производился секретно въ Синодѣ; тутъ были замѣшаны доктора, судьи, и наконецъ ее развели, но это было съ большимъ скандаломъ. Въ Москвѣ развели Пашкову съ кн. Лобановымъ, что подняло всю бѣлокаменную. А сегодня разводятся, опять сходятся и выходятъ замужъ за разведеннаго, заткнувши за поясъ слова Евангелія, точно какъ протестанты“.

[1]) Русск. Арх. 1886, т. I: Изъ бумагъ поэта И. И. Козлова, письмо къ нему граф. А. Г. Лаваль отъ 10 февр. 1831 г.

шились ужасные перевороты въ литературѣ и вообще въ просвѣщеніи. Для нихъ устарѣли уже всѣ славные писатели и древніе и новые; въ нашъ вѣкъ и Карамзина „Исторія“ никуда не годится, его проза не можетъ болѣе служить образцомъ; онъ не нашего вѣка; въ нашемъ вѣкѣ и Ломоносова стыдно назвать поэтомъ; нынѣ на все другіе взгляды—высшіе и проч., и проч.“. Люди свѣдующіе удивляются смѣлости такихъ крикуновъ, простодушные вѣрятъ имъ на слово“... [1]) Такъ судили консерваторы о характерѣ того духовнаго момента, который они переживали. Люди прогрессивнаго направленія разсуждали болѣе смѣло и увѣренно. Они не сомнѣвались въ томъ, что въ ихъ время происходитъ смѣна одного универсальнаго идеала жизни другимъ; руководство къ усвоенію новаго идеала они видѣли въ западно-европейской философіи и поэзіи, а сущность его—въ стремленіи къ „гармоніи между силами двухъ міровъ“, реальнаго и идеальнаго, какъ о томъ учили идеалисты начала XIX стол. съ Шеллингомъ во главѣ. „Нѣтъ сомнѣнія“, говоритъ одинъ изъ прогрессивныхъ современниковъ эпохи, „что духъ нашего времени благопріятствуетъ наукамъ естественнымъ, механикѣ и наукамъ политическимъ. Но благопріятствуетъ ли имъ исключительно? Самая поэзія не въ лучшемъ-ли нынѣ цвѣтѣ, нежели въ 18 столѣтіи? Ужели Байронъ, Муръ, Скоттъ, Сутей, Казиміръ де-Лавинь, Ламартинъ, Альфредъ де-Виньи, Манцони, нѣмцы, съ Гете до нашихъ современниковъ, Тегнеръ, Валинъ, Мицкевичъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ и пр., стоятъ не выше Попе и Аддисона, Вольтера и Делиля, Виланда, Клейста, Бодмера? Мнѣ кажется неоспоримымъ, что главный признакъ духа нашего времени—тѣсный союзъ, взаимное вспомоществованіе, гармонія между силами двухъ міровъ, слившихся въ груди человѣческой. И одно сіе сближеніе объясняетъ мнѣ удовлетворительно тѣ великія открытія, какія даровались нашему времени и въ мірѣ духовномъ и въ мірѣ вещественномъ“ [2]).

[1]) Атеней, 1830, № 2, стр. 217—9: О началѣ новыхъ взглядовъ.

[2]) Русск. Стар. 1883, т. 39: Дневникъ В. К. Кюхельбекера 1834 г., стр. 257.

Приблизительно съ начала 30-хъ годовъ вліяніе западно-европейской романтической поэзіи на русскую интеллигенцію осложняется новыми философскими и поэтическими мотивами; такъ напр. около этого времени на молодыхъ людей замѣтное вліяніе оказываетъ ученіе Сенъ-Симона, Анфантена и Фурье. Однако всѣ эти извнѣ, съ культурнаго запада, проникавшія къ намъ вѣянія сводились къ одному—къ возможному сближенію обыденной жизни съ идеаломъ: „хотѣлось достигнуть истины, все отнести къ одному знаменателю и вывести изъ него profession de foi". „Господствующимъ чувствомъ было общее враждебное отношеніе къ міру лжи и лицемѣрія. Хотѣли порѣшить съ нимъ, но чѣмъ, какъ? этотъ вопросъ считали второстепеннымъ. Каждый могъ отвѣтить на него по своему личному вкусу". Эти порывы къ поэтизированію жизни, къ сближенію ея съ идеаломъ скоро выдвинули цѣлый рядъ дѣятелей, и вскорѣ „вліяніе ихъ проявлялось во всѣхъ слояхъ общества, образовало въ немъ какъ бы одну семью, члены которой дѣлили между собой, какъ они выражались, „дѣло обновленія отживающихъ формъ жизни". Новый духъ сталъ воплощаться вездѣ: въ литературѣ, въ наукѣ, въ семейной жизни, въ служебной дѣятельности и на все клалъ печать свою" [1]).

Такъ проникали постепенно въ сознаніе русскаго общества и становились достояніемъ текущей литературы мотивы западно-европейскаго идеализма. Ихъ отголоски у насъ, сначала несмѣлые и глухіе, отрывочные и нестройные, соединяются потомъ въ смѣлые и мощные аккорды, которымъ начинаютъ съ своей стороны вторить и задушевные напѣвы исконнаго русскаго идеализма. Въ этой идеалистической симфоніи голоса нѣкоторыхъ русскихъ идеалистовъ-романтиковъ звучали особенно сильно и увлекательно, и къ нимъ, какъ выразителямъ духовнаго момента эпохи, особенно чутко прислушивалось русское общество 20—30-хъ годовъ. Къ этимъ идеалистамъ-романтикамъ принадлежатъ, между прочимъ, А. А.

---

[1]) Русск. Стар. 1876, т. XIV: Воспоминанія Т. П. Пассекъ.

Бестужевъ (Марлинскій), М. Н. Загоскинъ и кн. В. Ѳ. Одоевскій; въ ихъ произведеніяхъ отразились, въ русской варіаціи, тѣ основные мотивы западно-европейскаго романтическаго идеализма, которые только что были разсмотрѣны.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### Романтическій индивидуализмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. А. А. Бестужевъ-Марлинскій: „Русскія повѣсти и разсказы". Культъ личнаго „я"; идеализація сильной личности: „высшая натура", ея основныя свойства и культурныя задачи. Литературные мотивы и пріемы въ духѣ Байрона и Гюго въ произведеніяхъ А. А. Бестужева.

1. Двѣ стихіи въ романтическомъ индивидуализмѣ Бестужева. Первая стихія: его личная природа и личная его жизнь. Дѣтство Бестужева; характеръ чтенія, занятій и игръ; первыя проявленія страстнаго индивидуализма. Годы ученья; поиски выдающейся дѣятельности; начало военной службы. Первые литературные опыты и ихъ индивидуалистическій характеръ; „Полярная звѣзда" и предводительство Бестужева въ лагерѣ романтиковъ. Личная жизнь до декабрьскихъ событій; служба, дуэли, сердечныя дѣла. Бестужевъ—декабристъ; причины и характеръ его участія въ дѣлѣ декабристовъ. Ссылка; проявленіе индивидуализма Бестужева въ годы жизни въ Сибири и на Кавказѣ. Лѣтопись собственной души въ письмахъ Бестужева изъ Сибири и съ Кавказа. Мирныя настроенія души поэта: любовь къ семьѣ, къ родинѣ, религіозность. Безпокойные порывы страстнаго индивидуальнаго духа къ идеалу; желаніе возвышеннаго труда и геройскаго подвига. Противодѣйствіе дѣйствительности идеалу; удары судьбы; замираніе возвышенныхъ порывовъ и „свѣтлыхъ восторговъ" духа; тоска и отчаяніе; духовное скитальчество, родство съ Байрономъ и его героями; бѣгство отъ дѣйствительности въ міръ грезъ, ироническое отношеніе ко всему окружающему. Крушеніе возвышеннаго идеала жизни; драгоцѣнности, уцѣлѣвшія отъ крушенія: „гордость души", „умиленіе передъ всѣмъ, что прекрасно", культъ чистой любви и дружбы, состраданіе ко всему человѣчеству; поэтическое творчество—чудное хранилище уцѣлѣвшихъ отъ крушенія драгоцѣнностей. Первая стихія романтическаго индивидуализма Бестужева въ его поэтическомъ творчествѣ. Отраженіе индивидуальнаго характера автора въ его повѣстяхъ и разсказахъ: думы и рѣчи Бестужева въ устахъ героевъ Марлинскаго. Отожествленіе личности автора съ его героями въ представленіи читателей. Личная манера Бестужева въ процессѣ творчества по наблюденіямъ его современниковъ.

Какъ одинъ изъ выразителей романтическаго индивидуализма въ русской поэзіи 20—30-хъ годовъ XIX стол., А. А. Бестужевъ-Марлинскій заслуживаетъ особеннаго вниманія: не только вліяніе западноевропейской литературы, но и собственная его духовная природа въ связи съ обстоятельствами жизни сдѣлали его жрецомъ культа личности и пѣвцомъ „высшей

натуры". Личная стихія его творчества р скрывается какъ изъ его авторскихъ признаній, такъ и изъ свидѣтельствъ о немъ современниковъ. Разсказывая о своемъ знакомствѣ съ А. С. Грибоѣдовымъ, А. А. Бестужевъ замѣчаетъ: „Всякій энтузіазмъ... въ другихъ порождалъ во мнѣ холодность, по весьма естественному разсужденію: чѣмъ болѣе человѣкъ находится внѣ себя, тѣмъ менѣе онъ способенъ цѣнить, измѣрять вещи глазами разсудка; слѣдственно тѣ, которые внемлютъ ему, должны дополнять своимъ разумомъ пустоту и, не увлекаясь чувствами, болѣе не довѣрять, чѣмъ вѣрить. Впрочемъ, это правило примѣнялъ я только къ заглазнымъ похваламъ. Электрическая искра восторга потрясала нерѣдко меня, но не иначе, какъ отъ прикосновенія. Притомъ частые восторги юныхъ друзей моихъ нерѣдко вспыхивали отъ такихъ предметовъ, которые вовсе того не стоили. Какъ Макбетъ привидѣніями, я былъ пресыщенъ ихъ чудесами и феноменами"... [1]). Это правило оцѣнки чужого энтузіазма необходимо, казалось бы, примѣнить и къ самому А. А. Бестужеву, къ энтузіазму его собственныхъ художественныхъ твореній для провѣрки реальности и искренности его авторскихъ изліяній, тѣмъ болѣе что, по собственному его выраженію, „умъ и сердце, человѣкъ и авторъ — не все равно" [2]). Но чѣмъ болѣе будемъ мы такою мѣркою оцѣнивать его творчество, тѣмъ болѣе убѣдимся въ томъ, что пресловутыя ходульность и вычурность „Марлинскаго" лежатъ въ самой духовной природѣ и въ обстоятельствахъ жизни А. А. Бестужева, и что по отношенію къ самому Бестужеву человѣкъ и авторъ являются вполнѣ тожественными. Сопоставляя же его творчество съ характеромъ его эпохи, увидимъ, что успѣхъ его ходульности и вычурности находится на уровнѣ духовныхъ стремленій и литературныхъ вкусовъ окружавшаго его общества.

---

[1]) Отеч. Записки, 1860, т. 132, стр. 633: Знакомство А. А. Бестужева съ А. С. Грибоѣдовымъ. (Разсказъ А. А. Бестужева, сохранившійся между прочими его бумагами у сестры покойнаго, Елены Александровны и помѣченный 1829 г.).

[2]) Тамъ же, стр. 636.

По натурѣ своей А. А. Бестужевъ (1797—1837) представлялъ собою необыкновенно благодарную почву для воплощенія мотивовъ романтическаго индивидуализма; среди своихъ современниковъ онъ болѣе, чѣмъ многіе другіе, былъ способенъ создать романтическій культъ своего я для себя и для другихъ, и въ этомъ смыслѣ онъ былъ вполнѣ микрокосмосомъ своей романтической эпохи. Его природныя наклонности и вся одиссея его жизни благопріятствовали этому [1]). Мальчикомъ Бестужевъ растетъ въ интеллигентной и даровитой семьѣ среди научной и художественной обстановки. У него пытливый умъ и пылкое воображеніе,—онъ весь уходитъ въ міръ идей и образовъ, которыми питаютъ его книги. „Всякій разъ, когда я пытаюсь воскресить въ своей памяти самую отдаленную эпоху нашего дѣтства и думаю о братѣ Александрѣ, онъ постоянно представляется мнѣ въ полу-лежачемъ положеніи, въ большихъ вольтеровскихъ креслахъ, съ огромною книгою въ рукахъ". Такъ говоритъ М. А. Бестужевъ въ своихъ воспоминаніяхъ [2]). Мальчикъ читаетъ съ увлеченіемъ... Отецъ довѣряетъ ключи отъ библіотеки только „прилежному Сашѣ". Иногда однако отецъ отнималъ у него ключи, желая дать ему на время отдыхъ. тогда Саша „промышлялъ себѣ книги контрабандой". Онъ читаетъ романы, сказки, путешествія и заранѣе поглощаетъ своей фантазіей весь этотъ міръ чудесъ и эффектовъ жизни, который впослѣдствіи онъ воплотилъ въ своихъ произведеніяхъ. Если нечего читать, онъ чертитъ что-нибудь на лоскуткѣ бумаги, примостившись на краю стола, стараясь на

---

[1]) Главные матеріалы для біографіи А. А. Бестужева указаны въ трудѣ С. А. Венгерова, Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ, т. III, стр. 147—8. Дополнительно къ нимъ, въ настоящемъ очеркѣ использованы нѣкоторыя бумаги А. А. Бестужева, хранящіяся въ Имп. Публ. Библ., и отдѣльныя замѣтки о немъ въ Русск. Архивѣ и Русск. Старинѣ главн. обр. за послѣднія двадцать лѣтъ, въ статьяхъ, посвященныхъ современнымъ ему лицамъ и событіямъ. Обработка біографическихъ матеріаловъ о Бестужевѣ сдѣлана въ изящномъ и живомъ изложеніи въ книгѣ Н. Котляревскаго, „Декабристы", Спб. 1907, стр. 107—215.

[2]) Русское Слово, 1860, № 12: Дѣтство и юность А. А. Бестужева Марлинскаго) 1797—1818 г. Изъ воспоминаній его брата.

рисункѣ реализировать образы, которые тѣснятся въ его воображеніи. Въ дневникѣ десятилѣтняго кадета Саши, который онъ велъ въ Горномъ корпусѣ, уже замѣтны задатки будущаго „Марлинскаго“; въ этомъ первомъ литературномъ произведеніи, по словамъ М. А. Бестужева, можно было, какъ въ зеркалѣ, увидѣть „миніатюрнаго Марлинскаго, съ его складомъ ума и сердца, съ его оригинальною саркастическою рѣчью, наблюдательнымъ взоромъ и пылкимъ воображеніемъ“. Будущій авторъ „Наѣздовъ“ и „Аммалатъ Бека“ проявляетъ свое рыцарство уже въ дѣтскихъ играхъ. На Крестовскомъ островѣ Саша и его товарищи изображаютъ разбойниковъ; Саша воплощаетъ свое я въ предводителя шайки. Ринальдо-Саша занимаетъ съ своей шайкой маленькій островъ, ему и его шайкѣ грозитъ плѣнъ, братъ Михаилъ отстаетъ. Саша велитъ ему скорѣй скакать съ берега на плотъ, чтобы не попасть въ руки враговъ. Тотъ скачетъ, разбиваетъ до крови голову. Саша поднимаетъ его, обмываетъ, и въ то же время въ восторгѣ, что тотъ не попалъ въ руки враговъ. „Братцы“, говоритъ онъ своимъ сподвижникамъ, „я горжусь имъ и дѣлаю его своимъ помощникомъ“. Въ корпусѣ Саша любилъ непремѣнно первенствовать въ успѣхахъ, облекая свою индивидуальность въ образъ выдающагося ученика; а если терялъ первое мѣсто, то работалъ по ночамъ, чтобы на ежемѣсячныхъ экзаменахъ „загонять“ соперниковъ. Послѣ дневника вторымъ произведеніемъ была драма „Очарованный лѣсъ“; сюда онъ внесъ все, что только нашелъ „особеннаго въ „Днѣпровской русалкѣ“, „Князѣ-невидимкѣ“, „Волшебной флейтѣ“ или „Тысячѣ и одной ночи“; тутъ есть уже и блестки остроумія, и эффекты въ положеніи, и романтическая обстановка сказки. Эта пьеса была поставлена на домашнемъ театрѣ. Подготовлялись и другія пьесы, по крайней мѣрѣ, декораціи для нихъ; въ Сашѣ рано сказался и декоративный талантъ, свойственный вообще семьѣ Бестужевыхъ. Но зато уже въ корпусѣ обнаружилось въ будущемъ писателѣ нерасположеніе къ точнымъ знаніямъ и къ усидчивой научной работѣ. Не любя особенно математики, онъ бросаетъ Горный корпусъ. Вскорѣ его захва-

тываетъ романтизмъ морской службы, но, убѣдившись, что и для моряка необходимы точныя знанія, онъ начинаетъ мечтать объ инженерной и артиллерійской службѣ, но и тутъ его пылкіе порывы встать всегда выше обыденной, некрасивой и скучной дѣйствительности не даютъ ему работать, и онъ кончаетъ тѣмъ, что дѣлается лейбъ-драгунскимъ юнкеромъ, а затѣмъ и офицеромъ. Въ этихъ порывистыхъ поискахъ красивой и необыкновенной дѣятельности А. А. Бестужевъ представляется намъ какъ бы русскимъ Вильгельмомъ Мейстеромъ начала XIX столѣтія; онъ проводитъ свои Lehrjahre въ томъ, чтобы найти гдѣ-нибудь сильное выраженіе своей художественной натурѣ: въ корпусѣ онъ отдается писанію эффектныхъ пьесъ и декорацій; на учебномъ фрегатѣ, куда его пригласилъ къ себѣ старшій братъ Николай, онъ мечтаетъ о бурной и полной фантастическихъ приключеній и предпріятій жизни моряка; готовясь къ экзаменамъ на инженера или артиллериста, онъ думаетъ о грандіозныхъ фортификаціонныхъ работахъ, мортирахъ и минахъ,—и на всѣхъ этихъ поприщахъ его собственное я рисуется его духовному глазу въ видѣ чего-то большого, героическаго, необыкновеннаго, возносящагося выше обыденной дѣйствительности или переустраивающаго ее по новому. А. А. Бестужевъ какъ бы родился русскимъ идеалистомъ романтической эпохи. Когда онъ сталъ наконецъ лейбъ-драгунскимъ юнкеромъ и офицеромъ и, повидимому, прикрѣпился къ осѣдлой службѣ, его неспокойное я не замолчало, но захотѣло для себя новаго выраженія, и мы видимъ, что, не удовлетворяясь безсодержательной для него службой лейбъ-драгуна, Бестужевъ сталъ весь уходить въ литературу.

Первые его дебюты въ этомъ отношеніи были уже необыкновенно яркимъ выраженіемъ индивидуализма его натуры. „Первыми по времени литературными произведеніями брата Александра“, свидѣтельствуетъ М. А. Бестужевъ, были: „Критическій разборъ комедій князя Шаховскаго“ [1]), который и

[1] Крит. разб. комедіи Шаховского „Липецкія воды“, помѣщ. въ Сынѣ Отеч. 1819, ч. 51, № 6, стр. 252—278.

былъ причиною псевдонима Марлинскаго; [1]) потомъ—„Критика на переводъ Катенина (трагедіи Расина) „Эсѳирь“ [2]) чуть не вовлекла его въ дуэль съ переводчикомъ [3]). По возвращеніи однажды изъ театра, гдѣ представляли эту переводную трагедію, у него вырвалось: „Нѣтъ! надо постегать этого литературнаго диктатора Катенина... Мочи нѣтъ быть съ нимъ вмѣстѣ въ театрѣ: судитъ и рядитъ на весь театръ все и всѣхъ, такъ что хоть бѣги вонъ“ [4] ... Такимъ образомъ и здѣсь А. А. Бестужевъ желалъ отстоять свое я противъ нетерпимости другого. Скоро онъ пріобрѣтаетъ литературное имя и литературныя связи. Онъ участвуетъ во всѣхъ видныхъ журналахъ 20-хъ годовъ и даже съ успѣхомъ предводительствуетъ въ кружкѣ литературныхъ новаторовъ, издавая „Полярную Звѣзду“ [5]). И тутъ сказывается та же своеобразная

---

[1]) Самъ А. А. Бестужевъ, по свидѣтельству лица, знавшаго его, такъ объяснилъ происхожденіе своего псевдонима (Русск. Стар. 1900, т. 4, стр. 448: А. А. Бестужевъ, Изъ воспоминаній Я. П. Костенецкаго): „Скажите пожалуйста,—спросилъ я какъ-то Бестужева,—по какому случаю вы именуетесь Марлинскимъ? Есть ли это только вашъ псевдонимъ или же настоящая ваша теперешняя фамилія? Вѣдь говорятъ, что когда васъ перевели изъ Сибири на Кавказъ, то будто перевели Марлинскаго, а Бестужева какъ бы тамъ оставили?“ Такъ дѣйствительно говорили тогда въ обществѣ. Бестужевъ сильно расхохотался. — „Нѣтъ“, — сказалъ онъ,—„къ счастію, эта выдумка какъ-то не пришла никому на мысль, и я вездѣ по спискамъ именуюсь Бестужевымъ; Марлинскій же есть псевдонимъ, который я далъ себѣ въ память небольшого Марлинскаго дворца и пруда въ Петергофѣ“. (Эскадронъ, въ которомъ А. А. Бестужевъ служилъ съ 1817 г. юнкеромъ, стоялъ въ Марли, подъ Петергофомъ).

[2]) Крит. статья на перев. Расиновой Эсѳири помѣщ. въ Сынѣ Отеч. 1819, ч. 51, № 3, стр. 107—124.

[3]) Десять лѣтъ спустя, В. К. Кюхельбекеръ въ своемъ дневникѣ отмѣтилъ критику Бестужева на переводъ Катенина, какъ „образецъ привязчивости, ложнаго остроумія и невѣжества“ (Русск. Стар. 1883, т. 39: Дневникъ В. К. Кюхельбекера, 1833 г., стр 116); но въ страстныхъ нападкахъ Бестужева на Катенина нужно видѣть не столько „невѣжество“, сколько отвращеніе отъ старыхъ понятій въ критикѣ и исканіе новыхъ литературныхъ путей.

[4]) Русск. Стар. 1881, т. 32: Записки М. А. Бестужева, стр. 628–9.

[5]) Подробный библіографическій перечень сочиненій Бестужева см.

натура А. А. Бестужева: Саша-разбойничій атаманъ становится русскимъ литературнымъ Эрнани, который группируетъ вокругъ себя, въ своемъ альманахѣ, всѣ лучшія русскія литературныя силы 20-хъ годовъ и съ страстностью Виктора Гюго бросаетъ вызовъ отживающему классицизму. Уже въ эту пору обнаруживается его индивидуальный литературный талантъ. По поводу „Полярной звѣзды“ А. С. Пушкинъ писалъ ему [1]): „Милый Бестужевъ! Позволь мнѣ первому перешагнуть чрезъ приличія и сердечно благодарить тебя за „Полярную Звѣзду“, за твои письма, за статью о литературѣ, за „Ольгу“, и особенно за „Вечеръ на бивакѣ“! Все это ознаменовано твоею печатью, т.-е. умомъ и чудесной живостью. О „Взглядѣ“ можно бы намъ поспорить на досугѣ. Признаюсь, что ни съ кѣмъ мнѣ такъ не хочется спорить, какъ съ тобою да съ Вяземскимъ: вы одни можете разгорячить меня“. Выраженіе „чудесная живость“ прекрасно характеризуетъ будущій „марлинизмъ“ А. А. Бестужева, отчасти свойственный и самымъ раннимъ его произведеніямъ.

Личная жизнь А. А. Бестужева за это время продолжала питать его пылкое воображеніе. Въ качествѣ адъютанта у Бетанкура, главноуправляющаго вѣдомствомъ путей сообщенія, а затѣмъ у его преемника принца Александра Виртембергскаго, мы видимъ его въ началѣ двадцатыхъ годовъ завсегдатаемъ баловъ, товарищескихъ кружковъ и компаній; у него рядъ любовныхъ исторій и нѣсколько дуэлей; о болѣе раннихъ его дуэляхъ разсказываетъ М. А. Бестужевъ. Первая дуэль его была „съ офицеромъ лейбъ-гвардіи драгунскаго полка за его карикатурные рисунки, гдѣ все общество полка было представлено въ образѣ животныхъ; вторая его дуэль была затѣяна изъ-за танцевъ; третья съ инженернымъ штабъ-офицеромъ, находившимся при герцогѣ Виртембергскомъ, и это происходило во время поѣздки герцога, гдѣ братъ и инже-

Венгеровъ, Словарь, III. 174—6. Повидимому, въ него не вошли только статьи Бестужева до 1820 года.

[1]) Русск. Стар. 1882, т. 33: Письма А. С. Пушкина къ А. А. Бестужеву, письмо изъ Кишинева отъ 13 іюня 1823, стр. 451.

неръ составляли его свиту, и братъ былъ вызванъ имъ за какое-то слово, понятое оскорбительнымъ...; въ дуэли Рылѣева съ женихомъ сестры его братъ Александръ былъ секундантомъ"... [1]) Любовныхъ исторій у А. А. Бестужева было гораздо больше, чѣмъ дуэлей; объ этомъ свидѣтельствуютъ какъ разсказы лицъ, его хорошо знавшихъ, такъ въ особенности и его собственныя письма изъ Сибири и съ Кавказа. И это станетъ вполнѣ понятнымъ, если принять во вниманіе, что, помимо обаянія ума и чувства, А. А. Бестужевъ могъ вліять на женское сердце и своей счастливой наружностью. „Это былъ—говоритъ лицо, знавшее А. А. Бестужева въ бытность его на Кавказѣ—мужчина довольно высокаго роста и плотнаго тѣлосложенія, брюнетъ, съ небольшими сверкающими карими глазами и съ самымъ пріятнымъ и добродушнымъ выраженіемъ лица. Здѣсь замѣчу, что всѣ гравированные его портреты, какіе мнѣ случалось видѣть, нисколько на него не похожи: они изображаютъ его какимъ-то суровымъ человѣкомъ, тогда какъ лицо у него было самое доброе и симпатичное" [2]). А „своимъ умомъ и пріятнымъ обхожденіемъ" этотъ „оригинальный писатель повѣстей", какъ выражается о А. А. Бестужевѣ Ф. Ф. Вигель, могъ „чрезвычайно нравиться" [3]).

Но индивидуальная страстность А. А. Бестужева не могла удовлетвориться литературными лаврами и любовными побѣдами: она искала все болѣе и болѣе сильнаго выраженія, и возможность его была налицо. Декабрьское движеніе не могло не захватить такой натуры, какъ Бестужевъ: въ его обстановкѣ было много романтическаго обаянія, да и участвовали въ немъ самые типичные представители русскаго Sturm-und-Drang'a 20-хъ годовъ. Н. И. Гречъ говоритъ, что неудачная любовь къ дочери Бетанкура [4]) и вліяніе фанатика

[1]) Русск. Стар. 1881, т. 32: Записки М. А. Бестужева, стр. 621—2.

[2]) Русск. Стар. 1900, т. 4, стр. 442: А. А. Бестужевъ (Марлинскій). Изъ воспоминаній Я. И. Костенецкаго.

[3]) Русск. Арх. 1892, кн. III: Записки Ф. Ф. Вигеля.

[4]) Врядъ ли можно придавать этому увлеченію какое-то роковое значеніе, какъ это дѣлаетъ Гречъ. Въ письмѣ къ Туманскому отъ 24 дек.

Рылѣева [1]) толкнули „добраго, откровеннаго, благороднаго“ Бестужева въ этотъ политическій круговоротъ; но тутъ же расширяетъ свое узкое толкованіе вступленія А. А. Бестужева въ среду декабристовъ. „Вѣроятно мучило его“, говоритъ онъ, „и желаніе стать выше, подняться до степени аристократовъ, игравшихъ роль въ обществѣ. Мало ему было славы и чести въ русской литературѣ, въ которой онъ явился съ блистательнымъ успѣхомъ и съ нѣкоторыми особенностями въ мысляхъ и оборотахъ, которые одинъ пріятель назвалъ „бестужевскими каплями“ [2]). Это замѣчаніе лучше объясняетъ увлеченіе А. А. Бестужева заговоромъ декабристовъ, чѣмъ ссылка на его несчастную любовь. Онъ желаетъ участвовать и, по обыкновенію, можетъ быть даже первенствовать въ томъ движеніи, которое находилось въ идейномъ родствѣ съ романтической эпохой и на которое его страстный индивидуализмъ отзывался порывисто и радостно. И вотъ мы видимъ Сашу-атамана съ Крестовскаго острова и Бестужева-Эрнани русскихъ романтиковъ въ новой предводительской роли: 14-го декабря онъ

---

1824 года (Имп. Публ. Библ., бумаги Мартинскаго) А. А. Бестужевъ говоритъ, повидимому, объ этомъ самомъ увлеченіи, но безъ всякаго рокового отчаянія,—наоборотъ съ нѣкоторой шутливой ироніей: „О свѣтскихъ новостяхъ скажу тебѣ, что я танцовалъ съ (?)... во дворцѣ 12 декабря; она была мила какъ ангелъ. Я не вылѣзаю изъ бѣлья (?), панталонъ и изъ башмаковъ; это прескучно; тѣмъ скучнѣе, что не на кого вздыхать... я мучусь безстрастіемъ, но ты меня не узнаешь: такъ я потолстѣлъ съ горя“.

[1]) Обаяніе личности К. Ѳ. Рылѣева для А. А. Бестужева заключалось, конечно, не столько въ его „фанатизмѣ“, сколько въ извѣстномъ родствѣ міросозерцанія, пріобщавшемъ обоихъ поэтовъ къ эпохѣ русскаго Sturm-und-Drang'а; съ этой именно стороны и самъ Рылѣевъ въ одномъ изъ стихотвореній оцѣниваетъ свою дружбу съ А. А. Бестужевымъ (ср. Русск. Арх., 1890, т. II: К. Ѳ. Рылѣевъ, ст. А. Н. Сиротинина). А. А. Бестужевъ, въ свою очередь, глубоко понималъ К. Ѳ. Рылѣева и его произведенія (ср. напр. Бартеневъ, Девятнадцатый вѣкъ, стр. 338, 348 и Русск. Стар., 1893, т. II, стр. 54: А. А. Бестужевъ, стих. „Къ Рылѣеву“). О вліяніи К. Ѳ. Рылѣева на членовъ Сѣвернаго Общества см. В. И. Масловъ, Литературная дѣятельность К. Ѳ. Рылѣева, Кіевъ, 1912, стр. 95 и сл.

[2]) Н. И. Гречъ, Записки о моей жизни. Спб. 1886, стр. 393.

идетъ во главѣ батальона Московскаго полка по Исаакіевской площади, а 15-го—онъ едва ли не первый является на гауптвахту Зимняго дворца съ заявленіемъ: „Я—Александръ Бестужевъ“. Этотъ порывъ откровенности и правдивости врядъ-ли можно объяснять какими-либо разсчетами со стороны А. А. Бестужева; проще будетъ думать, что какъ въ заговорѣ, такъ и въ добровольной явкѣ онъ проявляетъ обычный свой энтузіазмъ, выражая свое страстное я то въ глубокой скрытности и тайнѣ, то въ полной искренности и откровенности. Послѣдовавшія затѣмъ ссылки на поселеніе въ Якутскъ (1827—1829) и оттуда на Кавказъ (1829—1837) не заглушили индивидуальныхъ порывовъ А. А. Бестужева, но только придали имъ отпечатокъ тоски и разочарованности. Въ Сибири, гдѣ нельзя было развернуться его страстной и бурной натурѣ, онъ направляетъ всю свою энергію на изученіе нѣмецкаго языка и иностранной литературы и черезъ мѣсяцъ читаетъ уже въ подлинникѣ Гете и Шиллера, а на Кавказѣ среди благопріятной внѣшней обстановки онъ окончательно по внутреннему и внѣшнему складу своей жизни выливается въ форму настоящаго романтическаго героя, который въ видѣ разныхъ варіацій является передъ взоромъ читателя въ „русскихъ повѣстяхъ и разсказахъ Марлинскаго“. Здѣсь индивидуализмъ А. А. Бестужева окрѣпъ и отчетливо выразился въ его поэтическомъ творчествѣ. „Повѣсти, написанныя имъ--говоритъ Гречъ [1])—подъ гнетомъ тяжкихъ обстоятельствъ, среди тундръ якутскихъ или подъ солдатскою шинелью въ ущельяхъ Кавказа [2]), свидѣтельствуютъ о его

[1]) Записки о моей жизни, стр. 393—4.

[2]) См. post-scriptum къ рукописи пов. „Страшное гаданіе“ (Имп. Публ. Библ., бумаги А. А. Бестужева) съ помѣткою „1830, Дагестанъ“: „У меня предурная рука, да и пишется порой въ холодной саклѣ, такъ не до чистописанія или провѣрки правописанія“. Къ тяжелой внѣшней обстановкѣ жизни въ изгнаніи присоединились за послѣдніе годы пребыванія на Кавказѣ еще и физическія страданія (болѣзни желудка, сердца, нервное разстройство), и они, конечно, еще болѣе увеличивали „гнетъ тяжкихъ обстоятельствъ“, при которыхъ приходилось Бестужеву писать: см. Русск. Стар. 1880, т. 29, А. А. Бестужевъ въ Пятигорскѣ въ 1835 году, стр. 417; характерна также въ этомъ отношеніи сохранившаяся въ бумагахъ

неотъемлемыхъ, своеобразныхъ талантахъ, которые, созрѣвъ въ жизни благопріятной, дали бы ему почетное мѣсто въ первомъ ряду русскихъ писателей". Бестужевъ-романтикъ въ эту эпоху, т.-е. за время пребыванія въ Якутскѣ и на Кавказѣ, живо рисуется въ его собственныхъ письмахъ. Эта откровенная, хотя и очень витіеватая, лѣтопись его души, изложенная имъ въ письмахъ къ матери, братьямъ и къ Н. и К. Полевымъ, лучше всего объясняетъ намъ внутренній и внѣшній романтизмъ его жизни [1]).

Какимъ же представляетъ самого себя А. А. Бестужевъ въ періодъ своего изгнанія, когда и внѣшняя и внутренняя жизнь его сложилась наиболѣе романтическимъ образомъ? Писатель, на думы и образы котораго такъ широко отзывается современное ему общество, является не простымъ литературнымъ ремесленникомъ, но носителемъ извѣстнаго общественнаго момента. Таковъ А. А. Бестужевъ-Марлинскій... Когда говорятъ о немъ въ критикѣ, то обыкновенно особое вниманіе удѣляютъ его слогу, но слогъ—принято думать—опредѣляетъ человѣка. Въ приложеніи къ Бестужеву эта мысль получаетъ яркую иллюстрацію и оправданіе. Его слогъ, претендующій на эффектъ и оригинальность, одинъ изъ современниковъ назвалъ „бестужевскими каплями" [2]), имѣя, можетъ быть, въ виду рецептъ капель гр. А. И. Бестужева-Рюмина, состоящихъ изъ раствора желѣза въ смѣси спирта съ эфиромъ. Въ переносномъ смыслѣ А. А. Бестужевъ и по слогу и по своему характеру представляетъ, дѣйствительно, полную параллель къ этому рецепту. Его характеръ, а вслѣдъ затѣмъ и слогъ складываются изъ твердыхъ и благородныхъ духов-

А. А. Бестужева его записка къ д-ру Мейеру, гдѣ онъ описываетъ свое состояніе во время болѣзни. Первые признаки тяжелой болѣзни желудка появились у Бестужева, по свид. Якушкина, еще во время заключенія на фортѣ „Слава" (Русск. Арх. 1870, стр. 1572).

[1]) Отеч Зап. 1860, май—іюль и Русск. Вѣстн. 1861, т. 32 и 1870, май—іюль.

[2]) По свидѣтельству самого Бестужева, это выраженіе пущено было въ ходъ Н. И. Гречемъ: Русск. Арх. 1869, стр. 607, изъ бумагъ Н. И. Греча, письмо Бестужева къ А. М. Андрееву отъ 9 апр. 1831 г. Дербентъ.

ныхъ элементовъ, которые однако нерѣдко растворяются въ эфирѣ его пылкаго воображенія и неудержимой страстности. Самъ онъ довольно опредѣленно говоритъ объ этой двойственности своей натуры въ письмѣ къ брату Павлу [1]). „Рѣдко (можно) найти въ одномъ человѣкѣ, какъ во мнѣ, столько здраваго разума и столько безумнаго воображенія вмѣстѣ. Правда, я предаюсь иногда глупостямъ по разсчету и, разъ приложивъ фитиль къ затравкѣ, кто удержитъ ядро? Вотъ я. Прибавь къ этому избытокъ физическихъ силъ и агентовъ природы, и ты поймешь меня". Въ этой двойственной натурѣ заложены съ одной стороны самыя нѣжныя альтруистическія чувства въ предѣлахъ семьи и родины, съ другой—самыя порывистыя и эгоистическія стремленія въ область личнаго идеала внѣ предѣловъ мѣста и времени.

А. А. Бестужевъ безконечно привязанъ и близокъ къ своей родной семьѣ; его письма къ матери и братьямъ дышатъ неподдѣльной нѣжностью. Среди опасностей кавказской жизни, которыя стерегли его изъ-за всякой горы, изъ-за всякаго вражескаго аула, онъ никогда не забываетъ попросить у „дражайшей матушки" благословенія, „которое такъ чудесно спасаетъ отъ бѣдъ и пуль" [2]); онъ глубоко скорбитъ о ея болѣзняхъ и душевныхъ страданіяхъ за судьбу дѣтей, вырванныхъ изъ семейнаго очага,—у него „сердце разрывается", когда онъ „вспомнитъ о бѣдной престарѣлой матушкѣ" [3]).

[1]) Къ брату Павлу, отъ 30 дек. 1833 г., Дербентъ.

[2]) Къ матери (ноябрь 1835, Ивановка въ Черноморіи?).

[3]) Къ брату Павлу отъ 20 апр. 1833 года, Дербентъ. Насколько вообще любовно и бережно относится А. А. Бестужевъ къ матери, указываетъ, между прочимъ, его болѣе раннее письмо отъ 11 дек. 1825 г., гдѣ онъ почти наканунѣ извѣстныхъ событій, роковымъ образомъ повліявшихъ на его жизнь, находитъ возможнымъ и нужнымъ писать матери въ самомъ успокоительномъ и нѣжномъ тонѣ, ничѣмъ не возбуждая въ ней тревожныхъ опасеній за сына. Вотъ это письмо: „Я думаю, до васъ дошли уже вѣсти, любезная матушка, что Государь скончался въ Таганрогѣ 19-го числа, отъ желчной лихорадки, рожи и воспаленія въ мозгу. Здѣсь эту новость получили въ 11-ть часовъ вечера—и сейчасъ собрался Совѣтъ. Николай Павловичъ велѣлъ присягать Константину, но Оленинъ сказалъ, что есть духовная. Принесли—и тамъ найдено было, что царствовать Ни-

Своимъ сестрамъ онъ съ рѣдкой сердечностью шлетъ пожеланія „счастья и пріятныхъ часовъ и сновъ ласкательныхъ“ [1]); заботы его о судьбѣ братьевъ Петра, Николая и Павла, среди собственныхъ невзгодъ, поражаютъ свой искренностью и энергіей; „душа крѣпко ноетъ по васъ и о васъ, и о тѣхъ, которые о всѣхъ насъ болятъ“, пишетъ онъ братьямъ Николаю и Михаилу изъ Якутска [2]). Тяготѣніе къ семьѣ составляетъ одинъ изъ постоянныхъ мотивовъ его спокойнаго настроенія, конечный идеалъ его—мирный трудъ въ мирной семьѣ. Свои мечты и сѣтованія по этому поводу онъ повѣряетъ за годъ до

---

колаю затѣмъ, что Константинъ отказался за себя и наслѣдниковъ. Однако, Николай все-таки не хотѣлъ перебить у брата; начали присягать. Всѣ приняли это хладнокровно и тихо. Полки, шедъ на присягу, не знали кому, но тихо обошлось. Теперь есть и манифестъ сената. Однако никто не знаетъ, приметъ ли Константинъ, а въ Москвѣ, говорятъ, Николаю присягнули затѣмъ, что дубликать духовной тамъ былъ. Недоумѣніе всюдѣ, всюдѣ говорятъ тихо. Слезъ немного видно даже и въ первыя минуты во дворцѣ,-когда я былъ тамъ съ герцогомъ. Пріѣзжайте скорѣе сюда. А я отложу на нѣсколько времени свою поѣздку въ Москву; надо обглядѣться. смирно ли-то у васъ? А здѣсь какъ-будто ничего не бывало, несмотря на неожиданность. Государыня молодая больна—бѣднята; Марія Ѳеодоровна печальна. Николай Павловичъ распоряжается всѣмъ и не показываетъ отчаянія. Ждутъ перемѣнъ большихъ—не знаютъ, когда будетъ Императоръ: онъ поѣхалъ въ Таганрогъ. Мы всѣ здоровы; у меня лишь теперь насморкъ небольшой. Будьте здоровы и покойны, любезная матушка. Нетерпѣливо жду васъ увидѣть и дай Богъ поскорѣе. Поцѣлуйте за меня милыхъ затворницъ. Спѣшу писать только о важномъ, ибо другія мелочи и въ умъ нейдутъ. Прошу благословенія. Сынъ вашъ Александръ Бестужевъ. P. S. Поздравляю съ прошедшимъ днемъ имянинъ вашихъ. Въ мой ангелъ были у меня гости на ужинѣ и съ дамами. Знакомые всѣ поздорову“. (Сборникъ снимковъ и автографовъ русскихъ дѣятелей 1801—1825 г. Спб. 1873, стр. 43. Письмо сообщено М. А. Бестужевымъ).

[1]) Къ матери отъ 30 авг. 1835 г., Екатеринодаръ.

[2]) Къ братьямъ Ник. и Мих. отъ 10 авг. 1828 г., Якутскъ. Семья Бестужевыхъ вообще была очень дружная; ср. Русск. Стар. 1874, т. IX, Некрологъ Е. А. Бестужевой, стр. 577: Е. А. Бестужева сама обучала грамотѣ А. А. Бестужева и потомъ на капиталъ, составившійся изъ его литературныхъ заработковъ, воспитывала сиротъ другого своего брата, Михаила.

смерти брату Павлу [1]): „Боже мой, Боже мой! когда я кончу это нищенское кочеванье по чужбинѣ, вдали отъ всѣхъ средствъ къ занятіямъ?! Объ одномъ молю я, чтобъ мнѣ дали уголокъ, гдѣ бы я могъ поставить свой посохъ и, служа въ статской службѣ государю, служилъ бы русской словесности перомъ. Видно, не хотятъ этого. Да будетъ! Но могу ли, гоняемый изъ конца въ конецъ, не проводя двухъ мѣсяцевъ на одномъ мѣстѣ, безъ квартиры, безъ писемъ, безъ книгъ, безъ газетъ, то изнурянсь военными трудами, то полумертвый отъ болѣзней, не вздохнуть тяжело и не позавидовать тѣмъ, которые уже кончили земное скитальничество? И кому бы было хуже, если бъ мнѣ было немного лучше? Неужели тяжело бросить человѣку крупицу счастія? Лѣта уходятъ: черезъ два года мнѣ сорокъ, а гдѣ за Кавказомъ могу я жениться, чтобъ кончить дни въ семействѣ, чтобъ хоть не надолго насладиться жизнью! Дорого яичко въ Христовъ день, говоритъ пословица, а моя пасха проходитъ безъ разговѣнья... и долго ли мнѣ быть Танталомъ?“

Тяготѣя къ семьѣ, бывшій декабристъ вмѣстѣ съ тѣмъ не упускаетъ случая, чтобы отмѣтить свой патріотизмъ, легальность и преданность государю; и въ этомъ отношеніи его заявленія вызываютъ полное довѣріе своею искренностью и сердечностью. „О, родина не пустой звукъ, не предразсудокъ воспитанія“, говоритъ онъ въ одномъ письмѣ къ матери [2]). „Не знаю, въ какомъ раю забылъ бы я свое туманное отечество, гдѣ цвѣлъ ребенкомъ, жилъ юношей, даже гдѣ страдалъ и погибъ: мнѣ кажется, тамъ отъ живого меня схоронено мое сердце, туда летаютъ и думы, и сны мои“. Къ этой родинѣ и къ ея дорогимъ сердцу поэта обитателямъ направлены самыя задушевныя мысли, разсѣянныя въ его рукописной тетради выписокъ [3]) въ видѣ отрывковъ или изъ собственныхъ стихотворныхъ опытовъ или изъ стихотвореній другихъ поэтовъ.

---

[1]) Въ письмѣ отъ 15 ноября 1836 г., Ольгинскій тетъ-де-повъ.

[2]) Отъ 5 янв. 1831 г. Дербентъ.

[3]) Им. Публ. Библ., бумаги А. А. Бестужева.

Блести, лети на вѣтеркѣ—
Подобны наши доли:
И я погибну вдалекѣ
Отъ родины и воли.

Такъ читается меланхолическое обращеніе поэта къ облаку, помѣченное въ тетради выписокъ датою: „1829. Якутскъ“ [1]). Къ той же далекой родинѣ и далекимъ „милымъ и ближнимъ“ обращается поэтъ въ этой рукописи и словами Жуковскаго и стихами Пушкина; между прочимъ, стихотвореніе „Птичка Божія не знаетъ“..., тщательно выписано на 8-ой страницѣ тетради между отрывками на тему о покинутой родинѣ: поэтъ-изгнанникъ въ своемъ безрадостномъ одиночествѣ завидуетъ птичкѣ, у которой—и воля и радость. По отношенію къ государю онъ чувствуетъ себя виноватымъ и готовъ „заслужить кровью прежній проступокъ передъ нимъ“, такъ какъ „уважаетъ его какъ великодушнаго монарха и любитъ какъ великаго человѣка“ [2]); онъ надѣется на „правду государя“ или на „правду Николая“, какъ сказано въ другомъ письмѣ [3]); онъ „хорошо исполняетъ свой долгъ русскаго [4]); „чувства его по отношенію къ престолу—благодарность и уваженіе“: (онъ) „никогда не смѣшивалъ подданныхъ съ властью“ [5]) и т. п. Картина мирныхъ настроеній въ душѣ поэта довершается глубокой вѣрой въ Провидѣніе, ободряющей его среди превратностей жизни [6]). Не получая долго въ Якутскѣ извѣстій о матери и думая, что ея уже нѣтъ на свѣтѣ и что судьба готовитъ ему новый ударъ, А. А. Бестужевъ пишетъ братьямъ: „Отъ матушки ни строчки, и я, признаюсь, начинаю сомнѣваться въ ея здоровьѣ, въ ея существованіи; надобна особая благодать свыше, чтобы перенести столь тяжкіе и столь час-

---

[1]) Въ изданіи сочин. Марлинскаго 1847 г. стихотвореніе это помѣчено 1828 годомъ, и второй стихъ читается иначе:

Подобно нашей долѣ...

[2]) Къ матери, отъ 4 марта 1830 г., Дербентъ.

[3]) Къ брату Павлу, отъ 20-го апрѣля 1833, (Дербентъ?).

[4]) Къ матери (ноября 1835, Ивановка въ Черноморіи?).

[5]) Къ матери, отъ 14-го іюля 1832 г. (Дербентъ?).

[6]) Ср. письмо къ Н. А. Полевому отъ 29 янв. 1831 г., Дербентъ.

тые удары. Да будетъ воля Пославшаго насъ въ міръ, я ко всему приготовленъ [1]). Настроеніе поэта, связанное съ говѣніемъ и встрѣчею Пасхи, особенно ярко рисуетъ намъ его религіозное чувство. „Исполняя долгъ христіанина и человѣка", говоритъ онъ, „мыслію прошу у васъ отпущенія за всѣ огорченія, встарину причиненныя вамъ,—равно какъ и всѣмъ въ Россіи, волей и неволей, вѣдомымъ дѣломъ и неумышленнымъ словомъ. Я говѣю на сей недѣлѣ и, Богу помогающу, надѣюсь душевно поздравить васъ съ Свѣтлымъ Воскресеніемъ Христовымъ и самъ обновленный духомъ" [2]). О наличности въ природѣ А. А. Бестужева этой стихіи кротости, самоотверженія и безкорыстной любви къ окружающимъ его людямъ свидѣтельствуютъ и нѣкоторые изъ его современниковъ. Такъ, напр., Н. И. Гречъ говоритъ, что А. А. Бестужевъ, „преисполненный ума и талантовъ", былъ въ то же время человѣкъ „добрый, откровенный, благородный" [3]); точно также М. И. Муравьевъ-Апостолъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ" дѣлаетъ объ А. А. Бестужевѣ слѣд. замѣтку: „При его впечатлительности и страстной натурѣ, Ал. Бестужевъ одаренъ былъ любящимъ сердцемъ съ рѣдкою уживчивостью" [4]).

Подъ этимъ мирнымъ традиціоннымъ покровомъ религіи, родины и семьи въ страстной натурѣ А. А. Бестужева скрывались однако сильные порывы къ широкой дѣятельности и къ мощному проявленію своего я, и благодаря этому желѣзо „бестужевскаго рецепта" растворялось въ концѣ концовъ въ смѣси эфира и спирта. Самый фактъ участія А. А. Бестужева въ дѣлѣ декабристовъ говоритъ уже за это. Въ его тетради вы-

[1]) Къ братьямъ Николаю и Михаилу отъ 10 февр. 1828 г., Якутскъ.

[2]) Къ матери отъ 10 апр. 1829 г., Якутскъ.

[3]) Н. И. Гречъ, Записки о моей жизни, Спб. 1886, стр. 393.

[4]) Русс. Стар. 1886 г., т. 51: Воспоминанія Матвѣя Ивановича Муравьева-Апостола, записанныя Александромъ Петровичемъ Бѣляевымъ въ 1883 г., стр. 527. О честности и добротѣ А. А. Бестужева свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и письмо его къ К. А. Полевому отъ 1-го іюля 1883 г., Дерб. (Русск. Вѣстн. 1861, т. 32), гдѣ онъ говоритъ объ уплатѣ своего долга вдовѣ унт.-офиц. Нестерцова и о томъ, какъ онъ вообще распоряжается своими деньгами.

писокъ, имѣющій несомнѣнно автобіографическое значеніе, среди другихъ стихотворныхъ отрывковъ, въ которые отливалась душа поэта во время его ссылки, встрѣчаемъ напр. слѣдующія строки изъ Карамзина („Пѣснь воиновъ", 1806 г.) [1]:

Нѣтъ, нѣтъ! У насъ святое знамя,
Въ рукахъ желѣзо, въ сердцѣ пламя:
Еще судьба не рѣшена!

И въ этихъ чужихъ строкахъ чувствуется собственная неугасимая вѣра изгнанника въ свое великое дѣло, которое онъ могъ признавать проступкомъ по отношенію къ личности государя и въ то же время считать подвигомъ по отношенію къ обществу и родинѣ. Порывы къ возвышенному труду на пользу человѣчества свойственны были ему съ ранней юности. Ему всегда казалось, что онъ рожденъ лучше чувствовать, нежели говорить, и болѣе дѣйствовать, чѣмъ думать" [2]). „Трудъ", говоритъ онъ [2]), „есть первый завѣтъ между небомъ и землей; польза есть первый долгъ, воздаваемый Богу черезъ руки человѣчества, и счастливъ тотъ, кто выплатилъ его болѣе, прямѣе"... Онъ съ тоской думаетъ о томъ, что уже ослабѣваютъ его „свѣтлые восторги любви и святого негодованія", что рѣже и рѣже онъ можетъ „возвышаться до геройства" [3]). Куда же дѣвались эти порывы къ мощному чувству и большому, захватывающему дѣлу? Въ чемъ причины ихъ постепеннаго замиранія?.. А. А. Бестужевъ, какъ и Печоринъ въ романѣ Лермонтова, объясняетъ свое охлажденіе и разочарованность обстоятельствами своей жизни въ раннюю молодость, имѣя въ виду, можетъ быть, воспитаніе и пустоту окружавшей его свѣтской общественной среды, въ которой его одинокая, отмѣченная особой печатью натура не находила ни поддержки, ни пищи для дальнѣйшаго развитія. Уже въ ранней молодости онъ скрывалъ подъ личиной легкомыслія и веселости тоску по идеалу и великому дѣлу и уже въ ранней

[1]) Бумаги А. А. Бестужева, тетрадь выписокъ, стр. 8; Карамзинъ. Сочин. Спб. 1848, т. I, стр. 236.

[2]) Къ Н. А. Полевому отъ 16 дек. 1831 г., Дербентъ.

[3]) Тамъ же.

молодости отвращался отъ людей и дѣйствительности и, переживая страданія Вертера, находилъ, подобно Вертеру, утѣшеніе только въ „невинности и ребячествѣ“. Вотъ какъ онъ говоритъ объ этомъ въ письмѣ къ Н. А. Полевому: [1]) „Внутренность моя была домино для свѣтскаго карнавала, съ которымъ вертѣлся я для биржевыхъ сдѣлокъ. Свѣтъ забавлялъ меня очень рѣдко, но не плѣнялъ никогда. Въ кругу своихъ я былъ собою, но вполнѣ разоблаченную душу видѣлъ только одинъ, и этотъ одинъ уже въ лонѣ Бога [2]). Ребенкомъ бываю, порой, и до сихъ поръ... и какъ бы желалъ быть имъ чаще, быть имъ долѣе... съ игрушками вѣетъ мнѣ невинность ребячества... Кратки, кратки эти минуты! Ахъ, я слишкомъ хорошо знаю людей, чтобы долго обманываться. „Отдай мой рай, отдай мой адъ, отдай мнѣ молодость назадъ“! восклицаю я съ Гете. Какъ рѣдки во мнѣ нынѣ свѣтлые восторги любви и святого негодованія, которые могли хоть на минуту возвышать меня до геройства, до увлекающаго краснорѣчія! Безстрастная судьба словно облила мою душу своимъ холодомъ, своею ночью, не украшенною ни звѣздочкой познанія: для чего преданы люди на съѣденіе злобѣ и силѣ? Я сталъ почти равнодушенъ къ страданіямъ человѣчества, которому не могу помочь словомъ. Сперва я былъ ребенокъ, стражъ запертаго льва, теперь часовой у гроба... я цвѣлъ прежде, по крайней мѣрѣ, какъ цвѣтокъ теплицы,—нынѣ цвѣту, какъ стоячая вода... Куда жъ перетянетъ сравненіе?.. Такъ или сякъ, но скажу вамъ откровенно, что въ былое время словесность считалъ я побочною своей дорогой; мнѣ казалось и кажется, что я рожденъ лучше чувствовать, нежели говорить, и болѣе дѣйствовать, чѣмъ думать. Я изувѣченный гренадеръ, который неловко берется за берды“. Независимо отъ характера окружающей поэта среды, обстоятельства жизни, особенно послѣ 1825 г., для А. А. Бестужева складывались роковымъ образомъ Уже въ Сибири его посѣщаетъ настроеніе безнадежно-

[1]) Тамъ же.

[2]) Можетъ быть, здѣсь поэтъ имѣетъ въ виду свою дружбу съ Рылѣевымъ.

сти и тоски. „Я пишу“—говоритъ онъ въ письмѣ братьямъ въ 1828 г. – „по крайней мѣрѣ черезъ одну почту и пускаю на вѣтеръ надежды, поблеклые листки осенней жизни моей. Не повѣрите, какая пустота въ сердцѣ и въ головѣ; кажется, всѣ чувства мои, растянутыя на такое огромное разстояніе, стали едва примѣтными чертами: Чита, Петербургъ, Грузія и Якутскъ стоятъ на сердцѣ моемъ, какъ гири на вѣсахъ, но стрѣлка, вопреки магниту, отвращается отъ полюса“ [1]). „Вся жизнь моя“, говоритъ онъ въ 1831 г. [2]), „была исполнена если не положеній, то впечатлѣній сильныхъ, страшныхъ, — остальныя шесть лѣтъ особенно“... „Въ лѣта юности я былъ слишкомъ вѣтренъ и не отдавалъ себѣ отчета въ цѣли моихъ желаній. Далѣе, былъ я обреченецъ, который не перелеталъ надеждою краткихъ дней впередъ... а теперь, теперь иное дѣло. Я отрубилъ канатъ, который держалъ ковчегъ мой хоть одною якорною лапой за землю обѣтованную... Я выбросилъ въ море весь грузъ надеждъ, уморилъ съ голоду желанія счастія и теперь ношусь безъ цѣли по безбрежному пространству“ [3])...

Послѣднія строки говорятъ уже о томъ, что роковыя обстоятельства жизни сдѣлали изъ поэта скитальца, потерявшаго точку опоры въ жизни и дѣятельности. Въ этомъ смыслѣ онъ даже сравниваетъ себя съ Овидіемъ, Чайльдъ-Гарольдомъ и даже Байрономъ, особенно когда вспоминаетъ, что роковая его судьба нерѣдко осложнялась людской клеветой и злобой. Возвратившись изъ экспедиціи, предпринятой за Кубань, онъ писалъ К. А. Полевому: [4]) „Печальная сторона, плоская сторона, любезный Ксенофонтъ Алексѣевичъ, наше Черноморье!.. И въ ней то осужденъ я скитаться, какъ Овидій между крымцами. Да, грустно было Чайльдъ-Гарольду покидать Англію, не оставляя въ ней ничего, о чемъ бы стоило поплакать; но каково ступить на край земли, въ которой должно жить безъ

---

[1]) Къ братьямъ, отъ 16 авг. 1828 г., Якутскъ.

[2]) Къ Н. А. Полевому, отъ 23 апр. 1831 г., Дербентъ.

[3]) Тамъ же.

[4]) Отъ 8 ноября 1835 г., Ивановка въ Черноморіи.

всякаго радостнаго чувства, хотя невообразимые труды и трудности закубанской экспедиціи могли бы вдохнуть страсть къ самой дрянной лачужкѣ съ трубою"... Въ другомъ письмѣ къ тому же лицу онъ жалуется на незаслуженное отношеніе къ нему людей [1]): „О, если бы вы знали, какъ жестоко гонитъ меня злоба людская,—вы бы не похвалы сыпали на меня, а со мной пролили бы слезы... мнѣ бы было легче. Не даромъ, но долей похожъ я на Байрона. Чего не клеветали на него? въ чемъ его не подозрѣвали? То и со мною"... Въ результатѣ этихъ ударовъ судьбы—охлажденіе къ жизни и разочарованіе въ высокихъ ея цѣляхъ. Отсюда эти неоднократныя жалобы друзьямъ на душевную апатію и вялость: „Здоровье мое хорошо... на взглядъ я еще молодецъ, въ борьбѣ силенъ; но въ воображеніи—листопадъ, въ душѣ—зима. По крайней мѣрѣ такъ кажется мнѣ, покуда что-нибудь не расшевелитъ меня. Десять лѣтъ ужъ почти я подъ пилой судьбы; а это не шутка, другъ Ксенофонтъ Алексѣевичъ! Впрочемъ, самое худое то, что она облѣнила меня какою-то апатіей и лѣнью" [2])... „Рука моя поражена на полувзмахѣ, тяжкіе путы оковали ногу, занесенную впередъ: нерастворимыя врата сгрянулись передо мною. Болѣзненная дрема держитъ меня въ своихъ объятіяхъ: если я что дѣлаю, если я что говорю, это просонки, это полугрезы!.. Порой чувствую въ себѣ, будто въ магнетическомъ снѣ, сильную душу, и не могу поднять головы... Лиллипуты-обстоятельства, мелкія страстишки путаютъ меня какъ Гулливера, тащатъ, заставляютъ на себя работать. Прочтите, пожалуйста, въ англійскомъ оригиналѣ приказъ выколоть Гулливеру глаза: это образчикъ нынѣшней реторики; есть сходство и со мною" [3]). Цѣлый рядъ стихотворныхъ отрывковъ въ „тетради-выписокъ" еще ярче иллюстрируетъ грустное настроеніе поэта, доходящее иногда до отчаянія. Вотъ—образцы, расположенные почти въ томъ же порядкѣ, въ какомъ ихъ находимъ въ этой тетради.

---

[1]) Отъ 9 марта 1833 г., Дербентъ.

[2]) Къ К. А. Полевому, отъ 3 янв. 1835 г., Ставрополь.

[3]) Къ Н. А. Полевому, отъ 19 мая 1832 г., Дербентъ.

Къ чему намъ служитъ власть, когда, ее имѣя,
Не властны мы себя счастливыми творить;
И сердца своего покоить не умѣя,
Возможемъ ли другимъ спокойствіе дарить... (Карамзинъ [1])
Вдругъ началъ тмиться неба сводъ,
Мрачнѣе и мрачнѣе;
За тучей грозною идетъ
Другая въ слѣдъ грознѣе... (Жуковскій, „Громобой“).
Не вдругъ увянетъ наша младость,
Не вдругъ восторги бросятъ насъ,
И неожиданную радость
Еще обнимемъ мы не разъ.
Но вы, живыя впечатлѣнья,
Первоначальная любовь,
О первый пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь... (Пушкинъ, „Кавк.Плѣнн.“).
Судьба насъ будто берегла,
Ни безпокойства, ни сомнѣнья!

А горе ждетъ изъ-за угла... (Грибоѣдовъ, „Горе отъ ума“).

Разочарованіе и охлажденіе души поэта сопровождается осложненіемъ въ духѣ романтизма: именно, онъ желаетъ уйти отъ дѣйствительности и погрузиться въ міръ грезъ,— обратить жизнь въ чудное сновидѣніе. „Грустныя воспоминанія о свѣтломъ дѣтствѣ, котораго не воротишь“, пишетъ А. А. Бестужевъ К. А. Полевому [2]): „мысль простираетъ между было и есть желѣзный аршинъ свой и говоритъ: это мое, это твое. Досадный раздѣлъ!.. Мысль принадлежитъ міру, чувства мнѣ. Мысль—братъ, чувства — любовница... Чувство сложнѣе, горячѣе, нѣжнѣе мысли. Но Провидѣніе спаяло обѣ половины времени, сродняло оба эти существа, слило во едино жизнь и смерть; и эта связка, эта амальгама—сонъ. Тамъ только солнце юности не только свѣтитъ, но и грѣетъ; тамъ только цвѣты любви прежней не только блистаютъ, но и благоухаютъ. Въ немъ, какъ въ котлѣ Медеи, младенѣетъ и сердце и духъ нашъ. Въ немъ, какъ въ зеркалѣ Шекспи-

[1]) Сочин., I, стр. 2: „Опытная Соломонова мудрость или мысли, выбранныя изъ „Экклезіаста“.

[2]) Отъ 23 ноября 1833 г., Дербентъ.

ровскихъ вѣдьмъ, видимъ мы туманные облики будущаго; имъ переживается порой то, чего не было и не будетъ, даже то, чего не могло быть и не можетъ статься. Но, о добрый другъ мой—блѣднѣютъ и самые сны, вянетъ солнце, тускнѣетъ небо грезъ моихъ... Кажется, огромныя буквы неизмѣримой книги этой стираются; смыслъ чаще и чаще убѣгаетъ отъ понятія, образы сливаются съ туманомъ; ощущенія поражаютъ какъ тупыя стрѣлы, не какъ мечъ раскаленный... Скажите, отчего это?.. Неужели кровь моя стынетъ? Зачѣмъ же кипитъ еще мое сердце?“.. Вмѣстѣ съ тѣмъ начинается ироническое отношеніе къ окружающему міру и къ своему духовному я, тоже свойственное романтизму. „Все относительно въ мірѣ. Что хорошо сегодня, завтра можетъ стать дурнымъ, не измѣняясь: красное тамъ—называютъ здѣсь чернымъ. Только одна истина убѣгаетъ отъ времени и пространства; но многіе ли разбираютъ ея іероглифы?“ [1]). „Мы летучія рыбки: хотимъ летѣть къ солнцу и падаемъ опять въ океанъ; со всѣмъ тѣмъ наше призваніе жить этою двойственною жизнію; покоримся ему. Если нельзя намъ ни именами, ни мыслью пробиться въ будущее, постараемся по крайней мѣрѣ разгадать, что было, и быть ровесниками настоящаго“ [2]). Обращеніе къ прошлому въ исторіи и легендѣ также характерно для романтическаго настроенія. Такъ разрушались всѣ мечты о высшихъ цѣляхъ и героическихъ задачахъ. „Вмѣсто гармоніи нахожу я въ себѣ вѣтеръ пустынный, шепчущій въ развалинахъ. Подъ крестомъ моимъ, тяжкимъ крестомъ (и болѣе нравственно, чѣмъ вещественно), падалъ я хоть на часъ, но не однажды. Духъ мой окрѣпъ; но это больше окаменѣніе, чѣмъ твердость. Двѣ только драгоцѣнности вынесъ я изъ потопа: это гордость души и умиленіе передъ всѣмъ, что прекрасно. Чуденъ сталъ внутренній міръ мой: прочтите: „The Darkness“ Байрона [3]),

[1]) Къ братьямъ Николаю и Михаилу, отъ 12 февр, 1831 г., Дербентъ.

[2]) Къ Н. А. Полевому, отъ 12 февр. 1831 г., Дербентъ.

[3]) Байронъ, Сочин. изд. 4-е Н. В. Гербеля, 1894 г., стих. „Тьма“.

Я видѣлъ сонъ, какъ будто на яву
Погасшее сіяющее солнце...

и вы схватите что-то похожее на него; это океанъ, „задавленный тяжелою мглой, недвижный, мрачный и нѣмой“, надъ которымъ мелькаютъ какіе-то неясные образы. Зима судьбы погрузила меня въ спячку... О, ежели бъ эта зима сохранила въ свѣжести чувства мои для красныхъ дней! Напрасная мольба... холодъ сохраняетъ только мертвецовъ въ своемъ лонѣ, онъ убійца жизни“ [1]).

Не сложилась та чудная гармонія духа и тѣла, идеала и дѣйствительности, о которой мечталъ поэтъ. Изъ этой разбитой гармоніи онъ вынесъ однако два уцѣлѣвшихъ отъ крушенія аккорда: „гордость души и умиленіе передъ всѣмъ, что прекрасно“. Первое свойство его индивидуальности не нуждается въ отдѣльной иллюстраціи: мы видимъ на протяженіи цѣлаго ряда лѣтъ его переписки съ близкими и друзьями, какъ ревниво охраняетъ изгнанникъ свое духовное я отъ всякой пошлости, какъ дорожитъ своимъ благородствомъ и нравственною чистотою; по собственному его выраженію, душа его „мужала“ въ несчастьяхъ, и чѣмъ сильнѣе угнетала его судьба, тѣмъ больше старался угнетенный выпрямиться духомъ. „Годъ падаетъ за годомъ въ чашу жизни тяжелою гирей—и она падаетъ ниже, ниже; но если одно понижается, то другое возникаетъ; это другое—душа! Ей одной позволено Провидѣніемъ расти и мужать между ребячествъ человѣка. Съ гордостію скажу, что я перерось облака своего жребія. Онъ можетъ разрушить мое тѣло; голова зато внѣ бурь его“ [2]). Второе—иллюстрируется главнымъ образомъ его влеченіемъ къ

---

...И міръ теперь былъ пустъ;
Онъ, нѣкогда могучій, населенный,
Пустыней сталъ безъ травъ, деревъ, людей,
Безъ времени, безъ жизни,—грудой глины.
Хаосомъ смерти. Воды рѣкъ, озеръ
И океанъ стояли неподвижно,
И въ ихъ глухихъ, безмолвныхъ глубинахъ
Ничто уже теперь не шевелилось.

(Пер. Д. Михайловскаго).

[1]) Къ И. А. Полевому, отъ 16 дек. 1831 г., Дербентъ.

[2]) Къ братьямъ Николаю и Михаилу, отъ 12 февр. 1831 г., Дербентъ

природѣ и культомъ любви и женственности; то и другое было вообще свойственно тѣмъ представителямъ данной эпохи, которые съ большимъ или меньшимъ основаніемъ претендовали на „высшую натуру". Письма къ матери и къ Полевымъ изобилуютъ описаніями природы, къ которой изгнанникъ чувствуетъ, какъ Вертеръ или Байронъ, страстное влеченіе, доходящее до пантеистическаго сліянія съ ея душой. Въ одномъ письмѣ къ К. А. Полевому поэтъ съ глубокимъ лиризмомъ описываетъ свое погруженіе въ жизнь природы [1]). „Я выѣхалъ изъ Дербента 3 апрѣля, при расцвѣтающей природѣ; но изъ Кубы, поворотивъ въ горы, опять въѣхалъ въ зиму, кой-гдѣ съ начатками весны. Дорога была трудна, но такъ прелестна, что я помнить ее буду какъ самую сладостную прогулку объ руку съ природою. Этого ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать. Да и какъ написать, въ самомъ дѣлѣ, чувство? Ибо тогда я весь былъ чувство, умъ и душа, душа и тѣло. Эти горы въ дѣвственномъ покрывалѣ зимы, эти рѣки, вздутыя тающими снѣгами, эти бури весны, эти дожди, разсыпающіеся зеленью и цвѣтами, и свѣжесть горъ, и дыханіе луговъ, и небосклонъ, обрамленный радугою хребтовъ и облаковъ... О, какая кисть подобна персту Божію? Тамъ, только тамъ можно забыть, что въ насъ подлѣ сердца есть желчь, что около насъ горе. Надъ головой кружились орлы и коршуны, но въ головѣ ни одна хищная мысль не смѣла шевельнуть крыломъ: вся жизнь прошлая и будущая сливалась въ какую-то сладкую дрему: миръ совершался въ груди моей безъ отношеній къ человѣку, безъ отношеній къ самому себѣ; я не шарилъ въ небѣ, какъ метафизикъ, не рылся въ землѣ, какъ рудокопъ, я былъ радъ, что далекъ отъ людей, отъ ихъ исторіи, спящей во прахѣ, отъ ихъ страстишекъ, достойныхъ праха.. Я жилъ, не чувствуя жизни. Говоръ ручьевъ и листьевъ наводилъ на меня мечты безъ мыслей, усталость дарила сонъ безъ грезъ"... Культъ любви и дружбы Бестужевъ, какъ и всѣ вообще представители этого момента въ роман-

[1]) Къ К. А. Полевому, отъ 3 мая 1834 г., Тифлисъ.

тизмѣ, соединяетъ съ культомъ своей „высшей натуры“: душа одареннаго отъ природы человѣка развивается полнѣе въ общеніи съ другой родственной ей душой. „Чувствую, что я получилъ душу для работы ей свойственной, что она Богомъ отдана мнѣ на воспитаніе, что ей необходимо движеніе впередъ для здравія, для счастія внутренняго. Но съ этимъ соединяется желаніе освѣжить душу дружескою бесѣдою, черпать, чтобъ не истощиться, и желаніе напрасное, жажда неутомимая. Скажу ли? сердце мое проситъ любви... послѣдніе годы, въ которые я могъ бы ожидать ее взаимно, вянутъ! Зачѣмъ, зачѣмъ шипы переживаютъ цвѣтокъ, зачѣмъ не гаснетъ огонь, когда онъ не можетъ свѣтить другимъ!“ [1]) Любовь въ этомъ смыслѣ можетъ быть, по мысли А. А. Бестужева, даже и далекой отъ грубой чувственности; повидимому, онъ желалъ, чтобы такъ именно и понимали его отношенія къ Ольгѣ Нестеровой, трагически погибшей въ его квартирѣ: „Она любила бывать со мною, какъ съ человѣкомъ просвѣщеннымъ; я желалъ быть съ ней, какъ съ умною и доброю дѣвушкою, вотъ и все“ [2]). Самъ онъ, правда, не считалъ себя стоикомъ и, претендуя на чистоту сердца, относилъ свой умъ къ категоріи умовъ 18-го вѣка: „Не повѣришь, какъ глубоко трогаетъ меня всякое паденіе невинности; всякой развратъ въ другихъ меня (оскорбляетъ), который, конечно, не стоикъ. Но сердце у меня чисто, несмотря на то, что умъ 18-го вѣка на этотъ счетъ“ [3]). Идеалъ поэта въ вопросѣ любви былъ однако и не въ чувственности и не въ исключительномъ платонизмѣ: передъ нимъ носился гармоничный образъ соединенія духовной красоты и женственной прелести, строгой нравственной выдержки и стыдливой страстности. Реальное воплощеніе этого образа онъ встрѣтилъ въ Керчи въ лицѣ супруги своего „товарища по несчастью Б.“. Разсказывая въ письмѣ къ брату Павлу [4]) исторію своего увле-

[1]) Къ Н. А. Полевому, отъ 23 мая 1831, г. Дербентъ.
[2]) Къ брату Павлу, отъ 20 апр. 1833 г., Дербентъ.
[3]) Къ брату Павлу, отъ 12 окт. 1833 г., Дербентъ.
[4]) Отъ 3—5 апр. 1837, Тифлисъ.

ченія г-жею Б., А. А. Бестужевъ выразительно и красочно характеризуетъ ее: „Собой и душой—прелесть; монастырка до конца ногтей, женщина до нитей сердца". Замѣчательно, что встрѣча и романъ Бестужева съ г-жею Б. произошли всего за нѣсколько мѣсяцевъ до его смерти, и это была, по его признанію, „женщина, какихъ (онъ) не встрѣчалъ до сихъ поръ". Это признаніе въ устахъ Бестужева заслуживаетъ особаго вниманія, такъ какъ при своемъ пылкомъ темпераментѣ онъ очень часто переживалъ „встрѣчи" съ женщинами и былъ ими очень избалованъ [1]).

Но, упоминая о „двухъ только драгоцѣнностяхъ, вынесенныхъ изъ потопа", поэтъ сознательно или невольно замалчиваетъ еще одну драгоцѣнность; это глубокое чувство гуманности, свойственное вообще эпохѣ романтизма; оно теряется въ желчномъ настроеніи скорбниковъ въ родѣ Байрона или его подражателей, но ясно ощущается въ спокойномъ творчествѣ другихъ представителей эпохи. Въ данномъ случаѣ и А. А. Бестужевъ не могъ бы сравнить себя съ Байрономъ; самыя людскія слабости его трогаютъ и вызываютъ сожалѣніе къ бѣдному человѣчеству. „Странная вещь: никогда менѣе не было мнѣ причинъ любить людей, какъ теперь, и никогда любовь къ нимъ не была во мнѣ теплѣе. Признаться сказать, я прежде любилъ ихъ или негодовалъ на нихъ какъ на братій; теперь я ихъ жалѣю какъ дѣтей. Они все видятъ косыми глазами" [2]). „Я не разлюбилъ человѣчества и теперь; отношенія мои къ нимъ были не шапочныя: я былъ обязанъ разсѣкать сердца многихъ, какъ насѣкомое, для изслѣдованія; видѣлъ его ничтожность, и оттого мало ошибался, что мало отъ людей ожидалъ. Я убѣдился, что нельзя полагаться на правила, но можно вычислить страсти ихъ, обращать на пользу общую не добродѣтели, а слабости" [3]). Любовное вниманіе къ отдѣльной индивидуальности и культъ человѣчества однако не исклю-

[1]) О характерѣ сердечныхъ увлеченій Бестужева см. Венгеровъ, Словарь, т. III, стр. 154—6, 163 - 5.

[2]) Къ братьямъ Николаю и Михаилу, отъ 12 февр. 1831 г., Дербентъ.

[3]) Къ Н. А. Полевому, отъ 23 апр. 1831 г., Дербентъ.

чаетъ въ воззрѣніяхъ А. А. Бестужева патріотизма, — „чувство отечественности“ интересуетъ его болѣе, чѣмъ космополитизмъ. Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ по этому поводу: [1]) „Человѣчество есть великая мысль, принадлежащая собственно нашему вѣку; она утѣшительна! Быть убѣждену, что если одинъ народъ коснѣетъ въ варварствѣ, если другой отброшенъ въ невѣжество, зато десять другихъ идутъ впередъ по пути просвѣщенія, и что масса благоденствія растетъ съ каждымъ днемъ, (это) льетъ бальзамъ въ растерзанную душу частнаго человѣка, утѣшаетъ гражданина, обиженнаго обществомъ. Но все это лишь въ отношеніи къ будущему, которое не должно и не можетъ уничтожать настоящихъ обязанностей человѣка. И вотъ почему я былъ горячимъ ненавистникомъ нѣмецкаго космополитизма, убивающаго всякое благородное чувство отечественности, народности. „Lassen sie es gehen und untergehen“,—прелестное правило: оно во сто разъ хуже турецкаго фатализма! „Провидѣніе знаетъ, когда и какъ лучше сдѣлать хорошее или истребить дурное“,—говорятъ они,— „слѣдственно все когда-нибудь и безъ насъ будетъ лучше или не улучшится, несмотря на насъ“. Это современный pendant къ Омарову изреченію при сожженіи библіотеки Александрійской. Мы видѣли, до какого униженія довело это безстрастіе Германію во время Наполеона! Всѣ свои „драгоцѣнности“, сбереженныя въ моментъ крушенія жизненнаго идеала, эти остальные аккорды, которые какимъ-то чудомъ вырвались изъ разбитой гармоніи жизни, А. А. Бестужевъ всецѣло воплощаетъ въ свои поэтическіе образы: въ поэзіи онъ видитъ то чудное хранилище, которое можетъ еще сберечь остатки его завѣтныхъ стремленій.

И для меня лишь въ ней одной
Цвѣтетъ прекрасная природа:
Въ ней міръ разнообразный мой,
Въ ней и веселье, и свобода!
Она лишь можетъ разогнать
Души угрюмое ненастье

[1]) Тамъ же.

И сердцу сладко напѣвать
Его утраченное счастье.

„Такъ говоритъ Козловъ о поэзіи“ [1]), добавляетъ А. А. Бестужевъ, поясняя, откуда онъ взялъ эту выписку... „Такъ думаетъ о поэзіи и А. А. Бестужевъ“, можемъ въ свою очередь сказать мы, приводя этотъ характерный стихотворный отрывокъ изъ его тетради выписокъ.

Такова первая стихія въ творчествѣ А. А. Бестужева: это—его страстная индивидуальность, которая ярко проявляется на пространствѣ всей его жизни,—отъ дѣтскихъ игръ до политическихъ увлеченій, отъ кадетскаго дневника до кавказскихъ повѣстей, отъ свѣтскихъ гостиныхъ въ Петербургѣ до снѣжныхъ тундръ и горныхъ ауловъ въ Сибири и на Кавказѣ. Страстныя порыванія его я — стать выше обыденщины и создать что-нибудь, не мелкое и скоропреходящее, но вѣчное и универсальное—живутъ въ его творчествѣ при всѣхъ неблагопріятныхъ и благопріятныхъ обстоятельствахъ и они-то и составляютъ первое условіе того романтическаго индивидуализма, которымъ характеризуются его произведенія: наличность сильной индивидуальности была уже въ самой природѣ А. А. Бестужева, — западноевропейскій романтизмъ только усилилъ ее и далъ ей свою окраску и форму. Присутствіе первой стихіи въ произведеніяхъ А. А. Бестужева станетъ очевиднымъ, если мы сравнимъ мысли героевъ его повѣстей и романовъ съ его собственными мыслями, разсѣянными въ его письмахъ; даже и форма рѣчей героевъ Марлинскаго нерѣдко совпадаетъ съ фразами Бестужева. Полковникъ В. (пов. „Аммалатъ-Бекъ“) характеризуетъ Аммалатъ-Бека слѣд. словами: „Онъ имѣетъ предоброе сердце, но сердце готовое вспыхнуть и отъ солнечнаго луча, и отъ адской искры. Природа на зубокъ подарила ему все, чтобъ быть человѣкомъ въ нравственномъ и физическомъ смыслѣ, но предразсудки народные и небрежность воспитанія сдѣлали все, чтобъ изурочить, изувѣчить эти дары природы. Умъ его чудное смѣшеніе всякихъ несообразностей,

[1]) Стихотворенія, изд. 2-е, Спб. 1902, стр. 38, Къ другу В. А. Жуковскому.

мыслей самыхъ нелѣпыхъ и понятій самыхъ здравыхъ“ [1]). Въ этой характеристикѣ нетрудно видѣть портретъ самого поэта; а послѣдняя, заключительная фраза представляетъ собою даже буквальное почти воспроизведеніе того, что сказалъ о самомъ себѣ А. А. Бестужевъ въ письмѣ къ брату Павлу: [2]) „Рѣдко (можно) найти въ одномъ человѣкѣ, какъ во мнѣ, столько здраваго разума и столько безумнаго воображенія вмѣстѣ“. Когда Аммалатъ-Бекъ говоритъ о своемъ разочарованіи, онъ повторяетъ тоже мысли и выраженія А. А. Бестужева, описывающаго свою тоску. Аммалатъ-Бекъ пишетъ о себѣ: „...Душа моя подобна теперь голой скалѣ, на которую слетаются однѣ хищныя птицы и злые духи дѣлить добычу или готовить гибель“ [3]). А. А. Бестужевъ пишетъ матери: „Время проходитъ незримо, только судьба наша, какъ неподвижная скала въ потокѣ лѣтъ, не движется къ лучшему... На этой скалѣ не зеленѣютъ теперь... цвѣты радости, на ней бѣлѣетъ только снѣгъ несчастія...“ [4]). Когда одинъ изъ героевъ Марлинскаго (Зарницкій въ разск. „Латникъ“) говоритъ, что его тоска смягчается лишь воспоминаніями дѣтства, онъ повторяетъ опять собственныя разсужденія А. А. Бестужева. Зарницкій: „И какъ я люблю переживать вновь годы этого дѣтства! Весна моя расцвѣтаетъ въ памяти чудными цвѣтами, причудливыми цвѣтами — со всѣмъ ихъ благоволеніемъ, со всею свѣжестью красокъ...“ [5]). А. А. Бестужевъ пишетъ Н. А. Полевому: „Ребенкомъ бываю порой и до сихъ поръ... и какъ бы желалъ быть имъ чаще, быть имъ долѣе... съ игрушками вѣетъ мнѣ невинность ребячества... Кратки, кратки эти минуты“ [6]). Подобно тому какъ А. А. Бестужевъ уходитъ отъ тяжелой дѣйствительности въ міръ мечтаній и сновидѣній [7]), такъ и Зарницкій находитъ

[1]) Аммалатъ-Бекъ, V, стр. 123. Сочиненія цитируются по изданію 1835—1839 г.

[2]) Отъ 30 дек. 1833, Дербентъ.

[3]) Аммалатъ-Бекъ, V, 224.

[4]) Къ матери, отъ 11 дек. 1830, Дербентъ.

[5]) Латникъ, IV, 43.

[6]) Къ Н. А. Полевому, отъ 16 дек. 1831 г., Дербентъ.

[7]) Къ К. А. Полевому, отъ 23 ноября 1835 г., Дербентъ.

успокоеніе отъ своихъ разочарованій только въ грезахъ и снѣ, который „есть лучшій уравнитель въ жизни“ [1]). Вообще герои Бестужева нерѣдко мыслятъ его мыслями и говорятъ его словами все равно, идетъ ли рѣчь о храбрости и о любви къ родинѣ, или о страстяхъ и разбитыхъ надеждахъ. Такъ напр. лейтенантъ Бѣлозоръ по поводу русской храбрости восклицаетъ: „Стыдно будетъ русскому находить въ томъ невозможность, что англичанинъ признаетъ за достойное“. И вотъ параллель къ этому восклицанію у А. А. Бестужева: „Около 1-го іюня мы двинемся за Гагры, тамъ народъ боевой и природа ужасна трудностями; надо будетъ по отвѣснымъ скаламъ пробивать дорогу подъ пулями враговъ, подъ градомъ каменьевъ и стрѣлъ, но что невозможно русскимъ?“ [2]). Или напр. русская героиня (Варвара Васильчикова) повѣсти „Наѣзды“ говоритъ своему иноземному другу (Льву Колонтаю): „Могу ли забыть, что я русская? Холодъ проницаетъ сердце, когда вздумаю, что должна буду навѣкъ отказаться отъ языка моей матери, отъ могилы отцовъ, отъ полей моей родины!“... и своему избавителю (князю Серебряному): „У меня одинъ домъ—это могила моей матери... у меня осталось одно желаніе—умереть на землѣ русской“ [3]). Тѣ же мысли выражаетъ и изгнанникъ Бестужевъ, напр. въ письмѣ къ брату Павлу: „Очень радъ, любезный Поль, твоему счастью: ты видѣлъ родину, ты молился тамъ, гдѣ крестился; послѣ этого легче и умереть. Ахъ, и я хотѣлъ подышать роднымъ воздухомъ прежде кончины, которая, между нами будь сказано, кажется, отъ меня не далека, несмотря на мои широкія плечи и здоровый видъ“ [4]).

Иногда Бестужевъ совершенно сливаетъ себя съ личностью своего героя и въ образѣ его рисуетъ не только свои воспоминанія о прожитомъ прошломъ, но и предчувствія рокового будущаго,—предчувствія, къ сожалѣнію, безошибочныя. Вотъ

---

[1]) Латникъ, IV, 42.

[2]) Къ К. А. Полевому, отъ 12 мая 1837 г., „Въ сердцѣ Цебельды“.

[3]) Наѣзды, II, стр. 113—114, 166.

[4]) Къ брату Павлу, отъ 8 февр. 1835 г., Невинный Мысъ.

для примѣра одинъ отрывокъ автобіографическаго характера. „Онъ былъ убитъ, убитъ наповалъ, и въ самое сердце. Его тайны легли съ нимъ въ гробъ; немногіе цвѣтки изъ вѣнка его мечтаній отдаю я свѣту. Пусть обрываетъ ихъ злословіе или участіе лелѣетъ: ни для друзей, ни для враговъ не покажу я остального. Любовь и ненависть были ему равно гибельны въ жизни: зачѣмъ же я брошу въ ихъ тревожненіе память друга? А сколько ума, сколько познанія насыпано тамъ! Какою теплою любовью къ человѣчеству все это согрѣто! Но пусть все это не имѣло бы никакой цѣны для словеснаго богатства человѣка: его дѣйствительный бытъ былъ лучшимъ его твореніемъ. Душа общества въ веселую пору, онъ не покидалъ изголовья больного товарища, не спалъ ночей, ухаживалъ за нимъ, какъ нѣжная мать, сносилъ всѣ причуды, какъ самый покорный служка. Его рука и кошелекъ были открыты для каждаго: никто не удалялся отъ его порога съ тяжелымъ словомъ—нѣтъ! Кто вѣрнѣе его служилъ Государю словомъ и дѣломъ? Кто бывалъ впереди его въ жаркой битвѣ? Однимъ словомъ, кто былъ достоинѣе назваться человѣкомъ, и кто носилъ это имя съ большимъ благородствомъ"? [1]).. Этими строками, посвященными герою разсказа, поэтъ пишетъ себѣ эпитафію, предчувствуя близкую и безвременную кончину [2]).

Такимъ образомъ А. А. Бестужевъ передавалъ своимъ героямъ не только свое индивидуальное настроеніе, но и свои мысли, фразы, слова. Его многочисленные читатели и читательницы видимо чувствовали это, и въ ихъ воображеніи личность Марлинскаго невольно сливалась съ личностями героевъ его романовъ и повѣстей. И это вполнѣ понятно, потому что Марлинскій дѣйствительно походилъ на своихъ героевъ не только по міровоззрѣнію, но даже и по внѣшнему виду и образу жизни. Въ одномъ описаніи встрѣчи Пушкина съ Бестужевымъ на Кавказѣ (описаніи, правда, не подтвержденномъ критикою со стороны подлинности) рисуется въ лицѣ

[1]) „Онъ былъ убитъ", т. 10 стр. 303—4.

[2]) У Бестужева вообще есть повѣсти съ личными признаніями автора, о нихъ см. Н. Котляревскій, Декабристы, (изд. 1907, гл. XXXII, стр. 368.

Бестужева портретъ скорѣе какого-то разочарованнаго Аммалатъ-Бека, чѣмъ автора „русскихъ повѣстей и разсказовъ". „Я кочевалъ — разсказываетъ будто бы Пушкинъ, — съ утеса на утесъ, ободряя его шпорами въ бока, то гладя по шеѣ моего борзаго горца. Привыкшій ко всѣмъ ужасамъ кавказскихъ картинъ, конь мой, прядая ушами и осторожно переступая съ ноги на ногу, морщилъ свои огненныя ноздри. Я завидѣлъ вдали всадника въ чудной одеждѣ, онъ летѣлъ и, казалось издали, падалъ со скалы на скалу. Мы поровнялись—то былъ Бестужевъ! Цѣлованья, обниманья, безотвѣтные вопросы и отвѣты не на вопросы были слѣдствіемъ этой неожиданной и пріятной для насъ обоихъ встрѣчи. Мы еще—и въ сотый разъ обнялись, и пошли дѣльные другъ другу вопросы. Бестужевъ разсказывалъ о своемъ житьѣ-бытьѣ. Я его слушалъ, читая половину его жизни въ этихъ слезахъ, которыя нежданно оросили его огненныя очи. Я понялъ, каково его существованіе, я понялъ, что жизнь ему не дороже полушки. Онъ говорилъ мнѣ, что давно уже ищетъ возможности окончить со славой и честью свое опятненное плаваніе по океану жизни. — „Я жажду вѣтровъ,—говорилъ онъ:—я жажду бурь, гдѣ бы могъ явить себя спасителемъ существъ, счастливыхъ болѣе, чѣмъ я... О, если бъ эта рука когда-нибудь могла покрыться кровью враговъ отечества и смыть печать заблудшагося сердца, я съ радостью, съ благословеніемъ тому, кто мнѣ послалъ бы этотъ случай, принесъ (бы) на жертву самого себя, а что мнѣ жизнь теперь!.." Онъ не кончилъ еще разсказа, я не успѣлъ еще стряхнуть слезу ребячества, несносно щекотавшую мнѣ глазъ, — какъ всадникъ мой исчезъ. Гляжу, оглядываюсь—нѣтъ его! Въ пять прыжковъ конь вынесъ меня на остріе скалы: внизу, въ ужасной глубинѣ шумитъ рѣка— и въ волнахъ плещется Бестужевъ! Я обмеръ отъ страха. Онъ рухнулся стремглавъ въ чернѣющую бездну, я испугался, а онъ, шалунъ Бестужевъ, онъ махаетъ шапкой и кричитъ: „Не бойся, Пушкинъ, я не умеръ... я живъ еще, къ несчастью моему... но вотъ, мой другъ, какъ дорого цѣню я жизнь!" [1]).

[1]) Истор. Вѣстн. 1885, т. XXII, стр. 414: П. Мартьяновъ. Три встрѣчи

Эта сценка, независимо отъ достовѣрности самого документа, очень тѣсно сближаетъ Бестужева съ его разочарованными и въ то же время страстными „высшими натурами“. Геройская смерть его еще болѣе способствовала этому сближенію. Къ одному изъ разсказовъ о послѣднихъ минутахъ Марлинскаго [1]) присоединенъ авторомъ характерный эпиграфъ, взятый изъ произведеній самого Марлинскаго и представляющій завѣщаніе одного изъ его героевъ: „Если жъ паду на чужбинѣ, я бы хотѣлъ быть схороненнымъ на берегу моря, у подножія горъ, глазами на полдень, — я такъ любилъ горы, море и солнце! Пускай и по кончинѣ согрѣваетъ меня взоръ Божій, пусть вѣетъ на меня горный вѣтерокъ, пусть шипучія волны прибоя напѣваютъ и лелѣютъ вѣчный сонъ мой“ [2]). Примѣняя къ самому Бестужеву слова его же героя, авторъ этимъ эпиграфомъ возводитъ поэта на степень одной изъ тѣхъ „высшихъ натуръ“, которыхъ онъ такъ любилъ рисовать при жизни, и ставитъ геройскую его смерть въ рядъ событій, обвѣянныхъ поэзіей романтизма. Отожествленіе Марлинскаго съ его героями сдѣлало однако и еще шагъ впередъ. Обстоятельства его смерти, хотя и засвидѣтельствованныя очевидцами, не удовлетворили пылкой фантазіи его почитателей, привыкшихъ въ любимомъ авторѣ видѣть что-то загадочное, что-то сверхчеловѣческое: они желали и самую смерть его объяснить какими-либо таинственными, фантастическими причинами, но этого объясненія имъ не давали [3])... Благодаря этому,

---

(Изъ старой записной книжки). Встрѣча А. С. Пушкина съ А. А. Бестужевымъ на Кавказѣ (Страница изъ кавказскаго дневника Пушкина, не попавшая въ „Путешествіе въ Арзерумъ“). Весьма похожую сцену встрѣчаемъ въ пов. „Мулла-Нуръ“, гл. X.

[1]) Иллюстрація, 1848, № 24: Послѣднія минуты Марлинскаго. Л. К—ъ (статья написана въ 1844 г. и заимствована изъ виленскаго журнала Athenaeum).

[2]) „Онъ былъ убитъ“, второй отрывокъ (изъ дневника убитаго офицера), т. 10, стр. 287—8.

[3]) Между тѣмъ обстоятельства смерти Бестужева среди опасностей кавказской жизни не были исключительными: такою смертью умирали и другіе. Такъ напр. Н. И. Лореръ описываетъ подобный же случай и вспоми

вѣроятно, возникъ въ устной традиціи вопросъ: куда дѣвался Марлинскій? И вотъ молва окружила образъ Марлинскаго самыми яркими красками и самыми вычурными тѣнями. Когда онъ погибъ, долгое время его исчезновеніе объяснялось самыми невѣроятными и въ то же время красочными причинами. Говорили, что онъ бѣжалъ къ горцамъ и тамъ служитъ у Шамиля не то командиромъ артиллеріи, не то такъ даже и главнокомандующимъ; говорили даже, что издаетъ въ горахъ газету. Многихъ интересовалъ этотъ вопросъ, и всякій старался разрѣшить его какъ можно причудливѣе, руководясь своей личной фантазіей [1]).

---

нается при этомъ Бестужева (Русск. Арх. 1874. т. II: Изъ записокъ П. П. Лорера, стр. 681): „Въ одну изъ такихъ остановокъ, вражеская пуля поразила Лихарева въ спину навылетъ, и онъ упалъ навзничь; ожесточенная толпа горцевъ изрубила трупъ такъ скоро, что солдаты не поспѣли на выручку останковъ товарища-солдата. Гдѣ кости сибирскаго товарища моего? Подобною смертью погибъ безслѣдно и Александръ Бестужевъ".

[1]) Семейный Кругъ, 1858—9, октябрь: В. Савиновъ, Куда дѣвался Марлинскій. Геройская смерть Бестужева, закончившая его полную романтическаго обаянія жизнь и дѣятельность, вызывала поэтическія думы и фантастическіе образы даже и за предѣлами его отечества. Между прочимъ, въ чешской литературѣ 50-хъ годовъ есть стихотвореніе, посвященное памяти А. Бестужева, съ эпиграфомъ изъ „Кавк. Плѣнника" Пушкина. Въ панорамѣ величественной природы чешскому поэту явл ется тѣнь русскаго поэта-воина, умирающаго въ бою геройскою смертью:

Hor kavkazskych chlumy lazurové
S Elborusem věčně zasněženým
Přede mnou se táhly dlouhou stěnou
Mezi zem a nebe rozprostřenou;
Na podnoří hradba pralesů
Pod vánim se větrů uklánělа,
Rozdrážděných hejna Čerkesů
Na praporce orlí dorážela.
Pod těmito znaky vyšel v jev
Chrabrý vojín jiskrnatých zraků
K odporu vždy hotov bez rozpaku;
On jak novočasný Promethev,
Ke kavkazské přikovaný skále,

Ve vyhnanství hledal smrti stále,
Až ji našel, vězen Bestužev,
Jemuž Marlinského slavné jméno,
Které věkem věků bude ctěno,
Bratři jeho dali za přezděv.
Ňádra jeho na půl obnažená
Stužkou cervenou potáhla krev
Olovem čečenskym vycezená.
Stužka tato zdobila mu ňadra
Krásněji než tkanice a řády,
Které okrásila středrost vlády
Diamantem nejdražšího jádra,
Perlami též ceny nejvzácnejší,

Но вкладывая въ своихъ героевъ свое собственное я съ его мечтательными порывами къ идеалу, Бестужевъ, видимо, широко пользовался въ своей художественной дѣятельности также и своими наблюденіями надъ окружающею его реальною жизнью, и въ этомъ отношеніи также обнаруживалась личная стихія его творчества, независимая отъ западноевропейскихъ образцовъ. Уже современники замѣтили это; такъ напр. основа повѣсти Аммалатъ-Бекъ была признана „былью дѣйствительною, которую за Кавказомъ знаетъ всякій“ [1]); въ той же повѣсти современники искали и находили черты личности А. П. Ермолова [2]). Въ самомъ процессѣ творческой работы мысли Бестужева были явные признаки самостоятельнаго, свободнаго отъ подражанія, углубленія въ свой внутренній и въ окружающій его внѣшній міръ. Этотъ процессъ тоже не укрылся отъ наблюденія современниковъ. Одинъ изъ нихъ, Я. И. Костенецкій, разсказываетъ объ этомъ такъ: „Бестужевъ не любилъ говорить о своихъ сочиненіяхъ, да и вообще разговоры его были большею частью шутливые и веселые, рѣдко серьезные. При мнѣ онъ ничего не писалъ, но часто,

Za odměnu služby nejvěrnější. — Kteří nade břehy Tereku
A když jsem chtěl promluviti k němu. — Valnou zanímali paseku.
Stín ten zmizel v druhých stínů temu,

(I. P. Koubka „Sebrané spisy“, Praha 1857, díl I, str. 101 — 105: Alexander Bestužev, báseň z cyklu „Hroby básníků slovanských“).

[1]) Сѣв. Пчела, 1833, № 39, Новыя книги: „Русскія повѣсти и разсказы“.

[2]) Русск. Стар., 1872, т. VI: А. П. Ермоловъ, стр. 490. Впрочемъ самъ А. П. Ермоловъ находилъ, что Бестужевъ въ своей повѣсти изобразилъ его силу и ловкость гиперболически. Объ этомъ сохранилось такое свидѣтельство: „Какъ-то разъ, когда мы были одни, мнѣ вздумалось спросить у Алексѣя Петровича, правда ли то, что разсказалъ о немъ Бестужевъ-Марлинскій, въ повѣсти Аммалатъ-Бекъ, будто бы онъ ссѣкалъ быку голову кинжаломъ?—Нѣтъ, неправда!—отвѣчалъ Ермоловъ:—я никогда не пробовалъ это дѣлать; даже, сказать откровенно, едва-ли бы мнѣ это удалось. Тутъ нужна особая сноровка и навыкъ; безъ навыка никакое богатырство не поможетъ. А силенъ я былъ это точно; ужасъ какъ былъ силенъ“. (Русск. Арх. 1872, т. I: Н. Бергъ. Встрѣча съ А. П. Ермоловымъ, 989).

когда его посѣщала какая-либо мысль, которую боялся забыть впослѣдствіи, онъ садился къ письменному столу и записывалъ ее“ [1]). Это показаніе подтверждается и другимъ лицомъ: „Бестужевъ, въ счастливыя еще времена петербургской жизни, бывая у родныхъ, часто выходилъ изъ-за стола, когда, при разговорѣ, приходила ему удачная мысль или остроумное выраженіе, и записывалъ ихъ на первомъ попавшемся подъ руку лоскуткѣ бумаги. На такихъ отдѣльныхъ листочкахъ, присланныхъ сестрѣ Бестужева, Еленѣ Александровнѣ, вмѣстѣ съ вещами, оставшимися послѣ покойнаго, написано было начало повѣсти Вадимъ“ [2]). Въ частности о процессѣ созданія этой повѣсти („Вадимовъ“) тотъ же Я. И. Костенецкій разсказываетъ слѣдующее: „Слышавъ отъ многихъ, что онъ (Бестужевъ) пишетъ новый романъ, подъ названіемъ „Вадимъ“, я спросилъ его объ этомъ. Онъ сказалъ, что дѣйствительно думаетъ о новомъ романѣ, но что онъ только въ проектѣ и еще почти ничего не написано. Однажды, поздно вечеромъ, пошли мы съ нимъ въ крѣпость, на ужинъ къ Шипшиковымъ [3]). Ворота крѣпости были уже заперты, и надобно было подождать довольно долгое время, пока принесли ключи. Ночь была теплая и чудная, мѣсяцъ ярко освѣщалъ окрестность. Пониже крѣпости лежалъ въ почномъ безмолвіи, протянувшись къ морю, городъ, и возлѣ него, на необозримое пространство, разстилалось море, мѣрно и вѣчно рокочущее своими пѣнящимися волнами. Такая ночь и такой видъ воодушевили Бестужева, и я въ первый еще разъ слышалъ его серіозную и пламенную рѣчь. Онъ разсказывалъ мнѣ содержаніе своего романа, излагалъ нѣкоторыя его сцены и вообще былъ въ самомъ восторженномъ настроеніи... а я и восхищался чудно рисуемыми сценами романа, и плѣнялся вдохновеніемъ поэта, съ пылающимъ взоромъ, обращеннымъ къ морю, мысленно унесшимся въ поэтическія страны фантазіи и вымысла!.. Те-

[1]) Русск. Стар. 1900, т. 4, стр. 450: А. А. Бестужевъ (Изъ воспоминаній Я. И. Костенецкаго).

[2]) Тамъ же, примѣч. Свѣзева.

[3]) Комендантъ въ Дербентѣ.

перь я забылъ совершенно и содержаніе романа, и его подробности, но очень помню видъ вдохновеннаго поэта, на минуту увлекшагося своими поэтическими мечтами" [1])... Уцѣлѣвшія отъ крушенія драгоцѣнности своей души поэтъ облекалъ въ художественные образы...

---

2. Вторая стихія въ романтическомъ индивидуализмѣ Бестужева: вліяніе западноевропейской романтики на его поэтическое творчество. Опредѣленіе романтизма у Бестужева; взглядъ его на происхожденіе и сущность романтической поэзіи. Отношеніе его къ представителямъ западноевропейскаго романтизма к. XVIII и н. XIX стол.; преклоненіе передъ В. Гюго, увлеченіе Байрономъ. Признаніе своей зависимости отъ западноевропейскаго романтизма и характеръ ея: подражаніе иностранцамъ „въ частностяхъ и въ почеркѣ". Связь произведеній Бестужева съ западноевропейской романтикой по содержанію: индивидуализмъ европейскихъ романтиковъ въ его творчествѣ. Мысли и рѣчи героевъ Гете и Шиллера, Гюго и Байрона въ устахъ „высшихъ натуръ" Бестужева. Преобладающее вліяніе индивидуалистической поэзіи Байрона на характеръ произведеній Бестужева по содержанію. Связь произведеній Бестужева съ западно-европейской романтикой по формѣ. Общій характеръ романтическаго стиля. Поэтическій словарь сентименталистовъ. „геніальный" стиль поэзіи Sturm-und-Drang'a, индивидуализирующій слогъ романтиковъ. В. Гюго—какъ характерный представитель романтическаго стиля. Связь его стиля съ индивидуалистическимъ направленіемъ романтической поэзіи и отличительныя его свойства. „Культъ слова" у В. Гюго; отношеніе къ нему критики антиромантическаго лагеря. Слогъ Бестужева; природная склонность къ „блесткамъ"; свидѣтельства о ней современниковъ и самого Бестужева; проявленіе „кипучаго слога" Марлинскаго въ частныхъ и офиціальныхъ письмахъ Бестужева. Дальнѣйшее развитіе „блестокъ" Бестужева подъ вліяніемъ романтическаго стиля западноевропейской поэзіи. Близость его стиля къ „культу слова" В. Гюго. Образцы стиля Бестужева въ его черновыхъ выпискахъ и замѣткахъ; сходство ихъ по языку съ „повѣстями и разсказами". Главные пріемы и средства стиля Бестужева, сближающіе его съ литературной манерой романтиковъ вообще и В. Гюго въ частности: эпитеты, сравненія и антитезы; постоянное стремленіе къ пластикѣ въ описаніи и въ разсказѣ. Соотвѣтствіе второй стихіи творчества Бестужева запросамъ времени.

Сознавая въ себѣ отъ природы сильную индивидуальность, Бестужевъ и въ творчествѣ искалъ своеобразныхъ и сильныхъ формъ для выраженія своего я. Старая литературная школа не могла его удовлетворить въ этомъ отношеніи, и вотъ онъ обращается къ тому, что составляло сущность переживаемаго имъ общественнаго и литературнаго момента,—онъ обращается

---

[1]) Русск. Стар. 1900, т. IV...

къ романтизму. Его природный индивидуализмъ сходится съ индивидуализмомъ романтическимъ, и, облекая порывы своего духа въ западноевропейскую романтическую форму, онъ почти на два десятилѣтія завладѣваетъ вниманіемъ русскаго общества. Западноевропейскій романтизмъ является такимъ образомъ второй стихіей въ творчествѣ Бестужева, вліяя на поэтическое воспроизведеніе имъ типа высшей натуры съ ея своеобразными индивидуалистическими стремленіями къ новому идеалу жизни.

И самъ А. А. Бестужевъ не отрицаетъ своей близости къ западноевропейскимъ образцамъ, особенно къ представителямъ французской романтики. Взглядъ его на состояніе современной ему европейской литературы достаточно уже былъ выясненъ въ его критическихъ статьяхъ. Это состояніе онъ опредѣляетъ словомъ „романтизмъ“ и понимаетъ подъ нимъ одинъ изъ неизбѣжныхъ фазисовъ духовнаго развитія Европы. „Мы живемъ въ вѣкѣ романтизма. Есть люди, есть куча людей, которые воображаютъ, что романтизмъ въ отношеніи къ читателямъ мода, въ отношеніи къ сочинителямъ причуда, а вовсе не потребность вѣка, не жажда ума народнаго, не зовъ души человѣческой... Другіе простираютъ старовѣрство до невѣрія, до безусловнаго отрицанія бытія романтизма... Можетъ ли сомнѣніе въ истинѣ уничтожить самую истину, и неужели романтизмъ, заключенный въ природѣ человѣка и столь рѣзко проявленный на самомъ дѣлѣ, перестанетъ быть отъ того, что его читаютъ не понимая или пишутъ о немъ не думая? Мы живемъ въ вѣкѣ романтизма“... Такъ настойчиво выражаетъ онъ въ одной изъ своихъ статей [1]) признаніе за своимъ вѣкомъ романтическаго направленія. Это романтическое направленіе, по мнѣнію Бестужева, вообще свойственно уму человѣка, какъ актъ его самосознанія, но оно въ древности почти не обнаруживалось, такъ какъ какъ не было для этого благопріятныхъ условій. Начало обнаруженія романтизма Бестужевъ

---

[1]) Моск. Тел., 1833, ч. LIII: О романахъ и романтизмѣ. (По поводу романа Н. Полевого „Клятва при гробѣ Господнемъ“).

видитъ уже во всемъ своеобразномъ складѣ европейской жизни, начиная еще съ среднихъ вѣковъ, а расцвѣтъ его усматриваетъ въ современной эпохѣ, — говоря точнѣе, въ литературѣ к. XVIII и н. XIX стол. Романтическая поэзія — это, по его понятію, поэзія новой, христіанской Европы, въ отличіе отъ поэзіи античной; сущность ея—изображеніе европейской жизни, отличающейся отъ антицизма и по внѣшнему и по внутреннему складу. Въ особенности же свойственно поэзіи романтизма, какъ и всей новоевропейской христіанской культурѣ, художественно выражать жизнь человѣческаго духа во всѣхъ его проявленіяхъ: насколько въ классицизмѣ преобладаютъ вещественные образы, настолько въ романтической поэзіи царствуетъ человѣческая душа, — мысль, чувство, воля человѣка; романтическая поэзія поэтому имѣетъ по преимуществу индивидуалистическій характеръ. Самый терминъ „романтизмъ“ Бестужевъ считаетъ простой случайностью, но сущность этого духовнаго явленія признаетъ исторической необходимостью. „Въ зернѣ пороха“, говоритъ онъ по этому поводу, „заключалась уже вся система паровыхъ и воздушныхъ машинъ, ибо дымъ его есть и паръ и газъ вмѣстѣ; но сколько вѣковъ протекло, покуда не угадали въ природѣ силы расширяемости, стрѣляя каждый день изъ ружей! Едва ль не то же и съ романтизмомъ было; но изобрѣтеніе (не созданіе, замѣтьте) его полагаю я въ эрѣ христіанства. Арабы и скандинавы дали только грань ему; первообразъ возникъ именно крестомъ. Я только объ имени романтизма разумѣлъ, говоря о случайности — не объ идеѣ, не о сущности, ибо не менѣе другихъ убѣжденъ въ различіи классицизма отъ романтизма. Я думаю только что послѣдній—ровесникъ уму человѣческому, хотя онъ и рѣдко проявлялся въ древности: идея можетъ „быть“ и вовсе не проявляясь, ибо иное дѣло бытіе, иное дѣйствіе“ [1]). Въ вышеуказанной статьѣ А. А. Бестужевъ подробно разбираетъ вопросъ о томъ, какъ европейская жизнь и литература

[1]) Къ К. А. Полевому, отъ 4 янв. 1833 г., Дербентъ.

дошла до своего романтическаго фазиса [1]): въ письмахъ же съ Кавказа онъ говоритъ главнымъ образомъ объ отдѣльныхъ представителяхъ европейской романтики, считая вопросъ о наличности въ современной ему Европѣ „вѣка романтизма“ совершенно яснымъ и рѣшеннымъ.

Какъ истый представитель „вѣка романтизма“, А. А. Бестужевъ ставитъ во главу угла двухъ великихъ геніевъ слова—Гомера и Шекспира, „этихъ двухъ сердцевѣдцевъ“ [2]), постигшихъ въ совершенствѣ „тайну“ природы человѣка. Но изъ представителей собственно романтическои литературы его интересуютъ по преимуществу французскіе романтики. Нѣмецкихъ поэтовъ онъ началъ изучать, повидимому, только уже въ изгнаніи, въ далекой Сибири. „Dernièrement on m'a envoyé les classiques allemands et latins“, пишетъ онъ изъ Якутска братьямъ въ іюнѣ 1828 года [3]). Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ сообщаетъ имъ же, что хочетъ „погрузиться въ нѣмецкое море сбирать кораллы и ловить янтари поэзіи“. [4]). Оказывается, что его особенно въ „нѣмецкомъ морѣ“ поэзіи занимаютъ Шиллеръ и Гете. „Я теперь плотно принялся за германизмъ, на дняхъ кончилъ Валленштейна, и теперь ломаю голову надъ Фаустомъ“,—пишетъ онъ братьямъ [5]). Вмѣстѣ съ тѣмъ мы узнаемъ, что Бестужевъ, благодаря природной даровитости, быстро овладѣлъ до тѣхъ поръ недоступнымъ для него нѣмецкимъ языкомъ и уже читаетъ самостоятельно нѣмецкихъ классиковъ. „Pour moi, je plonge dans le germanisme et... dans l'espace d'un mois de lecture je suis à même de lire Shiller et Gœthe sans l'aide de personne“ [6]). Но Гете все-таки не давался Бестужеву. „Гете меня затрудняетъ“,—пи-

---

[1]) Подробнѣе о литературной теоріи романтизма въ изложеніи А. А. Бестужева и Н. А. Полевого см. Замотинъ, Романтизмъ 20-хъ годовъ XIX ст. въ русск. литер., гл. III.

[2]) Къ Н. А. Полевому, отъ 25 іюня 1832, Дербентъ.

[3]) Къ братьямъ Ник. и Мих., отъ 16 іюня 1828 г., Якутскъ.

[4]) Къ нимъ же, отъ 25 сент. 1828, Якутскъ.

[5]) Къ нимъ же, отъ 9-го дек. 1828 г., Якутскъ.

[6]) Къ нимъ же, отъ 14 дек. 1828, Якутскъ.

шетъ онъ.—„Мое упорство понять непонятное часто утомляетъ меня“ [1]). Такой глубокій мыслитель, какъ Гете, подавлялъ его [2]) и, видимо, мало подходилъ къ его индивидуальной манерѣ мыслить и писать. Ему болѣе сродни и болѣе по плечу было французское поэтическое творчество 20—30-хъ годовъ XIX столѣтія. Вотъ почему на французскихъ романтикахъ поэтъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе. Онъ читаетъ ихъ всѣхъ съ интересомъ, а передъ однимъ даже и „благоговѣетъ“. Этотъ одинъ—Гюго. Въ одномъ письмѣ къ Н. А. Полевому [3]) онъ дѣлаетъ краткій обзоръ поэтическихъ твореній шефа французской романтической школы сравнительно съ другими ея представителями. „Не вините крѣпко меня за Бальзака (пишетъ онъ): я человѣкъ, который иногда можетъ заслушаться сказкой, плѣниться игрушкой, точно такъ же, какъ сказать или сдѣлать дурачество. Вотъ почему и Бальзакъ увлекъ меня своей „Шагреневою кожей“. Тамъ есть сильныя вещи, есть мысли, если не чувства глубокія. Выдумка стара, но форма ея у Бальзака яркая, чудная, и потомъ онъ мастеръ выражаться. Зато въ повѣстяхъ его я, признаюсь, нашелъ только одинъ силуэтъ ростовщика, рѣзкимъ перстомъ набросанный. Въ Ходье и сроду ничего не находилъ и не постигаю дешевизны похвалъ французской публики: она со всякимъ краснописцемъ носится будто съ писаною торбой. Передъ Гюго я ницъ... Это уже не даръ, а геній во весь ростъ. Да, Гюго на плечахъ своихъ выноситъ въ гору всю французскую словесность и топчетъ въ грязь все остальное и всѣхъ насъ писакъ. Но Гюго виденъ только въ „Notre-

[1]) Къ братьямъ, отъ 25 марта 1829 г., Якутскъ.

[2]) Другой великанъ поэзіи, подавлявшій А. А. Бестужева, былъ Гомеръ. „Пробѣгаю понемногу и Гомера въ переводѣ (пишетъ онъ къ братьямъ въ п. отъ 25 апр. 1828 г. изъ Якутска), но я не могу вдругъ вынесть его, il écrase de sa grandeur et mon entendement fléchit sous le poids des pensées qu'il reveille“. Очевидно, его болѣе увлекала въ поэзіи индивидуальная страстность, игра мыслей и чувствъ, краски слова, но универсальное міросозерцаніе Гомера или Гете его давило и угнетало своей глубиной и необъятнымъ круговоромъ.

[3]) Къ П. А. Полевому, отъ 18 мая 1833 г., Дербентъ.

Dame“ (говоря о романахъ). Его „Han d'Islande“—смѣлая, но неудачная попытка ввести бойню въ будуары. „Бюгъ-Жаргаль“ — золотая посредственность. И замѣтьте, что Гюго любитъ повторять свои лица и свои основныя идеи вездѣ. Ганъ, Оби, Квазимодо—уроды въ нравственномъ и физическомъ родахъ... потомъ самопожертвованіе въ „Бюгѣ“, въ „Гернани“, въ „Маріонъ де-Лормъ“... Это правда, что онъ какъ по лѣстницѣ идетъ выше и выше по этимъ характерамъ; но Шекспиръ, человѣкъ болѣе геніальный, этого не дѣлалъ, а намъ, менѣе даровитымъ, на это нельзя и покуситься. Надобна адская роскошь Байрона въ приправахъ, чтобы разнообразить вырванное изъ человѣка сердце, которымъ кормитъ онъ читателя. „Кромвель“ холоденъ и растянутъ: изъ него можно вырѣзывать куски, какъ изъ арбуза, но цѣликомъ—нѣтъ. Маріона прелестна: это Гецъ для времени Ришелье. Полагаю, что „Борджія“ достойна своей славы, и жажду прочесть ее. Кстати, „Послѣдній день осужденнаго“ — ужасная прелесть!.. Это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильйотиной. Пускай жмутся крашеныя губы и табачные носы, читая эту книгу... пускай подсмѣиваются надъ нею кромѣшные журналисты—имъ больно даже и слышать объ этомъ, каково же выносить это!.. О, Дантовъ адъ — гостиная передъ ужасомъ судилищъ и темницъ, и какъ хладнокровно населяемъ мы ть и другія!“.. Подобную же параллель между Гюго и его современниками, именно Бальзакомъ, мы встрѣчаемъ въ перепискѣ съ братьями [1]). „У Бальзака много хорошаго, но учиться у него я не буду. Разбери глубже, и ты увидишь, что онъ болѣе блестящъ, чѣмъ ясенъ. Кромѣ того, что онъ пересаливаетъ олицетвореніе кстати и не кстати и часто одно и то же въ разныхъ соусахъ; кромѣ того, что онъ торопится за золотыми яблоками Аталанты, онъ слишкомъ разъединяетъ страсти своихъ лицъ: эта исключительность не въ природѣ. Такъ лучшее изъ его лицъ, госпожа Жюль, и ухомъ не ведетъ, что за нее давятъ, рѣжутъ и отравляютъ людей. Естественно ли

[1]) Къ Н. и М. Бестужевымъ, отъ 21 дек. 1833 г., Дербентъ.

это? Ужели совѣсть ея чиста или спокойна отъ любви къ мужу или отъ того, что она убиваетъ не своими руками! Будь увѣренъ, что я не выставилъ бы такого лица на поклоненіе... Странно, что у васъ *** такъ возвышаютъ Бальзака, а молчатъ про В. Гюго, генія неподдѣльнаго, могучаго. Его „Notre-dame", его „Marion de Lorme", „Il s'amuse" и „Borgia"—такія произведенія, которыхъ страница стоитъ всѣхъ Бальзаковъ вмѣстѣ, оттого что у него подъ каждымъ словомъ скрыта плодовитая мысль". А. А. Бестужевъ тщательно слѣдитъ за творчествомъ Гюго, выписываетъ всѣ новости, выходящія изъ-подъ его пера, и съ восторгомъ ихъ перечитываетъ. „Получилъ я изъ Москвы „La roi s'amuse" и „Borgia"—это прелесть, пишетъ онъ брату Павлу [1]). Такая же замѣтка въ письмѣ къ Н. А. Полевому: „Благодарю за присылку книгъ; „Notre-Dame" совершенно въ моемъ вкусѣ" [2]). Гюго возбуждаетъ въ нашемъ поэтѣ творческую ревность, тоску по литературной славѣ. „Я съ жаромъ читаю Гюго (не говорю съ завистью), съ жаромъ удивленія и безсильнаго соревнованія... И сколько еще другихъ именъ между нимъ и мною, между мной и славою, между славой и природой!.." [3]). Изъ этихъ другихъ именъ наиболѣе обаятельно для нашего поэта было имя Байрона; на него онъ часто ссылается въ письмахъ изъ Сибири и съ Кавказа. По собственному выраженію, онъ его „читалъ безъ устали" [4]); мы видѣли выше, что онъ даже склоненъ себя сравнивать съ Байрономъ по сходству настроенія и отношенія къ дѣйствительной жизни; изъ англійскихъ романтиковъ онъ читаетъ въ

---

[1]) Къ П. Бестужеву, отъ 3 авг. 1833 г., Дербентъ.

[2]) Къ Н. А. Полевому, отъ 16 дек. 1831 г., Дербентъ.

[3]) Къ К. А. Полевому, отъ 9 марта 1833 г., Дербентъ.

[4]) Къ нему же, отъ 27 іюля 1834 г., Ахалцыхъ. Помимо французскаго, А. А. Бестужевъ хорошо владѣлъ и англійскимъ языкомъ: во время пребыванія на фортѣ „Слава" онъ учитъ своихъ товарищей по несчастью, Якушкина и Муравьева, по-англійски; тамъ же, по свидѣтельству Якушкина, происходитъ чтеніе „Чайльдъ-Гарольда", но въ подлинникѣ или въ переводѣ—не указано (Русск. Арх. 1870, стр. 1573—4: Изъ записокъ декабриста Якушкина).

Якутскѣ еще „Тома Мура“ [1]). Его интересуетъ кромѣ того Ирвингъ [2]), Альфредъ-де-Виньи [3]) и др., но интересуютъ больше какъ новинки литературы, а не какъ властители его думъ.

Во всякомъ случаѣ, западноевропейская литература настолько поглощала автора, что, слѣдя за ея развитіемъ, онъ не хотѣлъ замѣчать движенія въ своемъ отечественномъ творчествѣ. „Избалованный „Позами“ и „Теллями“ и „Ричардами III“, я, можетъ быть, потерялъ простоту вкуса и не нахожу прелести въ вязигѣ“, пишетъ онъ къ Н. А. Полевому [4]). Къ этой отечественной „вязигѣ“ онъ склоненъ, повидимому, отнести и „Бориса Годунова“ Пушкина, отъ котораго онъ „ожидалъ чего-то, а прочелъ нѣчто“ [4]). Русская литература, по мнѣнію Бестужева, еще не вступила на самобытный путь. Въ томъ же письмѣ къ Н. А. Полевому [4]), характеризуя другихъ современныхъ русскихъ поэтовъ, помимо Пушкина, онъ говоритъ такъ: „Въ другихъ стихотворцахъ не вижу ничего хорошаго особенно. Гладкіе стихи, изрѣдка чужая мысль, и та причесана, завита такъ, что Боже упаси!

Литература наша—сѣтка
На ловлю иноморскихъ рыбъ;
Чужихъ яицъ она насѣдка,
То ранній цвѣтъ, то поздній грибъ,
Чужой хандры, чужого смѣха
Всеповторяющее эхо.

Та бѣда еще, что не выбираютъ хорошаго для подражанія. Дались имъ Уланды, Ламартины, какъ будто на свѣтѣ не существуетъ ни Шекспира, ни Шиллера, ни Данте, ни Байрона. Отчего происходитъ это? Отъ малознанія ли языковъ, или оттого что не по силамъ поднять исполинское бремя геніальной

---

[1]) Къ братьямъ, отъ 25 окт. 1828 г., Якутскъ.
[2]) Къ Н. А. Полевому, отъ 29 янв. 1831 г., Дербентъ.
[3]) Къ нему же, отъ 9 марта 1833 г., Дербентъ.
[4]) Къ нему же, отъ 13 авг. 1831 г., Дербентъ.

мысли?" На этой „литературѣ-сѣткѣ" самъ А. А. Бестужевъ намѣчалъ себѣ очень скромное мѣсто и свой успѣхъ объяснялъ не столько личными своими качествами писателя, сколько отсутствіемъ въ русской жизни крупныхъ литературныхъ явленій. „Вы правы—говоритъ онъ Н. А. Полевому,—что для Руси невозможны еще геніи: она не выдержитъ ихъ; вотъ вамъ вмѣстѣ и разгадка моего успѣха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; но и эта высь по плечу ребенку. Чувствую, что я недостоинъ достоинства человѣка со всѣми моими слабостями, но знаю себѣ цѣну и, какъ писатель, знаю и свѣтъ, который цѣнитъ меня. Сегодня въ модѣ Подолинскій, завтра Марлинскій, послѣзавтра какой-нибудь Небылинскій, и вотъ почему меня мало радуетъ ходячесть моя" [1]).

Не считая себя крупной литературной величиной, Бестужевъ въ то же время чувствуетъ свою зависимость отъ западноевропейскаго романтизма. Судя по вышеприведеннымъ его отзывамъ о выдающихся писателяхъ Запада, онъ самъ изъ „иноморскихъ рыбъ" уловлялъ по преимуществу французскихъ и англійскихъ романтиковъ, въ частности Гюго и Байрона. Признаетъ ли онъ, однако, извѣстную подражательность за своимъ творчествомъ? И если признаетъ, то въ чемъ онъ ее усматриваетъ? Онъ не любитъ называть поименно тѣхъ писателей, которымъ подражаетъ, исключая имени Ирвинга, котораго онъ самъ считаетъ образцомъ своимъ въ отношеніи литературной формы; но вообще не отрицаетъ того, что невольно увлекался въ разсказѣ манерою того или другого писателя; однако, свой слогъ онъ считаетъ самобытнымъ. „Ты говоришь (пишетъ онъ брату), что я подражаю часто; но кому? Это будетъ такъ же трудно сказать тебѣ, какъ мнѣ угадать. Правда, въ разсказѣ иногда я подражалъ и тому и другому, точно такъ же, какъ подражаешь иногда голосу и походкѣ любимаго человѣка, съ которымъ живешь; но голосъ не есть слово, походка не есть поведеніе. Я схватывалъ почеркъ, никогда слогъ. Доказательство тому, что слогъ мой самобытенъ и новъ—

[1]) Къ Н. А. Полевому, отъ 18 мая 1833, Дербентъ.

это неумѣнье поддѣлаться подъ него народцевъ, которые такъ охочи писать и такъ неспособны писать. Пусть найдутъ еще въ моихъ повѣстяхъ хоть одно укрывающееся лицо изъ-за границы, пусть! Неужели мой Саарвайерзенъ [1]) выкраденъ откуда-нибудь? Если да, такъ это съ портретовъ Вандейка, не болѣе. Всѣ авторы, словно стакнувшись, задрямили (sic) рисовать голландцевъ флегмою; я напротивъ выставилъ его горячимъ, но разсчетливымъ сыномъ огня и болота: это летучая рыбка. Главное, любезный мой Никола, ты упускаешь изъ вида цѣлое, прилѣпляясь къ частностямъ. Неужели, напримѣръ, въ ботанической лекціи, какъ называешь ты разговоръ Бѣлозора, не угадалъ мысли: какъ любовь всѣ предметы переплавляетъ въ свое существо и въ самой сухой соломинкѣ находитъ себѣ сладкую пищу. Иныя главы, повидимому, вставлены у меня вовсе сверхъ комплекта, какъ напримѣръ, разговоръ Кокорина [2]) съ лѣкаремъ; но кто знаетъ: не желалъ ли я возбудить вниманіе читателей нетерпѣніемъ? Это тоже тайна искусства. Кромѣ того, мои повѣсти могутъ быть исторіей моихъ мыслей, ибо я положилъ себѣ за правило не удерживать руки; и вотъ, если разберете мою медицину, то найдете, можетъ быть, болѣе дѣльныхъ насмѣшекъ надъ модными мнѣніями медиковъ, чѣмъ ожидали. Такъ и во многомъ другомъ“ [3]). Такимъ образомъ подражаніе иностранцамъ авторъ допускаетъ для себя только невольное и въ частностяхъ, въ „почеркѣ“, а не въ слогѣ, и отнюдь не въ характерахъ. Въ другомъ письмѣ къ братьямъ А. А. Бестужевъ, однако, гораздо откровеннѣе говоритъ о томъ, какъ онъ широко пользовался европейскимъ матеріаломъ для сформированія своего слога, но характеры и идеи онъ и тутъ склоненъ считать исключительно своими. „Обвиняете меня“, говоритъ онъ братьямъ [4]), „въ займѣ у французовъ нѣкоторыхъ выраженій, напримѣръ: que sais-je? что я знаю? (И

---

[1]) Голландецъ-фабрикантъ, въ пов. „Лейтенантъ Бѣлозоръ“, соч. III.

[2]) Лейтенантъ на фрегатѣ „Надежда“ въ пов. того же имени, соч. VII

[3]) Къ братьямъ Николаю и Михаилу, отъ 21 дек. 1833 г., Дербентъ.

[4]) Къ нимъ же, отъ 1-го дек. 1835, Дербентъ.

оно, мимоходомъ, занято не у Жанена, а у Монтаня). Да не у однихъ французовъ, я занимаю у всѣхъ европейцевъ обороты, формы рѣчи, поговорки, присловія. Да, я хочу обновить, разнообразить русскій языкъ, и для того беру мое золото обѣими руками изъ горы и изъ грязи, отовсюду, гдѣ встрѣчу, гдѣ пойманю его. Что за ложная мысль еще гнѣздится во многихъ, будто есть на свѣтѣ галлицизмы, германизмы, чертизмы? Не было и нѣтъ ихъ! Слово и умъ есть братское достояніе всѣхъ людей, и что говоритъ человѣкъ, должно быть понятно человѣку, предполагая, разумѣется, ихъ обоихъ не безумцами. Будьте увѣрены, что еще при нашихъ глазахъ грамматики всѣхъ языковъ подружатся между собою, а реторики будутъ сестрами. Ходьба взадъ и впередъ сотретъ и непремѣнно сгладитъ мелочныя грани, нарѣзанныя идіотизмами и произведенныя педантами въ правила. Чудные люди! Мы видимъ, что измѣняются нравы, права, обычаи, народы,—и хотимъ навѣчно ограничить улетучивную мысль—слово! упрочить, увѣковѣчить его, пригвоздить къ памятнику, и, бросая его въ народъ, какъ грошъ, хотимъ, чтобъ этотъ грошъ былъ неприкосновеннымъ! Однажды и навсегда—я съ умысломъ, а не по ошибкѣ гну языкъ на разные лады, беру готовое, если есть у иностранцевъ, вымышляю, если нѣтъ; измѣняю падежи для оттѣнковъ дѣйствія или изощренія слова. Я хочу и нахожу русскій языкъ на все готовымъ и все выражающимъ. Если это моя вина, то и моя заслуга. Я убѣжденъ, что никто до меня не давалъ столько многоличности русскимъ фразамъ—и лучшее доказательство, что онѣ усвоиваются, есть ихъ употребленіе даже въ разговорѣ. Характеры мои — дѣло частное, но если иные вымышлены неудачно, другіе скопированы съ природы точно, и увѣрить меня, что они неестественны такъ же трудно, какъ аѳинянина, который жалъ подъ мышкой поросенка, а ему всетаки говорили, что одинъ фокусникъ кричитъ поросенкомъ гораздо натуральнѣе!.." Переходя къ упрекамъ въ подражательности отдѣльнымъ иностраннымъ авторамъ и произведеніямъ, Бестужевъ говоритъ: На этотъ счетъ мое лучшее оправданіе—время изданій иностранныхъ и моихъ повѣ-

стей, и вычетъ изъ этого—невозможность скоро получить въ такомъ захолустьѣ, какъ Кавказъ, порядочныхъ книгъ. Часто, очень часто встрѣчаю я въ хорошихъ авторахъ свои мысли, свои выраженія, но почему жъ непремѣнно я укралъ ихъ? Ирвингу подражалъ я въ формѣ, не въ сущности; но и самъ Ирвингъ занялъ олицетвореніе вещей у Попа, Попъ у Ботлера, Шекспиръ у Езопа. То, что врождено народу, есть только припоминокъ, а не изобрѣтеніе, повтореніе, а не подражаніе. Я начну съ пословицы: горшокъ котлу попрекаетъ, а оба черны, и выведу цѣлый полкъ доказательствъ, что олицетвореніе въ смѣшномъ видѣ велось искони и слилось съ русскою природою; за что жъ одни англичане будутъ владѣть имъ? Въ любомъ авторѣ я найду сто мѣстъ, взятыхъ цѣликомъ у другихъ; другой можетъ найти столько же; а это не мѣшаетъ имъ быть оригинальными, потому что они иначе смотрѣли на вещи. Всѣ читаютъ одинаково: и остави намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ, но спроси каждаго, что онъ подъ этимъ разумѣетъ? и не найдешь двухъ толковъ похожихъ. Такъ и въ словесности".

Такимъ образомъ европейскіе обороты, формы рѣчи, поговорки, присловія—вотъ источникъ, который питалъ слогъ Марлинскаго, полный эффектовъ и красокъ. Мы увидимъ ниже, что тѣ же европейцы иногда давали ему средства и для выраженія основного мотива во многихъ его разсказахъ. Между прочимъ, на основаніи собственныхъ признаній Бестужева въ письмахъ можно съ увѣренностью сказать, что у европейцевъ—повидимому, главнымъ образомъ у французскихъ романтиковъ и особенно у Гюго—нашъ авторъ усвоилъ ту манеру разсказа, которая отличается особенною рельефностью описанія, драматичностью разсказа и такъ называемымъ „мѣстнымъ колоритомъ". Эта манера вела не только къ краскамъ и декоративнымъ эффектамъ, но и къ большему реализму въ содержаніи. Такъ, въ одномъ изъ писемъ Бестужевъ проситъ у Н. А. Полевого „зерна для чего-нибудь дѣльнаго"... „Если что-нибудь изберу, то займу у васъ необходимыхъ подробностей, а безъ того придется писать: à la madame Genlis — „histori-

que“ [1]). Ему грустно думать, что онъ не строитъ „изъ стольких матеріаловъ, подъ рукой разсыпанныхъ“ [2]); онъ сознаетъ, что писать о Россіи и русскихъ можно только зная „землю и исторію ихъ“ [3]); при мысли же объ историческомъ романѣ онь сейчасъ же думаетъ о такихъ средствахъ, какъ топографическія карты, лѣтописи [4]), которыми именно достигается реальность и колоритность разсказа. Можно поэтому съ увѣренностью сказать, что европейскіе писатели, въ родѣ Гюго или Ирвинга, пріучали Бестужева не только къ эффекту формы слога и мыслей, но и къ реальности и колоритности разсказа. Постороннія вліянія, однако, не подавляли собственной, личной стихіи въ его творчествѣ. Самъ онъ убѣжденъ, какъ видно изъ вышеприведеннаго письма къ братьямъ [5]), что „его повѣсти могутъ быть исторіей его мыслей“, т. е. отраженіемъ его личнаго настроенія и развитія; при этомъ необходимо имѣть въ виду, что Бестужевъ, какъ писатель, по собственному признанію, далеко не успѣлъ высказаться вполнѣ и, можетъ быть, многое личное не нашло еще выраженія въ его повѣстяхъ и романахъ. На это указываетъ онъ самъ за четыре года до своей смерти, т. е. уже въ концѣ своей литературной дѣятельности: „Мало-по-малу я самъ начинаю признавать свое призваніе, я чувствую, что въ головѣ моей совершается міръ. Можетъ статься, я не буду въ состояніи его выразить; но тотъ кто напишетъ на могилѣ моей: „онъ былъ недосказанный поэтъ“—не солжетъ“ [6]).

Зависимость Бестужева отъ западноевропейской литературы не приходится, однако, видѣть въ фабулѣ его разсказовъ или въ отдѣльныхъ событіяхъ и лицахъ, о которыхъ онъ пишетъ. Фабулы его разсказовъ настолько шаблонны, что онѣ стоятъ внѣ подозрѣній въ подражательности: по большей части это—

---

[1]) Къ П. А. Полевому, отъ 16 дек. 1831, Дербентъ.
[2]) Къ нему же, отъ 1 янв. 1832, Дербентъ.
[3]) Къ братьямъ Н. и М., отъ 7 сент. 1833, Дербентъ.
[4]) Къ нимъ же, отъ 27 дек. 1830, Дербентъ.
[5]) Къ нимъ же, отъ 21 дек. 1833, Дербентъ.
[6]) Къ братьямъ Н. и М., отъ 15 янв. 1833, Дербентъ.

исторія какой-нибудь любви, счастливой или несчастной, побѣждающей препятствія или падающей подъ ихъ гнетомъ,— исторія, имѣющая въ литературѣ характеръ общераспространенной бродячей темы, на которую ни одинъ авторъ не пріобрѣлъ спеціальнаго права собственности (ср. напр. „Латникъ“, „Ревельскій турниръ“, „Замокъ Эйзенъ“, „Наѣзды“, „Лейтенантъ Бѣлозоръ“, „Фрегатъ Надежда“, „Аммалатъ-Бекъ“, „Мулла-Нуръ“ и др.); и лишь нѣкоторыя произведенія Бестужева написаны на болѣе свѣжія и своеобразныя темы, но они относятся по большей части къ быту Сибири и Кавказа и имѣютъ скорѣе историческій или этнографическій, чѣмъ собственно историко-литературный интересъ (напр. „Письма изъ Дагестана“. „Письмо къ доктору Эрману“, „Сибирскіе нравы“, „Отрывки изъ разсказовъ о Сибири“ и др.). Связь произведеній Бестужева съ западноевропейской романтикой замѣтна не въ фабулѣ разсказа и не въ деталяхъ его, а скорѣе въ общемъ настроеніи автора и выражающихъ его героевъ—которые, кстати сказать, взятые отдѣльно, тоже шаблонны и безцвѣтны, какъ и фабулы Бестужевскихъ разсказовъ, — и въ характерѣ его слога. Бестужева интересовалъ—что отчасти видно изъ его собственныхъ признаній—по преимуществу индивидуализмъ европейскихъ романтиковъ — и индивидуализмъ содержанія ихъ произведеній и индивидуализмъ ихъ слога и вообще формы творчества. Въ индивидуализмѣ содержанія его привлекали тѣ художественные героическіе образы, устами которыхъ романтики смѣло говорили о правахъ и обязанностяхъ самосознающей личности, объ уваженіи къ человѣку вообще и о преклоненіи передъ высшей натурой въ частности. Эти образы нашъ поэтъ находилъ у Гете и Шиллера, Гюго и Байрона, у этихъ послѣднихъ въ особенности, потому что ихъ онъ болѣе читалъ и зналъ, къ нимъ больше тяготѣлъ духомъ. Но Бестужевъ былъ совершенно правъ, говоря, что ему трудно угадать, кому именно онъ подражаетъ: онъ подражалъ болѣе общему мотиву, проникавшему романтическую поэзію, чѣмъ отдѣльному автору; а если уже нужно говорить объ опредѣленныхъ образцахъ, которымъ слѣдовалъ Бестужевъ, то такими скорѣе можно

считать Байрона и Гюго, чѣмъ Гоффмана, Вашингтона Ирвинга, Цшокке [1]) и многихъ другихъ, съ которыми любила сопоставлять Марлинскаго современная ему критика.

Присматриваясь ближе къ идейному содержанію повѣстей и разсказовъ Бестужева, легко замѣтить, что изъ всѣхъ мотивовъ романтики онъ ближе всего къ индивидуализму и въ этомъ отношеніи невольно поддается вліянію западноевропейской поэзіи. Дѣйствительно, мысли и фразы западноевропейскихъ индивидуалистовъ-романтиковъ были, можно сказать, постоянно подъ рукою у нашего автора и являлись на страницахъ его повѣстей и разсказовъ или въ видѣ цитатъ съ указаніемъ, у кого онѣ взяты, или въ видѣ реминисценцій, которыя А. А. Бестужевъ незамѣтно для себя вводилъ въ свои произведенія, какъ нѣчто свое, самостоятельное. Одинъ изъ героевъ Бестужева говоритъ такъ о своихъ литературныхъ симпатіяхъ: „Есть у меня часы, когда стихи и звуки необходимѣе для меня, чѣмъ въ иное время питье и пища. Въ такіе часы люблю я напѣвать задушевныя строфы Гете и Байрона, ямбы Пушкина, терцеты Аріоста, Муровы мелодіи, даже стихи Вальтеръ-Скотта изъ „Красавицы озера“ или „Послѣдней пѣсни барда“ [2]). Это признаніе приложимо и ко многимъ другимъ героямъ Бестужева, усвоившимъ литературные вкусы своего автора: многіе изъ нихъ любятъ Гете, и Байрона, и Мура, и любятъ ихъ цитировать по волѣ автора. Разочарованный офицеръ цити-

---

[1]) Цшокке, кажется, менѣе другихъ могъ служить образцомъ для Бестужева: „un penseur... morale... un homme vertueux, utile et bon“, какъ о немъ сказано въ одной критич. статьѣ 40-хъ годовъ (Bibliothèque universelle de Genève, 1848, t. IX, Henri Zschokke, p. 429, 436), Цшокке былъ слишкомъ простой и уравновѣшенный человѣкъ для того, чтобы имъ увлеклась такая порывистая натура, какою обладалъ Бестужевъ; къ тому же лучшіе романы Цшокке были, по опредѣленію, данному въ той же статьѣ, „les meilleurs productions de l'innombrable école des imitateurs de Walter Scott“, а Бестужевъ не обнаруживалъ никогда особеннаго тяготѣнія къ В. Скотту.

[2]) Сочин., X, „Онъ былъ убитъ“, стр. 279—280.

руетъ Гете [1]), скептикъ Границынъ ссылается на Байрона [2]), жизнерадостный лейтенантъ Бѣлозоръ задаетъ себѣ вопросъ словами поэта Мура [3]), по поводу того же своего героя самъ авторъ цитируетъ Байрона [4]) и т. д. Что касается литературныхъ реминисценцій въ произведеніяхъ Бестужева, то онѣ относятся большею частію къ Байрону и Гюго, иногда къ Гете и Шиллеру. Съ нѣмецкой поэзіей романтизма Бестужевъ былъ мало знакомъ, но изъ прочитанныхъ въ Сибири произведеній Гете и Шиллера многое, очевидно, осталось у него въ памяти, и кое-что онъ иногда воспроизводитъ своимъ перомъ, не замѣчая того, что онъ только варіируетъ чужую мысль. Таинственный незнакомецъ и его собесѣдникъ въ повѣсти „Страшное гаданіе“ размышляютъ въ духѣ дневника индивидуалиста—Вертера и почти его же фразами о суетѣ человѣческихъ стремленій и страстей, недостойныхъ высокаго званія человѣка: „Вотъ люди!“ сказалъ онъ мнѣ тихо... но въ двухъ этихъ словахъ было многое. Я понялъ, что онъ хотѣлъ выразить: какъ въ городахъ и селахъ, во всѣхъ состояніяхъ и возрастахъ, подобны пороки людскіе: они равняютъ бѣдныхъ и богатыхъ глупостію; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково“ [5]). Вертеръ пишетъ о томъ же: „.... мы, покорные слуги нашихъ грёзъ, бредемъ и вкривь и вкось за ними... Взрослые, подобно дѣтямъ, плутаются здѣсь, какъ шальные, и, какъ тѣ, не знаютъ, откуда, куда, зачѣмъ идутъ и спѣшатъ точно также къ обманчивымъ цѣлямъ, точно также управляются пирожными, бисквитами и розгами...“ [6]). Точно также и разочарованный Аммалатъ-Бекъ въ духѣ Вертера отрекается отъ безсильной науки, которая не уясняетъ человѣку его индивидуальной природы, и говоритъ на тему, обработанную потомъ Лермонтовымъ въ стих. „Дума“: „Мы

---

[1]) Тамъ же, стр. 262.

[2]) Сочин. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 86.

[3]) Сочин., III, Лейтенантъ Бѣлозоръ, стр. 37.

[4]) Тамъ же, стр. 40.

[5]) Сочин., II, Страшное гаданіе, стр. 226.

[6]) Перев. А. Струговщикова въ изд. „Собр. соч. Гете“ И. В. Гербеля.

изсушили умъ наукою безплодной"... „Что мнѣ пользы", жалуется онъ въ своихъ „запискахъ", „въ познаніи силъ природы, когда я не могу переѣмѣнить души своей, повелѣвать своему сердцу! Меня учатъ заграждать море, а я не могу удержать слезы!.. Отвожу молнію отъ кровли, а не могу стряхнуть кручины!! Не довольно ли я былъ несчастливъ одними чувствами, чтобы накликать мыслей, какъ ястребовъ! Много ли выигрываетъ больной, узнавъ, что болѣзнь его неисцѣлима!.. Мученія безнадежной любви моей стали тоньѣе, острѣе, разнообразнѣе съ тѣхъ поръ, какъ прояснѣлъ мой разумъ"... [1]).

Байрона Бестужевъ зналъ лучше, чѣмъ Гете, и вполнѣ понятно отсюда, что невольныя заимствованія изъ этого поэта мы встрѣтимъ въ его произведеніяхъ чаще, чѣмъ реминисценціи изъ Гете. „Я болѣе всего не понимаю мщенія", говоритъ Бестужевъ въ письмѣ къ братьямъ. „Гомеръ говоритъ, что оно страсть боговъ, боговъ языческихъ, разумѣется. Мнѣ кажется, въ нашихъ понятіяхъ ее можно отправить въ преисподнюю, въ удѣлъ мильтоновскихъ обитателей Пандемоніума" [2]). „Скажите съ Байрономъ"—развиваетъ онъ ту же тему о великодушіи сильной и благородной личности въ письмѣ къ П. А. Полевому: „за злобу, за преслѣдованіе воздамъ я местью и клятвами, и эта клятва будетъ забвеніе [3]). Въ „Чайльдъ-Гарольдѣ" Байронъ восклицаетъ: „Прощеніе, — вотъ будетъ месть моя"!.. (п. IV, стр. 135, пер. С. Ильина). „На его могилѣ", говоритъ на тему о духовномъ сліяніи двухъ взаимнолюбящихъ лицъ одна изъ героинь Бестужева, потерявшая своего возлюбленнаго, „хочу я умереть, чтобы въ ней смѣшались прахи наши, а за ней наши души" [4]). Байронъ обращается къ тѣни нѣжно любимаго и преждевременно погибшаго друга:

Мечтой къ твоей могилѣ одинокой
Всегда, вездѣ стремиться буду я,

---

[1]) Сочин., V, Аммалатъ-Бекъ, стр. 128.
[2]) Къ братьямъ Николаю и Михаилу, отъ 27 дек. 1830, Дербентъ.
[3]) Къ П. А. Полевому, отъ 16 дек. 1831, Дербентъ.
[4]) Сочин., II, Красное покрывало, стр. 190.

Пока того, кто кончилъ жизнь до срока,
И друга, что скорбѣлъ о немъ глубоко,
Не сблизитъ навсегда покой небытія.
(п. I, стр. 92, пер. П. Козлова).

Въ пов. „Красное покрывало“ восточное кладбище Арзерума вызываетъ автора на размышленія о смерти и о бренности вообще земной жизни, которая не можетъ удовлетворить страстныхъ порывовъ сильной индивидуальности къ вѣчному бытію: „Что такое вся земля, какъ не исполинское кладбище!— Какъ здѣсь гробъ на гробѣ, кости на костяхъ, такъ вездѣ на каждомъ шагу попираемъ мы остовы праотцевъ, памятники народовъ, обломки первобытныхъ міровъ, изъ коихъ созданъ міръ нашъ. Можетъ быть, прахъ, отрясаемый съ нашихъ ногъ, смѣшанъ съ прахомъ восточныхъ царей, давно истлѣвшихъ, давно забытыхъ; и кто считалъ песчинки въ часахъ судьбы? — Можетъ быть, чрезъ мѣсяцъ вѣтеръ, освѣжающій лице мое въ жарь полудня, разнесетъ мой прахъ далеко, далеко!—И почему эта мысль,какъ льдина, пала на сердце? Мнѣ ли быть вѣчнымъ на землѣ, когда тысячелѣтнія деревья падаютъ съ подножій ровесниковъ творенія, когда гранитъ распадается отъ дыханія времени, и подъ тяжкою пятою его сокрушаются всѣ памятники бытія, даже небытія человѣковъ! Посмотрите кругомъ: сколько плитъ, вѣнковъ, вѣръ другъ на другѣ: идолопоклонники, огнепоклонники, мусульмане, христіане...“ [1]). Эти размышленія Бестужева, если принять во вниманіе его любовь къ Байрону и начитанность въ немъ, безъ особой натяжки можно считать за распространеніе одной изъ строфъ великаго англійскаго поэта, напр., слѣдующей:

Минутный гость земли! на видъ унылый
Руинъ взгляни, щадя слѣды вѣковъ;
Здѣсь націи исчезнувшей могилы,
Обломки храмовъ попранныхъ боговъ.
Религіи смѣняетъ дней теченье;

[1]) Соч., II, Красн. покрыв. стр. 179—180.

Юпитеръ палъ; явился Магометъ;
Мѣняться будутъ вѣры и воззрѣнья,
Пока исчадья смерти и сомнѣнья
Не убѣдятся въ томъ, что ихъ надежды—бредъ.
(п. II. стр. 3, пер. И. Козлова).

Еще болѣе близокъ Бестужевъ къ Байрону, когда рѣчь идетъ о предметахъ, непосредственно входящихъ въ область байронизма. Такъ, напр., обращеніе къ первобытной простотѣ и искренности нравовъ и предпочтеніе человѣка дикой природы человѣку утонченной культуры одно и то же по содержанію и по формѣ у Бестужева, какъ и у Байрона. „Зачѣмъ трогать даръ Божій и трудъ человѣка", говорятъ у Бестужева кабардинцы-побѣдители послѣ набѣга, не желая разорять селеній; „и это правило горскаго разбойника, не ужасающагося никакимъ злодѣйствомъ", прибавляетъ авторъ, „есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые образованные, если бы они ее имѣли" [1]). Въ поэмѣ Байрона при описаніи встрѣчи Чайльдъ-Гарольда съ суліотами есть слѣдующее мѣсто, посвященное горцамъ:

И что жъ? Ихъ горцы встрѣтили какъ братья;
Чрезъ скалы и ущелья провели;
Зажгли огонь; ихъ высушили платья;
Чтобъ ихъ согрѣть, вина имъ поднесли
И скромный приготовили имъ ужинъ;
Но, не скупяся, всякій далъ, что могъ;
Такъ поступаетъ тотъ, кто съ правдой друженъ.
Такой примѣръ для эгоистовъ нуженъ:
Краснѣть заставитъ ихъ тотъ нравственный урокъ.
(п. II, стр. 68, пер. И. Козлова).

Послѣднія строки, заключающія въ себѣ сравненіе простодушнаго дикаря, болѣе близкаго къ идеалу индивидуальнаго благородства, съ культурнымъ эгоистомъ, совершенно параллельны мнѣнію Бестужева о нравахъ „горскихъ разбойниковъ".

Иногда въ рѣчахъ героевъ Бестужева и въ его собственныхъ разсужденіяхъ чувствуется повтореніе знакомыхъ мыслей

[1]) Соч., V, Аммалатъ-Бекъ, стр. 93.

и даже фразъ изъ двухъ-трехъ западноевропейскихъ поэтовъ-романтиковъ сразу; это особенно имѣетъ мѣсто тогда, когда Бестужевскія высшія натуры усваиваютъ себѣ какую-нибудь характерную для романтическаго индивидуализма манеру мыслить и говорить, которую можно встрѣтить у Гете, Шиллера, Байрона, Гюго и др. Вотъ напр. какъ молодой энтузіастъ Эдвинъ характеризуетъ городское Ревельское общество, которое съ точки зрѣнія его идеала представляется лживымъ и лицемѣрнымъ. „Вотъ эта разряженная дама", говоритъ онъ, „очень похожая на корабельную статуйку — жена Ратсгера Клайса; она, говорятъ, въ самомъ дѣлѣ ворочаетъ рулемъ нашей Думы и не разъ сажала нашъ курсъ на мель. Подлѣ нея примѣрная чета: бургомистръ Фегезакъ съ дражайшей своей половиной: они горятъ одною страстью—къ стеклу, т. е. онъ къ стакану, а она къ зеркалу.—Эта карманная дамочка, которая, говоря безумолку, вѣшается на шею толстому своему мужу, будто колокольчикъ на шею къ волу — дворянка Зегефельсъ. Онъ, сказываютъ, взялъ маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за носъ; за то теперь ушамъ больно достается. Кстати объ ушахъ... тотъ молодчикъ, кажется, прячетъ ихъ длину въ высокій фрезъ свой—это ландратъ Эзельбранцъ; за нимъ сидитъ пѣвица фрейленъ Лилиендорфъ—знатоки говорятъ, что голосъ ея есть смѣшеніе соловьинаго съ совинымъ; а воздушная сосѣдка ея, у которой лицо и платье расцвѣло радугою—баронесса Герцфишъ. Ей было давно пора съ нашего неба. Далѣе видна любовница командора Цангейма .. не дивитесь, что она сидитъ выше его жены: это у насъ не рѣдкость" [1])... Подобная манера горячо говорить о порокахъ и несовершенствахъ обыденной жизни свойственна вообще Sturm-und-Drang'у и его представителямъ; такъ говорятъ и Вертеръ у Гете, и Карлъ Мооръ у Шиллера, и Эрнани у Гюго, и многіе герои Байрона, выразители страстнаго индивидуализма. Бестужевъ не передалъ здѣсь всего содержанія ихъ горячихъ протестовъ противъ измельчавшаго культурнаго

[1]) Соч., IV, Ревельскій турниръ, стр. 167—169.

общества, по вѣрно воспроизвелъ самую манеру протестовать. Иногда, впрочемъ, протесты высшихъ натуръ у Марлинскаго сходятся и по содержанію съ протестами героическихъ личностей въ западноевропейской романтической поэзіи. Такъ напр. благородный разбойникъ Мулла-Нуръ совершаетъ рядъ великодушныхъ поступковъ, сближающихъ его съ Карломъ Моромъ Шиллера, и, подобно Карлу Моору, протестуетъ противъ измельчанія человѣческой души, паденія личной храбрости, личнаго благородства [1]). Также горячо и ѣдко говорятъ объ общественныхъ порядкахъ и людскихъ порокахъ „безкорыстный злодѣйникъ“ Границынъ въ пов. „Фрегатъ Надежда“ [2]) и „таинственный незнакомецъ“ въ пов. „Страшное гаданіе“ [3]).

Помимо общаго настроенія Бестужева—его индивидуалистической тоски о человѣческомъ горѣ и индивидуалистическихъ порывовъ къ человѣческому благу—его связь съ романтизмомъ наблюдается еще и въ характерѣ его слога. Но и въ этомъ отношеніи Бестужевъ приближался скорѣе къ общему тону романтизма, чѣмъ къ отдѣльнымъ его представителямъ, и лишь В. Гюго наиболѣе былъ, повидимому, для Бестужева тѣмъ образцомъ, которому онъ, можетъ быть, до извѣстной степени слѣдовалъ въ послѣдніе годы своей жизни и дѣятельности и съ слогомъ котораго его собственный слогъ имѣетъ во всякомъ случаѣ много общаго. Въ чемъ же заключается общій характеръ романтическаго стиля, черты котораго мы встрѣчаемъ у Бестужева? Слогъ для романтиковъ былъ ближайшимъ средствомъ для выраженія ихъ идеалистическаго міровоззрѣнія. Особенное вниманіе романтиковъ къ духовной жизни индивидуума заставляло ихъ и языкъ приспособлять къ передачѣ самыхъ тонкихъ движеній человѣческой души. Задача романтизма по отношенію къ языку—говоритъ историкъ франц. литературы — заключалась въ томъ, чтобы „сдѣлать его изъ философскаго — живописнымъ, изъ академическаго — художе-

[1]) Сочин., IX, Мулла-Нуръ, стр. 144.
[2]) Сочин., VII, Фрегатъ Надежда, стр. 90 и слѣд.
[3]) Сочин., II, Страшное гаданіе, стр. 224, 240.

ственнымъ, изъ совокупности знаковъ — формой, и организовать его заново для передачи чувствъ и ощущеній" [1]). Въ этомъ отношеніи уже поэты сентиментальнаго направленія подготовили почву для романтиковъ. Въ своемъ стремленіи замѣнить сухой, отвлеченный словарь ложноклассицизма болѣе конкретнымъ поэтическимъ слогаремъ поэтика сентиментализма вводитъ въ обиходъ цѣлый рядъ реальныхъ и живописныхъ въ то же время образовъ и выраженій для обозначенія чувствъ и настроеній человѣка и его отношенія къ окружающей природѣ: эпитеты въ родѣ „одинокій", „тусклый", „мрачный", „зловѣщій", „безплодный", „пустынный" или глаголы въ родѣ „гаснуть", „вянуть", „меркнуть", „трепетать" и т. п. становятся обычнымъ явленіемъ въ поэтическомъ слогѣ [2]). Поэзія Sturm-und-Drang'a „съ ея энергическими заявленіями личности", примыкая въ общемъ къ усиліямъ сентименталистовъ обновить поэтическій словарь, въ частности стремилась къ созданію „геніальнаго" стиля „сильнаго и вещественнаго" и пользовалась для этого даже и народной рѣчью [3]). Романтики продолжали изысканія въ области стиля въ томъ же направленіи и съ своей стороны прилагали всѣ средства, чтобы придать ему „настраивающую выразительность" [4]), которая особенно удобна была для романтическаго индивидуализированія, стремившагося какъ можно глубже проникнуть въ жизнь человѣческаго духа.

Между творцами такого индивидуализирующаго слога одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаетъ В. Гюго, литературные пріемы котораго можно считать до извѣстной степени типическими для романтическаго стиля. Художественныя качества слога В. Гюго коренились уже въ его личной природѣ, отличавшейся порывистымъ, страстнымъ индивидуализмомъ. Нѣкоторые критики обвиняютъ Гюго въ холодномъ риторизмѣ,

---

[1]) Г. Лансонъ, Истор. фр. литер., II, 382—3.

[2]) Гр. Ф. де. Ла-Бартъ, Шатобріанъ и поэтика міровой скорби во Франціи, Кіевъ, 1905, стр. 110 и сл., 285 и сл.

[3]) Ак. А. Н. Веселовскій, В. А. Жуковскій, Спб. 1904, стр. 465, 472.

[4]) Тамъ же, стр. 473.

но другіе, наоборотъ, какъ могущество его фантазіи, такъ и богатство его поэтическаго словаря относятъ на счетъ его личнаго темперамента [1]). Благодаря силѣ своего индивидуальнаго воображенія и вообще природной оригинальности своего дарованія, В. Гюго, какъ въ области идей, такъ и въ области формъ сдѣлался образцомъ для многихъ французскихъ и даже вообще для европейскихъ романтиковъ, потому что онъ, какъ сказано въ одномъ современномъ ему англійскомъ журналѣ, „ясно видѣлъ свой путь“ [2]), и этотъ путь, добавимъ, былъ выраженіемъ его оригинальной индивидуальности,—поэтому-то и его литературная манера индивидуальна. Индивидуалистъ-романтикъ заинтересованъ въ томъ, чтобы какъ можно глубже проникнуть въ тайники человѣческаго духа и въ сокровенную сущность окружающей его реальной жизни и природы, среди которой свободный индивидуумъ долженъ завоевать свое счастье. Отсюда—и индивидуализирующій слогъ стремится пріобрѣсти живость и красочность, которая, подобно солнечному лучу, освѣщаетъ и оживляетъ весь реальный міръ, и драматичность, которая представляетъ жизнь въ движеніи, какъ взаимодѣйствіе идеальнаго и реальнаго, духовнаго и плотскаго, возвышеннаго и пошлаго, трагическаго и комическаго. Такія

---

[1]) Ср. L. Mabilleau, V. Hugo. P. 1893. II, стр. 162: „Stendhal, qui détestait Hugo, l'accuse d'être „exagéré à froid“. Rien de plus faux: la puissante fantaisie du poète sort de son tempérament même; elle n'a qu'à s'abandonner pour devenir énorme, cyclopéenne, „préhistorique“, a-t-on dit, d'un mot juste, qui marque la part de la fougue instinctive, terrienne, sauvage, dans l'exubérance du rhéteur“.

[2]) The Edinburgh Review, 1833, v. LVII, French Literature, Recent Novelists, стр. 346: „Superior to his contemporaries in creative imagination,—being in fact the only one of them who seems to see his way with some clearness, or to possess the power of inventing, brooding over, and working out with patience one leading view—superior to them even in that particular in which their strength lies, mere power of painting and description; he is yet more visibly elevated above their sphere of inspiration by the purer spirit with which his works, as a whole, have been animated, the generous sympathy for goodness and devotion of every kind which he evinces“...

качества слога были въ высшей степени свойственны В. Гюго [1]), который къ тому же самостоятельно развилъ ихъ и разработалъ. Для усвоенія слогу живости В. Гюго пользовался широко эпитетами, сравненіями, олицетвореніями; а для того, чтобы сдѣлать слогъ драматичнымъ, онъ прибѣгалъ къ антитезамъ, а въ своихъ собственно драматическихъ произведеніяхъ и къ нѣкоторымъ другимъ пріемамъ, придававшимъ дѣйствію интересъ новизны въ положеніи героевъ, интересъ своеобразности въ обстановкѣ, неожиданности въ результатахъ [2]); кромѣ того, для приданія разсказу или описанію характера данной эпохи или данной страны В. Гюго съ успѣхомъ пользовался и такъ называемымъ мѣстнымъ колоритомъ. Въ своемъ стремленіи создать живой и красочный языкъ поэзіи В. Гюго, какъ замѣчено уже его критиками, впадалъ невольно въ крайность: его творчество обращалось нерѣдко въ настоящій „культъ слова" [3]), и его идеи часто зависѣли отъ риѳмъ [4]); по выраженію Г. Планша, В. Гюго искалъ въ словарѣ средствъ для выраженія всѣхъ формъ рельефа, всѣхъ переходовъ свѣта и тѣни, и, обративъ поэзію почти исключительно въ описаніе, онъ

---

[1]) Ср. A. Ch. Swinburne, A Study of Victor Hugo, L. 1886, стр. 15 и 27: „The style was a new revelation of the supreme capacities of human speech: the touch of it on any subject of description or of passion is as the touch of the sun for penetrating and vivid evocation of life"... „...never since the death of Shakespeare had there been so perfect and harmonious a fusion of the highest comedy with the deepest tragedy as in the five many—voiced and many—coloured acts of „Ruy Blas".

[2]) Ernest Dupuy (Victor Hugo, L'homme et le poète, P. 1887, ch. II, p. 147) главнѣйшими пріемами драматическаго творчества В. Гюго считаетъ „les contrastes, les déguisements, les coups de théatre".

[3]) Ch. Renouvier, Victor Hugo, Le poète, P. 1892, ch. VI, Le culte du mot, p. 88—9: „Nul écrivain peut être ne s' est, plus que Victor Hugo, livré, en prose et en vers, à ces sortes de chaînes sans fin de l'improvisation."...

[4]) „Rien ne serait plus facile que de prendre les vers du plus grand des poètes de ce siècle, Victor Hugo, et de montrer combien chez lui les idées sont évoquées par les rimes"...,—тамъ же, цитир. Revue philosophique, juin, 1886, Ch. Richet, Origines et modalités de la mémoire. p. 585.

наводнилъ ее синонимами и эпитетами, но лишилъ зато возможности выражать отвлеченныя идеи [1]). Особенности стиля В. Гюго и вообще французскихъ романтиковъ были довольно мѣтко схвачены въ современной ему консервативной критикѣ, гдѣ онѣ, однако, разсматривались лишь, какъ странныя и нежелательныя новообразованія поэтическаго языка. Въ одной статьѣ журнала „Biblioth. universelle", направленной противъ романтическаго стиля, ѣдко высмѣиваются и пародируются его пріемы; тутъ указывается на обиліе разнообразныхъ и часто вычурныхъ эпитетовъ, синонимовъ, новыхъ оборотовъ, архаизмовъ и всякихъ другихъ средствъ, къ которымъ прибѣгаютъ романтики при выработкѣ своего слога; при этомъ цитируются примѣры изъ В. Гюго (Les feuilles d'automne, Hernani), Шатобріана (Atala), Ламартина (Harmonies) и др., нерѣдко, впрочемъ, перефразированные въ интересахъ критика. Ниже приводится выдержка изъ этой статьи [2]), характерная какъ для

---

[1]) Revue des deux mondes, 1838, t. XIII, Poètes et romanciers modernes de la France. V. Hugo, Oeuvres complètes, p. 757—8, Gustave Planche.

[2]) Bibliothèque universelle, 1833, novembre: Variétés. Caricature. Première séance d'un cours de romantisme, par John Ruegger: (p. 303) „Je vous composerai un dictionnaire, romantique, car nous faisons faire de si grands progrès à la langue, nous l'enrichissons tellement, dans la prose surtout, de mots nouveaux et de nouvelles tournures, nous allons fouiller avec tant d'amour dans les rebuts du moyen âge, dans les termes techniques des arts et des métiers et jusque dans les langues mortes ou étrangères, pour larder à l'envi notres oeuvres d'expressions insolites, que ce style babélique, véritable argot, demande un polyglotte intrépide et une étude à part... En vers, comme en prose, nous aurons soin de hasarder des appellations nouvelles: ainsi, en parlant de Dieu, nous dirons: „Quelqu'un"; nous rechercherons les mots à effet, bien forts, bien étranges ou étrangement accouplés: nous ferons „éclore un vaisseau"; ce seront „des senteurs inouïes", „l'ombre ou un son qui s'évapore, un bruit de lumière qui ira aux morts" etc. Je vous enseignerai à réfléchir sur vos lectures, lors même que vous devriez critiquer les maîtres; par exemple quand Chactas dit que „la lune raconte ses secrets aux vieux chênes", j'observerai que, s'il eût dit: „la lune raconte en soupirant ses secrets aux vieux chênes", la phrase aurait été plus arrondie; et puis un soupir fait un si bel effet! C'est

пониманія стиля французскихъ романтиковъ, такъ и для сравненія съ нимъ языка произведеній Бестужева, который выработалъ свой романтическій стиль отчасти въ силу личныхъ своихъ вкусовъ и склонностей къ эффектамъ рѣчи, отчасти благодаря знакомству съ языкомъ западноевропейской романтической поэзіи.

Характерныя свойства слога Бестужева тоже заложены были уже въ личной его природѣ: для писателя Марлинскаго имѣлъ большое значеніе темпераментъ Бестужева. Объ этомъ говоритъ онъ самъ, объ этомъ же свидѣтельствуютъ и его современники. Говоря о томъ, что „грамматическимъ знаніемъ языка“ онъ обязанъ П. И. Гречу, Бестужевъ „на счетъ блестокъ“ своей рѣчи добавляетъ: „...это въ моей природѣ: кто знаетъ мои обыкновенный разговоръ, тотъ вспомнитъ, что я невольно говорю фигурами, сравненіями, и мои выходки Николай Ива-

---

comme „des larmes au fond d'une histoire“... (p. 306) „Enfin, aprés toutes ces études, nous prendrons la vie de poète, car c'est un état.

J'aurais été soldat, si je n'étais poète.

En effet: il faut choisir, on ne peut être deux choses; et si nous ne pouvons „aller entendre les cris des nations mo ter et retentir dans les cèdres antiques du Liban“, du moins, quand je vous verrai „vous mourir du mal de la vie“, nous irons, par un jour brumeux d'automne, nous asseoir au bord d'un torrent écumeux, sur les feuilles desséchées, rassemblées par „l'aquilon qui secouera ses ailes d'effroi“; là, effeuillant quelque fleur sur les flots bondissants, et avec „l'archet d'airain“ accordant „la lyre de fer“ au sufflement du vent dans la forêt, nous tâcherons „d'abîmer notre raison dans un dernier délire“, nous écouterons „le large bruit, la musique profonde et fluide qui oscille sans cesse autour du monde“ et nous verrons peut-être alors „le silence trop noir, au fond (ou au bord) duquel on voudrait une étoile“, nous verrons „les ombres, les vents et les flots de l'abîme courant vers l'arche de feu du couchant“; „notre regard les suivra, notre regard long, triste, errant, involontaire“, et nous leur demanderons: „O lumière, où vas tu? Où courez-vous, nuages, aquilons, vagues, poussière, écume, nuit, vous nos yeux, toi notre ame? Dites, si vous savez, où donc allons-nous tous?“ „Nous pleurerons„ dans ce dernier délire, „parce qu'il n'est pas de main qui garde l'onde ou prenne l'ombre“; nous plaindrons de ne pas être „l'atome de lumiére, l'éclair, la feuile d'automne, le rayon, le regard, ou le son lointain qui s'évapore“...

новичъ не даромъ назвалъ бестужевскими каплями“ [1]). Одинъ изъ современныхъ Бестужеву критиковъ подобнымъ же образомъ объясняетъ характеръ его слога: „Многіе невѣгласы винятъ Марлинскаго въ искаженномъ остроуміи, принужденной игрѣ словъ... другіе стараются подражать кипучему слогу Марлинскаго. И тѣ и другіе ошибаются. Марлинскій не могъ иначе писать, и потому слогъ его былъ хорошъ и оригиналенъ, какъ слогъ Жанъ-Поля, который будетъ уродливъ для всякаго другого, потому что будетъ поддѣльный. Неподдѣльность выраженія Марлинскаго можетъ доказать только частная переписка, изліяніе сердца, безъ всякихъ приготовленій, безъ всякой подготовки, простая рѣчь, какою всегда говорилъ онъ, но равно, какъ его печатныя повѣсти и разсказы, цвѣтистая, пестрая, остроумная, насмѣшливая, страстная, трогательная. Не боясь упрека въ классицизмѣ, повторимъ слова Бюффона: le style c'est l'homme, и для самобытнаго слога надобно быть самобытнымъ человѣкомъ“ [2])...

Обладая отъ природы склонностью къ эффектамъ рѣчи, Бестужевъ, несомнѣнно, еще болѣе развилъ эту склонность подъ вліяніемъ западно-европейскихъ романтиковъ. Ссылка его въ этомъ отношеніи на Вашингтона Ирвинга, какъ на обра-

---

[1]) Русск. Арх. 1869, № 3: Изъ бумагъ Н. И. Греча, письмо Бестужева (Марлинскаго) къ А. М. Апрееву, отъ 9 апр. 1831, Дерптъ.

[2]) Сынъ Отеч. 1839, т. VII: Очеркъ русской литературы за 1838 и 1839 гг. Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго, части VII—X, Спб., ст. бар. Е. Розена. „Самобытность“ образнаго стиля Бестужева обнаруживается не только въ частныхъ, но и въ оффиціальныхъ его письмахъ, имѣющихъ характеръ прошенія: ср. напр. его письмо къ гр. Дибичу отъ 10 февр. 1829 г. изъ Якутска съ просьбой о ходатайствѣ насчетъ перевода изъ Сибири на Кавказъ (Русск. Стар., 1881, т. 32, стр. 886) или письмо къ ген.-лейт. Вельяминову отъ 13 мая 1835 г. изъ Екатеринодара съ просьбою о разрѣшеніи отпуска для поѣздки на Кавказскія минеральныя воды (Русская Стар., 1880, т. 29, стр. 417). Природная склонность Бестужева къ игрѣ словами и фразами проявлялась иногда по самому незначительному поводу. Въ его бумагахъ сохранилась небольшая приписка къ его статьѣ „Нѣсколько словъ отъ сочинителя повѣсти: „Андрей князь Переяславскій“, гдѣ онъ по поводу простой опечатки въ этой статьѣ произноситъ цѣлую импровизацію, не лишенную красокъ и остроты.

зецъ, которому онъ слѣдовалъ, врядъ ли можетъ имѣть значеніе: подражалъ ли онъ литературной манерѣ Ирвинга или нѣтъ, во всякомъ случаѣ, въ результатѣ, онъ выработалъ для себя тотъ именно индивидуализирующій романтическій слогъ, наиболѣе яркимъ представителемъ котораго былъ В. Гюго, дававшій тонъ многимъ второстепеннымъ стилистамъ эпохи, въ числѣ которыхъ, можетъ быть, былъ и В. Ирвингъ [1]); къ тому же Викторомъ Гюго Бестужевъ увлекался, по собственнымъ его признаніямъ, болѣе, чѣмъ кѣмъ-либо другимъ изъ современниковъ. При ближайшемъ анализѣ слога Бестужева и сравненіи его съ „культомъ слова“ у В. Гюго извѣстное сходство по слогу нашего автора съ французскимъ романтикомъ станетъ яснымъ. Это, конечно, еще не доказываетъ прямого подражанія Бестужева стилю В. Гюго, но это всетаки свидѣтельствуетъ о томъ, что природная изысканность рѣчи Бестужева въ концѣ концовъ сблизилась съ европейскимъ романтическимъ стилемъ благодаря тому, что нашъ авторъ не только не чуждался языка европейскихъ романтиковъ, но, по собственному признанію, даже „бралъ готовое у иностранцевъ“, „занимая у всѣхъ европейцевъ обороты, формы рѣчи, поговорки, присловія“. Сходство же съ В. Гюго болѣе, чѣмъ съ другимъ кѣмъ-либо, объясняется уже тѣмъ, что В. Гюго былъ наиболѣе типичнымъ стилистомъ для романтиковъ и могъ въ каждомъ изъ нихъ повторяться наиболѣе характерными свойствами своего стиля. Конечно, Бестужевъ могъ „брать готовое“ не только у Гюго, Ирвинга и др. поэтовъ, но и у Байрона напр., и несомнѣнно бралъ; но если имѣть въ виду не столько отдѣльныя слова

---

[1]) Вашингтонъ Ирвингъ, съ которымъ любятъ сближать Бестужева В. К. Кюхельбекеръ (Русск. Стар., 1883, т. 39: Дневникъ...), могъ вліять на нашего автора развѣ только своимъ юмористическимъ тономъ разсказа, на который претендуетъ и Бестужевъ; но въ смыслѣ „блестокъ“ слогъ В. Ирвинга гораздо умѣреннѣе и слога Гюго и слога Бестужева и временами возвышается даже до эпическаго спокойствія (ср. Вашингтонъ Ирвингъ, Исторія жизни и путешествій Христофора Колумба, перев. съ фр., Спб. 1836 и Жизнь Магомета, перев. съ англ., М. 1857), что Бестужеву, можно сказать, никогда не удается.

и выраженія, сколько самые способы выражаться, то въ этомъ отношеніи Бестужевъ по своему слогу ближе долженъ быть поставленъ къ Гюго, чѣмъ къ Байрону или кому-либо другому.

Литературные вкусы и понятія автора лучше всего опредѣляются по тѣмъ черновымъ интимнымъ наброскамъ и замѣткамъ, которые характеризуютъ самый процессъ его творческой работы. Въ бумагахъ Бестужева есть одна тетрадь, представляющая сборникъ изреченій, стихотвореній, разныхъ выписокъ и замѣтокъ безъ заглавія [1]). Перелистывая эту тетрадь, невольно входишь въ интимный литературный міръ поэта. Живя въ изгнаніи, поэтъ, видимо, стремился при помощи чтенія пополнить пробѣлы въ своемъ образованіи и вмѣстѣ съ тѣмъ собрать реальный матеріалъ для творческой дѣятельности. Въ его выпискахъ и замѣткахъ мы не найдемъ системы, но съ первыхъ же строкъ уловимъ рѣзкій основной мотивъ въ характерѣ ихъ подбора и содержанія. Этотъ мотивъ—исканіе красочныхъ эффектовъ, стремленіе придать „мѣстный колоритъ", живость и драматичность какъ содержанію, такъ и изложенію разсказа. Тутъ подрядъ можно прочесть самыя разнообразныя справки, но всѣ онѣ не лишены извѣстныхъ красокъ и даже нѣкоторой вычурности. Вотъ передъ нами рядъ такихъ отрывковъ, разнообразныхъ по содержанію и въ то же время взаимно близкихъ по своему красочному и анекдотическому характеру. „Линней различалъ три царства природы такимъ образомъ: камни растутъ, растенія растутъ и живутъ, животныя растутъ, живутъ и чувствуютъ (Lapides crescunt, vegetabilia crescunt et vivunt, animalia crescunt, vivunt et sentiunt.)"... „Гласомъ природы называется протяжный, унылый звукъ, иногда слышимый

---

[1]) Бумаги А. А. Бестужева въ собр. рукоп. Имп. Публ. Библ. Тетрадь по характеру письма представляетъ несомнѣнно автографъ А. А. Бестужева, хотя прямыхъ указаній на это въ ней нѣтъ. О событіяхъ 1832 г. авторъ тетради говоритъ, какъ о минувшихъ [на 3-й стр.: „Колонна сія (Александровская) поставлена 30 августа 1832 г."], а событія 1835 г. представляются ему еще какъ будущія (на 2-ой стр.: „Въ 1835 году явится комета, бывшая въ 1465 году"); поэтому можно думать, что тетрадь написана между 1832 и 1835 гг.

въ пустыняхъ и дикихъ лѣсахъ, котораго, говорятъ, никто не могъ слышать равнодушно и причина коего еще неразгадана (М. Максимовичъ, О жизни растеній)"... „Рафаэль написалъ извѣстную картину, представляющую женщину, держащую виноградъ; сей послѣдній былъ такъ натуралепъ, что воробьи прилетали клевать оный; видя это, Рафаэль стеръ женщину. Его спрашивали, для чего онъ сдѣлалъ это. Онъ отвѣчалъ, что она такъ мало натуральна, что могла (?) пугать воробьевъ"... „Въ русскомъ сердцѣ много желѣза, чтобы не любить сѣвера"... „Въ древнія времена было замѣчаніе, что въ 5 день по появленіи луны ничто не могло быть благополучно исполнено". (Приводится дальше два стиха изъ Виргилія примѣнительно къ новѣрью)... „Въ мартѣ 18 (?) 32 года въ 13 верстахъ отъ Волоколамска на полѣ деревни Курьясова (?) выпало горячее нѣсколько желтоватѣе снѣга вещество и покрыло площадь земли на 100 кв. саженъ толщиною до 2-хъ дюймовъ. Свойство и видъ его были хлопчатобумажныя. Въ стекляпномъ сосудѣ принимало видъ смолы. Въ первобытномъ видѣ загоралось отъ прикосновенія огня. Смола оказалась янтарно-желтаго цвѣта"... „Однажды какой-то богачъ пригласилъ къ себѣ циника... обѣдать. Послѣ обѣда началъ показывать разукрашенныя свои палаты. Захотѣлось циннику плюнуть. Видя вездѣ разостланные дорогіе ковры, циникъ плюнулъ ему въ бороду, говоря, что не нашелъ хуже мѣста въ его комнатахъ"... „Между отдаленнѣйшими племенами береговъ Оринока есть пословица: гадко какъ пища отомака. Отомаки ѣдятъ глинистую землю, которую мѣсятъ и дѣлаютъ шарики въ 6 дюймовъ въ поперечникѣ и пекутъ на огнѣ, пока поверхность не покраснѣетъ"... „Мирабо сказалъ, что итальянка думаетъ, что она только тогда любима, когда мужчина для нея готовъ на преступленіе; англичанка, когда онъ готовъ на безумство, а француженка, когда онъ способенъ сдѣлать глупость; Сегюръ полагаетъ, что мужчина долженъ имѣть матерью—нѣмку, женою—англичанку, пріятельницею—француженку, любовницею—польку"... „Большая часть женщинъ составляетъ крайности,— и потому онѣ всегда или лучше или хуже мужчинъ. Въ любви

женщины превосходятъ мужчинъ, а въ дружбѣ наоборотъ. Мужчины чужія тайны гораздо лучше сохраняютъ, чѣмъ свои собственныя, а женщины, напротивъ, тотчасъ выболтаютъ чужія, а свои скроютъ. Въ этомъ отношеніи женщина похожа на пуфъ. Часто женщина скрываетъ отъ мужчины любовь, которую къ нему чувствуетъ, тогда какъ мужчина часто притворяется въ любви, которой совсѣмъ не чувствуетъ"... и т. д. Эти отрывки расположены почти въ непосредственномъ сосѣдствѣ другъ съ другомъ. Они, видимо, прельщали автора своей смѣлостью, яркостью, иногда остроуміемъ, и при бѣломъ даже знакомствѣ съ произведеніями Бестужева видно, что на подобномъ именно матеріалѣ онъ строилъ свои колоритные разсказы [1]). Въ этомъ отношеніи ему, не отличавшемуся ни глубокимъ образованіемъ, ни серьезной, систематической начитанностью, все казалось пригоднымъ: смѣлая схематизація царствъ природы у Линнея, остроуміе Рафаэля, античное суевѣріе, чудесный разсказъ о смолѣ, упавшей изъ атмосферы, анекдотъ о циникѣ, описаніе пищи отомаковъ и эффектные отзывы о природѣ любви у мужчинъ и женщинъ.

То же стремленіе къ эффекту и къ колориту замѣтно и въ отношеніи слога. Среди выписокъ автора находимъ довольно богатый подборъ матеріала для украшенія слога: тутъ и красивыя мѣста изъ авторовъ, и послов цы, и острыя фразы, и вычурныя до смѣшного выраженія. Предъ нами развертывается пестрая мозаика выраженій и словосочетаній, богатыхъ красками, но въ то же время полныхъ перѣдко риторизма. Вотъ образцы. „Воображеніе и сердце дѣйствуютъ и въ то время, когда умъ дремлетъ. Такали, такали Новгородцы, да и протакали (вольность) (Карамзинъ). Sans respect il n'y a pas de véritable amour. Скука есть болѣзнь, сказалъ де-Леви; занятіе есть лѣкарство отъ оной, а удовольствіе — временное облегченіе. Скука родилась отъ единообразія, говоритъ Ламоттъ, а

[1]) Нѣкоторыя фразы изъ этой тетради выписокъ цѣликомъ попали въ разсказы Бестужева; такъ напр., вышеприведенную фразу о влеченіи русскаго сердца къ сѣверу говоритъ Правинъ княгинѣ Вѣрѣ (Сочин., VII, Фрегатъ Надежда, стр. 61).

Лабрюеръ проповѣдуетъ, что лѣность ввела ее въ свѣтъ. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души (Карамзинъ)... Прерывистый, томный вздохъ, подобный шептанію майскаго вѣтерка, засыпающаго на цвѣтахъ, вылетѣлъ изъ груди ея, вылетѣлъ... и замеръ на пламенныхъ устахъ любовника (изъ повѣсти „Предслава и Добрыня“ К. Батюшкова)“... „Сердце лабораторія страстей“... „Дружество государей основывается на политикѣ“... „Двѣ бараньи головы въ одинъ котелъ не лѣзутъ (пословица)“... „Худо, если люди будутъ пахать, а мы руками махать. Серебряный молотокъ пробьетъ и желѣзный потолокъ. Отъ человѣка зависитъ только дѣло, а слѣдствіе отъ Бога (Карамзинъ). Чтобы спокойно ѣсть медовой сотъ, надобно задавить пчелъ (послов. рус.) Мысль, что за насъ небо, дѣлаетъ храбраго еще храбрѣе. Худо головѣ безъ плечъ, худо плечамъ безъ головы, сказалъ Блянъ“... „Невинность не терпитъ оправданій, сказалъ Суворовъ Потемкину. Суворовъ совѣтуетъ имѣть солдату отважность, офицеру храбрость, генералу мужество“... „Эта статуя, которую не взялся бы одушевить и самъ Пигмаліонъ. Для любви нѣтъ смерти. нѣтъ страшныхъ перемѣнъ, съ нею сопряженныхъ, она всегда въ царствѣ вѣчной красоты. Въ истинномъ другѣ мы видимъ вѣрный образъ божества, говорилъ Наполеонъ“... „Сѣсть на холмѣ терпѣнія и выпучить глаза удивленія, тѣшить себя спокойно зрѣлищемъ долины необыкновенности. Безпечно разлегшись на коврѣ нѣги, курить кальянъ бездѣйствія. Спрятать голову нѣжныхъ желаній подъ башмакъ своей ничтожности. Благовонный запахъ рѣдкихъ цвѣтовъ слога сего посланія пріятно подѣйствовалъ на ноздри моего понятія. Когда бы даже ты (?) сидѣлъ въ самой отдаленной глуши долины ангела смерти, но если товарищъ твой— любовь, пустыня покажется тебѣ раемъ и бѣдственное состояніе блаженствомъ (Сади)“.

Эти выписки служатъ по отношенію къ собственнымъ произведеніямъ Бестужева какъ бы пробой пера. Если непосредственно за выписками перелистовать нѣсколько его разсказовъ, то мы найдемъ много общаго между черновыми записями сырого матеріала и обработанными въ художественной формѣ произведе-

піями: тѣ же анекдотическія подробности, тѣ же порывы къ остроумію, къ блесткамъ рѣчи,—къ эффектнымъ выраженіямъ и фразамъ. Но при этомъ въ обработкѣ матеріала наблюдается такая манера, которая невольно напрашивается на сравненіе съ литературными пріемами европейскихъ поэтовъ-романтиковъ, въ особенности же съ пріемами В. Гюго. „Самобытный“ слогъ Бестужева, уже, такъ сказать, отъ природы отличавшійся романтическою живостью и драматичностью, пріобрѣтаетъ спеціально романтическія свойства, однако, лишь въ концѣ его литературной дѣятельности, когда Бестужевъ хорошо уже вчитался въ произведенія европейскихъ, въ частности французскихъ, романтиковъ и „бралъ у нихъ готовое“ въ области поэтическаго словаря и стиля. Границу между „самобытнымъ“ его слогомъ и его же слогомъ, подвергшимся европейскому вліянію, поставить, конечно, невозможно, но нетрудно замѣтить, что въ послѣднихъ его произведеніяхъ, 30-хъ годовъ, встрѣчается гораздо болѣе, чѣмъ въ раннихъ повѣстяхъ и разсказахъ, характерныхъ особенностей стиля, сближающихъ его съ европейскими романтиками вообще и въ частности съ В. Гюго.

Оживляя свой слогъ, Бестужевъ, какъ и Гюго, любитъ прибѣгать къ эпитетамъ и сравненіямъ. Эпитеты, употребляемые Бестужевымъ, отчасти напоминаютъ языкъ поэтовъ-сентименталистовъ, но по смѣлости и разнообразію они ближе стоятъ къ словарю романтиковъ и В. Гюго; Бестужевъ говоритъ: „блѣдная лампада“, „спящій небосклонъ“, „могильная стезя“ („Поѣздка въ Ревель“), „слѣпая судьба“, „сладкая минута“ („Аммалатъ-Бекъ“); „ледяная душа“ („Измѣнникъ“), „звѣздное покрывало“ („Латникъ“), „голубой западъ“, „сѣверный зефиръ“, „предвѣчная совѣсть“ („Мулла-Нуръ“), „яхонтовыя волны“, „благовонная тѣнь“ („Фрегатъ Надежда“) и т. п. Иногда смѣлость въ подборѣ эпитетовъ доходитъ до вычурности въ такихъ, напр., выраженіяхъ, какъ „нектарный (ср. медовый) мѣсяцъ“ („Испытаніе“), „чугунный поцѣлуй“ („Латникъ“), „проселочныя желанія“ („Мулла-Нуръ“), „досадныя облака“ („Аммалатъ-Бекъ“) и др. Въ подборѣ сравненій попытки Бестужева выразить въ рельефныхъ формахъ свои индивидуаль-

ныя настроенія еще болѣе настойчивы, чѣмъ при подборѣ эпитетовъ; въ этомъ отношеніи онъ также близокъ къ литературной манерѣ В. Гюго и вообще поэтовъ его школы. Сравненія, употребляемыя Бестужевымъ, не менѣе разнообразны и смѣлы, чѣмъ его эпитеты: „міръ (мыслей) мутенъ и слитенъ какъ млечный путь“ („Аммалатъ-Бекъ“), „смѣхъ таетъ“, какъ „Клеопатрина жемчужина“ („Испытаніе“), „приглашенія и просьбы сыплются, какъ пудра“ („Вечеръ на Кавказскихъ водахъ въ 1824 году“), совѣсть „свѣтлѣе клинка сабли“ („Испытаніе“), „латы вороненыя, какъ осенняя ночь“ („Замокъ Эйзенъ“), „душа плаваетъ въ испареніяхъ цвѣтовъ, какъ индійская пери“ („Лейтенантъ Бѣлозоръ“), „имя—павшій листъ между осенними листьями, волна между волнами океана, флагъ тонущаго корабля“ („Онъ былъ убитъ“); иногда и сравненія доходятъ до вычурности, напр, въ такихъ выраженіяхъ: „посланіе истыкано, какъ русская сайка“ („Письмо къ доктору Эрману“), „слово его ходило между знакомыми вѣрнѣе билета на Амстердамскій банкъ“ („Вечеръ на Кавказскихъ водахъ“), „я зѣвалъ, какъ Кремлевская пушка“ („Поѣздка въ Ревель“), „въ старомъ бешметѣ, какъ въ русской словесности, не видна первоначальная ткань подъ разноцвѣтными заплатами“ („Разсказъ офицера, бывшаго въ плѣну у горцевъ“), „княгиня хороша собой, какъ царская яхта“ („Фрегатъ Надежда“) и др.

Желая придать своему живописному слогу по преимуществу характеръ вещественности, Бестужевъ избѣгаетъ отвлеченныхъ словъ и выраженій и постоянно обращается къ пластикѣ, чтобы сдѣлать свое повѣствованіе какъ можно болѣе рельефнымъ; для этой цѣли онъ пользуется самыми своеобразными тропами. Поэтому на языкѣ Бестужева вмѣсто того, чтобы, напр., сказать „скучать въ разлукѣ съ любимымъ человѣкомъ“, надо выразиться такъ: „считать песчинки часовъ, разлучающія насъ, считать версты, между нами лежащія“ („Аммалатъ-Бекъ“); вм. застрѣлить онъ говоритъ „запечатать ротъ свинцовой печатью“ (тамъ же), вм. затаить свое желаніе—„замкнуть сердце молчаніемъ“ („Страшное гаданье“), вм. попасть въ полынью и утонуть—„ночевать съ карасями подъ ледянымъ

одѣяломъ" (тамъ же) и т. п. Особенно часто встрѣчаемъ мы у Бестужева олицетвореніе неодушевленныхъ предметовъ и картинное овеществленіе отвлеченныхъ понятій, иногда въ очень вычурной, но при этомъ всегда пластической, формѣ; примѣры—на каждой страницѣ, чуть ли не въ каждой строчкѣ: „Кавказъ носитъ ледяной шлемъ на гранитномъ своемъ черепѣ" („Вечеръ на Кавказскихъ водахъ"), „ледяная душа таетъ отъ вѣянія воздуха родины" („Измѣнникъ"), „замокъ глядитъ однимъ глазомъ своимъ" и „въ дверную скважину кто-то дышитъ морозомъ" („Латникъ"), „по угламъ развѣваются кружева Арахны" („Ревельскій Турниръ"), „облака, задѣвая (путника) за голову, выжимаютъ, какъ губки, (на немъ) свою воду" („Аммалатъ-Бекъ"), „рѣчь кипитъ ключемъ, сбросивъ свѣтскія узы жеманства" („Часы и зеркало"), „эполеты и звѣзды блещутъ (свѣтской дѣвушкѣ) созвѣздіемъ брака" и „въ дипломатическихъ бакенбардахъ фортуна вьетъ себѣ гнѣздышко" („Испытаніе"), „коса смерти гуляетъ въ полѣ" („Мулла-Нуръ"), „ледяной истуканъ цѣломудрія подтаиваетъ отъ дыханія страстей" (тамъ же), „генеральская канитель (эполетъ) трепещетъ отъ удовольствія" („Фрегатъ Надежда") и т. п.

Особенно яркимъ и образнымъ становится слогъ Бестужева, когда ему приходится говорить на излюбленную романтиками тему о вѣчной драмѣ жизни,—ея роковомъ дуализмѣ, борьбѣ началъ духа и матеріи, безконечнаго и конечнаго, идеала и дѣйствительности. Въ этомъ случаѣ Бестужевъ пользуется тѣмъ же средствомъ, которое играетъ такую видную роль и въ литературной манерѣ романтиковъ, особенно В. Гюго. Это средство—антитеза; она у Бестужева всюду, гдѣ сильная духомъ, высшая индивидуальность хочетъ выразить тоску по идеалу, горечь жизни или даже свойственное романтизму ироническое отношеніе къ неупорядоченной дѣйствительности: въ жизни встрѣчаются рядомъ самыя противорѣчивыя чувства, поэтому „любовь и кровь старинная рифма" („Испытаніе"), и „хозяева, угощая безпечныхъ гостей на убой, точатъ въ то же время ножи" („Вечеръ на Кавказскихъ водахъ", о „Варшавской заутренѣ"); люди любятъ деньги и боятся силы, слѣд. „возжи,

которыми правятъ людей, сплетены изъ желѣза и золота“ („Замокъ Эйзенъ“); человѣческую природу нельзя подавить традиціями рода или положенія, поэтому „въ гербѣ (можетъ не быть) сердца, но оно бьется въ груди“ („Ревельскій турниръ)“; погоня за славой полна превратностей, поэтому у славы можно „выслужить и вѣнецъ Чингисъ-хана и петлю Ваньки-Каина“ („Онъ былъ убитъ“); общественная мораль часто очень условна, поэтому „есть грѣхи, послѣ которыхъ спится лучше, нежели послѣ добраго дѣла“ („Мулла-Нуръ“) и т. д. Самая недостаточность общенія и согласія міра идей съ міромъ вещественнымъ выражена однимъ изъ героевъ Бестужева въ образномъ видѣ антитезы: надъ „горой познанія“ простирается „прекрасный міръ мысли“, подъ горою—мракъ и туманъ; пытливый умъ человѣка всходитъ по горѣ познанія все выше и выше, „каждый шагъ открываетъ ему зрѣніе шире и далѣе“, „грудь его дышитъ свободнѣй“, онъ уже „глядитъ въ очи солнцу“, но облака мѣшаютъ ему... „Досадныя облака!“ восклицаетъ онъ. „съ земли вы мѣшаете видѣть небо, съ неба разглядывать землю!“ („Аммалатъ-Бекъ“).

Такими средствами выражала индивидуальность автора свое отношеніе къ окружающему міру: всѣ эти средства направлены къ тому, чтобы, какъ можно ярче и рельефнѣе, выразить ту цѣпь ощущеній, настроеній, чувствъ, размышленій, которая возникаетъ при соприкосновеніи индивидуальнаго человѣческаго я съ дѣйствительнымъ міромъ. Романтизмъ Бестужева поэтому и въ слогѣ его является прежде всего индивидуализмомъ, который постоянно даетъ себя знать въ лирическихъ оттѣнкахъ его повѣствованія о сильныхъ натурахъ, отражающихъ его собственное я; въ этомъ отношеніи къ Бестужеву вполнѣ приложимо то пониманіе романтизма, которое F. Brunetière относитъ къ В. Гюго и французскимъ романтикамъ вообще, т. е. романтизмъ есть индивидуализмъ (l'émancipation de moi), выражающійся въ лирической формѣ (solidarité des trois termes— de lyrisme, individualisme et romantisme) [1]). Иногда Бестужевъ

[1]) См. выше, стр. 82.

дѣлаетъ попытку выразить свое индивидуальное отношеніе не только къ современности, но и къ историческому прошлому; тогда онъ также обращается къ тому самому средству, которымъ пользовался и В. Гюго; это средство, отмѣченное уже романтиками терминомъ „мѣстный колоритъ", заключается въ манерѣ отдаленныя эпохи и чужія народности рисовать соотвѣтствующими времени и мѣсту красками. Бестужевъ примѣняетъ это средство при изображеніи русской старины, напр. въ повѣстяхъ „Романъ и Ольга", „Измѣнникъ", „Наѣзды", пользуясь при этомъ народнымъ языкомъ и декоративными описаніями стариннаго русскаго быта. Но примѣненіе „мѣстнаго колорита" у Бестужева нельзя назвать удачнымъ: причина неудачи лежитъ, во первыхъ, въ слишкомъ поверхностномъ знакомствѣ Бестужева съ русской стариной, а во вторыхъ, и въ томъ, можетъ быть, что онъ болѣе присматривался къ литературнымъ пріемамъ В. Гюго, чѣмъ В. Скотта, который именно и былъ настоящимъ творцомъ „мѣстнаго колорита" и образцомъ для самого Гюго въ области историческаго романа. Зато всѣ другія литературныя средства романтическаго стиля, свойственныя В. Гюго, мы найдемъ у Бестужева, и не только въ достаточной, но даже иногда въ крайней степени. Едва ли нужно приводить параллели изъ произведеній В. Гюго или подобныхъ ему стилистовъ для доказательства извѣстной близости „марлинизма" къ литературной манерѣ французскаго романтика: кому памятны страницы болѣе раннихъ романовъ и драмъ В. Гюго, тотъ невольно согласится съ тѣмъ, что слогъ Бестужева представляетъ собою лишь крайнее развитіе тѣхъ средствъ поэтической рѣчи, которыми располагалъ Гюго; чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сравнить рѣчи героевъ Бестужева съ рѣчами, напр., Эрнани или даже д'Оверне, героя болѣе спокойнаго по общему тону романа („Бюгъ-Жаргаль"), который и самъ Бестужевъ назвалъ „золотой посредственностью" [1]). Надо, однако, опять оговориться, что преклоненіе Бестужева передъ В. Гюго начинается, какъ видно изъ его

[1]) Письмо къ Н. А. Полевому, отъ 18 мая 1833 г., Дербентъ.

писемъ, лишь съ 30-хъ годовъ, когда произведенія Гюго въ подлинникахъ и переводахъ получаютъ распространеніе и среди русской читающей публики; поэтому и нѣкоторое вліяніе его можно искать въ произведеніяхъ Бестужева этой именно поры, какъ напр., въ повѣстяхъ „Аммалатъ-Бекъ", „Мулла-Нуръ", „Фрегатъ Надежда" и др.; въ болѣе раннихъ его произведеніяхъ замѣтна лишь природная образность его стиля, которая потомъ подъ вліяніемъ западно-европейскихъ образцовъ дѣлается смѣлѣе и кристаллизируется въ опредѣленныя формы. Интересно, между прочимъ, отмѣтить, что странности стиля, которыя указывала консервативная французская критика времени Гюго въ его произведеніяхъ и вообще въ французской романтической поэзіи [1]), на каждомъ шагу можно встрѣтить и у Бестужева.

Странности романтическаго стиля замѣтила и русская критика, и уже съ начала 20-хъ годовъ мы встрѣчаемъ нападки на образный поэтическій словарь и сентименталистовъ и романтиковъ [2]); ко времени расцвѣта творчества Бестужева къ новому стилю уже привыкли, и „марлинизмъ"—яркое и даже крайнее выраженіе этого стиля—не только не встрѣтилъ на первыхъ порахъ сильнаго отпора, но даже нашелъ много поклонниковъ. Развѣнчаніе „марлинизма" случилось уже позднѣе, въ 40-хъ годахъ, а въ 20—30-хъ годахъ близость его и по настроенію и по литературнымъ пріемамъ къ индивидуализму западно европейскихъ романтиковъ и ихъ индивидуализирующему стилю какъ нельзя лучше отвѣчала и общественному и литературному моменту русской жизни. Эта вторая стихія творчества Бестужева, слѣд., не только подходила вполнѣ къ его личному характеру, но и къ запросамъ времени.

---

[1]) Bibliothèque universelle. 1833 nov.: Première séance d'un cours de romantisme...

[2]) Ср. Благонамѣренный, 1820, ч. IX: Споръ, ч. XI: Письмо къ г. Марлинскому и Невскій Зритель, 1821, ч. V: Письмо къ г. Марлинскому.

3 Основной мотивъ произведеній Бестужева — вниманіе къ личности и культъ высшей индивидуальности; участіе въ немъ обѣихъ стихій творчества поэта. Свидѣтельства критики и самого Бестужева объ индивидуализмѣ въ его произведеніяхъ. Высшая натура въ „Русскихъ повѣстяхъ и разсказахъ“: ея свойства — индивидуальная страстность, неудовлетв ренность и скорбь, мечтательность, порывы къ возвышенному идеалу и страстный протестъ противъ неупорядоченной дѣйствительности; общественная жизнь передъ судомъ высшей натуры. Культурныя задачи высшей натуры; пути къ обновленію жизни: борьба противъ порабощенія личности и мирная просвѣтительная дѣятельность—взаимное самосовершенствованіе. Мечты о грядущемъ царствѣ торжества индивидуальныхъ правъ. Индивидуализированіе любви. Отношеніе современниковъ къ романтическому индивидуализму Бе тужева; оцѣнка основного настроенія его произведеній; поклонники и подражатели Бестужева; признаніе связи его творчества съ западноевропейскимъ романтизмомъ. Отношеніе къ Бестужеву иностранной критики. Развѣнчаніе славы Бестужева въ критикѣ 40-хъ годовъ; тѣсная связь его романтизма съ эпохою 20—30-хъ годовъ и историческій смыслъ его поэтической дѣятельности.

Изъ этихъ двухъ основныхъ стихій творчества А. А. Бестужева—его личнаго индивидуальнаго характера и литературныхъ вліяній, исходившихъ отъ лица европейскихъ пѣвцовъ индивидуализма, главнымъ образомъ, Байрона и Гюго—складывается тотъ основной мотивъ поэзіи Марлинскаго, который такъ увлекалъ русскую читающую публику 20—30-хъ годовъ. Этотъ мотивъ—культъ человѣческой индивидуальности въ ея высшихъ и интенсивныхъ проявленіяхъ. Участіе двухъ стихій въ художественной реализаціи этого мотива сказывается въ томъ, что высшія, героическія натуры, рисуемыя Бестужевымъ, частію отражаютъ въ себѣ его личный характеръ, частію складываются подъ тѣмъ или другимъ литературнымъ вліяніемъ.

Бестужева интересовали, по свойствамъ его натуры и литературныхъ симпатій, не столько отдѣльные реальные образы людей разныхъ странъ и эпохъ, сколько индивидуальныя черты созданной его воображеніемъ какой-то высшей натуры [1]). Отдѣльныя воплощенія этой воображаемой натуры въ разныхъ

[1]) Но, конечно, отказать творчеству А. А. Бестужева въ извѣстной долѣ реализма по содержанію нельзя; поэтому не безъ основанія его считаютъ однимъ изъ предшественниковъ реализма Гоголя: см. Н. А. Котляревскій, „Декабристы“, стр. 215 – 285; тутъ же и обстоятельная классификація повѣстей Бестужева и ихъ подробный разборъ со стороны содержанія.

героевъ весьма блѣдны и однообразны, и это было замѣчено уже почти современной поэту критикой. Правда, въ началѣ 30-хъ годовъ увлеченіе Марлинскимъ доходило еще до того, что нѣкоторымъ критикамъ видѣлась въ его романахъ и повѣстяхъ, наоборотъ, разнообразная картинная галлерея.. „..Полное собраніе повѣстей и разсказовъ Марлинскаго—читаемъ въ „Сѣв. Пчелѣ“—(представляетъ) цѣлую библіотеку, въ которой собрано такъ много ума, познаній, чувства и счастливыхъ вымысловъ, цѣлую картинную галлерею, хотя и одного мастера, но разнообразную, какъ никакая изъ всѣхъ галлерей. Марлинскій одинъ составляетъ собою цѣлую школу, и книга его можетъ служить всегдашнимъ, постояннымъ чтеніемъ, настольною книгою всякаго грамотнаго человѣка“[1]). Однако, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ смерти Бестужева, критика начала 40-хъ годовъ уже не видитъ въ его произведеніяхъ „разнообразной картинной галлереи“, наоборотъ—отмѣчаетъ однообразіе характеровъ. Въ „Отеч. Запискахъ“ находимъ въ 1840 г. въ статьѣ Бѣлинскаго такое разсужденіе на эту тему: „Собственно-русскія повѣсти Марлинскаго, содержаніе которыхъ онъ бралъ изъ русской старины, не выдержатъ никакой критики, даже самой снисходительной. Таковы суть: „Наѣзды“, „Романъ и Ольга“, „Измѣнникъ“ и пр. Въ нихъ рѣчь, повидимому, русская и имена русскія, даже много русскихъ обычаевъ, повѣрій и ссылокъ на исторію; но ни русскаго лица, ни русской души. Это — расиновскія трагедіи въ формѣ разсказовъ. Снимите съ дѣйствующихъ лицъ ихъ охабни и фаты, выбросьте изъ ихъ рѣчей немногое число русскихъ поговорокъ и пословицъ, и передъ вами очутятся тѣ безличные образы, которымъ къ лицу всякое платье и всякое имя, и которые столько же русскіе, сколько и греки, и нѣмцы, и англичане, и татары. То же должно сказать и о рыцарско-ливонскихъ разсказахъ Марлинскаго: его нѣмецкіе рыцари и дамы ничѣмъ не отличаются отъ новогородскихъ молодцовъ и

---

[1]) Сѣверная Пчела 1834, № 215: Новыя книги. Русскіе повѣсти и разсказы, М. 1834, ч. VI—VIII.

молодицъ, к тор ые ничѣмъ не отличаются отъ его нѣмецкихъ рыцарей и дамъ. Перечтите „Замокъ Эйзенъ“, „Замокъ Нейгаузенъ“, „Латника“, „Замокъ Венденъ“, „Ревельскій турниръ“, и вы увидите въ нихъ поразительную бѣдность изобрѣтенія, удивительное однообразіе въ манерѣ разсказывать и чрезвычайное сходство въ дѣйствующихъ лицахъ, особенно въ ихъ „рѣчахъ“, изъ которыхъ сшиты эти разсказы“ [1]). Нѣсколько позже тотъ же Бѣлинскій еще суровѣе осудилъ это однообразіе характеровъ у Марлинскаго. „Онъ вѣчно вертѣлся—говоритъ критикъ—около однихъ и тѣхъ же характеровъ, однихъ и тѣхъ же мотивовъ Оттого всѣ герои его повѣстей какъ двѣ капли воды похожи другъ на друга и разнятся только именами. Однообразіе его повѣстей невыносимо скучно“ [2]).

Итакъ, повторяемъ, характеры Марлинскаго однообразны. Но не въ однообразіи секретъ ихъ успѣха. Читателямъ, очевидно, нравилось въ этихъ характерахъ то, что составляетъ основную черту романтическаго идеализма, именно культъ сильнаго, свободнаго „я“, культъ высшей натуры съ ея страстными порывами къ идеалу. Въ эту эпоху идеалистическаго подъема мысли всѣхъ чрезвычайно сильно манила возможность много разъ прочитать о такой необыкновенной человѣческой личности, которая цѣлой головой поднимается надъ обыденной жизнью и, отвергая измельчавшіе и обветшалые идеалы, сама творитъ новые, величественные, прекрасные.И, обольщенный величіемъ этой высшей натуры, читатель готовъ безъ конца читать о ней, хотя бы всѣ ея варіаціи были очерчены одними и тѣми же штрихами, хотя бы во всѣхъ разсказахъ говорилось о ней въ однихъ и тѣхъ же словахъ и выраженіяхъ. Такимъ именно чтеніемъ были и повѣсти Марлинскаго, который къ тому же рисовалъ свою высшую натуру яркими

---

[1]) Отеч. Записки 1840: т. VIII: Критика. Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго...

[2]) Современникъ 1848, т. VII: Русская литература 1847 г. Второе полное собраніе сочиненій Марлинскаго, Спб., 1847.

красками и грубыми мазками, что еще болѣе способствовало ея успѣху въ глазахъ заурядныхъ людей, мечтавшихъ о романтическомъ сверхчеловѣчествѣ. И мы видимъ, съ какою силою отмѣчаетъ критика въ Марлинскомъ эту страстность чувства и мысли или „удальство“, какъ тогда выражались о приподнятости его героевъ. „Главное въ томъ, — читаемъ въ „Сѣв. Пчелѣ“—что это писатель оригинальный и по языку и по вымыслу, писатель увлекательный, и нѣжный, и удалой, и юмористъ, и мыслитель!..“ [1]) „Марлинскій — говорится нѣсколько позже въ „Маякѣ“—въ буквальномъ смыслѣ романтикъ, пѣвецъ современнаго рыцарства подъ фирмою удальства и наѣздничества. Вѣчно восторженный, текучій, блистательный, волшебникъ фразы“... [2]) Въ пѣсняхъ этого восторженнаго романтическаго пѣвца рыцарства и удальства поражаетъ читателя именно величіе характеровъ и величіе картинъ, на фонѣ которыхъ дѣйствуютъ эти высшіе характеры. Такъ въ „Лейтенантѣ Бѣлозорѣ“ кажутся удивительными „величественныя картины природы“ и „жаркая любовь“, а въ „Страшномъ гаданьи“—„и огненная любовь, и характеры неподражаемо оригинальные, особенно характеръ таинственнаго полу-демона, и наконецъ очарованіе, сила картинъ и какая-то глубокая грусть, проницающая всю повѣсть“ [3]...

Бестужевъ, конечно, не возвышался до глубокаго философскаго пониманія индивидуализма. Но частію природнымъ своимъ чутьемъ, частію воспитательной силой своихъ литературныхъ учителей, западноевропейскихъ пѣвцовъ индивидуализма, онъ дошелъ до того воззрѣнія на духовную природу человѣка, которое въ философіи называется индивидуализмомъ въ этическомъ и эстетическомъ отношеніяхъ. Что это воззрѣніе—независимо отъ научныхъ терминовъ, которыми оно обозначается—было свойственно Бестужеву, свидѣтельствуютъ его художе-

[1]) Сѣверная Пчела, 1838, № 228: Русская литература. Полное собраніе сочиненій Марлинскаго, изд. 3-е, Спб., 1838.

[2]) Маякъ, 1840, ч. IV: Статья IV, стр. 192—3.

[3]) Моск. Тел. 1833, ч. 49, стр. 328: Русскія повѣсти и разсказы, 5 ч.. Спб., 1832.

ственныя произведенія. Въ нихъ мы встрѣтимся съ убѣжденіемъ автора, что есть люди, мораль которыхъ независимѣе и выше обыденной морали, и духовныя способности которыхъ выше установленныхъ правилъ и законовъ, и что эти люди являются тѣми высшими натурами, тѣми духовно-совершенными микрокосмами, которымъ суждено переустроить жизнь въ борьбѣ за права индивидуальности. Самъ Бестужевъ неодно-кратно называетъ самого себя тоже микрокосмомъ, разумѣя подъ этимъ девизомъ свое широкое родство съ человѣчествомъ, свою близость и отзывчивость ко всему человѣчеству. Въ одномъ письмѣ къ Н. А. Полевому онъ разсуждаетъ по этому поводу такъ: „Помните ли, когда заѣзжалъ я къ вамъ изъ Марьиной рощи съ С. Печаевымъ 1 мая. Онъ сказалъ вамъ на ваши упреки мнѣ..: Вы чудакъ, Н. А., вообразили, что А. Б. безпогрѣшителенъ: онъ такой же человѣкъ, какъ и мы. Онъ сказалъ очень пошлую, но очень мѣткую правду: я человѣкъ. Въ этомъ словѣ заключается все: одного больше во мнѣ, другого менѣе, чѣмъ въ толпѣ, составленной изъ дюжинъ, но все же то и другое есть. Я посвятилъ себя изученію людей, но себя постичь не могу доселѣ: настоящій микрокозмъ! Вотъ почему прошу не гнѣваться, если случится встрѣтить въ письмахъ моихъ колкія неровности; это оттого, что я подаю вамъ руку безъ перчатки. Правила мои неизмѣнны, но духъ... волна его выблетъ порой, и вѣтеръ внѣшній, и рыбка прихоти, и минутное вскипѣніе страсти. Лира моего бытія составлена черезъ струну, изъ металлическихъ (души), и жильныхъ (тѣла), и, признаюсь, нерѣдко послѣднія становятся первыми, заглушаютъ ихъ на время“ [1]). Въ основѣ своей, правда, сложной, повидимому подверженной частымъ перемѣнамъ натуры, отзывающейся на всевозможныя проявленія жизни человѣческой индивидуальности, Бестужевъ видѣлъ, однако, всегда неизмѣнное, одно первичное зерно — любовь къ человѣчеству, которая свойственна всѣмъ скорбникамъ за человѣческое счастье и борцамъ за права человѣческой личности. Въ другомъ письмѣ къ тому же

[1]) Къ Н. А. Полевому, отъ 19 мая 1832 г., Дербентъ.

лицу читаемъ: „Полученъ и 7 № Телеграфа—очень милъ. Если не ошибаюсь, сцена изъ обыкновенной жизни—ваша? Прикидываю себя къ разнымъ лицамъ ея и нахожу въ себѣ грань каждаго—не знаю, чего во мнѣ нѣтъ? Я настоящій микрокозмъ. Одно только во мнѣ постоянно—это любовь къ человѣчеству, по крайней мѣрѣ, зерно ея, потому что стебель носилъ цвѣты разнородные, начиная отъ чертополоха до лиліи" [1]). Сознавая себя носителемъ идеи любви къ человѣческому индивидууму, Бестужевъ хочетъ, чтобы и его герои по своей духовной природѣ были достойны этой великой идеи, и когда, благодаря этому, у него является желаніе создать что-нибудь крупное въ области человѣческаго характера, то въ такіе моменты всѣ его прежніе герои ему кажутся дѣтьми и карлами и его литературная дѣятельность — жалкой поденщиной: „Слова мнѣ кажутся такъ узки, перо такъ медленно... потомъ, когда вздумаю, что эта игра или страданіе души всетаки поденщина для улучшенія своего быта, киснy, холодѣю, тяну, вяжу узлы какъ-нибудь. Нѣтъ, нѣтъ: для полнаго разлива, для вольнаго разгула дарованія надо просторъ; нѣтъ, я не доволенъ своими созданіями! Это дѣти, иногда забавныя, иногда милыя, порой даже умненькія, но дѣти, но карлы, а я живу въ сторонѣ исполинскихъ горъ, въ мірѣ исполиновъ, мечтаній... Ради Бога, не поминайте мнѣ про мои сказки!".. [2]) И Бестужевъ рисуетъ этихъ исполиновъ духа, эти высшія натуры, и, хотя онѣ не вполнѣ ему удаются, хотя онъ ими недоволенъ, тѣмъ не менѣе онъ надѣляетъ ихъ благородными свойствами души и ставитъ имъ величественныя культурныя задачи.

Высшая натура, которую рисуетъ Бестужевъ въ своихъ произведеніяхъ, отличается всегда необыкновенной страстностью. Это—свойство, присущее всѣмъ мощнымъ титаническимъ героямъ романтическ й поэзіи, что особенно наблюдается у Шиллера, Байрона и В. Гюго. Въ характерѣ высшей па-

[1]) Къ Н. А. Полевому, отъ 13 авг. 1831 г., Дербентъ.

[2]) Къ нему же, отъ 16 дек. 1831 г., Дербентъ.

туры все громадно и мощно—и злоба, и месть, и великодушіе, и самопожертвованіе, и грусть, и радость,—она „ничего не умѣетъ дѣлать и чувствовать въ половину“ [1]). Посмотрите, въ какихъ страстныхъ порывахъ проявляется у героевъ Бестужева оскорбленная и безнадежная любовь. Отчаяніе влюбленнаго не знаетъ границъ. „Сверкая взорами, стоялъ Эдвинъ посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдругъ, какъ левъ, онъ гордо встряхнулъ кудрями... и скрылся“... „Какъ бѣшеный вбѣжалъ Эдвинъ домой. Плащъ слетѣлъ на полъ. Двери спальни отъ удара ноги разлетѣлись въ дребезги—и онъ съ сердцемъ вырвалъ свѣчу изъ рукъ стараго служителя“... [2]). Тотъ же влюбленный у порога счастья не видитъ предѣла своему великодушію и самопожертвованію. „Минна!“ воскликнулъ онъ наконецъ, хватая кубокъ: „да будетъ!.. я выпилъ бы смерть изъ чаши, которой коснулись вы устами“... [3]). Соперники въ любви не видятъ ничего передъ собой кромѣ предмета своей страсти и ради его азартно играютъ своей жизнью. „...Панъ Левъ заслоняетъ мнѣ дорогу!“—„Дорога широка, панъ Маевскій!“—„Не шире моей сабли!“ съ запальчивостью вскричалъ князь. „И вѣрно не долѣе моего терпѣнія. Завтра утромъ мы помѣряемся клинками!“ Такъ страстно обмѣниваются фразами Левъ Колонтай и князь Серебряный (=панъ Маевскій), влюбленные въ Варвару Васильчикову [4]). Въ герояхъ „Русскихъ повѣстей и разсказовъ“ всѣ чувства крупны, даже самыя противоположныя. Одно и то же лицо всѣмъ своимъ существомъ уходитъ въ чувство мести и почти непосредственно то же лицо бываетъ всецѣло захвачено чувствомъ прощенія, великодушія. „Лицо Аммалата вспыхнуло... „Да, я буду жить для мести имъ!“ вскричалъ онъ: „для мести тайной и явной. Вѣрь, Султанъ-Ахметъ-Ханъ, лишь для этого я принимаю твое великодушіе!.. Отнынѣ я твой... клянусь гробомъ отца: я твой! ру-

[1]) Сочин. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 40.
[2]) Сочин., IV, Ревельскій турниръ, стр. 158—9.
[3]) Тамъ же, стр. 179.
[4]) Сочин. II, Наѣзды, стр. 104.

ководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонувъ въ нѣгѣ, забуду клятву свою, напомни мнѣ эту минуту, эту вершину: Аммалатъ-Бекъ пробудится, и кинжалъ его будетъ молнія!" [1]). Такъ говоритъ Аммалатъ-Бекъ, увлеченный страстнымъ желаніемъ исполнить свой „святой долгъ", отомстить русскимъ. И затѣмъ тотъ же Аммалатъ, испытавъ на себѣ благодѣянія русскихъ, рѣзко мѣняетъ свою страстную злобу въ сторону страстной къ нимъ привязанности. Великодушіе полковника В. „изумило азіатца. Слезы брызнули у него изъ глазъ. „Русскіе меня побѣдили!" вскричалъ онъ: „простите, полковникъ, что я думалъ худо обо всѣхъ васъ. Съ этой поры я вѣрный слуга Русскому Царю, вѣрный другъ русскимъ душой и саблею... сабля моя, сабля!" промолвилъ онъ, разглядывая драгоцѣнный клинокъ свой: „пускай эти слезы смоютъ съ тебя русскую кровь и татарскую нефть! Когда и чѣмъ могу заслужить я за жизнь, за волю!" [2]). Отвага этихъ героевъ необъятна. Таинственный „латникъ" въ повѣсти того же имени „крошилъ палашомъ своимъ, какъ будто въ кулакѣ у него сидѣлъ цѣлый легіонъ чертей, и метался въ схваткѣ, будто на немъ надѣта была заговоренная кожа Ахиллеса" [3]). Лейтенантъ Бѣлозоръ кричитъ французамъ, засѣвшимъ въ голландской фермѣ: „Если бъ вы были здѣсь по приказу самого Сатаны—и тогда отворите, или я раскрою не только двери, но и черепы ваши!" [4]). Эта страстная отвага обыкновенно соединяется съ не менѣе страстной настойчивостью и непреклонной волей. „Скорѣе рука моя будетъ вращать веретено, вмѣсто копья, чѣмъ я откажусь отъ своего намѣренія. Для моей воли нѣтъ завѣта, ни препонъ—кромѣ гибели", восклицаетъ пылкій рыцарь Ромуальдъ фонъ-Мей [5]).

Но ни буйная отвага, ни желѣзная воля, ни сильныя чувства, ни безграничныя наслажденія не даютъ удовлетворенія

---

[1]) Сочин. V, Аммалатъ-Бекъ, стр. 44.
[2]) Сочин. V, Аммалатъ-Бекъ, стр. 120.
[3]) Сочин. IV, Латникъ, стр. 17.
[4]) Сочин. III, Лейтенантъ Бѣлозоръ, стр. 28.
[5]) Сочин. III, Замокъ Нейгаузенъ, стр. 172.

этимъ мощнымъ натурамъ: „скука садится съ ними въ сѣдло и на стулъ незваная и, какъ бѣсъ въ рукомойникѣ, выглядываетъ съ донышка стакана“ [1]). Ихъ лица обыкновенно грустны, потому что они могутъ „лишь за невидаль выжать смѣхъ изъ сердца“ [1]) и потому что „суровая грусть“ поневолѣ придаетъ ихъ обыкновенно „блѣднымъ“ лицамъ „важность и занимательность“ [2]). Что же заставляетъ ихъ грустить? Очень часто причиной ихъ грусти является, повидимому, исключительно неудавшаяся жизнь, какое-либо личное несчастье, большею частью несчастная любовь. Но это приложимо далеко не ко всѣмъ высшимъ натурамъ въ повѣстяхъ А. А. Бестужева: для многихъ причина грусти лежитъ во всемъ ихъ міросозерцаніи, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и личная неудача потому только и угнетаетъ такъ сильно героя, что его неудавшіеся идеалы слишкомъ смѣлы и слишкомъ возвышаются надъ землей. Высшія натуры Бестужева или постоянно „порываются душою къ чему-то сильному, къ чему-то грозному“ [3]) или, по крайней мѣрѣ, мечтаютъ о большомъ подвигѣ и о торжествѣ большого идеала на землѣ. Такъ одинъ изъ героевъ, типическихъ для „Русскихъ повѣстей и разсказовъ“, рисуется слѣдующими чертами: „Онъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ мы привыкли называть мечтателями: отъ самой шумной веселости, отъ самаго насмѣшливаго разговора отпадалъ онъ вдругъ въ глубокую думу, въ грусть неразвлекаемую, и тогда вы бы сказали, глядя на его неподвижныя очи, что передъ вами одинъ трупъ его, а душа улетѣла. Въ другое время, напротивъ, вы бы могли видѣть на лицѣ его всю игру мыслей, какъ работу пчелъ въ стекляномъ ульѣ. Въ этотъ разъ онъ будто пробѣгалъ далъ: то словно самъ чего-то бѣжалъ съ робостію, то улыбался младенчески“ [4]). О чемъ онъ мечтаетъ? Отвѣтъ можно найти и въ немъ самомъ и въ другихъ однородныхъ герояхъ Бестужева. Онъ

---

[1]) Сочин. I, Замокъ Эйзенъ, стр. 143—4.
[2]) Сочин. I, Ночь на кораблѣ, стр. 177.
[3]) Сочин. VIII, Измѣнникъ, стр. 150—1.
[4]) Сочин. IV, Латникъ, стр. 39.

мечтаетъ о „высокихъ существахъ“ и „земные предметы“ рисуетъ въ своемъ воображеніи „небесными красками“. „Страстный по природѣ, отважный по призванію, пламенный патріотъ по долгу, онъ во всемъ былъ обманутъ сущностью, или, лучше сказать, собственнымъ воображеніемъ, которое рисовало ему земные предметы небесными красками. Горько было для его счастія и самолюбія обнять испещренныхъ скудельныхъ идоловъ вмѣсто высокихъ существъ, созданныхъ его мечтою. Любовное пустословіе, расточаемое безъ чувства и пріемлемое безъ вѣры, непостоянство женщинъ и легкомысліе мужчинъ въ любви, которая для ума стала дѣломъ, а для сердца игрушкою, отвага безъ повиновенія въ полѣ и безъ скромности дома—скоро ему наскучили“ [1]). Приведенные только что два отрывка относятся къ двумъ героямъ, раздѣленнымъ двумя вѣками: одинъ живетъ въ началѣ XVII столѣтія (Левъ Колонтай въ пов. „Наѣзды“), другой въ началѣ XIX столѣтія (поручикъ Зарницкій въ пов. „Латникъ“); но по духу оба героя составляютъ одно цѣлое и воплощаютъ одинъ типъ высшей натуры, созданный воображеніемъ автора.

Эти мечты о „высокихъ существахъ“, долженствующихъ смѣнить обыкновенныхъ, сѣренькихъ людей, и о „небесныхъ краскахъ“, которыми должны когда-то окраситься „земные предметы“,—эти мечты даже у самыхъ сильныхъ и дѣятельныхъ скорбниковъ эпохи Sturm-und-Drang'a и романтизма часто не идутъ, однако, дальше страстнаго протеста противъ окружающаго ихъ несовершенства вещей: „высшія натуры“ конца XVIII и начала XIX столѣтія обыкновенно только протестуютъ, разрушаютъ, но ничего еще не создаютъ, хотя у нихъ у всѣхъ, какъ у Шелли, было „страстное желаніе переустроить весь міръ“ Въ Бестужевскихъ „высшихъ натурахъ“ центральнымъ пунктомъ страстнаго духовнаго напряженія является, конечно, тоже протестъ. Онѣ протестуютъ и противъ грубаго внѣшняго насилія и противъ духовнаго закрѣпощенія личности условною и нерѣдко лживою общественною моралью; онѣ громко гово-

[1]) Сочин. II, Наѣзды, стр. 107—108.

рятъ и объ испорченности нравовъ свѣтскаго общества и о паденіи невинности въ крестьянскомъ быту; они защищаютъ человѣческую индивидуальность и противъ грубаго невѣжества и противъ педантическаго научнаго знанія, которое тоже не всегда считается съ правами индивидуума. „Ты выучилъ меня лить невинную кровь по своей прихоти, такъ теперь не дивись, что я хочу напиться твоею изъ мести. Помнишь ли, что ты лишилъ меня имѣнья и воли, помыкалъ родного, какъ служку, унижалъ, обижалъ, презиралъ меня, наконецъ, отнялъ мою невѣсту и довелъ до того, что я сгубилъ свой покой и чистоту совѣсти?... Ты уничтожилъ злодѣйски все, что для души дорого на землѣ и лестно на небѣ... Ты бросилъ меня на голодную смерть... Ты мучилъ, терзалъ этого ангела, спасителя моей жизни, котораго не цѣнилъ, не стоилъ“ [1]). Такъ протестуетъ молодой рыцарь противъ хищнаго барона, попиравшаго всѣ человѣческія права. Другой молодой энтузіастъ выступаетъ противъ такого же феодальнаго хищника уже не во имя личныхъ обидъ, но въ защиту меньшихъ братьевъ, закрѣпощенныхъ и порабощенныхъ жестокими владѣльцами. „Я молчалъ“, говоритъ молодой благородный рыцарь жестокому и гордому феодалу, „когда ты тенетилъ сернъ въ рощахъ моихъ, на моихъ заповѣдныхъ лугахъ травилъ зайцевъ; но теперь, когда Богъ даетъ селянамъ погоду, а ты отрываешь руки отъ безцѣннаго труда, когда топчешь конями хлѣбъ, орошенный кровавымъ потомъ, когда, наконецъ, казнишь подданныхъ за послушаніе къ власти, я долженъ былъ высказать, что сказалъ“ [2]).

Въ этихъ рѣчахъ, направленныхъ противъ феодальнаго крѣпостничества, чувствуется прикровенный, но страстный протестъ и противъ собственнаго крѣпостного права. Иногда герои Бестужева говорятъ о немъ и болѣе открыто, хотя обыкновенно примѣнительно къ „старому вѣку“ [3]), но не къ своей эпохѣ, о которой въ 20—30-хъ годахъ приходилось еще

[1]) Сочин. I, Замокъ Эйзенъ, стр. 162.

[2]) Сочин. IV. Замокъ Венденъ., стр. 107.

[3]) Сочин. IV, Латникъ, 45.

выражаться очень осторожно. „Дѣдъ мой съ матерней стороны", разсказываетъ поручикъ Зарницкій [1]), „былъ князь Х—ій: я будто въ просонкахъ вижу его темную, суровую физіогномію, его высокій ростъ... его жестокій голосъ... Какъ наибольшая часть воспитанниковъ стараго вѣка, онъ людей считалъ средствами для своихъ выгодъ... Бѣшенство его (вымещалось) на всѣхъ домашнихъ... всѣ трепетали его голоса, его взгляда... половина слугъ разбѣжалась отъ его жестокости, не знающей границъ, незнакомой съ пощадой. Онъ свирѣпствовалъ какъ звѣрь". Насиліе надъ беззащитной личностью производится смѣлѣе, если ему покровительствуетъ власть. Противъ такой власти также горячо протестуютъ герои Бестужева; прикрываясь историческими декораціями былыхъ временъ и эпохъ, они громко говорятъ о томъ, что власть часто бываетъ коварна и подкупна, и что такъ называемое „правосудіе" часто оказывается какой темной силой, которой не должно давать „права судить". „Истина не имѣетъ нужды пресмыкаться во мракѣ и таинѣ; правосудіе обвиняетъ гласно и казнитъ всенародно, а не уязвляетъ, какъ змѣя въ пятку, не поражаетъ подобно бандиту изъ-за угла. Еще разъ спрашиваю: какое право имѣете вы судить меня?" [2]) Такъ говоритъ рыцарь Эвальдъ фонъ-Нордекъ, обращаясь къ Аренсбургскому „тайному судилищу", захватившему его коварно въ свои руки. Но такое же тайное судилище изображается и на фонѣ картины изъ русской жизни. Жестокій отецъ истязаніями довелъ свою непокорную дочь до смерти: судъ негласно разобралъ дѣло и торжественно оправдалъ отца, обвинивши во всемъ несчастную его жертву: „росвошный завтракъ скрѣпилъ опредѣленіе этихъ неумытныхъ судей, и юстиція отправилась въ городъ навеселѣ"... [3]) „Сколько ужасовъ схоронено въ архивной пыли судебныхъ лѣтописей!" невольно вырывается у того же разсказчика восклицаніе на тему о судебномъ „правосудіи"; „но — продолжаетъ онъ—во сто разъ болѣе таится ихъ въ самомъ блестящемъ обществѣ!

[1]) Сочин. IV, Латникъ, стр. 44—5 и 50.

[2]) Сочин. III, Замокъ Нейгаузенъ, стр. 189.

[3]) Сочин. IV, Латникъ, стр. 57—8.

Я зналъ многихъ, которые подписывали чуть не смертные приговоры съ гордымъ лицомъ, на которомъ бы должно лежать заслуженно клеймо отверженія; я зналъ людей, которые громко вопіяли противъ порока и не заглушили тѣмъ голоса сознанія въ собственныхъ злодѣяніяхъ“ [1])...

Такимъ образомъ блестящее общество въ своихъ нѣдрахъ воспитываетъ ту неправду и то насиліе, которое потомъ проявляется въ судѣ и администраціи. Это общество корыстолюбиво и расточительно, дерзко и въ то же время льстиво, прикрывается патріотизмомъ и въ то же время гонится только за личными благами, блестяще по внѣшности и часто невѣжественно во внутреннемъ своемъ содержаніи. Подобная характеристика общества начала XIX вѣка невольно чувствуется напр. въ грустныхъ думахъ идеалиста Колонтая объ окружающемъ его нравственномъ ничтожествѣ. „Нестерпимое невѣжество дробной шляхты и дерзость магнатовъ въ народныхъ собраніяхъ, низкіе происки при дворѣ для полученія коронныхъ мѣстъ и потомъ неуваженіе къ королю, потому что мѣста сіи были неотъемлемы; хищность на чужое добро и расточительность на собственное, наконецъ свои выгоды всегда впереди блага отчизны, сокрытыя подъ ненавистной личиною ложнаго патріотизма,—все это породило въ немъ какъ-то презрѣніе и недовѣрчивость къ людямъ. Онъ не умѣлъ вовсе разлюбить ихъ, но уже не могъ уважать,—и это чувство проливало на всѣ его дѣла, на всѣ поступки странный отблескъ добросердечія и насмѣшливости, обходительности и гордости“ [2]). Эти идеалистическіе порывы и благородныя чувства могутъ показаться не вполнѣ умѣстными для героя „смуты“ начала XVII вѣка, но они зато вполнѣ приложимы къ русскому идеализму начала XIX стол. и въ частности къ русскимъ декабристамъ съ ихъ мечтами о лучшемъ государственномъ и общественномъ строѣ. Въ области общественныхъ порядковъ начала XIX стол. героевъ Бестужева особенно возмущаетъ укладъ жизни такъ называемаго свѣтскаго общества. „Бары наши“, говоритъ онъ, „пре-

[1]) Тамъ же, стр. 38.

[2]) Сочин. II, Наѣзды, стр. 108.

важно разсуждаютъ, каково Брюно игралъ Жокриссa, какъ была одѣта любовница Ротшильда на послѣднемъ раутѣ въ Лондонѣ; получаютъ телеграфическія депеши о привозѣ свѣжихъ устрицъ, а спросите-ка вы ихъ: чѣмъ живетъ Вологодская губернія? они скажутъ: „Je ne saurais vous le dire au juste, mr.; у меня нѣтъ тамъ помѣстьевъ“ [1]). Такіе бары не служатъ ни государству, ни обществу: они работаютъ только для личнаго честолюбія и для личнаго самоуслажденія. Усталый, скучающій проводитъ чиновникъ, „добившійся до штабскихъ или генеральскихъ эполетъ“ или другого виднаго положенія, „день-деньской на службѣ“, а свою скуку онъ вознаграждаетъ ночью: „или играетъ до утреннихъ пѣтуховъ или хочетъ побѣдить питуховъ за бокаломъ“, а иногда „отправляется тратить случайную искру веселости и здоровья съ какой-нибудь актрисой“. Таковы же и свѣтскія дамы: у нихъ „домъ—въ ложѣ перваго яруса, отечество—въ англійскомъ магазинѣ, рай—на балу“ [2]). Мораль этихъ людей свѣтскаго круга условна и лицемѣрна; безнравственность кроется за ширмами внѣшней благопристойности. „Благодаря европейскому просвѣщенію и столичному удобству“, говоритъ Границынъ въ пов. „Фрегатъ Надежда“, „у насъ всѣ репутаціи такъ же круглы и бѣлы, какъ бильярдные шары, по какому бы сукну они ни катились“ [3]). Естественно вполнѣ, что это высшее общество для вдумчиваго наблюдателя представляется пустымъ и пошлымъ даже въ самые выгодные и показные моменты своей ежедневной жизни. „Посмотрите вдаль и вкругъ“, говоритъ княгинѣ Вѣрѣ (пов. „Фрегатъ Надежда“) одинъ изъ собесѣдниковъ на „Петергофскомъ праздникѣ“, „не правда ли, что этотъ балъ похожъ на англійскій садъ? Перья и цвѣты на дамахъ качаются, какъ прелестный цвѣтникъ отъ поцѣлуя зефира. Тамъ тянется польскій будто живая дорожка; тамъ купы офицеровъ съ зыбкими султанами стоятъ, какъ пальмы. Вотъ Уральскій хребетъ въ шитомъ златоносными песками мундирѣ! Вотъ пе-

[1]) Соч. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 139.

[2]) Тамъ же, стр. 91.

[3]) Соч. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 98.

щера съ отголоскомъ, повторяющимъ сто разъ слово я. Далѣе, въ этомъ горбунѣ вы видите мостъ, который никуда не ведетъ; вездѣ золотые ключи, которые ничего не отпираютъ; тутъ погребальную урну, хранящую французскій табакъ, и дѣвушекъ, бродящихъ окрестъ съ невинными мечтами овечекъ.— Даже, продолжалъ... насмѣшникъ, лукаво взглядывая на ряды пожилыхъ дамъ:—если позволено вдуть сравненіе до гиперболы, мы можемъ найти здѣсь не одну живописную развалину, не одинъ обломокъ китайской стѣны, не одну готическую башню, изъ которой предразсудки выглядываютъ, какъ совы" [1]).

Но если блестящее общество давно изолгалось и развратилось, то деревенская среда, по наблюденіямъ героевъ Бестужева, благодаря съ одной стороны невѣжеству, съ другой дешевой ложной культурѣ—въ видѣ водки и разныхъ побрякушекъ—близка къ тому же нравственному растлѣнію. Таинственный незнакомецъ, герой повѣсти „Страшное гаданье", говоритъ своему собесѣднику на деревенскихъ посидѣлкахъ: „Не правда ли, сударь, вы любуетесь невинностью и веселостью этихъ простяковъ, сравнивая скуку городскихъ баловъ съ крестьянскими посидѣлками? И право напрасно. Невинности давно уже нѣту и въ поминѣ нигдѣ. Горожане говорятъ, что она полевой цвѣтокъ, крестьяне указываютъ на зеркальныя стекла, будто она сидитъ за ними, въ позолоченной клѣткѣ, между тѣмъ какъ она схоронена въ старовѣрскихъ книгахъ, которымъ для того только вѣрятъ, чтобъ побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вамъ для потѣхи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штофъ сладкой водки парнямъ, дюжину пряниковъ молодицамъ и пары три аршинъ тесемокъ дѣвушкамъ: вотъ мужицкій рай; на долго ли?"... [2]). „Неужели вы думаете, сударь (продолжаетъ онъ свои скептическія разсужденія о деревенской нравственности), что серебро здѣсь ходитъ въ другомъ курсѣ, или совѣсть судейская дороже, нежели въ столицахъ? Неужели вы думаете, что огонь здѣсь не жжетъ, женщины не вѣтрени-

[1]) Тамъ же, стр. 13.

[2]) Сочин. II. Страшное гаданье, стр. 224.

чаютъ, и мужья не носятъ роговъ? Слава Богу, эта мода, я надѣюсь, не устарѣетъ до конца свѣта! Это правда, теперь больше говорятъ о честности въ судахъ и больше выказываютъ скромности въ обществахъ, но это для того только, чтобъ набить цѣны. Въ большихъ городахъ легче скрыть всѣ проказы; здѣсь, напротивъ, сударь, здѣсь нѣтъ ни модныхъ магазиновъ, ни ложъ съ рѣшетками, ни наемныхъ каретъ, ни посѣщенія къ бѣднымъ: кругомъ несмѣтная, но смѣтливая дворня и ребятишки на каждомъ шагу. Вышло изъ моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхомъ,—такъ бѣдняжкамъ нѣжнымъ сердцамъ, чтобы свидѣться, надо ждать отъѣзжаго поля, или престольнаго праздника у сосѣдовъ, или бурной ночи, чтобы дождь и вѣтеръ смели слѣды отважнаго обожателя, которыя не боится ни зубовъ собакъ, ни языковъ сосѣдокъ" [1]).

Такимъ образомъ состояніе общества отнюдь не способствуетъ охраненію и развитію отдѣльной индивидуальности. Грубое насиліе надъ личностью, злоупотребленіе властью, пренебреженіе правосудіемъ, лживость въ отношеніяхъ высшихъ общественныхъ круговъ, упадокъ нравовъ въ низшихъ классахъ населенія—все это только порабощаетъ или заглушаетъ тѣ индивидуальныя духовныя богатства, съ которыми человѣкъ является въ жизнь. Противъ такого положенія вещей громко говорятъ тѣ высшія натуры, тѣ наиболѣе совершенные микрокосмы, которые въ длинномъ ряду индивидуальныхъ человѣческихъ существъ, этихъ безчисленныхъ точекъ, далеко не всегда ясно очерченныхъ и иногда еще сливающихся въ одну линію, успѣли особенно рѣзко и отчетливо опредѣлиться. Но ихъ борьба противъ окружающаго ихъ несовершенства вещей и ограничивается главнымъ образомъ только протестомъ. Въ замѣнъ развѣнчаннаго ими культурнаго общественнаго строя они собственно ничего не создаютъ, а лишь намѣчаютъ тѣ общіе пути, по которымъ должно совершаться обновленіе жизни. Одинъ путь—борьба противъ насилія во имя освобожденія по-

[1]) Сочин. II, Страшное гаданье, стр. 240—1.

рабощенной личности. „Для меня нѣтъ тамъ шутокъ, гдѣ страждетъ человѣчество.—Неужто для одного наружнаго украшенія начертали мы кровавый крестъ на груди своей?—Крестъ, символъ благости и терпѣнія“ [1]). Такъ протестуетъ рыцарь фонъ-Виберть противъ насилій магистра ордена меченосцевъ, и въ этомъ протестѣ ясно слышится уже желаніе силой защищать свои человѣческія права, попранныя насильемъ. „Я ставлю въ честь—продолжаетъ онъ—быть защитникомъ своихъ вассаловъ и не попущу угнетать ихъ никому, ни для чего... Для того ль облеченъ ты властію, чтобъ употреблять ее на смѣхъ?.. Вижу въ (твоей мантіи) достоинство ордена, и не вижу въ тебѣ чести рыцарской“ [2])... Даровитый юноша, который лишенъ права быть счастливымъ лишь потому, что имѣлъ несчастье родиться отъ купца, а не отъ рыцаря, также готовъ съ оружіемъ въ рукахъ отстаивать свои индивидуальныя притязанія противъ нелѣпыхъ, вѣками узаконенныхъ, предразсудковъ. „Безумецъ я, безумецъ, изъ какой надежды, по какому праву смѣлъ ты возвысить свои взоры на лучшій цвѣтъ Ливоніи!.. или ты думалъ, что пылкое, вѣрное сердце стоитъ рыцарскаго герба?.. Поклонники предразсудковъ!.. О, для чего не могу я стать съ копьемъ у ея порога и вызвать на бой каждаго дерзкаго, кто захочетъ ея руки“ [3]). И юноша идетъ съ копьемъ и, прикрывши рыцарскими доспѣхами свое купеческое происхожденіе, побѣждаетъ противника. Это вызываетъ негодованіе благороднаго рыцарства; но на защиту отважнаго юноши встаетъ цѣлый классъ общества, и происходитъ междоусобная борьба.

Другой путь обновленія жизни—путь мирной просвѣтительной и освободительной дѣятельности. „У пылкихъ душъ одна отчизна“ [4])—отчизна возвышеннаго идеала; этотъ идеалъ есть безконечное стремленіе въ „прекрасный міръ мысли“, на „гору

---

[1]) Сочин. IV, Замокъ Венденъ, стр. 106.
[2]) Тамъ же, стр. 106—8.
[3]) Сочин. IV, Ревельскій турниръ, стр. 160—1.
[4]) Сочин. I, Ночь на кораблѣ, стр. 178.

познанія“ [1]), къ „границамъ духа человѣческаго“, а „границы эти—за звѣздами млечнаго пути, за тѣнью могилы“ [2]). На почвѣ такого идеала высшія натуры могутъ и сами объединиться и объединить другихъ людей; а для этого нужно передать другимъ „благородныя чувства и свѣтлыя мысли“ и вложить въ другихъ „разумную душу“. „Ничего нѣтъ чище, возвышеннѣе, святѣе удовольствія, какое чувствуемъ мы, передавая, вперяя благородныя чувства и свѣтлыя мысли другимъ. Тогда мы прилѣпляемся къ нимъ любовью отеческою; и въ самомъ дѣлѣ: вложить въ человѣка душу разумную, доблесть живую, не значитъ ли создать, родить его для добродѣтели—и не цѣннѣе ли это родство родства тѣлеснаго, не священнѣе ли самихъ узъ крови?“ [3])... Такъ говоритъ мечтатель Зарницкій о взаимномъ духовномъ самовоспитаніи и самосовершенствованіи. Въ результатѣ борьбы за права индивидуальности—будетъ ли она открытая, физическая борьба или незамѣтная, духовная путемъ взаимнаго самосовершенствованія—должно явиться то идеальное братство и равенство людей, при которомъ уважаются всѣ естественныя, духовныя и физическія особенности индивидуальности и обезпечивается каждому индивидууму извѣстный quantum счастья. Но объ этомъ идеальномъ царствѣ совершенныхъ микрокосмовъ герои Бестужева только мечтаютъ, какъ мы уже видѣли выше. Эти мечты для нихъ, какъ для романтиковъ вообще, воплощаются въ грезахъ, въ сновидѣніяхъ, въ мистическомъ созерцаніи будущаго, и самый сонъ является въ ихъ глазахъ душевнымъ состояніемъ, символизирующимъ грядущее царство торжества индивидуальныхъ правъ. „Сонъ есть лучшій уравнитель въ жизни“, мечтательно говоритъ Зарницкій. „Когда вздумаешь, что царь и послѣдній поденщикъ, богачъ и бѣднякъ, одинаково проводятъ треть сутокъ, первые не пользуясь своими преимуществами, послѣдніе забывая свое горе,—то какое-то утѣшительное чувство проникаетъ въ душу. Я еще допустилъ,

[1]) Сочин. V, Аммалатъ-Бекъ, стр. 125.
[2]) Сочин. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 131—2.
[3]) Сочин. IV, Латникъ, стр. 46—7.

что счастливецъ и несчастный проводятъ одинаково пору сна—но обонмъ ли имъ стелетъ постель усталость и чистая совѣсть! Не сидитъ ли часто раскаяніе у золотошвейнаго изголовья—не даритъ ли воображеніе царскими снами бѣдняка?“ [1]). Такимъ образомъ личный трудъ и личная внутренняя правда могутъ дарить даже и ничтожнаго по общественному положенію человѣка „царскими снами“; эти же средства должны создавать въ будущемъ и общественное достоинство отдѣльнаго индивидуума, независимо отъ богатства, знатности или другихъ какихъ-либо условій, часто случайно достающихся на долю человѣка, но не создаваемыхъ его личными усиліями; а такъ какъ эти средства—личный трудъ и чистая совѣсть—присущи въ той или иной степени всѣмъ индивидуальностямъ, то естественно они могутъ привести людей къ общественному равенству въ томъ смыслѣ, что сдѣлаютъ для каждаго возможнымъ достиженіе соотвѣтствующаго его индивидуальнымъ силамъ общественнаго положенія.

Въ ожиданіи этого идеальнаго общественнаго строя, основаннаго на признаніи индивидуальныхъ правъ человѣка, романтики, какъ извѣстно, останавливались въ своемъ творчествѣ по преимуществу на отдѣльныхъ проявленіяхъ индивидуальности, имѣющихъ то или другое вліяніе на общественную жизнь. Между прочимъ, они много вниманія удѣляли проявленію чувства любви и старались ее индивидуализировать, т. е. осуществить на ней права индивидуальности и привить общественному сознанію подобное именно отношеніе къ этому чувству. Индивидуализмъ въ любви, по понятіямъ романтиковъ, проявляется тогда, когда два лица любятъ другъ друга въ силу ихъ индивидуальной близости, или индивидуальнаго родства. Чѣмъ глубже одна индивидуальность понимаетъ другую, тѣмъ больше между ними сходства или родства, которое иногда можетъ дойти почти до полнаго совпаденія или слиянія двухъ духовно родныхъ индивидуальностей. Отсюда—поэтическіе мотивы романтизма на тему о родныхъ душахъ и объ ихъ

[1]) Сочин. IV, Латникъ, стр. 42.

сліяніи въ чувствѣ любви. Любить, по толкованію Бестужева, значитъ „сладостно созерцать въ любимыхъ очахъ игру свѣта и тѣней, т. е. чувства и мысли; замѣчать, какъ распускается и сжимается зрачокъ, на коемъ, какъ на Гомеровскомъ щитѣ Ахиллеса, рисуется вся природа; слѣдить, угадывать, ловить искры страсти, проницать туманъ грусти и по складамъ читать въ глубинѣ души понятія, склонности, ненависти; наблюдать, какъ на милую особу дѣйствуетъ міръ и какъ бы она дѣйствовала на міръ. Это разговоръ сердецъ взорами, это гальваническая сплавка душъ“ [1]). На эту тему у Бестужева чаще всего говорятъ женщины-героини; иногда, впрочемъ, и его герои высказываютъ соотвѣтствующія мнѣнія. Вотъ напр. какъ твердо отстаиваетъ богатая и знатная дѣвушка свое право любить въ лицѣ своего бѣднаго учителя родную ей душу, несмотря на различіе общественнаго состоянія любящихъ другъ друга молодыхъ людей. „Подкрѣпленная взаимною любовью, она дерзнула почтительно, но твердо сказать отцу, что считаетъ союзъ супружескій святынею, которая требуетъ любви сердечной къ мужу... а потому она не иначе отдастъ руку свою, какъ вмѣстѣ съ сердцемъ; сердце же ея отдано Баянову, ея воспитателю; она прибавила, что никакія убѣжденія, никакія угнетенія не принудятъ ее перемѣнить даннаго обѣта—быть его женою или вѣчно остаться его невѣстою. „Вы дали мнѣ жизнь, батюшка“, сказала она: „но Вотъ мнѣ далъ душу: располагайте первою, но позвольте мнѣ сохранить себѣ вторую—и кому лучше могу я посвятить ее, какъ не человѣку, посвятившему лучшіе годы своей жизни на мое образованіе съ такимъ усердіемъ, съ такимъ горячимъ самоотверженіемъ?“ [2]). Другая любящая женщина, нарисованная Бестужевымъ, именно турчанка, героиня повѣсти „Красное покрывало“, еще опредѣленнѣе говоритъ о своей любви, какъ о родствѣ и сліяніи душъ. „Да, я оплакиваю родного“, сказала она.—„Онъ былъ мнѣ все на землѣ: отецъ мой, братъ мой, любовникъ, супругъ! Какъ заботливый родитель, онъ далъ мнѣ новую душу...

[1]) Сочин. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 157—8.

[2]) Сочин. IV, Латникъ, стр. 48—9.

какъ нѣжный родственникъ, лелѣялъ меня; какъ страстный женихъ, любилъ меня, и я любила его“ [1]). И ея собесѣдникъ, которому она повѣряетъ свое горе, скрѣпляетъ ея признанія собственнымъ мнѣніемъ въ томъ же духѣ: „Твой милой сорвалъ тебя, какъ цвѣтокъ, съ корня растительной жизни и на своихъ крыльяхъ умчалъ въ новую, прекрасную жизнь умственную, но стрѣла смерти пронзила его въ поднебесьѣ — и тебѣ не дышать болѣе воздухомъ этого поднебесья, не прирость снова къ землѣ!“ [2]) Для такой любви, основанной на родствѣ душъ, нѣтъ никакихъ обычныхъ житейскихъ преградъ; по понятіямъ романтиковъ, такая идеальная любовь, какъ и идеальное творчество, стоитъ выше обыденныхъ правилъ и не считается съ общественными условностями и предразсудками. Въ пов. „Страшное гаданье“ замужняя женщина, забывшая мужа для другого мужчины, говоритъ своему возлюбленному: „Для тебя я забыла долгъ, тебѣ пожертвовала домашнимъ покоемъ, для тебя я презрѣла теперь двусмысленные взоры подругъ, насмѣшки мужчинъ и угрозы мужа“ [3]). „Тебѣ я отдала чистоту души и покой совѣсти“, говоритъ княгиня Вѣра Правину [4]). Точно также молодая турчанка (въ пов. „Красное покрывало“) презрѣла всѣ отеческіе обычаи и завѣты, „умерла для клеветы сосѣдей, для мести родныхъ“ и всей душой отдалась иноземцу и иновѣрцу. Зато для такой любви, основанной на духовномъ родствѣ и стоящей выше избитыхъ приличій и условій, нѣтъ увяданія, нѣтъ смерти: единеніе любящихъ родныхъ душъ, или „супружество душъ“, какъ выражается одинъ изъ героевъ Бестужева [5]), не только не прекращается послѣ смерти, но напротивъ переходитъ въ полное сліяніе. „У меня ужъ нечего отнимать, мнѣ ужъ нечего бояться“, говоритъ турчанка на могилѣ своего возлюбленнаго-христіанина. „Бывало и звѣзды, не только злоба людей, не видали моихъ шаговъ къ милому—

[1]) Сочин. II, Красное покрывало, стр. 187.
[2]) Тамъ же, стр. 191.
[3]) Сочин. II, Страшное гаданье, стр. 248—9.
[4]) Сочин. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 144.
[5]) Тамъ же, стр. 124 (Правинъ).

тогда мнѣ дорого и страшно было завтра. Теперь у меня нѣтъ завтра! Здѣсь ночь, здѣсь зимняя ночь!" промолвила она, положивъ руку на чело, потомъ на сердце... „Онъ унесъ въ могилу свѣтъ изъ очей и теплоту изъ сердца—на его могилѣ хочу я умереть, чтобы въ ней смѣшались прахи наши, а за ней наши души!" [1]).

Таковы думы и порывы Бестужевскихъ высшихъ натуръ, этихъ людей переходной поры, „рожденныхъ на границѣ двухъ вѣковъ" [2]), какъ говоритъ о нихъ самъ Бестужевъ: у нихъ „проснулся умъ", „XIX вѣкъ тянетъ ихъ кверху" [2]), но идеалъ еще далекъ, дѣйствительность тяжела и неизбѣжна, и вотъ своей отзывчивой душой и любвеобильнымъ сердцемъ они страдаютъ за всѣхъ, и ихъ печаль такъ же необъятна, какъ необъятенъ ихъ идеалъ. „Видите ли эту нагую, опаленную перунами, неприступную даже зелени скалу? Это—печаль поэта: тамъ гордая душа, какъ снѣжногривая гора, скрываетъ въ облакахъ чело свое"... [3]) Эти слова одного изъ героевъ Бестужева приложимы къ очень многимъ изъ нихъ. Къ этимъ русскимъ скорбникамъ обращается съ словами глубокаго сочувствія и самъ авторъ, заканчивая грустную повѣсть о судьбѣ капитана Правина: „Дорогою цѣной платите вы, баловни природы, за свой умъ, за свои тонкія чувства!.. Высоки ваши наслажденія, зато какъ остры, какъ разнообразны ваши страданія! У васъ сердце—телескопъ, увеличивающій все до гигантскаго размѣра.—О, кто бы, глядя на Правина, не пожелалъ быть глупцомъ, всегда довольнымъ собою, или безчувственнымъ камнемъ, ничего не терпящимъ отъ другихъ!.." [4]).

Выразитель идеалистическихъ порывовъ своей эпохи—Бестужевъ не только былъ замѣченъ своими современниками, но даже до извѣстной степени и понятъ со стороны своего основного настроенія. Мы уже видѣли, что критика 30-хъ годовъ по своему отмѣтила даже и его индивидуализмъ. Вообще же

[1]) Сочин. II, Красное покрывало, стр. 190.
[2]) Сочин. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 96.
[3]) Сочин. X, „Онъ былъ убитъ", стр. 237.
[4]) Сочин. VII, Фрегатъ Надежда, стр. 210.

Марлинскій былъ провозглашенъ „первымъ прозаикомъ“ своего времени и „создателемъ повѣсти на русскомъ языкѣ“ [1]; талантъ его былъ признанъ „необыкновеннымъ, блистательнымъ“ [2]; отмѣчена была „бойкость кисти“, „свѣжесть колорита“, „неистощимая острота“ и „глубокая начитанность“ [3]. Но при этомъ подчеркивалось родство съ авторомъ его героевъ, которые „всѣ носятъ фамильное сходство,—всѣ, (какъ) двѣ капли, похожи на отца“, и обаятельное воздѣйствіе его сильной личности на читателя, которымъ онъ „владѣетъ деспотически)“ [4]. Марлинскій „въ прозѣ“ приравнивался къ Пушкину „въ стихахъ“ [5], и сочиненія его названы были „утѣшеніемъ усладительнымъ“ [6]. „Общимъ голосомъ“ были „приписываемы повѣстямъ Марлинскаго“ слѣдующія „основныя стихіи“: „народность, остроуміе и живопись трагическихъ страстей и положеній“ [7]). Изъ этихъ стихій однако наибольшее впечатлѣніе производила на читателей та, которая соотвѣтствуетъ романтическому индивидуализму, т. е. „живопись“ человѣческаго духа съ его страстными порывами: „истинный романтизмъ“ [8]), какъ его тогда понимали, долженъ былъ изображать „глубокія ощущенія глубокихъ, сатанинскихъ душъ“ [8]),— и это изображеніе находили читатели Марлинскаго въ его разсказахъ, не только въ содержаніи ихъ, но даже и въ слогѣ, которымъ они были написаны. Отсюда—его успѣхъ, особенно въ средѣ современной ему молодежи. Кадеты „учатъ на память“ стихи Пушкина, Грибоѣдова, Баратынскаго и др. поэтовъ, а „увлекаются“ Марлинскимъ [9]); Лермонтовъ въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ „рисуетъ иллюстраціи

---

[1]) Моск. Телегр. 1833, ч. 49, стр. 328: Русскія повѣсти и разсказы...

[2]) Сѣв. Пчела, 1833, № 39: Русск. пов. и разск.

[3]) Тамъ же, 1838, № 228.

[4]) Сынъ Отеч. 1839, т. VII: Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго.

[5]) Отеч. Записки 1840, т. VIII: Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго, Спб. 1838—39.

[6]) Тамъ же.

[7]) Русск. Стар. 1882, т. 36: Московскій кадетскій корпусъ въ 1824—1829 гг., стр. 361—2.

къ Аммалатъ-Беку“ [1]); „правовѣды“ имъ „упиваются съ безпредѣльнымъ восхищеніемъ“. „Мы всѣ его ужасно любили“, говоритъ о Марлинскомъ „правовѣдъ“ 30-хъ годовъ, „за молодцоватыхъ и галантерейныхъ героевъ, за казавшуюся намъ великолѣпною страстность чувствъ, наконецъ, за яркій и крученый языкъ. Всего больше мы восхищались „Лейтенантомъ Бѣлозоромъ“. Какъ насъ трогали похожденія русскаго морика-Ромео, нѣжнаго и твердаго, и голландской Гретхенъ, наивной и тонко-элегантной Жанни! Все, что тутъ встрѣчалось въ романѣ, казалось мнѣ гораздо выше, глубже, пламеннѣе и трогательнѣе даже „Аммалатъ-Бека“, главнаго моего наслажденія во время моихъ домашнихъ еще чтеній: конечно, уже и тамъ довольно было мужественныхъ и нѣжныхъ чувствъ, наилучшаго джентельменства и дикой кровавости у превосходнаго татарина Аммалата и у его возлюбленной Селтанеты; но какое сравненіе — лейтенантъ Бѣлозоръ, это соединеніе всего напревосходнѣйшаго, что есть на свѣтѣ!“.. [2]). Внѣ круга учащейся молодежи Марлинскій былъ не менѣе популяренъ. Его повѣсти способны были „пріятнымъ образомъ лишить сна“ его читателей [3]); въ нѣкоторыхъ разсказахъ, гдѣ онъ „давалъ разгулъ восторгу думъ и поэзіи“, онъ являлся своимъ читателямъ „самымъ глубокимъ изъ (русскихъ) умствователей, самымъ вдохновеннымъ изъ (русскихъ) писателей“ [4]; для нѣкоторыхъ онъ и въ 40-хъ годахъ еще стоялъ несравненно выше Гоголя [5]). Понятнымъ отсюда становится, почему у Бестужева было такъ много подражателей: одинъ „писалъ повѣсти въ духѣ

---

[1]) Русск. Стар. 1890, т. 65: Лермонтовскій музей въ С.-Петербургѣ 1887—1889 гг., стр. 591.

[2]) Русск. Стар. 1881, т. 30: В. Стасовъ, Училище Правовѣдѣнія въ 1836—1842 гг., стр. 409—410.

[3]) Русск. Арх. 1886, т. I: Изъ бумагъ поэта И. И. Козлова, письмо къ нему гр. Е. Е. Комаровскаго отъ 25 дек. 1823 г., стр. 315.

[4]) Русск. Стар. 1884, т. 41: Дневникъ В. К. Кюхельбекера, 1834 г., стр. 340.

[5]) Русск. Арх. 1887, т. I: Воспоминанія Костенецкаго, 1828—1838 гг. стр. 104—5.

Марлинскаго“ [1]), другой подражалъ его „замашкамъ“ въ стилѣ [2]), третій употреблялъ „выраженія à la Марлинскій“ [3]), четвертый поддерживалъ культъ марлинизма даже съ университетской каѳедры [4]) и т. д. Знакомство съ этимъ „оригинальнымъ писателемъ“ [5]), „отличавшимся тогда своими повѣстями“, считалось интереснымъ и лестнымъ [6]); его мѣткія выраженія становились ходячими [7]), а его смѣлый и порывистый идеализмъ казался опаснымъ для охранительной части общества... [8]).

Такое отношеніе современниковъ къ произведеніямъ Бестужева объясняется изъ самаго характера того духовнаго момента, который тогда переживало русское общество. Это было время, когда „чтеніе Шиллера“ давало молодежи „направленіе, которое было выше матеріалистическихъ воззрѣній“; когда энтузіазмъ Карла Моора „надолго уводилъ (читателя) въ Богемскіе лѣса романтизма“; когда „тайкомъ списывали и твердили наизусть запрещенные стихи Пушкина: „Оду на вольность“, „Кинжалъ“, „Деревню“ и пр.; когда „Горе отъ ума“ волновало всю Москву“ [9]). Это идеалистическое направленіе умовъ шло къ намъ не только изъ области литературнаго западно-европейскаго романтизма, представленнаго Кар-

---

[1]) Тамъ же, стр. 109 (говорится о П. И. Каменскомъ).

[2]) Русск. Стар. 1884, т. 41: Дневникъ В. К. Кюхельбекера.., стр. 356 (говор. объ О. Морозовѣ).

[3]) Русск. Стар. 1881, т. 31: А. С. Пушкинъ и П. В. Нащокинъ, Очерки и воспоминанія, стр. 600 (говор. о П. Ф. Павловѣ); ср. также Русск. Арх. 1874, т. II, Н. И. Колюбакинъ, стр. 957: „П. И. Колюбакинъ былъ другомъ Марлинскаго и въ способѣ выражаться носилъ въ себѣ слѣды этой дружбы“.

[4]) Русск. Арх. 1877, т. II: П. И. Второвъ, 1834—1842, стр. 153—4 (о лекціяхъ на слов. фак. въ Казан. ун-ѣ Рыбушкина).

[5]) Выраженіе Вигеля: Русск. Арх. 1892, III, Записки, ч. VI.

[6]) Русск. Стар. 1873, т. VII: Записки гр. Ѳ. И. Толстого, стр. 133—4.

[7]) Русск. Стар. 1872, т. VI: А. П. Ермоловъ, стр. 480 (выраж. Бестужева „Ермоловскій Симплонъ“=Военно-грузинская дорога).

[8]) Русск. Стар. 1903, дек.: Письма М. Т. Каченовскаго къ О. В. Булгаринну (1823—1824), письмо отъ 2 янв. 1823, Москва (о запрещеніи цензурою повѣсти „Замокъ Венденъ“).

[9]) Русск. Стар. 1873, т. VII: Воспоминанія Т. П. Пассекъ стр., 313, 320.

ломъ Мооромъ и другими „высшими натурами", но и непосредственно изъ дѣйствительной западно-европейской жизни: русскія войска, во время войнъ съ Наполеономъ „прошедшія всю Европу", возвратившись домой, „разсказывали поселянамъ о состояніи и свободѣ земледѣльцевъ въ чужихъ земляхъ", и „всѣ отъ генерала до солдата только и говорили, какъ хорошо въ чужихъ земляхъ, и спрашивали, почему не такъ у насъ" [1]); въ 20—30-хъ годахъ эти разсказы могли уже превратиться, но впечатлѣніе отъ нихъ, повидимому, еще оставалось.

Отзываясь на идеализмъ Бестужева, какъ на основной мотивъ его оригинальныхъ произведеній, современники при этомъ замѣчали и родство его идеалистическаго творчества съ западно-европейской романтической школой. Такъ, для нѣкоторыхъ цѣнителей его повѣстей и разсказовъ онъ являлся „счастливымъ, опаснымъ соперникомъ Купера и Евгенія Сю" [2]). Другіе ставили его даже выше такихъ „представителей европейской повѣсти", какъ Жанъ Поль, Гоффманъ, Вашингтонъ Ирвингъ, Цшокке, В.-Скоттъ и др. [3]). Перечисливъ эти литературныя имена, критикъ задаетъ вопросъ: какое мѣсто между ними занимаетъ авторъ „Русскихъ повѣстей и разсказовъ", т.-е. Бестужевъ,—и отвѣчаетъ на него слѣд. образомъ: „Ж. Поль отличается неизмѣримостью фантазіи, Гоффманъ дивнымъ выраженіемъ чудеснаго въ самыхъ простыхъ разсказахъ, Вашингтонъ Ирвингъ поэтическимъ юморомъ своимъ, Цшокке умѣньемъ обрисовать прелестную какую-угодно картину"... „Бальзакъ хорошъ только своимъ разсказомъ, Жюль Жаненъ дикостью фантазіи своей, В. Ирвингъ своими описаніями, Альфредъ де-Виньи художническою отдѣлкою каждой части и, можно сказать, каждаго слова. Изъ нѣмцевъ только одинъ

---

[1]) Русс. Стар. 1904, т. 117: Н. Дубровинъ, Послѣ Отечественной войны (Изъ русской жизни въ началѣ XIX вѣка), стр. 25; дѣлаются ссылки на „показаніе А. Бестужева" и на „Разсужденія и примѣчанія объ Украйнѣ, А. Кржижановскаго": Арх. III отдѣл. 1-й экспедиціи, опись 1821 г., д. № 14.

[2]) Сѣв. Пчела, 1833, № 89.

[3]) Моск. Тел. 1833, ч. 49, стр. 328

Цшокке милый, очаровательный разсказчикъ, но онъ не высокій создатель. Итакъ—вотъ мѣсто нашего писателя. Онъ равняется въ повѣстяхъ своихъ съ лучшими писателями всѣхъ временъ и превосходитъ всѣхъ повѣствователей и сказочниковъ современныхъ. Онъ оказалъ искусству услугу незабвенную тѣмъ, что нашелъ въ отечествѣ своемъ образы и языкъ для рода повѣствовательнаго" [1]). Къ отдѣльнымъ повѣстямъ и романамъ А. А. Бестужева критика подыскивала западноевропейскіе образцы. Такъ напр. „Ночь на кораблѣ", говорится тамъ же [1]), „можно сравнить съ поэмою Байрона", а „Наѣзды" можно „уподобить очеркамъ Альбрехта Дюрера"; идея повѣсти Бестужева „Страшное гаданье" оказывается, по мнѣнію критики, заимствованной изъ „Ночи на Рождество" Цшокке, а герой повѣсти „Мулла Нуръ" напоминаетъ Карла Моора [2]); В. К. Кюхельбекеръ находилъ, что въ повѣсти „Лейтенантъ Бѣлозоръ" „авторъ сбиваетъ на скромный ладъ Густава Шиллинга", въ „Вечерѣ на Кавказскихъ водахъ въ 1824 году" — „подражаетъ нѣсколько пріемамъ Вашингтона Ирвинга, а мѣстами и Гоффмана", а въ повѣсти „Латникъ"— превосходитъ Раупаха и т. д. [3]).

Даже когда обаяніе творчества А. А. Бестужева прошло, что случилось въ 40-хъ годахъ, его все еще продолжали сопоставлять съ видными представителями западно-европейской романтики. Бѣлинскій, говоря о литературной звѣздѣ Марлинскаго, быстро загорѣвшейся и быстро потухшей, вспоминаетъ при этомъ, какъ параллель, В. Гюго. „Марлинскій—говоритъ онъ — навсегда останется замѣчательнымъ лицомъ въ исторіи русской литературы. Его слава и паденіе—примѣръ рѣзкій и поучительный, показывающій, какъ непрочны бываютъ иногда самые блестящіе успѣхи въ переходныя эпохи литературъ, какъ легко блестящему таланту разыгрывать въ нихъ роль генія,

---

[1]) Моск. Тел. 1833, ч. 49, стр. 328.

[2]) Отеч. Зап. 1840, т. VIII, стр. 57.

[3]) Русск. Стар. 1883, т. 39: Дневн. В. К. Кюхельбекера, стр. 254, 271—2.

вожатаго вѣка... Такіе примѣры случаются и въ литературахъ старыхъ и богатыхъ: вспомните Виктора Гюго... Читать теперь повѣсти Марлинскаго трудно, потому что скучно, но талантъ, и притомъ замѣчательный, виденъ въ нихъ и теперь. Его сочиненія останутся навсегда любопытнымъ памятникомъ той литературной эпохи, которая такъ рѣзко отразилась въ нихъ“ [1]). Въ тѣхъ же отзывахъ 40-хъ годовъ о Марлинскомъ, которые наполнялись исключительно только нападками на этого „вычурнаго западника“, еще болѣе подчеркивалась его близость къ западно-европейскимъ образцамъ. „Что такое былъ Марлинскій?“ спрашиваетъ М. Н. Загоскинъ и отвѣчаетъ такъ: „Разсказчикъ съ талантомъ и воображеніемъ. Марлинскій, этотъ, по временамъ, самый рабскій подражатель неистовой французской школы — этотъ бонмотистъ, щеголяющій самыми нелѣпыми сравненіями и остротами, этотъ умникъ, который, живя на Кавказѣ, описывалъ нравы московскаго общества по Бальзаку и, вѣроятно, лучше зналъ бытъ дербентскихъ татаръ, чѣмъ русскихъ мужичковъ; этотъ исковерканный, вычурный, осыпанный полинялыми французскими блестками, Марлинскій, который говоритъ, что улитка разговора перешла на другой предметъ, и думаетъ, что сказалъ очень умно; этотъ безусловный обожатель запада и всѣхъ его мерзостей; этотъ Марлинскій, который находитъ, что между дикимъ чеченцемъ и русскимъ дворяниномъ менѣе разстоянія, чѣмъ между этимъ послѣднимъ и какимъ-нибудь французскимъ маркизомъ или англійскимъ лордомъ, какъ будто бы всѣ маркизы и лорды люди истинно просвѣщенные, а всѣ русскіе дворяне рѣшительно невѣжды“ [2])...

Такимъ образомъ близость Бестужева къ иностраннымъ образцамъ весьма настойчиво подчеркнута его современниками; тѣмъ не менѣе иностранная критика очень слабо откликнулась на произведенія Бестужева, въ особенности же на ихъ основной мотивъ. И это вполнѣ понятно: въ западно-европей-

[1]) Современникъ, 1848, т. VII, Русская литература 1847 г., стр. 40: „Второе полное собраніе сочиненій Марлинскаго“, Спб. 1847.

[2]) Маякъ, 1840, ч. VII, стр. 102—104: Письмо М. Н. Загоскина.

ской поэзіи были такіе яркіе выразители идей романтическаго индивидуализма, передъ которыми совершенно блѣднѣло творчество Бестужева, хотя оно вдохновлялось тѣми же духовными порывами. Такъ напр., английская критика почти не замѣчаетъ этого русскаго поклонника Байрона, считая, можетъ быть, его однимъ изъ очень мелкихъ байронизирующихъ авторовъ. Вскорѣ послѣ смерти Бестужева промелькнула, впрочемъ, замѣтка о немъ въ „The Foreign Quarterly Review“, но и она, можетъ быть, была вычитана англійскимъ хроникеромъ въ какомъ-либо русскомъ журналѣ или даже была прислана въ англійскій журналъ однимъ изъ русскихъ почитателей поэта. Здѣсь Бестужевъ названъ „выдающимся романтикомъ, писавшимъ подъ именемъ Марлинскаго, и его литературное имя по популярности сопоставлено съ именемъ Пушкина [1]). Французская критика также ничѣмъ не отмѣтила русскаго подражателя В. Гюго, а просто за одно съ другими русскими писателями отнесла его къ той категоріи „les conteurs russes“, о которыхъ весьма нелестно отозвался въ 1833 году „Journal des Débats“. Говоря о сборникѣ переведенныхъ на французскій языкъ русскихъ повѣстей и разсказовъ, въ которомъ между произведеніями Карамзина, Булгарина и др. помѣщена и повѣсть Бестужева „Красное покрывало“ („Le voile rouge“), рецензентъ „Journ d. Déb.“ уличаетъ современную ему русскую литературу въ сплошной подражательности, которую объясняетъ тѣмъ, что русская литература не имѣетъ никакого собственнаго историческаго прошлаго, а потому и не можетъ быть оригинальной; въ особенности же эта подражательность направлена, по его мнѣнію, на французское поэтическое творчество, въ области котораго русскіе копируютъ все вплоть до капризовъ воображенія и до „вспышекъ ума“, такъ какъ во

[1]) The Foreign Quarterly Review, 1838, vol. XX, № XL, стр. 448, Miscellaneous Literary Notices, Russia: „Russian literature has sustained, in the course of this year, a second important loss by the death of Bestucheff, eminent as a novelist by the assumed name of Marlinsky. His reputation as a prose writer was not inferior to that of Puschkin, as a poet“.

время самаго процесса творчества русскіе писатели слишкомъ внимательно всматриваются въ свои французскіе образцы [1]). Послѣднее замѣчаніе до извѣстной степени примѣнимо, конечно, и къ Бестужеву. Изъ болѣе раннихъ произведеній Бестужева одно лишь, повидимому, вызвало мимолетную замѣтку о немъ въ французской журнальной хроникѣ; это—„Поѣздка въ Ревель". Въ Revue Encyclopédique" по поводу этого произведенія напечатано было въ 1826 году [2]) нѣсколько строкъ о наблюдательности автора и о живости и натуральности его повѣствованій и описаній; между прочимъ отмѣченъ былъ своеобразный характеръ стиля Бестужева и его склонность къ неологизмамъ. Но, можетъ быть, и эта замѣтка, подобно вышеприведенной изъ „The For. Quart. Review", выдаетъ свое русское происхожденіе тѣмъ, что рекомендуетъ Бестужева вни-

---

[1]) Journal des Débats, 16 novembre 1833, Variétés. Les conteurs russes, ou Nouvelles et Contes de M. M. Bulgarine, Karamzine etc., traduits du russe par M. Ferry de Pigny.: „Complètement nue, sans asile, sans temple, sans prêtres, elle n'a pas eu la peine de retourner ses vêtements pour les arragner à la mode du jour. Elle a emprunté tout simplement à droite à gauche, chez ses voisins, de quoi se couvrir et se présenter convenablement. C'est là un grand malheur, selon moi, pour une littérature qui commence, d'être forcée à emprunter et surtout à emprunter dans une époque où l'on ne peut prêter que des contes et des nouvelles"... „...la littérature russe, grâce aux dépouilles conquises sans grand travail de tous côtés, se mit en devoir de paraître à côté des ses rivales, sans avoir à rougir de son dénuement. Sans doute notre vanité nationale doit être singulièrement flattée de voir que la littérature de Saint-Pétersbourg a choisi pour modèle les allures de la littérature parisienne plutôt que de toute autre. On copie en Russie tous nos caprices d'imagination: on calque nos fantaisies, on imite toutes les boutades de notre esprit, et quelquefois même aussi on a assez de courage pour refaire nos chefs-d'oeuvre"... „quand ils (les conteurs russes) écrivent, ils ont trop d'oeil fixé sur nous: ils sont gênés dans leur plan et dans leurs idées"

[2]) Revue Encyclopédique, 1826, t. XXIX, стр. 756—7. Russie. Poiezdka v'Revel, par Al. Bestougev, S.-P. 1821. Манеръ Бестужева разсказывать приписывается „une variété et une couleur fort agréables"; его слогъ характеризуется слѣд. словами: „le style, entaché quelquefois de néologismes, respire une franchise et une originalité séduisantes".

манію иностранцевъ и находитъ „Поѣздку въ Ревель“ достойной перевода на французскій языкъ.

Молчаніе иностранной критики наводило, конечно, на мысль русскихъ поклонниковъ Бестужева познакомить заграничныхъ читателей съ популярнымъ въ Россіи романистомъ. Можетъ быть, съ этой именно цѣлью помѣщенъ былъ въ срединѣ 1835 года въ журн. „Magazin für die Literatur des Auslandes“ одинъ изъ обычныхъ тогда въ русской журналистикѣ обзоровъ русской литературы, принадлежащій перу Н. И. Греча. Н. И. Гречъ, конечно, замѣтилъ вышеприведенную статью французскаго журнала и въ своемъ „обзорѣ“ отвѣчаетъ ей ссылкою на оригинальность Марлинскаго, о которомъ говоритъ вообще много и похвально. Отводя его повѣстямъ и разсказамъ первое мѣсто въ современной русской прозѣ, Гречъ обращаетъ вниманіе читателей на выдающіяся свойства его таланта, между которыми особенно настойчиво подчеркиваетъ глубину мысли и чувства, занимательность разсказа, подробность и красочность въ описаніяхъ; онъ не скрываетъ и недостатковъ Марлинскаго, которые видитъ въ излишнемъ стремленіи къ остротамъ и въ натянутыхъ, неестественныхъ сравненіяхъ и описаніяхъ, но эти недостатки онъ находитъ только въ разсказахъ, посвященныхъ свѣтской жизни, — повѣсти изъ военнаго и морского быта ими отнюдь не страдаютъ; по мнѣнію Греча, французскимъ аристархамъ, въ родѣ критика изъ „Journal des Débats“, слѣдуетъ ознакомиться ближе съ произведеніями Марлинскаго, чтобы имѣть болѣе правильное понятіе о достоинствахъ русскихъ разсказчиковъ („les conteurs russes“) [1]). Имѣла ли для Бестужева успѣхъ за границей рекомендація Греча, сказать трудно,—во всякомъ случаѣ, судя

[1]) Magazin für die Literatur des Auslandes, 1835, Achter Band, № 90. Russland, Die Russische Literatur zu Anfang des Jahres 1834, von N. J. Gretsch, An einen in Paris lebenden Russen, стр. 358: „...Unlängst las ich im Journal des Débats die Rezension einer in Paris gedruckten Uebersetzung der Russischen Erzähler (les Conteurs Russes), wo man unseren Schriftstellern Mangel an Originalität vorwirft. Was würden aber Eure Aristarchen wohl gesagt haben, wenn sie Marlinsky's Geschichten und Erzählungen hätten lesen können?..“

по немногочисленнымъ переводамъ его произведеній на нѣмецкій и вообще на европейскіе языки [1]), этотъ успѣхъ былъ небольшой и непродолжительный, тѣмъ болѣе, что черезъ нѣсколько лѣтъ сами же русскіе, развѣнчавши Марлинскаго у себя на родинѣ, постарались развѣнчать его и за границей. Въ 1843 г. въ „Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft" перепечатана была въ нѣмецкомъ переводѣ изъ „Москвитянина" [2]) статья проф. Шевырева „Взглядъ на современную русскую литературу", гдѣ Марлинскій охарактеризованъ какъ противникъ „классической", по строгости и чистотѣ языка, школы Карамзина, обаятельно подѣйствовавшій на читателей своимъ своеобразнымъ и эффектнымъ стилемъ; по мнѣнію Шевырева, Марлинскій не былъ выразителемъ какого-либо общественнаго или литературнаго момента, но лишь своеобразнымъ фразеромъ, эфемерный успѣхъ котораго быстро исчезъ съ расцвѣтомъ прозы Пушкина [3]).

Гораздо болѣе вниманія удѣлили Бестужеву нѣкоторыя славянскія литературы; здѣсь былъ отмѣченъ и основной мотивъ его произведеній — индивидуальная страстность въ духѣ героевъ Sturm-und-Drang'a. Въ 1839 г. чешская литературная хроника довольно подробно описала вышедшее тогда въ свѣтъ, въ количествѣ первыхъ шести книгъ, собраніе сочиненій Марлинскаго, и при этомъ нашъ романистъ по красотѣ, образности

---

[1]) Списокъ переводовъ сочиненій Бестужева на европейскіе языки, данный въ „Catalogue de la section des Russica" (Спб. 1873) и повторенный въ „Словарѣ" С. А. Венгерова (III, 177), можно дополнить лишь нѣкоторыми отрывками изъ кавказскихъ его разсказовъ, помѣщенными на страницахъ журналовъ; таковы напр. „Kaukasischen Skizzen", von Marlinski", помѣщенные въ Magazin für die Literatur des Auslandes, 1837, №№ 13 и 26.

[2]) Москвитянинъ, 1842, ч. II, № 3.

[3]) Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft, 1843. Gegenwärtige Richtung der russischen Literatur nach Prof. Schewirjew, s. 55: „...Gegenwärtig hat Marlinski allen Reiz verloren, höchstens wirkt er noch auf die unerfahrene Jugend, welche über seinen Styl bisweilen entzückt ist und dann ihre Sprache so frisirt, wie ihr Kopfhaar"...

и живости языка приравненъ былъ прямо къ Пушкину [1]); по основному же направленію, выражающемуся въ изображеніи идеальныхъ героевъ духа, нѣкоторые разсказы Марлинскаго, напр. „Мулла Нуръ“, сопоставлены чешской критикой, можетъ быть съ голоса Бѣлинскаго, съ юношескими произведеніями Шиллера [2]). Въ началѣ 40-хъ годовъ, съ паденіемъ славы Бестужева въ русской литературѣ, начинается и въ чешской критикѣ болѣе строгое къ нему отношеніе: въ его характерахъ указываютъ недостатокъ психологической глубины и исторической правды, а въ его слогѣ — отсутствіе простоты, неестественность и даже грубость, обусловленную пребываніемъ его на далекой „варварской“ окраинѣ [3]). Однако и въ эту пору герои Бестужева, видимо, сохраняютъ еще въ чешской критикѣ свою репутацію сильныхъ рыцарей духа и своеобразныхъ индивидуальныхъ натуръ, и Бестужевъ въ этомъ отношеніи опять сопоставляется съ современными ему европейскими писателями эпохи романтизма и даже съ Шекспиромъ и Сервантесомъ [4]). Особенное вниманіе обратила чешская критика на

[1]) Příloha ke Květům, 1839, čís. XI, Literatura ruská: „Marlinským psána byla prósa s takovou obratností, živostí, krásou a lepotou, jakéž myšlenkám svým ve verše oděnym Puškin dodávati uměl“ (Jiří Jan ze Staré Prahy).

[2]) Em. Fait, Kavkaz, V Praze, 1894. Глава: Literatura o Kavkaze. Belletristika ruská, стр. 7 : „Mulla-Nur jest východném Karlem Moorem známým vytvorem mládistvych let Schillerových“. Ср. Отеч. Зап. 1840 т. VIII, ст. Бѣлинскаго по пов. „Полн. собр. соч. Марлинскаго“.

[3]) Příloha ku Květům, 1840, čís. XVII, Novelisté ruští (Viz: Literární obrazy z Rus, od Koeniga): „Jeho (Marlínského) charaktery však mají mnoho obecného a neprozrazují nižadné hlubokosti psychologického a historického zkoumání. Také se novely jeho dlouhými popisy, zvlášté na počátku prodlužují. Podobá se, jakoby Marlínsky předevšim sprostoty a všednosti se obával; těmto se však vyhýbaje, pozbývá i přirozenosti a nenucenosti v slohu... V posledních letech nemálo naň působilo obcování s Tatary a s vojáky v barbarských krajinách, takže cosi hrubého přečasto vyráží z látky i slohu jeho, kteryžto spůsob na škodu jest poetické a krasochutné jarosti jeho“.

[4]) Příloha ke Květům, 1841, čís. IX, Obrazy kavkazské, čili popsání mravů a obyčejů v horách kavkazských v příběhu: Mulla-Nur, z ruského přeloženo od Františka Šíra, v Jičině, 1841... (рецензія): „Dávno jsem

кавказскія повѣсти Бестужева, интересъ которыхъ для иностранца заключался въ описаніи нравовъ и природы Кавказа [1]. Въ этомъ отношеніи Бестужеву удалось достигнуть, какъ сказано въ одной замѣткѣ о немъ, того, къ чему стремились уже Державинъ и Жуковскій, знавшіе Кавказъ только по разсказамъ, а не по собственному опыту [2]. Въ польской литературѣ Бестужевъ также не прошелъ незамѣченнымъ; объ этомъ свидѣтельствуютъ нѣсколько посвященныхъ ему статей и рядъ переводовъ изъ его сочиненій съ такимъ же, какъ и въ чешской литературѣ, преобладающимъ вниманіемъ къ кавказскимъ разсказамъ и очеркамъ [3]. Впрочемъ, и во всѣхъ вообще евро-

---

nečetl knihu s takovým potěšením jako tuto; duch okřívá a mladne, když unešen obrazností najednou se nalézá na horách obrovskych Kavkazu, v středu velké, hrdé a bujné přírody; když se potká s původními, bujarými a různými syny tohoto velkolepého podnebí, v kterých již horoucí dech jihu vane. Iskender-Bek, Mulla-Nur, Hadži Iusuf jsou postavy nad míru zajímavé a vykreslené ad ungues et capillos. V prvním obdivujeme plamennou a hrdinskou duši mládeneckou, v druhém neohroženost, šlechetnost, velkomyslnost a vděčnost právě rytířského zákeřníka. Takovou postavu nalézáme jen v anglickém románopisectví, kdež je Scott, Bulwer a jiní tak výborně a přirozeně kresli. Třetí z nich, Hadži-Iusuf, jest figura komická, jakouž málo kdy nalézáme, pravý orientálský Falstaff, a kdo četl Shakespeare, ví co to znamená. Tito dva a Sancho Pansa jsou pravá trias comica, triumvirové v říši humoru. Jsem jist, že onino dva pradědové (skoro bych řekl Adamové) komiky spokojeni jsou s novým svým potomkem".

[1]) Fril. k. Kv. 1840, č. XVII, Novel. ružtí (изложено, между прочимъ, содерж. „Аммалатъ-Бека"). Тамъ же, 1841, č. IX, Obrazy kavkazské..: „Ale nejen v kreslení osob a života kavkazských národů, nýbrž i v popsání velkolepé tamější přírody jeví se nám neobyčejné umění spisovatele, což tím zajímavější jest, an tyto krajiny zajisté velkolepého podnebí vzdělanému světu málo známy jsou. A zde všecko jako v obraze vidíme: Derbend, Chvalenské moře, Šachdág, a k tomu v zajímavé povídce, psané v řeči živé, květnaté a přebohaté na myšlénky nejkrásnější".

[2]) Kavkaz: Literatura o Kavkase..., стр. 71.

[3]) Списокъ переводовъ соч. Бестужева на чешскій и польскій языки, данный въ „Russica" и въ „Словарѣ" С. А. Венгерова, долженъ быть значительно дополненъ. Вотъ нѣкоторые переводы изъ Бестужева и статьи о немъ на славянскихъ языкахъ въ хронологическомъ порядкѣ: На польскомъ языкѣ: 1) Rysy Kaukazu, z rosz., Rozm. Lwow. 1835. 2) Czerwony welon, z rosz., Rozm. Lwow. 1838. 3) Zarysy Syberyi, tłóma-

пейскихъ литературахъ переводились главнымъ образомъ произведенія Бестужева, имѣвшія отношеніе къ Кавказу.

Какъ ни скромны эти отголоски творчества Бестужева въ западно-европейской литературѣ, однако они свидѣтельствуютъ

---

czone z dzieł Marlińskiego: Ruskie powieści i rospowiadania. Zbieracz literacki, 1838, IV, str. 153, 161. 4) Obrazy Kaukazu, Panorama literatury krajowej i zagranicznej, 1838, poszyt. 5. 5) Urywek z pism Al. Marlińskiego, Świat dramatyczny, 1839, № 1. 6) Odrywek z pism Al. Bestużewa, Tygodnik liter., 1839, № 25, 26. 7) Wyjątki z Dziennika Ammałat-Beka, Echo, 1841, № 3. 8) Mulla-Nur, z ros., Rozm. Lwow, 1842. 9) Szach Hussejn, przekł. D. Chodźki, Atheneum, 1842, I, 178. 10) Wyjątki z opowiadań o Syberyi, tłumaczył D. Chodźko, Atheneum (Wilno) 1843, V, 75; О Марлинскомъ: 11) Rozmait. Lwow. 1837, № 41. 12) Marliński, Fregat Nadzieja, отчетъ о польскомъ переводѣ въ ж. Roczniki krytyki literackiej. 1843, zesz. 2. 13) Ostatnie chwile Marlińskiego, W. Potocki, Atheneum, 1845, I, 121 (къ сожалѣнію, эти статьи о Марлинскомъ оказались для автора настоящаго о немъ очерка недоступными). 14) О вредномъ вліяніи „ложнаго направленія" Марлинскаго на польскую литературу: Pamiętnik naukowo-literacki (Romualda Podbereskiego), t. II, Wilno, 1850, № V, str. 116. На чешскомъ языкѣ: 1) Mulla-Nur (Отрывокъ), Květy, 1837, 116. 2) Červený závoj, obraz z vojenského života, Květy, 1838, 172. 3) Zlomky z vypravování o Sibiři, z ruštiny přel. A. Hansgirg, Wlastimil, díl III, sv. 3, 203—226, v Praze, 1840. 4) Lovení sobův v Sibiři, Česká čítací kniha pro nižší třídy gymnasiální, sestavil a vydal dr. Fr. Čelakovský, v Praze, 1852, str. 137. 5) Zpěv Čerkesů, přeložil dr. I. B. Pichl, „Společen. krasořeč. český", díl III, Praha 1853. str. 25—26. 6) Zámek Neuhausen, Bohatýrská pověst, přeložil Vojtěch Věkoslav M. Lumír, 1854, II, 1165. 7) Amalat-Beg, z ruštiny přel. Bořivoj Kordeš. Lumír, 1854, I, 193. 8) Cestování po Sibiři (Výjimek), přel. V Dunder, Koleda, Kalendář na r. 1855, 119. 9) Zámek Véndeu, zlomek z denniku důstojníka, přel. E. V. Lumir, VI, 1856, II, 849. 10) Zrádce, přel. E. E. Vavra, Obrazy Života, 1861, 238. 11) Anglická fregata (?), přeložil T..., Hvezda, 1862, 170. 12) Zpěv Čerkesů, přel. I. B. Pichl, Sb. „Slovanská poezije", I, v Brně, 1874, 85. 13) Šach Hussein, přel. I. V., Koleda III, 1879, 485. 14) Zrádce, př. Jaroslav Janeček, Svatvečér, r. V, č. 5—7, 1892, 15) Nájezdy. historická povídka z r. 1613, v Brně, 1892· 16) Večer v polním ležení, přeložil Ian Kašpar, Národni Listy, 1898 ? 17) Poručík Bělozor, přel. A. Konèrza, v Brně..? На словинскомъ языкѣ: Bestužev A. A. (A. Marlinskij), Izdajalec, пер. I. I. Kogej, Soča, 1902, št. 1—5. Болгарская и сербская литература, повидимому, или совсѣмъ не знаютъ Бестужева или знаютъ очень мало; въ сербской библіографіи за время до 1867 г. (Ст. Новаковић, Српска библиографија, Биоград, 1869) имени Бестужева-Марлинскаго нѣтъ.

о томъ, что онъ былъ замѣченъ и тамъ, хотя его литературное имя за границей не можетъ итти въ сравненіе съ его славою на родинѣ. Эта слава однако и на родинѣ, какъ извѣстно, немного пережила самого автора. Выразитель интенсивнаго, но непродолжительнаго момента, Бестужевъ скоро долженъ былъ уступить мѣсто новымъ общественнымъ и литературнымъ силамъ. Уже въ 1840 г. Бѣлинскій усомнился въ художественности повѣстей Марлинскаго, не нашелъ въ нихъ „ни характеровъ, ни лицъ, ни образовъ, ни истины положеній, ни правдоподобія въ интригѣ“ и призналъ за Бестужевымъ лишь заслугу „отрицательнаго дѣятеля въ литературномъ развитіи“ [1]). Въ томъ же году высказано было мнѣніе, что Марлинскій, какъ и Пушкинъ, еще въ молодости „попалъ на превратное направленіе“, а потому оба эти „исполина разрѣшились превосходными игрушками“ [2]). Не признанный съ точки зрѣнія западничества, Бестужевъ не нашелъ поддержки и въ славянофильствѣ: здѣсь его назвали „безусловнымъ обожателемъ Запада и всѣхъ его мерзостей“, нашли, что онъ „терзаетъ безъ всякой пощады русскій языкъ“ и „никогда не согрѣваетъ души читателя ни одной высокой религіозной мыслью“ [3]). Въ 1842 году Шевыревъ удостовѣрилъ, что мода на Марлинскаго, какъ на все „пестрое и вычурное“, уже прошла [4]), а въ 1848 году Бѣлинскій еще разъ вѣско подтвердилъ, что „яркій метеоръ“, которымъ „пролетѣлъ въ литературѣ“ Марлинскій, „исчезъ безъ слѣда“ [5]), и такія попытки отстоять репутацію Бестужева, какія мы встрѣчаемъ напр. въ „Сѣв. Пчелѣ“ [6]), оказались уже запоздавшими... Звѣзда Марлинскаго закатилась... Такъ именно и должно было случиться, и тѣ, которые его развѣнчивали, были по своему совершенно правы,

---

[1]) Отеч. Зап. 1840, т. VIII, стр. 57 и сл. (Бѣлинскій).

[2]) Маякъ, 1840, ч. IV, стр. 192—193 (Бурачекъ).

[3]) Тамъ же, ч. VII, стр. 102—104 (Загоскинъ).

[4]) Москвитянинъ, 1842, ч. II, № 3: Взглядъ на соврем. русск. лит.

[5]) Современникъ, 1848, т. VII: Русск. лит. 1847 г., Второе полн. собр. соч. Марлинскаго.

[6]) Сѣв. Пчела, 1848, № 45: то же.

да и самая страстность, съ которой они это дѣлали, вполнѣ была умѣстна для 40-хъ годовъ: мѣнялись литературные вкусы и понятія, выдвигались все новые и новые общественные вопросы,—жизнь быстро бѣжала впередъ, и людямъ 40-хъ годовъ, непосредственно участвовавшимъ въ этомъ безостановочномъ бѣгѣ идей и формъ, казалось, что они безконечно далеко ушли отъ 20-хъ годовъ, и, оставляя позади себя, гдѣ-то тамъ за горизонтомъ, все старое, приглядѣвшееся, они порывисто стремились въ новую, невѣдомую даль...

Но для современнаго наблюдателя, который видитъ передъ собой въ длинной перспективѣ всю цѣпь общественныхъ и литературныхъ эпохъ минувшаго вѣка, для котораго одинаково цѣнны и интересны и 20-е, и 40-е, и 60-е годы,—для такого наблюдателя отношеніе къ Марлинскому можетъ быть только безпристрастнымъ и исторически-спокойнымъ. Поэтому теперь не примѣнима къ нему и точка зрѣнія западничества, такъ какъ онъ самъ былъ носителемъ тѣхъ идеаловъ Запада, которые не утратили еще и въ наше время своей красоты и цѣнности; не примѣнима и точка зрѣнія славянофильства, потому что и для него „отечество было не мѣстная привычка, не пустое слово, не отвлеченная мысль, а живая часть его самого“... [1]). А. А. Бестужевъ сдѣлалъ то, что могъ, и отчасти то, что долженъ былъ сдѣлать [2]). Не считая себя выдающейся литературной величиной, онъ понималъ однако свою литературную задачу ясно и исторически-вѣрно: онъ передавалъ въ своихъ произведеніяхъ, насколько это возможно было по условіямъ времени, то лучшее, что волновало его и его эпоху [3]).

[1]) Соч. VII. Фрегатъ Надежда, стр. 60—1.

[2]) Во всякомъ случаѣ странно въ настоящее время встрѣчаться съ сужденіемъ о томъ, что „слава Марлинскаго увяла быстро“ „къ нашей чести“ (К. Головинъ, Русскій романъ и русское общество, Спб. 1897, стр. 43); литературная дѣятельность Бестужева отвѣчала запросамъ времени и потеряла значеніе, когда не стало этихъ запросовъ,—слѣд. здѣсь нѣтъ вопроса о чести или безчестіи, а лишь объ историческомъ пониманіи явленія.

[3]) Поэтому, кажется, нельзя согласиться съ мнѣніемъ о томъ, что „романы Марлинскаго совершенно безыдейны“, высказаннымъ г. Богучар-

Являясь выразителемъ по преимуществу романтическаго индивидуализма, онъ благоговѣлъ и передъ идеей національности, понимаемой—какъ видно напр. изъ его кавказскихъ повѣстей и очерковъ—не въ смыслѣ національной исключительности, но въ смыслѣ уваженія къ индивидуальности каждаго народа, и въ то же время зналъ, что за индивидуумомъ и націей стоитъ все человѣчество съ его правами на универсальное благо. Для этого человѣчества нужна и дорога гуманная работа каждаго народа, каждаго отдѣльнаго человѣка, нужна и работа Бестужева, потому что и она была гуманна. „Провидѣніе великій химикъ“, сказалъ въ одной своей повѣсти Бестужевъ [1]; „оно кипятитъ и очищаетъ въ горнилѣ своемъ всѣ частные замыслы, всѣ разсчеты, для того, чтобы отлить изъ нихъ общее благо въ прекрасную форму“. Слова Бестужева примѣнимы къ нему самому: его литературная дѣятельность есть тоже лишь „частный замыселъ“, но и онъ попалъ въ общее горнило, чтобы вмѣстѣ съ другими „замыслами и разсчетами“ вылиться въ одну форму универсальнаго блага.

---

скимъ (Изъ прошлаго русскаго общества. Спб. 1904, стр. 65), тѣмъ болѣе что г. Богучарскій самъ склоненъ думать, что А. А. Бестужевъ и въ 30-хъ годахъ сохранялъ „ясный слѣдъ идей 20-хъ годовъ“.

[1]) Сочин. IX, Мулла-Нуръ, гл. IV.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

**Романтическій національнзмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. М. Н. Загоскинъ: „Юрій Милославскій". Культъ національнаго „я", поэтическое воспроизведеніе народнаго быта и народнаго духа. Литературная манера Вальтера Скотта въ романѣ Загоскина.**

1. Два впечатлѣнія романа „Юрій Милославскій" на читателей. Первое впечатлѣніе—чувство народности. Подготовка „русскаго направленія литературной дѣятельности М. Н. Загоскина обстоятельствами его жизни; особенное вліяніе на него въ этомъ отношеніи событій Отечественной войны. Проповѣдь русскихъ началъ въ жизни: мысль о большомъ литературномъ трудѣ. Подготовительная работа надъ романомъ. Появленіе „Юрія" и его успѣхъ; отзывы о немъ въ разныхъ кругахъ общества столичнаго и провинціальнаго; признаніе его народнаго направленія. „Юрій"—въ переводахъ на иностранные языки. Второе впечатлѣніе—чувство зависимости автора „Юрія" отъ литературной манеры В. Скотта. Характеръ сходства „Юрія" съ романами В. Скотта по наблюденіямъ русской критики. Отзывы иностранной печати о манерѣ В. Скотта у Загоскина.

Поэтъ творитъ по вдохновенію, но источникъ вдохновенія часто кроется въ самомъ характерѣ переживаемой имъ эпохи. Когда скромный драматургъ Загоскинъ вдругъ выступилъ въ 1829 году въ качествѣ талантливаго романиста, для многихъ читателей „Юрія Милославскаго" этотъ романъ показался пріятной неожиданностью, плодомъ непосредственнаго, почти мгновеннаго вдохновенія. Между тѣмъ душа поэта готовилась къ этому событію издавна, по мѣрѣ того какъ развертывалась та литературная и общественная обстановка первой четверти прошлаго столѣтія, въ которой воспитывалось чувство народности и уваженія къ ней. Обстоятельства личной жизни поэта въ связи съ окружающей его литературно-общественной обстановкой еще болѣе усиливали это чувство народности и привели его, наконецъ, къ поэтизаціи русскаго народнаго духа.

Михаилъ Николаевичъ Загоскинъ (1789 — 1852) [1]), сынъ русскаго помѣщика-дворянина [2]), свои дѣтскіе годы провелъ въ обстановкѣ русской жизни и природы, въ имѣніи своего отца, селѣ Рамзаѣ Пензенской губ. и уѣзда. Здѣсь маленькій Миша постигъ таинственную прелесть русскаго сказочнаго міра и здѣсь же онъ, страстно любившій чтеніе, подъ руководствомъ отца читалъ по преимуществу духовныя и историческія книги [3]); здѣсь же имъ была написана первая повѣсть „Пустынникъ“, о которой сохранились только воспоминанія [4]). Домашнее воспитаніе Миши, лишенное правильной системы и выдержки, продолжалось до 1802 года, когда отецъ послалъ недоучившагося мальчика тринадцати лѣтъ служить въ Петер-

[1]) Для знакомства съ біографіей М. Н. Загоскина могутъ служить слѣд. законченные очерки его жизни и дѣятельности: С. Т. Аксаковъ, Біографія М. Н. Загоскина (Акс., Сочин. Спб. 1886, т. III), (А. О. Круглый), Биограф. очеркъ въ собр. сочин. М. Н. Загоскина, СПБ. 1889 (=изд. т-ва М. О. Вольфъ, 1898) и С. М. Загоскинъ, Воспоминанія, помѣщ. въ „Истор. Вѣстн“. за 1900 г.

[2]) Въ Біографіи М. Н. Загоскина С. Т. Аксаковъ приводитъ выдержку изъ „Родословной книги“ изд. 1787 г. слѣдующаго содержанія: „Загоскины выѣхали изъ Золотой орды. Выѣхавшій назывался Захарь Загоско, а отъ него и родовое названіе принято“. Въ неизданныхъ оффиціальныхъ бумагахъ М. Н. Загоскина (Отчетъ Имп. Публ. Библ. за 1898 г.: Нѣсколько оффиціальныхъ бумагъ, касающихся извѣстнаго нашего романиста М. Н. Загоскина) въ статьѣ подъ заглавіемъ „Родъ Загоскиныхъ“, написанной, повидимому, рукою самого Михаила Николаевича, приводимое С. Т. Аксаковымъ родовое преданіе варіируется и дополняется слѣдующимъ образомъ: „Въ лѣто 6980 (1472 году), въ княженіе благовѣрнаго Великаго Князя Ивана Васильевича всея Россіи Самодержца, выѣхалъ изъ Золотыя Орды служить мужъ честенъ именемъ Шевкалъ Айбулатовичъ Загорь (Зогорь), а во крещеніи имя ему Александръ Айбулатовичъ званіемъ Загоска. И отъ того пошли Загоскины“... Такимъ образомъ родовыя дворянскія преданія Загоскиныхъ восходятъ ко 2 ой половинѣ XV-го столѣтія.

[3]) По свидѣтельству самого М. Н. Загоскина, въ провинціи въ то время въ ходу были романы Дюкре-Дюменіля, г-жи Радклифъ, Мейснера и драмы Коцебу; изъ историческихъ сочиненій читали Роллена, Іосифа Флавія, Квинта Курція (Соч. М. Н. Загоскина т. I, Біографическій очеркъ, стр. VIII).

[4]) Полное собр. сочин. С. Т. Аксакова, СПБ. 1886 г., т. III: Біографія Мих. Ник. Загоскина, стр. 252—3.

бургъ. Съ 1802 до 1812 г. Мих. Ник. скитается по разнымъ канцеляріямъ и департаментамъ [1]) и, видимо, нерѣдко терпитъ неудачи и бѣдствуетъ. Въ письмахъ къ родителямъ, писанныхъ изъ Петербурга за эти годы [2]), Загоскинъ представляется мысленному взору читателя тихимъ, нѣжнымъ юношей, добродушнымъ, откровеннымъ, жизнерадостнымъ. Въ письмѣ отъ 9 февр. 1805 г. онъ безъ всякой рисовки повѣствуетъ родителямъ о своей болѣзни, почтительно утѣшаетъ ихъ тѣмъ, что онъ уже поправляется и толстѣетъ, и выражаетъ твердую надежду къ великому посту „быть опредѣленнымъ“. Если подъ этимъ „опредѣленіемъ“ слѣдуетъ понимать принятіе на службу въ б. Горный Департаментъ, которое, какъ показано въ формулярномъ его спискѣ, случилось въ 1807 г., то надежды Загоскина были подвергнуты, конечно, большому, двухлѣтнему, испытанію. Но юноша былъ далекъ отъ отчаянія и всегда сохранялъ жизнерадостность или въ худшемъ случаѣ былъ терпѣливъ и спокоенъ: въ октябрѣ онъ кротко пишетъ о томъ, что нѣтъ денегъ и что онъ занялъ у кого-то, потому что къ зимѣ нужно платье и дрова; а въ маѣ, когда скромному „канцеляристу“ живется не дурно и безъ дровъ и въ легкомъ платьѣ, онъ восторженно говоритъ о театрѣ, о декораціяхъ, костюмахъ. Ф. Ф. Вигель въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ рисуетъ его юношей неуклюжимъ, но свѣжимъ и красивымъ, мало свѣтскимъ, но зато настоящимъ русскимъ весельчакомъ-

---

[1]) Въ формулярномъ спискѣ, хранящемся въ Имп. П. Библ., въ „оффиціальныхъ бумагахъ“ М. Н. Загоскина (Отчетъ Имп. П. Библ. 1898 г.) находимъ слѣдующія данныя: „Въ службу вступилъ къ дѣламъ Государственнаго Казначея канцеляристомъ 1802 г. мая 15; произведенъ сенатскимъ регистраторомъ со старш. съ 1805 г. дек. 31; опредѣленъ въ бывшій Горный Департаментъ 1807 г. авг. 24; перемѣщенъ въ Государственный Заемный Банкъ 1809 г. марта 24; произведенъ въ губернскіе секретари со старшинствомъ съ 1809 г. дек. 31; назначенъ въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ помощникомъ столоначальника 1811 г. дек. 31“.

[2]) Письма разныхъ лицъ къ М. Н. Загоскину, Отчетъ Имп. П. Библіотеки за 1892 г., стр. 7—10. Въ этомъ собраніи большею частію еще не напечатанныхъ писемъ есть и три письма М. Н. Загоскина къ родителямъ: отъ 9 февр. 1805 г., отъ 20 мая и 16 окт. безъ обозначенія года.

юмористомъ [1]). Среди скудной обстановки петербургской своей жизни Загоскинъ однако не покидалъ занятій литературныхъ и заботился о самообразованіи; С. Т. Аксаковъ, по личнымъ воспоминаніямъ, свидѣтельствуетъ, что „именно въ это время Загоскинъ старался вознаградить недостатокъ своего образованія", занимаясь, повидимому, главнымъ образомъ языками нѣмецкимъ и французскимъ. Изъ вышеупомянутыхъ писемъ къ родителямъ также видно, что умственные интересы были въ это время близки юношѣ Загоскину. Такъ въ одномъ письмѣ (отъ 20 мая) онъ радостно сообщаетъ родителямъ, что Филиппъ Филипповичъ Вигель—его родственникъ, заботамъ котораго Загоскины поручили своего сына—подарилъ ему „много своихъ книгъ"... Между тѣмъ насталъ величественный 1812 годъ, сдѣлавшій великое дѣло въ исторіи русскаго самосознанія. Для Мих. Николаевича, какъ и для многихъ его современниковъ, этотъ годъ имѣлъ роковое значеніе: онъ вскрылъ заложенныя въ его душѣ исконныя народныя начала, и съ этихъ поръ направленіе его писательской дѣятельности было рѣшено; колебанія могли быть только относительно формы произведенія, но не духа. 9 авг. 1822 г. Загоскинъ былъ уволенъ изъ Департамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ „для вступленія въ ополченіе" [2]). Въ ополченіи онъ прослужилъ до окончанія войны съ беззавѣтною храбростью и преданностью своему долгу. Объ этомъ свидѣтельствуютъ между прочимъ и полученные имъ аттестаты. Въ одномъ, выданномъ „начальникомъ Санктпетербургскаго и Калужскаго ополченій" [3]), говорится: „...Велъ себя какъ храброму и благородному офицеру прилично. Подъ Полоцкомъ 6-го окт. находился въ сраженіи; будучи посланъ въ стрѣлки, вытѣснилъ непріятеля изъ шанцевъ, при чемъ былъ раненъ пулею въ ногу". Въ другомъ аттестатѣ, выданномъ командиромъ 4-го корпуса [4]), находимъ между прочимъ слѣдующія строки: „Во всѣхъ вышеозначенныхъ дѣлахъ отличалъ

[1]) Вигель, Воспоминанія, ч. II.

[2]) „Нѣсколько оффиц. бумагъ"... формул. списокъ.

[3]) Тамъ же, аттестатъ за № 914.

[4]) Аттестатъ за № 280.

себя въ мужествѣ и храбрости, всегда былъ мною посылаемъ съ приказаніями къ стрѣлкамъ и, несмотря на жестокую непріятельскую пушечную и ружейную стрѣльбу, всѣ порученія исполнялъ съ отличною неустрашимостію, расторопностію, исправностію и успѣхомъ". Дѣйствительно, Мих. Никол. принялъ въ войнѣ самое живое участіе: получивъ рану подъ Полоцкомъ, онъ по излеченіи возратился опять въ полкъ и былъ во многихъ сраженіяхъ [1]).

Война должна была оказать глубокое воспитательное вліяніе на духовную организацію Загоскина: присущія ей національныя начала ощутили въ годину подъема народнаго духа свое торжество, и съ этихъ поръ, повторяемъ, направленіе его писательской дѣятельности опредѣлилось. Повѣсть о русской духовной правдѣ и объ иностранной, въ особенности французской, кривдѣ—вотъ неистощимая тема его произведеній. Уже въ комедіяхъ своихъ, написанныхъ въ періодъ до 1829 г., онъ вооружался противъ кривого иностраннаго направленія; такова напр. пьеса „Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ" (1817 г.). „Въ „Богатоновѣ", говоритъ С. Т. Аксаковъ [2]), выведено уже не пустое кокетство, не волокитство, а глупый богатый невѣжда, степной помѣщикъ, помѣшавшійся на связяхъ съ знатью и переѣхавшій на житье въ Петербургъ; лицо, на которомъ, какъ на оселкѣ, пробуется и оказывается нечистая сущность столичныхъ негодяевъ, съ ихъ иностраннымъ, или, лучше сказать, съ французскимъ направленіемъ". Тотъ же основной мотивъ проходитъ и черезъ разсказы и романы Загоскина, начинал отъ „Юрія Милославскаго" и кончая повѣстью „Русскіе въ началѣ XVIII столѣтія". Впослѣдствіи, при поднесеніи романа „Искуситель" великому князю Михаилу

[1]) Въ формул. спискѣ: „Былъ (въ походахъ) противъ французовъ 1812, 1813 и 1814 г.; въ дѣйствительныхъ сраженіяхъ подъ городомъ Полоцкомъ 1812 г. окт. 6-го, подъ Смоленскомъ 2 ноябр. того же года, подъ крѣпостью г. Данцига 1813 г. 16, 17, 18, 19, 20 и 21 числъ августа, а 22 числа при взятіи предмѣстья Оры, 5-го сент. при занятіи непріятельскихъ шанцевъ".

[2]) Соч. т. III, стр. 259.

Павловичу въ 1838 годѣ, М. Н. Загоскинъ весьма энергично формулировалъ основную задачу своего литературнаго направленія. „Осмѣливаюсь поднести Вамъ"...,—говоритъ онъ въ письмѣ къ вел. князю,—„экземпляръ новаго моего романа подъ названіемъ „Искуситель". Я надѣюсь, что Ваше Высочество приметe благосклонно этотъ слабый трудъ писателя, который желалъ быть хоть на что-нибудь пригоднымъ для своего отечества. Я старался въ этой книгѣ высказать нѣсколько (весьма простыхъ) истинъ, но не знаю успѣлъ ли я въ моемъ намѣреніи, но твердо увѣренъ, что мои мнѣнія не очень понравятся московскимъ европейцамъ" [1])... „Я даже увѣренъ, что когда они прочтутъ 4-ю главу 3-го тома, то очень разгнѣваются и назовутъ меня отсталымъ, но это меня вовсе не пугаетъ; я считаю святой обязанностью не угождать духу времени, а говорить то, что внушаетъ мнѣ совѣсть и здравый смыслъ, котораго французскіе либералы и русскіе европейцы терпѣть не могутъ" [2]). Приблизительно тоже онъ говоритъ объ этомъ романѣ въ письмѣ къ брату: „Я писалъ его съ чистымъ намѣреніемъ, въ томъ смыслѣ, что предметомъ моимъ было бороться съ новыми идеями, которыя наводняютъ наше отечество,—идеями, разрушающими порядокъ, повиновеніе къ властямъ, къ закону,—идеями, которыя возстаютъ противъ всякаго вѣрованія, противъ всего, что священно для христіанина" [3]).

Эта мысль—сказать то вѣщее русское слово, котораго не терпятъ французскіе либералы и русскіе европейцы,—послѣ 1812 г., видимо, всецѣло завладѣла настроеніемъ М. Н. Загоскина. Возвратясь съ войны, онъ служитъ опять въ разныхъ

---

[1]) Бумаги М. Н. Загоскина, черновое письмо къ вел. кн. Михаилу Павловичу.

[2]) Тамъ же, Записная книга (альбомъ): черновые наброски того же письма.

[3]) Домашняя бесѣда для народнаго чтенія, 1860, стр. 277—333: Переписка между братьями (А. и М. Загоскиными), письмо М. Загоскина отъ 11 янв. 1839 г. Москва.

учрежденіяхъ [1]), работаетъ на поприщѣ журналистики, пишетъ рядъ драматическихъ произведеній, заводитъ литературныя связи (напр., съ кн. Шаховскимъ, С. Т. Аксаковымъ), но въ то же время смутно предчувствуетъ то большое, что онъ долженъ совершить. Съ 1822 г. начинается его служба театру; но вблизи театральнаго дѣла, которое его всегда интересовало, онъ чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ, чего-то ищетъ, чего-то ждетъ. Еще въ 1820 г. отъ пишетъ И. И. Гнѣдичу: „...Ты служишь и занимаешься постоянно своимъ Омиромъ. Я же ничего не дѣлаю“ [2])... Въ 1826 году въ письмѣ къ тому же лицу онъ повторяетъ приблизительно то же: „Мнѣ нечего сказать тебѣ о моихъ занятіяхъ. Они все тѣ же. Едва ли въ мѣсяцъ разъ удается мнѣ написать нѣсколько стиховъ“ [3])... Между строкъ читаемъ въ этихъ письмахъ о томъ, что авторъ ихъ ищетъ и хочетъ настоящаго, большого литературнаго дѣла. Этотъ литературный подвигъ представлялся М. Н—у въ видѣ историческаго романа. „Еще до окончанія комедіи „Благородный театръ“ (1827 г.)—свидѣтельствуетъ С. Т. Аксаковъ[4]) — овладѣла Загоскинымъ мысль написать русскій историческій романъ. Ему до смерти надоѣло, какъ онъ самъ мнѣ часто го-

---

[1]) Въ формулярномъ спискѣ Загоскина находимъ слѣдующія свѣдѣнія: ... По возвращеніи изъ ополченія помѣщенъ на прежнее мѣсто по Департаменту Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ 1815 г. янв. 15. Опредѣленъ въ Дирекцію Имп. Театровъ помощникомъ члена репертуарной части 1817 г. (янв?) 17. Опредѣленъ въ Имп. Публ. Библ. почетнымъ библіотекаремъ (1817 г.) ноября 18. Перемѣщенъ на штатную вакансію помощника библіотекаря 1818 г. авг. 6. Отъ должности помощника библіотекаря уволенъ, съ переименованіемъ въ прежнее званіе почетнаго библіотекаря (1820) іюля 5. Поступилъ къ Московскому Военному Генералъ-Губернатору въ число чиновниковъ особыхъ порученій съ исправленіемъ должности экспедитора по театральному отдѣленію 1822 г. мая 18. Высочайшимъ указомъ опредѣленъ въ члены Конторы Дирекціи Императорскаго Московскаго Театра по хозяйственной части 1823 г. марта 30[го].

[2]) Письма и записки къ И. И. Гнѣдичу. Три письма М. Н. Загоскина къ И. И. Гнѣдичу, письмо изъ Москвы отъ 28 авг. 1820 г. (См. Приложеніе къ Отчету Имп. Публ. Библіотеки за 1895 г.).

[3]) Тамъ же, письмо отъ 6-го ноября 1826 г.

[4]) Сочин. III, стр. 270.

варивалъ, „таскать кандалы условныхъ, противоестественныхъ законовъ, которые носитъ сочинитель, пишущій комедію“.... Романъ казался ему „открытымъ полемъ, гдѣ могло свободно разгуляться воображеніе писателя“. Немедленно, послѣ первыхъ представленій „Благороднаго театра“,... принялся онъ готовиться къ сочиненію историческаго романа. Онъ былъ весь погруженъ въ эту мысль, охваченъ ею совершенно; его всегдашняя разсѣянность, къ которой давно привыкли, и которую уже не замѣчали, до того усилилась, что всѣ ее замѣтили, и всѣ спрашивали другъ друга, что сдѣлалось съ Загоскинымъ? Онъ не видитъ, съ кѣмъ говоритъ, и не знаетъ, что говоритъ?—ВстрѢчаясь на улицахъ съ короткими пріятелями, онъ не узнавалъ никого, не отвѣчалъ на поклоны и не слыхалъ привѣтствій: онъ читалъ въ это время историческіе документы и жилъ въ 1612 году. Наконецъ, обдумавъ содержаніе, выбравъ эпоху и прочтя добросовѣстно все, къ ней относящееся, съ необыкновеннымъ одушевленіемъ принялся онъ писать, и въ 1829-мъ году напечаталъ „Юрія Милославскаго или Русскіе въ 1612-мъ году“, въ 3-хъ томахъ.

Успѣхъ романа превзошелъ, вѣроятно, самыя смѣлыя ожиданія скромнаго автора. „Его читали“, разсказываетъ Н. И. Гречъ, „вездѣ—и въ гостиныхъ, и въ мастерскихъ, въ кругахъ простолюдиновъ и при высочайшемъ дворѣ“ [1]). Романъ Загоскина оказался, по выраженію А. Н. Оленина, „пріятнымъ для всѣхъ сословій русскаго народа“ [2]). „Появленіе этого романа“, говоритъ Аксаковъ [3]), „составляетъ эпоху въ жизни Загоскина, въ литературномъ и общественномъ отношеніи. Восхищеніе было общее, единодушное: немного находилось людей, которые его не вполнѣ раздѣляли. Публика обѣихъ столицъ и вслѣдъ за нею, или почти вмѣстѣ съ нею, публика провинціальная пришли въ совершенный восторгъ. Впослѣдствіи, не такъ скоро, но прочно, безъ восторга, но

[1]) Н. И. Гречъ, Записки о моей жизни, Спб. 1886, стр. 458.

[2]) Русск. Стар. 1902, т. 111, стр. 82: письмо А. Н. Оленина къ М. Н. Загоскину отъ 8 янв. 1830 г. Спб.

[3]) Аксаковъ, Сочин. III, 270—1.

съ какимъ-то умиленіемъ начала читать и читаетъ до сихъ поръ „Юрія Милославскаго“ вся грамотная Русь.... и читаетъ она его не даромъ: русскій умъ, духъ и складъ рѣчи впервые послышались на Руси въ этомъ романѣ. Всѣ обрадовались „Юрію Милославскому“, какъ общественному пріятному событію; всѣ обратились къ Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы—обратились со всѣми знаками уваженія, съ восторженными похвалами; всѣ, кто жили или пріѣзжали въ Москву, ѣхали къ Загоскину; кто были въ отсутствіи—писали къ нему. Всякій день получалъ онъ новыя письма, лестныя для авторскаго самолюбія“.... До тѣхъ поръ заурядный писатель, Загоскинъ вдругъ выросъ до степени литературной знаменитости. „Многое измѣнилось вокругъ Загоскина: недоброжелатели сдѣлались друзьями, порицатели комика—хвалителями романиста, съ важностью прибавляя, что, наконецъ, Загоскинъ попалъ на настоящую дорогу. Женщины не остались равнодушными въ общемъ дѣлѣ, и много прекрасныхъ писемъ получилъ Загоскинъ отъ женщинъ, совершенно ему незнакомыхъ: однимъ словомъ, онъ сдѣлался знаменитостью, модными человѣкомъ, необходимостью обѣдовъ, баловъ, раутовъ и бесѣдъ съ литературнымъ направленіемъ, львомъ тогдашняго времени. Вниманіе и одобреніе государя довершило торжество Загоскина“ [1]).

Дѣйствительно, романъ Загоскина, всюду съ восторгомъ принятый, скоро пріобрѣлъ огромную извѣстность и въ свѣтскомъ столичномъ обществѣ и въ скромныхъ провинціальныхъ кругахъ. Авторъ удостоился даже рѣдкой чести услышать восторженную похвалу своему произведенію съ высоты престола. Въ письмѣ отъ 9 марта 1830 г. кн. П. Щербатовъ извѣстилъ М. Н—а о милостивомъ вниманіи государя къ „Юрію“ и о приглашеніи явиться во дворецъ. „Государь Императоръ, восхищенный Іюріемъ (sic) Милославскимъ“, пишетъ князь, „изъявилъ сегодня князю Дмитрію Владиміровичу желаніе васъ видать у себя, почему Его Сіятельство поручить изволилъ мнѣ.

[1]) Аксаковъ, Сочин. III, стр. 272.

просить васъ завтра утромъ въ 11-мъ часу явиться въ Николаевскій Дворецъ для представленія Его Величеству" [1]). Представленіе состоялось въ назначенный день и, видимо, произвело глубокое впечатлѣніе на М. Н. Въ его „альбомѣ" по этому поводу находится слѣдующая замѣтка: „10-го марта 1830 года я въ первый разъ удостоился говорить съ Государемъ. Если бы онъ былъ и не Царь, то все обворожилъ бы меня" [2]). Романъ Загоскина обратилъ на себя вниманіе и Ея Величества: изъ оффиціальнаго отношенія И. П. Шамбо отъ 15-го января 1830 года узнаемъ о „пожалованіи автору „Юрія" брилліантоваго перстня отъ имени Государыни Императрицы" [3]). Съ этихъ поръ М. Н. пользуется и въ дальнѣйшей своей литературной дѣятельности особымъ высочайшимъ вниманіемъ: ему жалуется брилліантовый перстень за романъ „Рославлевъ" [4]), выражается „монаршая благодарность" за романы „Искуситель" и „Кузьма Петровичъ Мирошевъ" [5]), „изъявляется признательность Е. В. Государя Наслѣдника Цесаревича за „новый историческій романъ" [6]); есть рядъ писемъ отъ вел. кн. Михаила Павловича съ выраженіемъ благодарности „автору Юрія Милославскаго" за различныя его сочиненія.

Среди литературной аристократіи романъ М. Н. Загоскина нашелъ также восторженный пріемъ. Въ одномъ письмѣ къ нему кн. А. А. Шаховской передаетъ, съ какимъ восхищеніемъ былъ встрѣченъ „Юрій Милославскій" Пушкинымъ, Крыло-

---

[1]) Письма разныхъ лицъ къ М. Н. Загоскину, письмо кн. Николая Щербатова, Москва, 9 марта 1830 г.

[2]) Бумаги М. Н. Загоскина, Записная книга М. Н. Загоскина, озаглавленная имъ „Альбомъ".

[3]) Письма разныхъ лицъ, Отнош. И. П. Шамбо, отъ 15 янв. 1830 г.

[4]) Тамъ же, офф. отнош. И. П. Шамбо отъ 29 сент. 1831 г.

[5]) Тамъ же, письмо и офф. извѣщеніе кн. Петра Мих. Волконскаго отъ 1 ноября 1842 г. Въ письмѣ гр. С. С. Уварова отъ (?) іюля 1846 г. говорится о „благосклонномъ принятіи" Государемъ Императоромъ книги „Брынскій лѣсъ".

[6]) Тамъ же, письмо Вас. Дм. Олсуфьева отъ 13 марта 1846 г. Спб.

вымъ, Гнѣдичемъ, Жуковскимъ [1]). „Я уже совсѣмъ одѣлся, чтобы ѣхать на свиданіе съ нашими первоклассными писателями,—пишетъ онъ—какъ вдругъ принесли мнѣ твой романъ; я ему обрадовался и повезъ съ собой мою радость къ гр. Толстому. Но тамъ меня ею уже встрѣтили. Первое дѣйствующее лицо авторскаго обѣда, явившееся на сцену, былъ Пушкинъ, и тотчасъ заговорилъ о тебѣ; Пушкинъ восхищался отрывками твоего романа, которые онъ читалъ въ журналѣ; входитъ Крыловъ изъ дворца: разспросы о тебѣ и улыбательныя одобренія твоему роману; входитъ Гнѣдичъ: въ восхищеніи отъ прекраснаго твоего романа; наконецъ, является Жуковскій и, сказавъ два слова, объявляетъ, что не спалъ вчера всю ночь—отчего же? Все-таки отъ твоего романа, который онъ получилъ, развернулъ, хотѣлъ прочесть кое-что, и, не сходя съ мѣста и не ложась спать, не могъ не прочесть всѣхъ трехъ томовъ; а это самая лучшая похвала, какую онъ могъ сдѣлать твоему сочиненію; онъ просилъ меня тотчасъ къ тебѣ написать о дѣйствіи, которое ты надъ нимъ произвелъ, о своей благодарности и о томъ, что хотя онъ еще не успѣлъ поднести твоего романа императрицѣ, но предварилъ ее, что она увидитъ диво на нашемъ языкѣ". Получивши экземпляръ романа, А. С. Пушкинъ писалъ автору [2]): „М. Г. Михаилъ Николаевичъ! Прерываю увлекательное чтеніе Вашего романа, чтобы сердечно поблагодарить Васъ за присылку „Юрія Милославскаго", лестный знакъ Вашего ко мнѣ благорасположенія. Поздравляю Васъ съ успѣхомъ полнымъ и заслуженнымъ, а публику съ однимъ изъ лучшихъ романовъ нынѣшней эпохи. Всѣ читаютъ его. Жуковскій провелъ за нимъ цѣлую ночь. Дамы отъ него въ восхищеніи. Въ „Лит. Газетѣ" будетъ о немъ статья Погорѣльскаго. Если въ ней не все будетъ высказано, то постараюсь досказать. Простите. Дай Богъ Вамъ многія лѣта—т.-е. дай Богъ намъ многіе романы". Не менѣе лестное письмо получилъ М. Н. и отъ Жуковскаго: „Вотъ

[1]) Письма разныхъ лицъ, письмо кн. А. А. Шаховского отъ 4 янв. 1830 г. То же письмо приводится у Акс., Сочин. III, 271—2.

[2]) Письма разн. л., письмо отъ 11 янв. 1830 г., Спб.

что со мной случилось: получивъ Вашу книгу, я раскрылъ ее съ нѣкоторою къ ней недовѣрчивостью, съ тѣмъ только, чтобы заглянуть въ нѣкоторыя страницы, получить какое-нибудь понятіе о слогѣ вообще; но съ первой страницы перешелъ я на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло, наконецъ, что я всѣ три томика прочиталъ въ одинъ присѣстъ, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня рѣшительное доказательство достоинства вашего романа" [1]). И по свид. С. Т. Аксакова—„А. И. Оленинъ, И. И. Дмитріевъ, кн. Шаховской, Гнѣдичъ, Крыловъ и другіе горячо и искренно привѣтствовали торжество новаго таланта. Одинъ только Крыловъ не писалъ самъ, по извѣстной своей лѣни, но за него писали Пушкинъ, Гнѣдичъ и князь Шаховской" [2]).

Отъ другихъ лицъ, причастныхъ къ литературѣ и журналистикѣ, М. Н. получалъ даже болѣе громкія выраженія удивленія. Такъ издатель „Карманной книжки для любителей русской старины и словесности" В. Н. Олинъ, поручая свое изданіе вниманію Мих-а Ник-а, между прочимъ говоритъ [3]): „Примите нелицемѣрное увѣреніе мое въ томъ уваженіи, которое питаю къ автору „Юрія Милославскаго". Вамъ предоставлена, Милостивый Государь, счастливая доля быть представителемъ русской словесности у европейцевъ, на поприщѣ романическомъ. Подвизайтесь съ Богомъ!" Одинъ изъ скромныхъ почитателей М. Н., актеръ И. С. Сибиряковъ, въ письмѣ своемъ къ автору „Юрія" восторженно и въ то же время наивно изображаетъ, какъ встрѣченъ былъ романъ Загоскина въ высшемъ литературномъ кругу [3]). „На сихъ дняхъ я былъ", пишетъ онъ, „у одного извѣстнаго нашего писателя и—еще болѣе — человѣка начитаннаго, просвѣщеннаго, ученѣйшаго, каковые отзывы объ немъ я слышалъ также отъ многихъ отличныхъ и правдивыхъ литераторовъ. И при томъ такого

---

[1]) Аксаковъ, Сочин. III, стр. 271.

[2]) Письма разн. л., письмо отъ 24 февр. 1830 г., Спб.

[3]) Тамъ же, письмо отъ 14 янв. 1830 г., Спб.; И. С. Сибиряковъ (1790—1848)—поэтъ-самоучка и актеръ, служилъ въ Деп. Дух. дѣлъ, печаталъ стихи и прозу въ разныхъ журналахъ 20-хъ годовъ.

человѣка, который, по особенному характеру своему, неохотно отдаетъ справедливость чужимъ достоинствамъ и никогда не упуститъ случая кольнуть и поостриться на счетъ ума и трудовъ другихъ. Наконецъ, довершу Вамъ, — человѣка, начавшаго нынѣ поприще журналиста и обѣщавшаго во второй своей книжкѣ (въ февралѣ) помѣстить самые лестные отзывы о новомъ Вашемъ произведеніи! [1]) Въ самомъ началѣ нашей бесѣды, онъ взялъ со стола Вашъ романъ: „Юрій Милославскій“ и въ похвалахъ оному непримѣтно похитилъ у своихъ занятій болѣе 3-хъ часовъ времени! — Если бы похвалы сіи были только сужденья ученаго въ кабинетѣ или согласное мнѣніе пріятелей между собой, то, описавъ ихъ, я имѣлъ бы въ предметѣ доставить Вамъ малое угожденіе, ибо, конечно, Вы уже лично всего довольно наслушались. Но я почелъ, что Вамъ пріятно будетъ услышать объ сужденіи людей необыкновенныхъ въ наше время и значительныхъ по многимъ отношеніямъ! Г. новый журналистъ въ самомъ началѣ мнѣ сказалъ, что В. А. Жуковскій лично признавался ему, что, ложась въ постель, онъ намѣренъ былъ только взглянуть на Вашего „Юрія“ и полюбопытствовать, что за произведеніе, но, начавъ романъ, до того зачитался и такъ былъ заинтересованъ занимательностію происшествій, новизною слога, мыслей и выраженій, что и не примѣтилъ, какъ пробило семь часовъ утра, и онъ долженъ былъ вставать для своихъ обыкновенныхъ трудовъ. — Это истина — и весьма лестная! — Другой писатель, также довольно и хорошо извѣстный, торжественно признавался, что самъ Вальтеръ Скоттъ почелъ бы за отличную честь назвать Ваше произведеніе своимъ собственнымъ! — и что Вы первые пошли по стезѣ, знаменитымъ шотландцемъ избранной! — что Вашъ романъ есть именно то, чего не появлялось еще въ русской словесности: собственность народная; духъ, чувства, сила, весь бытъ — все, все коренное русскаго народа, почти въ одно столѣтіе переродившагося и, хотя

[1]) Можетъ быть, И. С. Сибиряковъ имѣетъ здѣсь въ виду бар. А. А. Дельвига, издававшаго съ 1830 года „Литературную Газету“.

далеко воспарившаго за предѣлы своей малоизвѣстности, но все еще пылающаго горделивою любовію къ своему собственному, отечественному, русскому!!—Но если бы я исчислилъ всѣ отзывы, повторенные г-мъ XX., и всѣ его собственныя восклицанія, выраженія, сравненія съ другими произведеніями сего рода—и высокое преимущество передъ ними романа Вашего (котораго появленіе онъ называетъ эпохою въ русской словесности), то, можетъ быть, я подвергнулся бы Вашей недовѣрчивости, а это было бы для меня убійственно!—Итакъ, имѣю честь дополнить письмо мое послѣдними словами его же, г-на журналиста-писателя. Онъ прибавилъ, что, начиная отъ Жуковскаго, Пушкина и до нихъ—второклассныхъ, никто не выставилъ себя на право безсмертія, какъ Вы своимъ твореніемъ по цѣли онаго и по невѣроятному исполненію! и что каждая строка Вашего романа достойна быть напечатана золотыми литерами! Клянуся Вамъ! что все это я слышалъ и — какъ актеръ не вновѣ — читалъ подтвержденіе во взорахъ и во всѣхъ измѣненіяхъ лица!“..

Въ этихъ отзывахъ о романѣ М. Н. Загоскина уже намѣчено то первое впечатлѣніе, которое было вызвано „Юріемъ“ при первомъ же его появленіи, и то звено, которое связывало невидимою связью читателей съ авторомъ и давало его произведенію характеръ органа общественнаго настроенія; это первое впечатлѣніе, это невидимое звено—народность, народный духъ, національное направленіе романа. Романъ „Юрій Милославскій“, по выраженію А. С. Пушкина, оказался „однимъ изъ лучшихъ романовъ нынѣшней эпохи“, а по мнѣнію „другого писателя“ этотъ романъ „есть именно то, чего не появлялось еще въ русской литературѣ“: онъ—„собственность народная“, потому что все въ немъ — „духъ, чувства, сила, весь бытъ—все, все горенное русскаго народа“. Духовные порывы общества создаютъ эпоху; общество, современное Загоскину, обращалось духовнымъ взоромъ къ своему народному настоящему и прошлому и ожидало отъ литературы художественнаго выраженія духа и быта русскаго; Загоскинъ пошелъ навстрѣчу ожиданію общества и сдѣлалъ это, — этимъ самымъ онъ прочно связалъ себя съ эпохой, какъ выразитель ея духовныхъ стремленій.

и, дѣйствительно, не только изъ круговъ литературной аристократіи, но и изъ отдаленныхъ угловъ захолустной Россіи понеслись къ нему, въ отвѣтъ на его произведеніе, симпатическіе отклики понятнаго и близкаго ему общественнаго настроенія. Цѣлый рядъ писемъ къ М. Н. Загоскину изъ провинціи по поводу „Юрія“ свидѣтельствуетъ объ этомъ. Вотъ, напр., какъ разсказывается въ одномъ письмѣ объ успѣхахъ „Юрія“ въ Воронежѣ. „Извини, любезный другъ, Михаилъ Николаевичъ“, пишетъ В. М. Бакунинъ [1]), „что такъ долго не благодарилъ тебя за прелестный твой подарокъ, „Юрія Милославскаго“, но согласись самъ — легко ли нашему брату, мелкопомѣстному помѣщику Парнасса, писать къ такому знаменитому на ономъ магнату, каковъ ты!—Мнѣ кажется, что и теперь едва ли бы пустился на такой подвигъ, ежели бы желаніе извѣстить тебя, какимъ образомъ новорожденной твой сынокъ былъ принятъ въ Воронежѣ, не побуждало меня къ этому. Ихъ здѣсь получили четыре экземпляра, но они были не достаточны, потому что всѣ генерально желали его поскорѣй прочесть, а что касается до моего, то вотъ онъ уже два мѣсяца переходитъ изъ рукъ въ руки, и все еще множество находится кандидатовъ. Я уже, кромѣ того, что, получивъ оной, прочиталъ въ одну ночь, не переставая, успѣлъ уже два раза прочитать его громко дамамъ, каждой разъ съ большимъ удовольствіемъ, и не только прелестные глаза слушательницъ часто наполнялись слезами, а лица ихъ попеременно изображали то страхъ, то радость, но долженъ признаться къ стыду почти стараго драгуна, что нѣсколько разъ крупныя слезы падали на безконечные усы его, каковыми врядъ ли самъ панъ Копычинской могъ похвалиться. Я также долженъ благодарить тебя, ты познакомилъ меня болѣе съ русскими того времени, чѣмъ многіе историки.— Однимъ словомъ, у насъ здѣсь почти всѣ, не взирая ни на полъ, ни на лѣта, въ восхищеніи отъ твоего „Юрія“. Многіе его выписываютъ, потому что не достаточно, говорятъ, прочи-

[1]) Письма разныхъ лицъ, письмо отъ 22 февр. 1830, Воронежъ. Вас. Мих. Бакунинъ, 1795—1863, авторъ брошюры о коронѣ Александра I. 1834 г.

тать его одинъ разъ и что такая книга служитъ украшеніемъ библіотеки, и это мнѣ доказало, что и у насъ въ степи умѣютъ отдавать должную справедливость изящному. — Многіе очень были недовольны разборомъ, помѣщеннымъ въ „Сѣверной Пчелѣ“, и почитаютъ это единственно слѣдствіемъ jalousie de métier; и куда какъ много потерялъ партизановъ „Иванъ Выжигинъ“, который здѣсь игралъ довольно значительную ролю, но о которомъ болѣе почти не говорятъ. Забылъ было тебѣ разсказать, что одинъ почтенный и пожилой человѣкъ чуть не побранился съ однимъ молодымъ человѣкомъ за то, что сей послѣдній сказалъ, что „Юрій“ ему не нравится, и тогда только успокоился, когда я сталъ недовольнаго допрашивать по пунктамъ, чѣмъ не нравится, и онъ не отвѣчалъ ничего основательно и долженъ былъ сознаться, что судилъ о многомъ несправедливо. — Многія дамы мнѣ сказывали, что читали „Юрія“ до половины ночи и даже послѣ баловъ, не взирая на вредъ, который могъ произойти для цвѣта лица; послѣ этого нужно ли другихъ доказательствъ, какъ интересенъ твой „Юрій“. — А нѣкоторые изъ нашихъ усачей даже забывали волокитство и опаздывали на балы. Вотъ тебѣ, любезный другъ, описаніе дебюта твоего сына въ Воронежѣ. Излишнимъ считаю говорить, сколь искренно порадовался я его успѣху и здѣсь и вездѣ, и съ какимъ нетерпѣніемъ не только я, но и многіе ожидаютъ отъ тебя чего-нибудь новаго; я полагаю, что ты почти обязанъ сдѣлать этотъ подарокъ публикѣ, которая умѣетъ цѣнить твои дарованія“.

Успѣхъ романа въ провинціи объясняется такимъ образомъ не столько его занимательной фабулой, сколько его „русскимъ“ направленіемъ: авторъ познакомилъ читателей „съ русскими того времени“ лучше, чѣмъ „многіе историки“. Но, вычерчивая рѣзкими штрихами линію русскаго направленія, романъ Загоскина тѣмъ самымъ косвенно возставалъ противъ слѣпого поклоненія всему иностранному, въ особенности противъ галломаніи, которая послѣ 1812 года встрѣтила горячее осужденіе въ лицѣ патріотовъ. И такое пониманіе „Юрія“, какъ протеста противъ галломаніи, мы дѣйствительно встрѣчаемъ

въ русскомъ обществѣ того времени. Такъ, въ другомъ письмѣ изъ провинціи впечатлѣніе читателей изображается въ слѣдующемъ видѣ [1]): „....Литература есть обыкновенное занятіе наше по зимнимъ вечерамъ; прочитавши на дняхъ съ особеннымъ удовольствіемъ два романа Вашего сочиненія, Юрія Милославскаго и Ярославля (!), мы съ восхищеніемъ замѣтили, что есть еще истинные русскіе, которые гордятся симъ названіемъ и не ослѣплены на счетъ всего французскаго; Ваши сочиненія могутъ въ семъ смыслѣ сдѣлать еще много добра: примите самую искреннѣйшую нашу благодарность. Однако жъ съ крѣпкимъ сожалѣніемъ мы ежедневно видимъ новые опыты того, сколь много еще многіе изъ нашихъ вельможъ и полувельможъ привязаны ко всему французскому, хотя дѣянія французовъ всѣхъ временъ и по нынѣ ясно доказываютъ, что они желали бы погубить Россію, если бы это отъ нихъ зависѣло, и что они къ тому не жалѣютъ никакихъ средствъ; слѣдовательно, мы должны почитать французовъ отъявленными нашими врагами... Какую бы Вы важную могли оказать услугу отечеству, ежели бы потрудились написать новый романъ, съ описаніемъ въ ономъ живѣйшими красками всю гнусность (sic!) поведенія французовъ противъ Россіи и непростительную вѣтренность тѣхъ изъ среды насъ, которые столь слѣпо привержены къ симъ всесвѣтнымъ возмутителямъ; въ романѣ многое можно высказать, чего въ другомъ мѣстѣ нельзя или неудобно; а какъ перо Ваше пріобрѣло уже заслуженную славу, то съ жадностью будутъ вскорѣ читать во всѣхъ концахъ Россіи то, чего она должна ожидать отъ непримиримыхъ ея враговъ; судя по всѣмъ событіямъ, мнѣ кажется, что буря уже не далека; пора поставить громовые отводы“...

Съ появленіемъ „Юрія“ за Загоскинымъ упрочивается репутація именно „русскаго“ романиста. Жуковскій, прочитавши „Рославлева“, восторженно благословляетъ автора „на романы“ изъ русской старины и современности. „Благодарю васъ —

[1]) Письма разныхъ лицъ, письмо барона Александра Роде отъ 31 октября 1831 г. изъ Судака, гдѣ авторъ, по собственному его выраженію, „начальствовалъ казеннымъ училищемъ винодѣлія“.

пишетъ онъ [1]) — за „Рославлева“, почтеннѣйшій Михаилъ Николаевичъ. И съ нимъ то же случилось, что и съ его старшимъ братомъ: я прочиталъ его почти въ одинъ присѣстъ. Признаюсь Вамъ только въ одномъ: по прочтеніи первыхъ листовъ, я долженъ былъ отложить чтеніе, и эти первые листы произвели было во мнѣ нѣкоторое предубѣжденіе противъ всего романа, и я побоялся, что онъ не пойдетъ на ряду съ „Милославскимъ“. Описаніе большого свѣта мнѣ показалось невѣрнымъ, и въ гостиной княгини Радугиной я не узналъ свѣтскаго языка. Но все остальное прекрасно, и „Рославлевъ“ столько приманчивъ, какъ старшій братъ его. Благословляю васъ обѣими руками на романы: это ваше дѣло, и предметовъ бездна. Стою на томъ, чтобы вы написали „Димитрія Самозванца ; лучше сюжета нѣтъ, а Булгаринъ его ужасно изуродовалъ. Потомъ примитесь описывать времена Петра, потомъ бытъ нашихъ провинціаловъ: описывая истину, смѣшное смѣшнымъ, дурное дурнымъ, прекрасное прекраснымъ, вы произведете не только пріятное, но и полезное. Доселѣ никто еще не писалъ у насъ вѣрно съ натуры. Были карикатуры, для коихъ образцами было не наше. Трогая описаніемъ прекраснаго, противуполагая высокіе характеры, изъ натуры взятые, смѣшному или дурному, также изъ натуры взятому, вы дадите намъ надлежащее направленіе. Безъ истины нѣтъ убѣжденія. А вы можете (ибо на это имѣете желаніе) изображать истину“. Встрѣтивши въ авторѣ „русскаго“ романа отвѣтъ на свое настроеніе, читающее общество желаетъ и въ другихъ его произведеніяхъ встрѣтить тотъ же мотивъ русскаго духа и, сообразно съ этимъ, ихъ оцѣниваетъ. „Послѣдній романъ Вашъ „Рославлевъ“,—пишетъ П. Демидовъ [2])—который удалось мнѣ прочитать въ короткіе часы досуга, принесъ мнѣ истинное наслажденіе. Не говоря о слогѣ его, легкомъ и увле-

[1]) Письма разныхъ лицъ, письмо В. А. Жуковскаго отъ 4 іюня 1831 г.

[2]) Письма разныхъ лицъ, письмо Павла Демидова отъ 12 сент. 1831 г, Курскъ. (Пав. Ник. Демидовъ, 1798—1841, былъ въ Курскѣ губернаторомъ).

кающемъ, сколько въ немъ красотъ, драгоцѣнныхъ сердцу русскаго: минувшій бытъ его среди мирнаго семейства, народный духъ во время всеобщей годины; подробности о нашемъ ополченіи и партизанахъ; комическія выходки въ русскомъ вкусѣ перемѣшанныя съ неожиданными сценами, потрясающими душу и оставляющими какое-то унылое впечатлѣніе; наконецъ, самый ходъ происшествій, естественный и занимательный—даютъ роману Вашему пальму, въ полной мѣрѣ заслуженную. Подобное произведеніе и не на такой скудной почвѣ, какъ словесность наша, пріобрѣло бы всеобщее одобреніе, тѣмъ болѣе у насъ, къ сожалѣнію, столь бѣдныхъ еще во всѣхъ родахъ отечественной литературы". Подобный же отзывъ читаемъ и объ „Аскольдовой могилѣ" [1]): Искренно благодарю Васъ за доставленіе мнѣ книги: „Аскольдова Могила". Я заранѣе увѣренъ, что чтеніе оной, какъ труда автора „Юрія Милославскаго", принесетъ полное удовольствіе и мнѣ и каждому доброму русскому и вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ новымъ для всѣхъ доказательствомъ, что дарованія Ваши не только пріятны, но и существенно полезны отечественной словесности". Въ другомъ отзывѣ объ „Аскольдовой могилѣ" съ особеннымъ удареніемъ подчеркивается то чувство родины, которое возбуждаетъ авторъ своимъ романомъ: „...кромѣ общаго удовольствія читать пріятныя для ума и сердца Ваши произведенія, мнѣ въ особенности повѣсть сія доставила, можно сказать, восхищеніе потому, что мѣсто (?) описанныхъ происшествій принадлежитъ моей родинѣ, и я всю мѣстность вижу какъ наяву" [2]). По поводу „Кузьмы Петровича Мирошева" В. И. Панаевъ замѣчаетъ [3]): „О вѣрности же изображенія русскаго быта и говорить нечего: тутъ нѣтъ у Васъ соперника, тутъ Вы единственны. Какъ хорошъ Вашъ Прохоръ, эта живая

---

[1]) Тамъ же, письмо вел. кн. Михаила Павловича отъ 10 дек. 1833 г. Спб.

[2]) Письма разныхъ лицъ, письмо Г. Борщова отъ 19 декабря 1833 г., С.-Петербургъ.

[3]) Тамъ же, письмо Влад. Иван. Панаева отъ 25 февр. 1842 г., Спб. Влад. Ив. Панаевъ — поэтъ-идилликъ нач. XIX стол.

натура слугъ и дядекъ прожитого времени, которыхъ я такъ еще помню и которыхъ теперь, я думаю, нигдѣ болѣе не встрѣтишь. Онъ нѣсколько разъ заставлялъ меня хохотать въ полномъ смыслѣ, отъ чистаго сердца и почти до истерики"... Нѣсколько позднѣе тотъ же Панаевъ въ ожиданіи новаго романа опять подчеркиваетъ „истинно-народное" значеніе творчества Загоскина [1]): „Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ появленія Вашего новаго романа, — отрывокъ изъ котораго заинтересовалъ насъ въ высшей степени. Повѣрьте, Михаилъ Николаевичъ, что и въ Петербургѣ есть люди, которые не могутъ не сочувствовать Вашимъ произведеніямъ истинно народнымъ и вполнѣ цѣнятъ ихъ важность"... Такимъ образомъ основной мотивъ „Юрія" сдѣлался мѣриломъ и для всѣхъ послѣдующихъ произведеній М. Н. Загоскина, и самъ писатель даже въ эпоху поздняго своего творчества удержалъ за собою названіе: „авторъ Милославскаго" [2]), которое прилагалось ко всѣмъ его романамъ, написаннымъ послѣ „Юрія". При этомъ за „отличнымъ писателемъ, каковъ авторъ Милославскаго" [3]), признано было неотъемлемое право на обладаніе русской душой и русскимъ сердцемъ [4]), которое сочувственно отзывается на всякое біеніе въ обществѣ пульса національности. Въ чемъ заключалась сущность этого народнаго направленія въ творчествѣ Загоскина, читатели не говорятъ, потому что не подводятъ отчетливыхъ итоговъ своимъ впечатлѣніямъ, навѣяннымъ чтеніемъ „Юрія". Выясненіе этихъ итоговъ принадлежитъ уже собственно литературной критикѣ, какъ русской („Атеней", „Дамскій Журналъ", „Денница", „Литературная Газета", „Моск. Вѣстн.", „Отеч. Записки", „Сѣверная Пчела", Сѣверные Цвѣты" и др.), такъ и ино-

[1]) Тамъ же, отъ 10 дек. 1845 г. Спб.; имѣется въ виду, очевидно, романъ „Брынскій лѣсъ".

[2]) Ср. тамъ же, письмо В. К. Мих. Павл. отъ 10 дек. 1833 года, письмо кн. Шаликова отъ 1 марта 1841 г. и др.

[3]) Тамъ же, письмо кн. Шаликова отъ 1 марта 1841 г.

[4]) Ср. Письма разныхъ лицъ, письмо А. С. Хомякова отъ 27 мая 1834 г. по поводу отзыва М. Н. Загоскина о „Самозванцѣ" Хомякова.

странной („Bibliothèque Universelle“, „Revue Encyclopédique“ „Morgenblatt für gebildete Stände“, „Magazin für die Literatur des Auslandes“, „Wiener Zeitschrift“, „The Foreign Quarterly Review“ и др.).

Иностранная читающая публика также приняла „Юрія“ въ свою литературную семью. О благосклонномъ пріемѣ „Юрія“ за границей свидѣтельствуетъ рядъ рецензій о немъ въ выдающихся журналахъ эпохи, письма европейскихъ литературныхъ знаменитостей къ М. Н. Загоскину[1]) и переводы его романовъ на европейскіе языки. „Юрій Милославскій“ — свидѣтельствуетъ С. Т. Аксаковъ[2]) — имѣлъ восемь изданій; онъ переведенъ на французскій, нѣмецкій, итальянскій, голландскій и англійскій языки, и вездѣ былъ принятъ съ большими похвалами; на французскій языкъ было сдѣлано вдругъ четыре перевода въ Москвѣ и Петербургѣ“[3]). Изъ славянскихъ литературъ сочиненія М. Н. Загоскина раньше появи-

[1]) С. Т. Аксаковъ „видѣлъ у Загоскина много писемъ отъ разныхъ европейскихъ литературныхъ знаменитостей, писемъ наполненныхъ лестными отзывами“, въ томъ числѣ „одно или два письма отъ Вальтеръ-Скотта“, но письма В. Скотта, какъ и многія другія, не были отысканы въ бумагахъ послѣ смерти М. Ник—а. (Акс., Сочин. III, 274). Среди „писемъ разныхъ лицъ“ сохранились два письма къ М. Н. Загоскину отъ Мериме. У Аксакова приводится только одно изъ нихъ (Сочин. III, стр. 307). Второе письмо, неизвѣстное, повидимому, Аксакову, содержитъ между прочимъ слѣд. лестную для автора „Юрія“ фразу: „...je serais fort heureux surtout d'avoir dans ma bibliothèque aumoins un de vos romans qui serait pour moi souvenir de l'auteur et aussi de la langue russe“. Письмо помѣчено: Athènes, 18 Mars (года нѣтъ).

[2]) Сочин. III, 273.

[3]) Среди „писемъ разныхъ лицъ къ М. Н. Загоскину“ встрѣчается нѣсколько такихъ, гдѣ переводчики предлагаютъ романисту свои услуги. Таково напр. письмо Е. фонъ-Ольберга, капитана Прусскаго Генеральнаго Штаба, отъ 18 (30) марта 1837 г. изъ Берлина; это письмо приводится и С. Т. Аксаковымъ въ „Біографіи М. Н. Загоскина“ (Соч. III, 307—8); таково же не упоминаемое Аксаковымъ письмо Евг. Иван. Ольдескопа отъ 8 мая 1830 г. Спб., гдѣ онъ „изъявляетъ желаніе“ „переводить на нѣмецкій языкъ отличный историческій романъ „Юрій Милославскій“ и увѣряетъ, что переводить будетъ хорошо, такъ какъ ему, Ольдескопу, „дорога авторская слава“ М. Н. Загоскина.

лись въ польской, а затѣмъ, въ началѣ 50-хъ годовъ, и въ чешской. Въ Прагѣ „Юрій“ встрѣченъ былъ необыкновенно радушно; О. М. Бодянскому писали оттуда въ 1851 году, что „переводъ былъ расхватанъ“, что „его ждали въ типографіи“, и что „кажется, нѣтъ человѣка въ Прагѣ, который не прочелъ бы „Юрія Милославскаго или руссовъ въ 1612 г.“[1]). Впрочемъ, еще въ началѣ 40-хъ годовъ[2]) М. П. Погодинъ писалъ Загоскину: „Изъ Богеміи пишутъ ко мнѣ родичи наши чехи, что имъ очень хочется почитать Васъ. Я посылаю имъ теперь книги. Если хотите, доставьте мнѣ экземпляра по два всѣхъ вашихъ сочиненій. Чехи хотятъ и переводить ихъ на свое нарѣчіе“[3])...

Таковъ былъ успѣхъ романа Загоскина и таково первое впечатлѣніе, которымъ онъ встрѣченъ былъ среди читающей публики. Но если первое впечатлѣніе обозначалось словомъ „народность“, то второе — соединялось въ представленіи читателей „Юрія“ съ именемъ „Вальтеръ Скоттъ“: у многихъ читателей и критиковъ „Юрія“ имя В. Скотта появлялось въ

---

[1]) Аксак. III, 271 — 5.

[2]) Письма разн. л. Два письма М. П. Погодина, не помѣченныя годомъ, относятся, очевидно, къ 1841 году, пот. что въ одномъ изъ нихъ говорится о близкомъ окончаніи Загоскинымъ романа „Кузьма Петровичъ Мирошевъ“ и о началѣ изданія „Москвитянина“. — то и другое было въ 1841 году.

[3]) Въ Catalogue de la section des Russica, S. P. 1873, t. II, перечислены слѣд. переводы „Юрія“ на европ. языки въ хронол. порядкѣ: 1) Jurji Miloslawski, oder die Russen im Jahre 1612. Roman. Aus dem Russischen übersetzt von Erhard Göring. Vols. 1—2. Königsberg, 1830. 2) Id... übersetzt von C. Joh. Schultz. Vols. 1—2. Leipzig, 1839. 3) Jerzy Miloslavsky, powieść historyczna. Tłomaczenie z rossyjskego. Vols. 1 — 3. Warszawa, 1830. 4) Joury Miloslavsky, ou la Russie en 1612. Roman traduit du russe par M-me S. (ophie) C... (onrad), née d'Ott. Vols. 1—4. Paris 1831. 5) Jurii Miloslavskoj, eller Ryssarne 1612. Roman. Öfversättning ifrån ryskan. Vols 1—2 Åbo, 1833. 6) The young Muscovite or the Poles in Russia, paraphrased by Fr. Chamier. Vols. 1 — 3. London, 1833. 7) Id. Vols. 1—3. ib. 1834. 8) Id. Vols. 1—3. ib 1835. 9) Die Russen in 1612. Vols 1 — 2. Gröningen, 1835. 10) Jiří Miloslavský, aneb Rusové r. 1612. Z rušt přel. Kr. Stefan 2 díly. V Praze, 1851.

умѣ и на устахъ вмѣстѣ съ словомъ „народность“ или вслѣдъ за нимъ непосредственно. Всѣ съ радостью видѣли въ романѣ Загоскина свое національное „я“, увѣнчанное цвѣтами поэтической живописи, и многіе въ то же время безъ труда понимали, къ какой школѣ принадлежалъ этотъ поэтъ-живописатель національнаго быта и духа, — знакомые литературные пріемы и мотивы почувствовались у Загоскина для тѣхъ, кто читалъ В. Скотта. И имя В. Скотта было произнесено рядомъ съ именемъ Загоскина, котораго нѣкоторые современники прямо называли „русскимъ Вальтеръ-Скоттомъ“ [1]). Мы видѣли, какъ слово народность или національность, въ видѣ поэтической идеи, все болѣе и болѣе проникало въ русское общество. Въ усвоеніи ея одни исходили непосредственно изъ философскихъ ученій начала XIX стол., другіе изъ новыхъ литературныхъ вѣяній, третьи отправлялись прямо отъ того общественнаго самосознанія, которое крѣпло въ русскомъ обществѣ уже съ конца XVIII стол.; наконецъ, четвертые начинали сознавать свою національность подъ вліяніемъ внѣшнихъ политическихъ событій и отъ ненависти къ Наполеону и французамъ переходили къ обожанію своего, народнаго. Литературный же способъ для выраженія этого культа національности пока былъ одинъ, тотъ именно, который былъ подсказанъ романтиками: это поэтическое воспроизведеніе народнаго настоящаго и прошлаго въ формѣ пѣсни, баллады, повѣсти, романа. М. Н. Загоскинъ вынесъ свое влеченіе къ народности, правда, не изъ философскихъ источниковъ; но мужавшее національно-общественное самосознаніе и отвращеніе къ слѣпой галломаніи захватили и его цѣльную натуру; а новыя западноевропейскія литературныя вѣянія указали ему и способъ художественнаго выраженія идеи народности, обративши его вниманіе на народный духъ и бытъ и на народную старину. Поэтому когда появился романъ „Юрій Милославскій“, то всѣ читатели и критики признали въ авторѣ поэта русскаго народнаго духа и быта и вмѣстѣ съ тѣмъ съ полнымъ основа-

[1]) Русск. Стар. 1880, т. 29, стр. 995: А. С. Пушкинъ и П. В. Нащокинъ. Очерки и воспоминанія.

ніемъ приписали его роману западно-европейскую романтическую форму, поставивши его въ одну группу съ романами Вальтеръ-Скотта.

Литературную форму романа и ея родство съ формою „романовъ Ваверлея“ русскіе читатели и критики замѣтили при первомъ же впечатлѣніи. Цѣлый рядъ настойчивыхъ отзывовъ въ печати свидѣтельствуетъ объ этомъ. „Уступая требованіямъ современной намъ литературы иностранцевъ, читая Вальтеръ-Скотта, Купера, въ хорошихъ и дурныхъ переводахъ, наконецъ почувствовали и мы нужду въ отечественныхъ, собственно русскихъ романахъ; и первое произведеніе въ этомъ родѣ есть „Юрій Милославскій“, романъ г. Загоскина, нѣсколько недѣль тому назадъ вышедшій въ свѣтъ“ [1]). Тутъ Загоскинъ только еще сопоставляется съ Вальтеръ-Скоттомъ и Куперомъ. Подъ перомъ другого критика Загоскинъ является уже вполнѣ равнозначущимъ съ лучшими подражателями Вальтеръ-Скотта: „Успѣхъ знаменитаго шотландскаго романиста породилъ соревнованіе во всѣхъ просвѣщенныхъ націяхъ: вездѣ явились ему подражатели, болѣе или менѣе счастливые; во Франціи Баржине, въ Италіи Манцони, въ Испаніи де-Труебо, въ Соединенныхъ Американскихъ Штатахъ Куперъ и Ирвингъ, въ Германіи Ванъ-деръ-Вельде и Тцокке, въ Польшѣ Брониковскій, даже въ Бразиліи авторъ страннаго романа „Карамуру“ Донъ Жуанъ Санто де-Дуеро; у насъ однихъ доселѣ видны были только попытки, только начинанія въ романахъ историческаго рода, несмотря на богатство русскихъ лѣтописей въ предметахъ и обстоятельствахъ истинно романическихъ. — Одинъ только Бор. М. Ѳедоровъ, помѣстивъ въ 1824 и 1825 гг. въ „Отечественныхъ Запискахъ“ нѣсколько главъ изъ романа своего „Курбскій“, родилъ надежду, что мы не отстанемъ отъ другихъ націй на семъ трудномъ литературномъ поприщѣ. Но ожиданія наши были тщетны. Г. Ѳедоровъ замолчалъ послѣ первыхъ блестящихъ опытовъ, и только въ альманахахъ появлялись по временамъ небольшія историческія повѣсти—болѣе

[1]) Атеней, 1830, № 1. Критика и библіографія, „Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 г.“, соч. М. Загоскина, II. Ср. (едвій)—К—(амашевъ).

или менѣе удовлетворительныя. Наконецъ г. Загоскинъ издалъ въ Москвѣ романъ въ 3-хъ томахъ, подъ названіемъ „Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 году"—и рѣшительно, можно сказать, вполнѣ удовлетворилъ требованію публики, вполнѣ замѣнилъ сей недостатокъ въ нашей литературѣ" [1]). Наконецъ, третій критикъ считаетъ Загоскина вполнѣ соизмѣримымъ съ самимъ Вальтеръ-Скоттомъ: „Если бы романы Вальтеръ-Скотта были написаны на русскомъ языкѣ, и тогда бы „Юрій Милославскій" сохранилъ свое неотъемлемое достоинство. Это небывалое явленіе на горизонтѣ нашей словесности: романы Нарѣжнаго хотя показываютъ нѣкоторое дарованіе въ сочинителѣ, но выполнены слишкомъ дурно во всѣхъ отношеніяхъ; въ другихъ новыхъ нашихъ романахъ нѣтъ ничего національнаго, русскаго. Эпоха или время дѣйствія выбрано самое счастливое; историческія происшествія и лица вставлены въ раму, интриги съ искусствомъ освѣщены свѣтомъ исторіи прекрасно и вѣрно" [2])...

Въ этихъ сравненіяхъ съ Вальтеръ-Скоттомъ, конечно, много лиризма и энтузіазма, вполнѣ понятнаго при появленіи интересной литературной новинки. Встрѣчаются однако и такія сближенія нашего романиста съ шотландскимъ, которыя благодаря извѣстной осторожности критики были весьма близки къ истинѣ. Такъ, въ одной критической замѣткѣ мы встрѣчаемъ просто указаніе на подражаніе Вальтеръ-Скотту „въ ходѣ (сочиненія) и въ расположеніи картинъ", а также и „въ

---

[1]) Отечественныя Записки, 1830, ч. 41: Смѣсь, нѣсколько словъ о новомъ историческомъ романѣ „Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 г.", соч. М. Загоскина. Сопоставляя Загоскина съ Вальтеръ-Скоттомъ какъ съ образцомъ, почитатели его считали нелишнимъ даже довести до свѣдѣнія знаменитаго романиста, что и въ русской литературѣ нашелся достойный его подражатель. Въ одномъ письмѣ А. Я. Булгакова къ брату (Русск. Арх. 1902, кн. I: письмо отъ 28 іюля 1831 г., Москва) находимъ между прочимъ слѣдующую замѣтку: „Ланская, губернаторша Костромская, милая, добрая бабенка, перевела „Милославскаго" по-англицки и послала Вальтеръ-Скотту, коему посвятила трудъ свой".

[2]) Московскій Вѣстникъ, 1831, № 1: „Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 г.". С. А(ксако)въ.

нравственномъ направленіи" романа; при всемъ томъ романъ признается только „опытомъ въ этомъ родѣ", далеко еще не равнозначущимъ съ самимъ образцомъ. „Замѣчаемъ съ удовольствіемъ, что сіе сочиненіе въ ходѣ своемъ и въ расположеніи картинъ есть подражаніе романамъ знаменитаго Шотландца, хотя и должно признаться, что не достигнуто еще совершенство въ описаніи характеровъ и происшествій. Но во всей Европѣ, во всемъ литературномъ мірѣ подражаютъ Вальтеръ Скотту: при всемъ томъ однако жъ кто могъ до сихъ поръ стать съ нимъ на ряду? Будемъ благодарны г-ну Загоскину, что онъ первый сдѣлалъ опытъ въ этомъ родѣ на нашемъ языкѣ и надъ предметомъ, почерпнутымъ изъ отечественной исторіи; этого довольно уже, чтобъ внушить читателямъ благопріятное для автора расположеніе. Наша исторія мало извѣстна, относительно къ нравамъ и обычаямъ, а источниковъ для познанія оныхъ можно найти много, и описаніе сихъ нравовъ и обычаевъ всего лучше представлять въ историческихъ романахъ, означая именно столѣтія и годы, въ которыхъ что происходило. Довольно наскучили намъ всякаго рода повѣсти о любовникахъ и о любви, и надобны отмѣнный талантъ и кисть Руссо, Шатобріяна, г-жи Сталь и Коттень, чтобъ въ оныхъ описать что-либо трогательное и новое. Но сей родъ описаній весьма изобиленъ и представляетъ много занимательнаго вмѣстѣ съ нравоучительнымъ. Нравственное направленіе Вальтера Скотта также нашли мы съ удовольствіемъ у Загоскина" [1]). Такое вліяніе Вальтеръ-Скотта на автора „Юрія", которое ограничивается подражаніемъ общимъ пріемамъ шотландскаго романиста, признаютъ даже и самые восторженные почитатели самобытнаго таланта М. Н. Загоскина, какимъ напр. былъ С. Т. Аксаковъ. „Юрій Милославскій", говоритъ онъ [2]), теперь считается самымъ лучшимъ произведеніемъ Загоскина. Свѣжесть его прекраснаго таланта, новость характе-

[1]) Моск. Вѣстн. 1830, ч. I, № 4: Замѣчанія на разборъ „Юрія Милославскаго", пом. въ „Сѣверной Пчелѣ".

[2]) Сочин. III, стр. 273.

ровъ, въ первый разъ выступившихъ на сцену русскаго романа, а всего болѣе жизнь, вездѣ разлитая, и неподдѣльная веселость русскаго ума придаютъ столько достоинства роману, что въ этомъ отношеніи онъ занимаетъ первое мѣсто въ русской литературѣ. Очевидно, чтеніе историческихъ романовъ Вальтеръ-Скотта внушило автору мысль написать русскій историческій романъ; очевидно, что онъ заимствовалъ формы и даже пріемы знаменитаго шотландца; но этимъ ограничилась вся подражательность Загоскина" [1]).

Въ иностранной критикѣ также на первыхъ порахъ была уже отмѣчена зависимость автора „Юрія" отъ Вальтеръ-Скотта. Такъ въ „Bibliothèque Universelle" посвящена разбору романа Загоскина отдѣльная статья, авторъ которой находитъ возможнымъ помѣстить „Юрія Милославскаго" въ кругъ блестящихъ образцовъ „литературнаго рода", утвердившагося въ европейской литературѣ благодаря таланту Вальтеръ-Скотта. Критикъ находитъ, что увлеченіе историческимъ романомъ въ его время (около 1830 года) становится повсемѣстнымъ. У всѣхъ народовъ представители поэтическаго творчества стремятся „дать своей родинѣ родъ литературы, благодаря которому факты давно забытые становятся популярными". До Вальтеръ-Скотта „слабыя попытки въ этомъ родѣ" сдѣланы, по мнѣнію критика, г-жею Жанлисъ во Франціи, но ея разсказы не имѣли большого успѣха. Послѣ В. Скотта мода на историческіе романы сдѣлалась всеобщей. „Сооpег положилъ основаніе новому литературному роду въ Америкѣ... Vandervelde et Spindler создавали историческіе романы для Германіи, Manzoni — для Италіи, Zchokke — для Швейцаріи, Bronikowsky — для Польши, и каждое изъ этихъ произведеній

---

[1]) А. П. Кадлубовскій въ своемъ отзывѣ о настоящемъ изслѣдованіи („Записки Имп. Харьк. Унив.", 1909, № 3, стр. 19) дополняетъ сужденія современниковъ Загоскина о его вальтерскоттизированіи указаніемъ на слѣдующую характеристику „Юрія", сдѣланную А. А. Бестужевымъ: „Чужеземная поддѣлка не спрятана у него (Загоскина) подъ кривостью русскаго языка. Его Юрій — метемпсихоза Вальтеръ Скоттова Веверлея" (соч-ія Б-ва, т. IX, 204).

даетъ, помимо удовольствія, обозрѣніе историческихъ фактовъ, о которыхъ большая часть читающей публики ничего не знала бы, не будь этихъ романовъ. Эта литературная эпидемія перешла и на ту сторону Борисѳена. Русскіе, которымъ Вавилонская башня, говорятъ, завѣщала свои тайны, вкусивъ все лучшее, написанное на извѣстныхъ имъ языкахъ, захотѣли поискать въ своей собственной исторіи средствъ, для того чтобы заплатить Европѣ свой литературный долгъ. Опытъ удался блестяще. „Юрій Милославскій"—историческій романъ, который можно назвать литературнымъ событіемъ" [1]). Нѣмецкая критика, считая Загоскина подражателемъ В. Скотта [2]), тоже сближала „Юрія" съ его романами и даже находила въ романѣ Загоскина въ этомъ отношеніи большія достоинства. Такъ, въ „Wiener Zeitschrift" находимъ слѣдующую замѣтку, вызванную переводомъ „Юрія" на нѣмецкій языкъ (г. Эдуарда Геринга): „Г. Загоскинъ дѣйствительно имѣетъ всѣ качества историческаго романиста: его смѣло можно поставить на ряду съ знаменитымъ британцемъ, коего имя для историческихъ романистовъ сдѣлалось, такъ сказать, нарицательнымъ. Даже въ одномъ отношеніи г. Загоскинъ выше сего великаго ма-

[1] Bibliothèque Universelle.... à Genève, 1831, avr., p. 402: George Miloslavsky, ou les Russes en 1612, Roman historique par Mr. Zagoskine. „Dans toutes les nations il s'est trouvé des hommes qui ont éprouvé la noble émulation de donner à leur patrie un genre de littérature, par lequel des faits depuis long-temps oubliés redeviennent populaires. Avant Sir Walter Scott de faibles essais avaient été tentés dans ce genre... Une route nouvelle étant frayée, on s'y précipita. Bientôt cet amour de lire et d'écrire se repandit dans les deux mondes... Cette épidémie-littéraire a franchi le Borysthène. Les Russes, auxquelles la tour de Babel a, dit-on, légué ses mystères, après avoir sa[illegible]ouré les jolis écrits de toutes les langues connues, ont voulu chercher dans leur propre histoire les moyens de s'acquitter en ers le reste de l'Europe de la dette qu'ils avaient ainsi contractée. L'essai a réussi au-delà de toute espérance. „George Miloslawsky" est un roman historique qu'on peut appeler un événement littéraire mémorable pour l'année qui vient de s'écouler".

[2]) „...Sagoskin, der in Deutschland mehr durch seine Romane als einer der vielen Nachahmer Walter Scotts bekannt ist..." (Morgenblatt für gebildete Stände, 1839, Januar, Lit.—Blatt, 11: Russische Literatur).

стера. У него не встрѣчаемъ мы ничего, что бы напоминало намъ о непріятной плодовитости Вальтера Скотта, о его утомительномъ распространеніи извѣстныхъ любимыхъ мыслей, о расширеніи приключеній, за которыми мы не въ состояніи слѣдовать. Загоскинъ имѣетъ всѣ совершенства Вальтера Скотта, не раздѣляя его слабостей. Британецъ не превосходитъ русскаго ни въ правильной обрисовкѣ характеровъ, ни въ очаровательной живописи подробностей. Языкъ Загоскина благороденъ, простъ. Гдѣ нужны украшенія, тамъ у него готовы подобія и картины“ [1])...

На родинѣ В. Скотта къ родству „Юрія“ съ новеллами Ваверлея отнеслись гораздо сдержаннѣе и при этомъ даже обратили вниманіе на слишкомъ смѣлое сравненіе Загоскина съ Вальтеръ-С оттомъ, сдѣланное въ нѣмецкой критикѣ. Такъ, въ журналѣ „The Foreign Quarterly Review“ мы встрѣчаемъ попытку прослѣдить вообще развитіе исторической повѣсти и романа въ русской литературѣ; въ этомъ смыслѣ дѣлается, между прочимъ, указаніе на „Славенскіе вечера“ Нарѣжнаго, гдѣ изображенъ рядъ „легендарныхъ сценъ“ и „замѣчательныхъ характеровъ“ изъ древнерусской исторіи; затѣмъ критикъ отмѣчаетъ, какъ фактъ, появленіе историческихъ романовъ въ русской литературѣ уже года за 3 — 4 до „Юрія Милославскаго“ Загоскина и „Дмитрія Самозванца“ Булгарина. Однимъ изъ такихъ раннихъ упражненій въ историческомъ разсказѣ онъ считаетъ неоконченный романъ Ѳедорова подъ заглавіемъ „Князь Курбскій“; это, по его мнѣнію, „удачный образецъ того рода романовъ, которые получили широкое распространеніе почти во всѣхъ странахъ цивилизованнаго міра послѣ появленія мастерскихъ произведеній автора новеллъ Ваверлея“ [2]). Итакъ, пред-

[1]) Wiener Zeitschrift, 1831, № 49. Рецензія приводится въ переводѣ, помѣщенномъ въ Телеск. 1831, ч. III, стр. 126: „Сужденіе Вѣнскаго журнала о „Юріи Милославскомъ“ Загоскина“. Тутъ же указано, что и Literatur-Blatt „отдаетъ полную справедливость „Юрію Милославскому“; этой второй нѣмецкой рецензіи, къ сожалѣнію, намъ не удалось отыскать.

[2]) The Foreign Quarterly Review, 1831, vol. VIII, стр. 117, Art. V: Dimitrii Zamozvanetz, Istoritcheskii Roman, sotchenenie Thaddeja Bul-

шествующіе „Юрію“ романы — это только удачные образцы подражательныхъ произведеній во вкусѣ В. Скотта. Такой же подражательный характеръ, но безъ замѣтнаго приближенія къ идеалу подражанія, благосклонно приписываетъ другой англійскій критикъ „Юрію“. Онъ не удивляется тому, что это произведеніе популярно въ Россіи, гдѣ оно является въ своемъ родѣ первокласснымъ; но находитъ, что въ другихъ странахъ оно не можетъ занять виднаго мѣста въ литературѣ; поэтому ему кажется страннымъ, что „въ Германіи нѣкоторые критики отзывались о немъ съ большей похвалой, чѣмъ даже въ Россіи“. Говоря такъ, англійскій критикъ имѣетъ въ виду именно вышеприведенную рецензію журнала „Wiener Zeitschrift“ и вслѣдъ затѣмъ приводитъ нѣмецкое сужденіе о „Юріи“ и свою къ нему поправку. „Одинъ нѣмецкій критикъ дошелъ до того“, продолжаетъ онъ, „что увѣрялъ, будто это произведеніе имѣетъ всѣ достоинства Вальтеръ-Скотта, не имѣя ни одного изъ его недостатковъ; хотя мы очень довольны этимъ мнѣніемъ, но не можемъ всецѣло присоединиться къ нему“ [1]).

---

garina, Izdanie vtoroe (The False Demetrius, an Historical Romance, by Thaddeus Bulgarin, Second Edition). St.-Petersburg 1830. „Even the historical novel had been attempted some three or four years, before the appearance of Zagoskine's „Miloslavsky“ and Bulgarin's „Demetrius“; for we may fairly admit Fedorov's „Kniaz Kurbskij“ to be a specimen—and as far as it goes, a successful specimen of that species of romance which the masterly compositions of the Author of Waverley have brought into vogue in almost every region of the civilized world. This fragment, for it consists of only seven chapters, forming the commencement of an unfinished story, is a professed imitation of that model and while it is strictly faithful with regard to the custom of the period, namely, that of Russia in the sixteenth century, is spiritedly touched; the dialogue is full of animation, the characters well discriminated, the descriptions and local delineations clear and graphic...“

[1]) The Foreign Quarterly Review, 1833, vol. XI, стр. 382, Art. VI: Jurii Miloslavsky, ili Russkie v' 1612 godu (Jurii Miloslavsky, or the Russians in the Year 1612), by M. Zagoskin, Second Edition, Moscow, 1830: „...We are by no means surprised at the popularity this production has obtained in Russia, for there it may be considered as a first rate performance; elsewhere, a somewhat lower rank would be assigned to it,—in this

Такимъ образомъ голосъ русской и иностранной критики, какъ видно изъ приведенныхъ отзывовъ, приписываетъ М. Н. Загоскину извѣстное подражаніе В. Скотту, и это подражаніе понимается, повидимому, критиками какъ усвоеніе литературной манеры шотландскаго романиста въ обработкѣ сюжета изъ національной жизни. Анализъ романа Загоскина долженъ показать степень усвоенія имъ художественныхъ пріемовъ В. Скотта, сущность которыхъ нужно выяснить предварительно. Первое впечатлѣніе романа Загоскина тѣсно связано со вторымъ; поэтому разъясненіе одного изъ нихъ облегчитъ пониманіе другого.

---

2. Литературная манера В. Скотта. В. Скоттъ и исторія; отношеніе романиста къ исторической истинѣ и умѣнье его понимать исторію; различныя мнѣнія по этому вопросу въ критикѣ. В. Скоттъ и поэтизація національной старины; умѣнье его разсказывать исторію. Основные пріемы его историческаго разсказа, составляющіе сущность его литературной манеры. Первый пріемъ—живописаніе историческаго быта націи; личная подготовка В. С отта къ поэтическому воспроизведенію декоративной старины; отношеніе къ этому пріему творчества его современниковъ; сужденія новѣйшихъ изслѣдователей о пріемѣ „la pittoresque description, die pittoreske Beschreibung" у В. Скотта. Второй пріемъ - живописаніе національнаго духа; В. Скоттъ—какъ поэтъ національнаго „я"; сужденія современниковъ и позднѣйшихъ критиковъ о манерѣ В. Скотта изображать черты національнаго характера; современная В. Скотту дѣйствительность — какъ источникъ и основаніе историческихъ характеровъ въ его романахъ. Связь литературной манеры В. Скотта съ романтизмомъ; историческій романъ въ духѣ В. Скотта — потребность своей эпохи. Усвоеніе литературной манеры В. Скотта на континентѣ Европы; вліяніе В. Скотта въ нѣмецкой литературѣ, „die Walter-Scotterey" въ толкованіи нѣмецкой критики 20-хъ годовъ XIX стол.; подражаніе В. Скотту и пониманіе сущности литературнаго жанра „à la Walter-Scott" во французской литературѣ времени романтизма. Манера В. Скотта у западныхъ славянъ,—въ литературахъ чешской и польской.

Въ чемъ же состоитъ эта литературная манера Вальтеръ-Скотта, которую М. Н. Загоскинъ, по мнѣнію его читателей и критиковъ, усвоилъ и примѣнилъ къ своему творчеству? Въ литературной оцѣнкѣ В. Скотта между новѣйшими критиками

---

country at least, if not in Germany, for some of the critics there have spoken of it in far more laudatory terms than many of those in Russia itself. One of them indeed has even gone so far as to assert that it possesses all the excellencies of Sir Walter Scott, without his defects; an eulogium to which, however gratified we have been with it, we cannot possibly subscribe".

существуетъ, повидимому, только одно разногласіе, именно по вопросу объ исторической достовѣрности его характеровъ и картинъ. И. Тэнъ, который при обзорѣ поэтическихъ произведеній В. Скотта считается главнымъ образомъ съ его біографами (напр. Lockhart, „Life of Sir W.-Scott"), а не съ критиками, настойчиво и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзко ставитъ ему въ упрекъ искаженіе духа исторіи и непониманіе историческои правды, какъ бы она ни была непристойна и груба. „У Вальтеръ-Скотта мы научились исторіи", говоритъ онъ [1]). „Но исторія ли это, однако же? Всѣ его картины отдаленнаго прошлаго—ложны. Вѣрны только костюмы, мѣстность, внѣшность, но поступки, рѣчи, чувства и все остальное цивилизовано, принаряжено и пригнано въ новѣйшемъ духѣ... Развѣ онъ похожъ на поклонника голой правды, какъ бы она ни была свирѣпа и грязна? Развѣ онъ похожъ на любознательнаго натуралиста..., заботящагося исключительно о подтвержденіи фактами превращеній живой природы? Нисколько". Г. Брандесъ, оставаясь въ общемъ на точкѣ зрѣнія своего учителя, Тэна, признаетъ за В.-Скоттомъ извѣстное пониманіе исторіи, особенно по сравненію съ историками XVIII столѣтія, но въ то же время находитъ, что большинство его романовъ страдаютъ отсутствіемъ исторической достовѣрности. „При описаніи стараго времени", говоритъ онъ [2]), „(В.-Скоттъ) такъ ослаблялъ грубыя его стороны, что оттого сильно страдала историческая достовѣрность". Новѣйшіе изслѣдователи В. Скотта, какъ напр. L. Maigron [3]) и K. Wenger [4]), опираясь на англійскихъ критиковъ и біографовъ романиста (напр. Lockhart, Hutton, Yonge, Carlyle, Ruskin), судятъ гораздо спокойнѣе объ историческои

---

[1]) И. Тэнъ, Развитіе политической и гражданской свободы въ Англіи въ связи съ развитіемъ литературы, II, стр 434.

[2]) Г. Брандесъ. Главныя теченія литературы девятнадцатаго столѣтія. Англійская литература, стр. 193.

[3]) L. Maigron, Le roman historique à l'époque romantique, Essai sur l'influence de Walter Scott, Paris. 1898.

[4]) Dr. Karl Wenger, Historische Romane deutscher Romantiker, Bern, 1905.

достовѣрности романовъ В. Скотта и, игнорируя детали въ изображеніи лицъ и событій, обнаруживаютъ у В. Скотта вниманіе къ общей исторической правдѣ и уваженіе къ исторической дѣйствительности. Уваженіе къ исторіи, забота о сохраненіи истины общаго (въ противоположность истинѣ частностей) ставили, по мнѣнію перваго изъ вышеназванныхъ изслѣдователей, извѣстныя границы творческой фантазіи романиста, но въ то же время не ослабляли художественной прелести его твореній; поэтому-то у него Людовикъ XI и Марія Стюартъ при всей художественности обрисовки являются вполнѣ вѣрными исторіи [1]). Другой изъ названныхъ изслѣдователей находитъ даже, что для В. Скотта историческая истина была выше всего и что онъ одинаково чтилъ дѣйствительность прошлаго, какъ и дѣйствительность настоящаго; по его мнѣнію, у В. Скотта мы не встрѣтимъ злоупотребленія исторической истиной, — наоборотъ, читая его, мы убѣдимся, что при созданіи историческаго романа онъ прежде всего думаетъ объ исторіи и дѣйствительности отдаетъ предпочтеніе передъ вымысломъ [2]).

Эти, повидимому, разнорѣчивыя мнѣнія критики объ историческомъ элементѣ въ романахъ В. Скотта не уничтожаютъ

---

[1]) „Le respect de l'histoire, le souci de la vérité générale, qu'après tout il n'a pas si mal observée, créaient autant de limites à cette fantaisie et à cette imagination qu'il laissait si agréablement se jouer dans la peinture de caractères qu'il inventait. Il est facile de montrer qu'en restant dans ces limites mêmes le grand peintre ne perdait rien de sa facilité et de son charme. Son Louis XI et sa Marie Stuart... sont aussi vrais dans le roman que dans la plus exacte et la plus fidèle des histoires, et il est à peine besoin de dire qu'ils y sont singulièrement plus animés et plus vivants". (L. Maigron, Le roman historique à l'époque romantique, p. 175).

[2]) „Fragen wir nun, wie Walter Scott die Geschichte auffasste und wie er sie verstand, so müssen wir zunächst feststellen, dass die historische Wahrheit Scott über alles ging. Wie er ein Verehrer der Wirklichkeit der Gegenwart war, so war er auch stets bemüht, die Wirklichkeit der Vergangenheit zu erkennen. Um diese war es ihm zu tun, sein ganzer Ehrgeiz ging dahin, den Menschen seiner Zeit vor Augen zu führen, wie frühere Menschen und Zeiten ausgesehen haben, was gedacht und wie gefühlt worden ist. (Dr. K. Wenger, Historische Romane deutscher Romantiker, s. 9)

другъ друга и при внимательномъ разсмотрѣніи могутъ быть приведены къ соглашенію. И. Тэнъ по своему оригинальному міровоззрѣнію близокъ былъ къ позитивизму и цѣнилъ произведеніе искусства лишь постольку, поскольку оно способствуетъ точному познанію дѣйствительности настоящаго или прошедшаго. Онъ старался поэтому такъ использовать художественныя творенія, древніе памятники литературы и историческіе матеріалы, чтобы проникнуть всецѣло въ бытъ и духъ извѣстнаго времени, и это ему удавалось, между прочимъ, даже по отношенію къ феодальной эпохѣ, которая раскрыта была имъ вплоть до сокровенныхъ движеній своей варварской психики. Оперируя съ ловкостью анатома надъ всевозможнымъ историческимъ матеріаломъ, онъ требовалъ, чтобы и художникъ-романистъ производилъ самый тонкій анализъ всѣхъ наличныхъ документовъ эпохи, прежде чѣмъ рисовать ее художественными красками. По мнѣнію Тэна, романъ въ XIX вѣкѣ перешелъ уже изъ области фантазіи въ область изображенія дѣйствительной жизни и дѣйствительной исторіи; поэтому и историческій романъ тогда только достигаетъ своей цѣли, когда производитъ надъ историческимъ человѣкомъ такое же точно изслѣдованіе, къ какому должно стремиться всякое искусство и всякая наука при наблюденіи надъ жизнью вообще. Понятно, при такой точкѣ зрѣнія на историческій романъ, творенія В Скотта со стороны своей исторической вѣрности не могли избѣжать сурового суда знаменитаго критика, хотя В. Скоттъ изъ группы разсказчиковъ времени романтизма отличается наибольшею склонностью къ реальному изображенію жизни, съ чѣмъ согласенъ и Тэнъ. Новѣйшіе обозрѣватели историческаго романа, не связывая себя позитивнымъ міровоззрѣніемъ или другой какой-либо философской тенденціей, находятъ возможнымъ разсматривать историческій романъ не какъ художественно-научное изслѣдованіе историческихъ лицъ и событій, но какъ своеобразный поэтическій пріемъ для выраженія взгляда на историческое прошлое того или другого народа, на его духовный складъ и реальный бытъ. Эти изслѣдователи такъ же, какъ и Тэнъ, не ослѣплены на счетъ исторической достовѣрности содержанія романовъ В. Скотта,

но они находятъ, что историческому роману и недоступна эта документальность: документальной можетъ быть исторія, а не романъ, который никогда и не бываетъ въ собственномъ смыслѣ слова историческимъ, потому что всегда остается до извѣстной степени въ области вымысла [1]). Но чуждый документальности и точнаго анализа лицъ и событій, историческій романъ долженъ однако воспроизводить общую историческую правду („la vérité générale“) [2]),—внутреннюю зависимость событій прошлаго („die innern Zusammenhänge vergangener Zeiten“) [3]), внутреннюю историческую дѣйствительность („die innere Wirklichkeit) [3]). Это общее пониманіе исторіи признаетъ до извѣстной степени въ романахъ В. Скотта и И. Тэнъ, и на этомъ пунктѣ, вѣроятно, могутъ сойтись всѣ критики знаменитаго романиста.

Такимъ образомъ, одна изъ стихій таланта В. Скотта заключается въ пониманіи духа исторіи, ея общихъ явленій, исторической перспективы. Но эта-ли стихія такъ увлекала читателей начала XIX столѣтія? Для изученія исторіи наиболѣе пригодны даже и въ то время были историческіе матеріалы и труды: однако, несомнѣнно, многіе находили для себя болѣе пріятнымъ знакомиться съ исторіей среднихъ вѣковъ по „новелламъ Ваверлея“, чѣмъ по сухимъ историческимъ монографіямъ и документамъ. Почему? Потому что прелесть романовъ В. Скотта заключалась не въ томъ, что онъ лучше и отчетливѣе другихъ понималъ исторію, а въ томъ, что умѣлъ рельефнѣе и живописнѣе другихъ выразить историческое явленіе во всей его идеальной и реальной красотѣ. Эта вторая стихія его таланта, которая именно и создавала его успѣхъ, заключается въ его литературной манерѣ разсказывать исторію, манерѣ, составляющей его неотъемлемую и своеобразную по природѣ собственность.

[1]) „Le roman, même historique, n'est pas l'histoire. Déjà ce titre de „Roman historique“ ne renferme-t-il pas, à lui seul, une contradiction? Et que peut bien être une histoire qui n'est pas exclusivement historique, mais historique à la fois et romanesque? Le roman est par définition une fiction, et les fictions sont rigoureusement proscrites par l'histoire“ (Maigron, p XII).

[2]) Maigron, p. 175.

[3]) Wenger, s. 15.

На счетъ этой второй стихіи критики В. Скотта говорятъ почти согласно, съ очень небольшими оттѣнками въ сужденіяхъ.

Говоря о литературной манерѣ В. Скотта, нѣтъ необходимости, какъ замѣчаетъ одинъ изъ его критиковъ, строить теорію историческаго романа и искать въ ней мѣста для самого В. Скотта [1]): внѣ его этой теоріи нѣтъ, потому что она съ нимъ возникла и въ немъ достигла процвѣтанія. Его литературная манера есть продуктъ романтизма начала XIX столѣтія, и поэтому она находится въ тѣсной связи вообще съ міровоззрѣніемъ романтиковъ. Однимъ изъ пунктовъ этого міровоззрѣнія, какъ мы уже видѣли выше, былъ поэтическій культъ всего національнаго, особенно національной старины, которая разсматривалась однако романтиками не вблизи, не глазомъ опытнаго изслѣдователя, а глазомъ восторженнаго художника, издали, сквозь призму исторической перспективы, какъ далекій дивный ландшафтъ съ причудливыми очертаніями и съ переливами всѣхъ цвѣтовъ радуги. Такое изображеніе старины, при наличности таланта автора, нуждается неизбѣжно въ двухъ пріемахъ; первый пріемъ заключается въ томъ, чтобы какъ можно живописнѣе нарисовать историческую обстановку той или другой эпохи, картины ея реальнаго быта, а второй — въ томъ, чтобы не менѣе живописно представить историческіе характеры, черты духовной природы той или другой національности. Оба эти пріема мы находимъ у Вальтеръ-Скотта въ ихъ высокомъ развитіи.

Первый пріемъ историческаго живописанія былъ выработанъ В. Скоттомъ съ ранней молодости. Онъ изучалъ историковъ, географовъ, собиралъ легенды и баллады, посѣщалъ историческія развалины, разыскивалъ древности, какъ настоящій антикварій. „Онъ читалъ“, говоритъ Тэнъ, „провинціальныя хартіи, сквернѣйшіе латинскіе стихи средневѣковыхъ поэтовъ, метрическія книги, даже контракты и завѣщанія“ [2]). Свой замокъ даже онъ обставилъ по феодальнымъ образцамъ и жилъ въ немъ настоящимъ феодаломъ. И. Тэнъ приводитъ описаніе

[1]) Maigron, p. XII.

[2]) И. Тэнъ, стр. 433.

этого замка по разсказу зятя В. Скотта Lockhart'a. „Башни и башенки скопированы были каждая съ какого-нибудь стариннаго шотландскаго замка, крыши и окна украшались гербами кланонъ и ползающими львами на красномъ полѣ, комнаты заставлены высокими поставцами и рѣзными буфетами, декорированы круглыми щитами, пледами, длинными гигландерскими мечами, аллебардами, воинскими доспѣхами, оленьими рогами, развѣшанными въ видѣ трофеевъ. Много лѣтъ въ этомъ замкѣ онъ держалъ, такъ сказать, открытый столъ и оказывалъ всякому постороннему „шотландское гостепріимство", пытаясь воскресить древнюю феодальную жизнь, со всѣми ея обычаями и обстановкой"... [1]) Этому феодальному замку В. Скотта современники отдавали невольную дань восхищенія [2]). Воспитавши

[1]) H. Тэнъ, стр. 433.

[2]) Вотъ одно изъ современныхъ восторженныхъ описаній замка въ Абботсфордѣ: „La maison d'Abbotsford, nommée par un voyageur français un roman en pierre et en chaux, est une espèce de château d'un style gothique, gracieusement encadré de bois touffus, plantés par les mains du grand homme. La bibliothèque contient plusieurs ouvrages rares et précieux; l'arsenal est riche en armures qui ont appartenu à des guerriers célèbres. Mais l'art n'est pas nécessaire pour ajouter aux beautés naturelles de ce lieu. La Tweed coule majestueusement le long des murs; tout près s'élèvent fièrement les collines d'Eildou; les magnifiques ruines de l'abbaye de Melrose sont dans le voisinage, et cet ensemble forme assurément un des sites les plus pittoresques du monde". (Bibliothèque Universelle, 1832, octobre, p. 181: „Notice sur sir Walter Scott"). Въ другомъ современномъ же описаніи Абботсфорда приводится собственный лирическій отзывъ В. Скотта о его уютномъ артистическомъ убѣжищѣ: „Un bizarre château, flanqué de tourelles, plein d'irrégularités piquantes, melange curieux de toutes les espèces d'architectures, labyrinthe inoui, aux mille recoins étranges, aux mille portes secrétes, contenant ici le cabinet des curiosités antiques, là une belle ménagerie, plus loin une bibliothèque considérable et spéciale, s'était élevé, et le nom d'Abbotsford était devenu célèbre dans l'Europe entière". „C'était mon joujou, mon bonheur, dit quelque part Walter Scott; une jeune fille n'habille pas sa poupée avec plus de soin et de plaisir. Je savais qu'il me faudrait attendre longtemps l'accomplissement de mes grands desseins, mais j'avais de la patience; et cette longue attente, ces progressifs embellissemens de ma maison, avaient pour moi un charme extrême" (Revue Britannique, 1833, t. I, p. 182; Litérat, de W. Scott)

свой вкусъ къ національной старинѣ на декоративныхъ памятникахъ быта и нравовъ, которые онъ ввелъ не только въ свое творчество, но и въ свой повседневный обиходъ, В. Скоттъ и въ историческихъ романахъ стремится какъ можно эффектнѣе нарисовать эти своеобразныя декораціи феодальнаго времени. „Въ исторіи онъ — говоритъ И. Тэнъ о романистѣ — точно такъ же, какъ въ своемъ Абботсфордскомъ замкѣ, хлопочетъ только о томъ, чтобы удобнѣе расположить точки зрѣнія и готическія залы“ [1]). Въ этомъ отношеніи В. Скоттъ является по-истинѣ эффектнымъ живописцемъ, поэтомъ декоративной старины.

Этотъ первый пріемъ литературной манеры В. Скотта, состоящій въ живописаніи внѣшней обстановки жизни, въ умѣньи декоративно изображать всѣ подробности историческаго быта, замѣченъ былъ уже его современниками. „Описаніемъ внѣшнихъ предметовъ и въ особенности пейзажей“ В. Скоттъ—такъ судитъ о немъ „Эдинб. Обозр.“ 1832 г. — превзошелъ всѣхъ писателей послѣ Мильтона. У него богатый подборъ картинъ, производящихъ сильное впечатлѣніе. Главное же достоинство его описаній въ томъ, что онъ умѣетъ ставить читателя въ положеніе зрителя [2]). У Вальтеръ-Скотта „все живетъ“, говоритъ нѣмецкій его обозрѣватель, „все движется въ поэтическихъ созданіяхъ В. Скотта... Лица, костюмы, лошади, знамена, охота, сраженія и проч. — все нарисовано самыми живыми красками, и почва, на которой вырисовывается все это множество ярко очерченныхъ фигуръ, представляетъ собою ту именно

[1]) Тэнъ, стр. 434.

[2]) The Edinburgh Review, 1832, Vol. LV, april № CIX: Waverley Novels ...„In the decription of external objects, and particularly of what may be called natural scenery, Sir Walter Scott has been succe-sful beyond all writers subsequent to Milton. We have heard Mrs. Radcliffe's descriptions much commended; but whoever will compare her with the Author o Waverley, will percieve the difference between mere copiousness of descriptive diction. and a rich and judicious selection of images — between passages, which please the ear, and those which convey a distinct impression to the mind. It is essential in a descri ption of visible objects, that it should place the reader in the situation of a spectator.

дикую природу, тѣ туманы, сосны, водопады, скалы, озера, которые взятые вмѣстѣ образуютъ нѣсколько суровую, но въ своемъ родѣ всетаки прекрасную физіономію сѣверныхъ странъ“ [1]). Такъ характеризуется живописаніе внѣшней жизни въ балладахъ В. Скотта; та же характеристика прилагается и къ его романамъ.

Новѣйшіе изслѣдователи В. Скотта также считаютъ его замѣчательнымъ живописцемъ національной старины, хотя и безъ точныхъ познаній въ древностяхъ, особенно же въ старомъ искусствѣ. В. Скоттъ—какъ думаетъ K. Wenger—не знатокъ искусства вообще и въ частности не компетентенъ въ готическомъ искусствѣ, особенно же въ готической архитектурѣ [2]). Зато въ области поэтизаціи національнаго быта онъ не имѣетъ соперниковъ. „Одежда, вооруженіе, замки, темницы и весь вообще антикварный матеріалъ“, говоритъ тотъ же критикъ, „создаетъ въ романахъ В. Скотта жизнь, и его точная живопись въ описаніяхъ („die genaue pittoreske Beschreibung“) направлена къ тому, чтобы знакомить читателя съ интимною стороною жизни въ ея мелкихъ подробностяхъ“ [3]).

[1]) Lit. Blatt, № 15: Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes der englischen Literatur. (K. Wenger, Hist. Romane, s. 28).

[2]) K. Wenger, s. 21: „...ist Scott gar kein eigentlicher Kenner der Kunst—man vergleiche ihn nur mit den deutschen Romantikern!—und es wurden der Stimmen viele laut, die dem Antiquar und Kunstverständigen Scott die Kompetenz absprachen. Wie wenig er z. B. gotische Kunst und überhaupt Baukunst verstand, beweist ein Urteil Ruskins in „Modern Painters“, das uns Maigron mitteilt: „He had some confused love of Gothic architecture, because it was dark, picturesque, old and like nature; but could not tell the worst from the best, and built for himself the most incongruous and ugly pile that gentlemanly modernism ever designed; marking, in the most curious and subtle way, that mingling of reverence with irreverence which is so striking in the age; he reverences Melrose, yet casts one of its piscines, put a modern steel grate into it, and makes it his fireplace. Like all pure moderns, he supposes the Gothic barbarous, notwithstanding his love of it; admires, in an equally ignorant way totally opposite styles“ (Ruskin, Modern Painters. III, 32, p. 271). Изложенное здѣсь мнѣніе Рэскина приводится у L. Maigron, Le roman histor., p. 207—8.

[3]) K. Wenger, s. 21.

Читая описанія въ романахъ В. Скотта, приходится—по мнѣнію L. Maigron [1])—дивиться не ихъ исторической вѣрности, которой въ нихъ часто не хватаетъ, а ихъ изобразительности и поэтичности. Декораціи В. Скотта, это свойственное ему живописаніе („la description pittoresque"), не даютъ, правда, точнаго понятія о предметѣ старины, но зато позволяютъ его видѣть и чувствовать [2]). Въ противоположность историкамъ восемнадцатаго столѣтія, которые занимались отвлеченными разсужденіями и не считались ни съ географическими, ни съ этнографическими условіями странъ и народовъ, В. Скоттъ въ своихъ романахъ „преимущественно старался", говоритъ Г. Брандесъ, „описывать яркими красками данный вѣкъ и данную страну, и тѣмъ менѣе чувствовалъ склонности къ изображенію своихъ героевъ въ костюмѣ своего собственнаго вѣка, что въ глубинѣ своей души предпочиталъ пеструю и богатую красками прошлую жизнь пошлому благоразумію и безцвѣтной разсудительности собственнаго времени" [3]). Это стремленіе В. Скотта быть всегда живописцемъ реальной старины и составляетъ, согласно общему сужденію о романистѣ, первый пріемъ въ его литературной манерѣ. Поэтизируя такимъ образомъ старину, В. Скоттъ былъ вдвойнѣ источникомъ романтизма для своихъ современниковъ и послѣдователей: съ одной стороны, онъ питалъ романтическое влеченіе отъ скучнаго настоящаго къ живописному прошлому, къ національной поэтической старинѣ, полной причудливыхъ красокъ и формъ; съ другой—создавалъ самую технику живописанія старины и, можно сказать, впервые примѣнялъ на практикѣ тотъ мѣстный колоритъ въ поэзіи (la couleur locale).

---

[1]) L. Maigron, Le roman historique... p. 207—8.

[2]) Тамъ же, стр. 210 ( Авторъ говоритъ о томъ, какъ оцѣнивали В. Скотта въ кружкѣ французскихъ романтиковъ): „N'est-ce pas surtout la véritable description, attendue avec tant d'impatience, la description pittoresque, la seule qui fasse voir et donne la sensation de l'objet? et par surcroît de bonheur, cette description ne va-t-elle pas évoquer des choses lointaines, depuis longtemps disparues et d'autant plus poetiques?..."

[3]) Г. Брандесъ, Англійск. литер., стр. 135 – 6.

которымъ такъ увлекались потомъ романтики всѣхъ странъ, особенно же французскіе представители романтизма. Примѣненіе этого мѣстнаго колорита мы найдемъ и у М. Н. Загоскина.

Если этотъ первый пріемъ творчества В. Скотта можно назвать поэтизаціей національнаго быта, то второй пріемъ, который также входитъ въ составъ его литературной манеры, можетъ быть названъ поэтизаціей національнаго духа. По замѣчанію Г. Брандеса[1]), „описанія В. Скотта пріобрѣли такое же важное значеніе для психологіи народовъ, какое имѣли описанія Байрона для психологіи отдѣльныхъ личностей"; другими словами—если Байронъ былъ поэтомъ индивидуальной личности, то В. Скоттъ былъ такимъ же поэтомъ индивидуальной національности. Что В. Скоттъ понималъ психологію близкихъ ему національностей, т. е. шотландцевъ и англичанъ, и что онъ рисовалъ настоящіе живые характеры—въ этомъ отношеніи также согласны всѣ его критики. Уже современники В. Скотта замѣтили его несравненное умѣнье живописать человѣческіе характеры со всѣми ихъ національными особенностями. Такъ, по поводу изданія „романовъ Ваверлея" 1829 года въ „Эдинб. Обозр." было настойчиво подчеркнуто, что въ нихъ болѣе всего поражаетъ читателя изображеніе В. Скоттомъ человѣческаго характера. Рисуя своихъ героевъ, В. Скоттъ отличается „изобрѣтательностью, новизною и вѣрностью": его люди „не отвлеченныя существа",—но „существа говорящія, дышащія, дѣйствующія и самобытныя"; въ этомъ отношеніи съ нимъ можно сравнивать только Шекспира. Герои В. Скотта встаютъ передъ нашимъ умственнымъ взоромъ со всѣми присущими имъ индивидуальными признаками—„одеждой, манерами, чертами лица": „методъ В. Скотта имѣетъ то достоинство, что индивидуализируетъ воображаемую личность" [2])... Съ такою же увѣренностью го-

[1]) Тамъ же, стр. 137.

[2]) The Edinburgh Review, 1832, Vol. LV, april, № CIX: Waverley Novels, new edition, with the Author's notes, Edinburgh, 1829: „One of the points of view in which the Author of Waverley is first presented to us is, as a delineator of human character. When we regard him in this

воритъ о характерахъ В. Скотта и нѣмецкая критика начала XIX столѣтія. Такъ одинъ изъ критиковъ „Literaturblatt“ находитъ героевъ В. Скотта настолько живыми и правдивыми, что считаетъ вполнѣ возможнымъ встрѣтиться съ ними гдѣ-нибудь въ свѣтскомъ салонѣ или въ гостиницѣ [1]). При этомъ современная В. Скотту критика замѣтила, что изъ характеровъ ему болѣе всего удаются національные, которые онъ больше любитъ и лучше знаетъ; въ этомъ отношеніи всѣ элементы для поэтическаго творчества ему поставляли—какъ сказано въ одной замѣткѣ „Bibl. Universelle“—народъ и природа Шотландіи [2]). Такимъ образомъ и самый источникъ этого живописанія характеровъ у В. Скотта былъ ясенъ для современниковъ великаго романиста. Господствующій мотивъ въ его романахъ—говорится о литературной манерѣ В. Скотта въ

---

light, we are struck at once by the fertility of his invention, and the force, novelty, and fidelity of his pictures. He brings to our minds not abstract beings, but breathing, acting, speaking individuals Then what variety! What originality! What numbers! What a gallery has he set before us! No writer but Shakespeare ever equalled him in this respect... The decriptions of persons by the Author of Waverley are distinguished chiefly by their picturesqueness. We always seem to behold the individual described. Dress, manner, features and bearing are so vividly set before us, that the mental illusion is rendered as complete as words can make it... The method of Sir Walter Scott has the merit of inividualizing an imaginary person in a remarkable degree, and is well suited to the nature of the Novel“...

[1]) Lit. Blatt. 1817, № 8 (Цитир. по соч. Dr. K. Wenger, Historische Romane..., s. 26—7): „Die andern Characterе sind ganz nach englischem Zuschnitt mit nationeller Uebertreibung, aber in sich selbst so wahr und lebendig geschildert, dass man ihnen in Gasthöfen und Salons glaubt begegnet zu sein. Vielleicht scheint uns auch Uebertreibung, was eine schärfere, feinere, unabhängigere Individualität eines von uns nicht in seinem Lande beobachteten Volkes ist, im Vergleich der sehr unerheblichen, sich im natürlichen Zustand sehr wenig ausdrückenden des unsern“.

[2]) Le caractère national de son pays natal était son sujet d'affection, et les éléments de son invention lui étaient toujours fournis par le peuple ou par la nature de l'Ecosse. Cette circonstance augmenta beaucoup l'admiration de ceux qui les premiers ont contribué à faire sa reputation. (Bibliothèque Universelle, decembre 1832, p. 357: Caractère littéraire de Walter-Scott).

„Revue Britannique"—заключается въ обращеніи къ природѣ, исторіи, дѣйствительности, „къ изученію человѣка во всѣхъ классахъ, во всѣхъ положеніяхъ, во всѣхъ рангахъ"; въ этомъ отношеніи В. Скоттъ сразу сталъ несравненно выше другихъ представителей англійской поэзіи за данное время—Campbell'я Wordsworth'a, Southey [1]).

Для современниковъ В. Скотта не было также секретомъ и то, что онъ рисовалъ своихъ героевъ, даже и историческихъ, прямо съ живой натуры, съ своихъ сосѣдей, хорошихъ знакомыхъ, добрыхъ друзей. Есть свидѣтельства, что самъ романистъ сознавался въ этомъ; такъ напр. оригиналомъ для героя въ „Антикваріи" послужилъ, по собственному признанію В. Скотта, одинъ пріятель его отца; при этомъ вѣрность копіи выдала его секретъ, и его уличили въ списываніи портретовъ съ живыхъ людей [2]). Довольно рѣзко говоритъ о манерѣ В. Скотта копировать современниковъ для историческихъ портретовъ Г. Гейне въ „Путевыхъ картинахъ": „Шотландскому барду оказываютъ—по его мнѣнію—слишкомъ много чести, когда говорятъ, что геній его возсоздалъ по исторіи

[1]) Revue Britannique, t. I, 1833, p. 180: Literature d. W. Scott: „La pensée qui règne dans les romans de sir Walter... c'est un appel à la nature, à l'histoire, à la réalité; c'est un retour vers l'étude de l'homme dans toutes les classes, dans toutes les positions, dans tous les rangs. Le pédantisme, le concetti, l'affectation, la poésie des salons pâlirent, dès que l'astre poétique s'éleva. Campbell, Wordsworth, Southey furent presque vaincus et rejetés dans l'ombre. Les journalistes eux-mêmes cédèrent à la voix publique; ils avouèrent le mérite supérieur de Walter Scott"...

[2]) Bibliothèque Universelle, juin, 1833, Une visite à Abbotsford en 1830, p. 195: „Comme je demandais à sir W., si son imagination lui avait jamais fourni des conceptions qu'il n'aurait pu emprunter á l'observation, il me répondit, après un moment de silence, que ses caractères étaient toujours tirés de la nature, et que plusieurs même étaient des portraits, seulement légèrement modifiés. „Leur ressemblance", me dit-il, „a trahi une fois mon secret; l'original de Oldbuck (l'Antiquaire) était un ami de mon père, que je me rappelai pour l'avoir vu lorsque j'étais enfant. La copie était trop fidèle, pour ne pas être reconnue. Aussi lorsque je le publiai, M., me rencontrant, me dit en me frappant sur l'épaule: „Ah! Scott, c'est vous qui avez écrit cela, car personne que vous ou moi ne pouvait rappeler à la vie notre vieux ami".

внѣшній обликъ и внутренній образъ мыслей" старой Англіи и Шотландіи и „доказалъ свое поэтическое величіе тѣмъ, что совершенно безпристрастно, какъ судящій Богъ, обѣимъ воздалъ должное и съ обѣими обошелся съ одинаковою любовью. Стоитъ бросить одинъ взглядъ въ ливерпульскія или манчестерскія молельни и потомъ въ аристократическіе салоны Вестъ-Лондона, чтобы ясно видѣть, что Вальтеръ-Скоттъ только скопировалъ то время, въ которое самъ жилъ, и одѣлъ въ старые костюмы совершенно новыя фигуры" [1]).

Новѣйшіе критики вполнѣ согласны съ современниками В. Скотта въ оцѣнкѣ его литературной манеры поэтически изображать національные характеры; близость его характеровъ къ дѣйствительности и связь ихъ съ духовной жизнью данной націи не подвергается и теперь никакому сомнѣнію. Люди, нарисованные В. Скоттомъ, это именно, какъ выражается K. Wenger, „не схемы и не вывѣски добродѣтелей или пороковъ", а настоящіе „люди, взятые изъ дѣйствительной жизни" [2]). Въ романахъ В. Скотта впервые послѣ продолжительнаго господства ложноклассической эпопеи и трагедіи вступила въ свои права—говоритъ L. Maigron—„первая изъ всѣхъ добродѣтелей—жизнь", во всей своей свѣжести, вся въ переливахъ веселости и грусти, грубой шутки и тонкой иронія, сильныхъ страстей и неотразимыхъ очарованій... Впервые упалъ покровъ съ настоящей жизни, и всѣ увидѣли настоящихъ людей съ живымъ блескомъ въ глазахъ, съ неподдѣльными жестами... „Нѣтъ больше ничего искусственнаго, ничего условнаго, застывшаго, мертваго, наоборотъ, есть природа и жизнь въ своей наивной чистотѣ и правдѣ; какая новость, какое обая-

---

[1]) Г. Гейне, Сочин. изд. 2-е, Спб. 1904, т. I: Путевыя картины. Отрыв. замѣтки объ Англіи, III, стр. 454.

[2]) Dr. K. Wenger, Hist. Rom., s. 10: ...In ausserordentlicher Fülle bewegen sich vor unsern Augen die Menchen der von Scott geschilderten Zeit, und es sind keine vorüberhuschenden Schemen, auch keine Tugendbolde oder Teufel in Menschengestalt, sondern Menschen, die uns nahetreten, weil sie der Wirklichkeit entnommen sind, die fest auf der Erde stehen und von ihrer Zeit beeinfluss' werden, wie wir von der unsrigen"...

nie!..." [1]) Но признавая жизненность характеровъ, созданныхъ В. Скоттомъ, новѣйшіе критики его не менѣе, чѣмъ его современники, опредѣленно говорятъ о томъ источникѣ, откуда онъ черпалъ матеріалъ для поэтическаго выраженія національнаго духа, проявляющагося въ многообразныхъ характерахъ. Эти живые характеры почерпнуты, конечно, не столько изъ исторіи, которую В. Скоттъ понималъ и зналъ только въ общихъ мотивахъ, сколько изъ окружающей автора дѣйствительности; а такъ какъ авторъ романовъ Ваверлея, оставаясь монархистомъ, былъ гуманно настроенъ и къ демократіи, то особенное вниманіе обратилъ онъ на средніе классы, хранившіе въ чистотѣ богатства національнаго духа. Вотъ почему онъ и сдѣлался „Гомеромъ новѣйшей буржуазіи", какъ выразился о немъ И. Тэнъ [2]). Мѣстомъ для наблюденій надъ свойствами народнаго характера служила для В. Скотта главнымъ образомъ Шотландія. „Шотландіи онъ далъ право гражданства въ литературѣ", говоритъ И. Тэнъ; „я разумѣю здѣсь всю Шотландію,—пейзажи, памятники, дома, жилища, лица всѣхъ вѣковъ и всѣхъ состояній, отъ барона до рыбака, отъ адвоката до нищаго, отъ знатной дамы до торговки. Они возникаютъ толпою при имени Вальтеръ-Скотта" [3])... Обаяніе выведенныхъ В. Скоттомъ лицъ заключается однако не въ томъ только, что они срисованы съ окружающей дѣйствительности, но и въ томъ по преимуществу, что романистъ изобразилъ ихъ такъ сказать en beau, со стороны ихъ духовной красоты, составляющей ихъ національную гордость. Такое изображеніе есть не простое фотографированіе лицъ и характеровъ, но художественное воспроизведеніе ихъ красоты, поэтизированіе ихъ; это своего рода декоративное описаніе національной души, какъ бываетъ декоративное описаніе національнаго быта; это тотъ же „мѣстный колоритъ", только въ приложеніи не къ быту, а къ духу народа. Чтобы понять, почему В. Скоттъ избралъ этотъ путь декоративной поэтизаціи

[1]) L. Maigron, p. 185.
[2]) И. Тэнъ, стр. 437.
[3]) Тамъ же, стр. 439.

всего національнаго, надо вспомнить, что онъ самъ былъ продуктъ эпохи романтизма и въ своемъ творчествѣ представлялъ реализацію одного изъ мотивовъ романтики, возникшей до него, но ему обязанной художественнымъ выраженіемъ идеи національнаго, который входилъ въ кругъ романтическаго міросозерцанія; кромѣ того необходимо имѣть въ виду и личныя свойства автора: „онъ твердый протестантъ, хорошій мужъ, добрый отецъ, нравственный человѣкъ“ [1]), наконецъ, горячій патріотъ. Съ такими личными качествами и съ такимъ неотразимымъ по обаянію художественнымъ пріемомъ, какимъ являлось тогда его мастерское примѣненіе „мѣстнаго колорита“ къ описанію національнаго быта и характера, В. Скотть могъ властно, рукою чародѣя, играть на національныхъ струнахъ своей романтической эпохи, съ восторгомъ обращавшей взоры къ своимъ народнымъ красотамъ въ прошломъ и настоящемъ.

Поэтизація національнаго быта и духа была во вкусѣ времени. Поэтому литературная манера В. Скотта обаятельно дѣйствовала не только на читателей, но и на поэтовъ разныхъ странъ и народовъ. Въ концѣ 20-хъ и въ 30-хъ годахъ XIX столѣтія историческій романъ достигаетъ замѣтнаго развитія и обаянія: „Вотъ уже лѣтъ пятнадцать какъ историческій романъ занялъ мѣсто въ ряду произведеній, которыя возвеличиваютъ человѣческій духъ“, читаемъ въ одной журнальной статьѣ 30-хъ годовъ, посвященной „Вальтеръ-Скотту и его преемникамъ“. „Предназначенный нѣкогда единственно лишь для изображенія нравовъ того или другого класса общества, романъ теперь расширилъ свой горизонтъ вровень съ обширной равниной исторіи .. Трагедія заброшена, драма еще не создана, и только историческій романъ произвелъ цѣлую школу“. Вальтеръ Скотъ далъ историческому роману жизнь и обильную почву для будущихъ работниковъ на этомъ поэтическомъ поприщѣ. Многіе изъ нихъ, этихъ „преемниковъ“ В. Скотта, уже воспользовались богатымъ его наслѣдіемъ и многіе—думаетъ авторъ статьи—обязаны своей литературной

[1]) И. Тэнъ, стр. 484.

репутаціей именно тому, что въ своемъ творчествѣ послѣдовали поэтической манерѣ В. Скотта [1]). Этотъ необыкновенный успѣхъ историческаго романа уже современники объясняли характеромъ своей эпохи. „Во всѣ времена исторія была любимымъ предметомъ изученія во всѣхъ странахъ... Такой же вѣкъ, какъ нашъ, обильный великими событіями и потрясеніями, долженъ былъ породить совершенно новый духъ историческаго познанія“, такъ говорится въ другой журнальной статьѣ 30-хъ годовъ. Раньше—продолжаетъ авторъ—довольствовались при знакомствѣ съ исторіей разсказами о сраженіяхъ и побѣдахъ, теперь же „вопрошаютъ прошлое“ и хотятъ вникнуть въ „самыя мельчайшія подробности внутренней жизни тѣхъ людей, которыхъ раньше знали только со стороны ихъ подвиговъ“. Геній Вальтеръ-Скотта удовлетворилъ запросамъ времени: онъ „открылъ всѣмъ народамъ секретъ романтическаго интереса, сокрытаго въ ихъ исторіи“, онъ повелъ своего читателя въ придворныя сферы Франціи, въ палатки галльскихъ вождей, въ замки Англіи... и его читатель сталъ уже невнимателенъ къ тому роду исторіи, который лишенъ поэтической прелести [2]). Итакъ историческій романъ есть потребность своей эпохи, создатель его В. Скоттъ, а сущность этого литературнаго рода—поэтизація исторіи, проникновеніе въ область того romanesque, которое свойственно историческому прошлому каждаго народа. Духъ времени властно простиралъ свое вліяніе на художниковъ слова. Всѣхъ манила возможность проникнуть въ поэтическую область своей исторіи, отыскать въ ней „l'interêt romanesque“, и всѣ обращались къ В. Скотту, великому маэстро новаго литературнаго жанра живописанія. Подражатели В. Скотта явились всюду. Если для него предшественниками были Шекспиръ и Гете, освѣжившіе національную драму, то онъ оказался въ свою очередь предшественникомъ для всѣхъ представителей историческаго романа XIX стол.

[1]) Bibliothèque Universelle, t. VIII, 1837, avril, p. 336—337: Walter Scott et ses successeurs.

[2]) Bibliothèque Universelle, 1831, avril, p. 402: George Miloslavsky ..

„Waverley Novels“ выходитъ въ свѣтъ съ 1814 года, и годъ спустя послѣ этого мы уже встрѣчаемся съ подражаніемъ В. Скотту въ Германіи. Изслѣдователи вліянія В. Скотта на нѣмецкихъ романистовъ однако считаютъ участіе его въ созданіи нѣмецкаго историческаго романа весьма незначительнымъ. „Въ то время какъ Скоттъ—говоритъ K. Wenger [1]) — зажигательно дѣйствуетъ во Франціи на молодыхъ романтиковъ—В. Гюго, Дюма, Бальзака, Стендаля, де-Виньи, Мериме—и встрѣчаетъ со стороны ихъ самый восторженный пріемъ... въ Германіи совершается (въ этомъ отношеніи) совершенно другой процессъ. Вся старшая романтика по времени предшествуетъ вліянію В. Скотта, направленіе ея вполнѣ философское, подчиненное извѣстнымъ идеямъ, и „Гейприхъ фонъ-Офтердингенъ“, хотя и представляетъ собою родъ историческаго романа, однако въ сущности, конечно, не романъ, а фантазія въ стихахъ съ философскимъ направленіемъ („Traum-und Gedankendichtung“); младшая романтика, гейдельбергскіе пѣвцы Арнимъ и Брентано, Герресъ, братья Гриммы—и они также увлекаются опредѣленными любимыми идеями и находятъ пищу для нихъ въ историческомъ прошломъ Германіи“. Тѣмъ не менѣе извѣстная связь съ В. Скоттомъ чувствуется въ нѣмецкихъ историческихъ романахъ первыхъ десятилѣтій XIX столѣтія. Такъ элементъ живописанія („das Malerische“, „das Pittoresque“) играетъ въ романахъ Фукэ такую же видную роль, какъ и у В. Скотта; будетъ ли это родство двухъ поэтовъ („eine Verwandschaft Scott's und Fouque's“) или взаимная зависимость („eine gegenseitige Beeinflussung“)—все-таки фактъ сходства остается яснымъ; точно такъ же нужно считать несомнѣннымъ, что Тикъ, а можетъ быть и Арнимъ, оставаясь оригинальными по своему міросозерцанію и пониманію своихъ поэтическихъ задачъ, усвоили однако ту внѣшнюю художественную манеру, которой положилъ основаніе В. Скоттъ и которая особенно широкое распространеніе

[1]) K. Wenger. Historische Romane, стр. 23 — 4.

получила во Франціи и Италіи [1]). Въ произведеніяхъ другихъ нѣмецкихъ романистовъ эпохи вліяніе В. Скота сказалось болѣе опредѣленно: историческіе романы Ф. Рефуэса, К. Шпиндлера, В. Алексиса-Геринга, Г. Кёнига, Л. Шюккинга и др., можно сказать, представляютъ собою въ исторіи нѣмецкой литературы полосу „вальтерскоттизированія“ („die Walterscottisierend n Romane“).

Сущность литературнаго жанра В. Скотта понята была въ нѣмецкой критикѣ на первыхъ же порахъ именно какъ поэтизація народнаго прошлаго въ духовномъ и внѣшне-бытовомъ отношеніяхъ. Вольфгангъ Менцель, характеризуя въ своемъ „Literatur-Blatt“ романъ В. Скотта, высказываетъ убѣжденіе, что именно В. Скотту принадлежитъ заслуга основанія историческаго романа, какъ „самостоятельнаго поэтическаго рода“ („eine eigenthümliche poetische Gattung“). Правда, и до В. Скотта было довольно историческихъ романовъ, но они отличались иной тенденціей: „историческое“ для нихъ было только средствомъ для выраженія извѣстныхъ философскихъ идей, „исторія служила высшимъ цѣлямъ“. В. Скоттъ впервые перенесъ вниманіе съ блестящей, показной стороны исторіи на ея самые незамѣтные уголки, „и онъ не искалъ тамъ ничего особеннаго, но бралъ все такъ, какъ оно было, и все тамъ было поэтично“; онъ понялъ, что исторія не нуждается въ опредѣленномъ освѣщеніи, что она сама по себѣ есть „прирожденная романтика“ („dass die Geschichte selbst eingeborene Romantik sei...“). Изображая художественно историческую жизнь въ ея мельчайшихъ бытовыхъ подробностяхъ и историческаго человѣка какъ продуктъ исторіи, В. Скоттъ далъ тѣмъ самымъ образцы того, какъ слѣдуетъ воспроизводить поэзію дѣйствительности (das Poetische in der Wirklichkeit); при этомъ въ область поэзіи дѣйствительности у него вошло и изображеніе „историческаго духа“ („der historische Geist“), „народной души“ („die Volksseele“), такъ какъ, живописуя свою національную старину, онъ населялъ ее не героями—идеалами, но „простыми людьми,

[1]) Тамъ же, стр. 60, 74, 89 — 90, 120 — 1.

представителями цѣлой народной группы" („schlichte Menschen, Repräsentanten einer ganzen Gattung") [1]. Ясно, что В. Менцель видитъ въ романахъ В. Скотта прежде всего печать національности („das nationelle Gepräge") и поэтому достоинство ихъ усматриваетъ въ созданіи поэзіи прошлаго какъ со стороны народнаго быта, такъ и со стороны народнаго духа. Еще рѣзче о поэтическомъ живописаніи говоритъ на страницахъ „Wiener Jahrbücher" В. Алексисъ, который по манерѣ писать былъ довольно яркимъ представителемъ вальтерскоттизированія („die Walter-Scotterey"). По его мнѣнію—вполнѣ согласному съ воззрѣніями самого В. Скотта и, можетъ быть, усвоенному у него—высшимъ художественнымъ произведеніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ популярнымъ будетъ то именно, гдѣ внутренняя жизнь какъ бы отпечатана во внѣшней, и мысли пластически представлены въ характерахъ, дѣйствія которыхъ въ свою очередь обнаруживаются въ событіяхъ. Поэзія—говоритъ онъ—„рисуетъ" для духовнаго взора, который духовными очами хочетъ „видѣть", какъ видятъ очами тѣлесными; источникъ истинной поэзіи не идея, но живописное созерцаніе [2]. Такимъ образомъ и В. Алексисъ кладетъ въ основу историческихъ романовъ въ духѣ В. Скотта („die Walterscottisirenden Romane") именно элементъ поэтическаго живописанія прошлаго („das Pittoresque"), о которомъ говоритъ и В. Менцель.

Въ французской критикѣ данной эпохи наблюдается такое же пониманіе сущности творчества В. Скотта и романовъ „à la Walter-Scott". По поводу „историческихъ сценъ" Витэ, которыя справедливо иногда сравниваютъ съ романами въ духѣ В. Скотта, редакція журнала „Globe" прекрасно опредѣлила ту „новую манеру писать исторію", которая свойственна В. Скотту и его подражателямъ. Эта новая литературная манера „сдѣлаетъ то, чего не можетъ сдѣлать обыкновенная

[1]) Wolfgang Menzel, Literatur-Blatt, 1827, № 1—2 = „Die deutsche Literatur" von Wolfgang Menzel, II, 164—187 (Цит. по Wenger, 35—37).

[2]) Wiener Jahrbücher, 1821, III, 105—145 и 1823, II, 1—75 (Цитир. по K. Wenger, 44—6).

исторія“: она воскреситъ людей прошлаго во всей ихъ физической и нравственной полнотѣ, начиная съ ихъ мыслей и чувствованій и кончая ихъ манерой одѣваться; только въ такой исторіи искусство достигаетъ своей цѣли „живописать и нравиться“ [1]). Самъ Витэ въ предисловіи къ пьесѣ „Les Barricades“ сравниваетъ свое творчество въ области „историческихъ сценъ“ съ дѣятельностью живописца: результатъ такого творчества—живописная исторія, т. е. „рядъ портретовъ, или, выражаясь языкомъ живописцевъ, рядъ этюдовъ, набросковъ“ [2]). Подобная историческая живопись, конечно, иногда должна была приводить къ нѣкоторой декоративности и театральности—и этого вовсе не отрицаютъ вальтерскоттизирующіе авторы историческихъ романовъ и хроникъ, а наоборотъ считаютъ подобные эффекты живописанія вѣскимъ доказательствомъ того, что исторія національнаго быта и духа скрываетъ въ себѣ много поэзіи, которую можетъ и должно вызвать на свѣтъ художественное творчество по манерѣ В. Скотта. „Если и встрѣчаются въ (моихъ) діалогахъ извѣстные сценическіе „эффекты“,—говоритъ Мериме въ предисловіи къ „La Chronique de Charles IX“—„извѣстныя положенія, которыя могутъ при строгой оцѣнкѣ быть названы театральными, то это—чистыя случайности и вмѣстѣ съ тѣмъ доказательство, что исторія скрываетъ въ себѣ внутреннюю поэзію, которою она обязана только самой себѣ“ [3]). Блестящій представитель французскаго

---

[1]) L. Maigron, p. 279.

[2]) L. Maigron, p. 279: „Je me suis imaginé que je me promenais dans Paris au mois de mai 1588, pendant l'orageuse journée des Barricades et pendant les jours qui la précédèrent; que j'entrais tour à tour dans les salons du Louvre, dans ceux de l'hôtel de Guise, dans les cabarets, dans les églises, dans les logis des bourgeois ligueurs, politiques ou huguenots, et chaque fois qu'une scène pittoresque, un tableau de moeurs, un trait de caractère sont venus s'offrir à mes yeux, j'ai essayé d'en reproduire l'image en esquissant une scène. On sent qu'il n'a pu résulter de là qu'une suite de portraits, ou, pour parler comme les peintres, d'études, de croquis, qui n'ont pas le droit d'aspirer à un autre mérite que celui de la ressemblance“ (Vitet, Barricades, préface)

[3]) Тамъ же, стр. 279 — 280.

историческаго романа, В. Гюго, уже совершенно ясно и откровенно говорилъ, что его „Notre-Dame“ вовсе „не претендуетъ на историческую достовѣрность“, что это только „живописная картина“ („la peinture“) Парижа въ XV столѣтіи и пятнадцатаго столѣтія по поводу Парижа [1]). Такимъ образомъ литературная манера В. Скотта въ теоріи была понята во Франціи еще отчетливѣе, чѣмъ въ Германіи. На практикѣ эта манера живописанія усвоена была французскими писателями также съ большей полнотой, чѣмъ нѣмецкими. Уже въ романѣ де-Виньи „Cinq-Mars“ всюду замѣтно вліяніе знаменитаго шотландскаго романиста: де-Виньи, усердный подражатель В. Скотта, въ своемъ увлеченіи художественными образцами впадалъ даже въ нѣкоторыя крайности и ошибки [2]). Нѣкоторые романы Баржине (напр. „Le Roi des Montagnes“) представляютъ собою настоящую вальтеръ-скоттовскую мозаику, хотя, по мнѣнію L. Maigron, эти романы—одна изъ удачныхъ попытокъ примѣненія во французской литературѣ „шотландской манеры“ (la manière écossaise) [3]); точно такъ же Бальзакъ, по мнѣнію уже современныхъ ему критиковъ, былъ обязанъ лучшими частями своего романа „Les Chouans ou la Bretagne en 1799“ именно Вальтеръ-Скотту [4]). Подражаніе В. Скотту, хотя и болѣе тонкое, граничащее скорѣе съ родствомъ двухъ художественныхъ дарованій, замѣчается и у Мериме въ „La Chronique de Charles IX“ [5]). Наконецъ, и самъ В. Гюго въ своемъ знаменитомъ романѣ „Notre-Dame de Paris“, „для котораго онъ былъ созданъ, какъ В. Скоттъ для „Ивангое, и который представляетъ собою „тріумфъ поэтическаго живописанія и поэтическаго колорита“ („le triomphe du pittoresque et de la couleur“) [6]), только примѣнилъ, но примѣнилъ блестящимъ

---

[1]) Maigron, стр. 334.
[2]) Тамъ же, стр. 253.
[3]) Тамъ же, стр. 290 — 1.
[4]) Тамъ же, стр. 293.
[5]) Тамъ же, стр. 318, 330.
[6]) Тамъ же, стр. 346, 338.

образомъ, тотъ литературный методъ, которымъ пользуется В. Скотть въ своихъ лучшихъ созданіяхъ.

Такъ понята была литературная манера В. Скотта въ руководящихъ литературахъ данной эпохи, вліявшихъ и на развитіе русскаго поэтическаго творчества; подражаніе манерѣ В. Скотта имѣло мѣсто, конечно, и въ другихъ европейскихъ литературахъ, напр. итальянской, испанской, скандинавской, но съ ними русская читающая публика начала XIX стол. имѣла мало соприкосновенія. Для уясненія манеры В. Скотта въ томъ ея видѣ, въ какомъ она пересажена была въ русскую литературу, помимо французской и нѣмецкой литературъ весьма поучительны примѣры, данные западными славянскими литературами, въ которыхъ подражаніе В. Скотту является или одновременно съ русской литературой (чешская литература) или даже раньше (польская литература). Въ чешской литературѣ въ 20-хъ годахъ мы встрѣчаемся уже съ подражаніями В. Скотту [1]). Въ 1825 году Челяковскій въ письмѣ къ своему другу Камариту, бесѣдуя о романѣ В. Скотта „Ивангое", выражаетъ желаніе имѣть чешскій историческій романъ. Челяковскій и самъ было задумалъ большой историческій романъ изъ чешской исторіи въ стилѣ В. Скотта, но не написалъ его. Въ 1827 г. Вацл. Клим. Клицпера говоритъ объ увлеченіи чеховъ Купсромъ, В. Скоттомъ, Ирвингомъ и желаетъ видѣть и для чешской литературы своего В. Скотта. Къ 1828 году относится собственная его попытка въ данномъ направленіи—„Točník", историческая повѣсть изъ эпохи Вацлава IV, имѣвшая огромный успѣхъ въ Чехіи; въ 1830 г. появилась другая его историческая повѣсть „Vítek Vítkovič" и въ 1834 г.—Věnceslava, лучшій его историческій романъ, изображающій судьбу Вацлава II и его благородной защитницы Венцеславы, дочери слуги въ замкѣ въ Житавѣ (v Zitavé). В. Скоттъ былъ однако недосягаемъ для Клицперы; онъ приближался лишь къ подражателю В. Скотта Ванъ-деръ-Вельде. Клицпера не умѣетъ

[1]) Dr. J. Máchal. O českém Romanu novodobém, Praha, 1902. Въ книгѣ д-ра Махала сдѣланъ очеркъ развитія чешскаго историческаго романа, который въ сокращенномъ видѣ приводится здѣсь.

такъ пользоваться источниками, какъ В. Скоттъ,—поэтому у него нѣтъ вѣрныхъ картинъ прошлаго; онъ фантазируетъ въ передачѣ фактовъ, поэтизируетъ старину и полагаетъ, что „каждаго воеводу, каждаго князя, короля можно изобразить волшебно-поэтическими красками, если даже онъ занимаетъ второстепенное мѣсто“; пользуясь главнымъ образомъ лѣтописью Гайка (Hájka), Клицпера даетъ въ своихъ романахъ фантастическіе эффекты, поражающіе неожиданностью ситуаціи, и „бизарныя сцены“; впослѣдствіи онъ перешелъ къ изображенію эпохи Карла IV, но тогда уже изъ фантазера-романтика обратился въ сухого хроникера. Неисчерпаемый источникъ матеріаловъ для историческаго чешскаго романа видѣлъ въ лѣтописи Гайка также и Карлъ Игнатій Маха (K. H. Mácha). По его мнѣнію, Гаекъ имѣетъ для чешскаго народа едва ли не большее значеніе, чѣмъ В. Скоттъ; и такъ какъ хроника Гайка сама по себѣ есть самый лучшій чешскій романъ, то остается только желать для чешской литературы романа, соотвѣтствующаго по силѣ хроникѣ Гайка. Маха желалъ быть самъ чешскимъ В. Скоттомъ и тщательно къ этому готовился. Онъ читалъ Новалиса и В. Скотта; изъ чешскихъ историковъ изучалъ Гайка, Папроцкаго и др.; знакомясь съ историческими документами, старался проникнуть въ духъ исторіи, усвоить языкъ и весь характеръ той или другой эпохи, чтобы придать своему разсказу „мѣстный колоритъ“ (barvitost historická); съ тою же цѣлью онъ ѣздилъ по Чехіи, осматривалъ замѣчательныя въ историческомъ отношеніи мѣста, собиралъ мѣстныя хроники и т. п. Маха умеръ рано, оставивъ только романъ „Цыганы“ (Cikáni)), отрывокъ романа „Палачъ“ (Kat) и наброски разныхъ повѣстей. Къ исторической основѣ въ своихъ разсказахъ стремился также и „Янъ [Генрихъ Марекъ] изъ Звѣзды“ [Jan Jindřich Marek z Hvězdy], подражавшій романисту де-ля Моттъ-Фуке; основныя его картины (základní rysy) всегда вѣрны исторіи, но въ изображеніи деталей онъ держитъ себя свободно и часто противорѣчитъ исторической достовѣрности. Причину этого однако слѣдуетъ видѣть не въ поверхностности автора, а въ недостаткѣ источниковъ. Хотя

авторъ и сознавалъ это, однако оправдывалъ свою вольность (licence) въ разсказѣ тѣмъ, что онъ „пишетъ не исторію, а отдѣльныя картины изъ различныхъ вѣковъ, чтобы читателямъ подготовить путь къ чтенію исторіи".

Такимъ образомъ въ чешской литературѣ предъявлялись къ историческому роману тѣ же требованія, что и въ другихъ европейскихъ литературахъ, слѣдовавшихъ въ данномъ отношеніи В. Скотту. Историческій романъ можетъ быть вѣренъ фактической исторіи только въ общихъ ея чертахъ, но зато онъ долженъ представлять живописныя картины народнаго быта и народнаго характера; живописаніе это достигается знакомствомъ съ памятниками старины, съ языкомъ лѣтописей, съ народными преданіями и т. п. Подъ перомъ чешскаго романиста Іосифа Каетана Тыля (Josef Kajetan Tyl, 1808—1856) это отношеніе къ историческому роману отливается въ ясную теоретическую форму. Отъ историческаго романа, по его мнѣнію, кромѣ общихъ свойствъ и признаковъ, которые мы ищемъ въ каждомъ поэтическомъ произведеніи, нужно требовать только того, чтобы онъ былъ художественнымъ воспроизведеніемъ извѣстнаго момента исторіи, такъ сказать, отраженіемъ его нравовъ и отголоскомъ его мыслей; при этомъ нѣтъ нужды въ исторической точности и въ строгихъ фактическихъ границахъ [1]). Изъ позднѣйшихъ чешскихъ романистовъ, примѣнившихъ довольно удачно на практикѣ теорію романа по манерѣ В. Скотта, слѣдуетъ упомянуть еще Прокопа Хохолоушка (Prokop Chocholoušek, 1819—1864), который тщательно изучилъ источники и значительно расширилъ рамки чешскаго историческаго романа.

[1]) D-r. Máchal, O českém Románu..., 27: „Theorie Tylova o historické povídce vrcholí v těchto slovech: „My učiníme nejspravedlněji, když budeme od historické povídky—krom všeobecných vlastnosti a známek, ježto zdravý rozum a čistý vkus v každém básnickém útvaru vyhledává—jen tolik požadovati, aby byla umělecky vytvořený kus života z jistého času, odlesk jeho mravů a ohlas jeho smýšlení. Onot' je tu ovšem krátce mnoho řečeno, mnoho požadováno; za to ale nebudeme básnickou obrazivost choulostivými mezinky obrážovati a na každý šev dějepisně přistřihnutého a vyšňořeného roucha hleděti".

Въ польской литературѣ попытки созданія историческаго романа въ духѣ В. Скотта находимъ также въ 20-хъ годахъ XIX столѣтія. Такова напр. историческая повѣсть Юл. Урс. Нѣмцевича (J. U. Niemcewicz) „Янъ изъ Тенчина“ (Jan z Tęczyna) или историческій романъ Бернатовича (Bernatowicz) „Поята, дочь Лиздейки, или Литовцы въ XIV вѣкѣ“ (Pojata córka Lizdejki, albo Litwini w XIV wieku). На первыхъ же порахъ и въ критикѣ польской поставленъ былъ вопросъ объ отношеніи историческаго романа къ исторіи и о задачахъ его, какъ художественнаго произведенія. Между прочимъ, Нѣмцевичъ въ предисловіи къ своей повѣсти опредѣляетъ такъ разницу между исторіей и историческимъ романомъ. Исторія, говоритъ онъ, представляетъ намъ главныя событія въ государствахъ, сообщаетъ указы монарховъ, дѣянія главныхъ ихъ сотрудниковъ въ мирное и военное время, происшествія придворной жизни; при этомъ она никогда не покидаетъ своего возвышеннаго пункта наблюденій, не спускается въ частную жизнь и не заходитъ въ хижину простолюдина“. Не такова задача историческаго романа. Историческій романъ, по мнѣнію Нѣмцевича, ставитъ себѣ цѣлью изобразить картину народной жизни какой-либо избранной авторомъ эпохи; романистъ долженъ входить во всѣ подробности жизни, слишкомъ мелкія для историка, и представлять людей всѣхъ классовъ и состояній; весь разсказъ долженъ служить къ тому, чтобы не только дѣйствія, но и разговоры лицъ романа давали намъ понять, каково было общество данной эпохи, политическое положеніе края, степень его просвѣщенія, мнѣнія другихъ о немъ, его страсти, его суевѣрія; такимъ образомъ историческій романъ является, такъ сказать, дополненіемъ и поясненіемъ къ разсказу историка о важныхъ событіяхъ. Впрочемъ, воззрѣнія Нѣмцевича на историческій романъ не были его собственными: его разсужденія объ исторіи и историческомъ романѣ можно встрѣтить въ тѣхъ же почти выраженіяхъ въ „Астреѣ Варшавской“ (Astreja Warszawska, 1823, IV, 3 — 13) въ статьѣ Felix'a Bodin'a, посвященной романтической литературѣ и переведенной изъ парижскаго журнала „Revue Encyclopédique“

(1823, февраль) [1]). Во всякомъ случаѣ, такой взглядъ на историческій романъ вполнѣ соотвѣтствовалъ тому понятію о „вальтерскоттизированіи", которое въ это время установилось вообще въ европейской критикѣ. Дальнѣйшее развитіе въ польской литературѣ способа поэтически воспроизводить народную старину не обошлось тоже безъ подражанія В. Скотту (ср. „Замокъ Каневскій" Север. Гощинскаго), и даже историческая живопись Г. Сенкевича въ своихъ формахъ и пріемахъ является несомнѣннымъ отголоскомъ вальтерскоттизированія... Вліяніе В. Скотта было такимъ образомъ могучее и повсемѣстное, и русская литература, на ряду со всѣми европейскими литературами, не могла, конечно, не попасть въ область увлеченія манерой В. Скотта и подражанія ей.

---

3. Романтическій національнымъ въ романѣ Загоскина по манерѣ В. Скотта. Романы В. Скотта въ русскомъ обществѣ 20—30-хъ годовъ; русскіе поклонники и подражатели В. Скотта. Попытки примѣненія манеры В. Скотта до „Юрія". Романъ Загоскина и романы В. Скотта; канва романа Загоскина и сходство ея въ отдѣльныхъ эпизодахъ и въ общемъ построеніи съ романами В. Скотта; „Юрій" и „Война Монтроза". Первый литературный пріемъ В. Скотта — живописаніе національнаго быта — въ романѣ Загоскина. Попытки примѣненія „мѣстнаго колорита" въ русской художественной литературѣ до Загоскина. „Мѣстный колоритъ" по манерѣ В. Скотта въ романѣ Загоскина. Источники живописанія у Загоскина и характеръ пользованія имъ: сравненіе его декоративныхъ описаній съ ихъ источниками. Отношеніе критики къ живописанію національнаго быта у Загоскина. Второй литературный пріемъ В. Скотта—живописаніе національнаго духа—въ романѣ Загоскина. Современная жизнь какъ источникъ происхожденія „историческихъ" характеровъ Загоскина. Культъ національнаго духа въ романѣ до Загоскина; поэтическое воспроизведеніе величественныхъ духовныхъ свойствъ русской націи. Отзывы русской и иностранной критики о живописаніи національнаго духа у Загоскина и вообще о національнымъ въ его романѣ. Связь литературнаго національнаго Загоскина съ его личнымъ характеромъ.

Увлеченіе В. Скоттомъ замѣтно сказалось въ русской литературѣ тоже уже въ 20-хъ годахъ, и Загоскинъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые поддались этому увлеченію и при-

[1]) Pamiętnik Literacki, 1905, z. II—III: Bronisław Czarnik, Spór literacki o „Jana z Tęczyna". Kartka z dziejów krytyki w Polsce (1825). Отсюда заимствуемъ свѣдѣнія о теоріи историческаго романа у Нѣмцевича и о параллели къ ней въ „Астреѣ".

знали историческій романъ потребностью эпохи: народное направленіе Загоскина нашло въ литературной манерѣ В. Скотта самую удобную форму для своего выраженія. Можно, конечно, спросить: имѣлъ ли М. Н. Загоскинъ возможность въ 20-хъ годахъ ознакомиться съ романомъ В. Скотта и усвоить его литературную манеру? Свидѣтельства современниковъ данной эпохи указываютъ на то, что эта возможность была, потому что говорятъ о широкомъ распространеніи среди русской публики произведеній знаменитаго романиста. „Что сказать вообще о переводныхъ романическихъ явленіяхъ русской литературы 1830 г.? Они показываютъ неустановившійся еще вкусъ русской публики, читающей романы: А. де-Виньи, В. Скоттъ, Фанъ-деръ-Фельдъ, Бланшаръ, Радклифъ, Монтольё, Фуке, Ансело, Коттень—все идетъ съ рукъ; иначе, кто же велѣлъ бы печатать все это? Утѣшительно, что хорошіе переводчики (каковы г-да Очкинъ, Половцовъ и де-Шапletъ) берутся однакожъ за А. де-Виньи и В. Скотта, и только уже по какому-нибудь особенному обстоятельству принимаются за Фанъ-деръ-Фельда и ему подобныхъ“ [1]). Въ этой журнальной замѣткѣ В. Скотту, видимо, приписывается выдающееся положеніе среди „романическихъ явленій русской литературы“ конца 20-хъ годовъ. Дѣйствительно, романы В. Скотта въ 20-хъ годахъ пользовались среди русской публики большимъ вниманіемъ. Въ промежуткѣ 1821—1827 гг. переведенъ былъ цѣлый рядъ его произведеній: въ 1821 г.—„Бѣглецъ“, въ 1823 г.—„Матильда Рокби“, „Поэма послѣдняго барда“, „Кенильвортъ“, въ 1824 г.—„Выслужившійся офицеръ или война Монтроза“, „Густавъ Вальдгеймъ“, „Маннерингъ или Астрологъ“, „Таинственный Карло“, „Шотландскіе пуритане“, въ 1825 г.—„Невѣста Тримена“, „Аббатъ или нѣкоторыя черты жизни Маріи Стуардъ“, „Эдинбургская темница“, въ 1825—1826 гг.—„Антикварій“, въ 1826 г.—„Ивангое“, въ 1827 г.—„Битва при Ватерлоо“, „Владѣтель острововъ“, „Веверлей“, „Кентень Дюрвардъ“, „Невѣста Ламмермурская“, „Талисманъ“

[1]) Моск. Тел. 1830, ч. 36, Соврем. библіогр.

и др. [1]). Одна весьма жизненная стихотворная картинка, относящаяся къ 1827 году [2]), свидѣтельствуетъ, между прочимъ, насколько распространены были романы В. Скотта въ русской книжной торговлѣ и среди русской читающей публики. Стихотвореніе называется „Сцена въ книжной лавкѣ". Въ лавку входитъ переводчикъ съ рукописью въ рукахъ; книгопродавецъ, услышавъ, что рукопись представляетъ переводъ съ французскаго, говоритъ:

А! изъ французскихъ,—Вальтеръ-Скоттъ!
Его романы славно сходятъ...

Переводчикъ:

Какой же онъ французъ—помилуйте!

Книгопродавецъ:

Ну—вотъ!
Его съ французскаго у насъ все переводятъ,
Такъ за француза онъ слыветъ...
И нечего сказать—на Вальтеръ-Скотта
У насъ пришла чудесная охота!
Возьми любой романъ—Астрологъ, Кенильвортъ,
Певриль дю-Пикъ—заглавья очень странны,
Да вѣдь зато, что за романы!
Ужъ имя-то его одно беретъ!

В.-Скотта знали во всѣхъ кругахъ русскаго общества; его имя, его герои, его сюжеты дѣлались общедоступными и входили въ обиходъ ежедневныхъ разговоровъ, споровъ, сравненій, ссылокъ. „Пришлите... W.-Scott, „Les Puritains", пишетъ В. С. Норовъ къ сестрамъ изъ мѣста своей ссылки" [3]);

---

[1]) Роспись россійск. книгамъ... Смирдина (1828 г.); перечислены 23 №№ переводовъ изъ Вальтеръ-Скотта. Изъ журнальныхъ статей 20—30-хъ годовъ, оригинальныхъ и переводныхъ, посвященныхъ В. Скотту, нѣкоторыя указаны у С. Весина, Очерки русской журналистики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, Спб. 1881, стр. 61—63, 354—358, другія у В. Спиовскаго, Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти, Спб. 1903, прилож. Рядъ этихъ статей падаетъ на время 1823—1839 г. г.

[2]) Моск. Вѣстн. 1827, ч. V. (=С. Весинъ, 62—3).

[3]) Русск. Арх. 1900, т. I: Василій Сергѣевичъ Норовъ (декабристъ). Письма изъ Бобруйска къ сестрамъ, письмо отъ 3 дек. 1830 года.

„новыхъ романовъ не хочу, они очень посредственны; присылайте мнѣ по немногу В.-Скотта, страшно люблю эту „скотину": c'est un grand peintre du coeur humain". „Я радуюсь, мой милый другъ", пишетъ кн. А. А. Шаховской къ своей ученицѣ Любови Осиповнѣ Дюръ, „что ты полюбила чтеніе, и мнѣ очень пріятно, что ты, какъ кажется, очень прилѣпилась къ В.-Скотту: этотъ шотландскій скотъ не похожъ на нашихъ скотовъ, которые иногда тебя занимали и мѣшали тебѣ заниматься своею головою и душою, безъ которыхъ они могутъ обойтиться, а тебѣ никакъ нельзя. Мнѣ очень хочется, чтобы ты читала „Антикваріуса", онъ тебѣ напомнитъ нѣкоторыя сцены между мною и племянникомъ, князь Иваномъ. Признаться, Вальтеръ-Скоттъ задѣлъ немного меня въ своемъ романѣ; но долгъ красенъ платежемъ: я самъ изуродовалъ его въ „Таинственномъ Карлѣ"—такъ мы и квиты!" [1]). И В. Скотта читали усердно: люди зрѣлаго возраста „чтеніемъ его романовъ освѣжали себѣ душу" [2]), люди молодые получали ихъ въ руководство для воспитанія души вмѣстѣ съ другими классическими произведеніями поэзіи [3]); ихъ можно было встрѣтить въ деревенскомъ помѣщичьемъ домѣ [4]) и въ столичномъ будуарѣ свѣтской красавицы [5]); читая В.-Скотта, многіе дивились „искусству, съ которымъ онъ иногда одною чертою придаетъ жизнь и истину лицамъ, какія выводятъ на сцену" [6]).

За увлеченіемъ романами В. Скотта и за восхищеніемъ его художественною манерою послѣдовало подраженіе ему. Кн. А. А. Шаховской, задумавъ романъ, еще до окончанія его признается въ томъ, что „форма его совершенно Вальтеръ-

---

[1]) П. А. Каратыгинъ, Записки, 1805—1878, Спб. 1880, стр. 168

[2]) Русск. Арх. 1869, стр. 592: Письма Н. М. Карамзина къ гр. С. П. Румянцеву, письмо отъ 20 іюня 1822, г., Царское Село.

[3]) Русск. Стар. 1878, т. VII: Воспоминанія Т. П. Пассекъ, стр. 299.

[4]) Марлинскій, Соч. I, Испытаніе, стр. 70.

[5]) Тамъ же, IV, Часы и зеркало, стр. 247.

[6]) Русск. Стар. 1883, т. 39: Дневн. В. К. Кюхельбекера, стр. 269.

Скотта, даже до эпиграфовъ къ каждой главѣ“ [1]); прочтя романъ Порфирія Байскаго „Гайдамакъ“, В. К. Кюхельбекеръ безъ затрудненія увидѣлъ въ немъ „подражаніе въ образѣ изложенія романамъ В.-Скотта“ [2]); да и одинъ ли малозамѣтный даже и въ то невзыскательное время разсказчикъ Байскій (О. Сомовъ) поддавался обаянію В.-Скотта,—его вліяніе хотѣли видѣть и указывали у самого Пушкина [3]). Въ литературномъ языкѣ романы Вальтеръ-Скотта дѣлаются постоянной величиной для сравненій: съ ними сравниваются и произведенія другихъ авторовъ и художественныя картины. „Поэма сія есть родъ историческаго романа, какъ „Марміонъ“ Вальтера-Скотта“, говорится о поэмѣ Мицкевича „Конрадъ Валенродъ“ въ одной офиціальной бумагѣ [4]). „Я бы сравнилъ Римъ съ хорошимъ романомъ Вальтеръ-Скотта“, пишетъ В. А. Вяземскій [5]), „который съ каждой страницей завладѣваетъ все больше и больше вашимъ вниманіемъ и сливаетъ васъ съ міромъ, который онъ открываетъ передъ вашими глазами“. Литературная манера и форма творчества В.-Скотта признается образцовой и желательной: ее рекомендуютъ Жуковскому [6]), ее хотятъ видѣть у Пушкина [7]). Самая личность автора „романовъ Ваверлея“ получаетъ въ глазахъ русскихъ его поклонниковъ высокій интересъ и привлекательность. Русскіе путешественники, будучи за границей, считали своимъ пріятнымъ долгомъ совершить паломничество въ замокъ В.-Скотта. Такъ А. И. Тургеневъ, въ бытность свою въ 1827 году въ Англіи, сначала посѣщаетъ поэта Соути, а затѣмъ отправляется и къ

---

[1]) Русск. Арх. 1873, т. I, стр. 476: Письмо кн. А. А. Шаховского къ С. Т. Аксакову, отъ 25 дек. 1830 г. Спб.

[2]) Русск. Стар. 1883, т. 39: Дневн..., стр. 252.

[3]) Русск. Арх. 1873, т. I, стр. 1072: Мицкевичъ о Пушкинѣ.

[4]) Русск. Стар. 1903, ноябрь: Н. И. Гречъ, Ѳ. В. Булгаринъ и А. Мицкевичъ (Матеріалы для ихъ біографій).

[5]) Русск. Арх. 1896, I: Изъ писемъ А. О. Россетъ къ А. О. Смирновой, письмо отъ 15 авг. 1835 г. Спб., къ нему приписка кн. П. А. Вяземскаго (привод. въ перев. съ франц.).

[6]) Ак. А. Н. Веселовскій, В. А. Жуковскій, стр. 530.

[7]) Русск. Стар. 1874, т. X, стр. 696: А. С. Пушкинъ.

В.-Скотту. „Я провелъ съ нимъ (Southey) болѣе часу въ разговорѣ о словесности, показывалъ ему книгу Жуковскаго съ его стихами; но двѣ пьесы, напечатанныя подъ его именемъ на русскомъ, не его. Я говорилъ ему о переведенной Жуковскимъ „Старушкѣ“ его, и онъ-то ободрилъ меня ѣхать прямо къ В.-Скотту, сказавъ, что онъ любитъ посѣщенія иностранцевъ, занимающихся словесностію“ [1]). Въ личности В.-Скотта все интересовало русскаго читателя: и его домашняя обстановка, и его знакомства, и его денежныя дѣла [2]). Вращаясь среди такой обстановки культа В.-Скотта, М. Н. Загоскинъ невольно долженъ былъ подпасть его вліянію, тѣмъ болѣе что его собственные литературные вкусы и задачи во многомъ сходились съ характеромъ творчества В.-Скотта. Изслѣдователь жизни и дѣятельности Загоскина не располагаетъ матеріалами [3]), которые указывали бы, что̀ именно Загоскинъ читалъ изъ В. Скотта и какъ судилъ о прочитанномъ, но онъ несомнѣнно читалъ „романы Вавердея“ и подъ ихъ именно воздѣйствіемъ рѣшилъ написать русскій историческій романъ—по крайней мѣрѣ, лично знавшій его С. Т. Аксаковъ нисколько въ этомъ не сомнѣвается [4]).

Попытки использовать въ историческомъ разсказѣ манеру В.-Скотта могли быть и до появленія „Юрія“, но онѣ во вся-

---

[1]) Русск. Арх. 1895 г., кн. III: Изъ писемъ А. И. Тургенева къ брату его Николаю, письмо изъ Эдинбурга, отъ 10 авг. 1828 г. Спустя три года, тотъ же А. И. Тургеневъ писалъ В. А. Жуковскому изъ-за границы о состояніи здоровья В.-Скотта: Русск. Стар. 1881, т. 31, стр. 199, письмо отъ 10 мая 1831 г.

[2]) Ср. Сѣв. Пчела, 1838, № 99 (Описаніе кабинета В.-Скотта), Современникъ, 1839, т. XV, стр. 92—116 (Знакомство В. Ирвинга съ В.-Скоттомъ), Библіотека для чтенія, 1834, т. III, смѣсь, стр. 31 (банкротство В.-Скотта).

[3]) Въ рукоп. матеріалахъ Публ. Библ., относящихся къ М. Н. Загоскину, количество его писемъ и замѣтокъ, особенно за время около 1830 г., когда создавался „Юрій“,—весьма незначительно; ср. свидѣтельство С. М. Загоскина о судьбѣ бумагъ, оставшихся послѣ смерти его отца (Истор. Вѣстн. 1900, т. I, стр. 942—8).

[4]) Аксак., Сочин. III, стр. 278.

комъ случаѣ не были удачными. Историческіе романы и повѣсти к. XVIII и н. XIX стол., напр. историческія повѣсти Карамзина и разсказы Нарѣжнаго („Славенскіе вечера“) носятъ на себѣ слѣды вліянія ложноклассицизма или сентиментализма [1]). Правда, въ началѣ XIX стол. появляются историческіе разсказы съ замѣтнымъ преобладаніемъ собственно историческаго элемента и даже съ стремленіемъ черпать матеріалъ непосредственно изъ лѣтописи или изъ другихъ памятниковъ старины,—таковы напр. „любопытный историческій отрывокъ“ Геракова подъ назв. „Князь Меншиковъ“ (1801 г.), „Ксенія, княжна Галицкая“ неизв. автора (1808 г.), историческія повѣсти С. Глинки (изд. въ 1810 г.) [1]), историческія повѣсти Марлинскаго, рядъ историческихъ романовъ изъ жизни Малороссіи Ѳ. Н. Глинки, Ореста Сомова (Порфирія Байскаго), Нарѣжнаго („Запорожецъ“ и „Бурсакъ“ въ сборн. 1824 г.) [2]); но всѣ эти произведенія только отчасти приближались къ тому типу художественнаго историческаго романа, который былъ созданъ В.-Скоттомъ, а потому не вызвали того дружнаго отклика въ общественномъ сознаніи, которымъ былъ встрѣченъ „Юрій Милославскій“. Усвоивши съ успѣхомъ манеру В.-Скотта, М. Н. Загоскинъ не просто написалъ историческій романъ, но и создалъ художественное произведеніе, вполнѣ отвѣчавшее литературному и общественному настроенію эпохи.

Сравненіе „Юрія“ съ его несравненными образцами можно начать съ самой фабулы романа. Для М. Н. Загоскина, начинающаго романиста, трудно и даже рискованно было изобрѣтать собственную фабулу, потому что она могла оказаться незанимательной. Въ виду этого ему слѣдовало обратиться или къ литературнымъ источникамъ интересовавшей его эпохи, всегда полнымъ своеобразной свѣжести, или къ заимствованію готовой и, такъ сказать, уже патентованной фабулы у другого автора. Съ источниками своей старины Загоскинъ, какъ уви-

[1]) Н. Бѣлозерская, Вас. Троф. Нарѣжный, Спб. 1896, ч. I, стр. 58—68 (обзоръ истор. ром. к. XVIII и н. XIX стол.).

[2]) Н. Петровъ, Очерки исторіи украинской литературы XIX стол., Кіевъ, 1884, стр. 174 и сл.

димъ изъ его собственныхъ признаній, знакомъ былъ мало и, слѣдовательно, не могъ выискать оригинальной темы для разсказа; оставалось обратиться ко второму средству. Но, конечно, Загоскинъ нуждался не въ простой, а въ занимательно построенной и эффектно обставленной фабулѣ,—простая, кратко выраженная тема романа у него всегда была подъ руками. И въ самомъ дѣлѣ, фабула „Юрія", взятая въ своемъ сжатомъ видѣ, есть исторія любви двухъ влюбленныхъ, преодолѣвающихъ препятствія на пути къ взаимному счастью. За такой темой Загоскину не нужно было обращаться къ В. Скотту: литература западноевропейская и русская полны произведеніями на эту тему [1]). Загоскину нуженъ былъ не столько этотъ сюжетъ, хорошо всѣмъ извѣстный и давно обработанный на всѣ лады, сколько тѣ эпизодическія детали разсказа и та его канва, при помощи которыхъ старый сюжетъ могъ бы развиваться по новой, своеобразной формѣ. Эти детали и эту канву онъ нашелъ у В.-Скотта. Возьмемъ любой изъ романовъ В. Скотта, извѣстныхъ въ эпоху Загоскина русской публикѣ, и разсмотримъ его со стороны его канвы и главныхъ эпизодовъ, ее составляющихъ. Въ извѣстной группѣ романовъ мы найдемъ почти одни и тѣ же эпизоды: мы встрѣтимъ въ нихъ одного или нѣсколько рыцарей—проѣзжихъ, сбившихся съ дороги; вмѣстѣ съ ними очутимся въ гостинницѣ или въ замкѣ; въ гостинницѣ всегда произойдетъ какая-нибудь веселая сцена, кончающаяся ссорой, а въ замкѣ обыкновенно устраивается банкетъ; тутъ же происходитъ часто встрѣча благороднаго героя съ добродѣтельной красавицей, руку которой хочетъ получить однако какой-либо другой претендентъ; иногда этотъ соперникъ даже силой или хитростью похищаетъ красавицу; но влюбленные преодолѣваютъ всѣ препятствія на пути къ счастью, которое ихъ ждетъ; вся интрига развивается на фонѣ войны, волненій въ странѣ или просто даже какихъ-нибудь турнировъ, которые раздѣляютъ участниковъ романа

[1]) Ср. напр. рядъ оригинальныхъ и переводныхъ романовъ и повѣстей к. XVIII стол. въ книгѣ В. В. Сиповскаго, Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти, Спб. 1903.

на два враждебные лагеря, при чемъ и влюбленные иногда оказываются по волѣ обстоятельствъ на противоположныхъ сторонахъ; темный лѣсъ, вертепъ разбойниковъ, нѣкоторая доза чудесности дополняютъ тотъ матеріалъ, изъ котораго ткется канва романа. Достаточно прочесть подъ рядъ, напр. „Ивангое“, „Веверлей“, „Легенда о Монтрозѣ“, чтобы въ нѣсколько измѣненномъ видѣ встрѣтить въ этихъ романахъ одну и ту же только что описанную канву. Другіе романы В. Скотта, какъ напр. „Эдинбургская темница“ или „Пуритане“, построены на иной канвѣ, но отдѣльные эпизоды ихъ содержанія являются всетаки общими для какой-нибудь другой группы романовъ, связанныхъ сходствомъ частей и ихъ конструкціи. Подобную канву цѣлой группы романовъ, одну изъ нѣсколькихъ, разработанныхъ у В.-Скотта, заимствовалъ, повидимому, для своего романа и М. Н. Загоскинъ съ тѣмъ, чтобы на чужой канвѣ вышить собственными нитками узоры своей національной старины.

Для того, чтобы не быть голословными, сравнимъ романъ Загоскина по отдѣльнымъ эпизодамъ и ихъ конструкціи съ однимъ изъ романовъ В.-Скотта, напр., съ романомъ „Легенда о Монтрозѣ“, и мы увидимъ, что фабула „Юрія“ очень близко напоминаетъ фабулу этого романа В. Скотта, появившагося въ русскомъ переводѣ въ 1824 г. подъ назв. „Война Монтроза“. Желая представить въ художественномъ образѣ проявленіе народнаго духа, М. Н. Загоскинъ выбралъ для этой цѣли изъ области русской исторіи драматическую эпоху смутнаго времени, во многихъ отношеніяхъ параллельную съ эпохой Отечественной войны 1812 г., которую авторъ пережилъ лично. Для изображенія историческаго момента, въ родѣ 1612-го или 1812-го года, романъ В.-Скотта „Война Монтроза“ представлялъ готовый наборъ необходимыхъ подробностей. Сходство между обоими произведеніями, въ самомъ дѣлѣ, большое и едва ли случайное. Прослѣдимъ его.

| | |
|---|---|
| Историческій моментъ романа „Война Монтроза“ относится | Время, къ которому относятся событія, разсказанныя въ ро- |

къ первой половинѣ XVII столѣтія, когда происходила междоусобная война въ Великобританіи: горные кланы Шотландіи боролись съ англійскимъ парламентомъ за возстановленіе на престолѣ короля Карла II.

Начало разсказа. Благородный всадникъ (графъ Ментейтъ) ѣдетъ къ мѣсту собранія вождей въ сопровожденіи двухъ слугъ; происходитъ встрѣча съ незнакомцемъ (ротмистръ Дугальдъ Дальджетти), который оказался ветераномъ, сражавшимся въ разныхъ странахъ и подъ различными знаменами. Дальджетти болѣе склоняется на сторону парламента, потому что считаетъ это для себя выгоднѣе. Графъ Ментейтъ переманиваетъ его однако на сторону короля. Дальджетти дѣлается храбрымъ помощникомъ и защитникомъ графа и въ судьбѣ его играетъ вообще видную роль.

Спутники — графъ М. съ слугами и Дальджетти—пріѣзжаютъ затѣмъ въ замокъ Дарлимварашъ (описаніе замка). Здѣсь собираются вожди разныхъ клановъ. Обсуждается

манѣ „Юрій М.“, — начало XVII столѣтія, 1612 г., разгаръ смуты и междоусобія: городскія ополченія выступаютъ на защиту Москвы и ея будущаго царя противъ внѣшнихъ враговъ и самовластныхъ бояръ.

Начало разсказа. Юрій и слуга его Алексѣй ѣдутъ къ кн. Шалонскому, гдѣ должны собраться и другіе сторонники королевича Владислава; происходитъ встрѣча съ запорожцемъ Киршей. Кирша служилъ казакомъ въ Батуринѣ, отсталъ отъ войска гетмана Жолкѣвскаго, присталъ къ запорожцамъ и, наконецъ, думаетъ присоединиться къ ополченію въ Нижнемъ Новгородѣ: онъ руководится поживой. Юрій сходится съ нимъ. Кирша становится его тѣлохранителемъ и въ защиту его совершаетъ чудеса храбрости и ловкости.

Юрій пріѣзжаетъ съ Алексѣемъ и Киршею въ отчину боярина Шалонскаго (описаніе боярскаго двора и терема), гдѣ собираются гости — поляки и сосѣдніе дворяне и бояре.

планъ войны за короля противъ парламента. Ментейтъ предъявляетъ письма и полномочія отъ разныхъ доблестныхъ и вліятельныхъ джентльменовъ, приверженцевъ короля.

Юрій передаетъ Шалонскому грамоту отъ гетмана Гонсѣвскаго. Обсуждается положеніе Москвы и избраніе на престолъ московскій польскаго короля Сигизмунда или королевича Владислава.

Мужское общество замка оживляется только однимъ женскимъ лицомъ, это прелестная Аннета Лайль. Въ нее влюбляется графъ Ментейтъ, но ее же давно уже любитъ Алланъ Макъ-Олэй, который вмѣстѣ съ Ментейтомъ участвуетъ въ войнѣ за короля.

Пиръ въ домѣ боярина Шалонскаго оживляется появленіемъ его дочери, красавицы Анастасіи. Ее любитъ Юрій, но она уже просватана за гетмана Гонсѣвскаго, вмѣстѣ съ которымъ Юрій служитъ общему дѣлу избранія на престолъ Владислава.

При дальнѣйшемъ развитіи событій, имѣвшихъ вліяніе на судьбу главныхъ героевъ,

...Дальджетти попадаетъ въ руки враговъ (маркиза Аржайля) и только благодаря своей находчивости освобождается изъ темницы и освобождаетъ другого заключеннаго тамъ, а вмѣсто себя оставляетъ въ тюрьмѣ самого маркиза Аржайля; приключеніе съ Дальджетти происходитъ сначала въ неприступномъ замкѣ сэра Дункана Кампбелля, потомъ въ мѣстечкѣ Инверари, среди горной и лѣсистой природы.

...Кирша попадаетъ въ руки дворовыхъ людей боярина Шалонскаго, но хитростью избавляется отъ нихъ и, пробравшись на хуторъ Шалонскаго, расположенный въ глубинѣ Муромскаго лѣса, освобождаетъ изъ подземелья Юрія, а вмѣсто него сажаетъ туда самого боярина Кручину-Шалонскаго.

Среди военныхъ дѣйствій, въ лагерѣ („Война Монтроза“) или въ селѣ-военной стоянкѣ („Юрій Мил.“),

...Графъ Ментейтъ опять встрѣчается съ Аннетой Лайль; умирающій отъ ранъ отецъ Анеты, сэръ Дунканъ, отдаетъ ея руку графу Ментейту. Бракосочетаніе происходитъ на третій день послѣ сраженія.

...Юрій опять встрѣчается съ Анастасіей; спѣшно происходитъ бракосочетаніе вскорѣ послѣ боя „земскаго войска“ съ „измѣнниками“; въ то же время умираетъ отецъ Анастасіи, бояринъ Шалонскій, раненый въ этомъ бою.

Конецъ разсказа. Карлъ II возстановленъ на престолѣ. Гр. Ментейтъ живетъ въ своемъ замкѣ и наслаждается семейнымъ счастьемъ.

Конецъ разсказа. Москва очищена отъ враговъ. Избранъ на престолъ царь Михаилъ Ѳеодоровичъ. Для Юрія и Анастасіи начинается мирная и счастливая жизнь.

Послѣднее слово посвящено авторами романовъ Дальджетти и Киршѣ:

...Дальджетти послѣ ряда приключеній достигъ благосостоянія и мирно живетъ въ своемъ родовомъ имѣніи.

...Кирша достигъ положенія старшины и мирно живетъ своимъ домомъ на Украйнѣ.

Это удивительное сходство двухъ совершенно параллельныхъ по конструкціи разсказовъ В. Скотта и Загоскина врядъ ли можно объяснить простой случайностью, и, повидимому, нашъ романистъ использовалъ въ своихъ цѣляхъ канву иностраннаго романа. Но если даже оставить вопросъ — о прямомъ заимствованіи Загоскинымъ фабулы у В. Скотта—открытымъ, необходимо имѣть во всякомъ случаѣ въ виду, что какъ въ романѣ „Война Монтроза“, такъ и въ другихъ романахъ В. Скотта, переведенныхъ въ 20-хъ годахъ на русскій языкъ,

нашъ авторъ встрѣтилъ готовый подборъ составныхъ частей и формулъ или трафаретовъ, если позволено такъ выразиться, для историческаго разсказа; къ его услугамъ были и галлерея интересныхъ типовъ, безъ которыхъ не обойдется ни одинъ историческій анекдотъ, и рядъ драматическихъ положеній, которыя нужны для созданія эффектовъ въ разсказѣ, и цѣлый складъ бытовыхъ декорацій, эскизы и контуры которыхъ могли служить для всякой эпохи и даже для всякой національности. Десять лѣтъ спустя послѣ появленія „Юрія“, когда скороспѣлые, переводные и оригинальные, историческіе романы наводнили нашъ книжный рынокъ, русская критика обратила вниманіе на то, что русскіе авторы пишутъ свои „историческіе“ романы, повѣсти или разсказы по готовымъ трафаретамъ, по преимуществу „англійскаго образца“. „По отзыву „Москвитянина“ рецептъ для составленія историческихъ повѣстей былъ таковъ: взять нѣсколько историческихъ лицъ, одѣть ихъ въ народные костюмы и завязать между ними какую-нибудь интригу. Предметами для названныхъ повѣстей брались паденія и разрушенія замковъ и городовъ. При описаніи осады было всегда много боевого стука и грома, вводились при этомъ два любовника, изъ которыхъ одно лицо принадлежало осаждаемымъ, другое осаждающимъ. Между историческими лицами помѣщалось лицо вымышленное, чудесное, колдунъ, цыганъ или жидъ. Этотъ жидъ являлся повсюду, какъ deus ex machina, связывалъ и развязывалъ всѣ узлы происшествія. Каждая глава начиналась описаніемъ утра, или ночи, или бури“ [1])... Въ этомъ карикатурномъ „рецептѣ“ исторической повѣсти есть составныя части и „Юрія Милославскаго“ [2]).

[1]) Истор. Вѣстн. 1884, т. XVII: Ѳ. И. Булгаковъ, Историческій романъ на Западѣ, стр. 388.

[2]) Шаблонность конструкціи романа Загоскина отмѣчена и въ иностранной критикѣ. Въ „Biblioth. Univ.“ встрѣчаемъ по этому поводу слѣд. разсужденіе: „De nos jours, un roman historique doit nècessairement commencer par un tête-à-tête entre deux voyageurs. Telle est l'étiquette: bien hardi qui voudrait l'enfreindre! Cette habitude semble passée en principe, et sûrément elle est aussi strictement observée que l'étaient jadis les unités surannées d'Aristote. Mr. Zagoskine ouvre donc l'action par un

Сходство въ выборѣ сюжета, въ подборѣ и группировкѣ составныхъ частей разсказа не составляетъ еще однако подражанія В. Скотту въ полномъ смыслѣ этого слова. Мы видѣли что подражаніе знаменитому романисту выражалось главнымъ образомъ въ усвоеніи его литературной манеры: „un roman historique à la Walter Scott“ [1]), „ein walterscottisirender Roman“ [2]) былъ неизбѣжно построенъ на примѣненіи „мѣстнаго колорита“ въ изображеніи народнаго быта и духа, т.-е. на внесеніи въ разсказъ элемента живописи въ національно-историческомъ духѣ, того элемента, который на устахъ иностранныхъ критиковъ называется le pittoresque, das Malerische. Подобное „вальтерскоттизированіе“ должно было захватить и нашего автора: оно было въ духѣ эпохи и въ духѣ его личныхъ вкусовъ. И мы, дѣйствительно, найдемъ у М. Н. Загоскина примѣненіе литературной манеры В. Скотта и въ описаніяхъ русскаго историческаго быта и въ описаніяхъ русскаго національнаго характера: то и другое у него красочно и разсчитано на поэтизацію родной старины со стороны внѣшней и внутренней.

До романа Загоскина въ русской художественной литературѣ примѣненіе „мѣстнаго колорита“ едва только намѣчалось, и то лишь съ конца XVIII столѣтія. Безыскусственное народное творчество всегда колоритно и полно мѣстныхъ красотъ въ изображеніи лицъ, событій, картинъ природы и быта; таковы напр. наши былины и сказки, таково же и „Слово о полку Игоревѣ“,—памятникъ, близко стоящій по своему характеру къ народной безыскусственной поэзіи. Наоборотъ, наше искусственное творчество съ самаго своего зарожденія было небогато живыми красками. Древнерусская литература

---

dialogue entre deux hommes“... (Biblioth. Univ. 1831, avril, p. 402: George Miloslavsky...). О „рецептѣ“ русскаго историческаго романа въ 30—40-хъ годахъ см. также Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft, 1846, Literaturgeschichte, s. 109: Der historische Roman in Russland.

[1]) L. Maigron, VIII.

[2]) K. Wenger, 37.

въ своемъ сначала византійскомъ, а затѣмъ схоластическомъ направленіи и новая русская литература въ ложноклассическомъ фазисѣ своего развитія не знали „мѣстнаго колорита“ и даже, по самому своему существу, были ему мало доступны: византизмъ невольно порывалъ связь съ народнымъ поэтическимъ преданіемъ, какъ съ пережиткомъ язычества, а ложноклассицизмъ считалъ мѣстный, въ особенности простонародный, колоритъ въ поэзіи слишкомъ низкимъ для своихъ аристократическихъ вкусовъ и понятій. Но вотъ въ концѣ XVIII столѣтія вмѣстѣ съ общеевропейскимъ развитіемъ національнаго самосознанія начинается сближеніе искусственнаго творчества съ народнымъ. Въ нашей литературѣ факты этого сближенія наблюдаются уже въ Екатерининскую эпоху. Народно-поэтическія краски проникаютъ постепенно въ искусственную лирику, драму и эпосъ. По образцу народной пѣсни у насъ довольно рано создается типъ пѣсни искусственной. Таковы напр. пѣсня Дмитріева, Нелединскаго-Мелецкаго и другихъ, которыя уже отмѣчены народно-поэтическимъ колоритомъ. Единовременно народно-поэтическій элементъ проникаетъ и въ драму. Между произведеніями императрицы Екатерины II находимъ уже драматизированную былину. Это комическая опера въ 5 дѣйствіяхъ „Новгородскій богатырь Боеславичъ“ (1786 г.). Пьеса, по заявленію самого автора, „составлена изъ сказки, пѣснен русскихъ и иныхъ сочиненій“. Сюжетъ взятъ изъ былевого эпоса, но нѣсколько искаженъ. Одна изъ историческихъ драмъ императрицы Екатерины II, именно „Историческое представленіе изъ жизни Рюрика“, также представляетъ собою драматизацію народнаго преданія (о Вадимѣ Новгородскомъ). На ряду съ этими пьесами имп. Екатерины II надо помѣстить драму Богдановича „Славяне“ (въ 3-хъ дѣйствіяхъ съ хоромъ и балетомъ, 1787 г.), которая, повидимому, представляетъ обработку одной восточно-византійской повѣсти, извѣстной въ древнерусской словесности подъ именемъ „Александріи“. Подъ вліяніемъ драматическихъ произведеній имп. Екатерины II и Державинъ написалъ драму, дѣйствіе которой, какъ онъ самъ говоритъ, взято „частію изъ исторіи,

частію изъ сказокъ и народныхъ пѣсенъ". Драма носитъ слѣдующее названіе: „Добрыня, театральное представленіе съ музыкой въ 5-ти дѣйствіяхъ" (1804 г.). Эти образцы драматическаго творчества также носятъ въ себѣ зачатки мѣстнаго колорита. То же сближеніе литературы съ народной поэзіей наблюдается и въ области поэмы: и сюда проникалъ мало-по-малу народно-поэтическій элементъ. Такъ въ „Душенькѣ" Богдановича (около 1775 г.) замѣтны слѣды народно-поэтическихъ образовъ и мотивовъ. Здѣсь Богдановичъ сумѣлъ заимствованному сюжету придать народно-поэтическій характеръ, представивъ „Душеньку" въ видѣ сказочной русской царевны въ соотвѣтствующей національно сказочной же обстановкѣ. Но если Богдановичъ, „слагая" свою „Душеньку" „въ простотѣ и вольности", какъ бы извиняется еще передъ Гомеромъ, отъ котораго осмѣлился отступить, то Карамзинъ въ своей „богатырской сказкѣ" „Илья Муромецъ" (1795) уже прямо порываетъ съ античными образцами и пытается написать поэму въ народно-поэтическомъ родѣ. Примѣру Карамзина послѣдовалъ маститый представитель нашей ложноклассической эпопеи М. М. Херасковъ, написавшій подобную же поэму въ 1796—1801 годахъ; это его стихотворная повѣсть „Бахаріана". Въ хронологическомъ порядкѣ за нею слѣдуетъ поэма Ал. И. Радищева „Бова", написанная въ періодъ 1797—1800 гг., и „Богатырскія повѣсти въ стихахъ" Н. А. Радищева, вышедшія въ двухъ частяхъ въ 1801 г.; затѣмъ между стихотвореніями А. Х. Востокова встрѣчаемъ подъ 1806 г. „древній романсъ" „Свѣтлана и Мстиславъ". Нѣсколько позже дѣлаетъ попытку создать поэму, или, говоря точнѣе, балладу въ новомъ родѣ, изъ сказочнаго матеріала, Г. Р. Державинъ, написавшій „Царь-Дѣвицу", которую онъ самъ назвалъ собственно романсомъ. Къ 1815 году относится первая попытка А. С. Пушкина переложить въ поэму народную повѣсть: это его неоконченная повѣсть „Бова", которую еще Бѣлинскій сближалъ съ „Ильей Муромцемъ" Карамзина [1]).

[1]) Подробнѣе о сближеніи искусственнаго творчества съ народной поэзіей см. И. Замотинъ, Романтизмъ 20-хъ годовъ XIX столѣтія, изд. 2-е, гл. I, стр. 1—84.

Среди этихъ искусственныхъ произведеній въ народно-поэтическомъ родѣ мы находимъ такимъ образомъ пѣсню, драму, поэму. Помимо этихъ видовъ творчества, есть между ними однако и первыя попытки исторической повѣсти; таковы напр. древняя повѣсть „Шѣвисладъ и Зора“ А. Х. Востокова, „Оскольдъ“ М. Н. Муравьева, „Предслава и Добрыня“ К. Н. Батюшкова, „Марѳа Посадница“ и „Наталья, боярская дочь“ Карамзина и др. Въ промежутокъ времени между этими повѣстями и романомъ Загоскина появляется нѣсколько другихъ произведеній этого рода, указанныхъ уже выше.

Но всѣ эти историческіе разсказы весьма наивно воспроизводятъ народную старину; всѣ стремленія ихъ авторовъ къ колориту эпохи и мѣста ограничиваются пока только русскими названіями мѣстъ и предметовъ и вымышленными, quasi-славянскими именами героевъ. Самые красочные и задушевные эпизоды въ описательномъ или повѣствовательномъ родѣ сводятся въ этихъ разсказахъ или къ напыщенному пафосу ложноклассической эпопеи или къ сентиментально-меланхолическимъ изліяніямъ въ духѣ Оссіана. Вотъ напр. какъ одинъ авторъ въ своемъ „эпическомъ опытѣ“ описываетъ набѣгъ варяговъ на Новгородъ [1]):

По коль ужасный видъ срѣтаетъ въ тѣхъ мѣстахъ!
Тьмочисленны полки Варяговъ на судахъ,
Свирѣпымъ княземъ ихъ, Свенономъ, предводимы,
Предъ Новградомъ звучатъ булатами своими...
Мгновенно нѣкій шумъ по Волхову раздался,
Что сильно съ края въ край, запѣнясь, всколебался.
Валы во слѣдъ валамъ ударились къ холму;
Блескъ молній освѣтилъ лѣсовъ густую тьму.
Возсталъ ужасный крикъ, и отблески булатовъ
Являютъ на судахъ плывущихъ супостатовъ:
Ихъ быстрыя кормы несутся по волнамъ
Къ бѣлѣющимъ въ бору Ульмилинымъ стѣнамъ;
Свенонъ въ торжественномъ, въ блестящемъ украшеньѣ,
Неистовый Свенонъ предводитъ ихъ стремленье...

[1]) Труды общества любителей россійской словесности, 1818, ч. III: Буривой и Ульмила, эпическій опытъ, Е. Люценко.

Тутъ сшиблась съ грудью грудь, сразился мечъ съ мечомъ,
Валится трупъ на трупъ и льется кровь ручьемъ.
Вотще бѣгущіе за хищными полками
Славяне въ нихъ гождятъ каленными стрѣлами.
Вотще зырянскій вождь, паденье зря своихъ,
Сражаетъ Ратомыслъ Варяговъ каждый мигъ.
Свирѣпые враги въ бою неутомимы:
Повсюду люта смерть и груды тѣлъ предъ ними.
Такъ ясный горизонтъ съ полунощи затмивъ,
Незапная гроза среди богатыхъ нивъ
Цвѣтущіе плоды на корнѣ повергаетъ
И, вторгшись въ частый лѣсъ, съ землей древа срываетъ.

Отъ этого описанія, конечно, вѣетъ еще холодомъ ложноклассическаго вкуса. Наоборотъ, въ „Славенскихъ вечерахъ" Вас. Нарѣжнаго, посвященныхъ первымъ русскимъ князьямъ, мы встрѣчаемся съ туманными декораціями въ духѣ Оссіана, которыя, однако, выдаются почему-то за русскія бытовыя картины. Вотъ какъ напр. описывается здѣсь печальное утро въ Кіевѣ, когда Ольга, проводивши Игоря къ древлянамъ, тосковала о его отсутствіи: „Туманомъ покрыты были власы востекающаго надъ градомъ Кіевомъ Свѣтовида. Сизый Днѣпръ съ глухимъ ревомъ медленно катилъ въ берегахъ волны свои, умолкло пѣніе птицъ сладкогласныхъ. Одинъ вранъ чернокрылый издавалъ вопли по дубравѣ,—и хищный волкъ вторилъ ему грознымъ завываніемъ. Востекла юная супруга воюющаго Игоря, князя Кіевскаго, прекрасная Ольга, съ одра златотканнаго. Мрачными взорами узрѣла она съ высокаго терема своего и горы и долы Кіевскіе, и волны Днѣпровскія, и дубравы тѣнистыя. Воздохнула она объ отсутствіи супруга своего, ратующаго въ предѣлахъ земли Древлянскія. Давно уже златоверхій теремъ ея обезлюдѣлъ, и ложе брачное охладѣло" [1]). Или вотъ описаніе ясного утра въ городѣ Туровѣ: „Прекрасная заря вечерняя возсіяла на кроткомъ голубомъ небѣ. Румяные лучи ея озлащали крѣпкіе зубцы высокихъ башень града Турова и цвѣтныя кровли теремовъ князя Любослава. Игривый вѣте-

[1]) Труды общества любителей россійской словесности, ч. III, Игорь, Пятый Славенскій Вечеръ.

рокъ, рѣзвясь въ пространствѣ воздушномъ, колебалъ листья кедровъ высокихъ, спускался на розу благовонную и роскошно отдыхалъ въ объятіяхъ царицы цвѣтовъ прелестныя; вся природа, увеселяющаяся дневными трудами своими, простирала длани къ вожделѣнному успокоенію" [1]). Въ такомъ же духѣ описано торжество побѣды князя Туровскаго надъ жителями Мурома: „Радостный вопль народа, мѣшаясь со звономъ бубновъ и кимваловъ, колебалъ воздухъ. Старцы, юноши, жены и дѣвы Туровскіе изшли намъ во срѣтеніе и усыпали путь цвѣтами по моему велѣнію; захваченные пастыри Муромскіе — да не возвѣстятъ народу тайны сей побѣды — всенародно преданы острію меча. Взошелъ я въ свои палаты бѣлокаменныя, и широкій дворъ мой покрылся пиршественными столами для воинства и народа. Яствы и питія были изобильныя; побѣдныя пѣсни юношей услаждали слухъ мой. Торжественные огни воспылали на стогнахъ градскихъ" [1]). Въ такомъ же видѣ описана русская старина и въ другихъ „историческихъ" повѣстяхъ начала XIX стол., напр. въ повѣсти „Оскольдъ" М. Н. Муравьева или „Предслава и Добрыня" Батюшкова; въ историч. повѣстяхъ Карамзина — тотъ же наивосъ или чрезмѣрная чувствительность вмѣсто живыхъ красокъ природы и исторіи. Были, какъ уже выше замѣчено, попытки основать историческій разсказъ на непосредственныхъ источникахъ древности [2]) (Гераковъ, С. Глинка, Марлинскій), но онѣ страдали именно отсутствіемъ тѣхъ художественныхъ пріемовъ, которыми былъ такъ богатъ В.-Скоттъ.

Такимъ образомъ, внося мѣстный колоритъ въ разсказъ о народной старинѣ, М. Н. Загоскинъ былъ почти піонеромъ этого поэтическаго вида. Въ области драмы мѣстный колоритъ былъ съ успѣхомъ примѣненъ уже Пушкинымъ, написавшимъ въ половинѣ 20-хъ годовъ свою знаменитую трагедію по образцамъ Шекспира и по теоріи Авг. Шлегеля; но первый серьезный опытъ колоритнаго историческаго разсказа въ духѣ В.-Скотта предпринятъ былъ Пушкинымъ позже, — „Капитанская дочка"

---

[1]) Любославъ, Первый Славянскій Вечеръ.

[2]) Н. Бѣлозерская, В. Т. Нарѣжный, ч. I, стр. 58 — 68.

появилась уже въ 30-хъ годахъ. Въ этомъ отношеніи М. Н. Загоскинъ предупредилъ Пушкина.

М. Н. Загоскинъ понималъ всю важность своей задачи — впервые примѣнить на русской почвѣ литературную манеру В.-Скотта. Особенно труднымъ представлялось ему использовать первый пріемъ В.-Скотта, заключавшійся въ живописаніи историческаго національнаго быта. Эта внѣшняя, такъ сказать декоративная, сторона будущаго романа, видимо, больше безпокоила М. Н. Загоскина, чѣмъ идейная его сторона, которую онъ давно уже носилъ въ себѣ, какъ неотъемлемую часть своего міровоззрѣнія. На первыхъ порахъ онъ, при своей небольшой начитанности, кажется, даже затруднялся насчетъ того, гдѣ искать реальной „старины", необходимой для русскаго историческаго романа. Въ этомъ затрудненіи онъ обратился къ М. Н. Макарову, который въ то время, въ концѣ 20-хъ годовъ, считался знатокомъ русскихъ древностей. Отвѣтъ М. Н. Макарова будущему романисту представляетъ собою цѣлую тетрадь въ 12 страницъ [1]). Макаровъ совѣтуетъ „искать требуемой... старины" въ примѣчаніяхъ къ „Исторіи Государства Россійскаго", въ самой „Исторіи" (указываются томы 8, 9, 10 и 11, гдѣ есть свѣдѣнія „объ одеждѣ и объ обычаяхъ нашихъ предковъ"), въ сочиненіи Успенскаго „Опытъ повѣствованія о древностяхъ русскихъ", въ „Описаніи Санктпетербурга", сочиненномъ вскорѣ послѣ построенія онаго... Богдановымъ (гдѣ есть „образчики старинныхъ домовъ знатно-боярскихъ") [2]), въ „Вѣстникѣ Европы" съ 1815 года, въ „Моск. Телеграфѣ" и „Моск. Вѣстникѣ" „сего (т.-е. 1827) года"; кромѣ того указываются отдѣльно слѣд. статьи: статья г. Зубарева о царскихъ гардеробахъ въ „Вѣстникѣ Европы" 1827 г., записки о Москвѣ

[1]) Письма разныхъ лицъ къ М. Н. Загоскину. Письмо М. Н. Макарова, 1827 г. М. Н. Макаровъ (1789 — 1847), интересовавшійся народно-поэтической стариной, печаталъ свои историко-литературныя статьи въ „Дамск. Журн." и въ „Чтен. Общ. исторіи и древн. росс.".

[2]) М. Н. Макаровъ имѣетъ въ виду, конечно, сочиненіе А. Богданова подъ заглавіемъ „Историческое, географическое и топографическое описаніе С.-Петербурга, съ 1703 — 1751 г., со многими изображеніями зданій", вышедшее 2 мя изданіемъ въ 1779 г.

Карамзина въ 1817-мъ или 1818-мъ году „Украинскаго Вѣстника“, описаніе улицъ московскихъ въ одной изъ книгъ „Лѣтописей Трудовъ Общества любителей россійской словесности“ и „мои замѣчанія о старинныхъ московскихъ гуляньяхъ въ „Дамскомъ журналѣ“ сего (т.-е. 1827) года“. Словоохотливый любитель старины не ограничивается этими указаніями и даетъ рядъ собственныхъ описаній; напр. описывается имъ праздничный костюмъ старосты и праздничная рубашка помѣщика. Между прочимъ, М. Н. Макаровъ подробно говоритъ о нѣкоторыхъ повѣрьяхъ, „существовавшихъ между нами не только въ XVI вѣкѣ, но даже и въ послѣдующихъ столѣтіяхъ“. Эта ссылка Макарова на XVI столѣтіе въ связи съ датою письма (1827 г.) не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что дѣло идетъ о „старинѣ“ для будущаго „Юрія Милославскаго“: приготовляясь сказать вѣское слово о русскомъ народномъ духѣ и его исторіи, М. Н. Загоскинъ вооружается декоративной древностью, какъ рамками и фономъ для будущей поэтической картины.

М. Н. Загоскинъ воспользовался письмомъ Макарова весьма широко: почти всѣ указанія его были имъ приняты въ разсчетъ. Въ „альбомѣ“ Загоскина есть черновые наброски, находящіеся въ прямой связи съ письмомъ Макарова. Тутъ мы находимъ рядъ „выписокъ о древностяхъ русскихъ“ со ссылками на тѣ именно пособія, которыя были указаны Макаровымъ, именно главнымъ образомъ на книгу Успенскаго, на „Россійскую Вивліоѳику“, на „Труды Общ. любит. росс. слов.“. Всѣ эти выписки, видимо, приноровлены къ будущему историческому роману. Такъ, изъ книги Успенскаго помѣчаются, напр., слѣдующія статьи: „о строеніи“ (ст. 43), „столовая посуда, кушанье и напитки“ (ст. 69), „обычай цѣловать хозяйку“ (ст. 103), „свита боярская“ (ст. 155) и т. д.; изъ „Росс. Вивліоѳики“ сдѣланы напр. такія помѣтки: „старинные приказы“ („Р. В.“ т. 20, стр. 277), „придворные чины“ (т. 20, стр. 131), „посвященіе въ подсокольничіе“ (т. 3) и т. д.; есть ссылки и на „Труды Общ. любит. росс. слов.“ — напр. „о свадьбахъ“ („Тр. Общ. л. р. с.“ 1822, кн. 3), и на „Моск. Вѣстн.“ — напр. „любопытныя подробности о дворѣ Алексѣя Ми-

хайловича" („Моск. Вѣстн." т. 7, стр. 243), и на „Вѣстн Европы" („статья о русалкахъ", В. Е. 1827 г., № 8). Помимо этого, въ „альбомѣ" есть слѣды и другихъ пособій и историковъ, которыми пользовался М. Н. Загоскинъ внѣ указаній Макарова; такъ напр. есть выписки изъ „Словаря русскихъ суевѣрій" и ссылки на 1-й томъ записокъ Олеарія; встрѣчаются описанія и замѣтки неизвѣстнаго происхожденія, напр. „о первомъ сраженіи Пожарскаго въ Москвѣ" или описаніе одежды русскихъ бояръ, польскихъ гусаръ, перечень именъ и фамилій русскихъ, польскихъ и т. п.; замѣтки и выписки въ „альбомѣ" нѣсколько разъ прерываются рисунками, иллюстрирующими „русскую древность": тутъ встрѣчаемъ воинскіе головные уборы, панцыри, рубахи, ферязи, боярскія шапки... Очевидно, этотъ „альбомъ" съ набросками и справками по части декоративной древности былъ для Мих—а Ник—а тѣмъ феодальнымъ замкомъ въ миніатюрѣ, въ которомъ жилъ и писалъ свои историческіе романы знаменитый шотландскій романистъ.

Присматриваясь ближе къ „обстановочной" сторонѣ романа, мы замѣчаемъ, что авторъ, дѣйствительно, пользовался тѣми именно источниками, которые сгруппированы въ его замѣткахъ. Повидимому, болѣе всего помогъ М. Н. Загоскину въ данномъ отношеніи трудъ Гавріила Успенскаго „Опытъ повѣствованія о древностяхъ русскихъ" (Харьковъ, 1818 г.). Многія декоративныя мѣста романа построены несомнѣнно на основаніи этого „Опыта". Описывая во II главѣ части 1-й романа крестьянскую избу, авторъ говоритъ: „Домашній простонародный бытъ тогдашняго времени почти ничѣмъ не отличался отъ нынѣшняго; внутреннее устройство крестьянской избы было то же самое: та же огромная печь, тѣ же полати, большой столъ, лавки и передній уголъ, украшенный иконами святыхъ угодниковъ" [1]). Параллельное же мѣсто въ книгѣ Г. Успенскаго читается такъ: „Всю домашнюю утварь нашихъ поселянъ и большой части городскихъ жителей, по свидѣтельству Рей-

[1]) Сочин. I, стр. 12. Цитир. по изд. сочин. М. Н. Загоскина 1898 г. Спб.

тенфельса, составляли столъ, лавки около стѣнъ, а потомъ икона какого-нибудь святаго или нѣсколько таковыхъ" [1]). При разсказѣ объ обѣденномъ столѣ у Шалонскаго авторъ въ X-й главѣ части I-й романа перечисляетъ кушанья и касается вообще вопроса о гастрономическихъ вкусахъ нашихъ предковъ. За столомъ у Шалонскаго, говоритъ онъ, подавали: „лапшу съ курицею, лѣнивыя щи, разныя похлёбки, пирогъ съ бараниной, курникъ подсыпанный яйцами, сырники и различныя жаркія. Множество блюдъ составляло все великолѣпіе стола тогдашняго времени; впрочемъ, предки наши были неприхотливы и за столомъ любили только одно: наѣдаться досыта и напиваться допьяна. Обѣдъ оканчивался обыкновенно закусками, между коими занимали первое мѣсто: марципаны, цукаты, имбирь въ патокѣ, шептала и леденцы; пряники и коврижки, такъ же какъ и нынѣ, подавались послѣ обѣда у однихъ простолюдиновъ и бѣдныхъ дворянъ" [2]). Въ книгѣ Г. Успенскаго при описаніи придворныхъ обѣдовъ и пиршествъ упоминаются тѣ же яства и въ тѣхъ же почти выраженіяхъ: „.... куря въ лапшѣ, куря въ щахъ богатыхъ .., курникъ подсыпанъ яицы, пирогъ съ бараниной, блюдо пироговъ кислыхъ съ сыромъ, блюдо жаворонковъ, блюдо блиновъ тонкихъ, блюдо пироговъ съ яйцы, блюдо сырниковъ, блюдо карасей съ баранною..., пирогъ росольный, блюдо пироговъ подовыхъ..., блюдо сырниковъ, блюдо пироговъ съ яйцы..., блюдо пироговъ жареныхъ"... [3]), „.... коврижка сахарная большая..., вторая коврижка сахарная жъ коричная..., марципанъ сахарной большой на пяти кругахъ, другой марципанъ сахарной же леденцовой, двѣ спицы сахару леденцу бѣлово да красново, вѣсомъ по двѣнадцати фунтовъ спица..., тридцать блюдъ сахаровъ леденцовъ на разныхъ овощахъ, вѣсомъ по фунту безъ четверти на блюдѣ..., сукату, цытроновъ, яблокъ

---

[1]) Опытъ... гл. II: О художествахъ, ремеслахъ и домоустройствѣ, стр. 34.

[2]) Соч. I, стр. 90 — 1.

[3]) Опытъ, гл. IV: О яствахъ, напиткахъ и пиршествахъ, стр 66, Авторъ „Опыта" пользуется выдержкой изъ Древн. Росс. Библіотеки, т. XIII. стр. 210 и сл.

мушкатныхъ и помаранцевыхъ, шапталы, инбирю въ патокѣ... по фунту на блюдѣ“ [1])... Относительно пряниковъ Г. Успенскій дѣлаетъ особое замѣчаніе, которое и въ романѣ Загоскина стоитъ въ концѣ перечня кушаній: „Къ числу закусокъ предковъ нашихъ отнести надобно и пряники, которые между простымъ народомъ въ разныхъ видахъ и нынѣ въ превеликомъ употребленіи“ [2]). Замѣчаніе же Загоскина по поводу неприхотливости русскихъ людей данной эпохи въ ѣдѣ и съ другой стороны сытности ѣды [3]) находитъ также параллель въ книгѣ Г. Успенскаго: „Ежели знатные Россіяне, говоритъ авторъ „Опыта“, имѣли столъ по домашнему безъ гостей, то онъ обыкновенно бывалъ простой и сытной. Напротивъ того, въ случаѣ пиршествъ старалися они отличаться множествомъ и драгоцѣнностію ѣствъ“ [4]). Когда Загоскинъ описываетъ въ той же главѣ послѣобѣденныя развлеченія, устроенныя бояриномъ при посредствѣ своихъ дворовыхъ людей, онъ говоритъ такъ: „Инструментальную часть хора составляли: гудокъ, балалайка, рожокъ, мѣдные тазы и сковороды“ [5]). И мы видимъ, что эти музыкальныя принадлежности хора выхвачены авторомъ изъ соотвѣтствующей статьи книги Г. Успенскаго и даже перечисляются въ томъ же порядкѣ, какъ и въ означенномъ трудѣ: „Въ послѣдствіи времени находимъ у предковъ нашихъ въ употребленіи извѣстные и донынѣ въ простомъ народѣ слѣдующіе музыкальные инструменты: 1) гудокъ... 2) волынка... 3) балалайка... 4) гусли... 5) варганъ... Кромѣ сихъ музыкальныхъ инструментовъ употреблялися также и нынѣ между черни извѣстные: свирѣль, дудка, жилейки, рожокъ и нѣкоторые другіе... въ недостаткѣ же и тѣхъ и другихъ мѣсто ихъ заступали тазы и сковороды“ [6]). Приводимыя М. Н. Загоскинымъ въ интересахъ couleur locale названія старинныхъ монетъ „пулъ“

---

[1]) Тамъ же, гл. IV, стр. 71.
[2]) Тамъ же, стр. 72.
[3]) Сочин. I, стр. 90.
[4]) Опытъ, стр. 69.
[5]) Сочин. I, стр. 99.
[6]) Опытъ, глава V: О забавахъ и увеселеніяхъ, стр. 94.

(ч. I, гл. VI) [1]) или „корабленникъ“ (ч. I, гл. IX) [1]) по своей редакціи и значенію тоже вполнѣ соотвѣтствуютъ описанію монетъ въ книгѣ Успенскаго [2]).

Другое пособіе по русскимъ древностямъ, къ которому обращается М. Н. Загоскинъ, — это „Словарь русскихъ суевѣрій“, вышедшій въ 1782 г. Такъ, въ концѣ VI-й и въ началѣ VIII-й главы ч. I романа [3]) нарисована комическая сцена колдовства: знахарь Кудимычъ спасаетъ во время свадьбы молодыхъ отъ „порчи“, которую напускаетъ на жениха и невѣсту старуха Григорьевна съ вѣдома однако самого Кудимыча. Источникъ этой сцены, кажется, слѣдуетъ видѣть не только въ „Опытѣ“ Успенскаго, но и въ „Словарѣ русскихъ суевѣрій“, на который авторъ ссылается въ своемъ „альбомѣ“. По крайней мѣрѣ, описаніе соотвѣтствующихъ повѣрій и обычаевъ въ обѣихъ книгахъ составляетъ близкую параллель къ разсказу М. Н. Загоскина. Вотъ что мы читаемъ по этому поводу въ „Словарѣ“: „Обыкновенно оныя ворожеи портятъ на свадьбѣ либо гостей, либо жениха, или невѣсту... Испорченныя ими женщины кличутъ разными голосами животныхъ, а особливо собакою и кошкою, и выкликиваютъ имена ихъ испортившихъ, при чемъ плачутъ и себя бьютъ и терзаютъ. Для отвращенія такихъ опасностей, кои по большей части случаются въ деревняхъ, призываютъ другихъ ворожей, и платятъ за то деньги, и сіи заговорщики слывутъ у нихъ доками“ [4]). Параллельное мѣсто въ „Опытѣ“ Успенскаго читается подобнымъ же образомъ [5]): „При совершеніи браковъ наблюдаемы были многіе суевѣрные обряды, которые и понынѣ еще видны въ низкомъ званіи людей, а особливо въ крестьянствѣ. Болѣе же всего блюлися при оныхъ волшебства, дабы молодымъ не быть испорченнымъ; для сего при всякой свадьбѣ были обоего пола знатоки, какъ тогда

[1]) Сочин. I, стр. 46 и 74.

[2]) Опытъ, ч. II, гл. VII: О счисленіи и раздѣленіи времени, о монетахъ, вѣсахъ и мѣрахъ, стр. 680, 682, 689.

[3]) Сочин. I, стр. 49 — 50, 63 — 65.

[4]) Словарь русскихъ суевѣрій, Спб. 1782 г., стр. 49; Ворожеи, колдуны, чернокнижники, чародѣи и т. п.

[5]) Опытъ, О бракахъ, и супружествѣ, стр. 117.

говаривали, или знахари, охранявшіе брачившихся отъ таковой порчи"... Вторая комическая сцена, относящаяся къ области колдовства, именно сцена отыскиванія клада челядью Шалонскаго подъ предводительствомъ Кирши (гл. II, ч. III-й) [1]), при чтеніи также свободно сопоставляется съ соотвѣтствующимъ описаніемъ клада въ „Словарѣ суевѣрій", которое читается такъ: „Кладъ—когда покажется въ ночное время или въ день одному какое животное или теплющаяся свѣча, то должно по той вещи легохонько ударить и сказать „аминь, аминь, разсыпься", которая и оборотится котломъ или кубышкой съ деньгами, а сіе называется кладъ; котлы обыкновенно находятъ по явленію какого-нибудь животнаго на полѣ, въ лѣсу, или въ саду, и такая экспедиція бываетъ опасна и сопряжена со многимъ страхомъ, ибо въ то время, какъ вынимаютъ котелъ, выбѣгаютъ изъ лѣсу черти и кричатъ „рѣжь, бей, губи"; при такомъ случаѣ берутъ всегда въ помощь колдуна" [2]).

Помимо означенныхъ книгъ — „Опыта" Успенскаго, „Древней Россійской Вивліоѳики" и „Словаря русскихъ суевѣрій"—М. Н. Загоскинъ, видимо, хотѣлъ воспользоваться и „Описаніемъ Санктпетербурга" Богданова, гдѣ есть, по указанію М. П. Макарова, „образчики старинныхъ домовъ знатно-боярскихъ". Но этой книги, вѣроятно, подъ руками у него не оказалось, такъ что онъ въ своемъ романѣ использовалъ только ту замѣтку по поводу описанія боярскихъ домовъ въ книгѣ Богданова, которую привелъ въ своемъ письмѣ М. Н. Макаровъ. Именно, заканчивая описаніе усадьбы и дома боярина Кручины-Шалонскаго, Загоскинъ говоритъ такъ: „Мы должны замѣтить нашимъ читателямъ, что гордый боярипъ Кручина славился своею роскошью и что его давно уже упрекали въ подражаніи иноземцамъ и въ явномъ презрѣніи къ простымъ обычаямъ предковъ; а посему описаніе его дома не можетъ дать вѣрнаго понятія объ образѣ жизни тогдашнихъ русскихъ бояръ. Ихъ дома не удивляли огромностью и великолѣпіемъ;

[1]) Сочин. I, стр. 182 — 4.
[2]) Словарь р. суев., стр. 183.

большая комната, называемая свѣтлицею, отдѣлялась отъ черной избы просторными и теплыми сѣнями, въ которыхъ живали горничныя, и получившія отъ сего названіе сѣнныхъ дѣвушекъ. Иногда узкая и крутая лѣстница вела изъ сѣней въ теремъ; кругомъ дома строились погреба, конюшни, клѣти и бани. Вотъ краткое, но довольно вѣрное описаніе домовъ бояръ и дворянъ того времени" [1]). Это „краткое, но довольно вѣрное описаніе" боярскаго дома вообще какъ разъ соотвѣтствуетъ слѣдующимъ строкамъ письма М. Н. Макарова: Въ „Описаніи Санктпетербурга" Богданова — говоритъ онъ — можно найти „образчики старинныхъ домовъ знатно-боярскихъ: двѣ большія избы, въ серединѣ сквозныя сѣни съ чуланами и ходомъ въ верхнюю свѣтлицу. Одна изба чистая съ перегородкою, росписной печью-лежанкою, съ чистыми лавками и полатями; другая изба съѣстная, большею частью черная"...

Вотъ образцы писательской техники Загоскина въ области историческихъ декорацій. Нужны ли еще примѣры для выясненія процесса живописанія національнаго быта въ его романѣ? Если будемъ искать еще примѣровъ, мы найдемъ ихъ, но всѣ они будутъ болѣе или менѣе однообразны. Мы найдемъ ихъ, если начнемъ перелистывать примѣчанія къ „Исторіи Госуд. Росс.", особенно въ X—XII тт. [2]); мы встрѣтимъ ихъ и въ указанныхъ выше статьяхъ о русской старинѣ, разсѣянныхъ по журналамъ начала XIX стол. Во всякомъ случаѣ, и изъ приведенныхъ только что примѣровъ видно, что Загоскинъ усвоилъ манеру живописанія бытовой старины у В. Скотта, но примѣнилъ ее очень поверхностно: В.-Скоттъ изучалъ старину тщательно и любовно, какъ настоящій артистъ-археологъ, и потомъ уже подвергалъ ее художественной обработкѣ,—Загоскинъ бралъ старину уже изъ вторыхъ рукъ, изъ готовыхъ сочиненій и журнальныхъ статей, и спѣшилъ использовать ихъ наскоро, въ сыромъ видѣ вставляя эпизоды изъ другихъ сочиненій почти безъ всякой личной переработки. Поэтому, даже

[1]) Сочин. I, стр. 52—3.

[2]) Ср. напр. прим. 462 къ гл. IV тома X, гдѣ говорится о „ѣствахъ и питьяхъ", отправленныхъ послу „отъ Государева стола".

когда онъ ссылается на лѣтопись, чуткій читатель не довѣряетъ этой ссылкѣ и склоненъ думать, что слова „лѣтописца“ получены авторомъ „Юрія“ тоже изъ вторыхъ рукъ, т.-е. изъ какого-нибудь историческаго сочиненія. И это легко провѣряется. Въ V гл. III-ей ч. Загоскинъ посвящаетъ защитникамъ Троицкой лавры слѣд. строки: „Начальники осажденнаго войска, князь Долгорукій и Голохвастовъ, готовясь, по словамъ лѣтописца, „на трапезѣ кровопролитной испить чашу смертную за отечество“, цѣловали крестъ надъ гробомъ святого Сергія: „сидѣть въ осадѣ безъ измѣны“,—и сдержали свое слово [1]). У Карамзина соотвѣтствующее мѣсто читается такъ: „Князь Долгорукій съ Голохвастовымъ первые, надъ гробомъ св. Сергія, поцѣловали крестъ на томъ, чтобы „сидѣть въ осадѣ безъ измѣны“. Всѣ люди ратные и монастырскіе... съ ревностію готовились „къ трапезѣ кровопролитной“, пить чашу смертную за отечество“ [2]). Так. обр., ссылаясь на лѣтописца, т.-е. въ данномъ случаѣ на Авраамія Палицына, Загоскинъ почти цѣликомъ вставляетъ въ свой разсказъ фразу изъ „Исторіи“ Карамзина и вовсе не желаетъ хорошо использовать собственныхъ словъ „Сказанія Авр. Палицына“, приводимыхъ Карамзинымъ въ примѣчаніяхъ [3])...

Но въ предѣлахъ первой попытки М. Н. Загоскинъ всетаки осуществилъ въ своемъ романѣ пріемъ историческаго живописанія, въ духѣ В. Скотта, національнаго быта. Какъ и В.-Скоттъ, онъ при всякомъ удобномъ случаѣ старается нарисовать декорацію національнаго быта: если его герои останавливаются на постояломъ дворѣ, то описывается изба; если они пріѣзжаютъ въ боярскую вотчину, описывается боярскій домъ и усадьба; обѣдъ у боярина даетъ случай поговорить о яствахъ и напиткахъ, крестьянская свадьба — о повѣрьяхъ; авторъ ищетъ возможности поговорить о старинной

[1]) Сочин. I, стр. 208.

[2]) Истор. Гос. Росс. XII, гл. II=кн. III, т. XII, стр. 60 по изд. Эйнерлинга.

[3]) Прим. 244 и 245 къ гл. II-й т. XII=кн. III, т. XII, гл. II, прим., стр. 50—1 по изд. Эйнерл.

одеждѣ, о старинномъ вооруженіи, деньгахъ, повинностяхъ и т. д.,—эти описательные эпизоды кстати, а иногда и не совсѣмъ кстати, представляютъ обычное явленіе въ романахъ В.-Скотта. Подобно В.-Скотту, Загоскинъ въ интересахъ „мѣстнаго колорита“ вводитъ простонародную рѣчь и даже пользуется архаизмами, чтобы возсоздать характеръ эпохи; это придаетъ реальность описаніямъ и нѣкоторымъ характерамъ (напр. Алексѣя или Кирши), хотя и не всегда удается автору, на что указала уже современная ему критика [1]); во всякомъ случаѣ, попытка Загоскина ввести въ художественное творчество народный языкъ въ его настоящемъ и прошломъ видѣ была несомнѣнно замѣчательной для своего времени, и впослѣдствіи С. Шевыревъ не безъ основанія усматривалъ въ его романѣ „образцы народнаго слога“ [2]). Наконецъ, по манерѣ В.-Скотта, который любитъ оживлять свой разсказъ балладами, Загоскинъ вводитъ въ романъ народныя пѣсни и былины, которыми ему удается декорировать въ народномъ вкусѣ и снѣжную русскую равнину и теремъ русской боярышни (ч. I, гл. I и IX).

Какъ ни наивны были историческія декораціи романа Загоскина, набросанныя наскоро рукой начинающаго художника, однако онѣ были приняты восторженно русской критикой. Въ нихъ увидѣли „живое и вѣрное изображеніе домашняго быта, мѣстностей, особенностей и природы царства русскаго“ [3]); все въ нихъ нравилось—„картины зимы, весны, мятели, мороза, восхожденія солнца, русской деревни, постоялаго двора, свадебнаго поѣзда, движенія войска, говора толпы и пр.“ [4]);

---

[1]) Анахронизмы въ употребленіи Загоскинымъ словъ и цѣлыхъ выраженій указаны С. Т. Аксаковымъ въ Моск. Вѣстн. 1830, № 1; ср. также Литер. Газ. 1830, № 5, стр. 37, ст. А. С. Пушкина.

[2]) Москвитянинъ, 1842, ч. II, № 3: Взглядъ на современную русскую литературу. Статья перепечатана была въ Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft, 1843, стр. 55 и сл.

[3]) Моск. Вѣстн. 1830, ч. I, № 1: Юрій М..., ст. С. Т. Аксакова.

[4]) Отеч. Зап. 1830, ч. 41, стр. 166 и сл.: Нѣсколько словъ о новомъ историческомъ романѣ „Юрій Милославскій“...

въ описаніяхъ старины, которыми Загоскинъ украсилъ свой романъ, находили „русскій колоритъ“ [1]), а въ языкѣ романа „народное направленіе“ [2]). Даже и иностранная критика благосклонно отзывалась объ описательной сторонѣ романа Загоскина, не нарушающаго художественной мѣры излишней растянутостью и подробностью бытовыхъ картинъ [3]).

Центръ тяжести романа Загоскина лежалъ однако не въ живописаніи національнаго быта, къ которому авторъ отнесся нѣсколько поверхностно, но въ живописаніи національнаго духа, который онъ сознавалъ въ себѣ и угадывалъ въ другихъ. Въ этомъ второмъ живописаніи Загоскинъ также слѣдовалъ манерѣ В.-Скотта, т.-е. пріемъ воспроизведенія „историческихъ“ характеровъ по оригиналамъ, взятымъ изъ современной жизни. Иногда Загоскинъ, какъ и В.-Скоттъ, выражаетъ свое національное настроеніе не путемъ разсказа, но путемъ разсужденій и даже лирическихъ отступленій на національно-историческія темы. Наконецъ, Загоскинъ пользуется также случаемъ сравнить различныя національности (русскіе и поляки) по ихъ отличительнымъ чертамъ, что допускаетъ и В.-Скоттъ (напр. „Ивангое“, норманны и саксы) [4]). Характеры Загоскина, какъ и характеры В.-Скотта, нельзя, конечно, назвать историческими, потому что ихъ составныя части собраны авторомъ въ окружавшей его современности. Уже Бѣлинскій по этому поводу сказалъ: „Русскіе люди первой половины XVII вѣка у Загоскина очень похожи на мужичковъ и бородатыхъ

---

[1]) Аѳеней, 1830, ч. I, № 1, стр. 95: „Юрій Милославскій“...

[2]) Москвит. 1842, ч. II, № 3... О „простонародномъ разговорѣ“ въ романѣ Загоскина см. также Сѣверн. Цвѣты на 1831 г.: Обозрѣніе россійской словесности за вторую половину 1829 г. и за первую 1830 года, стр. 54.

[3]) Ср. напр. Magazin für die Literatur des Auslandes. 1833, №№ 70—1: Russland. Jurii Miloslawsky ili Russkie v' 1612 godu. (Jurii Miloslawski oder die Russen im Jahre 1612). Von M. Zagoskin. 2-te Aufl. M. 1830.

[4]) Манера Загоскина выбирать и рисовать характеры напоминаетъ пріемы В.-Скотта даже въ мелочахъ. Такъ, введеніе въ разсказъ типической личности юродиваго (Митя), сдѣлавшееся обычнымъ въ историческомъ разсказѣ послѣ Загоскина, было уже предвосхищено В.-Скоттомъ (ср. напр. „дурачокъ Дэви“ въ романѣ „Веверлей“).

торговцевъ нашего времени"; кромѣ того, по мнѣнію Бѣлинскаго, „всѣ лица романа—осуществленіе личныхъ понятій автора; всѣ они чувствуютъ его чувствами, понимаютъ его умомъ" [1]). Съ этимъ приговоромъ не приходится спорить, но онъ не ослабляетъ основного мотива романа. Романтическій національнизмъ ставилъ себѣ цѣлью проникнуть въ глубину національнаго быта и духа, постигнуть его величіе и красоты и привлечь къ нимъ вниманіе націи. Загоскинъ для своего времени достигалъ этой цѣли. Въ самомъ дѣлѣ, не все ли равно, къ какой эпохѣ принадлежитъ чувствительный и восторженный герой романа Загоскина, — вѣдь онъ во всякомъ случаѣ воплощаетъ въ себѣ величественныя черты русской націи: онъ чистъ и кротокъ сердцемъ, самоотверженъ, строгъ къ себѣ, великодушенъ къ врагамъ, онъ весь — для родины, для общаго „земскаго" дѣла до самозабвенія, до отреченія отъ личнаго счастья. Точно такъ же не все ли равно, съ кого срисована героиня Загоскина, съ современной ли ему нравственно-прекрасной русской женщины или съ полныхъ духовнаго и тѣлеснаго обаянія женскихъ портретовъ, сохранившихся въ нашей старой письменности,—во всякомъ случаѣ она родственница по духу и Татьянѣ Пушкина и Лизѣ Тургенева и поражаетъ читателя красотой своей души, глубиной чувства, преданностью долгу, искренней вѣрой въ Божію правду и Божію милость.

Стоитъ только перелистовать романъ Загоскина, чтобы встрѣтить рядъ примѣровъ того, съ какою любовью и вѣрою въ свой народъ вскрываетъ авторъ самые сокровенные тайники народной души. Мы встрѣтимъ здѣсь, въ романѣ, молодого боярина (Юрій М.), который, полный силъ и отваги, смѣло глядитъ въ лицо смерти и въ то же время кротко склоняется передъ „Его святой волей", стоящей неизмѣримо выше воли человѣческой [2]); въ этомъ молодомъ красавцѣ бурлитъ юная кровь, онъ томится страстью къ избранницѣ

[1]) Бѣлинскій, Сочин. VI, стр. 68, 142—3.

[2]) Сочин. I, стр. 6.

сердца и въ то же время стыдливо бѣжитъ отъ буйнаго веселья, отъ сладострастной оргіи [1]). Мы встрѣтимъ здѣсь бездомнаго скитальца, бродячаго казака (Кирша), который однако ревниво хранитъ свое достоинство и благородство „вольнаго человѣка“ и негодуетъ, когда его называютъ „бѣглымъ“ [2]; мы увидимъ здѣсь богатыря силы и духа (Мининъ), который, полный сознанія своей мощи, заступается за врага-иноземца, потому что „на Руси лежачихъ не бьютъ“ [3]). Мы познакомимся здѣсь съ людьми, которые могутъ бражничать и ѣсть цѣлыми днями и которые въ случаѣ нужды „готовы довольствоваться кускомъ чернаго хлѣба“, запивая его водою („низовые крестьяне“) [4]); мы увидимъ изъ этого романа, что народъ, не утратившій своего національнаго „я“, можетъ пережить всякую смуту и снова окрѣпнуть, взявшись дружно, „всей семьею“, за „земское“ дѣло [5]). Наконецъ, мы узнаемъ изъ этого романа и то, что составляетъ душу народной русской души, это—ту „милость къ падшимъ“ и ту радость объ одномъ кающемся грѣшникѣ, которыя такъ характерны для любвеобильной русской натуры; при этомъ авторъ рисуетъ намъ и реальный образъ такого возрождающагося грѣшника (боярина Кручина-Шалонскій), который „жилъ какъ злодѣй и кончилъ жизнь какъ праведникъ“ [6]). Нельзя скрывать того, что русское прекраснодушіе представлено здѣсь авторомъ съ самой лучшей своей стороны, въ своемъ идеализованномъ видѣ, но вѣдь въ томъ именно и заключалась задача романтика, чтобы указать на сущность идеала и на пути къ нему какъ въ личной, такъ и въ національной жизни. Впрочемъ, Загоскинъ не закрываетъ глазъ на темныя стороны русской національной жизни и говоритъ о невѣжествѣ и суевѣріи про-

---

[1]) Соч., I, стр. 100.
[2]) Тамъ же, стр. 10.
[3]) Тамъ же, стр. 34.
[4]) Тамъ же, стр. 109.
[5]) Тамъ же, стр. 163.
[6]) Тамъ же, стр. 243.

стого народа [1]), о забитости и приниженности средняго русскаго человѣка (сцена между купцомъ и „земскимъ“ на постояломъ дворѣ) [2]), о боярскомъ разгулѣ и боярскомъ раздорѣ [3]) и т. д.; но читатель всетаки постоянно чувствуетъ, что въ народной русской душѣ свѣтлая стихія преобладаетъ надъ темной, что сердцевина ея цѣла и невредима и что слѣд. можно смѣло черпать изъ сокровищницы національнаго духа силы и бодрость на дѣло національнаго развитія и совершенствованія. Поэтизируя свою національную старину съ ея внѣшней и внутренней стороны, М. Н. Загоскинъ однако не впадаетъ въ узкій патріотизмъ и въ національную исключительность. Онъ, правда, горячо осуждаетъ безразсудное ополяченіе русскихъ бояръ (напр. боярина Кручины), намекая этимъ, вѣроятно, на галломанію въ современномъ ему обществѣ, но въ то же время онъ пользуется всякимъ случаемъ, чтобы подчеркнуть свойственную романтизму мысль объ уваженіи къ другой индивидуальной націи, хотя бы враждебной и ненавистной; поэтому Кирша восторгается удальствомъ Лисовскаго [4]), Юрій М. „уважаетъ храбрыхъ и благородныхъ поляковъ“ [5]), а панъ Тишкевичъ готовъ „грудью стать... за недруга“, хотя бы онъ былъ москаль [6]).

Какъ мы уже видѣли выше, современники М. Н. Загоскина горячо привѣтствовали національностическіе мотивы въ его романѣ. Въ частности, поэтическое воспроизведеніе природы національнаго русскаго духа, исполненное М. Н. Загоскинымъ въ „Юріи М.“ хотя и по манерѣ В.-Скотта, но съ большой долей участія личнаго національностическаго настроенія автора, нашло у читателей и критиковъ восторженный пріемъ. Въ герояхъ романа Загоскина признали не только просто русскихъ людей, но даже русскихъ людей, вѣрныхъ по характеру своей

[1]) Сочин. I, гл. VI и VIII части I-ой и гл. II части III-ей романа.
[2]) Тамъ же, стр. 13—16.
[3]) Тамъ же, гл. X части I-ой и гл. V части II-ой.
[4]) Тамъ же, стр. 23.
[5]) Тамъ же, стр. 35, 51.
[6]) Тамъ же, стр. 95.

эпохѣ. „Добрый нашъ народъ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши—все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно было дѣйствовать, чувствовать въ смутныя времена Минина и Авраамія Палицына. Какъ живы, какъ занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной веселости въ изображеніи характеровъ Кирши Алексѣя Бурнака, Ѳедьки Хомяка, пана Копычинскаго, батьки Еремѣя!..“ [1]) Таковъ одинъ отзывъ о живописаніи характеровъ у Загоскина. Только что перечисленныя лица романа и по другимъ отзывамъ признавались наиболѣе реальными. „Лучше прочихъ соображены и живѣе обозначены—читаемъ въ альманахѣ „Сѣверные Цвѣты“ — характеры казака Кирши, пана Еремѣя, хвастливаго полика пана Копычинскаго и юродиваго Мити“ [2]). Вообще же характеры, нарисованные Загоскинымъ, признаны были „національными“. „существовавшими на Руси въ прошедшихъ столѣтіяхъ, до сближенія нашего съ Европою“ [3]); въ нихъ усмотрѣли „образъ мыслей“ русскихъ людей начала XVII столѣтія [4], въ нихъ ощутили „русскую натуру [5]), подъ которой понимали именно то, что подразумѣвалъ и самъ авторъ „Юрія“, т.-е. не только глубокую религіозность и самоотверженную любовь къ родинѣ, но и безпристрастное отношеніе ко всему человѣчеству, даже къ врагамъ. „Рѣчь Минина на площади нижегородской“ — пишетъ А. Н. Оленинъ М. Н. Загоскину по поводу „русской натуры“ въ его

---

[1]) Литер. Газета, 1830, № 5, стр. 37, ст. А. С. Пушкина.

[2]) Сѣв. Цвѣты на 1831: Обозрѣніе россійской словесности за вторую половину 1829 и первую половину 1830 года, стр. 54. Подобные же отзывы о тѣхъ же лицахъ романа помѣщены напр. въ Отеч. Зап. 1830, ч. II: Нѣсколько словъ о новомъ историческомъ романѣ „Юрій Милославскій“... стр. 166—9, въ Моск. Вѣстн 1830, ч. I, № 1, стр. 78, тамъ же, ч. I. № 4: Замѣчанія на разборъ „Юрія Милославскаго“, помѣщенный въ „Сѣверной Пчелѣ“, стр. 425 и сл., въ Атенеѣ, 1830, ч. I, стр. 95—100, въ Дамскомъ Журналѣ, 1832, ч. 38, № 16, стр. 42.

[3]) Отеч. Зап. 1830, ч. 41, стр. 166—9.

[4]) Моск. Вѣстн. 1830, ч. I, № 1, стр. 79.

[5]) Русск. Стар. 1902, т. III, стр. 82: Изъ переписки М. Н. Загоскина, письмо А. Н. Оленина отъ 3 янв. 1830 г.

романѣ — „внушена автору чистою любовью къ отечеству. Смерть боярина Шалонскаго и кончина юродиваго Мити показываетъ чистоту христіанскихъ правилъ сочинителя. Умѣренность въ порицаніи и насмѣшкахъ, а, напротивъ того, отданіе должной похвалы непріятелямъ нашимъ доказываютъ безпристрастіе и справедливость автора“ [1]). Какъ иллюстрація „русской натуры“, особенно отмѣченъ былъ въ критикѣ характеръ юродиваго Мити: „это характеръ истинно того времени, характеръ нигдѣ не встрѣчающійся, кромѣ какъ у насъ, трогательный и оригинальный; послѣднее явленіе его при смерти Шалонскаго есть прекрасная картина“ [2])... Загоскинъ потому именно и выразилъ такъ правдиво сущность „русской натуры“, что ему свойственно было „уваженіе къ нравственному чувству души нашей..., которое, какъ невидимая жизнь, внутренно собою согрѣваетъ“, а это уваженіе подсказано было ему его собственной русской натурой: „чувство сіе понятно вполнѣ только чувству; постичь оттѣнокъ и характеръ его въ русскихъ и для нихъ изобразить его можетъ только русскій“ [3])...

Живописуя вообще природу русскаго національнаго духа, Загоскинъ, примѣнительно къ описываемой имъ эпохѣ, съ особенною любовью останавливался на изображеніи патріотическаго настроенія „русскихъ въ 1612 году“. И читатели и критика откликнулись горячо на этотъ мотивъ романа. „Все, что говорится въ немъ о любви къ отечеству... (нашло) себѣ привѣтный отзывъ въ душѣ читателя русскаго“ [4]); читатель съ интересомъ переселялся „въ ту любопытную эпоху, когда Россія боролась о своемъ бытіи, когда любовь къ родинѣ русскаго народа явилась во всемъ торжествѣ своемъ, когда изъ среды всѣхъ сословій возстали герои, коимъ бы и Римъ по-

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Моск. Вѣстн. 1830, ч. I, № 4, стр. 425.

[3]) Денница, альманахъ на 1831 г.: Обозрѣніе русской словесности 1830 года, стр. XIV и сл.

[4]) Сѣверн. Цвѣты на 1831 г., стр. 57.

завидовалъ“ [1])... Патріотизмъ начала XVII стол., поэтически воспроизведенный Загоскинымъ, особенно казался русскому читателю цѣннымъ и поучительнымъ, такъ какъ благодаря ему Россія того времени вышла побѣдительницей изъ опаснаго и сложнаго кризиса, при которомъ ея индивидуальному существованію грозили не только враги внѣшніе, но и внутренніе измѣнники, постыдно торговавшіе національной свободой подъ прикрытіемъ служенія „земскому“ дѣлу. Такой именно выводъ изъ романа сдѣланъ былъ въ критической о немъ литературѣ. „Съ одной стороны коварство и постыдный умыселъ нѣкоторыхъ бояръ поработить отечество чуждому государю; съ другой дотолѣ совсѣмъ неизвѣстный гражданинъ, не имѣющій ни силы, ни богатствъ, но богатый душою и сильный добродѣтелями, украшавшими нѣкогда сыновъ древняго Рима, рѣшается спасти погибающую Россію: вотъ блистательная эпоха нашей исторіи“ [2])... Патріотическое настроеніе „Юрія“ дѣйствовало, какъ мы уже видѣли изъ писемъ къ М. Н. Загоскину, на разные слои русскаго общества, привлекая къ себѣ вниманіе и молодежи начала 30-хъ годовъ [3]).

Націонализмъ Загоскина, выраженный въ излюбленной романтиками формѣ историческаго разсказа, былъ потому именно такъ понятенъ современникамъ, что соотвѣтствовалъ идеалистическому моменту эпохи: этотъ моментъ выдвинулъ на первый планъ не только идею вниманія къ индивидуальной жизни человѣка, но и уваженія ко всякой индивидуальной націи, доказавшей своимъ историческимъ прошлымъ наличность своихъ духовныхъ богатствъ. Въ критикѣ это пониманіе момента и соотвѣтствующаго ему поэтическаго культа національной старины выражено было, между прочимъ, въ слѣд. словахъ: „Въ наше время, съ образованіемъ нашего духа, все историческое, національное должно имѣть особенную прелесть и занимательность: это подтверждается безпрестанными по-

[1]) Отеч. Зап. 1830, ч. 41, стр. 166—9.

[2]) Дамскій Журналъ, 1830, ч. 30, № 18: Извѣстія..., стр. 77.

[3]) Ср. Русск. Арх. 1869: Воспоминанія о С.-Петербургскомъ университетѣ за 1830—1833 гг., стр. 340.

выми опытами. Слѣдуя сему направленію, и г. Загоскинъ избралъ героемъ своего романа лицо историческое, окружилъ его историческими воспоминаніями, драгоцѣнными для каждаго русскаго, и старался вездѣ сохранить русскій колоритъ“ [1].

Иностранная критика не менѣе внимательно, чѣмъ русская, прислушивалась къ національному романа Загоскина: его романъ въ художественной формѣ подтверждалъ въ глазахъ читающей Европы фактъ существованія въ сосѣдствѣ съ культурнымъ Западомъ самобытной націи, богатой не физическими только, но и духовными силами. „Сочинитель совершенно понялъ характеръ времени, изъ котораго взялъ свою картину: онъ изображаетъ мастерски нравы и отличительныя черты русскихъ, коихъ національная физіогномія имѣетъ въ себѣ нѣчто стереотипное и которые еще совершенно похожи на отцовъ своихъ—мы говоримъ о массѣ народа, ибо такъ называемые знатные люди вездѣ теперь имѣютъ одно и то же поличье—, и владѣетъ рѣдкимъ искусствомъ въ описаніи мѣстностей“. Такъ „судитъ“ о національномъ „Юріи“ „Вѣнскій Журналъ“ [2]). Французская критика отозвалась объ основномъ мотивѣ романа еще опредѣленнѣе, указавши при этомъ и на значеніе его для иностранцевъ: романъ Загоскина, какъ сказано въ „Revue Encyclopédique“, посвящаетъ французскаго читателя въ сокровенныя тайны русской лѣтописи и открываетъ передъ нимъ эпоху русскаго героизма [3]). Въ частности, Загоскинъ въ лицѣ героевъ своего романа знакомитъ иностраннаго читателя съ самыми обаятельными свойствами русской націи: съ благородствомъ души, съ нѣжностью сердца,

---

[1]) Атеней, 1830, ч. I, № 1, стр. 95.

[2]) Wiener Zeitschrift, 1831, № 49; рецензія въ русскомъ переводѣ приводится въ Телескопѣ 1831, ч. III, стр. 126, подъ загл. „Сужденіе“ „Вѣнскаго Журнала“ о „Юріи Милославскомъ“ Загоскина.

[3]) Revue Encyclop. 1831, avril, Livres français, p. 168: Joury Miloslavsky, ou la Russie en 1612, roman historique par Zagoskine; traduit du russe par madame S.-C..., née d'Ott, P. 1831...: „Ce roman a pour nous un mérite qu'il n'a certainement pas eu auprès des compatriotes de l'auteur; il nous révèle une époque d'heroïsme dont l'histoire doit être populaire parmi les Russes; il nous apprend des noms qui sans doute

съ прямотою и справедливостью ума (Юрій), съ энергіей, отвагой, находчивостью (Кирша) [1]).

Но ничто такъ не поразило иностранцевъ въ обликѣ народной русской души, опоэтизированной въ романѣ Загоскина, какъ ея героическій патріотизмъ, проявившійся такъ сознательно въ годы смуты. Поэтому ни одна почти замѣтка или статья въ иностранной критикѣ, посвященная „Юрію", не обходится безъ указанія на патріотическій тонъ романа. „Эпоха, выбранная Загоскинымъ, полна „высокаго интереса". — такъ сказано въ одной нѣмецкой рецензіи — потому что это было время, когда „патріоты Мининъ и Пожарскій освободили свое отечество отъ внутреннихъ раздоровъ и отъ натиска внѣшнихъ враговъ,—съ одной стороны отъ анархіи, съ другой — отъ владычества Польши" [2]). Почти въ тѣхъ же выраженіяхъ отмѣченъ былъ патріотическій мотивъ романа въ англійской критикѣ [3]). Одна изъ вышеприведенныхъ французскихъ рецензій привѣтствовала романъ Загоскина, какъ выраженіе борьбы за національную независимость [4]). Между прочимъ,

---

sont aussi sacrés pour les habitants des rives du Volga que celui de Jeanne d'Arc le doit être pour tous les Français. S'il a dû plaire aux lecteurs de Saint-Petersbourg et de Moscou en leur rappelant des souvenirs glorieux pour leur patrie, il aura chez nous l'avantage d'initier grand nombre de profanes aux fastes ignorés de la Russie".

[1]) Biblioth. Univers. 1831, avril: George Miloslavsky..., p. 406—410.

[2]) Magazin für die Literatur des Auslandes, 1833, dritter Band (Januar bis Juni) № 70: Russland. Jurii Miloslawsky. .

[3]) The Foreign Quarterly Review, 1833, v. XI, art. IV, p. 382: Jurii Miloslavsky...: „Much of this popularity may, undoubtedly, be ascribed to the particular point of history chosen by the writer as the groundwork of his narrative; for it is one well calculated to have prepossessed the good people of Russia in behalf of a weaker pen than M. Zagoskin's. Few epochs in their annals possess greater interest for them than that when their patriots, Minin and Pozharsky, liberated their country from internal dissension and foreign oppression,—from anarchy on the one hand, and from the yoke of Polish dominion on the other".

[4]) Biblioth. Univers. 1831, avril: George Miloslavsky..., p. 402. Такого же характера замѣтка объ „Юріи" въ чешской критикѣ: Pražské Noviny, 1852, № 3, „Jiří Miloslavský" od Zagoskina, z ruštiny přeložen od p. Stefana.

иностранная критика сдѣлала изъ романа Загоскина такой выводъ, который если и не былъ высказанъ самимъ авторомъ, то во всякомъ случаѣ предполагался каждымъ историческимъ романомъ, построеннымъ на идеѣ романтическаго національнализма: со стороны иноземцевъ всегда нужно данной странѣ опасаться порабощенія и, сознавая эту „великую политическую истину“, нужно слѣд. ревниво охранять свою національную свободу [1]).

Таковъ поэтическій національнализмъ М. Н. Загоскина, признанный и дома и за границей. Исходя въ художественномъ воспроизведеніи національнаго „я“ изъ личныхъ свойствъ своей души и изъ мужавшаго въ русскомъ обществѣ чувства національнаго самосознанія, онъ въ то же время использовалъ въ своемъ романѣ тѣ пріемы и средства, которые приняты были романтиками въ интересахъ поэтизаціи всего національнаго, особенно же національной старины; В.-Скоттъ былъ въ этомъ отношеніи образцомъ для Загоскина, какъ и для многихъ другихъ писателей-романтиковъ. Національное направленіе Загоскина стоитъ такимъ образомъ въ тѣсной связи съ романтическимъ національнализмомъ, который въ эту эпоху питалъ въ обществѣ чувство національности. Романтическій національнализмъ, въ лицѣ В.-Скотта, укрѣпилъ въ Загоскинѣ, какъ и въ многихъ его современникахъ, вѣру въ духовныя силы націи, далъ готовую идею культа національнаго „я“ и готовую форму для поэтическаго воспроизведенія національнаго прошлаго. М. Н. Загоскинъ не былъ славянофиломъ-теоретикомъ, но его романтическій національнализмъ былъ всетаки близокъ къ славянофильскому міровоззрѣнію, и въ этомъ отношеніи романъ Загоскина является несомнѣннымъ свидѣтельствомъ связи

---

[1]) Morgenblatt für gebildete Stände, 1831, Mai, Liter.-Blatt, № 50, Freitag, s. 197—8, Jurji Miloslawski... (по поводу перевода E. Göring'a): „Die grosse politische Wahrheit, dass uns trotz aller Hoffnungen und Verheissungen die Fremden niemals Freiheit, Glück und Ehre, sondern immer nur Sklaverei, Unglück und Schande bringen, wird in diesem Roman an einem glänzenden Beispiel aus der Geschichte bewiesen und mit allen Farben des Patriotismus ausgeschmückt“...

по идеѣ и по формѣ между русскимъ славянофильствомъ и западноевропейскимъ романтическимъ идеализмомъ. Самъ Загоскинъ, во всякомъ случаѣ, до конца своей литературной дѣятельности сохранилъ связь съ этимъ идеализмомъ, работая въ качествѣ „русскаго В.-Скотта“ на поприщѣ поэтическаго живописанія своей исторіи. Лучше „Юрія“ онъ, правда, ничего не создалъ, но основное направленіе этого романа онъ навсегда, для себя и для потомства, сберегъ въ полной неприкосновенности и чистотѣ. Это ему тѣмъ легче было сдѣлать, что онъ среди своихъ успѣховъ литературныхъ и служебныхъ [1]) до конца жизни сохранилъ въ своей душѣ красоту и свѣжесть заложенныхъ въ ней народныхъ началъ [2]). Съ этой стороны онъ еще разъ напоминаетъ В.-Скотта, личность котораго обаятельно дѣйствовала на современниковъ своей нравственной красотой и въ представленіи читателей сливалась съ лучшими героями его романовъ. Лица, знавшія М. Н. Загоскина, единогласно свидѣтельствуютъ о его прекрасномъ характерѣ, гармонировавшемъ съ „русскимъ“ направленіемъ его творчества. Они говорятъ о „необыкновенномъ добродушіи“ его, доходившемъ до „наивности“ [3]), о трогательной любви къ родинѣ и особенно къ Москвѣ [4]), о

---

[1]) 1837-1842 г.—директоръ Москов кихъ театровъ, 1842-1852—директоръ Московской Оружейной Палаты (Формул. спис.).

[2]) Указаніе критики (см. отзывъ о моей книгѣ проф. А. И. Кадлубовскаго въ запискахъ Имп. Харьк. Университета за 1909 г., № 3 стр. 18) на то, что романтическій національнизмъ Загоскина приближается къ національной исключительности, я считаю, конечно, правильнымъ; но думаю, что исключительный національнизмъ характеризуетъ его не въ 20—30-хъ годахъ, въ эпоху созданія имъ „Юрія Милославскаго“ и ближайшихъ къ нему по времени романовъ, но въ 40—50-хъ годахъ, когда узко понятое славянофильство и отрицательное отношеніе къ западной культурѣ сблизило Загоскина съ реакціоннымъ направленіемъ эпохи.

[3]) Русск. Арх. 1863, стр. 982: Анекдоты (Изъ записной книги М. Н. Лонгинова).

[4]) Русск. Стар. 1905, т. 122: Изъ архива Ѳ. В. Булгарина, письмо М. Н. Загоскина къ Ѳ. В. Булгарину отъ 6 окт. 1843, Москва, стр. 206, примѣч. (=И. И. Панаевъ, Литер. воспом., Спб. 1888, стр. 164—6).

глубокой религіозности [1]), о „неистощимой веселости, живости, откровенности и душевной добротѣ“ [2]), о его „истово русскомъ сердцѣ“ [3]), здравомъ русскомъ умѣ [4]), наконецъ о его русскомъ образѣ жизни [5]), о благотворительности и о его пріятной наружности [6]). Этими именно свойствами характера М. Н. Загоскина можно только объяснить, почему онъ для всѣхъ, знавшихъ его, былъ всегда дорогъ и пріятенъ [7]), и почему самыя жестокія вылазки его литературныхъ враговъ противъ „Юрія“ не поколебали общественнаго къ нему вниманія [8]); этимъ же объясняется, почему и самая кончина Мих—а Н—а обвѣяна самыми благоговѣйными и чистыми воспоминаніями [9]).

---

[1]) Аксак. Соч. III, стр. 300, 301.

[2]) Москвитянинъ. 1852, т. IV, стр. 89: С. Аксаковъ, Воспом. о Мих. Ник. Загоскинѣ.

[3]) Письма разн. л. Письмо А. Новосильцева къ С. М. Загоскину отъ 28 февр. 1853 г.

[4]) Русск. Стар. 1891, т. 72, Дневн. В. К. Кюхельбекера, стр. 110, также Рауть, изд. Н. В. Сушкова, М. 1854. кн. III, стр. 288.

[5]) Истор. Вѣстн. 1900. т. I: Воспоминанія С. М. Загоскина, стр. 74—5, 77.

[6]) Русск. Стар. 1876, т. II; Госпоминанія Т. П. Пассекъ.

[7]) Ср. въ Письмахъ разн. л. рядъ записокъ, приглашеній, просьбъ, сообщеній самаго дружескаго, привѣтливаго тона.

[8]) Ср. Н. И. Гречъ, Записки о моей жизни, Спб. 1886, стр. 458—9: полемика Булгарина съ Воейковымъ по поводу „Юрія“; характерно въ этомъ отношеніи письмо А. А. Орлова (Письма р. л.) къ М. Н. Загоскину, въ которомъ выражается радость по поводу того, что Загоскинъ отвѣчаетъ молчаніемъ и презрѣніемъ на всѣ выходки противъ него литературныхъ „пигмейчиковъ“.

[9]) Ср. Аксак. III, 299; Рауть, кн. III, стр. 294—5; также В. А. Францевъ, Письма къ Вячеславу Ганкѣ изъ славянскихъ земель, Варшава, 1905, стр. 59, письмо И. Берга отъ 30 іюня 1852 г. о смерти М. Н. Загоскина,—напечатано въ Lumir, 1852. II, 666: O úmrtí M. N. Zagoskina Dopis p. Nikolaje Berga.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

**Романтическій универсализмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. Кн. В. Ѳ. Одоевскій: юношескія произведенія и „Русскія ночи". Культъ универсальной гармоніи жизни. Возможность человѣческаго счастья: quantum поэзіи въ жизни и условія его осуществленія. Идеализмъ Шеллинга въ творчествѣ кн. В. Ѳ Одоевскаго.**

1. Кн. В. Ѳ. Одоевскій въ 20—30-хъ годахъ. Воспоминанія ранняго дѣтства. Московскій Университетскій пансіонъ. Первое знакомство съ философскими обобщеніями шеллингизма и первыя думы о гармоничномъ построеніи универсальной человѣческой жизни. „Прекрасный міръ" мечтаній и „угрюмая существенность" „вещественнаго міра"; разочарованіе, тоска по идеалу и по другой, родной душѣ: „Дневникъ студента" 1820—1 гг. и его автобіографическое значеніе. Послѣ Университетскаго пансіона: служебная дѣятельность и научныя занятія въ 20—30-хъ годахъ. Научно-литературныя связи кн. Одоевскаго въ Москвѣ; „Общество любомудрія"; кн. Одоевскій какъ представитель русскаго Sturm-und-Drang'a 20-хъ годовъ; свидѣтельства о немъ А. С. Грибоѣдова, Д. М. Веллансkаго и кн. А. И. Одоевскаго. Переѣздъ въ Петербургъ; характеръ научныхъ и литературныхъ интересовъ кн. Одоевскаго въ Петербургѣ въ 20—30-хъ годахъ; свидѣтельства о немъ Ф. Ф. Вигеля, гр. В. А. Соллогуба, В. А. Инсарскаго и др.

Писатель, который предпринялъ замѣчательную попытку приложить къ русской общественной почвѣ универсальные завѣты нѣмецкой романтической философіи, былъ кн. Владиміръ Ѳедоровичъ Одоевскій. Въ „Родословной князей Одоевскихъ" [1]) онъ показанъ послѣднимъ представителемъ одной изъ вѣтвей дерева Рюриковичей; происхожденіе же его фамиліи „Одоевскій" отнесено къ татарской порѣ [2]). Впечатлѣнія до-

[1]) Бумаги кн. В. Ѳ. Одоевскаго, переплетъ 101, ст. 2: „Родословная князей Одоевскихъ". („Записки о старинныхъ службахъ русскихъ благородныхъ родовъ"; ч. IV, „содержащая службы потомковъ черниговскихъ князей".

[2]) Тамъ же: „Князь Романъ, сынъ князя Семена Глуховскаго и Новосильскаго, перешелъ отъ татарскаго насилія изъ Новосила въ Одоевъ княжить, а потому онъ и потомки его приняли названіе Одоевскихъ".

машней жизни и школьнаго ученія въ связи съ личной физической и духовной организаціей выработали въ немъ ту вдумчивость и мечтательность, которыя такъ влекли его къ поэзіи и философіи романтизма. Въ бумагахъ князя сохранилось начало его автобіографіи [1]), которую онъ сталъ писать уже въ зрѣломъ возрастѣ, будучи 47-ми лѣтъ отъ роду. Въ этой автобіографіи простымъ, безыскусственнымъ языкомъ передалъ онъ впечатлѣнія ранняго дѣтства Предоставимъ ему разсказывать. „Я родился (говоритъ онъ) въ 1804 г., съ 31 іюля на 1-е авг. [2]). Отецъ мой былъ кн. Ѳедоръ Сергѣевичъ, директоръ Московскаго Ассигнаціоннаго Банка и въ чинѣ статскаго совѣтника, что тогда значило много. Онъ умеръ, когда мнѣ не было 5 лѣтъ—слѣдственно о немъ не осталось никакого воспоминанія, кромѣ того, что ѣздилъ я съ нимъ въ нашу подмосковную Калистово по Троицкой дорогѣ, и онъ бралъ меня на минуту на лошадь. Онъ умеръ послѣ операціи каменной болѣзни, произведенной... довольно неудачно... Изъ воспоминаній дѣтства осталось мнѣ также: моська, запряженная въ дрожки, которая меня возила, подарокъ отъ графини Софьи Осиповны Апраксиной; также коклюшъ и какъ Рихтеръ отворялъ форточку зимою и подносилъ меня къ ней, несмотря на ужасъ матушки. Помню, наоборотъ, няньку-нѣмку, которая кутала меня, сколь возможно, и, кладя въ кровать, курила внутри порошками и закрывала крѣпко пологъ, отъ чего мнѣ всегда почью было душно. Я, говорятъ, родился недоноскомъ 7 ми или 8-ми мѣсяцевъ, и послѣ мнѣ сказывали, что меня тотчасъ по рожденіи завертывали въ горячую шкуру, снятую съ едва убитаго барана, и что моя жизнь стоила жизни по крайней мѣрѣ 30-ти баранамъ.

---

[1]) Бумаги кн. В. Ѳ. Одоевскаго, переплетъ 101, ст. 4: „Мои Записки“ (тетрадь въ переплетѣ).

[2]) Біографы кн. В. Ѳ. Одоевскаго обыкновенно указываютъ на 30 іюля 1803 года; ср. напр. Н. Ѳ. Сумцовъ, Кн. В. Ѳ. Одоевскій, Харьковъ, 1884, стр. 3, А. П. Пятковскій, Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія. Спб. 1889, ч. II, стр. 239 и П. А. Кубасовъ, Князь Владиміръ Ѳедоровичъ Одоевскій, біограф. очеркъ (изъ „Русск. Біограф. Словаря“), Спб. 1903, стр. 3; въ очеркѣ П. А. Кубасова (ст. 112—116) подробно указана литература о кн. Одоевскомъ.

Помню также, какъ меня сажали въ бульонныя ванны, что мнѣ было очень непріятно, и въ ванны изъ бѣлаго вина. Разумѣется, что сохранилось лишь непріятное ощущеніе этихъ операцій; но вообще мои воспоминанія дѣтства восходятъ очень далеко. Отъ этихъ обстоятельствъ рожденія я былъ, кажется, впечатлительнѣе другихъ дѣтей, и отъ того же мнѣ сохранилась чрезвычайная тонкость кожи, которой я обязанъ частыми ревматизмами и всегдашнимъ ощущеніемъ холода и вообще слабостію мускуловъ, при вообще здоровомъ состояніи организма. Въ 18—20 лѣтъ доктора пророчили мнѣ чахотку; но вотъ уже мнѣ минуло 47, я пережилъ воспаленіе въ грудной плевѣ, — и осталось только неизлечимое абнормальное состояніе слизистой оболочки". На этомъ и прерываются неоконченныя автобіографическія записки [1]).

Образованіе кн. В. Ѳ. Одоевскій получилъ въ Московскомъ Университетскомъ пансіонѣ Въ пансіонѣ особенное вниманіе обращалось на развитіе среди воспитанниковъ художественнаго вкуса и изящнаго слога, и такимъ образомъ здѣсь уже получилъ Одоевскій первоначальную литературную подготовку. Между прочимъ, въ залѣ пансіона происходили засѣданія „Общества любителей россійской словесности", предсѣдателемъ котораго нѣкоторое время былъ директоръ Университетскаго пансіона А. А. Прокоповичъ. На этихъ засѣданіяхъ среди слушателей мы встрѣчаемъ и Одоевскаго: изъ хилаго, болѣзненнаго ребенка онъ сталъ тонкимъ, но стройнымъ юношей. „Какъ теперь помню я Одоевскаго", разсказываетъ М. П. Погодинъ: „стройненькій, тонкій юноша, красивый собою, въ узенькомъ фрачкѣ темновишневаго цвѣта, съ сенаторскою важностью, которою и тогда уже отличалась его красивая наружность, разводилъ онъ дамъ, почтительно указывая имъ назначенныя мѣста и потомъ оставался съ краю фланговымъ наблюдателемъ

---

[1]) Дальше разсказывается одинъ эпизодъ изъ служебной дѣятельности автора, свидѣтельствующій о его необыкновенной работоспособности, но не имѣющій отношенія къ воспоминаніямъ дѣтства.

порядка во время чтенія" [1]). Уже здѣсь, въ пансіонѣ, юноша Одоевскій, помимо разсужденій Мерзлякова, защитника старой, ложноклассической теоріи, выслушивалъ и новыя горячія рѣчи объ искусствѣ и наукѣ; одинъ изъ русскихъ послѣдователей философіи Шеллинга, И. И. Давыдовъ, былъ профессоромъ и инспекторомъ въ Университетскомъ пансіонѣ и, несомнѣнно, знакомилъ своихъ воспитанниковъ съ выводами новой философіи; между прочимъ, И. И. Давыдовъ свидѣтельствуетъ о юномъ Одоевскомъ, какъ о выдающемся ученикѣ, особенно въ области „русскихъ сочиненій и переводовъ" [2]). Когда на почвѣ новыхъ философскихъ воззрѣній образовался кружокъ университетской молодежи, въ немъ принялъ участіе и молодой кн. Одоевскій; кружокъ этотъ собирался по вторникамъ въ домѣ Веневитиновыхъ [3]). Изъ этого кружка Одоевскій вынесъ то идеалистическое міровоззрѣніе въ духѣ Шеллинга, которое такъ отличаетъ ранній романтическій періодъ его жизни и литературной дѣятельности. Впослѣдствіи онъ такъ отзывался объ этомъ времени своего развитія. „Моя юность", говорилъ онъ, „протекла въ ту эпоху, когда метафизика была такою же общею атмосферою, какъ нынѣ политическія науки. Мы вѣрили въ возможность закона абсолютной теоріи, посредствомъ которой возможно было бы построить всѣ явленія, точно такъ, какъ теперь вѣрятъ въ возможность такой соціальной жизни, которая бы вполнѣ удовлетворяла всѣмъ потребностямъ человѣка. Можетъ быть, дѣйствительно, и такая теорія, и такая форма будутъ когда-нибудь найдены, но ab posse ad esse consequentia non valet. Какъ бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человѣка казалась намъ довольно ясною, и мы немножко свысока посматривали на физиковъ, на химиковъ, на

---

[1]) А. Н. Пятковскій. Изъ исторіи нашего лит. и общ. развитія, стр. 240.

[2]) Русск. Арх. 1889, т. III, стр. 546 — 7: Письмо П. И. Давыдова къ Прокоповичу-Антонскому отъ 9 янв. 1819 г.

[3]) А. Н. Пятковскій, стр. 247.

утилитаристовъ, которые рылись въ грубой матеріи“ [1])... Въ мечтательномъ воображеніи юноши Одоевскаго создавался подъ вліяніемъ этой „абсолютной теоріи“ какой-то неясный но полный обаянія идеалъ истины, добра и красоты, долженствующій создать универсальное человѣческое счастье. Между тѣмъ условія повседневной жизни шли въ разрѣзъ съ восторженнымъ настроеніемъ юноши и запросы его юношескаго идеализма не находили отвѣта въ окружающей его семейной и общественной средѣ. Повидимому, эта именно полоса его личной жизни очерчена имъ въ одной неоконченной повѣсти, сохранившейся въ его рукописяхъ и озаглавленной „Дневникъ студента“ [2]); событія этой повѣсти относитъ самъ авторъ къ 1820 — 21 гг.

„Съ нѣкотораго времени“, начинаетъ свои признанія „студентъ“, „жизнь мнѣ становится тяжкимъ бременемъ. Сколько ни стараюсь отвыкнуть отъ мысли, что я не могу быть счастливымъ, но она не оставляетъ меня ни въ шумѣ свѣта, ни въ моемъ уединеніи“... Даже смѣхъ выходитъ натянутымъ и веселость неватуральной... „Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ входить въ самого себя, когда я какъ бы снова началъ жить, я не помню ни одной радостной минуты“. Причину своего безотраднаго настроенія юноша видитъ въ отсутствіи „семейственнаго счастія“: „я встрѣчалъ въ самыхъ близкихъ людямъ ко мнѣ чувство, которое не смѣю назвать холодностію, но въ которомъ не находилъ чего-то такого, чего желала душа моя. Такъ, я никогда не наслаждался семейственнымъ счастіемъ. Оставленный нравственно самому себѣ,—я покинулъ міръ вещественный и сотворилъ для себя другой міръ прекрасный, въ которомъ я окружилъ себя всѣмъ, что воображеніе мое могло мнѣ представить прелестнѣйшаго—все это представлялось мнѣ гдѣ-то, не знаю, казалось, что оно меня ожидало, я стремился душою къ этому идеалу и блаженствовалъ въ мечтаніяхъ —но угрюмая существенность разрушала мое очарованіе, и я сдѣлался несчастливѣе прежняго, ибо прекрасный идеалъ блаженства

[1]) Тамъ же, 247—8=Русск. Арх. 1874, № 2: проектъ предисловія къ новому изданію сочин. кн. Одоевскаго, стр. 816—17.

[2]) Бумаги кн. В. Ѳ. Одоевскаго, переплетъ № 95.

содѣлался какъ бы прошедшимъ, невозвратимымъ"...—Отсюда унынiе, тоска... желчь и злоба на людей „за ихъ проклятыя такъ называемыя правила пристойности (слово, которое весьма много въ себѣ заключаетъ)"... Отсюда „часто наружно бываю ребенкомъ, но внутренно — старикомъ, стоящимъ на краю гроба"... Изъ дальнѣйшаго разсказа юноши мы узнаемъ, что семья не только не сочувствуетъ его идеалу, но даже отказываетъ ему въ самомъ обычномъ вниманiи и не даетъ средствъ къ пріобрѣтенiю необходимыхъ знанiй. „Корыстолюбiе есть одна пружина заботливости о сохраненiи моего здоровья". Молодому человѣку думается, что онъ могъ бы спокойно улечься въ сырой землѣ, „если бы его смерть не заставляла бояться вредныхъ послѣдствiй касательно предметовъ корысти", и тогда „вѣчнохолодная рука покрыла бы меня нескомъ также холодно"... Нѣтъ „безкорыстныхъ чувствованiй" обо мнѣ, потому что нѣтъ „заботливости о моемъ назначенiи въ будущемъ"... „Средства для будущаго рода жизни суть познанiя", но ихъ пріобрѣсти „не даютъ способовъ". Отговоркою въ такихъ случаяхъ служитъ „недостатокъ", но „его не видно въ покупаемыхъ, только не для меня, бездѣлицахъ"... Говорятъ, что бездѣлицы „единственное утѣшенiе". — „Согласенъ, пожалуй". Но „что бы вы сказали о матери, которая заботится больше о томъ, чтобы въ послѣдствiи времени наполнился ея садъ, нежели о томъ, чтобы у сына ея голова была наполнена"... „Дай Богъ, чтобъ я ошибался". Но „едва ли не можно сказать, что какъ заботы объ одеждѣ происходятъ отъ мысли о томъ, что подумаетъ свѣтъ, такъ забота о здоровьи — отъ корысти"... Одинъ поступокъ — „верхъ нечувствительности" — юноша не желаетъ даже и описывать. Теперь отнимаютъ „послѣднее мое благо— покой". „О Боже! долго ли я буду странникомъ въ своемъ домѣ? Можно ли порицать меня, что я желаю независимости, сего единаго, истиннаго счастiя?" Но на ряду съ порывомъ къ независимости, этому истинному благу, въ душѣ юноши живетъ жгучая потребность взаимности, исканiе той родной души, которой онъ не находилъ среди своихъ близкихъ, исключая впрочемъ брата Александра. „Есть благо въ жизни, ко-

торое называютъ независимостію,—когда-то оно будетъ вполнѣ моимъ удѣломъ? Но и тогда оно не будетъ въ состояніи замѣнить счастіе семейственной жизни. Александръ былъ эпохою въ моей жизни. Ему я обязанъ лучшими минутами оной. Въ его сообществѣ я находилъ то, чего я вездѣ искалъ и нигдѣ не находилъ. Что можетъ замѣнить ту минуту, когда сердце, свободное отъ всѣхъ узъ совершенно, раскрывается передъ другимъ сердцемъ, какъ бы сливается съ нимъ. Въ эту минуту человѣкъ находится на степени человѣка: его не стѣсняютъ унижающія его оковы всѣхъ людскихъ глупостей!—Блаженное состояніе! зачѣмъ ты кратковременно?"... Иногда юношу „занимали вздоры" — хорошенькія личики, кажущаяся влюбленность; но подъ „этими прекрасными покрышками" таились „пустота, невѣжество, легкомысліе, тщеславіе"... Люди не понимаютъ причины моей задумчивости. Они думаютъ, что за „предѣлами корыстолюбія" нѣтъ вещи, которая бы могла „производить горесть", „и свои презрѣнныя, пустыя хлопоты величаютъ именемъ важнаго или серьезнаго дѣла!"... Жизнь тяготитъ молодого человѣка; онъ пишетъ свой дневникъ и заранѣе представляетъ себѣ, какъ Александръ прочтетъ о пережитыхъ имъ страданіяхъ, „когда пресѣчется нить тяжкой (его) жизни"...

Но вотъ судьба улыбнулась молодому мечтателю. На горизонтѣ его сѣренькой, „пустой" жизни появляется новое, лучезарное явленіе: онъ встрѣчаетъ дѣвушку, въ которой при первомъ же впечатлѣніи узнаетъ „родную душу"; въ ней онъ находитъ второго брата по душѣ, второго Александра. Краткая исторія этой любви, окончившейся однако разочарованіемъ, также богата юношескимъ идеализмомъ, навѣяннымъ, надо полагать, впечатлѣніями Университетскаго пансіона. „Сюда пріѣхали Щ."... „Есть еще эпоха въ исторіи моего сердца"... „Прекрасные, умные глаза, открытое лицо, на которомъ нѣтъ ни, такъ сказать, нахальной вѣчной веселости городскихъ дѣвушекъ, ни глупой робости уѣздныхъ, непринужденность въ обращеніи, отсутствіе всякаго жеманства уже съ начала предупредили меня въ ея пользу"... Онъ замѣтилъ ея „умъ, ... сердце чувствительное". Вскорѣ „свергнута была одна изъ цѣпей

глупой пристойности", и „слово „ты". какъ стройный аккордъ, отозвалось въ слухѣ моемъ"... Ему кажется, что идеалъ его опять къ нему возвратился. Однако на первыхъ порахъ дѣло не обошлось, конечно, безъ сомнѣній и колебаній: онъ боится обмануться, онъ желаетъ въ ней встрѣтить Александра... „Если бъ мой Александръ, въ колетѣ, съ усами, могъ бы преобразиться въ милую, прекрасную дѣвушку... Если бъ она могла мнѣ, нѣкоторымъ образомъ, замѣнить Александра и если бъ, подобно какъ съ нимъ, связи родства были бы вмѣстѣ и связями дружбы: братская, дружеская любовь ея ко мнѣ наполнила бы пустоту души моей, и нѣсколько счастливыхъ минутъ, которыя бы дружба мнѣ доставила, еще могли бы привязать меня къ жизни. Но это все мечта! Можетъ быть она вѣтрена, легкомысленна, капризна... О Боже!".. Но сближеніе продолжается... Подъ 29 янв. воскр. (годъ ?) записано: „Былъ у ней... ласки... участіе"... Опять сомнѣніе. Не обманъ ли?.. Говорилъ съ ней, старался „вывѣдать ея мысли, чувствованія, и мнѣніе мое объ ней оправдывается"... Однажды нашелъ ея отца въ печали, она старается его утѣшить, разсѣять, и „мнѣ это нравится, возвышаетъ ее въ моихъ глазахъ". „Я съ благоговѣніемъ, даже съ завистію смотрѣлъ на нее: я никогда не имѣлъ счастія утѣшать, подобно ей, отца"... „Я училъ ее дѣлать тріоли на фортепьянахъ, она меня вальсировать"...

Счастье было близко, но и разочарованіе уже сторожило молодого мечтателя. Слѣдующая запись въ дневникѣ помѣчена 30-мъ іюл(н)я 1821 г. „Ровно черезъ годъ", читаемъ тутъ, „принимаюсь я за свой дневникъ; сколько перемѣнъ со мною произошло съ того времени—безъ конца". N., „ангелъ во плоти", „сдѣлалась обыкновенною скучною, надутою московскою дѣвушкою". Вмѣсто Александра, онъ встрѣтилъ въ ней „матушку ея, преобразившуюся только въ двадцатилѣтнюю вертушку". Дѣвушка была „чистая, не загаженная свѣтскостію душа", но мать причина зла; „мать напакостила ей въ уши княжествомъ, кокетствомъ, богатствомъ, суетностію, и Наташа стала такою дрянью, что смотрѣть гадко". Онъ радъ, что разсудокъ взялъ верхъ,

она не могла сдѣлать его счастливымъ: „сѣмя суетности“ развилось бы въ ней рано или поздно .. А можетъ быть „искусная рука могла бы и умертвить это сѣмя“?.. Опять проблескъ надежды на счастье вдвоемъ и опять сомнѣніе. Юношѣ думается даже, что женская любовь никогда не можетъ дать ему полнаго счастья въ духѣ его идеала. „Да и не безумствую ли я: можетъ ли хотя какая-нибудь женщина удовлетворить моимъ требованіямъ? встрѣчалъ ли я до сихъ поръ хотя одну женщину, съ которою бы мнѣ не сдѣлалось скучно? Женщина съ душою мужчины, съ умомъ свѣтлымъ, съ мыслями обширными—вещь невозможная!.. Вездѣ мелочность, тщеславіе, — гадко! Не лучше ли оставить женщинъ въ покоѣ, — не созданы ли онѣ только для вещественной жизни мужчины? Но отчего же въ человѣкѣ чувство этой пустоты, недостатка — неужли простое желаніе плотское? Лучше быть евнухомъ—и къ черту моя мечта о существѣ, которое бы могло служить дополненіемъ моей вещественной и духовной жизни! Все это прекрасно подъ перомъ и въ возвышенномъ состояніи вдохновенія: тогда немудрено (sic) весь міръ лучше становится... И женщина вмѣсто дополненія не раздвоитъ ли нашего существованія: человѣкъ женатый теряется въ периферіи, выражаемой дѣтьми. Полно дурачиться! Одно хорошее было въ моей глупости: славный предметъ для романа“...

Если принять въ разсчетъ нѣкоторыя обстоятельства личной жизни кн. В. Ѳ. Одоевскаго, напр. его раннее сиротство, зависимость отъ опеки родственника, кн. П. И. Одоевскаго [1], дружескія отношенія съ двоюроднымъ братомъ кн. А. И. Одоевскимъ [2], то нельзя не признать за „Дневникомъ студента“ извѣстнаго автобіографическаго интереса. Повидимому, юный Одоевскій самъ пережилъ это разочарованіе „студента“. Однако онъ не впалъ въ отчаяніе или въ безысходную тоску: не найдя въ 18 лѣтъ достойнаго предмета для своей возвы-

[1]) И. А. Кубасовъ, Кн. В. Ѳ. Одоевскій, стр. 4.

[2]) Ср. письмо кн. А. И. Одоевскаго къ кн. В. Ѳ. (Русск. Стар. 1901 т. I, стр. 375—6): письмо проникнуто глубокой нѣжностью и полно признаній въ дружбѣ и любви.

тенной любви, онъ перенесъ все свое вниманіе на самообразованіе, на тѣ „познанія“, „которыя суть лучшія средства для будущаго рода жизни“ [1]; вмѣстѣ съ тѣмъ довольно рано начинается и его разнообразная служебная дѣятельность. Послѣ „выпуска изъ благороднаго пансіона, учрежденнаго при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, съ большою медалью и съ правомъ на чинъ X-го класса“, какъ сказано въ формулярѣ [2]), Одоевскій нѣкоторое время не служилъ, но уже въ 1826 году (іюля 5) поступаетъ на службу въ Московское дворянское депутатское собраніе; вскорѣ впрочемъ покидаетъ Москву и, переѣхавъ въ Петербургъ, опредѣляется 17 окт. 1826 г. въ Цензурный комитетъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Послѣ этого въ теченіе 20-хъ и 30-хъ годовъ занимаетъ постепенно рядъ разнообразныхъ должностей: секретаря Общаго собранія Цензурнаго комитета (съ 20 сент. 1827 г.), столоначальника Департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ вѣроисповѣданій (съ 25 іюля 1828 г.), библіотекаря Комитета иностранной цензуры (съ 16 ноября 1828 г.), члена Общаго собранія Хозяйственнаго департамента (съ 1 мая 1833 г.), члена Ученаго комитета министерства государственныхъ имуществъ (съ 11 февр. 1838 г.), правителя дѣлъ Комитета главнаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ (съ 17 ноября 1838 г.), старшаго чиновника 2-го Отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи (съ 3 мая 1840 г.). Въ то же время ему даются самыя разнообразныя порученія: онъ присутствуетъ, по порученію министра внутреннихъ дѣлъ, при производствѣ опыта очищенія новымъ способомъ сомовьяго клея (2 мая 1832 г.); свидѣтельствуетъ „печи, имѣющія цѣлью значительное сбереженіе горючаго матеріала“ (7 мая 1832 г.); назначается въ „комитетъ для составленія правилъ о производствѣ слѣдствій“ (5 янв. 1833 г.); ему поручается „осмотрѣть... описаніе и чертежи изобрѣтеннаго губернскимъ секретаремъ Вышеславцевымъ механическаго кухоннаго очага съ приспѣшными печами и механическою вьюшкою“; нѣсколько

[1]) Бумаги, перепл. 95: „Дневникъ студента“.

[2]) Тамъ же, перепл. 101, ст. 3: Формулярный списокъ.

позднѣе министръ внутреннихъ дѣлъ назначаетъ его „членомъ отъ сего министерства въ комиссію, учрежденную по Высочайшему повелѣнію, для усовершенствованія вообще пожарной части въ С.-Петербургѣ“ (3 августа 1833 г.); наконецъ, два года спустя, онъ оказывается членомъ „Высочайше утвержденной комиссіи о произведеніи въ единообразіе россійскихъ мѣръ и вѣсовъ“ (5 ноября 1835 г.). Многосторонности служебной дѣятельности соотвѣтствовала и многосторонность научныхъ занятій, которыми Одоевскій хотѣлъ достичь своего духовнаго идеала. Философія Шеллинга, проповѣдуя тожество идеальнаго и реальнаго, невольно возбуждала интересъ, какъ къ міру природы, такъ и къ внутреннему міру человѣка: поиски за этимъ тожествомъ заводили любопытнаго искателя въ самыя разнообразныя области знанія, и, наоборотъ, всѣ человѣческія знанія казались интереснымъ объектомъ съ точки зрѣнія установленія факта этого пресловутаго тожества. Уже въ бытность свою въ Москвѣ Одоевскій обратилъ на себя вниманіе знакомыхъ многосторонностью своихъ научныхъ интересовъ; онъ жилъ въ домѣ своего родственника, кн. П. И. Одоевскаго, зарывшись въ книги и физическіе приборы, какъ докторъ Фаустъ, и видимо удовлетворялся своимъ уединеніемъ молодого гуманиста.

Внѣ служебныхъ занятій, онъ весь уходилъ въ научные интересы. Въ московскомъ обществѣ двадцатыхъ годовъ развивались „двѣ параллельныя дѣятельности, одна—литературная, другая — чисто-философская“; къ группѣ „философскаго направленія“ принадлежалъ и Одоевскій, „собиравшій у себя небольшое число молодыхъ литераторовъ“ [1]). Въ средѣ этой „философской“ группы возникло въ 1823 г. на почвѣ увлеченія шеллингизмомъ „Общество любомудрія“, въ которомъ дѣятельное участіе принялъ и кн. В. Ѳ. Одинъ изъ членовъ „общества“, А. И. Кошелевъ, который „съ братьями Кирѣевскими

[1]) Русск. Арх. 1894, кн. II: Ив. Вас. Кирѣевскій, очеркъ его жизни и литературной дѣятельности. О литературныхъ связяхъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго въ 20-хъ годахъ см. также Русск. Арх. 1874, т. II: Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ, стр. 15.

и княземъ В. О. Одоевскимъ предался изученію классиковъ и твореній Шеллинга“ [1]), разсказываетъ такъ о занятіяхъ „любомудровъ“: „Главными, самыми дѣятельными участниками въ нашемъ кружкѣ были: Ив. В. Кирѣевскій, Дм. Веневитиновъ, Рожалинъ, князь В. Одоевскій, Титовъ, Шевыревъ, Мельгуновъ и я. (Нашимъ) бесѣдамъ мы обязаны весьма многимъ какъ въ научномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи“... Изъ этого-то кружка и выдѣлилось потомъ „общество“; „оно собиралось тайно, и объ его существованіи мы никому не говорили. Членами его были: кн. В. Одоевскій, Ив. Кирѣевскій, Дм. Веневитиновъ, Рожалинъ и я. Тутъ господствовала нѣмецкая философія, т. е. Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Окенъ, Герресъ и др. Тутъ мы иногда читали наши философскія сочиненія; но всего чаще и по большей части бесѣдовали о прочтенныхъ нами твореніяхъ нѣмецкихъ любомудровъ. Мы собирались у кн. Одоевскаго, въ домѣ Ланской (нынѣ Римскаго-Корсакова) въ Газетномъ переулкѣ. Онъ предсѣдательствовалъ, а Дм. Веневитиновъ всего болѣе говорилъ и своими рѣчами часто приводилъ насъ въ восторгъ. Эти бесѣды продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимымъ ихъ прекратить, какъ потому, что не хотѣли навлечь на себя подозрѣнія полиціи, такъ и потому, что политическія событія сосредоточивали на себѣ все наше вниманіе. Живо помню, какъ послѣ этого несчастнаго числа кн. Одоевскій насъ созвалъ и съ особенною торжественностью предалъ огню въ своемъ каминѣ и уставъ и протоколы нашего Общества Любомудрія“ [2]).

Кн. В. Ѳ. Одоевскій въ московскій періодъ своей жизни представляется намъ какъ одинъ изъ выразителей русскаго романтическаго Sturm-und-Drang'а, близко подходящій по настроенію къ типу „Чацкій-Грибоѣдовъ“. Въ одномъ изъ писемъ къ кн. В. Ѳ. Одоевскому А. С. Грибоѣдовъ повѣряетъ

[1]) Русск. Арх. 1884, т. I: А. И. Кошелевъ, стр. 247.

[2]) Русск. Арх. 1885, т. I: Къ біографіи поэта Д. В. Веневитинова, стр. 118—4. См. также Н. Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, I, стр 302.

ему свое накипѣвшее чувство негодованія „противъ людей, которые отъ души желаютъ, чтобъ отечество наше оставалось въ вѣчномъ младенчествѣ“ [1]); это чувство, конечно, раздѣлялъ и кн. В. Ѳ., хотя онъ съ своимъ шеллингизмомъ дальше былъ отъ реальной жизни, чѣмъ Грибоѣдовъ. Но послѣдній всетаки понималъ и высоко цѣнилъ философскія занятія своего друга. „Прощай, милый мой мудрецъ“, пишетъ онъ Одоевскому въ 1825 году изъ Кіева, „сердечно радуюсь твоимъ занятіямъ, не охлаждайся: они всякой жизни придаютъ высокое значеніе, и даже въ Москвѣ (откуда вынеси тебя Богъ поскорѣе). Только я не разумѣю здѣсь полемическихъ памфлетовъ, критикъ и антикритикъ“ [2]). Для лицъ, стоявшихъ близко къ шеллингизму и къ занятіямъ философіей, Одоевскій уже въ эту пору представлялся замѣтнымъ ученымъ знатокомъ философской науки. „Афоризмы вашего сіятельства“, пишетъ ему Д. М. Велланскій, „помѣщенные въ Мнемозинѣ, читалъ я съ величайшимъ удовольствіемъ, и признаюсь, что изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ ученыхъ россіянъ вы одни поняли настоящее значеніе философіи“ [3]). А кто не проникалъ въ глубину философіи, тотъ во всякомъ случаѣ признавалъ въ Одоевскомъ симпатичнаго идеалиста-мечтателя. „Мой милой Володя“, пишетъ ему кн. А. И. Одоевскій (=братъ Александръ изъ „Дневника студента“?), „ты философъ хоть куда! Я читалъ, перечитывалъ твое письмо и понялъ, сколько можно понять едва просвѣщенному корнету лейбъ-гвардіи Коннаго полка, глубокомысленныя умозрѣнія непонятнаго Шеллинга, одѣтыя во вкусѣ Давыдова любимѣйшимъ изъ его учениковъ-мечтателей“ [4]). Помимо своихъ занятій философіей, Одоевскій уже въ бытность

---

[1]) Русск. Арх. 1874, т. I: Очеркъ первоначальной исторіи „Горе отъ ума“, стр. 1547.

[2]) Русск. Арх. 1864: Изъ бумагъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго, письмо Грибоѣдова отъ 19 іюня 1825 г., Кіевъ, стр. 1002.

[3]) Тамъ же, стр. 995: письмо Д. М. Велланскаго отъ 17 іюля 1824 г.

[4]) Русск. Стар. 1904, т. I, стр. 375—6: Изъ переписки кн. В. Ѳ. Одоевскаго, письмо кн. А. И. Одоевскаго отъ 2 марта 1823 г. Спб.

въ Москвѣ обращалъ на себя вниманіе какъ „любитель музыки и отчасти композиторъ“ [1]).

Въ 1826 г. кн. В. Ѳ. Одоевскій женился на О. С. Ланской; мечты „студента“ о „семейственномъ счастьѣ“ осуществились; Д. В. Веневитиновъ описываетъ благополучіе молодыхъ супруговъ самыми нѣжными красками [2]). Въ томъ же году Одоевскій переѣхалъ въ Петербургъ. Вмѣстѣ съ собою привезъ онъ въ Петербургъ свои симпатіи къ нѣмецкой философіи и опять оказался въ центрѣ новыхъ литературныхъ и научныхъ вѣяній. Ф. Ф. Вигель, вообще недолюбливавшій Одоевскаго, съ недоброй ироніей говоритъ, что онъ пріѣхалъ въ Петербургъ „неизлѣченнымъ отъ московскаго германизма“ и „окутаннымъ въ юродливость Гоффмана и въ музыкальную метафизику Баха и Бетховена“; пріѣхавши въ Петербургъ „искать счастья“, онъ „нашелъ его“, потому что „время благопріятствовало его успѣхамъ“: „происходила новая революція въ идеяхъ, романтическая школа преуспѣвала и распространялась“. „По пятамъ мрачнаго юноши“, продолжаетъ Вигель, „изъ Москвы потянулась цѣлая вереница людей, пресмыкавшихся въ неизвѣстности...; изъ нихъ об[illegible]азовался ему небольшой княжескій дворъ, свита, партія“ [3]). Въ этомъ пристрастномъ повѣствованіи Вигеля правдою является однако то, что кн. В. Ѳ. и въ Петербургѣ такъ же, какъ и въ Москвѣ, вошелъ въ кругъ передовой по литературнымъ и научнымъ интересамъ молодежи, которая съ точки зрѣнія „охранителей“ характеризовалась въ то время слѣдующими словами: „Сіи юноши не пишутъ ничего литературнаго, почитая сіе недостойнымъ себя, и занимаются однѣми политическими науками. Образъ мыслей ихъ, рѣчи и сужденія отзываются самымъ явнымъ карбонаризмомъ. Соболевскій и Титовъ (служащій въ

---

[1]) Ср. напр. Русск. Арх. 1893, кн. III: Воспоминанія Маріи Сергѣевны Николевой.

[2]) Русск. Стар. 1875, кн. XII, стр. 820: Письмо Д. В. Веневитинова къ С. А. Соболевскому отъ 14 дек. 1826 г. Спб.

[3]) Русск. Арх. 1893, кн. II: Вигель, Москва и Петербургъ.

Иностранной Коллегіи) суть самые худшіе изъ нихъ. Собираются они у князя Владимира Одоевскаго, который слыветъ между ими философомъ, и у Мальцова" [1]).

Но для людей, ближе знавшихъ Одоевскаго и не чуждавшихся науки и искусства, онъ и въ Петербургѣ такъ же, какъ и въ Москвѣ, казался незаурядною личностью и по своему образованію и по нравственному облику. Это былъ—говоритъ о немъ одинъ изъ его петербургскихъ друзей — „человѣкъ, замѣчательный своимъ многостороннимъ образованіемъ, литературными и художественными талантами и въ особенности неограниченною добротою своего сердца" [2]). „Трудолюбивый выше всякой мѣры", Одоевскій, по свидѣтельству другого современника, обладалъ „поэтическою душою, чуждою всякихъ стремленій къ проявленію власти и значенія", и отличался рѣдкою кротостью характера [3]). Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, на которые падаетъ расцвѣтъ литературной дѣятельности Одоевскаго, его домъ былъ центромъ „всего талантливаго, образованнаго и нравственно порядочнаго" [4]); въ его скромной квартирѣ, „въ этомъ безмятежномъ святилищѣ знанія, мысли, согласія, радушія", по выраженію гр. В. А. Соллогуба [4]), „сходился весь цвѣтъ петербургскаго населенія": здѣсь „встрѣчались безъ удивленія" „государственные сановники, просвѣщенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, свѣтскія образованныя красавицы"... По преимуществу же „салонъ кн. Одоевскаго былъ самымъ обширнымъ мѣстомъ свиданія съ литераторами" [5]); въ свою очередь онъ посѣщалъ тѣ

---

[1]) Русск. Стар. 1902, т. I, стр. 34: Извѣтъ на „Московскій Вѣстникъ" и его сотрудниковъ, 30 дек. 1827 г.

[2]) Русск. Стар. 1882, т. 33: А. П. Заблоцкій-Десятовскій 1829—1879 гг., стр. 544.

[3]) Русск. Арх. 1869: Общество посѣщенія бѣдныхъ (Изъ Записокъ В. А. Инсарскаго), стр. 1014;

[4]) А. П. Пятковскій, стр. 268—4.

[5]) Русск. Стар. 1890, т. 67: Воспоминанія Евгенія Скайлера. Кн. Вл. Ѳ. Одоевскій, стр. 632.

собранія, гдѣ можно было встрѣтить выдающіяся литературныя силы [1]).

---

2. Раннія произведенія кн. В. Ѳ. Одоевскаго. Научно-литературные интересы его въ школьные годы: „ученическія тетради“,—характеръ выписокъ и собственныхъ набросковъ. Раннее тяготѣніе къ философіи; похвала философіи, какъ „наукѣ всеобщей“ („Рѣчь о томъ, что всѣ знанія и науки...“); преобладающее влеченіе къ шеллингизму. Цѣль изученія философіи—проникновеніе въ универсальную тайну жизни. Отношеніе Одоевскаго къ философіи природы („Петербургскія письма, письмо отъ 27 дек. 4337 г.“, „Замѣчательная игра природы“). Переходъ отъ философіи природы къ философіи „тожества“; мотивы шеллингизма, усвоенные Одоевскимъ; преобладаніе универсализма въ романтическомъ міросозерцаніи Одоевскаго. Универсумъ съ точки зрѣнія „системы тожества“ („Гномы XIX стол.“. Универсальная цѣль жизни и исторіи—гармонія началъ идеальнаго и реальнаго; самоотверженное служеніе универсальной цѣли: подчиненіе индивидуальнаго „я“ универсальному человѣческому единству. Двѣ воли—отдѣльная и универсальная; необходимость сліянія ихъ въ интересахъ общаго блага: поэтическій разсказъ „О духахъ кардіадахъ и эвпридахъ“. Возможность гармоніи двухъ началъ человѣческой природы—„индивидуальности и общности“; провозвѣстники этой гармоніи въ человѣческихъ отношеніяхъ—поэты и философы; преобладающая роль искусства въ достиженіи универсальной цѣли жизни; природа искусства и его носителя-поэта („Записная книга 1829—1831 гг.“). Роль генія въ раскрытіи универсальной тайны жизни: культъ геніальности въ раннихъ произведеніяхъ Одоевскаго; одиночество геніальной натуры („Іордань Бруно и Петръ Аретино“); геній и рядовое человѣчество („Четы е аполога“, „Отшельникъ Виченціо“), единство цѣли ихъ стремленій „Филологическій опытъ“) и различные пути къ достиженію гармоніи жизни („Сегеліель или Донъ-Кихотъ XIX стол.“). Универсальный идеалъ жизни и окружающая дѣйствительность („Старики или островъ Панхая“, „Елладій“. „Дни досадъ“).

Изъ Университетскаго Благороднаго пансіона кн. В. Ѳ. Одоевскій вынесъ любовь къ серьезному чтенію, къ научнымъ занятіямъ и восторженное почитаніе искусства. Это легко прослѣдить уже по его ученическимъ тетрадямъ. Вотъ нѣсколько отрывковъ изъ его пансіонскихъ замѣтокъ и литературныхъ упражненій. Изъ „Журнала чтенія“: „Въ теченіе сей недѣли я читалъ жизнь Марка Аврелія Антонина. Вотъ Государь по истинѣ славный—его добродѣтели: умѣренность, постоянство, благоразуміе содѣлываютъ имя его безсмертнымъ!“ (Дальше краткая біографія М. Аврелія). Изъ „Сочиненія на заданныя слова“... (Передается діалогъ между кн. Од. и какимъ-то его

[1]) Истор. Вѣстн. 1889, т. 35: Воспоминанія А. Я. Головачевой (Панаевой), стр. 312.

другомъ Любоміромъ. приглашавшимъ его погулять по шумной столицѣ; Од. отказывается, его не прельщаетъ веселье): „И уединеніе имѣетъ свои пріятности. Книги—вотъ лучшіе друзья мои! съ ними провожу я время, онѣ доставляютъ мнѣ такое удовольствіе, котораго не могутъ принести всѣ ваши городскія, шумныя забавы: то вдругъ являюсь въ Римѣ, слушаю краснорѣчіе Цицерона, вижу смущеніе Катилины, то иду на площадь Аѳинскую, кричу, спорю, шумлю, осмѣиваю Клеанта, хвалю Перикла; а то переношусь чрезъ нѣсколько столѣтій въ Новгородъ, слышу звонъ вѣчеваго колокола, сердце мое трепещетъ, я бѣгу на великую площадь, втираюсь въ толпу народную, съ негодованіемъ слушаю князя Холмскаго, попираю цѣпи и на вопросъ стражи: „кто идетъ? гордо отвѣчаю: вольный гражданинъ Новогородскій; то являюсь среди думныхъ бояръ царя Алексѣя Михайловича и вмѣстѣ съ ними избираю средства для спасенія отечества отъ бури Литовской“... „И наконецъ—прервалъ меня Любоміръ—находишь себя одного въ своемъ кабинетѣ—вотъ весело!“—„Я имѣю еще другія занятія,—отвѣчалъ я ему,—музыка. Вотъ божественное искусство, съ которымъ ничто кромѣ поэзіи не можетъ сравниться: я беру лиру, ударяю въ златыя ея струны и...—шумъ оружія, стукъ мечей, ужасный стонъ раненыхъ, конскій топотъ поражаютъ меня: я измѣняю тонъ и. . нѣжная свирѣль, теряющаяся въ отдаленности, радостныя пѣсни трудолюбиваго земледѣльца обворожаютъ слухъ мой... Но я понижаю струны и... члены мои колеблются: я чувствую удары землетрясенія, слышу ревъ волнующагося моря, трескъ ломающихся мачтъ, смѣшанный съ громомъ, скрипъ разрушающагося корабля, вопли несчастныхъ матросовъ, не зрящихъ себѣ спасенія... но вдругъ море утихло и вѣтры улеглися; избавленные плаватели воспѣваютъ благодарственный гимнъ Провидѣнію“...—„Прекрасно“—сказалъ Любоміръ,—„но музыка кончилась, ты уже ничего не слышишь и душа остается холодною, какъ ледъ“.—„Нѣтъ, другъ мой! Музыка оставляетъ въ душѣ глубокія и вмѣстѣ радостныя впечатлѣнія, которыхъ шумныя общества произвести не въ состояніи“.—„Согласенъ. Но можетъ ли она доставить

ту пріятность характера, которая дѣлаетъ человѣка любезнымъ въ большомъ свѣтѣ?—„По крайней мѣрѣ, музыкѣ обязанъ я пріятнѣйшими минутами моей жизни, съ ней забываю скуку и горесть и наслаждаюсь удовольствіями ни съ чѣмъ несравненными! Вотъ забавы, которымъ предаюсь я въ уединеніи! Итакъ, скажи, зачѣмъ я долженъ оставить его, зачѣмъ я долженъ истинное, постоянное счастіе перемѣнить на ложное и невѣрное?...“ [1]).

---

[1]) Рукописи П. Я. Дашкова: Ученическія тетради кн. В. О. Одоевскаго 1818—1821 г. Самый подборъ статей въ этихъ тетрадяхъ указываетъ на ранній энциклопедизмъ кн. Одоевскаго и на его склонность къ философскому міропониманію. Вотъ перечень ихъ: 1) Журналъ чтенія (6¹/₄ стр., о жизни М. Аврелія). 2) Сочиненіе на заданныя слова: Зима, столица, угрюмость, праздникъ, обращеніе въ свѣтѣ, веселость, уединеніе, пріятность характера (4 стр.). 3) Дамонъ и Пиѳій. Драма въ одномъ дѣйствіи. Соч. Беркена. Переводъ к. Влад. Одоевскаго. Москва. 1818-го г., декабря 12-го дня (33 стр.). 4) (Какая-то восточная повѣсть) (на 11 стр.), подп. Шомлистонъ. 5) Скупой. Комедія въ 5 дѣйствіяхъ. Сочиненіе Мольера. Москва 1819-го г. января 10-го дня (на 34 стр.). 6) (Какая-то піеса). Начато 1819-го г., янв. 31 дня (на 50 стр.), конецъ 1-го дѣйствія. Кончено сіе первое дѣйствіе 1819-го г. февраля 12-го дня. Дальше начинается съ 53 стр. конецъ второго дѣйствія (2 стр.); дѣйствіе III-е (12¹/₂ стр.). 7) О свѣтѣ. Извлечено изъ traité de physique experimentale et mathematique par Biot. Лекціи ад.-проф. Перевощикова. 1819. Москва (13 стр.). 8) Историческія замѣчанія о важномъ нравственномъ переворотѣ, происшедшемъ въ XVI столѣтіи. 1819. Съ нѣмецкаго. Начато 20 іюня (4 стр.). 9) Дурная слава. Повѣсть. 1819. (60¹/₂ стр.). 10) Скотолюбіе 4 стр. (неокончъ.). 11) Извлеченіе изъ перваго урока Риторики Блера (8 стр.). 12) Экстрактъ изъ второй половины III-го урока Риторики Блера. О высокомъ и величественномъ въ предметахъ (на 5 стр.). 13) (Выписки изъ Katerer, Historiographe Allemand) (на 4 листахъ). 14) Какія были начальныя понятія о космогоніи (на 2 стр.). 15) (Примѣры для переводовъ съ рус. на лат.) (10 стр.). 16). Отрывки изъ Виргилія. 1821 г. Отрывки изъ 6-й кн. Энеиды (7 стр.). 17) Переводы съ русскаго на греческій, 1821 г. (4 стр.). 18) Cahier pour les verbes (фр. спряженія, 16 стр.). 19) (Перев. упражн. съ лат. на русск. яз.) (4 стр.). 20) Переводы съ греч. 1821. Премудрость и благость въ отношеніи къ человѣку. Изъ Іоанна Златоуста (10 стр., лат. текстъ, немного по-русски). 21) Примѣры для троповъ (4 стр.). 22) (Отрывокъ изъ лекцій по вѣроученію (?) (на 4 стр.). 23) Мать и дочь или Почести Лувра. Повѣсть (вѣроятно

Здѣсь же, въ пансіонѣ, Одоевскій получилъ влеченіе къ философіи, какъ къ наукѣ, уясняющей смыслъ универсальной человѣческой жизни. Оканчивая курсъ ученія въ пансіонѣ, абитуріентъ Одоевскій произнесъ на публичномъ актѣ полную молодого энтузіазма рѣчь въ честь науки вообще и въ частности философіи. „Философія—,говорилъ онъ,—во всемъ блистаніи является какъ наука всеобщая, имѣющая вліяніе на всѣ другія; какъ наука разсматривающая нравственныя наши способности, ихъ дѣйствія, ихъ совершенствованіе, и всѣ наши обязанности въ отношеніи къ Всевышнему, къ ближнимъ нашимъ и намъ самимъ. И математика, и науки словесныя, и законовѣдѣніе, и политика отъ нея заимствуютъ свои силы, какъ планеты отъ источника свѣта—солнца; чѣмъ ближе къ нему, тѣмъ тѣснѣе онѣ соединены между собою, тѣмъ дѣйствіе ихъ сильнѣе, тѣмъ блескъ ихъ обширнѣе, благотворнѣе. Философія—мѣрило, которое мы можемъ примѣнить ко всѣмъ возможнымъ нашимъ познаніямъ: оно только можетъ опредѣлить вѣрность и невѣрность нашихъ мнѣній, и слѣдственно мы, понимая истину, бывъ въ ней увѣренными, съ большимъ правомъ, съ большею силою дѣйствуемъ на другихъ“ [1]).

Этой восторженной любви къ наукамъ вообще и въ частности къ философіи и искусству остается юный Одоевскій вѣренъ и въ жизни. Съ первыхъ же шаговъ его литературной дѣятельности его увлеченіе шеллингизмомъ, вынесенное изъ пансіона, даетъ себя чувствовать. Правда, уже въ 20-хъ годахъ его научныя занятія весьма разнообразны, но въ нихъ единая цѣль: они должны дать матеріалъ для выработки философскаго міросозерцанія. Въ эти годы Одоевскаго интересуетъ и алхимія, и астрологія, и природа человѣческаго го-

---

перев. съ фр., на 2 стр., начало). 24) Слово о полку Игоревѣ (начало, 1½ стр.). 25) Краткая выписка изъ журналовъ класса философіи съ сентября 8-го дня 1821 года по ноябрь (3 стр.. 26) (Отрывокъ изъ какой-то пьесы, на 6 стр., съ каррикат.). 27) (Ноты, на 4 стр.). Всего 323 стр.

[1]) Кн. В. Ѳ. Одоевскій. Рѣчь о томъ, что всѣ знанія и науки тогда только доставляютъ намъ истинную пользу, когда они соединены съ чистою нравственностію и благочестіемъ, М. 1822.

лоса, и микроскопическія изысканія надъ растеніями, и вопросы о наслѣдственности и воспитаніи, о всеобщемъ обученіи и воспитательныхъ домахъ [1]); но все это нужно ему лишь для того, чтобы проникнуть въ универсальную тайну бытія и ощутить духовное начало въ матеріи. Какъ истый шеллингистъ, Одоевскій вникаетъ въ природу, занимаясь естественными науками, но природа для него интересна постольку, поскольку она, какъ „неразвитая, безсознательная интеллигенція", скрываетъ въ себѣ нѣчто духовное, поскольку она есть „лѣстница, по которой духъ поднимается къ самому себѣ" [2]); поэтому Одоевскій любитъ въ мечтахъ представлять себѣ природу будущаго, когда въ этой „безсознательной интеллигенціи" все болѣе и болѣе будетъ сознаваться и сказываться духовное начало. Въ одномъ изъ „Петербургскихъ писемъ" онъ рисуетъ будущее торжество науки въ пятомъ тысячелѣтіи н. Р. Хр.: люди путешествуютъ на „электроходахъ" по „Гималайскому и Каспійскому туннелямъ"; русскіе этой эпохи ѣздятъ по воздуху на гальваностатахъ, воздушныхъ корабляхъ; у русскихъ есть министръ гальваностатики и министръ астрономіи [3]) и т. д. Въ другой поэтической фантазіи Одоевскій разсказываетъ о „зефиротахъ", человѣчествѣ четвертаго тысячелѣтія. Это—крылатые полулюди, живущіе на скалахъ; они красавцы; не говорятъ, а поютъ; не ѣдятъ обыкновенной пищи, а питаются запахомъ цвѣтовъ; цѣлуются и отъ поцѣлуевъ родятся дѣти; глазами, какъ сильнымъ электричествомъ, они могутъ испепелить предметъ; зефироты относятся къ людямъ, какъ высшія существа къ низшимъ,—ласкаютъ людей, какъ

---

[1]) Бумаги, перепл. 36 и 38. выписки рукою кн. Одоевскаго и его „Записная книга" за 1830—1833 гг.

[2]) Фалькенбергъ, Ист. нов. филос., стр. 394; Kuno Fischer, Schellings Leben, Werke und Lehre (=Geschichte der neuern Philosophie, VII) Heidelberg, 1902, s. 323—4: «Das Princip der Einheit von Natur und Geist».

[3]) Бумаги, перепл. 1: Петербургскія письма, письмо Ипполита Цунгіева, студента Главной Технической школы... отъ 27 дек. 4337 г., Константинополь. („Письмо", помѣченное „Годъ 4338-й", напечатано въ альманахѣ „Утренняя Заря" на 1840 г., стр. 307—352).

собакъ, и употребляютъ ихъ, какъ вьючныхъ животныхъ. для сбора пахучихъ цвѣтовъ на лугахъ [1].

Изъ обширной области шеллингизма юношу Одоевскаго интересуетъ однако не столько философія природы, сколько философія „тожества идеальнаго и реальнаго“ и ученіе о „свободѣ“, т. е. тѣ именно мотивы идеализма Шеллинга, которые проливали свѣтъ на самые насущные вопросы духовной жизни человѣчества въ настоящемъ и будущемъ; изъ философскихъ работъ Шеллинга за первый періодъ его творчества (1797—1800) вниманіе Одоевскаго особенно привлекаетъ та часть „Трансцендентальнаго идеализма“ въ которой Шеллингъ излагаетъ ученіе объ искусствѣ, какъ откровеніи тайны бытія. На этихъ мотивахъ шеллингизма строилъ юноша Одоевскій свое міровоззрѣніе, носящее въ себѣ всѣ признаки романтизма. Въ его юношескихъ мечтахъ и думахъ мы, дѣйствительно, встрѣтимъ всѣ основныя положенія романтическаго идеализма: и вниманіе къ человѣческой индивидуальности, и культъ національнаго духа, и настойчивую мысль о подчиненіи всей окружающей насъ дѣйствительности идеалу истины, добра и красоты. Но господствующее мѣсто въ его настроеніи занимаетъ все-таки послѣднее положеніе романтики, особенно ярко выраженное въ шеллингизмѣ, т. е. то положеніе, которое выше было названо романтическимъ универсализмомъ: и дѣятельность отдѣльнаго лица и историческая роль націи представляются Одоевскому лишь средствами къ достиженію универсальнаго блага для всего человѣчества, и мысль объ общечеловѣческомъ прогрессѣ всюду сквозитъ уже въ самыхъ раннихъ его произведеніяхъ. Въ этомъ отношеніи Шеллингъ былъ его наставникомъ. Въ юношескихъ произведеніяхъ Одоевскаго, частію на-

[1], Тамъ же, перепл. 4: Замѣчательная игра природы (Извѣстіе изъ получаемой въ Нью-Іоркѣ газеты «Chiapos Advertiser» 3860 года, издающейся въ Шіапо, провинціи Новой Испаніи между Мексиканскимъ заливомъ и Большимъ океаномъ). Напеч. въ Сѣв. Пчелѣ 1861, № 73; этотъ шутливый фельетонъ кн. Одоевскаго былъ ошибочно приписанъ въ Книжн. Вѣстн. 1865, № 22, перу П. Г. Аркапова (Русск. Арх. 1866, стр. 268).

печатанныхъ [1]), частію сохранившихся въ рукописяхъ, мы постоянно встрѣчаемся или съ пересказомъ ученія Шеллинга или съ варіаціями на темы шеллингизма. Одоевскій смотритъ на весь міръ съ точки зрѣнія „системы тожества". Въ одномъ рукописномъ отрывкѣ [2]) на эту тему находимъ слѣдующія размышленія: Двѣ стороны въ каждомъ явленіи: „это—самое явленіе и наблюдатель онаго, или мы"... „Совокупность всѣхъ явленій есть природа. Слѣдственно природа есть безпрестанное зрѣлище человѣческаго духа; жизнь духа—есть безпрерывное наблюденіе или созерцаніе"... „Условія всякаго явленія суть двѣ стороны: духъ и духъ въ предметѣ. Слѣдственно всякое явленіе есть безпрерывное противоборство между сими двумя сторонами: духъ стремится сдѣлать себя предметомъ, но вмѣстѣ

---

[1]) Перечень напечатанныхъ произведеній кн. Одоевскаго см. Бумаги, перепл. 31, 54, 56, 66, 73, 76, 77, 78, 79, 80; Д. Языковъ, Кн. В. Ѳ. Одоевскій, М. 1903, стр. 37 и сл.; И. А. Кубасовъ. стр. 107—109; подробный списокъ всего написаннаго Одоевскимъ и объ Одоевскомъ составленъ И. А. Кубасовымъ, но еще не напечатанъ. Въ теченіе 20-хъ годовъ были напечатаны, между прочимъ, слѣдующія произведенія Одоевскаго, характерныя для романтическаго универсализма молодого послѣдователя Шеллинга: въ 1820 г.—Отрывокъ изъ Лабрюера („Калліопа", М. 1820, ч. IV, стр. 226—230); въ 1821 г.—„Разговоръ о томъ, какъ опасно быть тщеславнымъ" (Вѣстн. Евр. 1821, ч. 117, № 7 и 8, отд. отт. М. 1821), „Премудрость и благость Божія въ отношеніи къ человѣку" (тамъ же; въ 1822 г.—„Рѣчь о томъ, что всѣ знанія"... отд. М. 1822, „Отрывки изъ Лабрюера" (Вѣстн. Евр. 1822, ч. 126), „Письма къ Лужницкому Старцу (Вѣстн. Евр. 1822, ч. 125 и 126); въ 1823 г.—„Дни досадъ" (Вѣстн. Евр. 1823, ч. 129), Объявленіе о „Мнемозинѣ" (Вѣстн. Евр. 1823, ч. 6, стр. 316—8); въ 1824 г.—„Мнемозина" рядъ статей Одоевскаго), „Четыре апологa", М. 1824, „Нѣсколько словъ о кантатахъ Верстовскаго" (Вѣстн. Евр. 1824, № 1), Рецензія на трудъ М. А. Максимовича „Главныя основанія зоологіи, или науки о животныхъ", М. 1824 (Сынъ Отеч. 1824, ч. 95, № 31, стр. 227—230); въ 1827 г.—„Смерть и жизнь" (Сѣв. Лира на 1827 г.); въ 1829 г—„Утро ростовщика", отрыв. изъ романа (Моск. Вѣстн. 1829, ч. II, стр. 147—159); съ 1831 года появляются отдѣльные разсказы, вошедшіе потомъ въ составъ „Русскихъ ночей".

[2]) Бумаги, перепл. 9, ст. 11: Гномы XIX столѣтія. Къ этимъ *гномамъ*, трактующимъ о двухъ сторонахъ въ каждомъ явленіи, авторъ присоединилъ и графическое изображеніе схемы соотношенія между „духомъ и духомъ въ предметѣ".

пребыть и духомъ, такъ что въ каждомъ явленіи три момента: духъ устремляется къ предмету, духъ становится тождественъ съ предметомъ, предметъ возвышается къ духу". Универсальная цѣль человѣческой жизни и человѣческой исторіи—гармонія двухъ противоположныхъ началъ, матеріи и духа, реальнаго и идеальнаго; ихъ абсолютное единство есть высочайшая ступень развитія мірового порядка. На пути къ этой величайшей цѣли, обусловливающей универсальное человѣческое счастье, каждый индивидуумъ можетъ принять участіе въ общечеловѣческой работѣ. Но чтобы содѣйствовать универсальному благу, нужно то высокое самоотверженіе, при которомъ индивидуальное и національное я, не утрачивая своего сознанія, подчиняются универсальному единству, выражаемому всѣмъ человѣчествомъ, вмѣстѣ взятымъ.

Мысль о такомъ высокомъ и самоотверженномъ служеніи универсальному человѣчеству является центральнымъ пунктомъ въ міровоззрѣніи кн. Одоевскаго уже въ раннихъ его произведеніяхъ. Выясняя себѣ сущность этого служенія, онъ, по обыкновенію, исходитъ изъ ученія Шеллинга о двухъ мірахъ—чувственномъ или конечномъ и сверхчувственномъ или безконечномъ—и о двухъ стихіяхъ человѣческой природы—темной и свѣтлой, реальной и идеальной. Двумъ началамъ человѣка соотвѣтствуютъ и двѣ воли. „Каждая вещь имѣетъ въ себѣ два начала: собственную волю, которую она почерпаетъ изъ природы въ Богѣ, и универсальную волю, которую получаетъ отъ Божественнаго ума. Въ Богѣ темное и свѣтлое начало находятся въ неразрывномъ единствѣ; въ твореніи они раздѣляются, но человѣкъ въ своей свободной волѣ имѣетъ силу соединить оба эти начала, подчинить самость свѣту, отдѣльную волю очистить такъ, что выйдетъ воля любви" [1]). Одоевскій облекъ это ученіе о двухъ началахъ и воляхъ въ человѣкѣ въ форму поэтическаго разсказа „О духахъ кардіадахъ и эвпридахъ" [2]).

---

[1]) Фалькенбергъ, стр. 409; K. Fischer, s. 640—644: „Die Natur in Gott".

[2]) Бумаги, перепл. 4; разсказъ помѣченъ въ рукописи 1826-мъ годомъ.

Въ человѣкѣ живутъ два рода духовъ; одни изъ нихъ — кардіады, а другіе — эфириды. Кардіады живутъ въ сердцѣ человѣка, сопровождаютъ его съ рожденія до смерти, „образуютъ его характеръ, его внутреннее устройство“. Эфириды — живутъ въ мечтахъ человѣка; „нѣтъ имъ ни особеннаго образа, ни особенныхъ свойствъ; нѣтъ для нихъ ни времени, ни пространства; они разнообразны, безконечны, дѣятельны, какъ природа, имъ подчиненная“; поэтому и картина живописца, и музыкальный звукъ, и смѣлый порывъ мысли — имѣютъ своего эфирида-представителя. Тѣ и другіе духи враждуютъ между собою, — борьба ихъ „безконечная“ и „споръ до сихъ поръ нерѣшенный“. Кардіады думаютъ, что центръ всего человѣка его сердце; они „видятъ въ каждомъ человѣкѣ вселенную“; они „стремятся закрыть отъ человѣка все его окружающее“ и порождаютъ „любовь къ самому себѣ“, „забвеніе другихъ людей“. Эфириды, наоборотъ, любятъ человѣчество, хотятъ уничтожить (sic) человѣка во вселенной; они исторгаютъ человѣка изъ собственнаго его сердца, рождаютъ въ немъ самоотверженіе, забвеніе собственной жизни, презрѣніе ко всему ограниченному; они возжигаютъ въ душѣ его мысль, что человѣку тѣсенъ міръ сей; мчатъ его въ ту страну, никогда не достигаемую, гдѣ движется огромная ось вселенной, непостижимая чувствомъ. Они навѣваютъ на человѣка мечтанія, рядами міровъ отдѣленныя отъ окружающихъ его предметовъ, и тогда человѣкъ дивится, откуда явилась мысль, никогда ему еще не являвшаяся; они производятъ на лицѣ человѣка тѣ безпрестанно, какъ молнія, измѣняющіяся движенія, которыхъ не въ состояніи приковать къ полотну быстрѣйшая кисть живописца. Борьба этихъ духовъ ложится тяжелымъ гнетомъ на настроеніе человѣка; онъ дѣлается мизантропомъ, если въ немъ борьба продолжается постоянно; безумцемъ, если одолѣваютъ эфириды, и злодѣемъ, если одолѣваютъ кардіады. Бываютъ однако моменты, когда оба начала въ человѣкѣ соединяются въ гармоничномъ тожествѣ, когда „самость подчиняется свѣту“ и изъ „воли отдѣльной“ выходитъ „воля любви“. Тогда „эфириды простираютъ руку любви кардіадамъ; любовь ихъ продол-

жается одно мгновеніе, и сіе мгновеніе рождаетъ въ человѣкѣ то состояніе, которое мы зовемъ вдохновеніемъ. Людей, рожденныхъ въ сіе счастливое мгновеніе, называютъ любимцами неба; въ сіе скоропроходящее время человѣкъ силою становится ровенъ вселенной,—ощущаетъ въ себѣ возможность совершить новую; въ сіе-то время зарождаются въ душѣ его возвышенныя мысли, сильныя чувствованія, зарождаются тѣ произведенія, которыя переживаютъ вѣка".

Эта поэтическая сказка о двухъ началахъ и волях въ человѣческой природѣ пересказывается Одоевскимъ, нѣсколько позже, въ формѣ обыкновеннаго отвлеченнаго разсужденія въ духѣ шеллингизма. Въ „Записной книгѣ 1829—1831 г." встрѣчаемъ нѣсколько страницъ, посвященныхъ данной темѣ [1]). Доказательство вѣчности души, говоритъ здѣсь Одоевскій, это „ея общность", т. е. универсальная воля, свѣтлое начало эоиридовъ. Индивидуальный характеръ проявляется на поверхности человѣка, но въ глубинѣ души „какъ идеи существуютъ вмѣстѣ всѣ добродѣтели, всѣ пороки"...: „тамъ ни одинъ изъ сихъ элементовъ не первенствуетъ, но находится въ такомъ же равновѣсіи, какъ въ природѣ"... Такимъ образомъ въ человѣкѣ два начала — индивидуальное и универсальное, или „индивидуальность и общность". Общность и индивидуальность вызвали двоякое толкованіе: одни — какъ Гельвецій — полагаютъ, что „всѣ люди съ равными качествами родятся на свѣтъ"; другіе—что все зависитъ отъ развитія организаціи лицъ. Но оба мнѣнія не полны: „душа равна у всѣхъ людей, но различны индивидуальные характеры, сквозь которые мы ее видимъ". Отсюда споры и вражда между людьми.

Однако, несмотря на столкновенія отдѣльныхъ индивидуальностей, въ универсальныхъ человѣческихъ отношеніяхъ возможна гармонія. Одоевскій, слѣдуя Шеллингу, видитъ откровеніе этой гармоніи въ искусствѣ и въ философіи, а тѣмъ

[1]) Бумаги кн. Одоевскаго, перепл. 36, Записная книга съ 1829 по 1831 г.: разсужденіе подъ буквою „Д", помѣченное вверху страницы датою „1830 мая 16 (6?)"; писано рукой кн. Одоевскаго, съ поправками, кое-что вачеркнуто и характера выписокъ изъ книгъ не имѣетъ.

самымъ и въ религіи, объединяющей оба эти органа міровой тайны. Провозвѣстниками гармоніи въ человѣческой жизни являются такимъ образомъ поэты и философы. Поэтъ умѣетъ соединить въ гармоничное цѣлое кардіадовъ и эонридовъ своего существа: при наличности своей индивидуальной природы онъ въ высшей степени способенъ понимать и сокровенную общность всего человѣчества, потому что онъ носитъ эту величественную тайну въ своей душѣ. Вотъ почему онъ долженъ быть самобытенъ и независимъ отъ другихъ людей: онъ самъ себѣ довлѣетъ, потому что все носитъ въ себѣ. Поэтому „наука поэта не книги, не люди, но собственная душа его; книги и люди могутъ лишь ему представить предметъ для сравненія съ тѣмъ, что находится въ немъ самомъ; кто въ душѣ своей не отыщетъ отголоска какой-либо добродѣтели, какой-либо страсти, тотъ никогда не былъ поэтомъ, или, другими словами, никогда не достигалъ до глубины души своей". Такимъ образомъ поэтъ по глубинѣ самопознанія близокъ къ философу, и, наоборотъ, философъ въ этомъ отношеніи сродни по своей духовной природѣ поэту. Разница между ними заключается только въ томъ, что поэтъ „выноситъ на свѣтъ сокровища изъ ихъ таинственнаго святилища", философъ же „совершаетъ свои таинства лишь внутри святилища". Религія объединяетъ то и другое: она „выноситъ на свѣтъ нѣкоторыя изъ своихъ таинствъ и завѣсою закрываетъ другія". Отсюда въ религіозномъ человѣкѣ наблюдается „нѣчто поэтико-философическое". Въ древнія времена религія была мать поэзіи и философіи, въ среднія „онѣ платили ей дань, поддерживая ее", въ новѣйшія — „онѣ стремятся замѣнить ее", въ будущемъ — „онѣ снова сольются съ ней". Совершая таинства внутри святилища своей души или вынося на свѣтъ свои сокровища изъ ихъ таинственнаго святилища, философъ и поэтъ тѣмъ самымъ являются совершенно свободными; но какъ бы ни казалось своеобразнымъ или даже ложнымъ ихъ свободное творчество въ силу индивидуальныхъ особенностей того или другого творца,—все равно ихъ произведенія, взятыя вмѣстѣ, ведутъ къ одной истинной цѣли, откровенію тайны

бытія, общности человѣческой природы, гармоніи человѣческихъ отношеній. „Каждая система, каждое произведеніе, взятыя отдѣльно, могутъ быть ложными или безобразными, истинными или изящными, ибо они выражаютъ индивидуальный характеръ лица; но всѣ системы вмѣстѣ, всѣ произведенія поэзіи не могутъ быть ни истинными, ни ложными, ни изящными, ни безобразными, — они, какъ творецъ вселенной, не имѣютъ индивидуальнаго характера. Оттого душа человѣка (по своей „общности“) божественна. Оттого высоко званіе человѣка, а тѣмъ болѣе поэта или философа, какъ жрецовъ святилища, наиболѣе близкихъ къ божеству“. Отсюда выводъ: философы и поэты, въ особенности послѣдніе, вносятъ гармонію въ двойственность человѣческой природы и человѣческихъ отношеній. „Поэты одни мирятъ людей между собою, открывая завѣсу съ тайниковъ души“, и „если бы ее сорвать совершенно, то тогда всѣ бы споры и всѣ бы вражды прекратились; но сіи споры и вражды суть жизнь политическаго общества;—оттого Платонъ и изгонялъ изъ онаго поэтовъ“... Кто же primus inter pares? Поэтъ или философъ? Поэтъ не проникаетъ такъ глубоко въ душу, — часть времени онъ употребляетъ, чтобы „облечь сокровище души въ образы“; философъ проникаетъ глубже, но образовъ не творитъ, а если и становится на минуту поэтомъ, то ищетъ образовъ, „наиболѣе близкихъ къ чистому идеалу души и слѣдственно неприступныхъ для толпы“. Впрочемъ, „въ будущей религіозной эпохѣ человѣчества они (т. е. поэтъ и философъ) сольются воедино; но мы того такъ же постигнуть не можемъ, какъ наши праотцы не могли постигнуть, что изъ религіи разовьется поэзія и философія, что въ звукахъ кромѣ мелодіи есть гармонія, или, лучше, что мелодія во чревѣ своемъ носила гармонію“.

Въ ожиданіи этого будущаго сліянія поэзіи и философіи молодой шеллингіанецъ всетаки всецѣло склоняется своими симпатіями въ сторону искусства, на которое смотритъ философскими глазами своего учителя Шеллинга. Искусство для него является, согласно ученію Шеллинга, „высшимъ проявленіемъ духовной дѣятельности человѣчества. По мнѣнію Шел-

линга, искусство „открываетъ философу первоначальную связь природы и исторіи, жизни и дѣятельности, дѣйствительнаго и идеальнаго“ и, слѣдовательно, имѣетъ своей задачей въ конечномъ образѣ изобразить безконечную идею тожества міра реальнаго и идеальнаго. Подъ перомъ Одоевскаго это положеніе принимаетъ такую форму [1]): Искусство не есть,—говоритъ онъ,—подражаніе природѣ,—подражая природѣ, можно описывать мельчайшія подробности, но не схватить „главнаго свойства природы: цѣльности и полноты“. „Такая цѣльность можетъ быть лишь въ искусствѣ, когда на него смотримъ, какъ на особенный міръ, имѣющій свои особенныя свойства и законы; а законы сіи совершенно противоположны природѣ. Сія въ одно мгновеніе заключаетъ вѣка и пространства; искусство, напротивъ, каждое мгновеніе изучаетъ какъ произведеніе вѣковъ и пространства“. Отсюда уже само собой является и отрицаніе всякой теоріи для искусства, которое по самой сущности своей стоитъ выше всякихъ правилъ [2]). „Едва ли возможна теорія изящнаго. Всякій предметъ мы можемъ представить теоретически и выразить. Но точно такъ же, какъ основаніе высшей идеи философіи есть самая сія идея,—такъ точно основаніе изящнаго находится лишь въ самомъ произведеніи. Это—какъ цвѣта бѣлый и черный по краямъ ряда призматическихъ цвѣтовъ. Они суть родоначальники всѣхъ цвѣтовъ между ними находящихся, но сами не видимы“. Но разъ созданія искусства свободны и независимы, слѣдовательно они и разнообразны, насколько разнообразны условія мѣста и времени, въ которыхъ проявляется „цѣльность и полнота“ природы. Произведеніе изящнаго есть какъ бы плодъ дерева. Въ каждомъ плодѣ отражается „сущность природы“; поэтому

---

[1]) Бумаги... перепл. 36, Зап. книга 1829—31: разсужденіе подъ буквою „И“. Теорія искусства уже и раньше занимала Одоевскаго: въ 1825 году, въ мартѣ, онъ показывалъ И. М. Снегиреву „свое предначертаніе эстетики по новымъ началамъ“ (Русск. Арх. 1902, II: Дневникъ И. М. Снегирева, замѣтка подъ 10-мъ марта 1825 г.).

[2]) Дальнѣйшія разсужденія о теоріи изящнаго помѣчены въ „Записной книгѣ“ (Бумаги, перепл. 36) 1831-мъ годомъ.

„каждое изящно въ своей сферѣ, какъ произведеніе (искусства), такъ и плодъ“ (дерева). Разница только въ томъ, что на виноградную кисть природа употребила больше своихъ силъ, чѣмъ на плодъ хлѣбной плѣсени. Отсюда слѣдуетъ, что понятіе красоты, понятіе „нравиться“ въ искусствѣ является „относительнымъ“, а не „безусловнымъ“. Венера готтентота можетъ для насъ быть хуже Медицейской, потому что она не „соотвѣтствуетъ сферѣ, въ которой мы находимся“ [1]).

Итакъ искусство воплощаетъ въ себѣ сущность и гармонію жизни примѣнительно къ данному времени и его условіямъ. Провозвѣстникомъ же этой сущности является поэтъ. „Поэтъ—пророкъ“, говоритъ кн. Одоевскій [2]). „Въ минуту вдохновенія онъ познаетъ сигнатуру періода того времени, въ которомъ живетъ онъ, и показываетъ цѣль, къ которой должно стремиться человѣчество, дабы быть на естественномъ пути, а не на противоестественномъ. Всѣ прочіе люди только исполнители. Оттого стихія поэзіи должна вопреки Платону входить въ составъ политическаго общества“... „Въ различіи этой мысли съ мыслію Платона видно различіе стараго общества отъ новаго“. Создавая свое произведеніе, поэтъ-пророкъ въ силу самаго характера вдохновенія не можетъ подчиняться какимъ-либо разсчетамъ или правиламъ, но единственно указаніямъ своей мощной духовной природы. „Главнѣйшая ошибка теоріи классицизма“ — холодное, математически-расчетливое отношеніе къ произведенію, подражаніе природѣ и образцамъ. Романтики (какъ Шатобріанъ) отказались отъ правилъ, но не освободились еще отъ „привычки къ предшествующимъ разсчетамъ“... Поэтъ, „пораженный сильнымъ впечатлѣніемъ, долженъ писать тотчасъ, не медля, и изъ его темной мысли разовьются новыя явленія для него самого неожиданныя, крывшіяся въ индивидуальности его духа“. Для возвышеннаго искусства нѣтъ правилъ, но есть средство; средство это языкъ искусства, который въ особенно-

---

[1]) Ср. § 35 „Опыта“ Галича, гдѣ говорится объ „измѣненіи красоты въ явленіи“: И. Замотинъ, Романтизмъ двадцатыхъ годовъ..., изд. 2-е, стр. 110.

[2]) Зап. кн. 1829—31, подъ буквою „П“.

сти присущъ музыкѣ. „Кромѣ языка обыденнаго, говоритъ Одоевскій, которымъ нельзя выразить, напр., чувство благоговѣнія, чувство восторга, идею „сущности существованія“ (если попробовать выразить словами, то смыслъ исчезаетъ: „вы видите рядъ словъ, какъ геометрическую безконечную прогрессію, которой не можете отыскать послѣдняго члена“),— кромѣ этого языка „долженъ быть какой-то другой языкъ, котораго части рѣчи скрыты въ архитектурѣ, въ поэзіи, въ музыкѣ. Какой же это языкъ? Его свойства: неопредѣленность, безконечность, обширность; — эти свойства мы замѣчаемъ въ стихотвореніи, еще болѣе въ живописи, еще болѣе въ архитектурѣ, еще болѣе въ музыкѣ. Слѣдственно, языкъ музыки приближается наиболѣе къ сему внутреннему языку, на которомъ есть выраженіе для идей, — почему музыка есть высшая наука и искусство. Будетъ время, когда, можетъ быть, всѣ способы выраженія сольются въ музыку. Древніе какъ бы предчувствовали темно это, соединивъ всѣ науки подъ общее названіе музыки“.

Такимъ образомъ вниманіе юнаго мыслителя сосредоточено всецѣло на идеѣ гармоніи универсальной человѣческой жизни и ея провозвѣстникахъ—поэтахъ и философахъ, натурахъ геніальныхъ, стоящихъ неизмѣримо выше обыкновенныхъ требованій и условій жизни. Культъ геніальности поэтому присущъ Одоевскому такъ же, какъ и другимъ представителямъ эпохи романтизма; но индивидуализмъ подъ перомъ кн. Одоевскаго всегда получаетъ универсальный смыслъ, потому что геніальная личность, по его мнѣнію, есть прежде всего откровеніе смысла жизни и орудіе для достиженія общечеловѣческаго блага. „Великіе художники“, говоритъ Одоевскій въ отрывкѣ, посвященномъ Берліозу [1]), „являются въ міръ ненарокомъ; они имѣютъ нѣчто общее съ тѣми рѣдкими, необыкновенными явленіями въ природѣ, которыми такъ дорожатъ естествоиспытатели, ибо въ эти минуты природа, въ полномъ напряженіи, въ полномъ развитіи своихъ силъ, выдаетъ наблюда-

[1]) Бумаги кн. Одоевскаго, перепл. 2: Берліозъ какъ художникъ.

телю свои завѣтныя тайны, тайны скрытыя въ обыкновенномъ теченіи вещей". Поэтически изображается геніальная личность у кн. Одоевскаго въ образѣ восточнаго мага, древняго или средневѣковаго странствующаго артиста. Такой пріемъ вообще былъ принятъ въ литературѣ романтизма: избранная натура обыкновенно облекалась въ образъ пророка, аскета, одинокаго мыслителя-художника. Одоевскій слѣдуетъ въ данномъ отношеніи общему примѣру; въ частности, можетъ быть, эту художественную форму подсказала ему книга Тика и Вакенродера „Размышленія отшельника" (т.-е. „Phantasien über die Kunst, von einem kunstliebenden Klosterbruder", herausgegeben von Ludw. Tieck), переведенная въ 1826 году Шевыревымъ, Титовымъ и Мельгуновымъ [1]). Въ рукописяхъ Одоевскаго есть отрывки неоконченнаго „романа въ нравахъ XVI-го столѣтія" [2]). Этотъ романъ, озаглавленный „Іорданъ Бруно и Петръ Аретино", представляетъ собою параллель къ выше названной книгѣ Вакенродера-Тика, къ „Странствованіямъ Штернбальда" Тика, къ „Генриху фонъ-Офтердингенъ" Новалиса и другимъ подобнымъ произведеніямъ, рисующимъ субъективный міръ избранной натуры. Въ романѣ несомнѣнно много личнаго, авторскаго. Въ главѣ „Путешествіе" описывается духовное одиночество Джордано, скорбное и величавое одиночество, близко напоминающее такое же состояніе художественной натуры въ „Размышленіяхъ отшельника" и въ „Странствованіяхъ Франца Штернбальда". „Какъ сильно, какъ привлекательно чувство одиночества въ человѣкѣ", такъ начинаетъ

[1]) П. Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, II, стр. 105.

[2]) Бумаги кн. В. Ѳ. Одоевскаго, переплетъ 1: „Іорданъ Бруно и Петръ Аретино, романъ въ нравахъ XVI-го столѣтія. Планъ начатъ въ 1825-мъ году; исполненіе начато 1827-го года мая 11-го". Окончены двѣ первыя главы; остальное въ отрывкахъ; многія мѣста рукописи посвящены двору Медичисовъ, панѣ Льву X; приведено много фактовъ изъ итальянской исторіи и изъ эпохи реформаціи, есть упоминанія объ Лютерѣ; рукопись читается съ трудомъ. Весьма характерно, что русскій шеллингіанецъ воплощаетъ свои философскія думы въ личность Джордано Бруно, т.-е. того именно философа, который играетъ видную роль въ развитіи ученія Шеллинга.

авторъ описывать настроеніе Бруно. „Когда исчезнутъ досадныя, часто ослабляющія душу, часто унижающія ее, впечатлѣнія, производимыя другими людьми, человѣкъ возвращается въ свое сердце, какъ царь въ свое владѣніе, какъ отецъ въ свое семейство. Тогда онъ чувствуетъ, что онъ уединенное твореніе на землѣ, которому ничто не сочувствуетъ въ природѣ, но сильное и возвышенное, что онъ не долженъ ожидать отъ нея братскаго участія, но силою воли заставить непокорную рабу исполнить его велѣнія. Тогда цѣлый духовный міръ воспроизводитъ душа его и населяетъ міръ видимый существами по своему образу и подобію. Такъ было въ душѣ Джіордано, когда онъ чрезъ врата св. Іоанна вышелъ въ окрестности Рима на Неаполитанскую дорогу". Для такой натуры жизнь души составляетъ насущную потребность и, какъ душевныя радости, такъ и душевное горе бываютъ особенно выразительны и величественны. „Отличительною чертою нашего героя была безъ сомнѣнія дѣятельность души, которая ни на минуту не позволяла ему быть праздными; малѣйшій предметъ могъ остановить его вниманіе и возбудить въ немъ цѣлый рядъ мыслей, каждый предметъ могъ ему служить источникомъ наслажденій, непонятныхъ людямъ съ другимъ характеромъ"... Но если въ одинокой душѣ возникаютъ „тучи", „тлетворные вѣтры",—то куда укрыться? „За пустынею души нѣтъ пространства", тогда въ душѣ—тишина хуже могильной, „сонъ страшный безъ сновидѣній, безъ сладости"... „Такимъ сномъ спала душа Бруно. Не было мыслей въ его головѣ, не было чувствъ въ сердцѣ"...

Одиночество избранной натуры, служащей универсальнымъ задачамъ человѣческой жизни, однако озаряется сознаніемъ возвышенной цѣли существованія. Эта сторона геніальности намѣчена кн. Одоевскимъ уже въ его „апологахъ" 1824 г. [1]). Въ первомъ апологѣ („Дервишъ") рисуется такая картина: по „излучистой" дорогѣ, среди пропастей и стремнинъ, въ густомъ мракѣ идетъ дервишъ съ свѣтильникомъ въ рукѣ.

[1]) „Четыре апологa", сочин. кн. В. Одоевскаго, М. 1824.

За нимъ слѣдуютъ многіе, но большая часть проклинаетъ его: „одни завидовали его свѣтильнику, другіе роптали, зачѣмъ идетъ онъ не путемъ, ими избраннымъ, зачѣмъ не для нихъ попираетъ тернія, не имъ освѣщаетъ; иныхъ же обманывалъ издалека мерцавшій свѣтильникъ,—они совращалися съ собственнаго пути, не попадали на путь дервиша и низвергалися въ пропасти. Дервишъ не внималъ ни благословеніямъ, ни проклятіямъ; холодный, безстрастный не примѣчалъ стона ниспадающихъ: не для освѣщенія ничтожной толпы несъ онъ свѣтильникъ, не для нея подавлялъ тернія,—взорамъ, воображенію, уму, всѣмъ чувствамъ, всѣмъ движеніямъ души его представлялась цѣль, къ которой онъ стремился. Для нея позабывалъ онъ все подлунное и, если вспомоществовалъ своимъ спутникамъ, то потому только, что не могъ къ ней стремиться и въ то же время не подавлять тернія, не освѣщать свѣтильникомъ. Мудрый! ужели добродѣтели простолюдина цѣль твоихъ дѣйствій?... Толпа безсмысленная, приравнивая тебя къ себѣ, ищетъ въ тебѣ сихъ добродѣтелей, слѣпой взоръ ея не замѣчаетъ..... Но не твоя ли добродѣтель возвышеннѣе всѣхъ прочихъ?.. Совершенствованіе! Добродѣтель мудраго!.. ты, въ которой поглощаются и благотворительность, и милосердіе, и любовь къ ближнему!.. Онъ не можетъ стремиться къ тебѣ и въ то же время не быть милосердымъ, не благотворить человѣчеству, но ты—единая цѣль пламеннаго его стремленія!..“ Въ этихъ послѣднихъ строкахъ высказывается уже основная мысль всего міровоззрѣнія Одоевскаго: избранникъ Божій, провозвѣстникъ гармоніи жизни долженъ намѣтить себѣ самую возвышенную цѣль; эта цѣль — личное совершенствованіе, которое неизбѣжно связано съ любовью къ ближнему и благотвореніемъ человѣчеству. Будущій благотворитель въ теоріи и на практикѣ обозначается уже въ юномъ Одоевскомъ на фонѣ размышленій и мечтаній въ духѣ шеллингизма.

Возвышенныя цѣли генія однако остаются непонятными для толпы, и вотъ отсюда возникаетъ третій мотивъ въ жизни геніальной натуры — безучастное и даже жесткое отношеніе

къ ней темной людской массы. Аллегорически поясняется это Одоевскимъ въ апологѣ „Солнце и Младенецъ“. Младенецъ слышитъ, какъ отецъ хвалитъ солнце.—„За что ты хвалишь солнце, отецъ мой?“ спросилъ младенецъ.—Старецъ улыбнулся. „Какъ не хвалить его? смотри: теперь все затихло въ деревнѣ, даже листъ на деревѣ не шелохнется, и голуби перестали ворковать на колокольнѣ,—все уснуло, но завтра вспрянетъ солнце, и всѣхъ пробудитъ, согрѣетъ, освѣтитъ; не будь его—и мы всѣ спали бы сномъ непробуднымъ“. Этихъ словъ не забылъ младенецъ; на другой день еще едва начинало свѣтать, а онъ уже стоялъ у двери хижины и съ нетерпѣніемъ ожидалъ восхода солнечнаго. Солнце взошло, но густые туманы скрывали лицо его; между тѣмъ все ожило, встрепенулось, раздался первый утренній шумъ... Улыбка слабоумнаго негодованія разлилася по лицу младенца. „Какую же неправду сказалъ отецъ мой:—воскликнулъ онъ—солнце сегодня и не думало всходить, а никто о немъ и не заботится, все попрежнему идетъ своимъ чередомъ“... Возвышенныя умствованія геніевъ — друзей человѣчества! (восклицаетъ авторъ) сколь ничтожны вы въ глазахъ простолюдина! Онъ окруженъ вашими благодѣтельными дѣйствіями: безъ васъ и мразъ бы оледенилъ его тѣло, мракъ ослѣпилъ бы его, вамъ обязанъ онъ и своимъ покоемъ и довольствомъ, и всѣми прелестями жизни, — даже минутными; но туманы предразсудковъ скрываютъ васъ отъ глазъ его; онъ безпечно наслаждается благами, вами производимыми, и не ищетъ ихъ начальной причины; слабоумный, онъ смѣется, когда мудрый говоритъ ему, что вы единая вина его счастія!..“ Непониманіе заслугъ генія иногда смѣняется недоброжелательствомъ къ нему, ненавистью, озлобленіемъ Два мага въ апологѣ того же названія „вызвались исполнить царскую волю“—изобрѣсти „питіе, подающее жизнь долгую и вѣчное здравіе“. И вотъ „одинъ изъ маговъ не щадилъ трудовъ своихъ, призвалъ на помощь всѣ силы искусства и природы; день и ночь погруженный въ размышленія надъ древними свитками, онъ пожертвовалъ всѣми наслажденіями жизни для цѣли высокой и, наконецъ, достигнулъ ея.

Другой, напротивъ, погрязнувши въ земныхъ увеселеніяхъ, не думалъ о порученномъ, и безпечно расточилъ казну царскую и юное здравіе. Истощенный болѣзнями, входитъ онъ въ храмину своего соперника, видитъ сосудъ съ драгоцѣннымъ питіемъ, приближается и—опрокидываетъ его.—„Пусть, восклицаетъ онъ, задыхаясь отъ гнѣва, пусть вѣкъ не прерутся и мои страданія; пусть и родъ человѣческій лишится надежды на вѣчное счастіе; но не будетъ кичиться мой соперникъ!“ Такъ невѣжество во прахъ обращаетъ всѣ усилія мудраго!“

Геніальный труженикъ, работающій на пользу универсальнаго человѣчества, долженъ всегда помнить, что между нимъ и заурядной людской массой лежитъ цѣлая пропасть и что суровое одиночество, сопровождавшее его творческій трудъ въ молодые годы, ждетъ его и подъ старость. Эту мысль выразилъ Одоевскій въ слѣдующемъ отрывкѣ не оконченной повѣсти, подъ заглавіемъ „Отшельникъ Виченціо“. У окна кельи въ монастырѣ св. Бернарда сидитъ отшельникъ и задумчиво смотритъ на печальные снѣга Альпъ. „Онъ достигъ того возраста, когда уравновѣшиваются всѣ силы человѣка“ и „наступаетъ та торжественная минута жизни, когда таинственная мысль предвѣчной жизни, присутствовавшая при рожденіи человѣка, является во всемъ блескѣ своего развитія, минута—послѣ которой постепенно вянутъ силы и ихъ ослабленіе говоритъ о днѣ, когда человѣкъ дѣлается уже безполезнымъ орудіемъ въ рукахъ вседвижущаго Бытія“. Виченціо прожилъ дѣятельную жизнь юности: онъ увлекался поэзіей и живописью; „возвышенные помыслы любомудрія волновали его душу“; онъ ощущалъ въ себѣ „гордость самосвѣдѣнія“. „Онъ постигнулъ ту силу, которая вырываетъ у природы сокровеннѣйшія изъ ея таинствъ, волшебное сродство мысли съ выраженіемъ было ему легко и понятно, и полотно оживало подъ его рукою, гармонія чувства переливалась въ звуки, и глубокія умозаключенія предупреждали открытія человѣчества“. Но люди не поняли его, онъ не понялъ людей,—между нимъ и людьми пропасть... Онъ удаляется въ монастырь, и тихая

обстановка обители, картины снѣжныхъ Альпъ отвѣчаютъ „мертвымъ бурямъ, воздымавшимся въ пустынѣ его сердца“ [1]).

Итакъ между личностью незаурядной натуры и личностью рядового человѣка—цѣлая пропасть. Тѣмъ не менѣе невидимыя нити связываютъ ихъ въ одно гармоническое цѣлое: и геній и человѣкъ массы различными средствами одинаково могутъ стремиться къ личному совершенствованію и счастью и въ различной степени служить одной задачѣ, осуществленію гармоніи жизни. Аллегорически это положеніе выражено Одоевскимъ въ рукописномъ отрывкѣ подъ заглавіемъ „Филологическій опытъ“ [2]). Вотъ содержаніе отрывка. Передъ нами двѣ картины. Подъ низкимъ сводомъ работаетъ алхимикъ; въ раскаленномъ устьѣ печи виденъ дивный сосудъ, въ немъ—завѣтная тайна. Алхимикъ-труженикъ презираетъ „міръ житейскій“ и его „скудельныя наслажденія“. На террасѣ ближняго дома двое влюбленныхъ, лютня, цвѣты, локоны, сладострастные поцѣлуи, шопотъ. Они, эти влюбленные, презираютъ строгое келейное дѣло алхимика. Луна, опустѣвшія улицы. Идетъ прохожій. Тревожно заходитъ то въ одинъ домъ, то въ другой, всюду желая оказать помощь, всѣхъ призрѣть. Прохожій невольно остановился передъ двумя картинами, передъ этими „полярными“ противоположностями, выражаясь языкомъ шеллингизма: взглянулъ на келью труженика, на міръ любви юныхъ счастливцевъ, всѣхъ благословилъ на радость и счастье и... продолжалъ путь свой... Мысль о возвышенномъ благотвореніи универсальному человѣчеству опять какъ Leitmotiv настойчиво выступаетъ на первый планъ и въ этомъ наброскѣ автора: истинная филантропія есть служеніе счастью людей во всѣхъ его проявленіяхъ, она „призрѣваетъ всѣхъ“ и на всѣхъ низводитъ благословеніе, полное любви и кротости.

И избранныя и дюжинныя натуры—обѣ преслѣдуютъ такимъ образомъ одну цѣль—личное совершенствованіе и счастье,

[1]) Бумаги кн. Одоевскаго, перепл. 18, ст. 16: Отшельникъ Виченцо. Начало повѣсти.

[2]) Бумаги, перепл. 1.

но средства у нихъ различны: геній самъ, собственными силами, открываетъ новые горизонты мысли и указываетъ человѣчеству новые пути къ счастью, а человѣкъ массы можетъ только итти по слѣдамъ генія, изучая и постигая его творенія упорнымъ духовнымъ трудомъ. На пути къ этому упорному труду передъ человѣкомъ массы преградой встаетъ его собственное самомнѣніе, которое убѣждаетъ его, что онъ самъ талантъ и геній, или его собственная инертность, которая говоритъ, что только талантъ, а не трудъ, можетъ пользоваться жизнью и что безъ таланта не стоитъ напрягать умственныхъ силъ. По обыкновенію и это положеніе выражается у Одоевскаго образно, въ видѣ живыхъ лицъ и событій. Такой именно аллегоріей является рукописный отрывокъ „Сегеліель или Донъ-Кихотъ XIX столѣтія“ (отрывокъ изъ 2-й части) [1]). Въ толпѣ молодежи вращаются Сегеліель, мыслитель-идеалистъ, и Люциферъ, олицетвореніе легкомыслія и самомнѣнія. Въ разговорѣ съ двумя молодыми людьми Сегеліель совѣтуетъ „бросить это убійственное равнодушіе ко всему, которое заражаетъ новыя поколѣнія“; онъ совѣтуетъ заниматься всѣмъ, и искусствами и физическими науками. „Тотъ всемеро больше узнаетъ, чей взоръ не заключенъ въ тѣсные предѣлы какого-нибудь одного отдѣльнаго предмета“... Люциферъ возражаетъ: „Все на свѣтѣ дѣло таланта, вдохновенія; у кого есть талантъ, тотъ не учась все узнаетъ; у кого нѣтъ таланта, тотъ хоть лбомъ стѣну пробей, ничего не будетъ“. При этомъ онъ совѣтуетъ не работать, не учиться, потому что „наука притупляетъ умъ и холодитъ сердце“; къ тому же искусствамъ учиться нельзя: „больше ли вамъ будетъ нравиться музыка— говоритъ онъ,—когда вы узнаете, какъ составляются аккорды?..“ „Надобно брать жизнь какъ она есть: ничего не знать, ничего не испытывать, ни къ чему не стремиться и всѣмъ наслаждаться“. Толпа собирается около Люцифера...

---

[1]) Бумаги, переплетъ 1, ст. 9; отрывокъ изъ 1-й части напечатанъ въ „Сборникѣ на 1838 г.“, стр. 89—106, подп. К. В. О., подъ заглавіемъ: „Сегеліель или Донъ-Кихотъ XIX стол. (Сказка для старш. дѣтей)“.

Такъ развивались и крѣпли думы кн. В. Ѳ. Одоевскаго объ универсальной гармоніи жизни и о ея провозвѣстникахъ. Окружающая его дѣйствительность не отвѣчала его мечтамъ о гармоничномъ сліяніи началъ идеальнаго и реальнаго во всѣхъ проявленіяхъ общечеловѣческой жизни, и эта обыденная жизнь безъ quantum идеала уже въ первые годы его литературной дѣятельности подверглась критической оцѣнкѣ и осужденію въ такихъ, напр., произведеніяхъ, какъ „Старики или островъ Панхаи“ [1]), „Елладій, картина изъ свѣтской жизни“ [2]), „Дни досадъ“ [3]) и др. Но болѣе рѣшительно выступилъ Одоевскій противъ нарушеній гармоніи жизни въ „Русскихъ ночахъ“ и въ тѣхъ рукописныхъ замѣткахъ и наброскахъ, которые являются комментаріемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ этого крупнаго произведенія; здѣсь уже культъ универсальной гармоніи жизни сопровождается и указаніемъ нѣкоторыхъ условій, благодаря которымъ возможно осуществленіе универсальнаго человѣческаго счастья.

---

3. „Свѣтлая аксіома“ жизни: „Русскія ночи“ и комментарій къ нимъ. Отдѣльныя части „Русскихъ ночей“ въ печати; общій характеръ ихъ содержанія. Форма разсказа въ „Русскихъ ночахъ“; Одоевскій и Гоффманъ; литературные пріемы романтиковъ въ разсказахъ Одоевскаго; античное вліяніе въ „Русскихъ ночахъ“. Общій характеръ содержанія „Русскихъ ночей“: часть философская и историческая. Главный мотивъ „Русскихъ ночей“: рѣшеніе задачи жизни. „Истина“ или „аксіома“ жизни—синтезъ идеальнаго и реальнаго; критика крайняго идеализма и исключительнаго матеріализма современной науки, искусства и общественной жизни. Универсальный законъ жизни по Шеллингу: присутствіе quantum идеала въ реальной жизни. Quantum идеала въ общественной жизни: совмѣстное стремленіе къ общему благу; отсутствіе идеала въ жизни общества — исключительная полезность, тоска, жи нь безъ смысла, ложная филантропія. Проводники идеала въ человѣческое общество—наука и искусство. Гармоническое единство наукъ и ихъ высшая цѣль—исканіе истины. Истина по Шеллингу—познаніе человѣческаго духа, самопознаніе, торжество правды въ общечеловѣческихъ отношеніяхъ.

[1]) Мнемозина, М. 1824, ч. I, стр. 1—12.

[2]) Тамъ же, ч. II, стр. 99.

[3]) Вѣст. Евр. 1823, ч. 129. Содержаніе и разборъ этихъ произведеній см. Н. Ѳ. Сумцовъ, стр. 9—11, А. Пятковскій, II, стр. 257—9, Н. Эвельгардтъ, Исторія русск. лит. XIX стол., I, стр. 257—9, И. А. Кубасовъ, 47—49, Лезинъ, Очерки изъ жизни и дѣятельности кн. Вл. Ѳед. Одоевскаго, Зап. Имп. Харьк. Унив. 1906, кн. I, стр. 120—3.

Искусство по Шеллингу — безконечное въ конечномъ; постоянное сознаніе идеала въ художественномъ творчествѣ; языкъ искусства — языкъ истины жизни; преимущества языка музыки. Воздѣйствіе науки и искусства на человѣческую жизнь—внесеніе въ нее quantum идеала, торжество универсальной воли любви надъ эгоистической волей. Гармоничная жизнь общества по идеалу; взаимная помощь—„математическая формула“ общественной жизни, „взаимное застрахованіе“ человѣческаго общества, „благоустроенная артельная работа“, безконечное „дѣленіе бѣдствія на тысячи людей“, благотворительность какъ строгій „математическій выводъ изъ уравненій жизни“ личной и общественной, борьба съ пауперизмомъ; необходимость эстетическаго элемента въ общественной жизни. Преобладаніе универсализма въ міровоззрѣніи Одоевскаго и отношеніе его къ культу личности и націи. Критика о „Русскихъ ночахъ“ и ихъ авторѣ. Одоевскій о себѣ.

Юношескія думы кн. В. О. Одоевскаго объ универсальной гармоніи жизни должны были наконецъ вылиться въ болѣе ясную и доступную для широкаго круга читателей форму. Въ немъ все крѣпло и крѣпло желаніе сказать вдохновенное слово объ универсальномъ человѣческомъ счастьѣ, о томъ quantum поэзіи, благодаря которому индивидуумы-люди и индивидуумы-націи могутъ слиться въ одну гармоничную семью. Онъ самъ съ нетерпѣніемъ ждалъ этого вдохновеннаго слова; ожиданіе томило его самого: въ 1833 году онъ записалъ въ дневникѣ: „До сихъ поръ я стою на распутіи, и вся жизнь выходитъ на мелочи. Не для того ли опредѣлилъ мнѣ это Богъ, чтобы я могъ понять заблудшихъ (sic), перечувствовать ихъ чувства, передумать ихъ мысли—и говорить имъ ихъ языкомъ“ [1]). Но попытки сойти съ „распутія“ были уже сдѣланы: уже съ 1831 года стали появляться въ печати отдѣльныя части „Русскихъ ночей“, гдѣ Одоевскій послѣдовательно высказывался по вопросамъ романтическаго универсализма [2]). Кругъ наблю-

[1]) Бумаги, перепл. 100, ст. 1: Тетрадь съ отрывками изъ дневника 1829 и сл. годовъ.

[2]) Вотъ хронологія появленія въ печати разсказовъ, вошедшихъ потомъ въ серію „Русскія ночи“: „Послѣдній квартетъ Бетховена“ — Сѣв. Цвѣты на 1831 г., стр. 101—119, за подп.: ь. ъ. й; „Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi“—Сѣв. Цвѣты на 1832 г., стр. 47—65, подп. ь. ъ. й; „Баль“—Новоселье, Спб. 1833, кн. I, стр. 443—448, подп. ь. ъ. й; „Бригадиръ“—Новоселье, Спб. 1833 г., кн. I, стр. 501—517, подп. ь. ъ. й; „Импровизаторъ“ — Альціона на 1833 г., стр. 51—86, подп. ь. ъ. й; „Себастьянъ Бахъ“—Моск. Наблюдатель, 1835; „Ночь I-я“—Моск. Набл., 1836, ч. VI, подп. Безгласный.

деній Одоевскаго въ эту пору не заходилъ за предѣлы свѣтскаго общества и знакомствъ научнаго и артистическаго характера; поэтому онъ предполагалъ ограничить пока сферу приложенія своего идеала къ жизни „гостиною". Въ 1833 году онъ по этому поводу писалъ А. С. Пушкину: „Скажите, любезнѣйшій Александръ Сергѣевичъ, что дѣлаетъ нашъ почтенный г. Бѣлкинъ? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панекъ, по странному стеченію обстоятельствъ, описали: первый „гостиную", второй „чердакъ"; нельзя ли г. Бѣлкину взять на свою отвѣтственность—„погребъ"? Тогда бы вышелъ весь домъ въ три этажа, и можно было бы къ Тройчаткѣ сдѣлать картинку, представляющую разрѣзъ дома въ три этажа съ различными въ каждомъ сценами. Рудый Панекъ даже предлагалъ самый альманахъ назвать такимъ образомъ: „Тройчатка, или Альманахъ въ три этажа", соч. и проч. — Что на это все скажетъ г. Бѣлкинъ?" [1]) Пушкинъ отвѣтилъ на это письмо мѣсяцъ спустя такъ: „Виноватъ, ваше сіятельство, кругомъ виноватъ! Пріѣхалъ въ деревню, думалъ распишусь; не тутъ то было. Головная боль, хозяйственныя хлопоты, лѣнь — барская, помѣщичья лѣнь, такъ одолѣли меня, что не приведи Боже. Не дожидайтесь Бѣлкина; не на шутку видно онъ покойникъ, не бывать ему на новосельи ни въ гостиной Гомозейки, ни на чердакѣ Панька. Не достоинъ онъ видно быть въ ихъ компаніи... А куда бы не худо до погреба-то добраться!" И Одоевскій, дѣйствительно, „не дожидался Бѣлкина" и старательно описывалъ „гостиную" съ своей точки зрѣнія: въ 1833 г. онъ напечаталъ „Пестрыя сказки съ краснымъ словцомъ, собранныя Ириней Модестовичемъ Гомозейкою" (которыя онъ, очевидно, и имѣетъ главнымъ образомъ въ виду въ только что приведенномъ письмѣ къ Пушкину), и къ этому же году появился рядъ разсказовъ, вошедшихъ потомъ въ группу „Русскія ночи", гдѣ описанію жизни гостиныхъ отведено много мѣста (ср. „Балъ" и „Бригадиръ").

Форма этихъ разсказовъ, изъ которыхъ составились „Русскія

[1]) Русск. Арх. 1864, Изъ бумагъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго: стр. 1005, письмо кн. Одоевскаго къ Пушкину отъ 28 сент. 1833 г.; стр. 1010, письмо Пушкина къ кн. Одоевскому отъ 30 окт. 1833 г.

ночи", обращала на себя вниманіе уже современниковъ: въ Одоевскомъ увидѣли подражателя Гоффману и даже называли его Hoffman II [1]). Самъ Одоевскій однако не хочетъ сближать свою литературную манеру съ фантастикой Гоффмана. Въ рукописномъ „примѣчаніи" къ „Русскимъ ночамъ" онъ разсуждаетъ объ этомъ подробно [2]). Въ каждомъ сочинителѣ, по его мнѣнію, отзываются „чужая мысль, чужое слово, чужой пріемъ": „это неизбѣжно по гармонической связи, естественно существующей между людьми всѣхъ эпохъ и всѣхъ народовъ". Поэтому его „не слишкомъ тревожитъ" обвиненіе въ томъ, что онъ подражалъ Гоффману; „напротивъ, сравненіе съ Гоффманомъ онъ считаетъ для себя лестнымъ, такъ какъ Гоффманъ „человѣкъ въ своемъ родѣ геніальный" и такъ какъ онъ „изобрѣлъ особаго рода чудесное". Однако подражанія Гоффману у него нѣтъ. Правда, „Русскія ночи" по формѣ напоминаютъ „Die Serapionsbrüder" Гоффмана, гдѣ также происходитъ „разговоръ между друзьями" и „также въ разговоръ введены отдѣльные разсказы"; но этого разсказа Гоффмана авторъ „Русскихъ ночей" въ эпоху ихъ созданія еще не зналъ... Эти авторскія признанія Одоевскаго, конечно, очень важны и должны сильно поколебать установившееся мнѣніе о размѣрахъ вліянія на него Гоффмана [3]), особенно если принять во вниманіе, что въ 20-хъ годахъ, когда задуманы были „Русскія ночи", Одоевскій, по собственному его признанію [4]), прочиталъ только одно сочиненіе Гоффмана, именно „Маіоратъ". Впрочемъ, и современники Одоевскаго не всегда заблуждались насчетъ близости его разсказовъ къ фантастикѣ Гоффмана; такъ напр. кн. П. А. Вяземскій въ 1833 году писалъ по этому поводу В. А. Жуковскому: „Кажется, родъ (литературный) Одоевскаго не фантастическій, т. е. въ смыслѣ Гофмановскомъ. У него умъ болѣе наблюдательный и мыслящій, а воображеніе вовсе не своенравное

[1]) Н. Ѳ. Сумцовъ, стр. 24; П. А. Кубасовъ, стр. 56.
[2]) Бумаги, перепл. 2: Примѣчаніе къ „Русскимъ ночамъ".
[3]) Ср. Н. Ѳ. Сумцовъ, стр. 24—26, И. А. Кубасовъ, стр. 56.
[4]) Бумаги, перепл. 2: Примѣчаніе къ „Русскимъ ночамъ".

ное и не игривое“ [1]). Однако литературные пріемы романтиковъ, вообще говоря, не чужды кн. Одоевскому; они наблюдаются напр. въ манерѣ Одоевскаго изображать духовное одиночество и обособленность художественной натуры, что роднитъ Одоевскаго съ Тикомъ, ему несомнѣнно извѣстнымъ (ср. разсказы Одоевскаго „Послѣдній квартетъ Бетховена“, и „Себастіанъ Бахъ“, и повѣсть Тика „Phantasien über die Kunst...“); пріемы романтиковъ видны также въ стремленіи Одоевскаго представить своихъ героевъ ищущими смыслъ жизни путемъ непосредственнаго столкновенія съ дѣйствительностью (ср. „Ночь вторая“ и „Wilhelm Meisters Lehrjahre u. Wanderjahre“ Гете); наконецъ, та небольшая доля фантастики, которая входитъ въ „Русскія ночи“, столько же приближаетъ Одоевскаго къ Гоффману, сколько и къ Шеллингу или къ другимъ представителямъ романтизма (ср. напр. „Ночь шестая“: преимущества ночныхъ бесѣдъ и размышленій и мнѣніе Шеллинга о природѣ ночи [2]). Что же касается діалогической формы „Русскихъ ночей“, то самъ Одоевскій, не находя у себя вліянія Гоффмана, объяснялъ ее подражаніемъ античной драмѣ, гдѣ благодаря присутствію хора идея выражалась „вполнѣ“, т. е. „не только съ объективной, но и съ субъективной стороны“; такимъ образомъ, вводя въ разсказы „разговоры между друзьями“, Одоевскій въ „Русскихъ ночахъ“ хотѣлъ изобразить не только объективную драму жизни, но и субъективное къ ней отношеніе,

---

[1]) Русск. Арх. 1900, т. I: Изъ писемъ кн. Вяземскаго къ Жуковскому, письмо отъ 15 апр. 1833 г., Спб. Дѣйствительно, литературный жанръ Одоевскаго мало напоминаетъ фантастику Гоффмана: у Одоевскаго чудесное имѣетъ искусственный, неизненный характеръ и очень часто сбивается на аллегорію, тогда какъ у Гоффмана чудесное изображено съ поразительнымъ реализмомъ и невольно дѣйствуетъ на настроеніе читателя (G. Ellingers E. T. A. Hoffmann, Sein Leben und seine Werke, s. 173—178); къ тому же Гоффманъ обыкновенно изображаетъ чудесное на почвѣ психопатіи (Dr. Otto Klinke, E. T. A. Hoffmanns Leben und Werke vom Standpunkte eine, Irrenarztes, Braunschweig und Leipzig, 1902, s. 212 — 8), чего у Одоевскаго нѣтъ.

[2]) Сочиненія кн. В. Ѳ. Одоевскаго, Спб. 1844, ч. I, стр. 152.

какъ свое собственное, такъ и другихъ наблюдателей, ее созерцающихъ.

Впрочемъ, форма занимала, конечно, не первое мѣсто въ трудѣ Одоевскаго: главное было содержаніе разсказовъ и диалоговъ, долженствовавшее рѣшить сокровенную задачу универсальной жизни. Въ процессѣ выработки содержанія „Русскихъ ночей“ такъ же не обошлось безъ античнаго вліянія: Одоевскій исходилъ не прямо отъ Шеллинга, но и отъ идеализма Платона. „Продолжительное чтеніе Платона“, говоритъ Одоевскій [1], „привело меня къ мысли, что если задача жизни еще не рѣшена человѣчествомъ, то потому только, что люди не вполнѣ понимаютъ другъ друга, что языкъ нашъ не передаетъ вполнѣ нашихъ идей, такъ что слушающій никогда не слышитъ всего того, что ему говорятъ, а или больше или меньше, или влѣво или вправо. Отсюда вытекало убѣжденіе въ необходимости и даже въ возможности (!) привести всѣ философскія мнѣнія къ одному знаменателю. Юношеской самонадѣянности представлялось доступнымъ изслѣдовать каждую философскую систему порознь (въ видѣ философскаго словаря), выразить ее строгими, однажды навсегда принятыми, какъ въ математикѣ, формулами и потомъ всѣ эти системы свести въ огромную драму, гдѣ бы дѣйствующими лицами были всѣ философы міра отъ элеатовъ до Шеллинга, или, лучше сказать, ихъ ученія, а предметомъ, или, вѣрнѣе, основнымъ анекдотомъ, была бы ни болѣе ни менѣе, какъ задача человѣческой жизни“. Такимъ образомъ чтеніе Платона и изученіе другихъ, новѣйшихъ, философовъ указало Одоевскому высокую цѣль научно-литературной дѣятельности— рѣшить универсальную задачу человѣческой жизни. Это была, однако, „мечта первой юности“, на осуществленіе которой не хватило силъ у восторженнаго поклонника универсальной гармоніи. „Мечта первой юности рушилась..: на одинъ философскій словарь, какъ я понималъ его, не достало бы человѣческой жизни“. „Но сопряженіе всѣхъ этихъ предварительныхъ работъ и почти безпрестанная о нихъ мысль невольно отразились во

[1] Бумаги, перепл. 2: Примѣч. къ „Русск. ночамъ“.

всемъ, что я писалъ, и въ особенности въ „Русскихъ ночахъ", но въ другой обстановкѣ. Вмѣсто Оалеса, Платона и проч. на сцену явились современные тогда типы: кондильякистъ, шеллингистъ и, наконецъ, мистикъ (Фаустъ) [1] — всѣ трое въ струѣ русскаго духа; послѣдній (Фаустъ) посмѣивается надъ тѣмъ и другимъ направленіемъ, но и самъ не высказываетъ своего рѣшенія, можетъ быть потому, что оно для него такъ же не существуетъ, какъ для другихъ, — Фаустъ удовлетворяется символизмомъ... Чтобы свести эти три направленія къ опредѣленнымъ точкамъ, избраны разныя лица, которыя цѣлою своею жизнью выражали то, что у философовъ выражалось сжатыми формулами, — такъ что не словами только, но цѣлою жизнью одинъ отвѣчалъ на жизнь другого. Предметъ этой новой, если угодно, драмы остался тотъ же: задача жизни, разумѣется, не разрѣшенная" [2].

Представляя такимъ образомъ сборникъ бесѣдъ и разсказовъ на тему о задачѣ универсальной человѣческой жизни, „Русскія ночи" помимо этой философско-поэтической стороны имѣютъ, по заявленію самого автора, еще и историческую сторону, такъ какъ изображаютъ извѣстный духовный моментъ изъ исторіи русскаго общества. „Въ „Русскихъ ночахъ",—говоритъ Одоевскій,—читатель найдетъ довольно вѣрную картину той умственной дѣятельности, которой предавалась московская молодежь 20-хъ и 30-хъ годовъ, о чемъ почти не сохранилось другихъ свѣдѣній. Между тѣмъ эта эпоха имѣла свое значеніе; кипѣли тысячи вопросовъ, сомнѣній, догадокъ—которыя снова, но съ большею опредѣленностію возбудились въ настоящее время; вопросы чисто философскіе, экономическіе, житейскіе, народные, нынѣ насъ занимающіе, занимали людей и тогда, и много, много выговореннаго нынѣ, и прямо, и вкривь и вкось, даже недавній славянофилизмъ, все это уже шевелилось

[1]) Мистикъ-Фаустъ, по заявленію самого Одоевскаго (Бумаги, перепл. 67: Печатный экземпляръ сочиненій Одоевскаго съ собственными дополненіями и поправками для 2-го изданія), слѣдуетъ иногда въ своихъ сужденіяхъ Парацельзу и St. Martin'у, хотя и не называетъ ихъ.

[2]) Бумаги, перепл. 2: Примѣч. къ „Русск. ночамъ".

въ ту эпоху, какъ развивающійся зародышъ. Новому поколѣнію не худо знать, какъ понимались эти вопросы поколѣніемъ, ему предшествовавшимъ, какъ и съ чѣмъ оно боролось и чѣмъ страдало; какъ вырабатывались и хорошіе и плохіе матеріалы, доставшіеся на трудъ новымъ дѣятелямъ. Исторія человѣческой работы принадлежитъ человѣчеству" [1]). Въ рукописныхъ примѣчаніяхъ къ печатному экземпляру своихъ сочиненій [2]) Одоевскій говоритъ, что эпоха, изображенная въ „Русскихъ ночахъ", есть тотъ моментъ XIX вѣка, когда „Шеллингова философія перестала удовлетворять искателей истины, и они разбрелись въ разныя стороны". Но мы видимъ все-таки, что во всѣхъ спорахъ и толкахъ „искателей истины" всегда доминируетъ міровоззрѣніе самого Одоевскаго, не перестающаго и въ болѣе позднюю эпоху своего развитія смотрѣть на задачу универсальной жизни глазами Шеллинга.

Но несмотря на полноту этой картины—стремленій русскихъ идеалистовъ 20—30-хъ годовъ къ великой проблемѣ жизни—и несмотря на обиліе собранныхъ здѣсь составныхъ элементовъ для рѣшенія этой проблемы, „задача жизни" въ „Русскихъ ночахъ" осталась, по признанію самого Одоевскаго, „не разрѣшенною". На вопросъ, въ чемъ заключается „свѣтлая, обширная аксіома" [3]) жизни, дается, какъ въ отдѣльныхъ разсказахъ и бесѣдахъ, такъ и въ эпилогѣ „Русскихъ ночей" почти исключительно отрицательный отвѣтъ: нельзя жить, какъ жилъ Пиранези, безразсудно отдавшійся крайнему идеализму; нельзя жить и такъ, какъ думалъ жить „экономистъ", строившій свое счастье только на положительномъ знаніи и на холодномъ разсчетѣ; нельзя быть счастливымъ и тогда, если подобно „бригадиру" совершенно пренебречь всякимъ осмысленіемъ жизни и т. д. Сколько бы мы ни искали въ самомъ текстѣ „Русскихъ ночей" или въ ихъ пересказѣ, неоднократно

---

[1]) Бумаги, перепл. 2: Примѣч. къ „Русск. ночамъ".

[2]) Тамъ же, перепл. 67: Печатный экземпляръ сочиненій Одоевскаго съ собственными дополненіями и поправками для 2-го изданія.

[3]) Сочиненія кн. В. Ѳ. Одоевскаго, ч. I, стр. 17.

сдѣланномъ изслѣдователями творчества Одоевскаго [1]), прямого рѣшенія универсальной задачи жизни, мы не найдемъ его, если не обратимся къ тѣмъ отрывочнымъ замѣткамъ Одоевскаго, частію современнымъ съ „Русскими ночами“, частію болѣе позднимъ по времени, которыя пока по большей части разсѣяны въ его рукописяхъ и напечатаны лишь въ незначительномъ количествѣ: подобно тому какъ юношескія произведенія Одоевскаго служатъ введеніемъ къ его романтическому универсализму, такъ эти замѣтки и наброски являются комментаріемъ и дополненіемъ къ „Русскимъ ночамъ“ и даютъ, до нѣкоторой степени, прямое рѣшеніе универсальной задачи жизни. Универсализмъ, дѣйствительно, полнѣе и опредѣленнѣе выразился въ творчествѣ Одоевскаго, чѣмъ другіе мотивы романтизма. Въ раннихъ своихъ произведеніяхъ онъ отдалъ дань романтическому культу высшей натуры, проявляющейся въ лицѣ генія науки или искусства; въ эпилогѣ къ „Русскимъ ночамъ“ онъ провозгласилъ культъ высшей національности, выступивши со славянофильскимъ мнѣніемъ о мессіонизмѣ Россіи,—но оба эти культа не были основнымъ и постояннымъ мотивомъ его творчества: такимъ мотивомъ былъ именно универсализмъ, которому онъ всегда былъ вѣренъ.

Какъ же онъ рѣшаетъ задачу жизни? Онъ даетъ высказаться всѣмъ собесѣдникамъ въ „Русскихъ ночахъ“, какъ представителямъ различныхъ и иногда крайнихъ міровоззрѣній, но при этомъ его собственное слово убѣжденнаго шеллингиста покрываетъ собою всѣ пылкія рѣчи участниковъ диспута. Устами Фауста Одоевскій ставитъ въ „Русскихъ ночахъ“ вопросъ: „зачѣмъ мы живемъ?“ т. е. что мы за колесо въ этой чудной машинѣ, именуемой „движеніемъ человѣчества?“ что намъ оставили на долю наши предшественники? что такое мы? [2]) Отвѣтить на этотъ вопросъ значитъ найти, по выраженію Фауста,

[1]) Ср. напр. Н. Ѳ. Сумцовъ, стр. 27 и слѣд. и Лезинъ, „Зап. Имп. Харьк. Унив.“ 1906, кн. 2, стр. 5 и слѣд. Прекрасную характеристику философскаго идеализма кн. В. Ѳ. Одоевскаго см. также въ книгѣ Н. Котляревскаго, „Старинные портреты“, Спб. 1907, стр. 135—153.

[2]) Сочин. I, стр. 13, 10.

„истину“, или „аксіому“, жизни [1]). Ту же мысль развиваетъ Одоевскій и въ своихъ рукописныхъ замѣткахъ: „Истина въ знаніи, истина въ жизни—вотъ великая цѣль нашихъ стремленій. Но безусловная истина есть сопряженіе чиселъ несоизмѣримыхъ, какъ 6 и 7; но что возможно всегда человѣку—это правдивость, которая, какъ выраженіе діаметра и круга ($\pi$), приближаетъ насъ къ истинѣ“ [2]). Въ чемъ же заключается истина жизни или, по крайней мѣрѣ, правдивое къ ней отношеніе? Для шеллингиста-Одоевскаго жизнь не есть одностороннее развитіе матеріи или духа, но синтезъ элементовъ идеальнаго и реальнаго, имѣющій конечнымъ стремленіемъ ихъ тожество. Съ этой точки зрѣнія неудовлетворительнымъ является и крайній идеализмъ Пиранези“ („Ночь третья“) и исключительный матеріализмъ тѣхъ „экономистовъ-утилитаріевъ“, которые населяли „городъ безъ имени“ („Ночь пятая“). Съ этой же точки зрѣнія представляются Одоевскому безсильными современная наука, современное искусство и современный общественный строй: науки, исполняя каждая свою отдѣльную детальную работу, только „подводятъ насъ къ дверямъ истины, но самихъ дверей не открываютъ“; искусства роются въ своихъ теоріяхъ или въ мелочахъ жизни и упускаютъ изъ виду главную цѣль—„читать въ свѣтлой книгѣ всевѣчной жизни“, открывать тайну міровой гармоніи бытія; въ общественной жизни, наконецъ, принято во вниманіе все, но „забыто лишь одно“, именно „счастье всѣхъ и каждаго“ [3]. Но если въ жизни необходимъ этотъ синтезъ идеальнаго и реальнаго, выражающійся въ присутствіи въ ней извѣстнаго quantum'а поэзіи, то спрашивается—каково должно быть по своимъ задачамъ и цѣлямъ человѣческое общество, каковы должны быть наука и искусство, эти главные органы человѣческаго развитія, каково наконецъ, основное назначеніе универсальной человѣческой жизни?

---

[1]) Тамъ же, стр. 13, 17.

[2]) Бумаги, перепл. 59: Замѣтки, мысли, выписки изъ книгъ (Часть ихъ должна была войти въ составъ задуманныхъ Одоевскимъ работъ: „Земная жизнь“, „Житейскій бытъ“, „Наука“ и др.).

[3]) Сочин. I, стр. 23—33 („Ночь вторая“).

Слѣдуя Шеллингу, Одоевскій признаетъ существованіе универсальнаго закона жизни, который ведетъ ее къ совершенству [1]); совершенствованіе жизни есть постепенное одухотвореніе матеріи, постепенное проникновеніе безконечнаго въ конечную форму. „Въ началѣ XIX вѣка Шеллингъ былъ тѣмъ же—говоритъ Одоевскій,— чѣмъ Христоферъ Коломбъ въ XV: онъ открылъ человѣку неизвѣстную часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословныя преданія—его душу! Какъ Христоферъ Коломбъ, онъ нашелъ не то, чего искалъ; какъ Христоферъ Коломбъ, онъ возбудилъ надежды неисполнимыя. Но, какъ Христоферъ Коломбъ, онъ далъ новое направленіе дѣятельности человѣка“ [2]). Такимъ образомъ Шеллингъ обратилъ вниманіе человѣчества въ сторону духа, потому что въ немъ именно—сила и сущность бытія. Это торжество духовности наблюдается даже въ природѣ. „Чѣмъ выше вы поднимаетесь въ сферу предметовъ,—разсуждаетъ Одоевскій въ духѣ натурфилософіи Шеллинга,— тѣмъ болѣе находите силы; вода слабѣе камня, паръ, кажется, слабѣе воды, газъ слабѣе пара, а между тѣмъ сила этихъ дѣятелей увеличивается по мѣрѣ ихъ видимой слабости. Поднимаясь еще выше, мы находимъ электричество, магнетизмъ—неосязаемые, неисчислимые, непроизводящіе никакой непосредственной пользы, а между тѣмъ они-то и движутъ и держатъ въ гармоніи всю физическую природу“ [3]). Неосязаемыя духовныя силы, проявляясь уже въ природѣ, этой „дремлющей интеллигенціи“, особенно ярко обнаруживаются въ человѣкѣ, который въ каждомъ своемъ реальномъ дѣйствіи чувствуетъ присутствіе идеальнаго начала въ видѣ нѣкотораго quantum поэзіи. „Человѣкъ... никакъ не можетъ отдѣлаться отъ поэзіи: она, какъ одинъ изъ необходимыхъ элементовъ, входитъ въ каждое дѣйствіе человѣка, безъ чего жизнь этого дѣйствія была бы невозможна; символъ этого психологическаго закона мы видимъ въ каждомъ организмѣ; онъ образуется изъ углекислоты, во-

[1]) Тамъ же, стр. 18.
[2]) Тамъ же, стр. 15.
[3]) Соч. I, стр. 146.

дорода и азота; пропорціи этихъ элементовъ разнятся почти въ каждомъ животномъ тѣлѣ, но безъ одного изъ этихъ элементовъ существованіе такого тѣла было бы невозможно; въ мірѣ психологическомъ поэзія есть одинъ изъ тѣхъ элементовъ, безъ которыхъ древо жизни должно было бы исчезнуть; отъ того въ каждомъ промышленномъ предпріятіи человѣка есть quantum поэзіи, какъ, наоборотъ, въ каждомъ чисто-поэтическомъ произведеніи есть quantum вещественной пользы" [1]). Этотъ quantum поэзіи, свойственный каждому явленію въ человѣческой жизни, не только говоритъ намъ о присутствіи въ человѣкѣ идеальнаго начала на ряду съ началомъ реальнымъ, но и создаетъ увѣренность въ будущемъ торжествѣ идеала, въ будущей универсальной гармоніи жизни: „за голубымъ отблескомъ есть сіяніе, за неяснымъ отголоскомъ есть гармонія"... [2]).

На этой жизненной основѣ должно быть построено и человѣческое общество. Quantum идеала въ общественной жизни возможенъ лишь въ томъ случаѣ, если въ ней торжествуетъ свѣтлое начало эоиридовъ, или, переводя на языкъ шеллингизма, универсальная воля любви, воля, чуждая „самости" и „увѣренная въ своей искренности" [3]). При этомъ условіи идеалъ общественной жизни выразится въ совмѣстномъ стремленіи къ общему благу. „Главная и высшая цѣль всякаго общественнаго соединенія—взаимное вспомоществованіе. Ибо на что́ и общество, на что́ и его... связи, на что́ и единство его дѣйствій и мудрость законовъ, на что́, словомъ, все человѣческое достоинство и всѣ человѣческія чувства, если не для взаимнаго охраненія, для взаимной помощи, наконецъ, для всего того, что выражается однимъ святымъ словомъ: любовь христіанская!" [4]). При отсутствіи же quantum

[1]) Тамъ же, стр. 58.

[2]) Тамъ же, стр. 113.

[3]) Тамъ же, стр. 299.

[4]) Бумаги, перепл. 7, ст. 16: Общественная физіологія. Пауперизмъ, бѣдность; филантропія, благотворительность. Опытъ о возможности благотворительности, какъ науки.

идеала жизнь общества дѣлается односторонней, а „односторонность есть ядъ нынѣшнихъ обществъ и тайная причина всѣхъ жалобъ, смутъ и недоумѣній: когда одна вѣтвь живетъ на счетъ цѣлаго дерева—дерево высыхаетъ“ [1]); поэтому слѣдствіемъ исключительно „полезной, удобной и разсчетливой жизни“ является „тоска неодолимая, невыносимая, непонятная“ [2]); стремленіе къ исключительной полезности въ конечномъ результатѣ можетъ привести человѣчество не къ всеобщему счастью, но къ всеобщей гибели („Городъ безъ имени“=развитіе теоріи Бентама и „Послѣднее самоубійство“=развитіе теоріи Мальтуса). Въ обыденной жизненной практикѣ отсутствіе идеала равносильно призрачному, ложному существованію, которое въ самую счастливую внѣшнюю обстановку вноситъ внутреннее страданіе („Балъ“, „Мститель“, „Насмѣшка мертвеца“), а иногда даже и вызываетъ мучительное позднее раскаяніе въ безсмысленно прожитой жизни („Бригадиръ“). Особенно же тягостно чувствуется, по мнѣнію Одоевскаго, отсутствіе quantum идеала въ современной матеріальной культурѣ, напр. въ фабричной дѣятельности, которая создаетъ часто нищету, увеличиваетъ преступность, закабаляетъ не только взрослыхъ, но и дѣтей, и, не проникая въ „существо бѣдствія“, лишь замазываютъ его показными средствами „мануфактурной филантропіи“ [3]).

Однако оздоровленіе общественнаго уклада путемъ введенія въ его реальную жизнь элемента духа вполнѣ возможно, и самыми дѣйствительными средствами къ этому являются, по мнѣнію Одоевскаго, наука и искусство,—два органа, посредствомъ которыхъ говорятъ человѣчеству провозвѣстники универсальной гармоніи жизни—поэтъ и философъ. Для того, чтобы быть проводникомъ идеала въ жизнь, наука должна поставить себѣ соотвѣтствующую цѣль: „цѣль науки — не осязательная польза, не неминуемое приложеніе... цѣль науки — истина“; при наличности такой цѣли наука можетъ до извѣстной сте-

[1]) Сочин. I, стр. 59.
[2]) Тамъ же, стр. 62.
[3])Тамъ же, стр. 325, 208—9.

пени постигать „судьбы міра и законы Провидѣнія“ [1]). Эта цѣль должна быть обязательна и для такъ называемыхъ положительныхъ наукъ, имѣющихъ въ виду прикладное знаніе. „Значеніе положительныхъ наукъ до сихъ поръ не оцѣнено по достоинству“: въ нихъ не одна доходная, практическая сторона: такъ напр. „нельзя отрицать то, что положительныя знанія имѣли на общественное устройство, на нравы, обычаи, понятія такое вліяніе, какого никогда не имѣло все метафизическое или риторическое празднословіе прежнихъ временъ“; своеобразные примѣры того, какъ прикладное знаніе служитъ истинѣ жизни и борется съ ея ложью — изобрѣтеніе пороха способствуетъ паденію феодальнаго строя, „свистокъ паровоза уничтожаетъ питомникъ лжи“, прекращая часто никому не нужные и лицемѣрные дорожные проводы [1]). Въ дѣлѣ исканія истины всѣ науки объединяются, такимъ образомъ, въ одно гармоническое цѣлое; поэтому науки съ точки зрѣнія служенія ихъ универсальной гармоніи жизни не могутъ дѣлиться ни по группамъ, ни по національностямъ: „Все дѣло въ непонятномъ выраженіи: французская наука, нѣмецкая наука и проч. Наука — одна для всѣхъ, какъ для всѣхъ одно солнце и одна земля; лишь въ историческомъ развитіи благодарное потомство отличаетъ французскую химію, англійскую технику, нѣмецкую физіологію, но всѣ эти науки принадлежатъ всему человѣчеству, какъ общее наслѣдіе...“ [2]).

Итакъ единая цѣль единой, хотя и многообразной, науки есть истина. Но если обратить къ шеллингисту Одоевскому вопросъ: что такое истина?—то онъ отвѣтитъ на него словами своего учителя Шеллинга: истина есть не только познаніе внѣшней природы, но и познаніе человѣческаго духа въ себѣ и другихъ,—то самопознаніе, которое ведетъ къ пониманію всего человѣческаго и къ торжеству правды въ общечеловѣческихъ отношеніяхъ. „Шеллингъ—говоритъ Одоевскій, ссылаясь на его „System des transcendentalen Idealismus“—въ

[1]) Бумаги, перепл. 59: Замѣтки...

[2]) Тамъ же, перепл. 9: Записки для моего праправнука о литературѣ нашего времени и о прочемъ (см. Отеч. Зап. 1842, т. XX, Смѣсь, стр. 94).

первый годъ текущаго столѣтія бросилъ въ міръ одну глубокую мысль, какъ задачу для юнаго вѣка, задачу, которой разработка должна наложить на него характеристическую печать и гораздо вѣрнѣе выразить его внутреннее значеніе въ эпохахъ міра, нежели всѣ возможные паровики, винты, колеса и другія индустріальныя игрушки. Онъ отличилъ безусловное, самобытное, свободное самовоззрѣніе души — отъ того воззрѣнія души, которое подчиняется, напримѣръ, математическимъ, уже построеннымъ фигурамъ; онъ призналъ основу всей философіи — во внутреннемъ чувствѣ, онъ назвалъ первымъ знаніемъ — знаніе того акта нашей души, когда она обращается на самую себя и есть вмѣстѣ и предметъ и зритель; словомъ, онъ укрѣпилъ первый, самый трудный шагъ науки на самомъ неопровержимомъ, на самомъ явномъ явленіи и тѣмъ, какъ бы по предчувствію, положилъ вѣчную преграду для всѣхъ искусственныхъ системъ, которыя, подобно гегелизму, начинаютъ науку не съ дѣйствительнаго факта, но, напримѣръ, съ чистой идеи, съ отвлеченія отвлеченія“ [1]).

Другимъ органомъ проведенія въ жизнь извѣстнаго quantum идеала является искусство. Но искусство не есть, по мнѣнію Одоевскаго, копированіе природы во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ (ср. „Импровизаторъ“, гдѣ художественная природа обращается въ „анатомическій препаратъ“ [2]), а лишь изображеніе красоты духа въ матеріи, т. е., согласно опредѣленію Шеллинга, представленіе безконечнаго въ конечномъ. Художникъ способствуетъ движенію человѣчества въ сторону духа; его „внутреннее горнило расплавляетъ грубую природу“ и превращаетъ ее „въ существо болѣе возвышенное“ [3]). Возвышаясь надъ обыденною жизнью благодаря величію своего индивидуальнаго духа (ср. „Послѣдній квартетъ Бетховена“, „Себастіанъ Бахъ“), художникъ постоянно сознаетъ возможность идеала въ жизни: „нѣтъ минутъ непоэтическихъ въ жизни поэта; всѣ явленія бытія освѣщены для него незаходимымъ

[1]) Сочин. I, стр. 283—5.

[2]) Тамъ же, стр. 191.

[3]) Сочин. I, стр. 203.

солнцемъ души его, и она, какъ мемнонова статуя, безпрерывно издаетъ гармоническіе звуки“ [1]). По сравненію съ наукой искусство, по мнѣнію Одоевскаго, обладаетъ своимъ, особымъ средствомъ служенія универсальной гармоніи жизни: это средство—языкъ истины, языкъ души, который не сходится съ языкомъ обыденной рѣчи. Одоевскій не разъ высказываетъ убѣжденіе въ томъ, что „языкъ человѣческій недостаточенъ для выраженія нашихъ мыслей и чувствъ“ [2]), и что цѣлая „бездна раздѣляетъ мысль отъ выраженія“ [3]). Опираясь по обыкновенію на Шеллинга, онъ полагаетъ, что „раздоръ между мыслію и словомъ“ играетъ важную роль въ жизни человѣчества и что „довести minimum разницы между ними до нуля“ есть „высшая задача философіи“ [4]); для этого нужно создать языкъ для выраженія „внутренней рѣчи“ [5]), рѣчи души,—языкъ, на´которомъ бы идеальное начало жизни было доступно взаимному пониманію людей. Такой „внутренній языкъ“ [6]) видитъ Одоевскій отчасти въ искусствѣ, въ особенности же въ музыкѣ: „музыка... искусство, котораго языкъ выражаетъ внутреннѣйшія ощущенія человѣка, невыразимыя словами“ [7]). Музыка поэтому является однимъ изъ главныхъ органовъ проведенія въ жизнь идеала „На иронической привѣтъ музыкѣ: „Соната! чего ты отъ меня хочешь?“ можно побѣдоносно отвѣчать: хочу того же, чего хочетъ отъ тебя звѣздная ночь, лунный свѣтъ, высь горъ, обликъ Мадонны, воспоминаніе о родинѣ, о любимой женщинѣ; если все это для тебя не существуетъ, тогда музыка не для тебя,—ты духовно глухонѣмой. Музыка есть тотъ стимулъ по преимуществу, которымъ возбуждается въ насъ твореніе міра ощущеній, невыразимыхъ словомъ,—точно такъ же какъ нервы

---

[1]) Тамъ же, стр. 217.
[2]) Тамъ же, стр. 169.
[3]) Тамъ же, стр. 163.
[4]) Тамъ же, стр. 286.
[5]) Тамъ же, стр. 281.
[6]) Тамъ же. стр. 212.
[7]) Тамъ же, стр. 20.

суть стимулъ, отъ котораго зависитъ самотвореніе ячеекъ нашего организма“ [1]). Языкъ музыки при этомъ имѣетъ несомнѣнно универсальное значеніе, потому что она какъ въ древности, когда „подъ музыкой разумѣли соединеніе всѣхъ наукъ“, такъ и теперь находится въ связи съ поэзіей, живописью, философіей и религіей [2]).

Наука и искусство, вводя въ жизнь истину, тѣмъ самымъ могутъ обезпечить присутствіе въ жизни извѣстнаго quantum идеала и, такимъ образомъ, являются важными условіями общечеловѣческаго счастья. Взаимно другъ друга дополняя, оба эти фактора служатъ одной цѣли — выясненію высшей правды человѣческой жизни, ея идеальнаго смысла, съ которымъ связана и возможность универсальнаго человѣческаго счастья. „Наука изучаетъ человѣка, какъ онъ былъ и какъ онъ есть, и пытается строгими выводами опредѣлить, какимъ онъ будетъ. Искусство, предупреждая науку, вставляетъ живыя числа въ ея уравненія, иногда еще не вполнѣ разрѣшенныя“ [3]). Такая совмѣстная работа науки и искусства можетъ произвести крупный переворотъ въ общественной жизни въ сторону гармоніи въ общечеловѣческихъ отношеніяхъ: внесенныя наукою и искусствомъ въ жизнь quantum идеала выразится тогда въ торжествѣ свѣтлаго начала эоиридовъ, т. е. универсальной воли любви, надъ темнымъ началомъ кардіадовъ, т. е. надъ эгоистической волей отдѣльныхъ лицъ. „Мы живемъ — говоритъ Одоевскій—въ огромной машинѣ, которая называется человѣческимъ обществомъ; каждый изъ насъ часть ея. Чтобы знать, какой кругъ дѣйствія каждому изъ насъ достался на долю и какъ мы должны дѣйствовать, мы должны изучить законы, на которыхъ зиждется и по которымъ дѣйствуетъ эта машина“... [4]). Изученіе этихъ законовъ общественности, построенное на

[1]) Бумаги, перепл. 22: Книга записная съ 1859 г., подъ буквой М (музыка).

[2]) Тамъ же, перепл. 10, ст. 9: О взаимной связи между собою музыки, поэзіи, живописи, философіи и религіи,—безъ заглавія.

[3]) Тамъ же, перепл. 59: Замѣтки, мысли, выписки изъ книгъ.

[4]) Бумаги, перепл. 59: Замѣтки, мысли, выписки изъ книгъ.

строго научномъ знаніи, приводитъ къ убѣжденію, что „основа общественной жизни — взаимная помощь“; это и есть тотъ quantum идеала общественнаго строя, отъ котораго зависитъ гармонія общечеловѣческой жизни; онъ вполнѣ совпадаетъ съ апостольскимъ ученіемъ: „другъ друга тяготы носите“... и представляетъ собою въ то же время „математическую формулу, одинаково вѣрную для всѣхъ вѣроисповѣданій, толковъ, сектъ“ [1]). „Первый шагъ изъ дикаго состоянія есть сопряженіе своего труда съ трудомъ другого, однимъ словомъ сотрудничество—формула высшей цивилизаціи: каждый трудится на пользу всѣхъ, всѣ трудятся на пользу каждаго. Человѣчество еще далеко отъ этой формулы; оно медленно приближается къ ней посредствомъ товариществъ, коммиссій, артелей и другихъ сообществъ всякаго рода“... [2]). „Человѣческое общество есть общество взаимнаго застрахованія“... [2]) „Жизненная сила индивидуумовъ въ обществѣ, какъ жизненная сила ячеекъ въ организмѣ. Не въ мозгу, не въ крови, не въ нервахъ—но въ ячейкахъ, съ ихъ nucleus и nucleolus. Внѣшній ударъ пагубенъ обществу лишь потому, что пагубенъ индивидуумамъ“... [2]) Но какъ ни проста эта величественная универсальная формула жизни, однако она еще мало понята и усвоена; поэтому общество часто лишено своего quantum поэзіи и не знаетъ гармоніи жизни. „Сколько людей, которые вмѣсто служенія общему дѣлу человѣчества, служатъ лишь фантому, ими самими (созданному). Ихъ пугаетъ благоустроенная, обязательная артельная работа, имъ легче увиваться за фантомомъ, который не иное что, какъ они сами, или, лучше сказать, ихъ лѣнь“ [3]).

---

[1]) Бумаги, перепл. 59: Замѣтки, мысли, выписки изъ книгъ.

[2]) Тамъ же, перепл. 89: Житейскій бытъ, замѣтки для вступающихъ въ свѣтъ.

[3]) Тамъ же, перепл. 59: Замѣтки... Какъ въ этомъ перепл—ѣ бумагъ кн. Одоевскаго, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, напр. въ перепл. 13, заслуживаютъ особаго вниманія разсужденія его о „пауперизмѣ“, въ борьбѣ съ которымъ онъ видитъ одну изъ главныхъ задачъ благоустроеннаго общества.

Взаимная помощь, по мнѣнію Одоевскаго, всего лучше можетъ выразиться въ широкой и правильно организованной благотворительности. Необходимость благотворительности, какъ средства къ общечеловѣческому счастью. Одоевскій любитъ доказывать иногда даже научными формулами. „Бѣдность не порокъ, но путеводитель къ пороку; вотъ почему важно государственное значеніе благотворительности, застрахованій и прочихъ тому подобныхъ средствъ дѣлить бѣдствіе (зародышъ бѣдности) на тысячи людей; бѣдность тѣмъ не уничтожается собственно, ибо $\frac{a}{n}, \frac{a}{2n}, \frac{a}{3n}$ etc. никогда не уравнится нулю; но можетъ сдѣлаться въ практикѣ количествомъ совершенно ничтожнымъ, чѣмъ болѣе увеличится знаменатель, т.-е. чѣмъ болѣе будетъ число лицъ, облегчающихъ бѣдствіе своимъ участіемъ въ ономъ"...[1]) „Благотворительность есть строгой математической выводъ изъ уравненія организма(отдѣльнаго лица), сопряженнаго съ уравненіемъ общественной жизни. Равнодушіе къ страданію ближнихъ есть математическая нелѣпость" [2]). Одоевскій не проповѣдуетъ коммунистическаго строя, но всетаки указываетъ на возможность постепеннаго смягченія общественнаго неравенства путемъ воспитанія въ себѣ самоотверженной воли любви. Для этого онъ находитъ и практическія средства; такъ напр. онъ рекомендуетъ всѣмъ жителямъ даннаго города войти въ составъ большого общества, которое бы, отказавшись отъ „небрежной милостыни", занялось исключительно тѣмъ, чтобы „сдѣлать (бѣднику) трудъ доступнымъ и мало-по-малу пріучить къ труду" [3]). Конечно, путемъ такого quantum идеала нельзя совсѣмъ уничтожить бѣдности или какого-либо моральнаго зло, но это всетаки вѣрный путь къ постепенному сокращенію того и другого. „Уничтожить (а тѣмъ менѣе запретить) зло невозможно, какъ нельзя вычислить квадратуры круга; но зло и добро можно привести въ такое

[1]) Бумаги, перепл. 59: Замѣтки...

[2]) Тамъ же (Приводимая нами цитата, повидимому, представляетъ выписку—переводъ съ франц.).

[3]) Тамъ же, перепл. 13, ст. 13: О пауперизмѣ.

соотношеніе, въ какое можно привести діаметръ съ кругомъ, такъ что несоизмѣримость почти уничтожается приближеніемъ, т. е. сдѣлать зло (напр. воровство) безконечно малымъ" [1]).

На ряду съ наукою искусство такъ же должно проникнуть въ жизнь и возродить ее внесеніемъ въ нее духовнаго начала. Одоевскій, исходя изъ ученія Шеллинга, полагаетъ, что эстетическая дѣятельность, характеризующаяся вдохновеніемъ, „проникаетъ до души непосредственно" и, способствуя „возвышенію индивидуальнаго духа", „увеличиваетъ его самобытную дѣятельность" [2]). Поэтому творческая дѣятельность искусства должна входить, какъ необходимый элементъ, и въ воспитаніе, которое не можетъ ограничиваться сообщеніемъ ребенку голыхъ фактовъ [3]), и въ частную, и въ общественную жизнь. Отсутствіе этого элемента въ жизни составляетъ ея несчастье, потому что удаляетъ ее отъ необходимаго quantum идеала. „Есть же несчастные", говоритъ Одоевскій, „въ коихъ систематически вытравленъ эстетическій элементъ, присущій организму наравнѣ съ... пищевареніемъ. Для нихъ весь вопросъ жизни: распитіе и раскурка на мѣстѣ. Между тѣмъ искусство—дитя науки. Ужъ въ одномъ отрицаніи искусства—осужденіе нашихъ доморощенныхъ нигилистовъ" [4]. Элементъ художественнаго творчества долженъ входить, по мнѣнію Одоевскаго, даже и въ область государственной жизни: „въ управленіи государства, какъ въ піитическомъ произведеніи, должно имѣть мѣсто вдохновеніе, духъ Божій, произвольное, непредвидѣнное" [5]).

Такимъ представляется намъ въ общихъ чертахъ идеалистическое міросозерцаніе Одоевскаго, этотъ своеобразный эклектизмъ, выработавшійся у него подъ вліяніемъ знакомства съ философіей вообще и съ ученіемъ Шеллинга по преиму-

---

[1] Бумаги, перепл. 59.

[2] Сочин. I, стр. 287.

[3] Тамъ же, стр. 303.

[4]) Бумаги, перепл. 22: Записная книга съ 1859 года, подъ буквой П.

[5]) Тамъ же, перепл. 36: Записная книга съ 1829 по 1831 г., подъ буквой П.

ществу. Центральное мѣсто въ его міросозерцаніи занимаетъ мысль объ универсальной гармоніи въ человѣческой жизни и связанномъ съ нею общечеловѣческомъ счастьѣ. Правда, Одоевскій отдаетъ дань вниманія и другимъ мотивамъ романтизма: у него есть культъ высшей индивидуальности, которую онъ видитъ въ лицѣ поэта и философа, представителей двухъ факторовъ общечеловѣческаго счастья—искусства и науки; у него есть и культъ высшей національности XIX вѣка, которую онъ видитъ въ лицѣ Россіи, долженствующей возродить мнимо-культурный Западъ путемъ внесенія въ его жизнь quantum идеала [1]). Но, при всемъ томъ, его индивидуализмъ и національность растворяются въ универсализмѣ, потому что и сильная личность и сильная нація разсматриваются не какъ поработители массоваго человѣчества, но лишь какъ творцы общечеловѣческаго гармоничнаго блага.

Кн. Одоевскій, какъ авторъ „Русскихъ ночей", не могъ, конечно, остаться незамѣченнымъ: критическіе отзывы какъ объ этомъ, такъ и о другихъ его произведеніяхъ довольно многочисленны [2]). „Русскія ночи" признаны были „одною изъ умнѣйшихъ книгъ на русскомъ языкѣ" [3]); въ этомъ произведеніи увидѣли „единство убѣжденія", „гармоническое цѣлое", „мысли глубокія, наводящія невольно на размышленія" [4]); въ немъ привлекала читателей высокая цѣль автора „заглянуть внутрь міра природы и человѣка" [5]); въ немъ нравился, наконецъ, и языкъ автора, который „роднитъ искусство и жизнь въ своемъ слогѣ" [6]) и т. д. Но всѣ эти отзывы далеко

---

[1]) Понятіе „народность" выясняется кн. Одоевскимъ, между прочимъ, въ Бумагахъ, перепл. 9 (Записки для моего правнучка... и перепл. 53 (Элементы народности).

[2]) П. А. Кубасовъ, стр. 111—2.

[3]) Русск. стар, 1891, т. 72: Дневникъ В. К. Кюхельбекера, стр. 104, замѣтка отъ 9 апр. 1845 г.

[4]) Русск. Инвалидъ, 1844, № 197: Библіографія, Сочиненія кн. В. Ѳ. Одоевскаго.

[5]) Маякъ, 1844, т. XVII, стр. 10: Сочиненія кн. В. Ѳ. Одоевскаго.

[6]) Москвитянинъ, 1842, ч. II, № 3: Взглядъ на современную русскую литературу.

не исчерпываютъ общественнаго и литературнаго значенія дѣятельности автора „Русскихъ ночей“. Иностранная литература удѣлила въ свою очередь мало вниманія кн. Одоевскому: только нѣкоторыя повѣсти его увидѣли свѣтъ въ франц. и нѣм. переводахъ (въ сборникахъ „Russische Hundert und Eins“, „Russische historische und romantische Erzählungen, Begebenheiten und Skizzen“, Berlin, 1838, въ журналѣ „Freihafen“ 1839 [1]), также см. Douhaire, Le Decameron russe, Paris, 1855...) [2]). Полная оцѣнка произведеній кн. Одоевскаго принадлежитъ, конечно, будущему и находится въ зависимости отъ изданія хотя бы нѣкоторой части оставшихся послѣ него рукописей, въ которыхъ запечатлѣлась его глубокая, вдумчивая натура.

Самъ Одоевскій однако хорошо понималъ значеніе своей литературной и общественной дѣятельности. При всемъ своемъ энциклопедизмѣ, надъ которымъ нерѣдко смѣялись его современники [3]), онъ всегда проявлялъ неуклонное стремленіе къ тому высокому идеалу гармоничной жизни, который еще въ юности подсказанъ былъ ему ученіемъ Шеллинга. На пути къ осуществленію идеала приходилось упорно работать; но Одоевскій держался убѣжденія, что „какъ бы ни утомителенъ былъ каждодневный шагъ упорной работы, — въ результатѣ сознаніе, что произвелъ каплю пользы“... [4]) Зато впослѣдствіи, подводя итоги своей дѣятельности, кн. Одоевскій долженъ былъ скромно признаться, что его романтическій идеализмъ нашелъ себѣ осуществленіе на дѣлѣ. „Обращаясь на жизнь протекшую, я вижу, что довольно-таки дѣлъ пошло съ моей легкой руки, не считая не удавшихся. Я первый наложилъ руку на схоластицизмъ и классицизмъ; выговаривалъ значеніе Россіи въ мірѣ,

---

[1]) О переводѣ „Сильфиды“ въ „Freihafen“ см. Русск. Стар. 1904, т. 119: Изъ переписки кн. В. Ѳ. Одоевскаго, письмо Я. М. Невѣрова отъ 25 ноября (н. ст.) 1838 г. Берлинъ.

[2]) И. А. Кубасовъ, стр. 109.

[3]) Бумаги, перепл. 49: Записная книга часть напечатана въ Современникѣ 1843, т. 32, подъ загл. „Психологическія замѣтки“); см. также Русск. Арх. 1897, кн. I: Кн. В. Ѳ. Одоевскій о самомъ себѣ.

[4]) Бумаги, перепл. 59: Замѣтки...

чѣмъ теперь пробавляются многіе; много изданій пошло съ моей подпоркой, не одно мое сочиненіе бродитъ подъ именемъ другихъ, и смѣшнѣе всего то, что ими иногда мнѣ же глаза колютъ, какъ бы говоря: „Вотъ бы тебѣ что сдѣлать“; въ мірѣ чиновническомъ замѣчаю мой Цензурный Уставъ 1828-го года и Права авторской собственности, о которой до меня никто и не думалъ, Положеніе о дворянскихъ выборахъ, Общее положеніе о компаніяхъ на акціяхъ, Общество застрахованія жизни, надъ которымъ всѣ смѣялись, Пріюты, которыхъ возможности никто никогда не хотѣлъ вѣрить, — наконецъ несмѣтныя разныя вещи, которыя пошли въ ходъ, какъ напр. Общество посѣщенія бѣдныхъ, Маріинскій институтъ, педагогическія... (?) работы, книги для народа, о чемъ никто и не думалъ и проч. и проч., что и самъ забылъ. Право-таки, 20 лѣтъ жизни прошли не даромъ, прежней дѣятельности не считаю“ [1]).

Не измѣняя своему идеализму, кн. Одоевскій вѣрилъ, что и русская жизнь рано или поздно вступитъ на путь его идеала. По поводу безотраднаго впечатлѣнія отъ романа И. С. Тургенева „Дымъ“ онъ записалъ: Выводы Тургенева въ большинствѣ случаевъ вѣрны, но грустно, „что человѣкъ съ талантомъ не нашелъ другого вывода. Много въ русскихъ недодѣланнаго, но надобно было въ книгѣ русской жизни поискать того, что въ ней написано между строкъ. Скажутъ: „ничего“; но и воздухъ— „ничего“, но мы имъ дышимъ“. Среди русскихъ большая часть, конечно, понимаетъ свои обыденныя выгоды, другая часть ничего не понимаетъ, но „есть нѣкоторый quantum и понимающій, и думающій, и болѣющій. Этотъ quantum есть закваска, которая рано или поздно захватитъ все русское тѣсто, и оно поднимется. Не надобно высказывать презрѣніе къ закваскѣ, иначе мы вѣкъ останемся при Губаревыхъ, Бамбаевыхъ, Бандасовыхъ, Ворошиловыхъ, Суханчиковыхъ, „тучныхъ“ и „снисходительныхъ“ генералахъ... Есть четыре строки, доказывающія, что Тургеневъ еще не Мессія отчаянія и безнадежности: „Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила въ кровь и плоть: вы-

[1]) Бумаги, перепл. 95: Отрывки дневниковъ и замѣтки 1850 — 1858 гг.

ступилъ ростокъ изъ брошеннаго сѣмени, и уже не растоптать его врагамъ ни явнымъ, ни тайнымъ“ [1]). Однимъ изъ скромныхъ, но въ то же время глубоко убѣжденныхъ сѣятелей „великой мысли“ былъ и кн. В. Ѳ. Одоевскій; онъ, конечно, еще менѣе былъ „Мессіей безнадежности“, и надежда его служила и долго будетъ служить свѣточемъ для того quantum русскаго общества, который и понимаетъ, и думаетъ, и болѣетъ.

---

[1]) Бумаги, перепл. 22: Книга записная съ 1859 года, подъ буквой: Б.

* * *

Такъ отразился западноевропейскій романтическій идеализмъ въ русскомъ обществѣ и литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX столѣтія. Наблюденія, сдѣланныя въ настоящихъ очеркахъ, не могутъ претендовать ни на полноту, ни на законченность; тѣмъ не менѣе они позволяютъ сдѣлать нѣкоторые выводы, соотвѣтствующіе задачѣ автора.

Западноевропейскій романтизмъ, или новоромантизмъ, к. XVIII и н. XIX стол., какъ извѣстный литературно-общественный моментъ, при всей своей видимой сложности и неуловимости, имѣетъ однако извѣстныя границы, которыя опредѣляются концомъ XVIII-го и первыми 3 — 4 десятилѣтіями XIX-го вѣка. Въ своей сущности романтизмъ к. XVIII и н. XIX стол. есть ясно выраженное идеалистическое міросозерцаніе, отличительныя черты котораго сказались въ своеобразномъ развитіи романтическихъ воззрѣній на человѣческій индивидуумъ, на націю и на универсальное человѣчество. Романтическій индивидуализмъ выразился во вниманіи къ человѣческой индивидуальности вообще и въ культѣ сильной индивидуальности по преимуществу. Романтическій національнизмъ проявился въ уваженіи къ каждой индивидуальной націи и въ поэтизаціи своего народнаго духа и быта, доходившей до признанія за своей націей правъ на высшую руководящую роль въ дѣлѣ прогресса. Романтическій универсализмъ, наконецъ, ставилъ себѣ задачей указать условія общечеловѣческаго

счастья, при наличности которыхъ индивидуумы-люди и индивидуумы-націи, не лишаясь своей индивидуальной свободы, могутъ объединиться во имя одного идеала жизни.

Романтическій идеализмъ проникалъ въ русское общество и литературу съ начала XIX стол. путемъ знакомства съ западноевропейской романтической поэзіей и философіей, преимущественно черезъ посредство журналовъ, театра и литературныхъ кружковъ. Отраженіе романтическаго идеализма въ русскомъ обществѣ и литературѣ наблюдается по всѣмъ его основнымъ мотивамъ: романтическій индивидуализмъ на русской почвѣ выразился въ видѣ культа личной свободы и личнаго художественнаго творчества, въ видѣ индивидуальнаго очарованія и разочарованія; романтическій націонализмъ сказался въ формѣ поэтизаціи національной старины и усиленія національнаго самосознанія; наконецъ, романтическій универсализмъ повліялъ на выработку въ русскомъ обществѣ и литературѣ универсальнаго идеала жизни.

Основные мотивы западноевропейскаго романтическаго идеализма нашли себѣ выразителей въ лицѣ русскихъ писателей-романтиковъ 20—30-хъ годовъ XIX стол. Однимъ изъ выразителей романтическаго индивидуализма является А. А. Бестужевъ (Марлинскій). Индивидуалистическое направленіе въ его творчествѣ складывается съ одной стороны подъ вліяніемъ его личной природы и личной жизни, съ другой подъ вліяніемъ западноевропейской романтической поэзіи, особенно же поэзіи Байрона и Гюго. Романтическій индивидуализмъ въ творчествѣ А. А. Бестужева проявляется во вниманіи къ личности и въ культѣ высшей натуры, которая опредѣляется и со стороны своихъ свойствъ и со стороны своихъ культурныхъ задачъ. Романтическій индивидуализмъ А. А. Бестужева, оцѣненный по достоинству уже нѣкоторыми изъ его современниковъ, находится въ тѣсной связи съ прогрессивными стремленіями эпохи 20—30-хъ годовъ и заслуживаетъ поэтому вниманія какъ одинъ изъ фактовъ, содѣйствовавшихъ развитію русскаго общественнаго сознанія.

Романтическій націонализмъ нашелъ себѣ выраженіе, между

прочимъ, въ творчествѣ М. Н. Загоскина. При первомъ же появленіи, его романъ „Юрій Милославскій“ вызвалъ два впечатлѣнія: одно характеризуется чувствомъ народности, связаннымъ съ русскимъ направленіемъ всей жизни и литературной дѣятельности М. Н. Загоскина; другое—чувствомъ зависимости автора отъ литературной манеры В. Скотта, которая въ видѣ поэтическаго живописанія національнаго быта и національнаго духа обошла всѣ европейскія литературы и въ 20-хъ годахъ XIX стол. сдѣлалась хорошо извѣстной и въ русской литературѣ. М. Н. Загоскинъ, видимо, слѣдовалъ В. Скотту уже въ выборѣ сюжета для романа и въ подборѣ и группировкѣ составныхъ частей разсказа; но главнымъ образомъ его зависимость отъ В. Скотта выразилась въ примѣненіи „мѣстнаго колорита“, т. е. во внесеніи въ разсказъ элемента живописи національнаго быта и духа. Для поэтическаго живописанія національнаго быта по манерѣ В. Скотта М. Н. Загоскинъ воспользовался имѣвшимися у него подъ руками матеріалами, придавъ имъ художественную отдѣлку, а для живописанія по манерѣ В. Скотта національнаго духа М. Н. Загоскинъ изобразилъ въ видѣ историческихъ портретовъ современные ему русскіе характеры со стороны ихъ прекраснодушія, которое находило живой откликъ въ его собственной натурѣ. Романтическій національнизмъ М. Н. Загоскина встрѣченъ былъ восторженно въ русской критикѣ и получилъ лестную для автора оцѣнку въ иностранной печати. Поэтизируя національную старину по манерѣ романтиковъ, М. Н. Загоскинъ далъ въ своемъ романѣ не только выраженіе мужавшаго національнаго русскаго самосознанія, но и средство для его дальнѣйшаго воспитанія и укрѣпленія.

Романтическій универсализмъ является основнымъ мотивомъ въ произведеніяхъ кн. В. О. Одоевскаго. Онъ складывается на почвѣ мечтательной идеалистической натуры Одоевскаго и знакомства его съ философскими обобщеніями шеллингизма и въ раннихъ его произведеніяхъ выражается въ порывахъ къ гармоніи въ общечеловѣческихъ отношеніяхъ и въ культѣ геніальной натуры, какъ единственно близкой къ рѣшенію

универсальной задачи жизни. Въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ, именно въ „Русскихъ ночахъ“ и въ нѣкоторыхъ рукописныхъ наброскахъ, комментирующихъ „Русскія ночи“, Одоевскій даетъ рѣшеніе универсальной задачи жизни въ духѣ шеллингизма, выясняя съ этой точки зрѣнія смыслъ науки и искусства, какъ главныхъ факторовъ прогресса, и тѣ условія общественной жизни, которыя могутъ создать возможный quantum общечеловѣческаго счастія.

Въ задачу автора не входило изслѣдованіе дальнѣйшаго развитія основныхъ мотивовъ романтическаго идеализма въ русской общественности и литературѣ XIX столѣтія. Но врядъ ли можетъ кто не согласиться съ тѣмъ, что величественные идеалы романтизма начала XIX столѣтія продолжаютъ жить и развиваться у насъ на всемъ протяженіи вѣка, все болѣе и болѣе проникая въ жизнь: объ этомъ свидѣтельствуютъ все болѣе и болѣе мужающее у насъ личное и національное самосознаніе и тѣ полные обаянія идеалы универсальной гармонической жизни, которые русское творчество черезъ посредство своихъ великихъ мыслителей XIX вѣка выдвинуло на первый планъ, какъ необходимыя условія общечеловѣческаго прогресса.

Наконецъ, и еще одинъ выводъ невольно приходитъ на мысль автору: народъ, въ средѣ котораго, по первому намеку съ Запада, выказано было столько свѣтлаго и глубокаго идеализма, еще очень далекъ отъ духовнаго оскудѣнія и имѣетъ всѣ задатки къ тому, чтобы безконечно расти и мужать духомъ, лишь бы онъ бережно хранилъ свою индивидуальность для блага своего и общечеловѣческаго.

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ.


Августинъ, бл., 22. 23.
Августинъ, еписк. Дмитр., 143.
Авиеліусъ, 13.
Аддисонъ, 168.
Аделунгъ, Ѳ. П., 154.
Аквинатъ, Ѳома, 23.
Аксаковъ, И. С., 163.
Аксаковъ, С. Т., 284. 286, 287, 289—291, 294, 303, 304, 307, 308, 343, 344, 367, 379.
Алексѣевъ, Ѳ., 134.
Альтвассеръ, 3.
Андреевъ, А. М., 181, 233.
Андреевъ, П., 91.
Анселю, 340.
Анфантенъ, 169.
Араповъ, П., 95.
Аріостъ, 221.
Аркановъ, П. Г., 400.
Arndt, Jahn, 47.
Arndt, Ernst Moritz, 46, 55.
Аршимъ (Ахимъ фонъ), 4, 6, 44, 330.
Asselineau, Ch., 1, 8, 19.
Аттербомъ, 13.
Байронъ, 11—13, 15, 26, 34, 38, 65, 67, 74, 76—79, 81, 90, 91, 94, 99—104, 106, 108, 110—112, 124, 125, 127, 155, 167, 168, 171, 189, 190, 192, 194, 196, 207, 212—215, 220—226, 234, 235, 245, 250, 271, 273, 323, 442.
Бакунинъ, В. М., 297.
Балланшъ, 62.
Бальзакъ, 65, 72, 73, 95, 99, 164, 166, 211—213, 270, 272, 330, 334.
Бальмонтъ, К., 76.
Баратынскій, 123, 267.
Barcewicz, W., 14.
Баржине, 306, 334.
Барсуковъ, И., 391, 410.
Бартеневъ, П., 101, 179.
Бартеневъ, Юр. Никит., 115.
Батюшковъ, К. Н., 238, 355, 357.
Бахъ, 393.
Белли, 13.
Бентамъ, 429.
Беранже, 48.
Бергъ, Лео, 21, 27, 28, 38.
Бергъ, Н., 205, 379.
Беркенъ, 397.
Berquin, 84.
Беркэ, 13.
Берліозъ, 409.
Бернардень, 84.
Бершаговичъ, 338.
Бернсъ, Р., 11, 12, 89, 50, 73, 74.
Бестужева, Е. А., 183.
Бестужевъ, М. А., 173—178, 183.
Бестужевъ, П. и М., 212.
Бестужевъ, П. 213.
Бестужевъ (Марлинскій), А. А., I. 170—188, 191, 194—211, 213—227, 232—235, 237—251, 253, 255—257, 259, 262, 264—282, 309, 342, 345, 357, 442.
Бестужевъ-Рюминъ, А. П., гр., 181.
Бетанкуръ, 178.
Беттина, 6.
Бетховенъ, 393, 418. 421, 431.
Билевичъ, М. В., 114.
Biré, E., 1, 10.
Бланшаръ, 340.

Блеръ, 397.
Блудовъ, 92.
Блюменгагенъ, 94.
Богдановичъ, 353, 354.
Богдановъ, А., 358, 364, 365.
Богучарскій, 281—2, 282.
Bodin, Felix, 338.
Бодмеръ, 168.
Бодянскій, О. М., 304.
Болтинъ, 137—8, 140.
Болтинъ, Д., 91.
Бороздинъ, К. М., 162.
Борщовъ, Г., 301.
Брандесъ, Г., 3, 9, 12, 34—36, 48, 49, 51, 63, 64, 71, 76, 78, 79, 314, 322, 323.
Brandes, G., I, 39.
Бревернъ, Нат. П., 84, 102.
Бредаль, 12.
Брентано, 4, 6, 44, 330.
Бронниковскій, 306.
Bronikowsky, 309.
Бруно, 23.
Brunetière, F., 1, 8, 19, 32, 52, 61, 242.
Буало, 2, 85.
Булгаковъ, А. Я., 307.
Булгаковъ, К. Я., 124.
Булгаковъ, Я. И., 82.
Булгаковъ, Ѳ. И., 351.
Булгаринъ, Ѳ. В., 116, 215, 269, 273, 274, 300, 311, 312, 343, 378, 379.
Бурачекъ, 280.
Бургосъ (Франциско де—), 14.
Бутурлинъ, М. Д., гр., 102, 127.
Бѣлинскій, 246, 247, 271, 277, 280, 354, 368, 369.
Бѣлозерская, Н., 345, 357.
Бѣлоусовъ, Н. Г., 114.
Бѣляевъ, А. П., 103, 186.
Бюргеръ, 44.
Бюффонъ, 233.
Вакенродеръ, 4—6, 37, 410.
Вакернагель, 6.
Wackernagel, W., 1.
Валлинъ, 168.
Вальтеръ-Скоттъ, 11 — 13, 39, 50, 51, 79, 83, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 102 — 3, 124, 157, 168, 221, 243, 270, 283, 295, 303—347, 350, 352, 357, 358, 365—368, 371, 377, 378, 443.
Ванъ-деръ-Вельде (Фанъ-деръ-Фельдъ), 94, 306, 335, 340.
Vandervelde, 309.
Warton, Th., 10.
Вейнбергъ, П. И., 3.
Веллансній, Д. М., 148, 380, 392.
Вельгавенъ, 13.
Вельяминовъ, 233.
Wenger, K., dr., 157, 314, 315, 317, 321, 324, 326, 330, 332, 352.
Венгеровъ, С. А., 173, 177, 196, 276, 278.
Веневитиновы, Д. В., и А. В., 105.
Веневитиновъ, Д. В., 131—134, 391, 393.
Вернеръ, Захарія, 4—6.
Верстовскій, 401.
Веселовскій, А. Н., 159, 228, 343.
Весинъ, С., 341.
Вигель, Ф. Ф., 85, 86, 89, 105, 107, 141, 144, 150, 178, 269, 285, 286, 380, 393.
Викулинъ, С. А., 124.
Виландъ, 85, 104, 168.
Виноградовъ, И., 91.
Винни Альфредъ де-), 8 — 10, 39, 48, 95, 99, 168, 214, 270, 330, 334, 340.
Vigny, 38.
Виргилій, 236, 397.
Висковатовъ, 97.
Витэ (Vitet, 39, 48, 49, 332, 333.
Воейковъ, 379.
Волковъ, 123.
Волконскій, П. М., кн. 292
Вольтеръ, 23—26, 82, 84, 85, 99, 168.
Вордсвортъ, 11, 12. 50, 51, 74.
Wordsworth, 325.
Востоковъ, А. Х., 354, 355.
Вроченко, М., 94, 100.
Второвъ, Н. И., 269.
Вульфъ, А. Н., 103, 104.
Вяземскій, П. А., кн., 91. 92, 112, 113, 124, 127, 128, 165, 177, 343, 420, 421.
Гаскъ, 336.
Гаймъ, Р., 5, 42.
Haym, R., 1, 19.
Галекъ, В., 15.
Галичъ, 161, 408.
Галченковъ, Ѳ., 91.
Гаманъ, 4, 6.
Гаммершёльдъ, 13.
Ганка, Вячеславъ, 379.
Гаухъ, 12.

Гегель, 5, 15, 18, 28, 39, 41, 52, 54, 105.
Гейдукъ, А., 15.
Гейеръ, 13.
Гейне, Г., 3, 5, 44, 118, 157, 325, 326.
Геллертъ, 90.
Гельвецій, 404.
Гёльдерлинъ, 4—6.
Генслеръ, 150.
Георгіевскій, П. Ег., 99.
Гераковъ, 345, 357.
Гербель, Н. В., 192, 222.
Гервинусъ, 5, 6, 45, 58.
Gervinus, G., 1, 6, 19, 39, 45, 52, 57, 58.
Гердеръ, 4—6, 26, 39, 43, 44, 119, 138, 140, 145.
Герингъ (В. Алексисъ), 331, 332.
Герингъ, Эдуардъ, 310.
Göring, E., 377.
Герресъ (Бретонъ, де-лосъ), 14.
Гёрресъ, Іос., 4, 6, 46, 330, 391.
Герцфельдъ, М., 13.
Гете, 4, 5, 13, 26, 30, 34, 37, 39, 44, 52, 63, 65, 70, 71, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 104, 108—110, 116, 124, 130, 132, 151, 155, 158, 159, 168, 180, 188, 207, 210, 211, 220—223, 226, 329, 421.
Goethe, 55, 210.
Геттнеръ, Г., 5, 12, 15, 30, 45, 57, 79.
Hettner, H., 1, 19, 30, 39, 52, 57, 58.
Геце (Петръ Оттонъ, фонъ-), 151.
Гисъ (Guys), 152.
Глинка, А. П., 160
Глинка, С. Н., 124, 141, 142, 154, 345, 357.
Глинка, Ѳ. Н., 345.
Глѣбова-Стрѣшнева, Ел. П., 84, 102.
Глѣбовъ, 123.
Гнѣдичъ, Н. И., 87, 97, 155, 156, 289, 293, 294.
Гогартъ, 12.
Гоголь, Н. В., 99, 135, 245, 268.
Голиковъ, 82.
Головачева (Панаева), А. Я., 395.
Головинъ, К., 281.
Голубевъ, П. Ив., 110.
Гомеръ, 26, 43, 210, 211, 223, 327, 354.
Гонеггеръ, Г., 31, 32, 59.
Goncourt, 38.
Горбунова, А., 21.
Горнъ, Фр., 13.
Готье, Т., 7, 10.
Gauthier, Th., 1, 7, 19.
Гоффманъ (Теодоръ Амадей), 4, 6, 37, 52, 64, 93, 94, 221, 270, 271, 393, 417, 420, 421.
Hoffmann, E. T. A., 64, 421.
Гощинскій, Север., 339.
Грановскій, Т. Н., 136.
Грей, 11.
Гречъ, Н. И., 116, 178—181, 186, 232, 233, 275, 290, 343, 379.
Грибовскій, А. М., 108.
Грибоѣдовъ, А. С., 107, 108, 168, 172, 191, 267, 380, 391, 392.
Грильпарцеръ, 88.
Гриммы, бр., 6, 44, 46, 330.
Grimm Iacob., 92, 151.
Huch. Ricarda, 6
Gschwind, H., 1, 7, 19, 37.
Гюго, В., 7—10, 12, 13, 15, 32, 38, 39, 48, 49, 65, 71, 72, 79, 94, 95, 97, 99—102, 113, 164, 166, 171, 177, 207, 211—213, 215, 218—222, 226—231, 234, 235, 239—245, 250, 271—273, 330, 334, 442.
Hugo, V., 1, 38, 229—231.
Давыдовъ, И. И., 115, 148, 383, 392.
Дальгренъ, 13.
Данте, 62, 214.
Дашковъ, 92.
Дашковъ, П. Я., 397.
Делиль, 168.
Дельвигъ, А. А., бар., 295.
Демидовъ, П. Н., 300.
Державинъ, Г. Р., 99, 137, 138, 278, 353, 354.
Дибичъ, гр., 233.
Dietrich, Anton, 151.
Dietz, H., 13, 14.
Dilthey, W., 4.
Дмитріевъ, И. И., 294, 353.
Дмитріевъ, М., 82, 83, 88, 141, 142.
Драйденъ, 10.
Дубровинъ, Н., 270.
Дуеро (Донъ Жуанъ Санго де-), 303.
Дюканжъ, 87, 97.
Дюкре-Дюменильъ, 284.
Дюма, Ал., 8, 97, 330.

Dumas-fils, 38.
Dunin-Borkowski, Józef, 156.
Dupuy, Ernest, 230.
Дюрерь, Альбрехтъ, 271.
Дюрь, Люб. Осип., 342.
Дюсисъ, 97.
Ewald, Oscar., 55.
Ешаховъ, А. М., 20.
Екатерина II, имп., 137—140, 152, 153.
...ger, G., 64.
...ловъ, А. П., 154, 205, 269.
Жаненъ, Жюль, 217, 270.
Жанлисъ, г-жа, 82—84, 90, 309.
Genlis, m-me, 218.
Жань-Поль (см. Рихтеръ).
Ждановъ, Ив. И., 150.
Жоржъ-Зандъ, 26, 65, 72, 73, 166, 167.
Жуи, 88.
Жуковскій, В. А., 81, 85, 88—92, 104, 112, 124, 125, 127, 128, 131, 153, 158, 159, 185, 191, 198, 278, 293, 295, 296, 299, 300, 343, 344, 420, 421.
Жюссеранъ, 34.
Заблоцкій-Десятовскій, А. П., 394.
Загоскинъ, М. Н., I, 170, 215, 272, 280, 283 — 292, 294, 296 — 299, 302—313, 323, 339, 340, 344—347, 350 — 352, 355, 357—360, 362—379, 443.
Загоскинъ, С. М., 284, 344, 379.
Закревскій, А., 126.
Замотинъ, И. И., 19, 127, 135, 147, 210, 354, 408.
Zdziechowski, M., 61.
Зейдлицъ, 44.
Зиглерь, 114.
Златоустъ, Іоаннъ, 397.
Зоррилья, Хозе, 14.
Зотовъ, Р. М., 113.
Зубаревъ, 358.
Ибсенъ, 36, 117.
Ильинъ, С., 75, 76, 223.
Иммерманъ, Карлъ., 4, 37.
Imhof, Amalie, 46.
Ингеманнъ, 12.
Инсарскій, В. А., 380, 394.
Ирвингъ, Вашингтонъ, 214, 215, 218, 219, 221, 233, 234, 270, 271, 306, 335, 344.
Истринъ, В. М., 85.
Ioachimi, Marie, 6, 19.
Yonge, 314.
Каллубовскій, А. П., проф., 19, 309, 378.
Кайсаровъ, А. С., 85.
Калашниковъ, И. Т., 83.
Кальдеронъ, 96.
Каменскій, П. П., 269.
Campbell, 325.
Canat, René, 38, 39.
Кантъ, 2, 5, 15, 26, 27, 29, 35, 42, 53, 109, 114, 115, 391.
Каннистъ, 137.
Каподистрія, гр., 153, 154.
Карамзинъ, Ф. В., 153.
Карамзинъ, Н. М., 113, 168, 187, 191, 237, 238, 273, 274, 276, 342, 345, 354, 355, 357, 359, 366.
Каратыгинъ, П. А., 87, 97, 144, 145, 342.
Carlyle, 314.
Кастро (Хозе де-), 14.
Катенинъ, 87, 176.
Каченовскій, М. Т., 91, 269.
Кёнигъ, Г., 331.
Керперъ, 4, 6, 98.
Кетчеръ, Н. Х., бар. 106.
Кирѣевскіе, бр., 390.
Кирѣевскій, Ив. Вас., 106, 390, 391.
Кирѣевскій, П. В., 163.
Китъ, 11.
Клейстъ (Генрихъ фонъ-), 4, 6, 168.
Klenze (Camillo von-), 12.
Клингеръ, 4.
Klinke, Otto, dr., 421
Клингера, Вацл. Клим., 335, 336.
Клопштокъ, 62.
Княжнинъ, 139, 140.
Козловъ, И. И., 167, 198, 268.
Козловъ, П., 224, 225.
Козминъ, П. К., 19.
Койпенскій, 143.
Кольриджъ, 11, 12, 51.
Колюбакинъ, Н. П., 269.
Комаровскій, Е. Е., гр., 268.
C... (onrad), S. (ophie), m-me, 304, 375.
Констанъ, Бенжаменъ, 9, 38, 95, 101, 113, 124, 165.
Корелинъ, М., 22.
Корнель, 84.
Корфъ, М. А., бар., 88.
Корфъ, Н. А., бар., 100.
Костенецкій, Я. И., 100, 1.6, 178, 205, 206, 268.

Котляревскій, П., 78, 173, 201, 245, 425.
Коттенъ, 308, 340,
Кохъ, Макс., 6, 30, 60.
Кошебу, 83, 90, 284.
Кошанскій, Н. Ф., 136.
Кошелевъ, А. И., 390, 391.
Красинскій, 14, 61.
Craik, G., J, 10, 11, 39, 51.
Кржижановскій, А., 270.
Круглый, А. О., 284.
Крыловъ, И. А., 87, 150, 292—294.
Кубасовъ, П. А., 154, 381, 388, 401, 417, 420, 437, 438.
Kubek, I. P., 205.
Кузанскій, Ник., 23.
Кукольникъ, Н. В., 97.
Кулаковскій, П. А., 15.
Куперъ, В., 11. 12.
Куперъ, Ф., 94, 101, 103, 270, 306, 335.
Cooper, 309.
Курцій, Квинтъ, 284.
Кушелевъ, Г. Г., гр., 108, 109.
Кшабелль, 11.
Кюхельбекеръ, В. К., 102, 103, 117, 124, 162, 168, 176, 234, 268, 269, 271, 342, 343, 379, 437.
Ла-Бартъ (Ф., гр. де-), 19, 20, 228.
Лабрюеръ, 238, 401.
Лавадъ, А. Г., 167.
Лавицъ (Казимиръ, де-), 168.
Лагарпъ, 82, 85.
Ламартинъ, 8 — 10, 12, 102, 124, 168, 231.
Lamartine, 124.
Ламбросъ, Д., 154.
Lamennais, 124.
Ламоттъ, 237.
Ланге, Н., 21.
Ланская, перевод., 307.
Ланская, О. С., 393.
Лансовъ, Г., 10, 32, 33, 61, 62, 228.
Lascerre, Pierre, 9, 33, 59.
Латеръ, 4.
Лафонтенъ, Августъ, 82, 108, 109.
La Fontaine, Auguste, 82.
[illegible], К. Н., 149.
[illegible], 237.
[illegible] 417, 425.
[illegible], 23, 35.
[illegible]
[illegible]
[illegible], Леон. Львов., 98.
Леопарди, 13.
Лермонтовъ, 99, 187, 222, 267.
Le Roy, Albert, 1, 9, 33,
Лессингъ, 4, 86—7, 88, 94, 99.
Лилло, 12.
Линге, 13.
Лобановъ, 87.
Lockhart, 314, 319.
Локкъ, 23.
Ломоносовъ, 82, 99, 137, 168.
Лонгиновъ, М. Н., 378.
Лорсеръ, Н. Н., 203, 204.
Лоутъ, 12.
Лэмбъ, Чарльзъ, 11.
Люценко, Е., 355.
Mabilleau, L., 229.
Магницкій, 114.
Макаровъ, М. Н., 358 — 360, 364, 365.
Максимовичъ, М. А., 106, 236, 401.
Макферсонъ, 11, 39, 50, 62.
Маленинъ, А. І., 136.
Мальтусъ, 429.
Мальцовъ, И. С., 105, 394.
Манегольдъ, 23.
Манцони, 13, 39, 51, 94, 168, 306.
Manzoni, 309
Марекъ, Янъ Генрихъ, 336.
Мармонтель, 90.
Martin, St.,—423.
Мартини (де-), 114.
Мартыновъ, И., 91.
Мартьяновъ, И., 202.
Масловъ, В. И., 179.
Маттисонъ, 98.
Матушевскій, 14.
Маха, К. Н. (К. Н. Mácha), 336.
Махалъ, 335.
Máchal, J., 335, 337.
Maigron, L., 34, 50, 314, 315, 317, 318, 321, 322, 326, 327, 333, 334, 352.
Мейеръ, Р., 6.
Meyer, R., 1, 52, 61.
Мейеръ, д-ръ, 181.
Мейснеръ, 284.
Мельгуновъ, Н. А., 105, 391, 410.
Мепцель, Вольфгангъ., 331, 332.
Менъ (Жанъ, де-), 23.
Мердеръ, К. К., 157.
Мерзляковъ, 383.
Мериме, Пр., 8, 95, 303, 330, 333, 334.
Метерлинкъ, 117.

Мильтонъ, 10, 51, 62, 320.
Милюковъ, П., 149.
Минаевъ, Д., 75.
Михайловскій, Д., 193.
Михайловскій, Н. К., 117.
Михневичъ, Іос., 28, 129.
Мицкевичъ, 14, 61, 116, 168, 343
Michiels, Alfred, 1, 8, 16, 19, 32.
Модзалевскій, Б. Л., 90.
Мольеръ, 84, 397.
Монтань, 217.
Montémont (M. Albert-), 148.
Монтольё, 340.
Морганъ, 94.
Морлеи, Г., 34, 51.
Morley, H., 1, 11, 19, 34, 39, 51.
Морозовъ, О., 269.
Мунхъ, 13
Муравьевъ, дек., 213.
Муравьевъ-Апостолъ, М. И., 186
Муравьевъ, М. Н., 355, 357.
Муръ, Т., 11, 51, 102, 103, 127, 168, 214, 221, 222.
Мустоксиди, 155.
Мѣшковъ, Г. И., 102.
Мюллеръ, Ад., 4, 6.
Мюллеръ, канцл., 158.
Мюссе, 8—10, 13.
Надеждинъ, Н. И., 104, 105, 117, 123, 129, 132, 136.
Нарышкина, Н. Ѳ., 112.
Нарѣжный, В. Т., 307, 311, 345, 356, 357.
Нащокинъ, П. В., 269, 305.
Невѣдомскій, В., 5.
Невѣровъ, Я. М., 438.
Нелединскій-Мелецкій, 353.
Неруда, Янъ, 15.
Нечаевъ, С., 249.
Nisard, D., 1, 8, 19.
Никитенко, А. В., 100, 101, 112, 113, 161, 162.
Николаи, 4.
Николева, М. С., 393.
Никольскій, П., 144.
Новалисъ, 4—6, 12, 35, 37, 52, 63, 64, 336, 410.
Novalis, 55, 63, 64.
Новиковъ, 82, 137.
Новосильцевъ, А., 379.
Нодье, Шарль, 9, 10, 39, 47, 95, 211.
Норовъ, А. С., 88.
Норовъ, В. С., 103, 124, 341.
Нѣмцевичъ, Юл. Урс., 338, 339.
Оболовскій, П. Г., 96, 133, 154.
Овидій, 189.
Одоевскій, А. И., кн., 380, 388, 3
Одоевскій, В. Ѳ., кн., I, 93, 1
148, 170, 380—384, 388—4
404, 407—427, 429—440, 4
444.
Одоевскій, П. И., кн., 388, 390.
Озеровъ, 144, 145.
Окенъ, 391.
Оленинъ, А. Н., 290, 294, 372
Олинъ, В. Н., 294.
Олсуфьевъ, Вас. Дм., 292.
Ольбергъ (Е. фонъ-), 393.
Ольдескопъ, Евг. Ив., 303.
Орловъ, А. А., 379.
Оссіанъ, 38, 43, 50, 138, 355, 3
Откинъ, 340.
Павлова, К. К., 151.
Павловъ, М. Г., 148.
Павловъ, Н. Ф., 269.
Палицынъ, Авр., 366, 372.
Панаевъ, В. И., 301, 302.
Панаевъ, И. И., 101, 378.
Папроцкій, 336.
Парацельсъ, 123.
Пассекъ, В. В., 106.
Пассекъ, Т. И., 102, 106, 169, 26
342, 379.
Пачеко, Франциско, 14.
Пеллико, 13.
Перевощиковъ, 397.
Перовскій, 115, 116
Перси, Томасъ, 12, 39, 50.
Петрарка, 15, 21—25, 27, 35, 7
Петровъ, Н., 315.
Печеринъ, В. С., 110.
Плавильщиковъ, В., 90.
Планшъ, Г., 230.
Planche, Gustave, 231.
Платенъ, 4.
Платонъ, 161, 406, 408, 422, 4
Плетневъ, 122.
Погодинъ, М. П., 93, 106, 148, 4
304, 382, 391, 410.
Погорѣльскій, 293.
Подолинскій, А., 215
Полевой, К. А., 186, 18
199, 200, 209, 213.
Полевой, Н. А., 93,
187—190, 192, 193, 1
208, 210, 211, 213—
223, 243, 249, 250.

...ные. Н. и К., 181, 191.
...вцовъ, 340.
..., 168, 218.
...емкинъ, П., 91.
...ъ, 140.
...жика, А., 123.
...коповичъ (Прокоповичъ-Антон-
..., А. А., 115, 382, 383.
...тасова (Мойеръ), М. А., 90.
...-де-Жюльвилль, Л., 10, 33, 61,
...2.
...инъ, А. С., 67, 90, 93, 97, 99,
...4, 125, 127, 134, 135, 141, 150,
...53, 168, 177, 185, 191, 201—204,
...14, 221, 267, 269, 273, 276,
...77, 280, 292—294, 296, 305,
...13, 354, 357, 358, 367, 369, 372,
...19.
...нинъ, А. Н., 5, 15, 137, 138, 140.
...тковскій, А. П., 381, 383, 394,
...17.
...ищевъ, Ал. Н., 137, 139, 354.
...щевъ, Н. А., 354.
...лифъ, г-жа, 83, 84, 90, 125,
...4, 340.
...скій, А. Ѳ., 120.
...скій, В. Ѳ., 127.
...ская, Ек. Ив., 84
...ъ, 84, 85, 176.
...адинъ, И. П., 22.
...ахъ, 271.
...и, 15.
...уаръ (Raynouard), 47.
...фельсъ, 360—361.
...ап, 38.
...ouvier, Ch., 230.
...уэсъ, Ф., 331.
...ръ, Жанъ-Поль, 6, 93,
...рдсонъ, 12.
...t, Ch., 230.
..., Ал., бар., 299.
...алинъ, Н. М., 106, 163, 391.
...овъ, М. Н., 9.
...нъ, Е., бар., 233.
...роръ Roquefort), 47.
...ъ, 284.
...ко...енко, И. В., 158.
...ч..., А., 94, 113.
...ли, 7...
...е, 3.
...е, J., 5.
...ницевъ, С. П., гр., 342.
...ичъ, Д. П., 110, 114.
...ссо, Ж. Ж., 6, 9, 10, 15, 23-27,
30, 35, 36, 38, 65, 68, 72, 74,
89—91, 100, 308.
Рыбушкинъ, 269.
Рылѣевъ, К. Ѳ., 127, 154, 178, 179,
188.
Рындовскій, Ѳ., 134.
Рѣзановъ, В. И., 104.
Раскинъ, 321.
Ruskin, 314, 321.
Рюккертъ, 4, 6, 44, 98.
Ruegger, John, 231.
Савиновъ, В., 204.
Сади, 238.
Сазоновъ, Н., 106.
Сакулинъ, П. Н., 90.
Sarrazin, G., 14, 43, 61.
Сатинъ, Н. М., 106.
Sauvageot, D., 1, 8, 19, 49.
Swinburne, A. Ch., 230.
Свіязевъ, 206.
Сегюръ, 236.
Селивановъ, В. В., 36.
Сенанкуръ, 38.
Сенкевичъ, Г., 339.
Сентъ-Бевъ, 8.
Сенъ-Пьеръ (Бернарденъ де-), 9.
Сенъ-Симонъ, 169.
Сербиновичъ, К. С., 165.
Сервантесъ, 277.
Сибиряковъ, П. С., 294, 295.
Синовскій, В. В., 110, 341, 346.
Сиротининъ, А. Н., 179.
Скайлеръ, Евг., 394.
Словацкій, 14, 61.
Смирдинъ, Ал., 90, 148, 341.
Смирнова, А. О., 116, 157, 167, 343.
Снегиревъ, И. М., 112, 126, 407.
Соболевскій, С. А., 105, 393.
Соловьевъ, Вл., 18.
Соловьевъ, С. В., проф., 19, 20, 23,
62, 146.
Сологубъ, В. А., гр., 125, 380, 394.
Сомовъ, Орестъ (Порфирій Байскій),
145—147, 343, 345.
Сопиковъ, В., 90, 95.
Соути, 11, 12, 168, 343.
Southey, 235, 344.
Спасовичъ, В. Д., 14, 15.
Spenlé, E., 63.
Спиноза, 162.
Ср. (едній,—К—(аматевъ), П., 306.
Сталь, г-жа, 9, 10, 26, 38, 39, 48,
90, 91, 119, 145—148, 308.
Станкевичъ, Н., 121.

Стасовъ, В., 268.
Стаховичъ, А., 98.
Стендаль, 330.
Stendhal, 38, 229.
Стернъ, 12.
Stefan, Kr., 304, 376.
Стеффенсъ, 4.
Стороженко, Н. И., 78.
Стрыговщиковъ, А., 222.
Сумароковъ, 82, 99, 138.
Сумцовъ, Н. Ѳ., 137, 381, 417, 420, 425.
Сутей (см. Соути).
Сухомлиновъ, М. И., 114.
Сушковъ, Н. В., 379.
Сю, Евгеній, 95, 99, 166, 270.
Тарновскій, 14.
Татлина, Пр. Ник., 84, 166.
Тегнеръ, 13, 39, 61, 94, 168.
Тенляковъ, В. Г., 111, 112.
Тикноръ, 14.
Тикъ, 4, 6, 12, 37, 44, 90, 93, 94, 135, 330, 410, 421.
Tieck, 55, 410.
Тимоѳеевъ, 95.
Титовъ, В. И., 105, 391, 393, 410.
Толстой, Ѳ. И., гр., 269.
Томсонъ, 11, 12.
Торсое, А., 59.
Тредьяковскій, 88, 140.
Трилунный, 122.
Тройницкій, А. Г., 153.
Трубо (де-), 306.
Трутовскій, 140.
Туманскій, 178.
Тургеневъ, Ал. Ив., 85, 104, 124, 127, 153, 154, 158, 159, 165, 343, 344.
Тургеневъ, И. П., 89.
Тургеневъ, Н. С., 369, 439.
Tourtoulle, Etienne, 148.
Тыль, Іос. Кайетанъ, 337.
Tyl, Josef Kajetan, 337.
Тэнъ (Т. Ѳ. или Н.), 11, 12, 26, 34, 36, 74, 314, 316—320, 327, 328.
Taine, H., 1, 19.
Тютчевъ, Ѳ., 123, 163, 390.
Уваровъ, С. С., гр., 292.
Уландъ, 4, 6, 44, 46, 98.
Успенскій, Гавр, 358—364.
Faguet, E., 1, 9, 24, 33, 38.
Фалькенбергъ, 41, 42, 399, 402.
Фанъ-деръ-Фельде (см. Ванъ-деръ-Вельде).
Фейербахъ, 21, 28.
Фихте, 2, 5, 15, 18, 20, 26-29, 35, 36, 39, 42, 52, 53, 60, 109, 115, 163, 391.
Fichte, 47.
Fischer, Kuno, 399, 402.
Флавій, Іосифъ, 284.
Flaubert, 38.
Флоріанъ, 90.
Фогтъ, Фр., 6, 30, 69.
Фохтъ, 22.
Фонгизинъ, 139.
Форнель, 155.
Fauriel, 156.
Фоссъ, 4, 44.
Франческъ, В. А., 379.
Friedlaender, L., 7.
Фуке (после Мотт), 4, 6, 44, 340, 336, 340.
Fouqué, 55, 330.
Фурье, 169.
Халанскій, М. Г. проф., 135.
Харасковъ, М. М., 82, 99, 354.
Хмѣлевскій, 14.
Cholzky, Al., 156.
Хомяковъ, А. С., 134, 302.
Хохолоушекъ, Прокопъ (Prokop Chocholoušek), 337.
Hutton, 314.
Цертелевъ, кн., 92.
Цитзеръ, Т., (Ziegler, Th.), 6, 15, 31, 32, 39, 45, 52, 58.
Цшокке, 94, 221, 270, 271, 306.
Zschokke, 221, 309.
Czarnik, Bronislaw, 339.
Чаттертонъ, Томасъ, 11, 89, 50.
Челяковскій, 335.
Чулковъ, 140.
Шадъ, 114.
Шаликовъ, кн., 112, 302.
Шамбо, Н. И., 292.
Chamier, Fr., 304.
Шамиссо, 4.
Шаплетъ (де-), 340.
Шатобріанъ, 7, 9, 10, 26, 38, 65, 67, 71, 90, 91, 94, 95, 124, 231, 308, 408.
Шаховской, А. А., кн., 95, 97, 150, 175, 289, 292—294, 342, 343.
Шаховъ, А., 9, 10, 27.
Shaw, Th., 1, 10, 11.
Шевыревъ, С. П., 93, 130, 163, 276, 280, 367, 391, 410.
Шекспиръ, 9, 10, 26, 33, 43, 51,

91, 90, 94–98, 100, 113—4, 138, 210, 212, 214, 218, 230, 277, 323, 324, 329, 357.
Шелли, 11, 12, 38, 65, 74, 76, 127, 254.
Шеллингъ, 5, 15, 18, 27, 28, 35, 39, 41, 52, 53, 60, 63, 109, 102, 105, 109, 115, 119, 129, 148, 161—163, 168, 380, 383, 390—392, 400—402, 404, 406, 406—7, 410, 417, 418, 421, 422, 424, 427, 430—432, 436, 438.
Schelling, 60, 399.
Шенкендорфъ, 4.
Schenkendorf, 55.
Шенье, Андрэ, 9, 95.
Шереметевъ, Д. П., гр., 108, 109.
Шереръ, 5.
Scherer, W., 1.
Шерръ, I., 3, 5, 6, 13, 14, 44, 50, 63.
Scherr, Ioh., 1.
Шиллеръ, 4, 5, 34, 37, 39, 44, 52, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 91, 93—96, 98, 99, 102, 104, 106, 108, 113, 116, 130, 158—161, 180, 207, 210, 214, 220, 222, 226, 227, 250, 269, 277.
Schiller, 14, 89, 106, 210.
Шиллингъ, Густавъ, 271.
Шлегели, бр., 4—6, 93.
Шлегель, Авг., 18, 39, 42, 93, 94, 357.
Шлегель, Фр., 2, 5, 42, 52, 63, 135.
Шлейермахеръ, 6
Шлецеръ, 140.
Шмидтъ, Юл., 4, 15, 29.
Schmidt, Jul., 1, 19.
Шозель-Гуфье, гр. (Choiseul-Gouffier), 152.
Шпиндлеръ, К., 331.
Spindler, 309.
Шписсъ, 84, 90.
Steinhausen, Georg, 46.
Штегель, В. П., бар., 128, 129.
Штернъ, А., 59.
Штилингъ, 4.
Schultheiss, Fr., 39, 45, 46.
Schultz, C. Joh., 304.
Шюккингъ, Л., 331.
Щербатовъ, М. М., кн., 137, 140.
Щербатовъ, П., кн., 291, 292.
Эдлингъ, Р. С., гр., 112.
Эвонъ, 218.
Эйнерлингъ, 366.
Эйхендорфъ, З. 4, 15, 29, 59, 60.
Eichendorf, J., 1, 19, 29, 52, 59.
Элеонлегерь, 12.
Энгельгардтъ, Н., 417.
Эскосура (Патрицio де-ля), 14.
Юнгъ, 12, 90, 94.
Языковъ, Д., 401.
Языковъ, Н. М., 106.
Якоби, 4.
Якушкинъ, дек., 181, 213.
Яхонтовъ, А. П., 98, 99.
Ѳалесъ, 423.
Ѳедоровъ, Б. М., 306, 311.
Ѳедоровъ, П. С., 114.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.


| | | стр. |
|---|---|---|
| Предисловіе | . . . . . | I—II |
| Глава I. | Романтическій идеализмъ въ западно-европейской литературѣ к. XVIII и п. XIX стол. Основные мотивы романтическаго идеализма: индивидуумъ, нація и универсумъ въ идеалистическомъ міровоззрѣніи романтиковъ. . . . . | 1—80 |
| » II. | Романтическій идеализмъ въ русскомъ обществѣ и литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. Источники романтическаго идеализма и его общій характеръ въ русской общественной и литературной жизни нач. XIX стол.; отраженіе его основныхъ мотивовъ: романтическій индивидуализмъ, національизмъ и универсализмъ на русской почвѣ . . . . . | 81—170 |
| » III. | Романтическій индивидуализмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. А. А. Бестужевъ-Марлинскій: «Русскія повѣсти и разсказы». Культъ личнаго «я»; идеализація сильной личности: «высшая натура», ея основныя свойства и культурныя задачи. Литературные мотивы и пріемы въ духѣ Байрона и Гюго въ произведеніяхъ А. А. Бестужева . . . . . | 171—282 |
| » IV. | Романтическій національизмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. М. Н. Загоскинъ: «Юрій Милославскій». Культъ національнаго «я»; поэтическое воспроизведеніе народнаго быта и народнаго духа. Литературная манера Вальтера Скотта въ романѣ Загоскина . . . . . | 283—379 |

стр.

Глава V. Романтическій универсализмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ XIX стол. Кн. В. Ѳ. Одоевскій: юношескія произведенія и «Русскія ночи». Культъ универсальной гармоніи жизни. Возможность человѣческаго счастья: quantum поэзіи въ жизни и условія его осуществленія. Идеализмъ Шеллинга въ творчествѣ кн. В. Ѳ. Одоевскаго . . 380—410

Заключеніе . . . . . 411—414

Указатель . . . . . 415—453

*Примѣчаніе.* Конспективное изложеніе отдѣльныхъ главъ по частямъ см. на стран. 1, 15, 39, 52, 81, 119, 171, 207, 245, 283, 313, 339, 380, 395, 417.

BINDING SECT. OCT 13 1967

PG
3015
.5
R6Z3
1911a
t.2

Zamotin, Ivan Ivanovich
Romantizm dvadtsatykh dov XIX stol. v russkoĭ literaturie. 2., prosm. i dop. izd.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY